

Stanislaw Lem ↔ Станислав Лем

# ЛЕМ

TRANSFIGURACJA



БОЛЬНИЦА ПРЕОБРАЖЕНИЯ  
ВЫСОКИЙ ЗАМОК  
РАССКАЗЫ

В книгу вошли философско-фантастические романы "Больница преобразования", "Высокий замок" и рассказы всемирно известного польского писателя и философа.

---

- [Станислав Лем](#)
  - [Больница Преобразования](#)
    - [Похороны](#)
    - [Нежданный гость](#)
    - [Узлы пространства](#)
    - [DOCTOR ANGELICUS\[13\]](#)
    - [ADVOCATUS DIABOLI](#)
    - [Мастер Вох](#)
    - [Лекция Марглевского](#)
    - [Отец и сын](#)
    - [Ахеронт\[30\]](#)
  - [Высокий замок](#)
    - [Предисловие](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [Послесловие](#)
      - [О «Высоком замке»](#)
      - [Четыре будущих Станислава Лема\[150\]](#)
  - [Автоинтервью](#)
  - [Конец света в восемь часов](#)
  - [Существуете ли вы, мистер Джонс?](#)
  - [Вторжение](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
  - [Друг](#)
  - [Темнота и плесень](#)
  - [Вторжение с Альдебарана](#)
  - [Молот](#)
  - [Exodus](#)
  - [Правда](#)
  - [137 секунд](#)
  - [Лунная ночь](#)
  - [Слоеный пирог](#)

- [Загадка\[155\]](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)

- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)

- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)

- [140](#)
  - [141](#)
  - [142](#)
  - [143](#)
  - [144](#)
  - [145](#)
  - [146](#)
  - [147](#)
  - [148](#)
  - [149](#)
  - [150](#)
  - [151](#)
  - [152](#)
  - [153](#)
  - [154](#)
  - [155](#)
  - [156](#)
  - [157](#)
  - [158](#)
-

**Станислав Лем**

**Больница преобразования. Высокий замок. Рассказы**





# Похороны

В Нечавах поезд останавливался на несколько минут. Стефан едва успел пробраться к дверям и спрыгнуть на землю, как паровоз, пыхтя, потащил за собой состав. Последний час пути Стефан терзался мыслью, что не сумеет выбраться из вагона, — ни о чем другом и подумать не мог, даже о цели своей поездки. И вот теперь он робко побрел куда-то, обжигаясь непривычно свежим после вагонной духоты воздухом, щурясь на солнце, чувствуя себя и раскованным, и беспомощным, будто после мучительного сна.

Был самый конец февраля, небо все в серых тучах с раскаленными добела краями. Подтачиваемый оттепелью снег тяжело оседал в котловинах и оврагах, обнажалась стерня, заросли кустарника, прорисовывались черные от грязи дороги и глинистые склоны холмов. Монотонная белизна разрушалась печатью хаоса — предвестника перемен.

Эта мысль Стефану обошлась дорого: он не туда поставил ногу и в ботинке захлопала вода. От отвращения Стефана даже передернуло. Удалявшееся посапывание паровоза за бежинецкими холмами совсем заглохло, и тогда стал слышен какой-то шорох, похожий на стрекотание кузнечиков, — смазанные, налетавшие со всех сторон, однообразные голоса таяния. В мохнатом реглане, в мягкой фетровой шляпе и легких городских туфлях Стефан на этом бескрайнем предгорье выглядел весьма нелепо, он это понимал и сам. По дороге, взбиравшейся к деревне, неслись бурные, слепящие глаза ручьи. Перепрыгивая с камня на камень, Стефан добрался наконец до развилки и взглянул на часы. Скоро час. О точном времени похорон не сообщалось, но надо было поторопиться. Гроб с телом отправился из Келец еще вчера. Значит, он уже в доме дяди Ксаверия, а может, и в костеле, ибо в телеграмме было какое-то неясное упоминание о панихиде. Или просто об отпевании? Стефан не мог этого вспомнить и разозлился на себя за то, что размышляет о религиозных обрядах. До дядино дома ходу минут десять, до кладбища — столько же, но если погребальная процессия направится окольным путем, в костел... Стефан совсем растерялся, не зная, как быть. Он дошел до поворота шоссе, постоял, вернулся на несколько шагов назад и опять остановился. Заметил в поле старика крестьянина — тот шел по меже, на плече он тащил крест, какие обычно несут впереди погребального шествия. Стефан хотел было окликнуть его, но не решился. Стиснув зубы, он решительно зашагал к кладбищу. Старик исчез за кладбищенской стеной. Но на деревенском проселке он не объявился, так что Стефан, наплевав на все, подобрал полы своего реглана, словно женщина подол, и отчаянно понесся по лужам. Дорога, ведущая на кладбище, огибала невысокий пригорок, заросший орешником. Стефан побежал напрямик, не обращая внимания на проваливающийся под ногами снег и хлеставшие по лицу ветки. Неожиданно чащоба расступилась. Он спрыгнул на дорогу возле самого кладбища. Тихо тут было и пусто, старика нигде не видать. Стефану вдруг расхотелось спешить. Обливаясь потом и тяжело дыша, он мрачно посмотрел на свои ноги — по щиколотку в грязи, бросил взгляд вверх калитки на кладбище. Там не было никого. Стефан толкнул калитку, она пронзительно вскрикнула, тоскливо охнула и смолкла. Грязный, ноздреватый снег волнами укрывал могилы, расступаясь воронками у подножий крестов. Их деревянные шеренги доходили до кустов одичавшей сирени; за ними тянулись каменные надгробия нечавских священников и, чуть особняком, возвышался семейный склеп Тшинецких — черный, с золотыми датами и именами, с тремя березами у гранитного изголовья. На свободном месте, которое, словно ничейная земля, отделяло склеп от других захоронений, глиняным пятном на белом зияла свежeweыкопанная могила. Стефан озадаченно остановился. В склепе, видно, уже не было места, а на его расширение не хватило времени или средств, так что Тшинецкому предстояло лежать в глине, как простому смертному. Стефан представил себе, что

пережил дядя Анзельм, когда распорядился привезти сюда останки, но выхода не было: некогда Нечавы принадлежали Тшинецким, здесь их всех и хоронили, и, хотя сейчас тут уцелел только дом дядюшки Ксаверия, традиция поддерживалась, и после каждой кончины семья направляла со всей Польши своих представителей на похороны.

С крестов, с веточек дикой сирени свисали прозрачные сосульки, тихо щелкали срывающиеся с них капли и дырявили снег. Стефан постоял над открытой могилой. Надо было идти домой, но ему так этого не хотелось, что он решил побродить по деревенскому кладбищу. Фамилии, выжженные раскаленной проволокой на дощечках, превратились в черные подтеки, многие вообще стерлись, остались только чистые доски. Проваливаясь то и дело в снег — ноги у него совсем заоченели, — Стефан обошел кладбище и вдруг остановился у могилы, над которой возвышался большой березовый крест с прибитым к нему куском жести. Виднелась на нем надпись, выведенная замысловатой вязью:

### *Прохожий Расскажи Польше Что Тут*

### *Лежат Ее Сыны Что Они Были Ей Верны*

### *До Последней Минуты*

Ниже — фамилии и воинские звания. Последним значился неизвестный солдат. Была еще сентябрьская дата 1939 года. С того сентября не прошло и шести месяцев, но надпись не пощадили бы ненастье и морозы, если бы не подновляла ее чья-то заботливая рука. О памяти свидетельствовали также пихтовые ветки, укрывавшие могилу, на удивление небольшую: трудно было поверить, что здесь покоятся несколько человек. Стефан постоял немного, растроганный и одновременно смущенный, ибо не знал, надо ли ему снять шляпу; так ничего и не решив, пошел дальше. В ледящем снегу отчаянно мерзли ноги; постукивая туфлей о туфлю, он взглянул на часы. Было двадцать минут второго, и следовало бы поторопиться, если он хочет вовремя попасть в усадьбу, но Стефан подумал, что, дождавшись здесь похоронную процессию, он удачно сократит свое пребывание на траурной церемонии, так что вернулся к выкопанной могиле, которая готова была принять тело дяди Лешека. Заглянув в пустую яму, Стефан обнаружил, что она очень глубокая. Ему были ведомы тайны погребальной техники, и он сообразил, что могилу углубили сознательно, дабы в будущем в ней мог поместиться еще один гроб — тетки Анели, вдовы дяди Лешека. Открытие это неприятно поразило Стефана, словно он невзначай увидел нечто отвратительное; он невольно отпрянул от могилы и устоялся на ряды покосившихся крестов. Уединение, казалось, обострило его восприимчивость; сейчас то, что различие в имущественном положении сохраняется и в сообществе мертвых, показалось ему абсурдом и подлостью. Комок подкатил к горлу. Вокруг — полнейшая тишина. Ни звука не доносилось из ближайшего села, даже вороны, чье карканье сопровождало Стефана, пока он бродил по кладбищу, совсем утомонились. Короткие тени от крестов лежали на снегу, холод поднимался по ногам и подбирался к самому сердцу. Ссутулившись, Стефан запрятал руки в карманы и в правом обнаружил маленький сверток — хлеб, который мать успела сунуть ему, когда он выходил из дома. Ему вдруг страшно захотелось есть, он вытащил из кармана сверток и развернул тонкую бумагу. Между ломтиками хлеба розовел лепесток ветчины. Стефан поднес было кусок ко рту, но есть над разверстой могилой не смог. Он убеждал себя, что это предрассудок, — подумаешь, всего-то яма, вырытая в глине, — но пересилить себя так и не

сумел. Держа хлеб в руке, побрел к кладбищенским воротам. Попадались и безымянные кресты, в их корявых очертаниях тщетно было бы доискиваться каких-либо индивидуальных черт, способных что-то рассказать об их владельцах-покойниках. Стефан подумал, что забота о сохранности могил — выражение родившейся в незапамятные времена веры в то, что вопреки утверждениям религии, вопреки очевидности гниения, вопреки тому, что подсказывают нам чувства, умершие под землей влачат какое-то существование, может, неудобное, может, даже жалкое, но влачат его до тех пор, пока над землей еще стоят какие-то опознавательные знаки.

Стефан добрался до ворот, еще раз взглянул издали на ряды утопающих в снегу крестов и желтоватое пятно вырытой могилы, затем вышел на раскисшую дорогу. Додумав до конца последнюю свою мысль, он ясно осознал нелепость кладбищенских церемониалов, а собственное участие в сегодняшних похоронах посчитал делом постыдным. Он даже мысленно попенял родителям за то, что они впутали его в эту историю, тем более нелепую, что он, собственно, и не был тут сам по себе, а лишь представлял больного отца.

Стефан неторопливо принялся за бутерброд с ветчиной; каждый кусок приходилось обильно смачивать слюной, глотал он с трудом, в горле совсем пересохло. А мысли обгоняли друг друга. Да, так оно и есть, рассуждал он, люди какой-то самой глухой к очевидным доводам частью своего естества верят в это открытое мною сейчас «бытие умерших». Иначе, если бы забота о могилах была лишь выражением любви к ушедшему и скорби о нем, они удовлетворялись бы заботой о надземной, зримой части могилы. Однако, если свести причины кладбищенских хлопот людей к такого рода чувствам, нельзя объяснить, почему они так стремятся устроить трупы поудобнее, почему покойников обряжают, кладут им подушечку под голову и помещают их в футляры, которые, насколько возможно, защищают их от воздействия сил природы. Теми, кто так поступает, должна руководить слепая и нелепая вера в дальнейшее существование умерших — то жуткое, пугающее живых существование в тесноте заколоченного гроба, которое, как подсказывает им интуиция, видимо, все же лучше полного исчезновения и слияния с землей.

Не отдавая себе в этом отчета, Стефан зашагал в сторону села и колокольни костела, блестящей на солнце. На повороте шоссе он вдруг заметил какое-то движение и еще прежде, чем понял, в чем дело, торопливо сунул бутерброд в карман.

Там, где шоссе огибало цепь холмов, пробегая у подножия ее крутой, глинистой стены, показалось темное пятно погребального шествия. Люди были так далеко, что он не различал лиц, видел только плывший впереди крест, а за ним — белые пятнышки стихарей, крышу автомобиля и подальше — множество крохотных фигурок, которые шли так медленно, словно топтались на месте. Двигались они наверняка степенно, но издали казались такими маленькими, что все это выглядело гротескно. Трудно было отнести к этому карликовому шествию всерьез и с надлежащей миной поджидать его здесь, но и отправиться ему навстречу было не легче. Шествие напоминало разбросанных как попало, обряженных в черное кукол; сгрудившись, они пробирались под крутым глинистым откосом, и ветер доносил оттуда ошметки каких-то невнятных причитаний. Стефану хотелось оказаться там как можно скорее, однако он не решался сделать и шага и, обнажив голову — ветер тут же взлохматил ему волосы, — остался стоять у обочины. Человек непосвященный не смог бы разобрать: то ли это опоздавший участник траурного обряда, то ли просто случайный прохожий. Процессия приближалась, и фигуры идущих росли, вот они уже переступили незримую границу того «далека», эффект которого произвел такое странное впечатление на зрителя. Наконец Стефан узнал старика крестьянина, шагавшего впереди с крестом, обоих ксендзов, ползущий за ними грузовик с соседней лесопилки и, наконец, все бредущее врассыпную семейство. Нескладное пение деревенских баб не умолкало ни на минуту, а когда до процессии оставалось всего

несколько шагов, послышался церковный звон — сперва несколько робких звуков, потом удар полновесный, мощный, величественно растекающийся окрест. Услышав звуки колокола, Стефан подумал, что сперва потянул за веревку меньшей из Шымчаков, Вицек, которого тут же отогнал рыжий Томек, единственный, кому доверялось звонить, — но тут же и спохватился: «меньшой» Вицек должен быть уже взрослым парнем в его, Стефана, возрасте, а о Томеке, с тех пор как он подался в город, ни слуху ни духу. Но значит, борьбу за право звонить продолжало в Нечавах юное поколение.

Бывают в жизни положения, не предусмотренные учебниками хорошего тона, столь сложные и щепетильные, что найти выход из них способен лишь тот, кто обладает большим тактом и очень уверен в себе. Стефан, лишенный этих достоинств, не имел понятия, как ему присоединиться к шествию; он пребывал в нерешительности, чувствуя, что его наверняка заметили, и это только усугубляло его замешательство. К счастью, перед самым костелом процессия остановилась, один из ксендзов подошел к кабине грузовика и о чем-то спросил водителя, и тот закивал в знак согласия, а незнакомые Стефану мужики залезли в кузов и принялись стаскивать гроб. Началась общая неразбериха; воспользовавшись этим, Стефан успел присоединиться к группе, топтавшейся у грузовика. И тут же увидел коренастую фигуру и сидящую, втянутую в плечи голову дяди Ксаверия, который поддерживал, под руку тетку Анелю — она была вся в черном; в это время кто-то тихо позвал его: нужны были люди, чтобы внести гроб в костел. Стефан метнулся туда, но, поскольку, как обычно, когда требовалось на глазах у всех совершить мало-мальски ответственное деяние, он порол горячку, его готовность к действию проявилась лишь в нервическом притоптывании подле кузова грузовика. Наконец гроб вознесся над головами присутствующих без его помощи, Стефану же досталось нести медвежью бурку, которую в последнюю минуту сбросил с себя и протянул ему старший брат отца, дядя Анзельм.

Бурку эту Стефан внес в храм, войдя одним из последних, но он был убежден, что, волоча эту огромную медвежью шкуру, он помогает тому, чтобы церемония проходила надлежащим образом. Колокол закончил свою однообразную песнь коротким ударом, словно поперхнулся, оба ксендза на минуту куда-то пропали, потом снова появились, а тем временем семейство рассаживалось, и от алтаря поплыли первые латинские слова заупокойной молитвы.

Стефану ничто не мешало сесть, свободных мест на скамейках было полно, да и дядина бурка оттягивала руки, но он предпочел остаться со своей ношей в нефе — может, и потому, что стоять было тяжело, и он словно бы расплачивался этим за свою недавнюю робость. Гроб уже поставили против алтаря, и дядя Анзельм, зажегши вокруг него свечи, направился прямо к Стефану, чем даже немного смутил молодого человека (тот посчитал, что тень от колонны, за которой он стоял, не выдает его). Положив, Стефану руку на плечо, дядя под распев священников прошептал:

— Отец болен?

— Да, дядя. Вчера у него был приступ.

— Все камни, да? — спросил Анзельм своим пронзительным шепотом и хотел было взять бурку у Стефана, но тот, однако, не хотел отдавать ее и бормотал:

— Да нет, пожалуйста, я уж подержу...

— Ну, отдай же, осел, тут ведь холод собачий! — возразил дядя добродушно, но почти не понижая голоса, накинул на плечи бурку и подошел к скамье, на которой сидела вдова, оставив Стефана в дураках; молодой человек почувствовал, что у него запылали щеки.

Это, в сущности, пустяковое происшествие вконец испортило ему настроение. Успокоился он нескоро и только тогда, когда заметил дядю Ксаверия, сидевшего на последней скамье, с самого края. Стефан даже развеселился немного, подумав, как нелепо должен чувствовать себя

тут Ксаверий, этот воинствующий безбожник, который пытался наставлять напуть истинный каждого вновь прибывающего приходского священника. Это был старый холостяк, горячая голова и правдолюб, азартный подписчик библиотеки Боя,<sup>[1]</sup> сторонник регулирования рождаемости и вдобавок единственный врач на двенадцать километров окрест. В свое время родственники из Келец попытались выжить его из старого дома, годами воюя с ним в повятовых и окружных судах, но Ксаверий выиграл все процессы, да еще так хитроумно, как он сам говорил, им нахамил, что они ничего не смогли с ним поделаться. Сейчас он сидел спокойно, огромные руки лежали на пюпитре; от поверженной родни его отделяла пустая скамья.

Едва зазвучал проникновенный голос органа, как в душе Стефана забрезжило воспоминание о давнишнем ощущении пылкой и смиренной святости, которое обжигало ему душу, когда он был еще совсем ребенком; к органной музыке он всегда испытывал глубочайшее уважение. Заупокойная служба шла по всем правилам; один из ксендзов раздул кадило в маленькой жаровне и обошел гроб, обволакивая его клубами пахучего — правда, немного отдававшего гарью — дыма. Стефан поискал глазами вдову — она сидела во втором ряду, согбенная, покорная, удивительно равнодушная к словам ксендзов, которые в узоры латыни то и дело вплетали ее фамилию, а значит, и фамилию покойного, повторяя ее нараспев, торжественно и, казалось, настойчиво, — но обращались они не к кому-нибудь из живых, только к Провидению: его они просили, его умоляли, от него они чуть ли ни требовали проявить снисхождение к тому, кого уже не было.

Орган умолк, и снова надо было брать на плечи гроб, воздвигнутый на возвышении перед алтарем, но теперь Стефан даже не пытался к нему приблизиться; все встали и, покашливая, готовились продолжить путь. В тот момент, когда гроб, слегка покачиваясь, выплывал из полутемного нефа на ступеньки костела, произошел казус: продолговатый тяжелый ящик угрожающе накренился вперед, но тут же лес вздетых рук вернул ему равновесие, и он, еще сильнее раскачиваясь, словно возбужденный тем, что едва не произошло, выскользнул навстречу солнцу, теперь уже почти касавшемуся земли.

В эту минуту у Стефана промелькнула крайне нелепая и чудовищная мысль, что в гробу, конечно же, дядя Лешек, ибо он всегда любил откалывать разные номера, особенно по торжественным случаям. Мысль эту он тут же пресек, вернее, повернул ее в русло вполне здравого рассуждения: все это абсурд, и в гробу вовсе не дядя, а лишь какие-то крохи от него, что-то, оставшееся от него, такое постыдное и неприличное, что для устранения этого из мира здравствующих изобрели и инсценировали всю эту, несколько затянутую и слегка отдающую притворством процедуру.

Тем временем он вместе со всеми шел за гробом к распахнутым настезь воротам кладбища. Окружающая Стефана процессия состояла из каких-нибудь двадцати человек; здесь, поодаль от гроба, они производили довольно странное впечатление, поскольку одежда их представляла собой нечто среднее между дорожной (почти все приехали в Нечавы издалека) и праздничным нарядом, причем черный цвет преобладал. Вдобавок большинство мужчин были в английских башмаках с крагами, а некоторые дамы — в похожих на сапоги высоких, отороченных мехом ботинках. На ком-то — Стефан не мог узнать его со спины — была шинель без знаков различия; петлицы словно выдраны, шинель туго перетягивал ремень; эта шинель, которая надолго приковала к себе взгляд Стефана, служила здесь единственным напоминанием о Сентябрьской кампании; впрочем, нет, решил он тут же, свидетельствовало о ней также отсутствие тех, кто в иных обстоятельствах явился бы сюда непременно: скажем, дяди Антония и кузена Петра, сейчас оба они в немецком плену.

Пение, а скорее завывание деревенских баб, повторяющих протяжное «Вечный покой ниспошли ему, Господи...», какое-то время раздражало Стефана, но вскоре перестало доходить

до его сознания. Процессия растянулась, потом сгрудилась у кладбищенских ворот и вслед за высоко поднятым гробом потекла черным ручейком между крестов. Над разверстой могилой снова начались молитвы. Стефану это уже поднадоело, и он даже подумал, что, будь он верующим, счел бы эти беспрестанно повторяющиеся просьбы навязчивостью по отношению к тому, к кому они обращены.

Он еще не успел додумать этого до конца, как кто-то потянул его за рукав. Стефан оглянулся и увидел обрамленное меховым воротником широкое, с орлиным носом, лицо дяди Анзельма, который спросил его — опять слишком громко:

— Ты что-нибудь ел сегодня? — и, не дождавшись ответа, быстро добавил: — Не беспокойся, будет бигос!

Он хлопнул племянника по спине и, сутулясь, стал пробираться между собравшимися, которые окружали пустую еще могилу. К каждому он прикасался пальцем и шевелил губами — Стефана это очень поразило, но потом он разгадал прозаический смысл дядиных действий: Анзельм попросту пересчитывал присутствующих. И затем громким шепотом дал какое-то распоряжение парнишке, который с простоватой учтивостью выбрался из черного круга, а оказавшись за воротами, рванул напрямик к дому Ксаверия.

Покончив с хозяйственными делами, дядя Анзельм снова то ли умышленно, то ли случайно встал рядом со Стефаном и даже улучил момент, чтобы обратить его внимание на живописность группы, обступившей могилу. В это время четверо рослых мужиков подняли гроб и начали опускать его на веревках в яму, пока он не улегся на дно, но немного косо, так что одному из них пришлось, упершись посиневшими руками в края ямы, пнуть гроб сапогом. Такая бесцеремонность по отношению к предмету, который до этого мгновения был окружен всеобщим почтением, покорила Стефана. В этом факте он увидел еще одно подтверждение своей мысли о том, что живые, как бы они ни изощрялись, стараясь смягчить чудовищно резкий переход от жизни к смерти, все-таки никак не умеют отыскать и занять единообразную последовательную позицию по отношению к покойным.

Когда лопаты, трудившиеся с рвением, переходящим в исступленность, засыпали могилу и выровняли продолговатую кучу глины, явственно обнаружилась военная специфика этих похорон, ибо немислимо было, чтобы уходящие с кладбища оставили могилу одного из Тшинецких не усыпанной цветами, однако в ту первую послесентябрьскую зиму об этом нечего было и думать. Подвели даже оранжереи соседней усадьбы Пшетуловичей, поскольку стекла были выбиты во время боев, так что своеобразное надгробие образовалось лишь из охапок елового лапника. И вот, по прочтении последней молитвы, сотворив крестное знамение, собравшиеся один за другим стали словно украдкой поворачиваться спиной к зазеленевшему холмику из глины и гуськом потянулись снежными тропами на залитый водой, грязный сельский проселок.

Когда ксендзы, промерзшие, как и все, сняли свои белые стихари, они сразу стали выглядеть как-то обыденно. Подобная же, хотя и менее разительная, перемена произошла с остальными: улетучилась торжественная серьезность, не осталось и следа от эдакой замедленной плавности движений и взглядов, и наивному наблюдателю могло бы показаться, что эти люди до сей поры все время ходили на цыпочках, а теперь вдруг пошли нормальным шагом.

На обратном пути Стефан изо всех сил старался не попадаться на глаза тетке Анеле — вдове; не то чтобы он ее не любил или ей не сочувствовал, напротив, ему было жаль тетку, тем более что он знал, какой они с дядей были счастливой супружеской парой, но как он ни старался, не мог выдать из себя ни единого слова соболезнования. Эти душевные терзания и загнали его в первые ряды возвращавшихся, где дядя Ксаверий вел под руку тетку Меланью

Скочинскую. Картина была столь странной и редкостной, что Стефан просто обомлел, ибо дядя терпеть не мог Меланью, называл ее ампулкой со старым ядом и говаривал, что необходимо дезинфицировать землю, по которой ступала ее нога. Тетка Меланья, старая дева, с незапамятных времен занималась разжиганием внутрисемейных раздоров, наслаждаясь сладкой ролью нейтрального человека: она переносила из дома в дом ядовитые колкости и сплетни, из-за чего вспыхивали великие обиды и случалось множество неприятностей, так как все Тшинецкие отличались и горячностью, и необыкновенной твердостью в однажды зароненных в их души чувствах. Завидя Стефана, Ксаверий еще издали крикнул:

— Приветствую тебя, брат во Эскулапе! Диплом уже получил, а?

Стефан, естественно, остановился, чтобы поздороваться, и с размаху клюнул носом озябшую длань тетки-девицы, затем они уже втроем пошли к дому, вынырнувшему из-за деревьев, — самая настоящая усадьба, цвета яичного желтка, с классическими маленькими колоннами и огромной верандой, смотрящей на фруктовый сад. У входа остановились, поджидая остальных. Дядя Ксаверий вдруг почувствовал себя хозяином — он с таким жаром стал приглашать всех в дом, словно родственники только и думали, что разбежаться по заснеженным и топким полям. Уже в дверях Стефан подвергся недолгим, но мучительным истязаниям приветствиями: отложенные до окончания похорон, теперь они обрушились на него лавиной. Приходилось быть начеку, чтобы, целуя попеременно ручки и колючие щеки, не склониться ненароком к мужской руке — такое иногда с ним случалось. Он даже не заметил, как, наслушавшись шарканья подошв и шелеста рукавов снимаемых одежд, оказался в гостиной. Увидя огромные напольные часы с бронзовыми гириями, он вдруг почувствовал себя дома: вот там, у противоположной стены, под рогатым оленьим черепом, стелили для него постель, когда он приезжал в Нечавы на каникулы; по углам стояли одряхлевшие кресла, с которыми он днем сражался, добираясь до их волосяного нутра, а ночью его иногда будил басовитый бой часов, и щит циферблата призрачно мерцал из мрака отраженным лунным свечением — круглый, холодный, размазанный сном и мертвенно светящийся, совсем как луна. Стефану, однако, не удалось предаться воспоминаниям детства: в гостиной становилось все оживленнее. Дамы рассаживались в кресла, мужчины стояли кто где, прячась в облаках папиросного дыма, разговор еще не завязался по-настоящему, а обе створки дверей в столовую уже распахнулись, и на пороге появился Анзельм. С суровым добродушием слегка рассеянного цезаря он пригласил всех к столу. Разумеется, о поминках не было и речи, слово это прозвучало бы неуместно — попросту опечаленных и уставших с дороги родственников приглашали скромно перекусить.

Был тут, среди родни, и один из ксендзов, что возглавляли процессию на кладбище. Худой, с желтоватым, утомленным, но улыбающимся лицом, словно радовался, что все прошло так гладко. Этот ксендз, низко, но с достоинством склонив голову, беседовал со старейшиной рода Тишнецких — тетушкой-бабушкой Ядвигой, маленькой старушкой в длинном и слишком свободном платье, в котором, казалось, она пребывала испокон веку, а теперь вот увяла и съежилась, и потому ей приходится держать руки молитвенно воздетыми, дабы кружевные манжеты не сползли до кончиков высохших пальцев. Ее чуть плоское и в общем-то не старое лицо было отрешенным и упрямым, словно она, вовсе не слушая ксендза, замышляла какую-то старчески наивную шалость. Обозревая собравшихся круглыми голубыми глазами, она внезапно обнаружила Стефана и согнутым в крючок пальцем поманила его. Молодой врач набрался духу и подошел, ксендз замер, а тетка-бабка разглядывала Стефана снизу вверх внимательно и вроде даже лукаво и наконец проговорила поразительно низким голосом:

— Стефан, сын Стефана и Михалины?

— Да, да, — с готовностью поддакнул он.

Тетушка-бабка улыбнулась ему — довольная то ли своей памятью, то ли видом

внучатого племянника; взяла его руку своей костистой, высохшей от старости ручкой, поднесла ее к глазам, осмотрела с обеих сторон и потом вдруг отпустила, словно не нашла в ней ничего интересного. Опять посмотрела своими светлыми глазами в глаза ошеломленного всем этим Стефана и сказала:

— А знаешь ли ты, что твой отец хотел стать святым?

Тихонько трижды прокудахтала и, не дав Стефану сказать ни слова, прибавила ни к селу ни к городу:

— У нас еще где-то есть его пеленки, сохранились.

Потом устала прямо перед собой и больше не подавала голоса. Между тем дядя Анзельм появился снова и уже энергичнее пригласил всех в столовую, затем отвесил грациозный поклон тетке-бабке и двинулся с ней в первой паре; за ними последовали другие. Тетушка-бабушка не забыла про Стефана, так как выразила желание, чтобы он сел рядом с ней, и тот исполнил ее желание с радостным отчаянием: случается человеку испытывать подобные сочетания полярно противоположных чувств. Суэта, сопровождавшая рассаживание по местам, стихла; появился отсутствовавший доселе хозяин, дядя Ксаверий, с огромной фаянсовой супницей, источавшей крепкий аромат бигоса, и, обходя всех по очереди, своей эскулапской рукой с пожелтевшими от никотина пальцами черпал половником бигос и низвергал его в тарелки с такой удалью, что женщины шарахались, опасаясь за свои туалеты, — настроение за столом сразу поднялось. Говорили об одном и том же: о погоде и надеждах на весеннее наступление союзников.

Слева от Стефана сидел высокий, плечистый мужчина, который еще на кладбище привлек его внимание своей армейской шинелью. Это был родственник матери Стефана, Гжегож Недзиц, арендатор с Познанщины. Он все время молчал, а когда менял позу, застывал в ней надолго, точно аршин проглотил, и только улыбался бесхитростно, робко и как-то очень по-детски, словно извиняясь за неудобство, которое он доставляет своим присутствием; улыбка эта резко контрастировала с его загорелым, усатым лицом и одеждой — ее наверняка сшили дома из солдатского одеяла, так как сидело все на нем ужасно.

Чувствовалось, что подобные встречи за столом после похорон для присутствующих не в новинку, и Стефан вспомнил, что в последний раз он видел всю родню за трапезой на Рождество в Келецах. Это давало пищу для размышлений, ибо всеобщие примирения были редки, и родственников спланивали исключительно похороны, но, хотя тогда никто из близких и не скончался, накал всеобщего горя был схож, поскольку происходило это вскоре после похорон отчизны, — следовательно, тогдашнее согласие вовсе и не было исключением из правила.

Стефан чувствовал себя неуютно в этом обществе, притом по многим причинам. Он вообще не любил больших, а особенно — торжественных сборищ. Далее: видя здесь ксендза, он знал заранее, что присутствие духовного лица неминуемо спровоцирует Ксаверия на богохульство и подковырки, а скандалов Стефан просто не выносил. Наконец, он чувствовал себя скверно потому, что его отец (которого он здесь представлял) не пользовался у родни доброй славой, — он единственный, насколько помнится, изобретатель среди помещиков и врачей, да еще такой, который, хоть ему и было уже под шестьдесят, ничего, собственно, не изобрел.

Настроения этого не смягчало соседство Гжегожа Недзица; он, казалось, родился молчуном, так как на попытки завязать разговор отвечал, лишь более теплой, чем обычно, улыбкой и благодарным взглядом, который он на миг отрывал от тарелки, — но Стефану этого было мало, он жаждал погрузиться в беседу, тем более что заметил зловещие вспышки в глазах Ксаверия: тот явно к чему-то готовился. И вот, когда воцарилась относительная тишина, нарушаемая только стуком ложек по тарелкам, дядя промолвил:



— А ты, дорогой мой Стефанек, в костеле, наверное, чувствовал себя, как внуч в гареме, верно?

Реплика эта должна была рикошетом задеть ксендза, и дядя, судя по всему, планировал острое продолжение, но ему не удалось насладиться реакцией на свои слова, ибо родственники, как по команде, заговорили громко и торопливо, благо все знали, что Ксаверий подобные вещи говорить должен и единственное противоядие — немедленно глушить их общим громким разговором. Потом одна из прислуживавших баб вызвала дядю в кухню на поиски грудинки, которая куда-то запропастилась, и трапеза была прервана неожиданной паузой. Стефан скрашивал ее созерцанием коллекции родственных физиономий. Пальму первенства он бесспорно отдавал дяде Анзельму. Широкий в плечах, грузный, по не тучный, скорее массивный, лицо не красивое, но барственно породистое, и он знал этому цену! Пожалуй, наряду с медвежьей буркой, только это лицо и осталось у него, некогда владельца обширных угодий, утраченных лет двадцать назад. Якобы благодаря сельскохозяйственным экспериментам — но на этот счет Стефан не знал ничего определенного. Наверняка было известно лишь то, что Анзельм энергичен, задирист и вспыльчив одновременно; причем предаваться гневу он умел, как никто в семействе, — по пять, а то и десять лет, так что даже тетя Меланья забывала, из-за чего, собственно, разгорелся сыр-бор. В эти затяжные раздоры никто не отваживался вмешиваться, так как, если дядя обнаруживал, что родственник не знает причины его обид, гнев Анзельма автоматически распространялся и на незадачливого посредника. Именно так ожегся отец Стефана. Однако самые сильные враждебные чувства в душе дяди Анзельма, как и вообще в семье, стихали, когда умирал родственник; вызванная таким образом «treuga Dei»<sup>[2]</sup> продолжалась, в зависимости от обстоятельств, несколько дней или чуть больше недели. Тогда его врожденная доброта отражалась в каждом взгляде и слове — такая бесконечно щедрая и незлопамятная, что всякий раз Стефан бывал глубоко убежден, что это не временное перемирие, а окончательный отказ от гнева. Но потом нарушенный соприкосновением со смертью строй дядиных чувств восстанавливался, неумолимая суровость воцарялась на годы, и ничто не менялось — до следующих похорон.

Эта неподвластность дяди Анзельма и его чувств времени необычайно нравилась Стефану в детстве; позже, в университетские годы, он отчасти разгадал, в чем дело. Некогда гневливость дяди опиралась на его материальное могущество, на его владения, то есть, проще говоря, на будущее наследство, но благодаря стойкости характера Анзельм не лишился в семейном кругу способности гневаться и после потери состояния, и его побаивались по-прежнему, хотя гнев его уже не подкреплялся угрозой лишения наследства. Но, даже обнаружив этот ключ, Стефан так и не освободился от почтения, сдобренного страхом, — чувства, которое вызывал у него старший из братьев отца.

Грудинка неожиданно нашлась здесь же, в столовой, в черном буфете; когда эту огромную глыбу мяса извлекали из недр старинного буфета, ее черный цвет напомнил Стефану о черном цвете гроба, и на минуту ему стало не по себе. Из двери, ведущей в коридор, с топотом и шумом внесли вереницу жареных уток, банки с терпкой брусникой и блюда с дымящимся картофелем; обещанная ранее скромная трапеза явно превращалась в пиршество, тем более что дядя Ксаверий доставал из буфета одну за другой бутылки вина. Ощущение отчужденности от присутствующих неожиданно и резко обострилось; Стефана и до сих пор немного огорчал и тон разговоров, и изобретательность, с которой избегали упоминания о смерти, а ведь в конце концов именно она и была единственным поводом этой встречи, теперь же это огорчение многократно возросло, и Стефана уже оскорбляло все, в том числе и стенания по утраченной родине, сопровождавшиеся энергичной работой вилок и челюстей. А когда он подумал о дяде Лешеке, который лежал теперь заваленный глиной на пустынном кладбище, ему показалось, что

только он еще и помнит о покойном; с неприязнью взирал он на раскрасневшиеся лица сотрапезников, и его возмущение выплеснулось за пределы семейного круга и вылилось в презрение ко всему миру. Но пока Стефан мог выразить его лишь воздержанием от еды, в чем настолько преуспел, что встал из-за стола почти голодный.

Но еще до этого в поведении доселе молчавшего Гжегожа Недзица, его соседа слева, произошла какая-то перемена. Уже некоторое время он озабоченно вытирал усы, робко посматривал по сторонам и на дверь, словно прикидывая на глазок расстояние; он явно к чему-то готовился. Вдруг наклонился к Стефану и шепотом объявил, что ему пора идти, чтобы успеть на познанский поезд.

— Ты что, хочешь ехать на ночь глядя? — как-то рассеянно удивился Стефан.

— Да, завтра надо быть на работе.

Гжегож стал объяснять, что там, на Познанщине, немцы поляков едва терпят и отпуск на день удалось получить с огромным трудом; всю ночь он добирался до Нечав, а теперь самое время в обратный путь... Оборвав нескладную речь, громадный усач глубоко вздохнул, резко поднялся, едва не потащив за собой скатерть вместе с посудой, и, кланяясь вслепую, на все стороны, стал протискиваться к дверям. Посыпались вопросы, протесты, но на пороге упрямый молчун еще раз отвесил всем низкий поклон и исчез в передней. За ним бросился дядя Ксаверий, вскоре хлопнула входная дверь. Стефан глянул в окно. На дворе уже стояла тьма. Он представил себе долговязую фигуру в куцой солдатской шинели на раскисшей дороге... Посмотрел на опустевший стул по левую руку, заметил, что бахрома низко свисающей накрахмаленной скатерти раскручена и старательно расправлена прилежными пальцами, и в груди защемило от теплой, сердечной жалости к этому, собственно говоря, незнакомому дальнему родичу, который уже вторую ночь кряду будет трястись в темном, холодном вагоне ради того только, чтобы пешком пройти сотню-другую шагов, провожая покойного.

Гости вставали из-за стола, который, как обычно после обильной трапезы, выглядел жалко — на тарелках высились обглоданные кости, облепленные застывшим жиром. Наступило минутное затишье, воспользовавшись которым мужчины полезли в карманы за папиросами; ксендз протирал замшей очки, а тетушка-бабушка впала в тупую задумчивость, которая походила бы на дремоту, если бы не широко открытые глаза. Среди этого всеобщего молчания, пожалуй, впервые прозвучал голос Анели — вдовы. Все еще сидя за столом, не пошевелившись, не поднимая поникшей головы, она проговорила, упершись взглядом в скатерть:

— Знаете, все это как-то смешно...

И голос ее осекся. Напряженного молчания, которое вслед за этим наступило, никто не решался нарушить: ничего подобного никто обычно себе не позволял, никто не был к этому подготовлен. Ксендз, правда, тотчас направился к Анеле, двигаясь с какой-то рутинной озабоченностью, словно врач, которому положено оказать первую помощь, но который не знает, что надо сделать; однако этим он и ограничился, застыл подле нее — она вся в черном, он тоже в черной сутане, с лимонно-желтым лицом и припухшими веками; он стоял и часто моргал, пока не выручила всех прислуга, вернее, исполняющие ее роль деревенские бабы, которые вошли и с невообразимым шумом принялись собирать тарелки и блюда.

В полумраке гостиной, рядом с поблескивающим стеклами дубовым книжным шкафом, под бронзовой, слегка коптящей керосиновой лампой с абажуром апельсинового цвета, дядя Ксаверий объяснялся торопливым полушепотом с родственниками. Одних уговаривал переночевать, других информировал о расписании поездов, распоряжался, когда кого будить; Стефан хотел было немедля отправиться в обратный путь, но, узнав, что поезд у него только в три часа ночи, заколебался, дал себя уговорить и решил остаться до утра. Ночевать ему предстояло в гостиной, напротив часов, поэтому пришлось ждать, пока все разойдутся. Когда

это наконец произошло, была уже почти полночь. Стефан быстро умылся, разделся под едва-едва мигавшей лампой, задул ее и, зябко поеживаясь, скользнул под холодное одеяло. Сонливость, одолевавшую его до этого, как рукой сняло. Он долго лежал на спине без сна, а часы, едва различимые в крошечной тьме, величественно, с каким-то чрезмерным рвением, вызванивали четверти и часы.

Мысли его, поначалу неопределенно-туманные, цеплялись за сценки пережитого дня, однако неторопливо и как бы преднамеренно бежали в одну сторону. В характере всего семейства сошлись лед и пламень, горячность и упрямство. Тшинецкие из Келец славились алчностью, дядя Анзельм — вспыльчивостью, тетка-бабка — неким, сглаженным временем любовным безумством; эта роковая черта проявлялась у каждого в семействе по-своему: отец был изобретателем, всем остальным занимался из-под палки, от мирских забот отмахивался, как от мух, часто путал дни недели, дважды проживал четверг, а потом выяснялось, что проворонил среду, но это не была обыкновенная рассеянность, только чрезмерная сосредоточенность на идее, которая в данный момент его обуревала. Когда отец не спал и не болел, можно было дать голову на отсечение, что он торчит в своей крохотной, оборудованной на чердаке мастерской, среди пламени спиртовок и газовых горелок, в окружении раскаленных инструментов, вдыхая запах кислот и металлов, и что-то к чему-то прилаживает, что-то шлифует, что-то сочленяет, и все эти манипуляции, из которых складывается процесс поиска, никогда не прекращались, хоть и менялись направления экспериментов, — от одной неудачи отец шествовал к другой с одинаковой верой, со страстью, настолько мощной, что на посторонних производил впечатление одержимого или законченного безумца. В Стефане он никогда не видел ребенка. С мальчонкой, появлявшимся в полутемной мастерской, он разговаривал как со взрослым, причем таким, который, например, плохо слышит, и потому беседа с ним постоянно обрывается, оба то и дело друг друга не понимают. Невзирая на это, отец — с набитым шурупами ртом, в прожженном халате, переходя от токарного станка к тискам, а от них снова к токарному станку, — говорил с сыном так, словно читая лекцию, прерываясь, чтобы с головой погрузиться в какую-нибудь операцию. А о чем он говорил? Стефан теперь и не помнил толком, ибо, когда слушал эти речи, был слишком мал, чтобы понять их смысл, но, кажется, говорил отец примерно так: «Того, что было и миновало, нет, точно этого вообще никогда не было. Это вроде пирожного, которое ты съел вчера, никакого тебе от него толка. Поэтому можно себе приделать прошлое, которого у тебя не было: стоит в него только поверить, и будет так, словно ты его и в самом деле прожил».

А однажды сказал ему такое: «Разве ты хотел появляться на свет? Ведь нет же — правда? Ну не мог же ты хотеть, если тебя не было? Видишь ли, я тоже не хотел, чтобы ты родился. То есть хотел сына, но не тебя, ведь тебя я не знал — значит, не мог и хотеть тебя... Хотел сына вообще, а ты — реальный...»

Стефан, собственно, редко заговаривал с отцом и ни о чем его не спрашивал, но как-то (было ему лет пятнадцать) все-таки спросил, что отец сделает, когда у него получится его изобретение? Тот нахмурился, долго молчал, а потом ответил, что займется изобретением чего-нибудь еще. «Зачем?» — тут же спросил Стефан. Вопрос этот, как и первый, был продиктован глубоко скрываемой, но нарастающей с годами неприязнью к своеобразной профессии отца, которая — это подросток знал слишком хорошо — была предметом всеобщих издевок, и тень от отцовского чудачества падала и на него. Старший Тшинецкий ответил подростку так: «Стефек, так спрашивать нельзя. Видишь ли, если бы умирающего спросили, хочет ли он прожить жизнь заново, он наверняка согласился бы и вовсе не стал интересоваться, зачем ему жить. Так и с моей работой».

Эта работа, подвижническая и изнурительная, не приносила ничего, дом содержала мать —

точнее, ее отец. Следовательно, отец был на иждивении жены, и это до такой степени возмутило Стефана, когда он об этом узнал, что некоторое время презирал отца. Подобные, хоть и менее сильные, чувства питали к Тшинецкому его братья, но с годами это как-то постепенно сгладилось: то, к чему за долгое время люди привыкают, в конце концов им надоедает. Пани Тшинецкая любила мужа, но, к сожалению, его занятия были выше ее понимания: супруги вели друг против друга партизанскую войну, хотя почти и не догадывались об этом, поскольку было это противоборство предметов, принадлежащих к двум сферам: мастерской и жилищу; отец и думать не хотел о том, чтобы превратить квартиру в продолжение мастерской, но это происходило как бы само собой; на столах, шкафах и секретерах вырастали горы проволоки и металла, а мать тряслась над своими скатертями, кружевными салфетками, рододендронами и араукариями; отец не жаловал этот огород, исподтишка подрезал корни, тайно радуясь симптомам увядания, мать во время генеральных уборок смахивала то какой-нибудь бесценный кабель, то какую-нибудь незаменимую шайбу, и все это делалось без задней мысли. Погружаясь в работу, пан Тшинецкий словно отправлялся в далекое путешествие, а возвращался оттуда только сраженный очередным приступом болезни. Хотя пани Тшинецкую действительно тревожили хвори супруга, полнейшее спокойствие она обретала лишь тогда, когда муж лежал в постели, стонущий, беспомощный, обложенный грелками, ибо тогда-то она по крайней мере понимала, что ему нужно и что с ним происходит.

Громкий бой часов расчленил темноту над лежащим Стефаном, мысли которого уже покинули родительский кров и вернулись к пережитому дню. Рассматриваемые на холодную голову родственные узы, это хитросплетение интересов и чувств, сплочение в дни рождений и смертей, — все это представлялось ему никчемным и скучным. Его одолевала страсть к обличительству, ему представлялось, будто он должен прокричать в лицо родне жестокую правду, сказать, что вся ее будничная и праздничная возня — пустышка, но, когда он стал подбирать слова, с которыми мог бы обратиться к живым, мысль его коснулась дяди Лешака и замерла, словно с перепугу. Когда это произошло, он не перестал думать, но теперь мысли его побежали как бы сами собой, а он только следил за их бегом. Приятная усталость растекалась по всему телу — предвестник скорого сна, — тут-то он и вспомнил братскую могилу на сельском кладбище. Победенная отчизна умерла, это была метафора, но та скромная солдатская могила вовсе не была метафорой, и что же там было еще делать, как не стоять молча, с сердцем, замирающим от горя, но и от радости — в предвкушении общности, которая больше, чем единичная жизнь и единичная смерть. И тут же, рядом, был дядя Лешек. Стефан увидел его могилу, не припорошенную снегом, нагую, так ясно, будто уже во сне. Но он не спал, и родина вдруг смешалась в его сознании с семьей. И ту, и другую он подверг суду разума, и обе они продолжали жить в нем самом, а может, это он жил в них, ах, ничегошеньки он уже не знал и только, засыпая, прижал руки к сердцу, ибо ему привиделось, что порвать связь с ними — все равно что умереть.

## Нежданный гость

Открывая глаза, еще затуманенные сном, Стефан приготовился увидеть прямо перед собой овальное зеркало на львиных лапах из позолоченного гипса, брюхатый комод и зеленое облачко аспарагуса в простенке. Каково же было его удивление, когда явь опровергла эти ожидания: он лежал очень низко, почти на самом полу, в огромной комнате, незнакомой, в которой все как будто звучно позванивало; в небольших окнах, завешенных прозрачной бахромой сосулек, голубел рассвет — чужой, так как не было серой стены соседнего дома.

И, лишь потянувшись и сев в постели, он вспомнил весь вчерашний день. Быстро встал, дрожа от холода, выскользнул в переднюю, отыскал на вешалке свое пальто и, набросив его на рубашку, направился в ванную. Из приоткрытой двери падал отблеск горящих свечей, оранжевый по контрасту с фиолетовым светом утра, струящимся в переднюю сквозь стеклянный короб веранды. В ванной кто-то был; Стефан узнал голос дяди Ксаверия, и ему страсть как захотелось подслушивать. Он тут же оправдал себя ссылкой на любознательность психолога, благо порой верил в существование некой единственной, конечной правды о человеке, в то, что открыть ее можно, подсматривая за людьми и ловя их с поличным, когда они остаются наедине с собой.

Поэтому возле ванной комнаты он постарался ступать тише и, не прикасаясь к дверям, заглянул в щель шириной в ладонь.

На стеклянной полочке горели две свечи. Они окрашивали в желтый цвет клубы пара, поднимавшиеся из ванны около стены и накрывавшие призрачным покровом фигуру дяди Ксаверия, который стоял в посконных портах и вышитой на украинский манер сорочке и брился, корча в запотевшее зеркало диковинные рожи, и с пафосом, но не очень разборчиво — мешала бритва — декламировал:

...Просей, прошу покорно, эти сласти  
сквозь дырку затхлую ширинки...

Стефан был несколько разочарован и не мог решить, как быть теперь, а дядюшка, будто почувствовав его взгляд (а может, увидав племянника в зеркале), не оборачиваясь, сказал совершенно другим тоном:

— Как жизнь, Стефек? Это ты, да? Давай сюда, можешь сразу умыться, есть горячая вода.

Стефан пожелал дядюшке доброго утра и покорно вошел в ванную. Принялся за утренний туалет торопливо, немного стесняясь присутствия дяди — тот продолжал бриться, не обращая на него внимания. Какое-то время оба они молчали, потом дядя вдруг выпалил:

— Стефан...

— Да, дядя?

— Знаешь, как это было?

По дядиному тону Стефан сразу понял, что имел в виду Ксаверий, но, поскольку в таких делах нельзя полагаться на одну догадливость, переспросил:

— С дядей Лешеком?

Ксаверий не ответил. Молчал он долго, потом, уже выскабливая верхнюю губу, ни с того ни с сего начал:

— Второго августа он сюда приезжал. Собирался порыбачить, форель половить, там, выше мельницы, ты знаешь. И о себе, естественно, — ни слова. Я его прекрасно понимаю. А на обед была утка, как вчера. Только с яблоками, теперь-то их нет. Что было, солдаты позабирали в

сентябре. И он эту утку отказался есть, а ведь так любил всегда. И это меня как-то насторожило. Да и лицо уже было такое. Только вот у близкого человека не замечаешь. Мысли не допускаешь, что ли...

— Отвращение к мясу и похудение? — спросил Стефан, отдавая себе отчет, как это казенно прозвучало.

Собственный профессионализм немного смущал его, но доставлял некоторое удовлетворение. Он стал торопливо вытираться — кое-как, он уже понял, что последует дальше, а слушать такое голым был не в силах. Может, оттого, что чувствовал бы себя вроде как обезоруженным? Сам он об этом и не подумал. Ксаверий по-прежнему стоял к нему спиной, разглядывая себя в зеркале; он пропустил вопрос Стефана мимо ушей и продолжал:

— Не давал себя осмотреть. Ну, а я с грехом пополам... Шутя — мол, щекотку изучаю, животом его интересуюсь, у кого из нас брюхо больше и так далее... А опухоль была уже с кулак, с места не сдвинешь, твердая, сросшаяся со всем, черт-те что...

— Carcinoma scirrhosum, — произнес вполголоса Стефан, а зачем? Он и сам не знал. Это латинское именование рака походило на формулу изгнания бесов — некое научное заклинание, изгоняющее из реальных обстоятельств неопределенность, тревоги, страсти, — проясняющее эти обстоятельства и придающее им видимость естественного хода вещей.

— Классический случай... — бурчал дядя Ксаверий, пробривая одно и то же место на щеке. Стефан, запахнувшись в куцый купальный халат, держа в руках брюки, неподвижно застыл на пороге — а что еще оставалось делать? Он слушал.

— Ты знаешь, что он был без пяти минут врач? Как это не знаешь? В самом деле? Ну что ты, он с четвертого курса медфака сбежал. Вечным студентом был не один год, а учиться-то мы начинали вместе, я ведь после гимназии уйму времени потерял. Из-за одной... Н-да. Так что он меня насквозь видел, когда я его обследовал, и все ему было ясно. Оперировать, разумеется, было поздно, но раз уж ты врач, альтернативы медицине у тебя нет — только гробовщик. А с этим всегда успеется. Я думал, будут невесты какие баталии, а он с ходу согласился. Ездил я и к Хрубинскому. Ничтожество, а руки золотые. Согласился оперировать только за доллары: положение, мол, неопределенное, злотый может провалиться в тартарары. Просмотрел рентгеновские снимки и отказался наотрез, но я его уломал.

Тут пан Ксаверий повернулся к Стефану и с таким выражением лица, точно он едва мог сдержать смех, спросил:

— Ты, Стефан, становился хоть раз перед кем-нибудь на колени? Не в костеле, — добавил он поспешно.

— Нет...

— Вот видишь. А я становился. Не веришь? Ну так я тебе говорю, было такое! Хрубинский оперировал двенадцатого сентября. Немецкие танки были уже в Тополеве, Овсяное горело, ведьмы-монашки разбежались, я сам ему ассистировал. В кои-то веки... Хрубинский вскрыл, зашил и вышел. Был взбешен. Я его понял. Наорал на меня. Но всюду — сплошная бессмыслица, весь этот сентябрь, все кругом — Польша, вот так...

Пан Ксаверий принялся править бритву на ремне, движения его становились все неторопливее и все обстоятельнее, говорил он без умолку:

— Перед самой операцией, уже после инъекции скополамина, Лешек спрашивает: «Это конец, да?» Ну я, естественно, как с больным. А он: Польше, мол, конец. И чтобы я пришел на могилу, шепнуть ему, когда Польша снова будет. Фантазер был! Хотя, впрочем, кого же учили умирать? А когда проснулся, ну, уже после операции, я один около него был, спросил, который час. И я, старый идиот, сказал ему правду. Не сообразил, что следовало бы часы переставить, а ведь он, как медик, знал, что серьезная операция продолжалась бы час или больше, а тут —

четверть часа, и шабаш. Значит, уже знал, что ничего...

— А потом? — вырвалось у Стефана; он боялся, что опять воцарится тягостное молчание.

— Потом я отвез Лешека к Анзельму, так он захотел. Я не видел его три месяца, только в декабре... Но это уже было уму непостижимо.

Дядя Ксаверий медленным движением, не глядя, отложил бритву и, стоя боком к Стефану, устался прямо перед собой, немного вниз, — казалось, он увидел у своих ног что-то диковинное.

— Я застал его в постели, худого — настоящий скелет, уже и молоко мог проглотить с трудом, и голос у него какой-то пискливый сделался, тут даже слепой бы увидел, сообразил, а он... как бы это выразить? Я застал его — счастливым! Все, понимаешь ли, все он себе объяснил или, если так можно сказать, разобъяснил: и операция-то удалась, и сил у него с каждым днем прибывает, и поправляется он, и вот-вот встанет с постели; руки себе велел массировать и ноги, и Анеле диктовал по утрам, как себя чувствует, для врача она записывала, чтобы правильнее его лечили... А опухоль была уже с каравай. Но велел наложить себе плотную повязку на живот, чтобы сам до него дотронуться не мог, — якобы так шов в большей безопасности. О болезни своей вообще говорить не желал, а если случалось, то объяснял, что это был только отек, и прикидывался, что становится все крепче и что вообще ничего у него нет...

— Вы полагаете, дядя, что он был... ненормальный? — прошептал Стефан, и не предполагая, что услышит в ответ.

— Нормальный! Ненормальный! Что ты болтаешь, дурачок! Что ты знаешь? Нормальный умирающий — вот, не угодно ли — нормальный! Вырвать из тела эту опухоль не мог, так вырвал из памяти. Лгал, верил, других заставлял верить, откуда мне знать, где кончалось одно и начиналось другое! Говорил все тише, что чувствует себя лучше, и все чаще плакал.

— Плакал? — как-то по-детски ужаснулся Стефан, который помнил плечистого дядю Лешека на коне, с двустволкой, обращенной стволами к земле...

— Да. А знаешь почему? Боли были сильные, ему ставили свечи с морфием. Сам себе их и всаживал. А когда однажды это сделала сиделка, расплакался. Я, говорит, сам уже и не могу ничего, кроме как свечку вставить, а меня и этого лишают... Вставлять не мог, а говорил, что не хочет. Если молока выпьет — этого, дескать, мало, не стоит после молока вставлять, другое дело после бульона. А после бульона еще чего-нибудь придумает. Вот так! Побыл я тогда с ним, побеседовал! Руки протянет, они как палки, а все, чтобы сказать: толстеют, мол; и странное дело, какой же он при этом подозрительный был! Чего вы там по углам шепчетесь? Что сказал доктор? Наконец тетка Скочинская позаботилась о ксендзе. Естественно, он явился со святыми дарами. Я бог весть что подумал, а Лешек отнесся к этому вполне спокойно. Только той же самой ночью — я сидел возле него — шепчет. Я подумал — во сне, не отвечаю, а он громче: «Ксав, сделай что-нибудь...» Подхожу к нему, а он опять: «Ксав, сделай что-нибудь...» Стефан, ты же врач? Ну так знай, я приехал к нему с запасом морфия. Если бы он захотел... Захватил я с собой нужную дозу. В жилетном кармане держал. Тогда, ночью, я решил, что он хочет, чтобы — ну, сам понимаешь. Но посмотрел я ему в глаза и вижу, он помощи просит. Я молчу, а он свое: «Ксав, сделай что-нибудь...» И так до самого рассвета. Потом ничего уже не говорил — такого. Мне надо было уехать. Вот так... А вчера мне Анеля рассказала, что накануне вечером пошла к себе, легла, утром приходит к нему, а он уже мертв. Только лежал в постели наоборот.

— Как это наоборот? — странно испуганный и опешивший, прошептал Стефан.

— Наоборот: ногами там, где голова. Почему? Откуда я знаю. Хотел что-нибудь сделать, чтобы жить...

Дядя Ксаверий, в жеваных холщовых штанах, в вышитой рубаше, распахнутой на груди, с мазками мыльной пены на щеках, глубоко задумался и медленно опустил голову. Потом

полоснул взглядом Стефана. Посверлил его своими черными, теперь строгими и горящими глазами.

— Я рассказываю тебе это, потому что ты врач и свой... Ты должен знать это! И это... со всей моей медициной. И что я там... уж не знаю, я... я почти молился. До чего человек доходит!

Было слышно, как оседающий на зеркале пар увесистыми каплями падает на пол. Вдруг оба они вздрогнули, словно очнулись ото сна, — часы в гостиной пробили громко, величественно, весомо...

Дядя повернулся к тазу, принялся энергично ополаскивать лицо, шею, громко отплевываясь, прочищал нос, а Стефан тем временем торопливо, словно украдкой, оделся и молча выскользнул из ванной.

В столовой был уже накрыт стол. Голубоватые сосульки за окном вбирали в себя хрустальную прозрачность дня; золотистые блики скользили по оконным стеклам, играли на стекле футляра напольных часов, радужными искрами рассыпались по граням графина на столе. Появились дядя Анзельм, Тшинецкий из Келец с дочерью, тетка-бабка Скочинская, тетка Анеля.

Много горячего кофе, сливки, огромные караваи хлеба, брусочки масла, мед; завтракали молча, все были какие-то притихшие, поглядывали в залитые солнцем окна, перебрасывались одним-двумя словами. Стефан нервничал, боясь, что ему в кофе вместе с молоком напустят пенек, он их терпеть не мог. Дядя Анзельм был задумчив и угрюм. Вроде все как обычно, но сидеть за столом почему-то было невыносимо. Стефан несколько раз поглядывал на дядю Ксаверия, который явился последним, без галстука, в расстегнутом черном пиджаке. Стефан был уверен, что они только что заключили тайный союз, как бы связавший их друг с другом, но дядя не обращал внимания на его многозначительные взгляды, скатывал хлебные шарики и пускал их по столу. Вошла деревенская баба, одна из тех, что помогали дяде по хозяйству, и с порога на всю комнату объявила:

— Какой-то господин пришел и спрашивает господина Тшинецкого-младшего.

Это «господин Тшинецкий-младший» было плодом трудов дяди Лешека, который, гостя у Ксаверия, неизменно муштровал его прислугу, а на одну упрямую девку, которая твердила, что «молодой господин Тшинецкий» и «господин Тшинецкий-младший» — одно и то же, даже рявкнул: «Не твоего это ума дело! Неужто, по-твоему, „Помяни, Господи, раба твоего“ и „Помяни, Господин, раба твоего“ — одно и то же, дура ты набитая?» Но сейчас, сконфуженный и недоумевающий, Стефан и не вспомнил об этом; он испуганно вскочил из-за стола и, что-то пробормотав, выбежал в коридор. Там было светло, но свет падал из застекленной веранды так, что лица гостя разобрать было нельзя — лишь черный силуэт на солнечном фоне. Человек был в пальто, шляпу он держал в руке, и, только когда он заговорил, Стефан узнал его.

— Сташек! Ну, Сташек! Что ты здесь... ну, знаешь... кого-кого ожидал бы встретить, но тебя!

Стефан потащил было пришельца в гостиную, но в дверях прямо-таки набросился на него и чуть не силой сорвал с него пальто с меховым воротником. Вынес в переднюю, вернулся, усадил гостя в кресло, а себе придвинул стул.

— Ну, что ты, как ты? Что подельываешь? Откуда тут взялся? Да рассказывай же!

Станислав Кшечотек, университетский товарищ Стефана, сконфуженно и одновременно радостно улыбался. Горячность Стефана его немного смутила.

— Ну что? Да так, ничего особенного, работаю тут неподалеку, в Бежинце. Вчера случайно услышал об этих похоронах, то есть о том, что твой дядя... — Он осекся, отвел глаза, потом продолжил: — Вот я и подумал, что, наверное, тебя здесь встречу. Давненько мы с тобой не виделись, а?

— Ах вот, значит, как... да. — Стефан никак не мог собраться с мыслями. — Позволь, так



ты работаешь в Бежинце? Подумать только! Так ты повятовый врач, что ли? Ведь дядя Ксаверий...

— Нет. Я работаю в лечебнице, у Паенчковского. Ну ты же знаешь, тебе ведь эти места знакомы...

— Ах! Как же я не сообразил! В этой лечебнице... позволь, значит — психиатром? Специализировался в этой области? Это для меня новость!

— Я и сам не знал, что так повернется. Но еще перед войной, понимаешь ли, была вакансия, и по объявлению Медицинской палаты...

Кшечотек начал излагать историю своего переезда в Бежинец многословно в обычной своей манере — с массой несущественных подробностей, а Стефан, как всегда, горячился, понукал его вопросами, пропускал мимо ушей целые фрагменты реляции. И при том взирал на приятеля с нескрываемой радостью. Познакомились они на первом курсе медицинского факультета, их сблизила схожесть чувств, которые каждому приходилось преодолевать, когда он попадал в прозекторскую. Сташек жил неподалеку от Стефана и вскоре предложил заниматься вместе, сославшись на чрезмерную дороговизну учебников и невозможность долго оставаться с книгой один на один. Стефан и раньше сталкивался с Кшечотеком, но близко с ним не сходил, так как ему казалось, что в Сташке есть что-то от отличника, а зубрил он не терпел. Проникся к нему доверием только на вечеринках и балах, где тот всегда верховодил. Узнав его поближе, Стефан понял, что веселость и задор приятеля — напускные. Это был юноша закомплексованный, не уверенный в себе. Страшился экзаменов, однокурсников, трупов, профессорских настроений, женщин, короче — всего на свете. Очень искусно создал себе маску весельчака, но сбрасывал ее с облегчением, едва представлялась возможность. Стефана это удивляло, тем более что девушкам Сташек нравился и они охотно смеялись его шуткам. Но только толпа придавала Кшечотеку храбрости. С двумя девушками он еще чувствовал себя сносно, изящно флиртовал наперебой с обеими, но, оставшись с глазу на глаз с одной, проигрывал вчистую. Тут уж шутки в сторону, надо браться за дело всерьез, а это у него и не получалось. Танцы, флирт и зубоскальство по общепринятым понятиям были как бы подготовительным маневром, неким вступлением, чем-то вроде распущенного хвоста, которым павлин обвораживает самку. Между тем светские таланты Сташека на том и кончались. Стефан догадался об этом, наблюдая поразительные перемены, происходившие с Кшечотеком: едва он покидал общество, душой которого был, как моментально стихал, снижал и грустнел. Так наступил период долгих бесед вдвоем, прогулок по осенним аллеям, бесконечного философствования по вечерам, жарких споров, поисков «абсолютной правды», «смысла жизни» и тому подобных словопрений о сущности бытия. Ни один из них порознь не смог бы отыскать столь отточенных формулировок. Они подстегивали и обогащали друг друга. Их взаимная откровенность все же была небезграничной — слабела, утыкаясь в проблемы более интимного характера. Сташек подвел под свои мужские неудачи целую теорию: он не верил в любовь вообще. Читать о ней ему нравилось, но верить в нее он не верил. «Послушай, — говаривал он, — почитай-ка Абдергальдена!<sup>[3]</sup> Если обезьяне сделать укол пролактина и подкинуть ей щенка, она тут же начнет его ласкать и пестовать, но стоит только прекратить впрыскивать гормон, и через два-три дня она слопает своего любимого песика. Вот тебе материнская любовь, самое высокое чувство: капля химикалий в крови!»

Стефан втайне свысока относился к своему экспансивному другу. Лицо у Кшечотека было круглое, как луна, и пухлое, хотя сам он был поджарый; добродушный нос — картошкой, на кончике постоянно обретался крупный прыщ. Зимой Сташек всегда мерз, так как не носил кальсон, считая это недостойным мужчины. Кроме того, три четверти года страдал от несчастной любви — демонстративно, безнадежно и забавно. Отношения их сложились так, что

о жизни вообще они толковали очень много, а собственной почти не касались. Но сейчас, здесь, в сумрачной, несмотря на солнечный день, гостиной дядюшки Ксаверия, обитой шелковыми узорчатыми обоями, трудно было с маху вскочить на какого-нибудь спасительного философского конька. Поэтому, когда Кшечотек завершил свое повествование, установилось тягостное молчание. Сташек попытался его разогнать, спросив Стефана, как у него с работой.

— Я? Ах, пока ничего, еще не знаю... Пока нигде не работаю. И немцы теперь... оккупация... сам не знаю. Присматриваюсь. Чем-то надо будет заняться, найти какое-нибудь место, но конкретно я об этом не думал...

Стефан говорил все медленнее. Они еще помолчали, теперь уже основательно. От огорчения, что им почти нечего сказать друг другу, и только из желания поддержать разговор Стефан после лихорадочных поисков темы спросил:

— Ну а как там, в лечебнице? Ты доволен?

— А, лечебница...

Кшечотек оживился и собрался было рассказывать, но тут его словно осенило, глаза расширились, и лицо радостно засияло.

— Послушай, Стефан! Мне это только что пришло в голову, ну и что? Архимед тоже вдруг... ты же знаешь! Стефан, послушай. Стефан, если бы — ты да к нам в лечебницу, а? Место хорошее, очень хорошее, специализация, края тебе знакомые, тут и спокойно, и работа интересная... и... времени свободного достаточно, да, наукой займешься, я же помню, ты ведь на это нацеливался...

— Я — в лечебницу? — ошеломленно пролепетал Стефан и растерянно улыбнулся. — Видишь ли, вот так, с бухты-барахты... приехал на похороны, и тут же... впрочем... собственно, мне все равно, — выпалил он и осекся, испугавшись неуместности этого своего последнего замечания, но Сташек ничего не заметил.

Еще с четверть часа он не закрывал рта, толковал только об этом, потом они прикидывали, как будет, если Стефан на самом деле устроится в лечебницу врачом, ведь вакансия там действительно была. Сташек опрокидывал одно сомнение Стефана за другим:

— Не специализировался по психиатрии? Это не беда, никто же не родится специалистом. Врачи там первоклассные, сам увидишь! Ну, естественно, как это обычно бывает, врачи ведь люди, кто лучше, кто хуже. Но интересно все. И какие удобства! И словно нет никакой оккупации, да что там, как на другой планете!

Кшечотек так разошелся, что в его устах лечебница превратилась в некое подобие внеземной или космической обсерватории, такой островок уютного одиночества, в котором человек, одаренный от природы выдающимся умом, может развиваться, как ему заблагорассудится. Они болтали так и болтали, и Стефан, хотя он был совершенно уверен, что ничего путного из этого не выйдет, охотно подыгрывал другу, словно ища в этом разговоре спасения от жуткой пустоты, обложившей его со всех сторон.

Кто-то постучал в дверь: тетка с дядей Анзельмом уже собрались на станцию. Приличествовало бы их проводить, но Стефан как-то отвертелся от этого, бросившись торопливо целовать ручки и отвешивать поклоны. Тетя Анеля, казалось, была в хорошем настроении; при иных обстоятельствах Стефан осудил бы ее — рассказ Ксаверия не выходил у него из головы, — но он слишком торопился вернуться к Кшечотеку, и ему некогда было морализировать. Очередное свидание с родней, барственность Анзельма, который обнял его, но не поцеловал, а лишь коснулся его лица колючей щекой, какие-то бессмысленные наставления и поручения тетки Меланьи — все это только прибавляло привлекательности неожиданному предложению Сташека. Но, едва увидев друга, с напускной небрежностью глазевшего на старинные гравюры, развешенные по стенам гостиной, он снова заколебался. Наконец после

долгих размышлений над всеми «за» и «против» Стефан решил ехать домой, — мол, там ему надо уладить кое-какие дела (это была отговорка, никаких дел не существовало, но выглядела она внушительно и толково). Потом он вернется, то есть через некоторое время (Тшинецкий подчеркнул это, дабы не выглядеть законченной свиньей) приедет в Бежинец.

Ровно в полдень Стефан учтиво, но прохладно распрощался с дядей и пошел на станцию. Кшечотек его провожал, добраться до Бежинца он мог на том же поезде.

День был теплый и уже совсем весенний; снег таял, текли звонкие ручьи, превратившие дорогу в настоящее болото; приятели говорили мало, так как переправа через лужи требовала внимания, да и о чем было говорить? На станции еще немного поскучали, ища спасения в курении, — по студенческой привычке они, как в перерывах между лекциями, укрывали сигареты в кулаках. Но вот подкатил поезд. Он еще не успел остановиться, как Сташек, пораженный его видом, решил идти пешком — вагоны были набиты битком: люди свешивались из окон, облепили крыши, висели на всех поручнях, скобах, ступеньках. Когда поезд остановился и его атаковала толпа крестьян и мешочников, началась шумная драка. Стефан проявил жесточенность, какой от себя и не ожидал; вопя, он почти вслепую таранил стену тулупов — так отчаянно, словно боролся за жизнь. Поезд, сопровождаемый всеобщим ревом, уже тронулся, когда Стефану удалось носком ботинка нащупать край деревянной ступеньки и обеими руками ухватиться за тулупы и пальто тех, кто уже висел выше него, вцепившись в дверь. Однако у него хватило ума сообразить, что так не продержаться и нескольких минут, и он спрыгнул на ходу, едва не рухнув в грязь. Однако обошлось, его лишь обдало с ног до головы снегом и грязной водой. Стефан, побагровевший от натуги и злости, пошел назад и увидел на платформе Сташека; тот снисходительно, хотя и сочувственно улыбался. Злость вспыхнула с новой силой, но приятель, оценивший его старания, еще издали закричал:

— Не злись, Стефан, сам видишь, это судьба, а не я. Давай сюда, вместе пойдем в Бежинец...

Стефан постоял в нерешительности, потом заговорил — уже не о каких-то там «делах, нуждающихся в урегулировании», а о белье и мыле, но Кшечотек с несвойственной ему энергией подхватил друга под руку и дал понять, что все необходимое найдется, и вышло у него это так по-свойски, сердечно, что Стефан, лишь теперь заметивший грязные потеки на своем пальто, вдруг рассмеялся, махнул рукой на условности и вместе с приятелем побрел по грязи к маячившим на светлеющем горизонте трем горбам бежинецких холмов.

От Нечав до Бежинца было двенадцать километров петляющей серпантином, раскисшей, глинистой дороги. Когда путники преодолели самый крутой подъем, дорога вползла в глубокую выемку, которая вывела их на проселок, такой же топкий, и наконец они увидели за рощицей пологий холм, с юга окаймленный мелкоколесьем. На его вершине — несколько сереньких зданий, окруженных кирпичной стеной. К центральным воротам тянулась дорога, вымощенная щебнем. До цели оставалось несколько сот метров, но друзья, запыхавшиеся от быстрой ходьбы, остановились. Отсюда, с высоты, Стефан окинул взглядом безбрежное, изборожденное мягкими складками пространство, над которым в лучах заходящего солнца проплывали кое-где клочья тумана. Размытые тона снегов выдавали невидимую работу тепла. Над темными воротами высилась прикрытая по бокам кустами щербатая каменная арка с поблекшей надписью. Когда они подошли поближе, Стефан смог ее разобрать: CHRISTO TRANSFIGURATO.<sup>[4]</sup>

Прибавив шагу и давя сохранившиеся в тенистых местах оконца замерзших луж, друзья добрались до калитки. Толстый небритый привратник впустил их. Теперь Кшечотек развил бурную, хотя и не очень заметную деятельность. Велел Стефану ждать в боковой пустой комнате первого этажа, а сам помчался к главному врачу. Стефан кружил по каменным плиткам пола, лениво разглядывая роспись, частично закрытую штукатуркой: какой-то бледно-золотистый нимб и — уже под слоем голубоватой штукатурки — разверстый то ли кричащий, то ли поющий рот. Заслыша шаги, Стефан оглянулся — неожиданно быстро возвращался Сташек. Он был в длинном, почти до пят белом халате со слегка обтрепанными от частой стирки рукавами и как будто даже стал стройнее и выше ростом. Его круглая физиономия прямо-таки расплывалась в радостной улыбке.

— Ну, прекрасно, я все уже обговорил с Пайпаком, — объявил он, беря Стефана под руку. — Это наш главный, понимаешь. Фамилия его на деле — Паенчковский, он заикается — оттого такое прозвище, — но ты, верно, есть хочешь? Признавайся! Ну, сейчас все организуем.

Врачи жили в отдельном красивом здании, очень уютном и светлом. Тут все было продумано до мелочей. В комнатке, куда препроводил его Сташек, Стефан нашел и горячую воду в умывальнике, и опрятную, не очень-то больничного вида кровать, и мебель, в меру светлую, хотя довольно-таки строгого стиля, и даже три подснежника в стакане на столике. Самое же главное, здесь вовсе не было запаха иодоформа, вообще не пахло больницей. Под неумолчную болтовню приятеля Стефан открыл по очереди каждый кран, осмотрел ванную, насладился ласковым шумом душа, вернулся в комнату, выпил кофе с молоком, намазывал чем-то соленым и желтым хлеб, ел, но все это проделывал, в сущности, ради дружбы, чтобы Сташек мог порадоваться результатам своей расторопности.

— Теперь садись здесь, рядом со мной. Ну что? Как оно будет-то? — спросил Сташек, когда все наконец было осмотрено и съедено.

— Ты о чем?

— Ну, вообще, разумеется, — что будет с миром и с тобой?

— Вызываешь на серьезный разговор? — Стефан не сдержал улыбки.

— Нет, что ты! Какие там споры! Мир — это теперь немцы. Все считают, что им врежут, хотя я в это не очень-то верю... к сожалению. Уже поговаривают о смене руководства — поляк якобы не имеет права быть директором... но это еще не наверняка. Ну а что касается тебя — ты должен потихоньку со всем тут познакомиться. И только потом выберешь себе отделение. Не спеши, сперва оглядись.

Сташек говорит почти как тетка Скочинская, подумал Стефан, а вслух спросил:

— А где... они?

Из окна он видел окутанные туманом клумбы, зыбкие очертания выстроившихся друг за другом корпусов; над самым дальним возвышалась башня не то в турецком, не то в мавританском стиле — в этом Тшинецкий не разобрался.

— Все увидишь. Они вон там, и с другой стороны — тоже. Скоро именины нашего старика. Повеселишься. Сегодня, разумеется, еще не пойдешь по палатам, я тебе все обстоятельно растолкую, чтобы ты не запутался. Ты, дорогуша, в больнице для чокнутых.

— Это я знаю.

— Тебе только так кажется. Ты сдавал психиатрию и наблюдал одного пациента, наверняка какого-нибудь невропата, верно?

— Да.

— Вот видишь. Терапия — ничего особенного: до сорока лет сумасшедший — это dementia praecox:<sup>[5]</sup> скополамин, бром и холодный душ. После сорока — dementia senilis:<sup>[6]</sup> холодный душ, скополамин, бром. Ну, и шоки. Вот, собственно, и вся психиатрия. А здесь, дорогуша, мы — крошечный островок в удивительнейшем море. И скажу тебе, что, если бы не персонал, если бы... ну да ладно, со временем сам все поймешь — стоило бы тут провести всю жизнь, если даже и не врачом...

— То сумасшедшим, ты это хочешь сказать?

— Ну что ты несешь? Я имел в виду — гостем. У нас и такие есть. С выдающимися людьми можешь тут познакомиться, не смейся, я серьезно.

— Ну, ну?

— Например, с Секуловским.

— Что ты говоришь, с этим поэтом? Так он...

— Вовсе нет! Просто отсиживается у нас, то есть как бы это сказать? Наркоман. Морфий, кокаин, даже гашиш, но он уже от этого избавился. Живет у нас, как на даче. От немцев прячется, короче говоря. Пишет целыми днями, причем не стихи, а мечет философские громы и молнии! Сам увидишь! А теперь у меня вечерний обход, брошу тебя на полчаса, ладно?

Сташек ушел. Стефан долго стоял у окна, потом неторопливо осмотрел свое новое жилище. Как, однако, важно то, что вокруг нас. Все это каким-то непостижимым образом проникало в него, и вовсе не тогда, когда он пристально, словно через лупу, рассматривал то или другое, но когда стоял просто так, отдыхал. Стефан чувствовал, как пережитое в последние дни начинает покрываться новым, иным слоем, как этот геологический пласт воспоминаний затвердевает снизу, подтачиваемый только снами, сверху же остается размягченным и зыбким и поддается влияниям внешнего мира.

Он остановился перед зеркалом. Долго и напряженно всматривался в свое, выплывшее из глубины стекла лицо. Лоб мог быть и повыше, а волосы — поопределеннее: или уж светлые, или черные, как смоль; между тем бесспорно черной была только щетина на лице, от чего он вечно выглядел небритым. Ну а глаза — сам он говорил, что они ореховые, другие считали, что карие. Значит, и тут какая-то неопределенность. Только нос, унаследованный от отца, тонкий, загнутый; «алчный нос» — говаривала мать. Он слегка напряг мышцы лица, чтобы черты заострились, сделались благороднее. За этой гримасой последовала другая, он стал строить рожи, потом резко отвернулся от зеркала и подошел к окну.

«Хватит самого себя передразнивать! — подумал Стефан зло. — Стану прагматиком. Действовать, действовать и действовать!» Он вспомнил слова отца: «человек, у которого нет цели в жизни, должен ее себе придумать». Впрочем, хорошо, когда есть целая череда целей, ближайших и отдаленных. И это — не какое-то расплывчатое: «быть доблестным», «добрым», а «починить бачок в уборной». Это наверняка принесет больше удовлетворения. Ему вдруг до



боли захотелось прожить жизнь простого человека.

«Господи! Если бы я мог пахать, сеять, жать и опять пахать. Или табуретки какие-нибудь сколачивать, корзины плести, торговать ими на базаре». Карьера деревенского скульптора — изготовителя фигурок святых — либо гончара, обжигающего красных глазурованных петушков, представлялась ему вершиной счастья. Спокойствие. Простота. Дерево было бы деревом — и точка. Никакого идиотского, бессмысленного и чертовски мучительного рассусоливания: на кой ляд оно растет, что значит «оно живое», зачем существуют растения, почему ты — это ты, а не кто-то другой, состоит ли душа из атомов — и вообще, чтобы раз и навсегда с этим покончить! Стефан нервно заходил взад-вперед по комнате. К счастью, пришел Сташек. Стефан подозревал, что Кшечотек чувствует себя в больнице так же хорошо, как одноглазый среди слепцов. Он был тихим сумасшедшим в миниатюре, а значит, на живописном фоне пышно цветущих безумств производил впечатление человека, необычайно цельного психически.

— А теперь пошли ужинать...

Столовая для врачей помещалась наверху, под самой крышей, по соседству с просторной бильярдной и другой комнатой, поменьше, со столиками для карт или еще для каких-то игр. Стефан, проходя мимо, заглянул туда.

Покормили недурно: после зраз с кашей и салата из фасоли — хрустящие оладьи. Потом кофе; его подали в кувшинах.

— Война, коллега, *a la guerre comme a la guerre*,<sup>[7]</sup> — сказал Стефану сосед. Справа сидел Сташек; можно было понаблюдать за сотрапезниками. Как всегда, когда видишь новые лица, некоторые из них не различаешь; Стефан в них путался, они ничем не задевали его чувств. Тот, который глубокомысленно изрек афоризм о войне, доктор Дигер или Ригер — представился он невнятно, — был низкорослый, носатый, смуглолицый, со шрамом в глубокой вмятине на лобной кости. Он носил крошечное пенсне в золотой оправе, оно постоянно сползало, и доктор привычным движением водворял его на место. Вскоре это стало раздражать Стефана. Они вполголоса перекидывались замечаниями на нейтральные темы: закончилась ли наконец зима, как с углем, много ли работы, сколько теперь платят. Доктор Ригер (все-таки оказался на «Р») пил мелкими глотками кофе, выбирал оладушки поподжаристее и говорил в нос, не проявляя к беседе особого интереса. Как-то так получилось, что, разговаривая, оба они смотрели на Паенчковского. Этот старикан, смахивающий на недожаренного голубя из-за своей реденькой перистой эспаньолки, сквозь серебряные прядки которой просвечивала розовая кожа подбородка, со слегка трясущимися, морщинистыми ручками, тщедушный и заикающийся, прихлебывал кофе, а когда начинал говорить, порой дергал головой, словно не соглашаясь сам с собой.

— Так вы у нас хотели бы поработать, да?.. — спрашивал он Стефана и тут же возражал себе покачиванием головы.

— Да, хотел бы...

— Ну, конечно... конечно... стоит...

— Ведь практика... необходима... пригодилась бы... — бормотал Стефан. Он ужасно не любил старикашек, официальных представлений и скучных разговоров, а тут получил все разом.

— Ну, так мы вам все капитально... как только сами... — говорил Пайпак и продолжал возражать сам себе, мотая головой.

Рядом с ним сидел высокий, тощий врач в халате, испачканном ляписом. Страшно, но как-то симпатично безобразный, со следами швов после операции заячьей губы, приплюснутым носом и широким ртом, он улыбался сдержанно, бледно. Когда он положил руку на стол, Стефан подивился ее размерам и изяществу. Стефан считал важными две вещи: форму ногтя и соотношение длины кисти с шириной. У доктора Марглевского и то и другое свидетельствовало

о породе.

За столом сидела одна женщина. Она привлекла внимание Стефана, едва он вошел; он здоровался со всеми, и его поразил тогда безжизненный холод ее ладони, узкой и упругой. Мысль о том, что можно ласкать такую руку, и отталкивала, и возбуждала.

У госпожи (или барышни) доктора Носилевской было бледное лицо, обрамленное разметавшимися каштановыми волосами, отливающими, когда на них падал свет, медом и золотом. Под чистым красивым лбом — поистине крылатый разлет бровей, а под ними — строгие голубые глаза, в которых, казалось, то и дело вспыхивали электрические разряды. Она была идеально красива, и потому красота ее не бросалась в глаза сразу: ни одно пятнышко не раздражало взгляда. В спокойствии ее было что-то материнское, как у Афродиты, но стоило ей улыбнуться, как яркими искорками начинали улыбаться и волосы, и глаза, и крошечная впадинка на левой щеке — не ямочка, а игривый на нее намек.

Из разговоров Стефан понял, что работа хотя тяжелая и надоедливая, но интересная; что нет лучше призвания, чем психиатрия, хотя большинство присутствующих, если бы только представился случай, переменили бы специальность; что больные совершенно несносны, хотя спокойны и тихи, и что вообще не стоит лезть из кожи вон, поскольку в психиатры идут люди ненормальные, — следовательно, все вместе должны лечиться электрошоком, и точка. Противоречия эти объяснялись, разумеется, различием индивидуальных воззрений собеседников. О политике почти не вспоминали. Было тут как на морском дне: движения ленивы и медлительны, а мощнейшие бури на поверхности отзывались здесь какими-то новыми болезненными отклонениями, которые облекались в форму соответствующих диагнозов. На другой день выяснилось, что Стефан познакомился не со всеми врачами лечебницы. Направляясь вместе с доктором Носилевской на утренний обход (его прикрепили к женскому отделению), он встретил на вымощенной щебнем, орошенной каплями с деревьев дорожке высокого мужчину в белом халате, Стефан не успел его толком разглядеть, но запомнил хорошо. Его некрасивое желтое лицо было словно вырезано из какого-то твердого материала вроде слоновой кости, глаза прикрыты дымчатыми стеклами, нос — заостренный, огромный; кожа губ туго, как пленка, обтягивала зубы; он напоминал мумию Рамзеса Второго, которую Стефан видел на рисунке в какой-то книге: аскетическая отрешенность от возраста, некая вневременность черт лица. Морщины не свидетельствовали о прошедших годах, они были неотъемлемой частью этого лица-изваяния. Кроме того, врач — Стефан узнал, что это лучший хирург санатория, — был тощ как скелет, страдал плоскостопием; широко разбрасывая ноги, шлепая ими по грязи, он небрежно поклонился Носилевской и взбежал на ступеньки наружной винтовой лестницы красного павильона.

Носилевская держала в своей белой руке ключ, которым отперла дверь, ведущую в следующий корпус. Практически все здания соединялись длинными, остекленными сверху галереями, так что врачам, обходящим палаты, не страшны были ни холод, ни дождь. Галереи эти походили на тамбур оранжереи, крытый стеклом. Но стоило войти в корпус, как впечатление менялось. Все стены выкрашены светло-голубым масляным лаком. Никаких кранов, выступов, выключателей, дверных ручек: гладкие стены до уровня двух с половиной метров. В палатах, холодных и светлых, с ненавязчиво зарешеченными или затянутыми сеткой окнами, на подоконниках которых стояли в длинных ящиках цветы, вдоль двух рядов аккуратно, почти по-военному заправленных коек, прогуливались больные в вишневых халатах, шаркая шлепанцами на картонной подошве.

Доктор Носилевская, выходя из палаты, как-то машинально, едва заметным движением, словно во сне запирала за собой дверь, затем точно так же открывала следующую. У Стефана уже был свой ключ, но у него не получилось бы так ловко.

Вереница лиц — бледных и осунувшихся, будто обвисших на костях, или распухших, похожих на гриб-дождевик, полыхавших нездоровым румянцем, заросших щетиной. Мужчины были острижены наголо, а это стирает индивидуальность. Не прикрытые волосами шишки и прочие диковинные изъяны черепов своим безобразием, казалось, изгоняли с лиц всякое выражение. Оттопыренные уши, взгляд отсутствующий или упершийся в какой-нибудь предмет, словно скользящий к нему по стеклянной нитке, — именно это отличало большинство больных; по крайней мере такое представление складывалось во время стремительного обхода. В коридоре они встретили санитаря, который тянул за собой больного. Обращался он с ним не то чтобы жестоко, но просто не как с человеком; однако, завидя Стефана и Носилевскую, на миг вроде смягчился. Откуда-то издали доносился довольно миролюбивый рев, точно кто-то голосил не по принуждению, не от боли, а в охотку, словно тренируясь. Впрочем, Носилевская была особой незаурядной; Стефан еще утром понял это. За завтраком он, будучи эстетом, пытался запечатлеть в памяти ее черты, чтобы потом можно было их мысленно посмаковать. Тогда-то он и заметил, как она, по-лебединому склонив голову над дымящейся кружкой, устремила взгляд в никуда — решительно в никуда — и словно бы перестала существовать. Он, правда, видел, явственные признаки жизни: нежную пульсацию в ямочке на шее, безмятежный сумрак зрачков, трепет ресниц, но Стефан был уверен, что тень восторга, играющая на ее лице, выражает испытываемое ею наслаждение оцепенением, бездумным, полным небытием. Когда она пришла в себя и неторопливо перевела на него взгляд своих голубых и немного еще отрешенных глаз, он готов был испугаться, а минуту спустя отдернул ногу, когда колени их случайно соприкоснулись, — прикосновение это показалось ему угрожающим.

Кабинет Носилевской, уютно обставленный, помещался в женском отделении. Хотя не было здесь ни одной ее личной вещи, присутствие женщины чувствовалось даже в воздухе, — впрочем, естественно, это был всего лишь запах духов. Они сели за белый никелированный стол, Носилевская достала из ящика истории болезни. Как и всем женщинам-врачам, ей приходилось отказываться от маникюра, но ее коротко остриженные, закругленные ногти были по-мальчишески прекрасны. Высоко на стене висело распятие — маленькое, черное, придерживаемое двумя непропорционально массивными крюками. Стефана это поразило, но надо было сосредоточиться: докторица деловито растолковывала ему его обязанности. Голос ее подрагивал; казалось, ей очень трудно сдерживать его, чтобы он не рассыпался трелью. Стефан никогда еще не заносил в истории результатов наблюдений за психическими больными: готовясь к экзамену, он, разумеется, списывал. Узнав, что пока не придется заводить новые истории, а только продолжать вести записи в старых, он по достоинству оценил благорасположение к нему Носилевской — она, как и он, понимала, что вся эта писанина чертовски скучна и нелепа, но так надо, такова традиция.

— Ну вот, коллега, вы уже все знаете.

Стефан поблагодарил, и они приступили к пробному приему. Потом Стефан ломал себе голову: представляла ли эта элегантная женщина в чулках «паутинка» и со вкусом скроенном белом халате (застегнутом на пуговицу из искусственного жемчуга), как будет выглядеть эта жанровая сцена. Носилевская позвонила, вызвав санитарку — конопатую, приземистую девицу.

— Обычно мы обходим палаты и расспрашиваем больных о самочувствии и фантазиях, то есть симптомах, вы понимаете, коллега, но я хочу продемонстрировать вам часть моего царства.

Это действительно было ее царство: хотя он и не страдал клаустрофобией, но чувствовал себя паршиво, когда за ним магическим ключом одна за другой запирались двери. Даже здесь, в кабинете, на окне темнела решетка, а в углу, за шкафчиком с лекарствами, бесформенной кучей лежала небрежно скомканная парусина: смиренная рубаха. Привели больную; она выглядела дико в чересчур длинных и узких пижамных штанах. Бедра вызывающе выпирали. На ногах —



черные башмаки. Лицо — застывшая маска, но чувствовалось, от нее можно ждать чего угодно. Она накрасилась; ее можно было посчитать даже привлекательной. Брови начернила прямо-таки нахально — наверное, углем, — продлив их до самых висков; вероятно, это и производило впечатление чудаковатости, но Стефану некогда было заниматься наблюдениями, так его шокировала первая же реплика вошедшей. На вопрос, что нового, заданный нейтральным тоном, без тени заинтересованности, больная многообещающе ухмыльнулась.

— Проведали меня, — сообщила она тонким, певучим голосом.

— Ну и кто же у вас, Сусанна, был?

— Господь Иисус. Он ночью приходил.

— Неужели?

— Да. Залез на кровать и... — Она употребила наиболее вульгарное определение полового акта, глядя Стефану в лицо с любопытством, словно говоря: «И что ты на это?..»

Стефан, хоть и был врачом, попросту ошеломлен и так смутился, что не знал, куда девать глаза. Между тем Носилевская вытянула из кармана миниатюрный портсигар, угостила его, закурила сама и стала расспрашивать больную о подробностях. Они были такие, что у Стефана тряслись руки, когда он подавал коллеге огонь. Сломал три спички. Его уже чуть ли не тошнило, а Носилевская попросила его проверить рефлекс — он с грехом пополам справился с этим. Потом санитарка, все это время равнодушно стоявшая поодаль, взяла больную за руку, дернула, словно узел с бельем, и, не дав ей договорить, вывела за дверь.

— Паранойя, — сказала Носилевская, — у нее часто бывают галлюцинации. Разумеется, коллега, все записывать не надо, но пару слов все-таки черкните.

Следующая больная — старая тучная женщина с рыжевато-седыми волосами и пористым лицом — проделывала сотни движений, замиравших в зародыше, словно хотела отбиться от державшей ее сзади за складки халата санитарки. Говорила она без умолку; поток слепленных друг с другом слов, без склада и лада, не иссякал даже тогда, когда ей задавали вопросы. Неожиданно она дернулась сильнее — Стефан невольно отпрянул вместе со стулом. Носилевская распорядилась ее вывести.

Третья потеряла уже всякий человеческий облик. От нее валил пустой и приторный смрад. Тшинецкому пришлось собрать все силы, чтобы усидеть на месте. Трудно было догадаться, какого пола это долговязое истощенное создание. Сквозь дыры халата на вздутых, похожих на яблоки суставах проглядывала синеватая кожа. Лицо было костистое, широкое, тупое, как у куклы. Носилевская что-то сказала больной — Стефан не разобрал что. Тогда та, не сдвинувшись с места, откинув в сторону руку, заговорила:

— Menin aeide thea...<sup>[8]</sup>

Больная декламировала «Илиаду», правильно выделяя цезуры гекзаметра. Когда санитарка вывела ее, Носилевская сказала Стефану:

— Она — доктор философии. Некоторое время находилась в кататонии. Я специально ее вам показала, это почти классический случай: идеально сохранившаяся память.

— Но какой же вид... — не выдержал Стефан.

— Не корите нас за это. Дали бы ей чистые вещи, через не сколько часов они стали бы точно такими же, невозможно возле каждого копрофага<sup>[9]</sup> поставить санитарку, особенно теперь... Мне надо сходить в аптеку, а вы соблаговолите заполнить истории болезни, потом впишите номера и даты в книгу. Эту бюрократическую формальность мы, к сожалению, должны выполнять сами.

У Стефана так и вертелся на языке вопрос, часто ли приходится выслушивать такие мерзости, какие рассказывала первая больная, но это обнаружило бы его полнейшее невежество, поэтому он промолчал. Стал перебирать бумаги. Носилевская вышла. Когда он закончил, ему

стоило больших усилий взять себя в руки, чтобы выйти в палату. Там прохаживались женщины. Некоторые, хихикая без устали, украшали себя бумажками, лоскутками, тесемочками. В углу стояла кровать с боковыми сетками и таким же веревочным верхом. Пустая. Когда Стефан проходил вдоль стены (он инстинктивно старался не поворачиваться к больным спиной), откуда-то сбоку раздался протяжный, плаксивый вой. За очень толстым стеклом, вставленным в низкую дверь, виднелся освещенный лампой изолятор, по которому носилась голая женщина, колотясь всем телом, как мешком, в обитые стены. Когда глаза ее натолкнулись на лицо Стефана, она замерла. Какой-то миг побыла она нормальным человеком, устыдившимся отвратительного зрелища и собственной наготы. Потом что-то забормотала и стала приближаться к двери. Наконец, когда лица их разделяло только стекло, по которому разметались ее длинные, рыжеватые волосы, она раззявила посиневший рот и исцарапанным языком начала лизать стекло, оставляя на нем полосы розовой слюны.

Стефан кинулся прочь, даже не пытаясь себя сдерживать. Следующая палата встретила его криком. В умывальной санитарка пыталась затолкать в ванну больную — та редела и всю брыкалась. Ноги ее были багрово-красными. Оказалось, что вода слишком горяча. Стефан велел добавить холодной. Он был чересчур учтив с санитаркой, понимал это, но не смог на нее накричать. Оправдываясь перед собой, что время для этого еще не пришло. В третьей палате — храп, хрипы и свист. Под темными одеялами на койках лежали женщины, усмиренные инсулиновым шоком. Порой из-под одеяла выглядывал чей-то светло-голубой глаз и бессмысленно, словно глаз насекомого, следил за ним. Какая-то больная провела пальцами по его халату — просто так. В коридоре он встретил Сташека. Видимо, Стефана выдавало лицо, так как друг похлопал его по плечу и быстро заговорил:

— Ну, что там еще? Ради Бога, не принимай этого так уж всерьез... — Сташек заметил, что белый халат Стефана потемнел под мышками. — Так вспотел? Ну и ну...

Стефан с облегчением исторг из себя рассказ о первой больной и о том, как выглядели другие. Кошмар!

— Ты ребенок. Это не высказывания и не суждения, а симптомы. Симптомы болезни, ясно?

— Не хочу тут больше оставаться.

— Женское отделение всегда похуже. Не болтай ерунды. Впрочем, я уже говорил с Пайпаком. — Стефан с удовлетворением отметил, что Сташек немного важничает. — Я это предвидел, но Носилевская действительно одна, и ей нужна помощь. Для проформы побудь у нее с неделю, потом тебя перебросят к Ригеру, а может, ты предпочитаешь... Погоди, это идея. Ведь ты же когда-то был анестезиологом у Влостовского?

Действительно, Стефан довольно прилично давал наркоз.

— Видишь ли, Каутерс как раз жалуется, что у него никого нет. Ну, Орибальд, знаешь.

— Что?

— Доктор Орибальд Каутерс, — по складам произнес Сташек. — Забавное имя, верно? Он смахивает на египтянина, а родом вроде бы из курляндских дворян. Нейрохирург. Неплохо оперирует!

— Да, это бы лучше всего... научился бы чему-нибудь. А здесь... — Стефан махнул рукой.

— Я собирался сказать тебе раньше, да случая не было. Так вот, наш младший персонал в принципе совершенно неквалифицированный. Ну, и действует немножко по-деревенски, грубовато. Бывает свинство и похуже.

Стефан поддакнул: вот, санитарка едва не ошпарила больную кипятком.

— Да, случается. Надо смотреть в оба, но в принципе... сам понимаешь, как плохо с людьми. Надо быть любителем весьма своеобразных ощущений, чтобы...

— Это маргинальная часть интересной проблемы, — сказал Стефан. Он почувствовал

желание поговорить и одновременно нашел повод, чтобы не возвращаться в палату. — Свобода выбора рода деятельности вроде бы и хороша, — продолжал он, — но, собственно, лишь закон больших чисел гарантирует, что найдутся желающие для выполнения всех важных в жизни общества функций. По крайней мере теоретически возможно, что через несколько лет никто не захочет стать, например, канцеляристом... и что тогда? Принуждать или как?

— Однако до сих пор это как-то утрясалось, и механизм самообеспечения общества пока не подводит... Кстати, знаешь, что ты затронул одну из любимейших тем Пайпака? Надо ему это сказать. Он любит порой устраивать нам лекции. Ведь мы тут повышаем квалификацию, а бывает, даже развлекаемся. — Сташек обнажил в улыбке желтые от никотина зубы. — Это счастье, утверждает он, что люди так мало образованны... «Сплошь — университетские профессора. Это было бы ужасно, уважаемые кол... коллеги, кто бы подметал улицы?!» — затынул вдруг Сташек, неплохо поддельваясь под дребезжащий голос старика.

Стефану и это наскучило.

— Прогуляешься со мной в палату? Хочу забрать истории болезни к себе. Казалось бы, все условия, да не смогу здесь писать, дверь за спиной.

— Ну и что?

Стефану пришлось сказать все.

— Мне чудится, их глаза колют меня в спину сквозь замочную скважину.

— Завесь дверь полотенцем, — так искренне и быстро вырвалось у Сташека, что Стефан заподозрил, что его друг пережил то же самое, и почувствовал себя капельку уверенней.

— Нет, так лучше.

Они направились в дежурку, для чего надо было миновать три женские палаты. Высокая блондинка с изможденным испуганным лицом поманила Стефана в сторонку — так подзывают не врача, а незнакомого человека на улице, прося о помощи.

— Вижу, вы новый доктор, — зашептала женщина, тревожно озираясь. — Уделите мне пять минут... ну, две... — проговорила она умоляюще.

Тшинецкий поискал взглядом Сташека; тот, устало улыбаясь, поигрывал резиновым диагностическим молоточком.

— Доктор... я абсолютно нормальная!

Поскольку теоретически Стефан знал, что десимуляция — классический симптом некоторых помешательств, слова больной его не очень-то тронули.

— Побеседуем, сударыня, когда я буду делать обход.

— Это точно, да? — обрадовалась она. — Вижу, что вы, доктор, понимаете меня... — И зашептала ему в самое ухо: — Ведь тут сплошные психи. *Сплошные*, — повторила она с нажимом.

Это заявление и заговорщическое подмигивание удивили его — кому же еще находиться в подобном заведении? Вдруг, уже шагая за Сташеком, он сообразил: она имела в виду всех, и врачей тоже! Значит, и Носилевскую? Попытался очень осторожно выведать, не считает ли Сташек ее «странной», но тот фыркнул ему в лицо:

— Она?! Эта очаровательная девушка?! — и принялся с жаром объяснять, какая она умная да из какой семьи.

Кшечотек прямо-таки захлебывался. «Втюрился», — подумал Стефан и словно по-новому посмотрел на друга; на его подвижном кадыке заметил несколько недобритых волосков, похожих на крохотных червячков, увидел безобразные зубы, набирающий силу прыщ и волосы, поредевшие спереди: там, где еще недавно отливала угольной чернотой прядь, едва виднелось прозрачное облачко. «Никаких шансов», — дисквалифицировал его Стефан.

Самого его она ничуть не привлекала. Хороша, очень хороша, глаза необыкновенные, но

есть что-то отталкивающее.

По дороге Сташек вспомнил о Секуловском и решил продемонстрировать его Стефану.

— Потрясающе умный тип, но, понимаешь ли, сумасброд. Приятно с ним беседовать, только смотри не ляпни чего-нибудь. Веди себя, как в светском обществе, понял? Это его слабость.

— Учту, — пообещал Стефан.

Направляясь в корпус выздоравливающих, они вышли из галереи. Пасмурное небо распогодилось, ветер проделывал огромные дыры в серой вате облаков. Ключья тумана плавали над самыми деревьями.

У корпуса какой-то человек в короткой куртке тянул тачку с землей. Это был еврей с лицом, темным не от загара и основательно, почти до глаз заросшим.

— Добрый день, господин лекарь, — обратился он к Стефану, не обращая внимания на Сташека. — Вы меня не припоминаете, господин лекарь? Да, вижу, вы меня забыли.

— Не знаю... — проговорил Стефан, останавливаясь и слегка кивая в ответ.

Сташек едва заметно улыбнулся и стал ковырять носком ботинка втоптаные в грязь стебли.

— Меня зовут Нагель, Соломон Нагель. Я для вашего папы работал по металлу, припоминаете?

Теперь Стефан начал догадываться. Действительно, у отца был кто-то вроде подручного — они иногда вместе запирались в мастерской, строя свои модели.

— Вы знаете, кто я тут? — продолжал Нагель. — Я, видите ли, здесь первый ангел.

Стефану стало не по себе. Нагель подошел к нему вплотную и горячо зашептал:

— Через неделю я буду на большом совещании. Сам Господь будет, и Давид, и все пророки, архангелы и кто хотите. Со мной там очень считаются, так, может, вам, господин доктор, что-нибудь нужно? Скажите, я устрою.

— Нет, ничего мне не нужно...

Стефан схватил Сташека за руку и потянул к двери. Еврей, опершись о лопату, проводил их взглядом.

— Для непосвященных лечебница — невесть что... — разглагольствовал Кшечотек, когда они свернули в длинный, облицованный желтым кафелем коридор.

За лестничной площадкой проход раздваивался. Влево шел коридор без окон, освещенный маленькими лампочками; чем-то это напоминало лес. Пока они шли, темнота через равные промежутки накрывала их.

— ...Между тем симптомы поразительно стереотипны. Видения, галлюцинации, такая стадия, эдакая стадия, двигательное возбуждение, потеря памяти, кататония, мания — и шабаш. А теперь — внимание!

С этими словами Сташек остановился у обыкновенной, запирающейся на ключ двери, над которой горела матовая лампочка.

Они вошли в небольшую, но казавшуюся просторной комнату: заправленная кровать у стены, несколько белых стульев и стол, на котором возвышалась аккуратная стопка толстых книг. На полу валялось множество скомканных листов бумаги. Человек в фиолетовой, в серебряную полоску, пижаме сидел спиной к вошедшим. Когда он повернулся, Стефан вспомнил фотографию в каком-то иллюстрированном журнале. Это был рослый, можно сказать, красивый мужчина, хотя подкожный жирок уже начинал размывать чистоту линий его лица. Под бровями, лохматыми и припорошенными сединой — так же, как и виски, — горели глаза, большие и, казалось, не мигающие, но живые, как бы чуть обленившиеся в затворничестве. Бесцветные сами по себе, они подлаживались под тона окружения. Теперь они были светлыми.

Кожа поэта, изнеженная долгим его пребыванием взаперти, была совсем прозрачной и провисала под глазами едва заметными мешочками.

— Разрешите вам представить моего коллегу, доктора Тшинецкого. Он приехал поработать у нас. Великолепный партнер для дискуссий.

— Если и партнер, то лишь универсальный дилетант, — произнес Стефан, с удовольствием отвечая на теплое, короткое рукопожатие Секуловского.

Сели. Наверное, выглядело это довольно странно: двое в белых халатах, из карманов которых неделикатно выглядывали стетоскопы и диагностические молоточки, и пожилой господин в экзотической пижаме. Поболтали о том о сем; наконец Секуловский заметил:

— Медицина может быть недурным окном в беспредельность. Порой я жалею, что не изучал ее систематически.

— Перед тобой выдающийся знаток психопатологии, — сказал Кшечотек Стефану; тот заметил, что его друг более сдержан и официален, чем обычно.

«Пьжится», — подумал Стефан. Вслух он сказал, что никто еще не написал романа о людях их профессии, а ведь кто-то мог бы стать настоящим исследователем этой сферы, нарисовать верную ее картину.

— Это дело копиистов, — небрежно, хотя и учтиво, усмехнулся поэт. — Зеркало на проселочной дороге? Что тут общего с литературой? Если так подходить, господин доктор, то роман — вопреки мнению Виткаци<sup>[10]</sup> — это искусство подглядывания.

— Я имел в виду всю сложность явления... метаморфозу человека, который вступает в университетские стены, зная людей лишь со стороны их кожного покрова и, возможно, слизистой оболочки, — Тшинецкий улыбнулся, ибо это должно было сойти за двусмысленность, — а выходит... врачом.

Это прозвучало идиотски. Стефан с досадой и удивлением обнаружил, что не способен достаточно быстро формулировать мысли, подбирать слова и смущается, как школяр перед учителем, хотя никакого почтения к Секуловскому не испытывает.

— Мне кажется, что о своем теле мы знаем не больше, чем о самой далекой звезде, — негромко заметил поэт.

— Мы познаем законы, которым оно послушно...

— И это в то время, когда чуть ни на каждый тезис в биологии есть свой антитезис. Научные теории — это психологическая жевательная резинка.

— Но позвольте, — возразил уже несколько задетый Стефан, — а как вы обычно поступали, когда заболели?

— Звал врача, — улыбнулся Секуловский. Улыбка у него была по-детски открытая. — Но лет в восемнадцать я понял, какое множество тупиц становится врачами. С тех пор панически боюсь заболеть: разве можно исповедоваться в своих постыдных слабостях перед человеком, который глупее тебя?

— Иногда это лучше всего; неужели вас никогда не тянуло пооткровенничать с первым встречным о том, что вы бы утаили от самых близких?

— Кто же, по-вашему, может быть «близким»?

— Ну, хотя бы родители.

— Кто ты такой? Маленький поляк, — изрек Секуловский. — Это родители-то — самые близкие? Почему не панцирные рыбы? Ведь они тоже были звеном в эволюции, как учит ваша биология; следовательно, нежность должна распространяться на все семейство, включая ящеров. А может, вы знаете кого-нибудь, кто зачинал ребенка, предаваясь трогательным мыслям о его будущей духовной жизни?

— Ну а женщины?

— Вы, наверное, шутите? Оба пола взаимодействуют по причинам довольно маловразумительным; по всей видимости — это результат того, что когда-то какой-то комочек белка чуток перекривился, тут что-то убавилось, там выпятилось, ну, вот и возникли какие-то впадины и соответствующие им выпуклости, но чтобы отсюда начался путь к близости? Разумеется, духовной... Близка ли вам ваша нога?

— Какое это имеет... — попытался возразить Стефан. Он видел уже, что сдает; Секуловский словно меткими выстрелами дырявил разговор.

— Все имеет. Нога, конечно, ближе, ибо вы можете прочувствовать ее двояко: первый раз с закрытыми глазами, как «осознанное чувство обладания ногой», а второй раз, когда на нее взглянете, коснетесь ее, — иными словами как вещь. Увы, любой другой человек всегда вещь.

— Это чистейший абсурд. Не хотите же вы сказать, что у вас никогда не было друга, что вы никогда не любили?

— Ну, вот мы и приехали! — закричал Секуловский. — Разумеется, все это было. Но близость-то тут при чем? Никто не может быть мне ближе, чем я сам, а я порой так далек от самого себя...

Поэт прикрыл глаза; сделал он это с таким усилием, словно отрекался от всего мира. Их беседа походила на блуждание в лабиринте. Стефан решил взять дело в свои руки и выложить самое заветное. Можно будет позабавиться.

— Мы говорили о литературе. Вы слишком односторонне выхватываете слова и переиначиваете подробности...

— Валяйте смелее, — поощрил его поэт.

— Между тем художественное произведение — дитя традиции, а талант — умение нарушать таковую. Я приемлю не только реализм; хорош любой литературный стиль, если только автор хранит верность внутренней логике произведения: кто однажды заставил героя пройти сквозь стену, тот должен делать это и дальше...

— Извините, но... зачем, по-вашему, существует литература? — осведомился Секуловский тихо, словно сквозь дрему.

Стефан еще не кончил свою мысль, и вмешательство поэта совершенно сбilo его с толку, он потерял нить.

— Литература учит...

— Да-а-а? — протянул поэт. — А чему учит Бетховен?

— А чему Эйнштейн?

Стефана охватила досада, граничащая со злостью. Секуловского явно перехвалили. Чего ради он должен его щадить?

Поэт тихо смеялся, очень довольный.

— Естественно, ничему, — сказал Секуловский. — Он забавляется, дорогой мой. Только не все об этом знают. Если давать собаке колбасу, зажигая при этом лампу, через некоторое время собака начнет выделять слюну, увидев свет. А если человеку показывать чернильные каракули на бумаге, немного погодя он скажет, что это — модель беспредельности Вселенной. Все это — физиология мозга, дрессировка, не более того.

— А что является колбасой для человека? — быстро спросил Стефан, ощущая себя фехтовальщиком, который нанес точный удар противнику. Но Секуловский не замешкался с ответным ударом.

— Эйнштейн — колбаса или еще какой-нибудь достойный авторитет. Разве математика — не разновидность интеллектуальных пятнашек? А логика, эти шахматы со строжайшими правилами? Это же как детская игра с веревочкой, которую двое ловко снимают с пальцев, всячески переиначивают, а под конец возвращаются к исходной точке. Известно ли вам

доказательство Пеано и Рассела,<sup>[11]</sup> что дважды два — четыре? Оно занимает печатную страницу алгебраических формул. Все развлекаются, и я развлекаюсь. Может, вы видели мою пьесу «Сад цветистый»? Я назвал ее химической драмой. Цветы — это бактерии, поскольку бактерии — растения, а сад — человеческое тело, в котором они размножаются. Там идет ожесточенная борьба между туберкулезными палочками и лейкоцитами. Раздобыв бронезилеты из липидов, некое подобие шапки-невидимки, бактерии объединяются под водительством сверхмикроба, побеждают армию лейкоцитов, и перед ними вот-вот должно открыться благостное и светлое будущее, но вдруг сад умирает у них под ногами, то есть гибнет человек, и бедные растеньица вынуждены умереть вместе с ним...

Стефан не знал этой драмы.

— Извините, что говорю о себе. Но в конечном счете любой из нас является неким проектом пупа земли, да только не всегда добротным выполненным. Много, много халтуры в человекопроизводстве. Ну а мир, — тут он усмехнулся, глядя чуть пониже окна, словно заметил там нечто забавное, — это скопище самых фантастических чудес, обыденность которых ничего не объясняет... Разумеется, проще всего притворяться, что ничего не видишь, и то, что есть, оно есть — и точка. Я так и поступаю по будням. Но этого слишком мало. Не помню точно цифр (память последнее время подводит), но я читал, сколь маловероятно возникновение живой клетки из сонмища атомов... примерно один шанс на триллион. Затем еще нужно, чтобы эти клетки в количестве скольких-то там миллиардов соответствующим образом сгруппировались, учреждая тело живого человека! Каждый из нас — облигация, на которую выпал главный выигрыш: несколько десятков лет жизни, великолепной забавы. В царстве полыхающих газов, раскручивающихся до белого каления туманностей, трескучей космической стужи появился выброс белка, студенистой массы, стремящейся немедленно обратиться в насыщенные бактериями испарения и гниль... Сотни тысяч крючков-уловов удерживают этот диковинный всплеск энергии, который, как молния, рассекает материю на бытие и гармонию; узел пространства, ползающий в пустоте, и зачем? Затем, чтобы чей-то глаз подтвердил существование неба? Глаз, вы понимаете? Вы когда-нибудь задумывались, почему облака и деревья, золотисто-коричневые осенью, бурые зимой, этот пейзаж, преображаемый временами года, почему все это дубасит нас своим великолепием, как молотом, — по какому праву? Ведь мы должны быть черной межзвездной пылью, ключьями туманности Гончих Псов; ведь нормой является гул звезд, метеоритный поток, бездна, тьма, смерть...

Секуловский устало откинулся на подушки и глухим, низким голосом продекламировал:

Only the dead men know the tunes

The live world dances to...<sup>[12]</sup>

— Так что же для вас литература? — решился, нарушив долгое молчание, спросить Стефан.

— Для читающих — попытка забыться. А для творца — попытка обрести спасение... вместе со всеми.

— Ваш мистицизм...

Стефану определенно не везло в разговоре: он не успел выложить самые веские козыри, так как Секуловский фыркнул и соскочил со своего конька — бесконечности.

— Я — мистик? Кто это вам сказал? У нас едва кто-нибудь напечатается раза четыре, ему тут же навешивают ярлык прямо-таки с формулировкой, подходящей для надгробия: «тонкий лирик», «стилист», «жизнелюб». Критики, которых я некогда окрестил крестинами, это — врачи литературы, ибо подобно вам ставят липовые диагнозы, тоже знают, как должно быть, и тоже



абсолютно не способны помочь... Превратили меня в мистика насильно, и кто? — провонявшие клопами типы, хамы, остолопы, и вот еще одна странность из миллиона других: имея мозг, якобы аналогичный моему, можно думать как бы кишечником.

— Наша беседа несколько бессистемна — не диалог, а двойной монолог с перевесом в вашу пользу, — сказал Стефан. Он решил поднапрячься и мощным ударом свалить Секуловского. Он уже совершенно забыл о своей медицине. — Я ведь знаю ваши сочинения. Так вот, вы намекаете на существование иной яви, нежели «Явь Бытия». Описываете несуществующие миры, хотя и правдоподобные, — что-то вроде отрицательной кривизны Римановых пространств... Но ведь и мир, который нас окружает, довольно интересен, как вы сами утверждаете. Почему же вы так мало о нем пишете?

— Мир, который нас окружает? Ах, так вы полагаете, что я «придумываю миры»? Значит, вы несколько не сомневаетесь в подлинности мира, который окружает меня и вас, того мира, в центре которого вы восседаете на крашеном стуле?

Стефан подумал, что мир этот малость чокнутый, но, разумеется, сказал:

— До некоторой степени — да.

Секуловский услышал только это «да», так как оно было ему нужно.

— Я смотрю иначе. Недавно господин доктор Кшечотек разрешил мне заглянуть в микроскоп. Он видел там, как потом рассказывал, розовато окрашенные частицы слизистой оболочки, среди которых располагались темными венчиками возбудители дифтерии — характерной колбовидной формы; я правильно за ним повторяю?

Сташек подтвердил.

— А я видел архипелаги коричневых островов, похожих на коралловые атоллы в лазурном море, где плавали розовые обломки льдин, влекомые могучими, пульсирующими течениями...

— Эти «атоллы» как раз и были бактерии, — заметил Сташек.

— Да, но я этого не видел. Так где же общий для всех мир? Разве книга — одно и то же для переплетчика и для вас?

— Неужели вы сомневаетесь даже в возможности понять другого?

— Этот разговор чересчур академичен. Могу сознаться в одном: я действительно как бы удлиняю иные штрихи на рисунке мира, я всегда стремлюсь к идеальной последовательности, которая в итоге может оказаться непоследовательностью. И не более того.

— Следовательно, упорядоченный абсурд? Это — одна из возможностей, и я не знаю, почему...

— Любой из нас — одна из возможностей, которая превратилась в необходимость, — перебил Секуловский, и Стефану припомнилась мысль, которую он однажды в одиночестве произвел на свет:

— Подумали ли вы когда-нибудь: «я, который был живчиком и яйцеклеткой»?

— Это любопытно. Вы позволите, я запишу? Разумеется, если это не из ваших литературных заготовок... — спросил Секуловский.

Стефан промолчал, чувствуя, что его ограбили, хотя формально он и не может заявить протест, и Секуловский крупным косым почерком сделал запись на закладке, вынутой из книги. Это был «Улисс» Джойса.

— Вы беседовали, господа, о последовательностях и их продолжениях, — заговорил молчавший до того Сташек. — А что вы скажете о немцах? Последствием, вытекающим из их идеологии, было бы биологическое уничтожение нашего народа после того, как будут полностью использованы его людские ресурсы.

— Политики — слишком глупые люди, чтобы разумным образом предполагать, как они поступят, — ответил Секуловский, аккуратно завинчивая зеленовато-янтарное вечное перо



«Пеликан». — Но в данном случае то, о чем вы упомянули, не исключено.

— Так что же делать?

— Играть на флейте, ловить бабочек, — ответил поэт, которому, похоже, наскучила беседа. — Мы добиваемся свободы различными способами. Одни — за чужой счет, это очень некрасиво, зато практично. Другие — выискивая в обстоятельствах щель, сквозь которую можно улизнуть. Не будем бояться слова «безумие». Я утверждаю, что могу совершить деяние по видимости безумное, чтобы продемонстрировать свою свободу действий.

— Например? — спросил Стефан, хотя ему и показалось, что Сташек, которого он видел только краешком глаза, делает какой-то предостерегающий жест.

— Например? — сладко отозвался Секуловский, сморщился, вытаращил глаза и замычал во все горло, как корова.

Стефан побагровел, как свекла. Сташек отвернулся, ухмылка на его губах превратилась в гримасу.

— Quod erat demonstrandum, — сказал поэт. — Я слишком ленив, чтобы изобразить нечто более впечатляющее.

Стефану вдруг стало жалко затраченных сил. Перед кем он мечет бисер?

— Это не имеет ничего общего с настоящим безумием, — продолжал Секуловский. — Это лишь маленькое доказательство. Давайте же расширять наши возможности не только в пределах нормы, давайте искать выходы из положения, выходы, которых никто не замечает.

— А на эшафоте? — сухо, но не без внутренней запальчивости бросил Стефан.

— Там, по крайней мере, можно откреститься от животного хотя бы самой формой умирания. А как бы вы, доктор, поступили в подобной ситуации?

— Я... я... — Стефан не знал, что сказать. До этого слова сами собой соскальзывали с языка, теперь, показалось ему, язык отяжелел от пустоты. А так как Тшинецкий очень боялся оконфузиться, он и в самом деле языком не мог шевельнуть. И надолго умолк. И не скоро снова обрел дар речи. — Мне кажется, мы вообще находимся на отшибе. Да вообще эта лечебница — явление нетипичное. Типичная нетипичность, — сказал Стефан; этот придуманный им оборот даже немного его ободрил. — Немцы, война, поражение — все это воспринимается тут как-то очень уж приглушенно, в лучшем случае как далекое эхо...

— Горы железных останков, правда? А настоящие корабли плавают по морям, — проговорил Секуловский и вдруг уставился в потолок. — Вы же, господа, пытаетесь поправить Творца, который испортил не одну бессмертную душу...

Он встал, прошелся по комнате и несколько раз звучно откашлялся, словно настраивая голос.

— Так что же, *радиоиге дослушатели*, мне вам еще *продемонстрировать*! — спросил поэт, остановившись посреди комнаты и скрестив на груди руки. Лицо его неожиданно просветлело. — Грядет, — прошептал он. Чуть наклонился и так напряженно стал вглядываться во что-то поверх голов врачей, что они, будто настигнутые этим странным ожиданием чего-то, тоже не могли пошевелиться. Когда напряженная тишина стала уже совсем невыносимой, поэт начал декламировать:

И бунчук из жемчужно-кольчатых червей  
На могилу мою водрузите. Пусть их шелест изложет  
Мой череп, как разрушенный город  
Гложет отблеск кровавых огней.  
Трупных бактерий белая пляска —  
Пусть повесть эту продолжит.

Потом отвесил поклон и отвернулся к окну, словно перестав замечать гостей.

— Я же просил тебя... — начал Сташек, едва они вышли.

— Я ведь ничего...

— Ты его провоцировал. Надо было все время притормаживать, а ты сразу — на полный ход. Тебе больше хотелось доказать свою правоту, чем выслушать его.

— Понравились тебе эти стихи?

— Представь себе, несмотря ни на что — да! Черт знает, сколько ненормальности таится подчас в гении и наоборот.

— Ну, знаешь ли, Секуловский — гений! — воскликнул Стефан, так задетый, словно его это касалось кровно.

— Я дам тебе его книгу. Наверняка не читал «Кровь без лица».

— Нет.

— Сдашься!

И Сташек простился с Тшинецким, который обнаружил, что стоит возле дверей собственной комнаты. Стал шарить в ящике стола, нет ли там пирамидона. Виски разламывались, словно сжатые свинцовым обручем.

Во время вечернего обхода Стефан тщетно старался увильнуть от увядшей блондинки. Она вцепилась в него. Пришлось отвести ее в кабинет Носилевской.

— Доктор, я вам все расскажу, — затараторила она, нервно сплетая пальцы. — Меня схватили за то, что я везла свиное сало. Ну, я и притворилась сумасшедшей, испугалась, что отправят в концлагерь. А тут хуже лагеря. Я боюсь этих психов.

— Как ваша фамилия? Какая разница между ксендзом и монахом? Для чего служит окно? Что делают в костеле?

Задав эти вопросы и выслушав ответы на них, Стефан понял, что женщина действительно вполне нормальна.

— А как вы смогли притворяться?

— Ну, у меня золовка, она в психиатрической больнице Яна Божьего, так я кое-что повидала, наслушалась... будто разговариваю с кем-то, кого нет, а я его вроде бы вижу, ну и еще всякие штучки.

— Что же мне с вами делать?

— Выпустите меня отсюда. — Она молитвенно сложила руки.

— Это так просто, знаете ли, не делается. Какое-то время нам придется понаблюдать за вами.

— А это долго, доктор? Ой, и зачем я на это решилась.

— В концлагере не было бы лучше.

— Но я же, доктор, не могу быть рядом с той, которая делает под себя, умоляю вас. Мой муж сумеет вас отблагодарить.

— Ну-ну, только без этого, — отрезал Стефан с профессиональным возмущением. Он уже нащупал нужный тон. — Переведем вас в другую палату, там тихие. А теперь идите.

— Ох, мне все равно. Визжат, поют, глазами вращают, я попросту боюсь, как бы самой не спятить.

Спустя несколько дней Стефан уже наловчился заполнять истории болезни «вслепую», с помощью нескольких расхожих штампов, благо так поступали почти все. Быстрее всего он раскусил Ригера: человек, несомненно, образованный, но ум его что японский садик — вроде бы и мостики, и дорожки, и вообще все красиво, но очень уж крохотное и бесполезное. Мысль его

катилась по наезженным колеям. Познания его словно были сложены из разрозненных, но плотно слипшихся плиток, и он распоряжался ими совершенно по-школярски.

Спустя неделю отделение уже не производило на Тшинецкого столь неприятного впечатления. «В сущности, несчастные женщины», — думал он, хотя некоторые, особенно маньячки, хвастались общением со святыми отнюдь не в духе религиозных догм.

На воскресенье пришлись именины Паенчковского, который явился в свежееотглаженном халате и с аккуратно расчесанными влажными сосульками своей реденькой бородки. Глаза его, похожие на глаза одряхлевшей птицы, одобрительно помаргивали за стеклами очков, когда шизофреничка из отделения выздоравливающих декламировала стишок. Потом пела алкоголичка, а в завершение выступил хор психопатов, но потом программа торжества была внезапно скомкана: все бросились к старику, и он взлетел над лесом рук под потолок. Гам, пыхтение — нашлась даже женщина-чайник, почти по Эдгару По. Старика с трудом вырвали из рук больных. Врачи выстроились в процессию — несколько на монастырский лад: во главе настоятель, за ним братия — и направились в мужские палаты, где ипохондрик, вообразивший, что болен раком, начал декламировать, но его прервали трое паралитиков, затянув хором: «Умер бедняга в больнице тюремной» — их никак не удавалось остановить. Потом было скромное пиршество во врачебном корпусе, в завершение которого Пайпак попытался сказать патриотическую речь, но у него ничего не вышло: крохотный старикашка с подергивающейся, словно все отрицающей головой прослезился над рюмкой тминной, пролил водку на стол и, наконец, к всеобщему удовлетворению, сел на место.

Больница кишмя кишела интригами. Хитроумно растянутые их сети только и ждали неловкого шага дебютанта. Кто-то старался выжить Паенчковского, распускал слухи о скорой смене руководства, радовался каждому сбою в работе, но Стефан, наблюдавший, как сквозь стекло аквариума, за выкрутасами ущербной психики, был слишком поглощен этим зрелищем, чтобы вникать в мирские дела.

Его тянуло к Секуловскому. Расставались они довольные собой, хотя Стефана раздражало, что поэт чувствует себя как рыба в воде в пучине кошмаров, на которую сам себя обрек, а Секуловский видел в молодом человеке только спарринг-партнера, полагая, что его собственный разум — мерило всего и вся.

Дошли сюда первые известия о варшавских облавах, слухи о скором учреждении гетто, но, профильтрованные сквозь больничные стены, они казались какими-то туманными и неправдоподобными. Многие бывшие солдаты, участники сентябрьской кампании, которых война выбила из душевного равновесия, покидали больницу. Благодаря этому сделалось попросторнее; до последнего времени в некоторых отделениях одна койка приходилась на двух, а то и трех больных.

Зато труднее стало с продовольствием, не хватало лекарств. После долгих раздумий Пайпак составил и издал инструкцию, обязывающую к строжайшей экономии. Скополамин, морфин, барбитураты, даже бром оказались под ключом. Инсулин, предназначенный для шоковой терапии, заменяли кардиазолом, а тот, что еще оставался, выдавали скупой и осмотрительно. Больничная статистика захромала; из еще не устоявшихся цифр пока нельзя было выстроить новую модель сообщества умалишенных; одни рубрики таяли, другие постоянно менялись или застывали — то был период неопределенности.

Апрель день ото дня набирался сил. Дни, напоенные веселым шумом дождя и зелени, сменялись мгристо-метельными, будто одолженными у декабря. В воскресенье Стефан встал рано, разбуженный напористым солнцем, которое сквозь веки окрасило его сон в сумрачный пурпур. Выглянул в окно. Картина, открывшаяся перед ним, то и дело менялась, будто великий художник широкими мазками набрасывал эскиз за эскизом одного и того же пейзажа, всякий раз прибавляя новые краски и подробности.

В длинные ложбины между холмами, неподвижными, как спины спящих зверей, врывался волокнистый туман; черные штрихи ветвей размазывались в его волнах. Тут и там, словно кисть на что-то наталкивалась с ходу, темнели за пеленой тумана разномастные угловатые тени. Потом в белизну просочилось сверху немного золота; все заволновалось, образовались жемчужные водовороты, туман растянулся до самого горизонта, поредел, осел, и из раскальвающих туч сверкнул день, блестящий, как ядрышко очищенного каштана.

Стефан вышел из больницы на прогулку. И сразу свернул с дороги. Зеленая покрывала каждую пядь земли, буйствовала в канавах, выплескивалась из-под камней; расклеивались почки, нежные бледно-зеленые облачка окутывали далекие деревья. Стефан зашагал напрямик вверх по склону холма, по которому вольно разгуливал теплый ветер, миновал вершину, шелестевшую засохшей прошлогодней травой. От холма кругами разбежались поля, напоминавшие грязный полосатый больничный халат. На каждом стебельке сияли капли воды, голубые и белесые, внутри каждой — осколочек отраженного мира. Далекий лес, косою полоской протянувшийся к горизонту, казался перламутровым. Ниже по склону стояли три дерева, до половины окунувшиеся в небосвод, — бурые созвездия липких почек. Стефан направился в ту сторону. Обходя стороной густые заросли кустарника, он услышал прерывистое

дыхание.

Приблизился к перепутанным ветвям. В кустах на коленях стоял Секуловский и смеялся чуть слышно, но так, что у Стефана мороз пробежал по спине. Не оглядываясь, поэт позвал:

— Идите сюда, доктор.

Стефан раздвинул ветки. Показалась круглая полянка. Секуловский смотрел на кочку, вокруг которой пульсировали, петляя среди рыжеватых былинок, жиденькие ручейки муравьев.

Тшинецкий стоял молча, а поэт, окинув его задумчивым взглядом, поднялся с колен и заметил:

— Это только модель...

Поэт взял Стефана под руку. Они выбрались из кустов. Вдали виднелись казавшиеся отсюда серыми и приземистыми больничные постройки. Красным пятном — словно по ошибке заброшенный туда детский кубик — выделялся хирургический корпус. Секуловский присел на траву и принялся что-то торопливо строчить в блокноте.

— Вы любите наблюдать за муравьями? — спросил Стефан.

— Не люблю, но иногда приходится. Если бы не мы, насекомые были бы отвратительнейшими творениями природы. Ведь жизнь — это отрицание механизма, а механизм — отрицание жизни, а насекомые — оживленные механизмы, насмешка, издевка природы... Мошки, гусеницы, жучки, а ты тут изволь — трепещи перед ними! Не искушайте сил небесных...

Секуловский наклонил голову и продолжал писать. Стефан заглянул ему через плечо и прочел последние слова: «...мир — борьба Бога с небытием». Он спросил, не строчка ли это будущего стихотворения.

— Почему я знаю?

— А кто же знает?

— И вы хотите быть психиатром, психологом?

— Поэзия — это выражение отношения к двум мирам: зримому и переживаемому, — неуверенно начал Стефан, — Мицкевич, когда он сказал: «Наш народ, как лава»...

— Мы не в школе, бросьте, — перебил его Секуловский, моргая. — Мицкевичу можно было, он романтик, наш же народ как коровья лепешка: снаружи — сухо и невзрачно, а внутри — известно что. Впрочем, не только наш. А о выражении всяких там отношений и занятии позиций при мне, пожалуйста, не говорите, меня от этого мутит.

Он долго блуждал взглядом по залитым солнцем просторам. Спросил:

— Что это такое — стихотворение?

Тяжело вздохнул.

— Стихотворение возникает во мне, как фрагменты росписи, которые проступают из-под облупившейся штукатурки: отдельными, яркими обрывками. Между ними зияет пустота. Потом я стараюсь связать эти сплетения рук и горизонтов, взгляды и предметы воедино... Так бывает днем. Ночью, ибо это порой случается и во сне, ночью — это как вибрирующие удары колокола, которые сливаются в нечто целостное. Самое трудное в том, чтобы проснуться и захватить это с собой в явь.

— Стихотворение, которое вы прочли при нашей первой встрече, дневное или ночное?

— Скорее дневное.

Стефан попытался его похвалить, но получил нахлобучку.

— Вздор. Вы не знаете, что это могло быть. Что вы вообще можете знать о стихах? Писание — это окаянная повинность. Если кто-то, наблюдая за агонией самого близкого ему человека, невольно вылавливает из его последних конвульсий все, что можно описать, — это настоящий писатель. Филистер тут же завопит: «Подлость». Не подлость, милейший, а только страдание.

Это не профессия, этого не выбирают, как место в конторе. Спокойствие — удел лишь тех писателей, которые ничего не пишут. А такие есть. Они блаженствуют в океане возможностей, понимаете? Чтобы выразить мысль, надо ее сперва ограничить, то есть убить. Каждое произнесенное мною слово обкрадывает меня на тысячу иных, каждая строфа — это гора самоотречений. Я вынужден выдумывать уверенность. Когда отваливаются те самые куски штукатурки, я чувствую, что глубже — там, за золотыми фрагментами, разверзается невысказанная бездна. Она там наверняка, но любая попытка докопаться до нее оборачивается крушением. И мой страх...

Он умолк и вздохнул.

— Всякий раз мне кажется, что это — последнее слово. Что больше не смогу... Вам, разумеется, не понять. Вы понять не можете. Страх, что слово это последнее, — как это объяснить? Ведь слова хлещут из меня, как при паводке — вода из-под дверей. Не знаю, что за ними. Не знаю, не последняя ли это волна. Мощь источников не в моей власти. Они настолько во мне, что как бы вне меня. И вы хотите, чтобы я «выражал отношение»... Я вечно внутренне скован. Свободным я могу быть только в людях, о которых пишу, но и это — иллюзия.

Для кого мне писать? Исчез пещерный человек, который пожирал горячий мозг из черепов своих ближних, а их кровью рисовал в пещерах произведения искусства, равных которым нет и по сей день. Миновала эпоха Возрождения, гениальных универсалов и костров с поджаривающимися еретиками. Исчезли орды, обуздывающие океаны и ветер. Близится эра загнанных в казармы пигмеев, консервированной музыки, касок, из-под которых невозможно смотреть на звезды. Потом, говорят, должны воцариться равенство и свобода. Почему равенство, почему свобода? Ведь отсутствие равенства порождает сцены, полные провидческой символики, порождает пламя отчаяния, а беда способна выжать из человека нечто более ценное, чем лощеная пресыщенность. Я не хочу отказываться от этих колоссальных перепадов напряженности. Если бы это от меня зависело, остались бы и дворцы, и труппы, и крепости!

— Мне рассказывали, — отозвался Стефан, — о русском князе, отличавшемся крайней чувствительностью. Из окон его дворца, стоявшего на высоком холме над деревней, открывался чудесный вид. Лишь несколько ближайших, крытых соломой изб нарушали колористическую цельность картины. И он велел их сжечь: контуры обугленных стропил придали картине нужную тональность, которую он так искал. Она сделалась сочной.

— Этим вы меня не примете, — сказал Секуловский. — Работаем для масс, да? Я не Мефистофель, дорогой доктор, но я люблю каждую проблему продумывать до конца. Филантропия? К милосердию приговорены дипломированные девицы с иссохшими гормонами, что же касается революционных теорий, то беднякам некогда заниматься такими вещами. Этим всегда занимались ренегаты из стана толстобрюхих. Впрочем, людям всегда плохо. Тот, кто ищет покоя, тишины, благодати, найдет все это на кладбище, а не в жизни. Да к чему тут абстракции? Я сам вырос в нищете, о какой вы понятия не имеете, господин доктор. Знаете, свое первое рабочее место я получил трех месяцев от роду. Мать давала меня напрокат побирушке, так как женщине с ребенком больше платят. Восьми лет от роду я болтался вечерами возле ночных заведений и выбирал в изысканной толпе самую шикарную пару. Шел за ней по пятам и плевал на котиков, бобров, ондатр, оплевывал изо всех сил манто, пропахшие духами, и женщин, пока не пересыхало во рту... А то, чего добился, я отвоевал себе сам. Тот, у кого действительно есть способности, всегда выбьется.

— А остальные — удобрение для гения?

Стефан порой сам думал так же; это походило на спор с самим собой.

Он забыл об осторожности: в раздражении поэт бывал груб.

— Ах да... — Секуловский оперся локтями о траву и, глядя на пламенеющие облака,

презрительно рассмеялся. — Это вы-то предпочитаете быть удобрением для грядущих поколений? Ложиться костями под стеклянные дома? Бросьте, доктор; больше всего я не выношу скуки.

Стефан почувствовал себя задетым.

— Значит, вам, например, нет никакого дела до массовых облав в Варшаве, до вывоза людей в Германию? Собираетесь ли вы туда вернуться, покинув нас?

— Почему облавы должны волновать меня больше, чем набеги татар в тринадцатом веке? По причине случайного совпадения во времени?

— Не спорьте с историей — она всегда права. Надеюсь, вы не сторонник страусиной политики?

— История выигрывает: таково право сильного, — сказал поэт. — Конечно, будучи для себя целым миром, в лавине событий я подобен пылинке. Но ничто и никогда не заставит меня мыслить, как пылинка!

— А известно ли вам, что немцы провозгласили тезис о ликвидации всех душевнобольных?

— Сумасшедших на свете, кажется, миллионов двадцать. Надо бросить призыв к единению: будет священная война, — сказал Секуловский и лег навзничь.

Солнце припекало все сильнее. Видя, что поэт хочет увильнуть от ответа, Стефан попытался его дожать:

— Я вас не понимаю. При нашей первой встрече вы говорили об искусстве умирания.

У Секуловского явно портилось настроение.

— Где же тут противоречие? Мне наплевать на независимость государства. Важна лишь духовная независимость.

— Следовательно, по-вашему, судьбы других людей...

Секуловский вскочил, лицо его дергалось.

— Ты скотина! — заорал он. — Ты хам!

И помчался вниз по склону. Стефан, раздосадованный до глубины души, чувствуя, как приливает кровь к лицу, бросился вдогонку. Поэт остановился и рявкнул:

— Шут!

Когда они уже подходили к санаторию, Секуловский успокоился и, глядя на стену, заметил:

— Вы, господин доктор, плохо воспитаны; я бы сказал: вы делаетесь вульгарным, когда в разговоре стремитесь непременно меня уязвить.

Стефан был взбешен, но старался показать, что он, врач, прощает больному его выходку.

Через три недели Тшинецкий перешел в отделение Каутерса. Перед началом работы нанес новому начальству визит. Открыл ему сам хирург; он был в слишком просторной синей тужурке с серебряными галунами. Стефан извинился и продолжал заранее заготовленную речь, пока они шли через темную переднюю до гостиной, — тут он ошеломленно умолк.

Первое впечатление — цвет: бронза с чернью и пульсирующими прожилками фиолетового. С потолка свешивались похожие на четки гирлянды из бледно окрашенной чешуи, пол застилал черно-апельсиновый арабский ковер — выцветшие гондолы? языки пламени? саламандры? Стен не видно было за гравюрами, картинами в черных рамах, за узкими, как придорожные часовенки, шкафчиками с радужно переливающимися стеклами дверок, на ножках из рогов буйвола. Из ближайшей стены, как клинок из ножен, высывалась, скаля желтые зубы, пасть крокодила: ни дать ни взять — одеревеневшее хищное растение. Стол очень низкий, покрытый девятиугольником отшлифованного стекла, под стеклом — море янтарных и коричневых фантастических, ни на что не похожих цветов. По обе стороны дверей — шкафы, хаотично забитые книгами: фолианты в кожаных переплетах, замшелые от старости издания с золотым

обрезом. Огромные атланты-альбомы с серыми, пунцовыми и пестрыми корешками выглядывали из-за безделушек, занимавших передние края полок.

Каутерс усадил гостя — Стефан все еще не мог оторвать глаз от японских гравюр, древнеиндийских божков и поблескивающих вещиц из фарфора, — сказал, что очень рад, и попросил рассказать немного о себе: им надо познакомиться поближе. В этой глуши интеллигентные люди — редкость. Желает ли он специализироваться?

Стефан что-то пробормотал в ответ, с удовольствием ощупывая густую бахрому чесучового чехла, который покрывал подлокотники кресла, аэродинамического колосса, обтянутого скрипучей кожей. Постепенно он стал осваиваться; примыкавшая к окнам часть комнаты служила, судя по всему, кабинетом. Над огромным письменным столом висели репродукции и гипсовые маски. Некоторые он знал. Была там целая галерея уродцев: на хилом, улиткообразном тельце — голова без шеи, с лягушачьим раскрытием глаз и полуоткрытым ртом, заполненным червеобразным языком. Под стеклом — несколько мрачных, отталкивающих лиц работы Леонардо да Винчи; одно — с подбородком, торчащим, как носок старого башмака, и глазами напоподобие сморщенных гнездышек — смотрело на него. Были там замысловато деформированные черепа и чудовища Гойи с ушами вроде сложенных крыльев летучих мышей и косыми острыми скулами. В простенке между окнами висела большая гипсовая маска из церкви Санта Мария Формоса: правая половина лица принадлежала мерзкому оскалившемуся пропойце, левая вздувалась опухолью, в которой плавали выпученный глаз и редкие зубы лопаточками.

Заприметив любопытство гостя, Каутерс начал с удовольствием показывать свои сокровища. Он был страстным коллекционером. У него оказался огромный альбом гравюр Менье, запечатлевших давние способы лечения умалишенных: вращение в громадных деревянных барабанах, хитроумные кандалы с жалящими шипами, ямы с гремучими змеями, пребывание в которых якобы целительно воздействовало на помутненное сознание, железные груши с запирающейся на затылке цепочкой, которые вставлялись в рот, дабы больной не мог кричать.

Возвращаясь от письменного стола к креслу, Стефан заметил на шкафах шеренги высоких банок. В мутном растворе плавало что-то фиолетовое и серовато-сизое.

— Ах, это моя коллекция, — сказал Каутерс и принялся поочередно тыкать в банки черной указкой. — Это — *cephalothora-coraqus*, далее — *cranioragus parietalis*, великолепный образец уродца, и один весьма редкий *epigastrius*. Последний плод — это очаровательный *diprosopus*, [\[14\]](#) у которого из нёба растет нечто вроде ноги, — к сожалению, слегка поврежден при родах. Есть и несколько менее интересных...

Каутерс извинился и приоткрыл дверь. Донеслось нежное позвякивание фарфора, и вошла госпожа Каутерс с черным лаковым подносом, на котором дымился пунцовый с серебряными ободками кофейный сервиз. Стефан снова изумился.

У госпожи Амелии были мягкий, большой рот и строгие глаза, немного похожие на мужнины. Улыбаясь, она показывала острые, матово поблескивавшие зубы. Красивой назвать ее было нельзя, но взгляд она притягивала. Черные волосы, заплетенные по бокам головы в тугие, короткие косички, раскачивались, словно сережки, под углами при каждом ее движении; она знала, что у нее красивые руки, и надела кофточку с короткими рукавами; на груди — брошь, аметистовый треугольник.

— Нравятся вам наши фигурки? — осведомился хирург, пододвигая Стефану сахарницу в форме ладьи викингов. — Ну что ж, люди, которые, как мы, отказались от столь многого, имеют право на оригинальность.

— У нас мягко выстланное гнездышко, — сказала госпожа Амелия и кончиками пальцев



притронулась к пушистому коту, который бесшумно карабкался на кресло. Очертания ее бедер, сочные и мягкие, растворялись в черных складках платья.

Стефан уже не изумлялся, а впитывал в себя впечатления. Кофе был отменный, давно он не пил такого ароматного. Фрагменты интерьера, казалось, позаимствованы у голливудского режиссера, который вознамерился показать «салон венгерского князя», не зная, что такое Венгрия. Дверь квартиры Каутерса была словно нож, который отсек лезущую отовсюду в глаза, нос и уши больницу с ее вылизанной белизной кафельных стен и отопительных батарей.

Вглядываясь в желтоватое лицо хирурга с трепещущими, как крылья встревоженных бабочек, веками за стеклами очков, Стефан подумал, что эта комната — как бы сердцевина воображения Каутерса. Мысль эта пришла ему в голову как раз в тот момент, когда речь зашла о Секуловском.

— Секуловский? — Хирург пожал плечами. — Какой Секуловский? Его фамилия Секула.

— Он изменил фамилию?

— Нет, зачем же? Взял псевдоним, когда разгорелся скандал, ну, из-за той книги. —

Каутерс повернулся к жене.

Амелия улыбнулась.

— «Размышления о пользе государства». О, так вы ее не читали? В самом деле? Нет, у нас ее нет. Столько было шуму... Что там было? Ну... вообще... рассуждения. Вроде бы обо всем, но больше о коммунизме. Левые на него набросились... это сделало ему огромную рекламу. Стал повсюду бывать.

Стефан, опустив голову, рассматривал свои ногти.

Амелия вдруг спохватилась:

— Сама я этого не помню, само собой. Я была маленькая. Мне уже потом рассказывали.

Мне нравились его стихи.

Она взяла с полки томик, протянула Стефану. При этом с полки свалилась на пол тоненькая книжица в эластичном светлом переплете. Стефан бросился помочь. Когда он поднял книгу с пола, Каутерс показал на нее пальцем.

— Красивый переплет, верно? Редкость, — сказал он. — Кожа с внутренней стороны женских бедер.

Когда Стефан отдернул руку — резче, чем следовало, — хирург отобрал у него книгу.

— Мой муж — чудак, — сказала госпожа Амелия. — Но до чего мягонький переплет, вы потрогайте.

Стефан что-то буркнул и, весь взмокший, вернулся на свое место.

Он подумал, что это нагромождение диковинок — как бы парафраз человеческих состояний, заточенных в больничных корпусах. Подобно тому, как цветы, содержащиеся в необычных условиях, подвержены мутациям, человек, произрастающий не во дворе обычного городского дома, ударяется в необычность. Но потом сам себя поправил: может, именно потому, что он не такой, как другие, Каутерс отказался от города и создал этот сумрачный, лиловый интерьер.

Амелия, разговаривая (голос у нее был низкий), грациозно вскидывала руку к лицу и изящным движением крупных пальцев слегка касалась уголка глаза или рта, словно сама этого не замечая.

Уже прощаясь, Стефан заметил за ширмочкой аквариум — прозрачный чан, переливающийся вплавленной в стекло радугой. На поверхности воды плавала маленькая золотая рыбка — зеленоватым брюшком вверх; вне всяких сомнений, мертвая. От этой картины трудно было отделаться, он почувствовал себя разбитым, как после изнурительной умственной работы. На ужин идти не хотелось, но он побоялся, что на это могут обратить внимание, и

заставил себя пойти. Носилевская была за столом такая же, как всегда: немного сонная, предупредительная; она редко улыбалась, и сейчас это было особенно приятно. Сташек пожирал ее глазами; глупец — думал, что никто этого не замечает.

Ночью Стефан никак не мог заснуть и в конце концов принял люминал. Ему приснилась госпожа Каутерс с корзиной дохлых рыб. Она раздавала их стоявшим вокруг нее врачам. Когда подошла к нему, он проснулся с колотящимся сердцем и уже не заснул до утра.

Секуловский вовсе не оскорбился: передал через Сташека, чтобы Тшинецкий утром заглянул к нему. Стефан пошел сразу после завтрака. Теперь он повел себя иначе: не похлопывал поэта по плечу, не смотрел на него сверху вниз. Порой еще пытался возражать, критиковал его идеи, но сам уже нуждался в них, как в опоре.

Поэт сидел у окна, рассматривал большую фотографию, на которой был зал, заполненный непринужденно беседующими людьми.

— Взгляните на лица, — сказал он, — на эти типично американские рожи. Какое самодовольство, как все разложено по полочкам — обед, ужин, постель и подземка. Ни минуты для метафизики, для размышлений о жестокости Вещей. Воистину, Старому Свету, видимо, так уж на роду написано: мы обречены выбирать всего лишь разновидность мук — более почетную или менее почетную.

Стефан рассказал о своем визите к Каутерсу. Он отдавал себе отчет в том, что нарушает неписанные больничные законы, говоря с Секуловским о коллеге, но сам же мысленно и оправдал себя: они оба выше этого. О том, что Каутерс сказал о Секуловском, Стефан, разумеется, умолчал.

— Не ерундите, — добродушно возразил поэт. — Какое уродство? В искусстве все можно сделать или хорошо, или плохо — иного не бывает. Ван-Гог нарисует вам старый ночной горшок так, что только ахнешь. А вот халтурщик первую красавицу превратит в кич. В чем же суть? Да в том, чтобы человека малость выпотрошить. Отблеск мира, запечатленное умирание, катарсис — и точка.

Стефан заметил, что это все же перебор — жить в таком музее.

— Вы это недооцениваете? Несправедливо. Может, закроете окно? — попросил поэт.

В ярком свете он выглядел особенно бледным. Ветер нес со двора навязчивый запах цветущих магнолий.

— Запомните-ка, — продолжал Секуловский, — все существует во всем. Самые далекие звезды влияют на венчик цветка. В росе нынешнего рассвета — вчерашнее облако. Все сплетает между собой вездесущая взаимозависимость. Ни единая вещь не может вырваться из-под власти других. А тем более — вещь мыслящая, человек. Камни и лица отражаются в вашем сне. Запах цветов искривляет направление наших мыслей. Так почему же не моделировать произвольно то, что формировалось случайно? Окружая себя игрушками и побрякушками из золота и слоновой кости, мы как бы подключаемся к аккумулятору. Божок величиной с палец — это плод фантазии художника, которая конденсировалась годы. И вот сотни часов не пропали даром: можно возле них погреться...

Поэт замолчал, а потом добавил со вздохом:

— «А порой мне довольно рассматривать камень»... Это не я, — пояснил он, — это Чанг Киу Лин. Великий поэт.

— Древний?

— Восьмой век.

— Вы говорите: «мыслящая вещь», — сказал Стефан. — Вы ведь материалист, да?

— Материалист ли я? О, магия классификаторства! Я полагаю, что человек и мир сделаны из одной и той же субстанции, хоть и не знаю, что она собой представляет — за гранью слов. Но

это — две поддерживающие друг друга арки. Ни одна не может существовать отдельно. Вы скажете, что после нашей смерти стол этот все равно будет существовать. Но для кого? Ведь для мух это уже не будет «наш стол». «Бытие вообще» не существует, поскольку предмет сразу же распадается: стол «существует безлюдно» — как что? Как полированная доска на четырех кольшках? Как куча мумифицированных клеток древесины? Как хаос химических цепочек целлюлозы или, наконец, как кружение электронных туманностей? Следовательно, что-то — оно всегда для кого-то. Вот дерево за окном, оно и для меня, и для микроба, который питается его соками. Для меня — шумящая частица леса, ветви на фоне неба; для него же единственный лист — зеленый океан, а ветка — целый остров-вселенная. Так есть ли у нас — у меня и у микроба — какое-то общее дерево? Вздор. Почему же тогда выбирать именно нашу точку зрения, а не микроба?

— Потому, что мы не микробы, — вставил Стефан.

— Пока нет, но будем. Размельчимся в земле на мириады азотных бактерий, проникнем в корни деревьев, заполним яблоко, которое кто-то съест, философствуя, как мы теперь, и любуясь розовеющими облаками, в которых будет влага из наших тел. И так — по кругу. Число превращений беспредельно.

И, довольный собой, Секуловский закурил.

— Значит, вы атеист.

— Да, но несмотря на это, у меня есть часовенка.

— Часовенка?

— Вы, может, читали «Молитву моему телу»?

Стефан вспомнил этот гимн легким, печени, почкам.

— Оригинальные святыни...

— Ну, это стихи. Я разграничиваю мои философские взгляды и творчество и никому не позволяю судить обо мне по уже написанным вещам, — сказал Секуловский с внезапным озлоблением и, бросив под стол сигарету, продолжал: — Иногда я все-таки молюсь. Прежде говорил: «Господи, которого нет». Какое-то время это, в общем, меня удовлетворяло. Но теперь... молюсь Слепым Силам.

— Как вы сказали?

— Молюсь Слепым Силам. Ведь, в сущности, это они распоряжаются и телом нашим, и миром, и словами, которые я произношу в данную минуту. Я знаю, что они молитвам не внемлют, — поэт улыбнулся, — но... разве это беда?

Время шло к одиннадцати. Стефан, хочешь не хочешь, отправился на утренний обход. В восьмом изоляторе уже около месяца находился ксендз Незглоба, невысокий костлявый человек; руки его были словно оплетены сеткой фиолетовых жил. Видно, когда-то он немало ими потрудился.

— Как вы себя чувствуете? — войдя, ласково спросил Стефан.

Ксендзу сделали поблажку и оставили сутану; она чернела бесформенным пятном на белизне больничной комнатенки. Стефан стремился быть деликатным, поскольку знал, что заведующий отделением Марглевский в минуты хорошего настроения величает ксендза «послом царства небесного» и развлекает анекдотами из жизни церковных иерархов. Тощий доктор был большим докой по этой части.

— Терзает меня это, господин доктор.

Голос у ксендза был нежный; пожалуй, даже чересчур сладкий. Он страдал бесконечно повторяющимися галлюцинациями; как-то, подвыпив на крестинах, он услышал женский голос у себя за спиной. Тщетно озирался он по сторонам: незримый голос звучал с высот, в которые он не мог проникнуть взглядом.

— Все та же персидская княжна?

— Да.

— Но вы ведь понимаете, что это вам лишь чудится, это галлюцинация?

Ксендз пожал плечами. Глаза у него были запавшие от бессонницы, темные веки — в мельчайших жилках.

— Таким же нереальным может быть и мой разговор с вами, тот голос я слышу столь же отчетливо, как ваш.

— Ну-ну, пожалуйста, не расстраивайтесь, это пройдет. Но алкоголя вам уже нельзя ни капли.

— Никогда бы себе этого не позволил, — покаянно отозвался ксендз, глядя в пол, — но мои прихожане — неисправимые людишки. — Он вздохнул. — Обижаются, сердятся, а уж настойчивые... Вот, чтобы их не обидеть...

— Гм...

Стефан машинально проверил мышечные рефлексy и, пряча молоточек в карман халата, спросил на прощание:

— А что вы делаете целый день, отец? Не скучно вам? Может, принести какую-нибудь книжку?

— У меня есть... книжка.

Действительно, перед ксендзом лежал пухлый том в черной обложке.

— Да? А что вы читаете?

— Я молюсь.

Стефан вдруг вспомнил «Слепые Силы» и с минуту постоял в дверях. Потом, пожалуй слишком стремительно, вышел.

В отделении Носилевской он уже не бывал вовсе. Личные судьбы больных, которые привлекали его поначалу — как в детстве анатомический атлас дяди Ксаверия, полный кровавых картинок, — сделались ему безразличны. Порой он перекидывался несколькими словами со старым Пайпаком, иногда вызывался ассистировать ему при утреннем обходе.

Работая у Каутерса, он ближе узнал старшую сестру его отделения. Фамилия ее была Гонзага. Тучная, носившая несколько юбок, широкая в кости, она казалась строгой. Но строгой лишь как-то вообще, ибо в гневе никто никогда ее не видел. Она действовала на человеческое воображение, как пугало на воробьев. Щеки ее сбегали к синеватой линии рта множеством морщинистых складок. В огромных руках она всегда что-то держала — то кожаный кошель с ключами, то книгу с записями назначений, то кипу салфеток. Поднос со шприцами она не носила: для этого были санитарки. Толковая хирургическая сестра, молчаливая и одинокая; казалось, у нее нет никакой своей жизни. К ней одной Каутерс относился с уважением. Однажды Стефан увидел, как, прижав обе ладони к груди, высокий хирург словно оправдывался перед ней, нервно подергивая плечами; убеждал в чем-то или просил. Сестра Гонзага стояла, вытянувшись во весь свой огромный рост, не шевелясь, с лицом, разделенным надвое тенью от оконного переплета, глаза без ресниц не моргали. Сцена была столь необычной, что запала Стефану в память. Больше такое не повторялось. Старшую сестру можно было встретить в коридорах днем и ночью, плывущую — ног из-за множества юбок видно не было — почти как луна, особенно если смотреть со спины; казалось, ее рогатый чепец освещает сумрачные галереи.

Стефан разговаривал с ней только о предписанных больным процедурах и лекарствах. Как-то, едва расставшись с Секуловским, он искал в шкафчике дежурки какую-то баночку, и старшая сестра, записывавшая что-то в книгу назначений, вдруг изрекла:

— Секуловский хуже сумасшедшего: он комедиант.

— Извините. — Стефан обернулся, изумленный этим неведомым к кому обращенным заявлением. — Вы это мне, сестра?

— Нет. Вообще, — ответила она и поджала губы.

Тшинецкий, разумеется, не осмелился рассказать поэту об этом инциденте, но все же спросил, знает ли тот сестру Гонзагу. Но Секуловского вспомогательный персонал не интересовал. О Каутерсе он выразился лаконично:

— Не кажется ли вам, что его интеллигентность орнаментальна?

— ?

— Она такая плоская.

В углу, образованном двумя стенами ограды, помещался запущенный и как бы забытый, оплетенный лозами, сейчас еще прозрачно безлистными, корпус кататоников. Стефан навещался туда редко. Вначале вознамерился было вычистить эти авгиевы конюшни — мрачные, с подслеповатыми окнами палаты, словно приплюснутые сизым потолком, в которых неподвижно стояли, лежали и преклоняли колени больные, — но вскоре забросил эти реформаторские прожектывы.

Сумасшедшие лежали на сетках без матрасов. Их тела, заросшие грязью, покрывались нарывами соответственно рисунку их ажурных проволочных лежбищ. Воздух был насыщен едким смрадом аммиака и испражнений. Этот последний круг ада, как однажды назвал его Стефан, редко навещали и санитары. Казалось, какие-то неведомые силы удерживают в живых этих людей с угасающим сознанием. Внимание Стефана привлекли два паренька; первый, еврей из маленького местечка, с шаровидной головой, поросшей жесткими волосами морковного цвета, вечно голый, натягивавший на голову одеяло всякий раз, как кто-нибудь входил в его отдельную каморку, сидел, съежившись, на койке. Без конца, дни напролет, он визгливым голосом повторял какие-то два слова на идише. Когда к нему приближались, повышал голос до жалобного молитвенного вопля и начинал дрожать. Взгляд его голубых глаз, казалось, раз и навсегда прилип к железной раме койки. Второй, блондин с соломенными волосами, ходил по пространству, отделявшему общую палату от каморки еврея, — от угловой койки до стены и обратно. На этой восьмишаговой голгофе он всякий раз ударялся с размаха о железную спинку кровати, но не замечал этого. Повыше бедра чернела вздувшаяся рана. Заслышав шаги чужака, он вскидывал руки, до того скрещенные на груди, и закрывал ими лицо, но ходить не переставал. И как-то по-детски начинал стонать — странно это было слышать из уст мужчины, хотя именно в этот миг он им и становился. Его тело, освободившееся от власти сознания, жило по звериным законам — под распахнутой рубашкой лоснилась лепнина мускулатуры, придающая осанистую монументальность торсу. На лице его, белом, как стена, о которую он ударялся, с синеватыми белками глаз, застыл то ли вопрос, то ли просьба.

Стефан как-то заглянул туда в необычное время, после обеда, желая проверить одно свое предположение: он подозревал, что санитарка Ева поступает с парнями подло, так как после ее посещений они всегда бывали крайне возбуждены. Еврея трясло так, что скрежетала проволочная сетка, а статный блондин чуть не бегом носился по проходу, врезался в спинку кровати, отскакивал от нее и ударялся о стену.

Палаты заполнял полумрак мгlistых, сгущающихся сумерек. Ветер стучал в стекла щупальцами лоз. Стефан замер в коридорчике: Носилевская, стоя возле койки еврея, неторопливо сдвинула у него с головы одеяло, которое попытались было водворить на место его толстые красные пальцы, и движениями необычайно легкими и ласковыми принялась гладить спутавшиеся, жесткие волосы больного. Повернувшись лицом к окну, она, казалось, смотрела куда-то вдаль, хотя в четырех шагах от стекла застила свет кирпичная стена, покрытая

замысловатой сетью трещин.

Стефан глянул в сторону — в полосе тени он увидел второго хроника, который, прервав свой неустанный поход, стоял, прижавшись к дверному косяку, и не сводил глаз с темного на фоне окна силуэта женщины. Тшинецкий хотел было войти в палату, потребовать объяснений, но повернулся и, ступая как можно тише, пошел прочь.

Был май. Все пронзительнее зеленел лес, который двумя широкими, напоминающими пухлые полумесяцы дугами опоясывал взнесенную на холм больницу. Всё новые цветы распускались каждую ночь, всё новые листочки, которые вчера еще болтались на ветках влажными жгутиками, расправлялись, словно крылья к полету. Колонны берез, уже не тускло-серебряные, а спящие белизной, подступали к самым окнам. На тополях всеми оттенками светлого меда искрились набухшие солнцем сердечки-листья. Дорога, петляющая среди холмов, стороной обходила вытянувшийся вверх крест, который сиротливо чернел на фоне распахнувшихся настуж просторов. Тут и там песчаные холмы оцетинивались глиной; казалось, кто-то раскидал по этой радующей глаз картине медовые соты.

Каутерс поручил Стефану обследовать инженера Рабевского, которого доставили на автомобиле из соседнего городка.

Жена больного рассказала о странной перемене, произошедшей с мужем в последние месяцы. Он был хорошим специалистом, но после прихода немцев, когда при бомбежке разрушили завод, на котором он работал, устроился преподавателем на технические курсы. Уравновешенный, флегматичный, лысеющий, он самозабвенно рыбачил, собирал библиотеку и не ел мяса. Слыл человеком добрейшей души, который и мухи не обидит. С Нового года напала на него сонливость. Дошло до того, что он стал задремывать за обедом, потом, правда, неожиданно пробуждался, словно оцепеневший жучок, которого внезапно потревожили. Он сделался ленив, не мог заставить себя ходить на занятия, но вот дома его будто подменили: любой пустяк выводил его из себя, — правда, он очень быстро и отходил. После каждой такой вспышки засыпал на несколько часов, а просыпался от резкой боли в висках. Ко всему прочему он стал как-то чудно шутить: его смешили такие вещи, в которых никто, кроме него, ничего смешного не находил. Санитар, которого все называли Юзефом-младшим, огромный детина, способный своими мозолистыми ручищами утихомирить любое отчаяние, ввел инженера в кабинет. Полный мужчина с лысиной, обрамленной венчиком седеющих волос, в вишневом больничном халате, с трудом дошаркал до стула и плюхнулся на него до того неловко, что даже зубы щелкнули. На вопросы отвечал только после долгого молчания, повторять их ему приходилось по нескольку раз и формулировать как можно проще. Увидев стоявший на столе стетоскоп, инженер негромко захохотал.

По всем правилам заполнив историю болезни, Тшинецкий приступил к обследованию рефлексов. Уложил инженера на клеенчатый диван. Солнце за окном буйствовало, все никелированные предметы в кабинете превратились в осколки радуги. Стефан обстукивал молоточком сухожилия, когда в кабинет вошел Каутерс.

— Ну, как там, коллега?

Он был оживлен и деловит. Удовлетворенно выслушал заключение Стефана.

— Это поразительно, — заметил он. — Да. Давайте так и запишем: *suspectio quoad tumorem*.<sup>[15]</sup> Пока. Сделать, скажем, обследование глазного дна. И пункцию. Ну, и это...

Он взял молоточек и принялся выстукивать худые ноги Рабевского.

— Ага? Что? Ну-ка, дотроньтесь левой пяткой до правого колена. Нет, не так. Объясните ему, коллега. — Он отошел к окну.

Стефан стал громко объяснять. Каутерс снова приблизился к ним, разминая пальцами лист, сорванный с прижавшейся к оконной раме ветки. Нюхая свои длинные узловатые кисти, удовлетворенно заметил:

— Превосходно. Значит, у нас и атаксия.

— Вы полагаете, доктор, церебральная?

— Пожалуй, нет. Ну, так этого не обнаружить. Но вот провалы в мышлении. Абулия. Сейчас посмотрим. — Он вырвал из блокнота листок, начертил на нем круг и показал Рабевскому. — Что это?

— Такая часть... — после долгих раздумий ответил инженер. Голос у него был страдальческий.

— Чего часть?

— Катушки.

— Ну, вот вам!

Стефан рассказал об эпизоде со стетоскопом. Каутерс потер руки.

— Отлично. Witzelsucht.<sup>[16]</sup> Как в учебнике, правда? Убежден, у нас опухоль в лобной части. Разумеется, так оно и окажется. Пожалуйста, коллега, запишите свои наблюдения поподробнее.

Больной лежал на клеенчатом диване навзничь, вперив выкаченные глаза в потолок. Он выдыхал шумно; верхняя губа приподнималась, и открывались желтые крупные зубы.

К вечеру у Стефана сделался жар, заболела голова, стало ломить в костях. Он выпил два порошка аспирина, а Сташек, неожиданно заглянувший к нему, принес еще и четвертинку спирта: это уж точно поможет. Однако слабость, озноб и жар по вечерам продержались четыре дня. Только на пятый он смог встать с постели. После завтрака сразу отправился в изолятор к Рабевскому — его занимало, как он там. Перемены были значительные. Обычную низкую больничную кровать заменили специальной, с веревочными сетками сверху и по бокам. В этой своеобразной клетке высотой в сорок сантиметров лежал, словно в сетях, инженер; он, казалось, весь распух. Склонившийся над кроватью Каутерс пристальнейшим образом разглядывал его, то и дело отводя голову в сторону, так как узник пытался плюнуть ему в лицо; по толстым складкам над верхней губой больного текла белая пена. Хирург снял очки, и Стефан впервые увидел его глаза, не защищенные стеклами. Выпуклые, матовые, темные, они напоминали глазки насекомого, если на них посмотреть в лупу.

— Опухоль разрастается, — неуверенно прошептал Стефан.

Хирург пропустил его слова мимо ушей. Он снова отпрянул, поскольку Рабевский ухитрился повернуть голову в его сторону и брызгал слюной. Больной хрипел, напрягая мышцы спеленутого тела.

— Давление на двигательные зоны, — пробормотал Каутерс.

— Вы, доктор, думаете об операции?

— Что?.. Сегодня сделаем пункцию.

К вечеру мозг, истязавший тело Рабевского, казалось, пришел в неистовство. Мышцы больного сжимались и стремительно перекачивались под блестящей от пота кожей. Сетка кровати брэнчала, словно струнный музыкальный инструмент. Стефан дважды приходил со шприцем, но это не очень-то помогало: только хлораловый наркоз на какое-то время успокоил безумца. Очнувшись, инженер впервые за много часов прореагировал на свет и прохрипел:

— Знаю... это я... спасите...

Стефана передернуло. После пункции и откачки ликвора наступило небольшое облегчение. Каутерс просиживал в изоляторе дни напролет, а когда приходил Стефан, делал вид, будто и сам только что заглянул сюда проверить рефлексy. Тшинецкий поначалу удивлялся, отчего хирург тянет, потом это стало его тревожить: день ото дня шансы на успех операции уменьшались.

Состояние возбуждения скоро прошло. Инженер уже мог сидеть в кресле — бледный, заросший, совсем не похожий на того плотного мужчину, который появился здесь три недели назад. Он стал постепенно слепнуть. Стефан уже не решался спрашивать о дате операции:



Каутерс явно был не в своей тарелке, словно чего-то ждал; Рабевский стал его любимчиком — он приносил инженеру кусочки сахара и долго наблюдал, как тот чавкает, разгрызая его, как пытается определить положение собственного тела, дотрагиваясь рукой до колена, голени, ступни. Чувства у инженера постепенно угасали, мир отдалялся от него. Когда ему кричали прямо в ухо, подрагивание век означало, что он еще слышит.

Десятого июня Каутерс, выглянув из изолятора, поманил проходившего мимо Стефана. Палата выглядела пустой: ни стульев, ни столика. Рабевский опять висел в своей клетке — голый, распухший, огромный.

— Смотрите-ка, коллега, и примечайте, — распорядился сияющий Каутерс.

Стянутое веревками тело вздрогнуло. Рука больного ползала по сетке, словно обезумевшее животное. Затем туловище стало дергаться — вверх, вниз, вверх, вниз. Сетка скрипела, железные ножки кровати барабанили по полу. Казалось, кровать вот-вот перевернется. Врачам пришлось притиснуть ее к стене. Приступ прекратился так же неожиданно, как и начался. Напрягшееся, одеревеневшее тело обвисло в сетке. Изредка по руке или ноге пробегала судорога. Потом все успокоилось.

— Что это? Знаете? — спросил хирург, будто экзаменуя Стефана.

— Раздражение двигательной зоны, вызванное давлением опухоли...

Каутерс был иного мнения.

— Нет, коллега. Мозговая кора уже начинает отмирать. Рождается «бескорый человек»! Освобождение от сдерживающего воздействия коры, дают знать о себе более глубокие, более древние участки мозга, еще не поврежденные. Этот приступ был *Bewegungssturm* — двигательная буря, рефлекс, проявляющийся у всех живых существ, от инфузории до птицы. Испугавшись чего-то, что угрожает его жизни, животное начинает беспорядочно метаться, пытаясь убежать. Наступающее затем одеревенение — это вторая скорость того же самого реактивного аппарата. Так называемый *Totstellreflex*, рефлекс симуляции смерти. Как у жучков. Видите, как это происходит? О, теперь это получается преотлично! — возбужденно закричал он, наблюдая за тем, как терзаемый судорогами инженер, выгнув спину, словно лук, бросился на натянутую сетку. — Да... это идет через четверохолмие. Классический случай! Механизм, которым миллионы лет назад пользовались еще земноводные, теперь, когда отпадают более поздние наслоения мозговой массы, пробивается у гомо сапиенс...

— Надо... надо все приготовить к операции? — спросил Стефан. Он не мог больше смотреть ни на бьющееся в судорогах тело, ни на радость хирурга.

— Что? Нет, нет. Я дам вам знать.

Обойдя палаты, Стефан заглянул к Секуловскому. Их взаимоотношения, поначалу довольно-таки неопределенные, теперь прояснились окончательно: мастер и ученик, который обязан смиренно сносить взбучки. Стефан, как правило, не рассказывал ему о больных, но тут сделал исключение, поскольку ситуация повергла его в отчаяние и он нуждался в разумном совете. Сам он ни на что решиться не смел, да и не знал, как поступить. Пойти к Паенчковскому? Но это выглядело бы жалобой на Каутерса — как-никак его начальника, опытного практика. И он решил просто описать Секуловскому состояние инженера, рассчитывая хотя бы на взрыв ярости, на возмущение поэта. Но тот и сам в последнее время чувствовал себя скверно, охотно слушал о том, что кому-то еще хуже, и отблагодарил Стефана пространством рассуждением. Поправив подушки за спиной (он писал в постели), Секуловский начал:

— Я где-то сказал (кажется, в «Вавилонской башне»), что человек напоминает мне такую вот картину: будто бы кто-то в результате многих сотен веков кропотливого труда вырезал восхитительно прекрасную золотую фигурку, одарив каждый сантиметр ее поверхности

изумительной формой. Молчащие мелодии, миниатюрные фрески, красота всего мира — и все это собрано в единое целое, подчинено воздействию тысяч волшебных законов. И эту стройную фигурку вмонтировали в нутро машины, которая перемешивает навозную жижу. Вот вам примерно и место человека на свете. Какая гениальность, какая тонкость исполнения! Красота органов. Упорство замысла, благодаря которому удалось с железной последовательностью собрать воедино разбегающиеся во все стороны атомы, легкие дымки электронов, дикие частицы и, заточив в оболочку тела, заставить их выполнять чуждые им задания. Спроектированные с беспредельным терпением простые механизмы суставов, готика костей, лабиринты бегущей по кругу крови, чудесные оптические приборы, архитектура нервной системы, тысячи и тысячи взаимно друг друга обуздывающих аппаратов, которые совершенством своим превосходят все, что мы только способны вообразить. И все это абсолютно бесполезно! Ошеломленный Стефан подавленно молчал. А поэт хлопнул ладонью по страницам огромной раскрытой книги, заваленной, как и вся его кровать, бумагами, — анатомический атлас, который по его просьбе принес ему сам Стефан.

— Какое несоответствие средств и цели! Этот ваш инженериска существовал себе, даже и не ведая, что в нем было заточено, а потом вдруг клетки сорвались с цепи, дали волю заключенным в них силам, которые до того были нацелены вовнутрь, обслуживали нужды почек и кишок. Это нечаянное освобождение! Взрыв тысяч замурованных возможностей! Душа, пребывавшая до этого мига в коконе, вылезает наружу в чем мать родила, да еще словно под увеличительным стеклом: часы со взбунтовавшимися колесиками.

— Вы имеете в виду раковую опухоль?

— Вы называете это так. Но что такое название? Знаете ли, доктор, мысли ваши просто вымочены в формалине. Ради Бога, хоть капельку воображения. Рак? Это всего-навсего «ход вбок», эдакий «Seitensprung» организма... Эти мои Слепые Силы, которые сотней тысяч способов предохраняли живую ткань от всяких случайностей, видимо, одной какой-то щелки не законопатили достаточно тщательно. Все действует четко, прямо как часы, и вдруг — непредвиденный выброс! Вы видели когда-нибудь, как ребенок, играя, вытаскивает из часов колесико секундной стрелки? Как все начинает крутиться, жужжать, словно шмель, и как стрелки, вместо того чтобы с пользой отмерять часы, начинают безумствовать, пожирая придуманное время! Такая вот опухоль, крохотный росточек, вытягивающийся из одной взбунтовавшейся клетки. Свободной, вы понимаете? Свободной... Как это развивается в мозге, как обвивает мысли, как сжирает и уничтожает эти аккуратные грядки, засаженные человеческой мешаниной...

— Может, вы и правы... — отозвался Стефан. — Но почему он не хочет оперировать?

Поэт его слов не услышал, он лихорадочно писал; перо то и дело рвало бумагу. Молчание затягивалось. В гуцу листьев перед окном проскользнул пробивший облака рыжий луч. Комната свет проглотила, луч угас. Ни с того ни с сего у Стефана защемило сердце. Хотя это и не имело никакого отношения к их разговору, он вдруг спросил:

— Скажите, пожалуйста... отчего это вы написали «Размышления о пользе государства»?

Лежавший на боку Секуловский как-то весь скорчился и посмотрел ему в глаза. Лицо поэта стало наливаться кровью, а Стефан был очень доволен собой — он все-таки решился задать этот вопрос.

— Какое вам до этого дело? — грубо, совершенно незнакомым Стефану тоном отозвался Секуловский. — Прошу мне не докучать! Мне надо работать!

И повернулся к Стефану спиной.

Стефан пошел к Кшечотеку. Может, он? Друг давно завершил свою докторскую диссертацию и, перевязав ее лентой, сунул в стол. С той поры разверзлась перед ним опасная

пустота. Больница его не интересовала, больные ему наскучили. Он не мог ни ходить, ни сидеть, ни лежать. Всякую минуту стояла у него перед глазами Носилевская.

— Тебе надо решиться, — сказал Стефан; ему вдруг стало жаль Сташека. — Хочешь, я приглашу ее сегодня, ты тоже приходи, а я потом скажу, будто мне нужно готовиться к операции, и оставлю вас наедине.

Сейчас он казался себе образцовым другом.

Носилевская приглашения не приняла. Она что-то выписывала из толстой немецкой книги по патологоанатомии. Запачканные зелеными чернилами кончики пальцев делали ее похожей на девочку. Сказала, что как раз собирается к Ригеру. Собственно, она сама к нему напросилась — он в свое время был ассистентом на кафедре патологоанатомии и может кое в чем ей помочь. Она заговорила о любопытных формах дегенерации мозговой ткани.

Сташек, дожидавшийся в комнате Стефана, чем обернутся хлопоты друга, ни с того ни с сего вообразил, будто Ригер пригласил девушку вовсе не для научной беседы, и мысль эта сразила его.

— Ну, хорошо, — задумчиво сказал Стефан. Недавно он прочитал американский учебник, содержащий психотехнические тесты. Правда, о любви там не было ни слова, но он попытался, опираясь на метод американцев, изобрести что-нибудь самостоятельно. — Скажи, ты ее любишь?

Кшечотек пожал плечами. Он поместился на кресле боком, забросив ноги на подлокотник и нервно барабаня ими по сиденью.

— Я на глупые вопросы не отвечаю. Ни работать не могу, ни читать; не сплю, с мыслями своими совладать не в силах, одно только знаю, что сам не свой, вот и все.

Стефан закивал головой.

— Ты становишься пошлым; это, пожалуй, любовь. Задам тебе несколько вопросов наудачу. Во-первых, мог бы ты почистить зубы ее зубной щеткой?

— Что за идиотизм?

— А ты ответь.

Сташек задумался.

— Ну... может, и да.

— Ощущаешь ли ты боль и жжение в груди, эдакий «божественный огонь»?

— Иногда.

— Фу! А еще злишься, что она идет к Ригеру? *Amor fulminans progrediens in stadio valde periculoso.*<sup>[17]</sup> Диагноз железный. Тут не до профилактики, лечить пора.

Сташек мрачно посмотрел на друга.

— Брось валять дурака.

Стефана вдруг осенило, что стоило бы ему только захотеть, у него с Носилевской все вышло бы в два счета, и он попытался прикрыть смущение улыбкой.

— Не сердись. Приглашу ее завтра, а еще лучше — после операции. Голова ничем другим забита не будет.

— Не понимаю, при чем тут твоя голова?

— А, да ты ее ко мне ревнуешь? — Стефан рассмеялся. — Брому тебе дать?

— Спасибо, у меня свой есть.

Сташек разглядывал книги на полке; перелистал «Волшебную гору», но отложил, решившись в конце концов остановиться на «Зеленой пантере».

— Это детектив, к тому же кошмарный, — предостерег Стефан.

— Тем лучше, как раз под настроение.

Сташек собрался уходить. Стефану стало его безумно жалко.

— Послушай, — неожиданно спросил он, — тебе хотелось бы, чтобы она тебя обманула или чтобы с ней случилось что-нибудь скверное?

— Во-первых, она не может обмануть меня, так как нас с ней ничего не связывает, а во-вторых, что это за альтернатива такая?

— Просто психологический тест. Отвечай.

Кшечотек набычился и выбежал из комнаты, громко хлопнув дверью. Стефан, не раздеваясь, повалился на приготовленную уже постель. Он только сейчас сообразил, что все это время злился на Сташека за то, что не смог рассказать ему об инженере. Вскочил, подсел к книжной полке и принялся листать учебник по нейрохирургии. А может, Каутерс все делает правильно? Но это не укладывалось в голове. В учебнике ничего определенного он не нашел. Марлевая занавеска в распахнутом настежь окне едва заметно шевелилась. Кто-то постучал в дверь.

Это был Каутерс.

— Коллега, прошу срочно в операционную!

— Что, что? — Стефан вскочил, но хирург уже исчез.

Шурша полами незастегнутого халата, он скрылся в темном коридоре. Стефан, радостно возбужденный, бросился вниз по лестнице, даже позабыв потушить свет.

Ночь была влажной и теплой. Ветер приносил крепкий дразнящий запах цветущих хлебов. Сокращая путь, Стефан двинул прямо по траве — ботинки тут же покрылись сверкающими капельками росы — и по железной лестнице взбежал на второй этаж, в операционную. За матовым стеклом маячила белая фигура.

Первоначально операционная предназначалась для малой хирургии, скажем, чтобы вскрывать нарывы и ради этого не возить больных в город. Но оборудовали ее как бы «на вырост». Каутерс этим и воспользовался. Универсальный стол годился для любой операции; кроме того, здесь были: баллон с кислородом, электрическая костная дрель, подвешенная на стене, и диатермический аппарат, похожий на радиоприемник. Небольшой коридор без дверей, выложенный, как и остальные помещения, мелкими кафельными плитками лимонного цвета, вел в другую комнату, где на обитых жестью столах расположились рядами банки с химикалиями, лежали кучками резиновые трубки и под стеклянным колпаком — белье. В двух широких шкафах на дырчатых подносах были аккуратно разложены инструменты. Даже когда в операционной не горели лампы, в этом углу неизменно что-то слабо поблескивало, искрилось на острых кончиках скальпелей, крючков, пинцетов. На отдельном столике стояли плоские сосуды с раствором Люголя, в которых отмокали клубки кетгута, приобретая изумрудный оттенок, а чуть выше, на полочке, белели шеренги стеклянных трубок с белыми шелковыми нитками.

Сестра Гонзага подкатила столик для инструментов к наклонному, на трех толстых ногах операционному столу и теперь пододвигала к нему большие никелированные стерилизаторы на высоких ножках — они чем-то напоминали ульи. Стефан, растерявшись, беспомощно озирался по сторонам. Ему казалось унижительным спросить у сестры, кого будут оперировать. Поскольку Гонзага принялась намываться, он набросил на себя длинный резиновый фартук, пустил мощно загудевшую струю себе на руки и стал их намывать. Вода шумела, маленькие капельки бесконечной чередой бежали по зеркалу, прочерчивая белую мглу на его поверхности поблескивавшими ртутью полосками. Белые хлопья пены широким ободом ложились на дно пышущей паром раковины.

Неожиданно рядом прогремел голос Каутерса:

— Ну, помедленнее, помедленнее, — говорил он, затем послышалось сиплое дыхание, словно кто-то нес что-то тяжелое.

В вертящихся дверях показалась покрасневшая лысина старшего санитаря, который, закинув неподвижную тушу Рабевского себе на спину, втаскивал его в операционную. Санитар с шумом сбросил инженера на стол, а Каутерс, всовывая ноги в белые резиновые тапочки, спросил сестру:

— Второй и третий комплекты есть?

— Да, господин доктор.

Завязав на шее тесемки фартука, хирург ногой надавил на педаль, пуская воду, и стал привычно мыть руки.

— А шприцы есть?

— Да, господин доктор.

— Иглы надо заточить.

Все это он говорил машинально, казалось, не ожидая ответа. Ни разу не взглянул на стол. Юзеф раздел Рабевского, уложил его навзничь и привязал руки и ноги белыми лентами к ручкам-скобам, после чего принялся бритвой скоблить ему голову. Стефан не мог вынести этого тупого скрежета.

— Юзеф, ради Бога, да намыльте же!

Юзеф что-то пробурчал в ответ — в присутствии Каутерса он никого больше не слушал, — но все-таки решил смочить голову больного; тот был без сознания, только изредка и еле слышно хрипел. Собрав горсть седых ключьев, санитар привязал к бедру Рабевского большую пластину анода и отступил в сторону. Сестра Гонзага закончила мыться третьей щеткой, швырнула ее в мешок и с поднятыми руками подошла к стерилизаторам. Юзеф помог ей водрузить на лицо желтоватую маску, потом надеть халат, наконец, натянуть тонкие нитяные перчатки. Подойдя к высокому столику с инструментами, на котором стояли три обернутых салфетками подноса — так их и вытащили из автоклава, — она открыла корнцанг и стала орудовать этими блестящими стальными щипцами, раскладывая инструменты в соответствии с их назначением и очередностью, в которой они могут понадобиться.

Стефан и Каутерс кончили намываться одновременно. Тшинецкий подождал, пока хирург оботрет руки спиртом, затем и сам направил тоненькую его струйку себе на пальцы. Страхивая обжигающие капельки, он озабоченно разглядывал руки.

— У меня заусенец, — сердито буркнул он, прикоснувшись к хвостику припухшей кожи над ногтем.

Каутерс натягивал резиновые перчатки, дело подвигалось трудно; он насыпал в них талька, но руки были влажные.

— Ничего страшного. У него наверняка нет ПП. [\[18\]](#)

Юзеф, как нечистый, встал от стола подальше.

— Свет! — скомандовал хирург. Санитар повернул выключатель, загудел трансформатор, и большая лампа, косо подвешенная над столом, набросила на стоявших голубоватый круг.

Каутерс взглянул в окно. Его лицо, до самых глаз скрытое маской, казалось смуглее, чем обычно. Врачи, каждый со своей стороны, подошли к больному; он был без сознания. Юзеф равнодушно прислонился к умывальнику; в зеркале появилась огромная, как подсолнух, темная и блестящая лысина.

Стали обкладывать Рабевского салфетками. Гонзага только что не швыряла их, жонглируя длинными щипцами, стремительно летающими между стерилизаторами и руками хирурга. Они укладывали стопкой большие квадраты стерильного полотна, от торса к лицу. Стефан скреплял их зажимами.

— Что вы делаете, в кожу его, в кожу! — негромко, но грозно прикрикнул хирург и сам через салфетку острыми зажимами зацепил бледную кожу лежавшего.

Стефан давно привык к виду полосуемого ножом тела, но так и не научился сдерживать дрожь, когда салфетки вокруг операционного поля прищипливали к коже, хотя знал, что больной под наркозом. Инженер, однако, был всего лишь без сознания, и вдруг по накрытому простыней телу пробежала дрожь; Рабевский так громко скрипнул зубами, что показалось, будто провели ножом по стеклу. Стефан вопросительно посмотрел на Каутерса. Тот был в нерешительности, потом махнул рукой: ну, колите, если это доставит вам удовольствие.

Помазав йодом оголенную голову, выпиравшую из горы плотно укутавших ее салфеток, Тшинецкий в нескольких местах ввел новокаин и слегка помассировал вздувшиеся под кожей бугорки. Когда он отбросил коричневый от йода тампон, хирург, не оборачиваясь, протянул руку назад: сестра вложила в нее первый скальпель. Лезвие тонкой стали слегка коснулось лба и, мягко вдавливаясь в кожу, выкроило овальный лоскут. Анатомическим пинцетом Каутерс очистил рану, добравшись до самой кости, та глухо заскрежетала. Затем бросил инструменты на грудь больного и протянул руку за трепаном. Машинка — яйцообразный моторчик, соединенный стальным шлангом со сверлом трепана, — стояла позади него. Сестра замерла, держа в каждой поднятой вверх руке по несколько инструментов. Стефан едва успел провести белым тампоном по набухающей свежей кровью линии разреза, а Каутерс уже пустил в ход трепан. Бур вгрызся в кость и, удерживаемый хирургом, словно перо, разбрасывал в стороны мелкие опилки, оставляя вдоль краев раны бороздку кровавого месива.

Жужжание смолкло. Хирург отшвырнул уже ненужное сверло и потребовал распатор. Но костная пластина не поддавалась: видно, где-то еще не была отделена. Каутерс осторожно надавил на нее тремя пальцами, будто хотел вжать в череп.

— Долото!

Каутерс под углом приставил его к кости и равномерно стал постукивать деревянным молотком. Посыпались стружки, кровь брызнула на кожу, салфетки понемногу всасывали багряные кляксы. Вдруг вся обтянутая кожей пластина поддалась. Хирург подцепил ее ручкой распатора, надавил — раздался короткий хруст, будто раскололи орех: пластина поднялась и отвалилась в сторону.

В голубом свете поблескивала твердая мозговая оболочка, раздувшаяся, словно воздушный шарик; вся она была расчерчена сеткой набухших сосудов. Каутерс протянул руку, в ней появилась длинная игла. Стал в разных местах прокалывать оболочку — один раз, второй, третий.

— Так я и думал, — пробурчал он. Над маской в стеклах его очков пылали крохотные отражения лампы.

Стефан, который до сих пор практически ничего не делал — лишь залеплял стерильным воском кровотокащие отверстия губчатой кости, — наклонил голову, их закрытые марлей лица соприкоснулись.

Каутерс, по-видимому, колебался.левой рукой раздвинул края раны, правой принялся осторожно ощупывать оболочку, под которой все явственнее просвечивал — розовым и серым — мозг. Он поднял голову, будто ожидая какого-то знака свыше, его огромные черные глаза стали стекленеть; Стефан даже испугался. Пальцы, обтянутые тонкой резиной, дважды вкруговую обошли открытый участок оболочки.

— Скальпель!

Это был маленький, специальный ножичек. Оболочка поддалась не сразу — но вдруг лопнула, словно пузырь, и изнутри выполз мозг. Вылезла наружу пульсирующая, отечно красная кила, по которой растекались слизистые струйки крови.

— Нож!

Зажужжало снова, на сей раз звук был иным, басистым: заработал электрический нож.

Сестра сняла марлю, прикрывавшую его, и вложила нож в протянутую назад руку хирурга. Врачи склонились над столом. Крови пока немного, ни один из больших сосудов задет не был, но картина оставалась неясной. Каутерс медленно, миллиметр за миллиметром, расширял отверстие в оболочке. Наконец все стало понятно: выползшая набухшая кила была передней частью лобной доли. Когда хирург пальцем отодвинул ее, в глубине щели между полушариями показалось грязно-жирное образование, подступиться к которому было трудно. Указательный палец скользил по вспухшим, словно поднявшееся тесто, слоям коры. Но вот с помощью черенка пинцета до части нароста удалось добраться. На дне черепной ямы, пока еще не заполненной стекающей в нее кровью, заискрилась перламутровой синевой, словно внутренняя сторона раковины, опухоль, похожая на цветную капусту, плотная снизу, рыхлая сверху, обмазанная коричневой кашицей.

— Ложка!

Началось выгребание кашицы, слизи, каких-то кусочков, набухших кровью. Неожиданно Каутерс резко отпрянул назад; Стефан поначалу просто остолбенел: со дна раны, между раздвинутыми половинами мозга (палец хирурга все еще оставался в продольной щели), взвилась отвесно вверх тонюсенькая, будто паутинка тумана, струйка светлой крови — артериальной. Каутерс часто заморгал: несколько капель попали ему в глаз.

— Черт побери! — рявкнул он. — Марля!

Тампоны сочились кровью, часть новообразования оставалась внутри, а видно ничего не было. Оторвав живот от стола, Каутерс уставился в потолок и шевелил пальцами в ране. Продолжалось это довольно долго, салфетки еще некоторое время отсасывали кровь, затем она залила старые сгустки, образовавшиеся в начале операции, — надо было накладывать новые салфетки, потому что и руки, и инструменты сделались липкими. Стефан растерянно и испуганно посмотрел на Каутерса. Маска на лице Тшинецкого перекосилась, марля лезла в нос, но коснуться ее было нельзя.

Хирург ногой включил электрический нож и поднес его к разрезу.

Кровь, по всей вероятности, била из распадавшихся тканей опухоли, поскольку едва лишь поднялась первая струйка сизоватого дымка от горящего белка и сквозь марлю в нос продралась характерная вонь, кровотечение прекратилось. Лишь по торчавшим в ране зажимам ползли, словно муравьи, красные капельки.

— Ложка!

Операция шла своим чередом. Хирург термокоагулятором отрезал верхнюю часть опухоли, затем, когда она омертвела и стала остывать, принялся вычерпывать ее, помогая себе пальцем. Но чем дальше это продолжалось, тем хуже шло дело. Опухоль не только раздвигала лобные доли, она в них вросла. Движения хирурга становились все быстрее, он забирался в рану все глубже, вдруг что-то щелкнуло; он вытащил руку, перчатка на ней была порвана. Разодранная острым краем кости, желтая резина сползла с пальца.

— ...Твою мать! — глухим, дрожащим голосом выругался Каутерс. — Стяните-ка мне это.

— Новую пару, господин доктор? — спросила сестра и тотчас мягким движением длинных щипцов выхватила из стерилизатора обсыпанный тальком сверточек.

— К чертям собачьим!

Каутерс швырнул рваную резину на пол. От морщин, собравшихся вокруг глаз, повеяло злобой, худое продолговатое лицо покрылось капельками синеватого в этом освещении пота. Жилки на висках надулись; Каутерс в бешенстве сжал зубы. Он ожесточенно копался в ране, выдирая дряблые кусочки ткани, омертвевшие волокна, пучки каких-то сосудов, и отбрасывал все это в сторону. Пол был усеян кровавыми запятыми и восклицательными знаками.

Электрические часы показывали десять: операция продолжалась уже час.



— Посмотрите-ка зрачки.

Стефан торопливо приподнял край простыни, отяжелевшей и заскорузлой от ошметков тканей, облепивших ее, заляпанной кляксами порыжевшей крови. Склонился над бледным как полотно, странно мерцающим лицом Рабевского и приподнял пинцетом веко. Зрачок больного был сужен. Вдруг глаз дико задвигался в разные стороны, будто его дергали за ниточку.

— Как там?

— Нистагм, [\[19\]](#) — изумленно сказал Стефан.

— Так, так.

В голосе хирурга проскользнули язвительные нотки. Стефан взглянул на него — Каутерс водил иглой по коре долей. Значит, вот и причина нистагма. Мозг основательно разрезан. Огромная масса омертвевшей, распадающейся ткани. Она как бы сплавилась воедино с тканью мозговых извилин. Стефан посмотрел на края раны, напоминавшей растянутый в крике рот: белая масса нервных волокон, поблескивающая, как очищенный орех, и собственно серое вещество, на самом-то деле коричневатое, с едва заметным, узеньким следом разреза. И все усеяно рубиновыми точками-капельками крови.

Вконец расстроенный хирург широко раздвинул растягивающиеся, как резина, извилины и пробурчал:

— Заканчиваем!

Это была капитуляция. Теперь пальцы хирурга заработали быстро и споро, подталкивая вывалившееся полушарие, пытаясь вогнать его обратно, в черепную коробку. Опять где-то начало кровоточить. Каутерс прикоснулся к сосуду темным концом электрического ножа и остановил кровь. Он уже сделал из пальца от перчатки трубочку для дренирования, но вдруг замер.

Стефан, который больше уже не пытался осмыслить, что сейчас делает хирург, взглядевшись в спеленутую, словно мумия, фигуру больного, понял: грудь больше не вздымается. Каутерс, позабыв о том, что может занести инфекцию на свои руки, подцепил простыню, накрывавшую лицо и грудь оперируемого, отбросил ее, несколько мгновений прислушивался, затем молча отошел от стола. Его забрызганные кровью резиновые тапочки полетели в угол. Сестра Гонзага взялась за кончик простыни и торжественно накрыла застывшее лицо инженера. Стефан подошел к окну — хотелось глотнуть свежего воздуха. За его спиной сестра Гонзага швыряла инструменты на металлический поднос, в автоклавах журчала вода, Юзеф смывал с пола кровь. Стефан высунулся из окна. Вокруг беспредельная, молчаливая тьма. На границе неба и земли — граница эта едва угадывалась — тьма казалась еще гуще. Слово украшенное желтыми бриллиантами колье в бархатном футляре, переливались огнями склады в Бежинце. Ветер запутался в ветках и угомонился, звезды подрагивали. Бормотание воды в раковинах становилось все глуше.



Июнь наливался жарой. Темная зелень лесов, покрывавших мягкие холмы, из окна казалась малахитовой и пятнистой, прошитой серебром берез, вечером — густой, словно подводные заросли, на рассвете — прозрачной. Бесконечными волнами накатывал нежный гул, расцвеченный гомоном птиц. Колея, по которой шествовало солнце, изо дня в день поднималась все выше, деля небосвод на все более равные части.

Однажды ночью нагрянула первая летняя гроза. Освещаемый молниями пейзаж сверкал, как бриллиант, синими вспышками.

Стефан подолгу блуждал по полям, забредал в лес. Телеграфные столбы, как опьяневшие от высоких нот камертоны, гундосили что-то невразумительное. Высившийся стеной лес отливал голубизной сосен; то тут, то там белели гнутые стволы берез.

Вдоволь находившись, Стефан останавливался под огромным деревом или усаживался на холмик порыжевшей хвои. Однажды, зайдя довольно далеко, обнаружил укрытую под глинистым обрывом полянку, на которой росли три высоченных бука. Вытянувшись из одного комля, они плавно расходились в разные стороны. Ниже стоял, словно поднявшись на цыпочки — пробежавший тут по весне ручей вымыл у него из-под корней глину, — дубок; его горизонтальные ветви были причудливо, по-японски, искривлены. Еще двести—триста шагов, и лес обрывался. По склону горы взбиралась колонна ульев, выкрашенных в кирпичный и зеленый цвета, они походили на глиняные фигурки святых. В этом как раз месте и пряталось эхо; Стефан отважился разбудить его, хлопнув в ладоши. Разогретый воздух захлопал в ответ, всякий раз тише и глуше. Многоголосое жужжание пчел лишь оттеняло полное безмолвие. Время от времени какой-нибудь улей заводил воинственную песнь. Издали улья были похожи на убогую клавиатуру деревенского пианино.

Стефан решил пройти еще немного и вскоре с удивлением заметил, что жужжание ульев, оставшихся далеко позади, не стихает — напротив, становится громче. Все более низкое, басовитое, оно разливалось окрест, и, когда дно оврага, по которому он шел, сравнялось с поросшими травой берегами, Стефан прямо перед собой, вдалеке, увидел квадратный домик красного кирпича, походивший на ящик, поставленный на низкие бетонные кубики. С трех сторон, от самого горизонта, сюда сбегались ряды деревянных столбов, перечеркнутые проводами, а из распахнутых окон выползало мерное гудение. Подойдя к этому странному домику поближе, Стефан увидел двоих мужчин, сидевших на траве в тени под открытым окном. Он даже вздрогнул — ему было показалось, что в одном из сидевших он узнал кузена Гжегожа, которого в последний раз встретил на похоронах в Нечавах. Но тут же понял, что ошибся: его сбил с толку солдатский, без знаков различия, мундир незнакомца, его светлые волосы и манера держать голову. Но человек этот все же заинтересовал его, и Стефан будто ненароком сошел с тропки и побрел к дому прямо по траве, рассеянно озираясь по сторонам и всем своим видом показывая, что вот, мол, гуляет, а здесь оказался случайно. Сидевшие заметили его только тогда, когда он подошел вплотную. Оба подняли головы, две пары глаз спокойно разглядывали его. Стефан остановился. Тот, которого поначалу он принял за Гжегожа, сидел неподвижно, упершись руками в колени и скрестив ноги в заляпанных глиной ботинках; воротник мундира был расстегнут, очерчивая треугольник загорелой кожи; густые, слипшиеся волосы поблескивали, — казалось, на голове у него медная каска. Худое, суровое лицо; прищуренные от яркого солнца глаза уперлись в Стефана. Второй был значительно старше; громадный, но не толстый, руки и лицо пепельного цвета, на голове кепка козырьком назад, на месте одного уха росли волосы, из-под которых выглядывал крохотный, свернутый комочек, похожий на бутон

розы.

— Это... электростанция? — еле выдавил из себя наконец Стефан, чтобы нарушить тягостную тишину, которую лишь подчеркивало лившееся из окон гудение.

И тот, и другой промолчали. Только теперь Стефан разглядел в окне еще одного — невзрачного старика, над лысым черепом которого вилась легкая дымка волос. Его синий комбинезон едва можно было разглядеть в кромешной тьме за окном, в доме. Молодой зыркнул на товарищей, повернулся опять к Стефану, стараясь, однако, не смотреть ему в глаза, и с угрозой в голосе заметил:

— Тут лучше не ходить.

— Что? — вырвалось у Стефана.

— Лучше не ходить, говорю. На баншуца <sup>[20]</sup> можно напороться или еще что, и будет нехорошо.

Старший — тот, что без уха, — тут же встрял:

— Подожди, сынок. Вы сами откуда будете?

— Я? Из лечебницы. Я врач. А что?

— А-а, — протянул безухий и, чтобы удобнее было продолжать разговор, оперся рукой о землю. — Вы — доктор этих?.. — Он щелкнул пальцами около виска.

— Да.

Губы безухого чуть растянулись в бледной улыбке.

— Ну, это ничего, — сказал он.

— Разве нельзя здесь ходить? — спросил Стефан.

— Отчего же? Можно.

— Как же так? — переспросил Стефан, сбитый с толку. — Это не электростанция? — предпринял он еще одну попытку.

— Нет, — впервые подал голос старик в окне. За его спиной во мраке поблескивала медь проводов. Он высунулся из окна, чтобы выбить трубку, из чересчур коротких рукавов комбинезона по локоть вылезли руки — высохшие, все в веревках сухожилий. — Это подстанция шестьдесят ка-ве на пять, — закончил он, принимаясь набивать трубку.

Стефан и этого не понял, но, изобразив, что ему все ясно, спросил:

— Это вы даете нам электричество в санаторий?

— М-гм, — промычал старик, затягиваясь трубкой так, что ввалились щеки.

— Но сюда можно ходить? — невесть зачем еще раз попытался выяснить Стефан.

— Можно.

— Но вы же говорили... — повернулся Стефан к молодому, который все шире растягивал рот в улыбке, показывая острые зубы.

— Я — да, — помолчав, сказал он.

Стефан так и стоял над ними, и безухий счел нужным все растолковать.

— Он не знал, кто вы такой, — начал он, постреливая в Тшинецкого маленькими глазками. — Молод еще, вот и ошибся. Да и вы, уж извините, сами из себя на лицо такой черный. Ну, вот и оттого.

Заметя, что Стефан все еще ничего не понимает, он дружелюбно ткнул его пальцем в колено.

— Ну, подумал он, что вы из Бежинца, из тех, кого сейчас свозят со всей округи...

Он показал, будто правой рукой чем-то обвязывает левую, и тут уж Стефану все стало ясно. «Он меня предостерегал, приняв за еврея», — сообразил Стефан. Такое порой с ним случалось.

Безухий внимательно смотрел на него — как он теперь поведет себя, не обидится ли, но Стефан молчал, только покраснел немного. Безухий, как человек бывалый, счел приличным

чем-нибудь загладить неловкость.

— Вы, господин доктор, в больнице ведь работаете? — начал он. — А я вот — здесь. Вох я, мастер-электрик. Но в последнее время не работал, болел я. Жалко, про вас не знал, господин доктор, — лукаво добавил он. — Спросил бы совета.

— Вы болели? — вежливо поинтересовался Стефан. Он продолжал стоять, возвышаясь над ними, и все никак не решался уйти. Это было его бедой — не умел ни завязать разговор с незнакомым человеком, ни закончить.

— Да, болел. У меня вышло так, что сперва я видел одним глазом в одну сторону, а другим — в другую, после все перед глазами стало ходить колесом, без остановки, а нюх у меня такой сделался, что ой-ой-ой!

— И что? — спросил ошеломленный таким описанием болезни Стефан.

— А ничего. Само прошло.

— Не само, не само, — укоризненно попенял ему старик в окне.

— Ну, не само, — послушно поправился Вох. — Поел я горохового супца с грудинкой копченой, такого жирнющего, что ложка стояла торчком, спиртика с душицей, значит, пузырек высосал, и как рукой сняло. Это мне кум так присоветовал — вот, который в окне стоит.

— Это замечательно, — проговорил Стефан, торопливо кивнул всем троем и быстро ретировался, опасаясь, что Вох станет допытываться, какая это была у него болезнь.

И, только взобравшись на ближайший холм, посмотрел назад. Там, на дне мягко закруглявшейся котловины, стоял красный домик. На первый взгляд никого в нем нет, из широко распахнутых окон плывет бесконечное, басовитое гудение — оно долго еще преследовало Стефана на обратном пути в больницу, слабеющее, размываемое порывами ветра; наконец оно слилось с жужжанием насекомых, носившихся над освещенной солнцем травой.

Приключение это цепко впилося в память Стефана, а пустычные, в сущности, его подробности настолько очаровали молодого врача, будто в них был заключен какой-то таинственный смысл. К тому же в воспоминаниях эпизод выглядел таким красочным, что поделил время на два периода, и в мыслях Стефан неизменно возвращался к этому происшествию всякий раз, когда надо было восстановить в памяти ход больничной жизни. Он никому не рассказал о случившемся, да и какой в этом был бы толк. Может, Секуловский и нашел бы литературную изюминку в том, как мастер Вох описывал свою болезнь, но Стефана занимало совсем другое. Что? Он и сам не знал.

После утреннего обхода он отправлялся на прогулку по окрестностям, прихватив с собой «Историю философии», а поскольку чтение ее шло довольно туго (он винил в этом жару, стыдясь признаться себе, что его вовсе не интересуют тонкости онтологических систем), Стефан стал прихватывать и другую книгу, которую дал ему Каутерс, «Сказки тысячи и одной ночи» — прекрасно изданный толстенный том в сиреновом кожаном переплете. Миновав лесную опушку, он устраивался в красивом уголке под тремя огромными буками с гладкой, обтягивающей стволы корой (ему представлялось, что так именно должны выглядеть каучуковые деревья) и, спустив ноги в заросшую брусничкой яму, жмурясь от солнечных бликов, пронесившихся по желтоватым страницам, читал о приключениях торговцев, цирюльников и чернокнижников Кашмира, а «История философии» отдыхала рядом, брошенная на бугорке сухого мха. Он и открывать ее больше не пытался, но продолжал носить с собой, словно в укор самому себе.

В одно прекрасное, знойное даже в лесной глуши утро, одолев половину повествования халифа Гаруна аль-Рашида — который как раз переделся водоносом, чтобы побродить по базарам и собственными глазами взглянуть на жизнь своих подданных, — Стефан, вероятно осмелев от одиночества, вдруг подумал, как хорошо было бы устроиться на подстанцию

рабочим. Со смущенной улыбкой тут же отбросил эту мысль, правда, пожалев, что и о ней никому не сможет рассказать.

По вечерам, когда солнце жарило уже не так сильно, а между нагретыми склонами холмов и в остывающих долинах начинал кружить, шелестя листьями, ветерок, Стефан снова уходил из больницы и, испытывая какое-то непонятное возбуждение, сворачивал с привычных тропок, подбирался поближе к подстанции и петлял вокруг да около. Но больше так никого и не встретил.

Он не подходил к красному домику; ему достаточно было издали увидеть его кирпичные стены и пустые, настежь раскрытые окна, из которых лилось гудение; оно ни на шаг не отставало от него и на обратном пути. Прогулки эти обогатили его сны еще одной темой: несколько раз ему привиделся электрический домик у самого подножия поросшего травой склона, домик этот притягивал его какой-то монотонной мелодией, очень похожей на восточную. Как-то утром, раньше обычного отправившись в лес, Стефан сделал небольшой крюк, чтобы, забравшись на самую вершину холма, поглазеть на подстанцию; он еще поднимался по склону, когда заметил человека, шедшего ему навстречу. Это был тот самый молодой рабочий с медными волосами; в заляпанных известью брюках, по пояс голый, он пружинисто вышагивал по тропке с двумя полными ведрами глины. Стефан и сам не мог понять, хочется ли ему встречаться с парнем, но на всякий случай пошел помедленнее. Тот приближался, под кожей его обнаженных рук перекачивались мышцы, но лицо оставалось безучастным, словно застывшим. Парень прошел мимо, так старательно не замечая Стефана, что не оставалось и тени сомнения — его узнали; он зашагал дальше, не решаясь даже оглянуться.

Неделю спустя он в послеобеденное время возвращался из городка, куда ходил за покупками. Стояла удушливая жара. Уже несколько часов кряду за горизонтом погромыхивало, но прожаренная, жгучая синева была пуста. Дно залитого солнечным зноем глинистого оврага походило на раскаленный бетон. Добравшись до верхнего, заросшего елками края оврага, Стефан увидел над их вершинами стену туч. Все вокруг на глазах рыжело: это зловещее освещение заставило его пуститься почти бегом; на последнем повороте, уже с трудом лоя ртом воздух, он увидел мастера Воха. Тот шел в ту же сторону, но помедленнее; рядом с собой он вел, придерживая за руль, велосипед. Заслыша шаги за спиной, Вох украдкой оглянулся. Сразу узнал Стефана и поздоровался; они молча пошли рядом.

На Вохе были стоптанные башмаки, свитер и наброшенный на плечи пиджак с мятыми лацканами и рукавами. Стефан в своей рубашке и полотняных брюках обливался потом, а тому жара была, казалось, нипочем. Лицо Воха, как обычно, серое, ничего не выражало, краснел только бугорок заросшего волосами уха. Над головами уже проплывали извивавшиеся желтоватые языки туч. Стефан с радостью припустил бы бегом, но его удерживало присутствие Воха — тот по-прежнему шел размеренным шагом.

Овраг раздался в стороны, края его сравнялись с землей, на проселке песок задымил под первыми крупными каплями. Уже видно было подстанцию.

— Может, со мной пойдете? А то вымочит, — сразу же предложил Вох.

Стефан поспешно принял приглашение. Они молча пошли к подстанции. Тяжелые капли все чаще расплющивались на лице и руках, мокрыми горошинами покрывали рубаху и светлые брюки.

На посыпанной щебенкой дорожке, не дойдя нескольких шагов до двери, Вох остановился и, опершись обеими руками на руль велосипеда, оглянулся. Стефан последовал его примеру. Чернеющая, словно бы перевернувшаяся вверх дном желтая туча надвигалась прямо на них, завешивая весь горизонт темными отростками, из которых тянулись к земле синие щупальцы.

— В моих краях о такой говорят: туча-кобель, — заметил Вох, оглядывая небо

прищуренными глазами.

Стефан хотел было улыбнуться: метко, мол, сказано, но лицо Воха оставалось мрачным. С пронзительным шумом на них обрушился ливень.

Стефан в два прыжка добрался до сеней. Вох, с которого текла вода, словно не обращая внимания на этот приступ бешенства природы, приподнял сначала переднее, потом заднее колесо велосипеда и вкатил его в узенький коридорчик. Прислонил к стене и только затем вытащил платок и тщательно вытер глаза и щеки.

В приоткрытую дверь видна была гремящая серая завеса дождя, залившего все вокруг. Стефан с наслаждением вдыхал напоенный свежестью воздух; секунду назад он бессознательно радовался, что счастливо убежал от потопа, но, когда Вох открыл вторую, ведущую внутрь дома дверь, сообразил, что ему подвернулся исключительный случай.

Он последовал за Вохом. Помещение было не очень обширное. По трем его окнам в дальней стене сейчас яростно барабанил дождь, и было бы совсем темно, если бы не множество пылавших под потолком ламп. В их неподвижном свете он увидел на одной стене пульта и щиты с часами; противоположная стена напомнила ему зоопарк — там рядками стояли доходившие до самого потолка клетки, огражденные серой проволочной сеткой. Что было в этих высоких и узких клетках, Стефан разглядеть не смог, но что живностью там и не пахло, это уж точно: там царил полный покой. Посреди комнаты стояли небольшой квадратный столик, два стула и несколько ящиков. На каменном полу постелена резиновая дорожка.

— Значит, тут никого нет? — удивленно спросил Стефан.

— Пощчик тут, его смена. Обождите-ка здесь. Только уж прошу ничего не трогать!

Вох подошел к двери в углу комнаты, где кончалась серая проволочная сетка, открыл дверь и что-то сказал. Кто-то приглушенным голосом ответил. Вох вошел и прикрыл за собой дверь. С минуту Стефан оставался в полном одиночестве. Воздух был пропитан запахом разогретого масла, неведомо откуда доносилось глухое гудение; было слышно, как по железной крыше с грохотом перекатываются валы дождя.

Стефан огляделся и заметил что-то блестящее за проволочной сеткой. Подойдя поближе, увидел тянущиеся к потолку медные шины и фарфоровые грибы изоляторов. И услышал голоса за стеной. Вох говорил:

— Ты что, Владек, надрался? Прямо сейчас все хочешь вытащить?

— Да мы в поле переждем, — отозвался другой голос, потише.

— В поле не в поле, коли нагрянет, все одно в землю пойдем, ты хоть соображаешь, сколько этого всего?! Убирайся отсюда сей же час!

— Ладно, Ясь, ладно. Ясь, а может, в лес?..

— В лес, вот-вот! Иди, я гостя привел...

— Как же так?..

Дальше разобрать ничего было нельзя, Стефан поспешно отошел подальше от клеток. Появились Вох и старый Пощчик, и оба посмотрели в его сторону — на часы; мастер что-то сказал, но его слова заглушил раскат грома. Вох сделал еще несколько шагов, замер, расставив ноги, и опять уперся взглядом в приборы.

— Ну как? — спросил старик.

Ответом был скупой жест рукой: мол, не мешай!

Вох склонил голову набок, обхватил обеими руками плечи и, застыв в таком положении, — Стефан подумал, что мастер похож на капитана корабля, застигнутого бурей, — медленно стал поворачиваться на каблуках; заметил Тшинецкого и как будто даже удивился. Взял стул, вынес в коридорчик и поставил там, проговорив:

— Посидите-ка здесь. Тут самое верное дело.

Стефан послушался. Дверь в комнату осталась открытой, и она превратилась как бы в сцену для необычного представления, ну а он, Стефан, сидевший в темном и узеньком коридорчике, в единственного зрителя.

Те двое не делали ничего. Старик присел на ящик, Вох продолжал стоять. Теперь они, казалось, перестали обращать внимание на приборы, словно просто ждали чего-то. Их лица все ярче поблескивали в желтом свете ламп; Стефана мутило от удушливого запаха масла; на дворе мерно гроыхала и гремела гроза. Вох вдруг кинулся к черному пульта, придвинул лицо к одному циферблату, потом к другому, вернулся на прежнее место и опять замер. Стефан даже почувствовал какое-то разочарование, но в следующий миг ему показалось, будто что-то переменялось, хотя он и не мог понять что. Беспокойство его нарастало, и наконец он открыл его причину.

Что-то шевелилось в клетках у стены. Слышался не то скрежет, не то шипение; звук этот перешел в назойливое жужжание, затем стих, потом появился опять. Вох и Пощчик не могли его не слышать, они разом обернулись, а потом старик бросил короткий и, как показалось Стефану, тревожный взгляд на мастера. Но ни тот, ни другой так с места и не сдвинулись.

Минута бежала за минутой, по крыше барабанил дождь, под неподвижным светом басисто гудело электричество, но звуки в клетках не утихали. Что-то там шелестело, скрежетало, жужжало, будто какое-то живое существо то подпрыгивало, то бросалось на стену, — эти странные звуки раздавались то совсем рядом, то в дальнем углу зверинца, то снизу, то под самым потолком, и Стефану чудилось, будто это «что-то» все отчаяннее мечется за сеткой из стальной проволоки. В двух клетках вдруг вспыхнуло голубое зарево, разгорелось, запылало, отбрасывая на противоположную стену изломанные тени двух мужчин, и исчезло — едкая, настырная вонь обожгла ноздри Стефана. И опять резкий звук, язык пламени со свистом взметнулся еще в одной клетке; в то же самое время из железного прута, торчавшего под дверцей клетки, выскочил пучок искр.

Старый Пощчик встал, сунул трубку в карман фартука, как-то неестественно выпрямился и молча посмотрел на Воха. Тот цепко схватил его за руку, лицо его перекошилось, словно от бешенства, он что-то закричал, раскат грома поглотил его крик. Сразу в трех клетках взвились столбы света, на миг он как бы потушил лампы, — казалось, запылала вся стена. Вох отшвырнул старика в коридорчик, к Стефану, а сам, сторбившись, прижав руки к груди, стал медленно пятиться к черным пультам. В клетках, за проволокой, звуки не утихали, впечатление было такое, будто стреляли из револьвера, бело-рыжее пламя лизало сетку, запах озона становился невыносимым, Стефан вскочил и бросился по коридору к входной двери. Рядом жался старик, а Вох, в последний раз приблизив лицо к прибору, затем сиганул к ним так резво, как будто в одночасье помолодел. Все трое теперь стояли в коридорчике. За сетками постепенно все угасало, по углам то и дело вспыхивали синие язычки, раскаты грома становились глуше, только дождь по-прежнему яростно барабанил по крыше.

— Прошло, — нарушил наконец молчание старик, вытягивая из кармана трубку.

Стефану почудилось, что рука у него дрожит, но было темно, — может, только померещилось.

— Ну, значит, продолжаем жить, — подытожил Вох. Вышел на середину комнаты, потянулся, как после крепкого сна, похлопал себя руками по бедрам и плотно уселся на табуретку.

— Идите сюда, теперь можно, — кивнул он Стефану.

Когда раскаты грома прекратились совсем (хотя дождь продолжал лить так, будто зарядил на недели и месяцы), старик сначала послонялся немного по комнате, изредка отмечая что-то на клочке бумаги в клеточку, а затем, открыв маленькую дверцу в самом углу — Стефан ее раньше

и не заметил, — нырнул в нее и загремел какими-то железками. Вернулся он со сковородкой, примусом, кастрюлей начищенной картошки и, расставив что на ящиках, а что и прямо на полу, взялся за стряпню. Бубня себе под нос: «Что бы тебе такого дать, что бы тебе такого дать», он то топтался на месте, то куда-то исчезал, потом снова возвращался, склонялся над скворчащей сковородкой, с благоговейно-сосредоточенным выражением на лице разбивал и нюхал яйца. А Вох, изображая хозяина дома, предложил Стефану переждать дождь на подстанции. Тшинецкий попытался было расспросить, что все-таки произошло, и Вох, не желая показаться молчуном, охотно объяснил, что спасли их громоотводы, что атмосферные разряды — вещь обычная; он говорил о перенапряжении, о каких-то перегрузочных выключателях, но у Стефана, хотя он мало что понял, создалось впечатление, что, в сущности, дело совсем не в этом, а Вох по каким-то одному ему ведомым причинам старается преуменьшить грозившую им опасность. Стефан же ничуть не сомневался, что такая опасность действительно была, он ведь преотлично видел, как вели себя электрики. Потом Вох повел его по комнате, объясняя, как называются приборы и аппараты, даже позволил Стефану заглянуть в отгороженный стенкой коридорчик, где они до того беседовали с Пощчиком. Там к стене было прикреплено что-то похожее на котел, к которому шли медные шины, а под ним все было завалено щебнем — это, объяснил Вох, чтобы не допустить пожара, если бы котел (а он и был выключателем) лопнул и из него полилось горящее масло.

— А там, под щебнем, что? — спросил Стефан, который силился задавать разумные, деловые вопросы.

Вох холодно смерил его взглядом.

— А что там должно быть? Ничего там и нет.

— Ну да, ну да.

Они вернулись в комнату. Тем временем на столике появилась небольшая бутылка сорокаградусной водки и ломтиками нарезанный огурец. Вох наполнил стаканчики, чокнулся со Стефаном, затем заткнул бутылку и поставил ее на шкаф, заметив при этом:

— Нам водка вредна.

О грозе речи он больше не заводил, зато явно подобрел. Старика как будто и вовсе не замечал, словно его вообще тут не было; они со Стефаном сидели за столиком, Вох повесил на спинку стула свой пиджак и остался в сером свитере, обтягивавшем его бочкообразную грудь. Вытащил из кармана жестяную коробочку с табаком и папиросной бумагой, протянул ее Стефану, предупредив:

— У меня крепкий.

Стефан принялся скручивать сигарку, но у него ничего не получалось; наконец соорудил нечто пузатое, заостренное с концов и так заслюнил бумагу, что самокрутка лопнула. Тогда Вох, который вроде бы и не смотрел на Стефана, взял добрую щепоть ломкого и корявого, как стружка, табаку, примял его толстыми пальцами одной руки, пристукнул сверху большим пальцем другой и протянул Стефану почти готовую самокрутку — оставалось только поплюнуть край бумажки. Тшинецкий поблагодарил, наклонился над пламенем зажигалки, которой Вох предупредительно щелкнул, — чуть не опалил себе брови, но мастер ловко отвел язычок в сторону. В первое мгновение Стефан едва не задохнулся, слезы навернулись на глаза, но он изо всех сил старался не показать виду. Вох вежливо притворился, будто ничего не замечает.

Так же ловко скрутил еще одну сигарку, прикурил, затянулся; теперь оба они молчали, дым над их головами уже сбился в облако, голубеющее под светом лампы.

— Вы давно работаете по своей специальности? — начал разговор Стефан, побаиваясь, правда, что Вох попросту отмахнется от этого наивного вопроса, но ему больше ничего не

приходило в голову.

Мастер, словно не расслышав, продолжал молча курить, но совершенно неожиданно вытянул руку и резко опустил ее к полу.

— Вот таким мальчонкой пришел работать. Нет, вот таким, — поправился он, еще ниже опуская руку. — В Малаховицах. Электричества еще не было, французы приехали турбины устанавливать. Мастер у меня был человек что надо. Как гаркнет в котельной, наверху слышать. Ну, и не зря: работа наша понятия требует. На мальцов не орал, был терпелив и учил. Кто впервой шел на высокое напряжение — разъединители чистить, с этого ведь все начинается, — так он всегда тому наперед показывал кисть со следом покойника, чтобы, значит, покрепче запомнил.

— А что это было? — не понял Стефан.

— Ну, обыкновенная кисть, как малярная, волосяная. Такой и пыль смахивают. Только вот провода должны быть без тока и не под напряжением. А кто забудет и до провода под током дотронется, так огнем как плюнет, и готов. Вот от одного такого кисть и осталась. Деревенского. Я его не знал, это не при мне было, раньше. Следы от пальцев на ручке мастер показывал, черные, что тебе уголь. Ведь тот самый покойник весь обуглился. Целиком, — втолковывал Вох, сбавляя темп повествования ради Стефана, у которого глаза полезли на лоб. — Это верный способ. Никакой болтовней человека нашей работе не обучишь. Глаз, рука — у нас всё. И — постоянно смотри в оба. Полюбил я свое ремесло. И мастер меня полюбил. После слабых токов более серьезным делом занялся. Я и на сетях работал, случалось, да все как-то без огонька. Сеть не по мне. Тащись от столба до столба, железки с собой волочи, лезь, слезай, провод натяни и опять все по кругу — любому осточертеет, вот люди и начинают потягивать из бутылки. Однако, вишь, водка в этом ремесле — радость недолгая. Одна промашка, не тот провод — трах, и вечное сияние, — неторопливо, безмятежно, почти добродушно закончил Вох.

Он сунул в рот до половины докуренную самокрутку, привычно прилепив ее к губе и тем высвободив руки, хотя сейчас в этом и не было нужды.

— Приятель у меня был, Фиялек Юзеф. В голове — ничего, кроме бутылки. На работу приходил весь в грязи, двух слов связать не мог, все бормотал что-то, но пока держался, работник был хороший. Вот так и тянул от зарплаты до дырки в кармане. Первую половину месяца — не мужик, а золото, вторую — чистый зверюга. Однажды, сразу после зарплаты, пропал. Искали его, искали, а нашли на распределительном щите. Улегся спать в шинной сборке высокого напряжения, но пьяный был, и как с гуся вода. За ноги мы его оттуда осторожненько выволокли. Ну а потом доигрался. На трансформаторной его достало. Пошел я к нему в больницу, а он в бинтах весь. Просит: «Подними мне руку». Поднял, а у него под мышкой ничегошеньки, кости одни. Все мясо выгорело. Он тут же и помер.

Вох помолчал, затаился, выпустил дым. Воспоминания захватили его.

— Профсоюз ему похороны устроил, все как положено. И семье пропасть не дали. Вот как оно раньше-то было — всё больше жили, не помирали. А потом, в тридцатом, начались увольнения. Ну!

Он с отвращением затушил окурок.

— Под моим началом аварийная бригада была. Это значит — сиди до ночи и жди. Аварии — ясное дело, то птицу ток спалит, то какой-нибудь болван ветку на провода закинет, то мальчонка змеем короткое замыкание устроит. Ну а в тридцатом кое-что новенькое появилось. Первого самоубийцу, которого мы нашли, до гробовой доски не забуду. Взял парень камень, обмотал его проволокой, конец себе к руке привязал и забросил камень на провода. Сам весь черный, рука отвалилась, а вокруг жиру полно, из него вытопился. Если бы я еще его не знал, а то знал ведь, он на сортировочной работал, пока не выбросили, холостой был. Холостых



первыми увольняли. Девушки его любили, малый высший сорт. Да, люди ведь не знают, что электричество — смерть легкая, а тут вроде как научились, что ли. Дело-то и вправду пустяковое: у нас французы, которые линию строили, пустили провода рядом с пешеходным мостиком. Так проволоки меньше ушло. Они народ бережливый были. Так что только камень да проволока, а бросать недалеко.

Вох вцепился рукой в край стола, как будто хотел оторвать его от пола.

— Потом, как в дежурке телефон забренчит, прямо сердце сжимается! А на третий раз человек уже из себя выходит — да тут еще и весь город знает. Напротив нашей электростанции биржа труда была. Поехали мы раз, а там народищу тьма — безработных, значит. Кто-то крикнул: «Санитары электрические едут!» Монтер мой, Пелюх, как заорет сверху: «Идите в реку, топитесь, вот мы и не будем санитары!» Ну, знаете, как те только про реку слышали! Хорошо еще, шофер скумекал, удрали мы, в общем. В нас уж и камни полетели. А Пелюха этого сам я на работу брал, причем совсем недавно. Монтер он был никудышный, но у него жена болела. На это место я мог взять сотню куда лучше, чем он, вот меня злость и разобрала. «Ты, — говорю, — сам там неделями гнил, а тут, едва работы понюхал, так уж своих товарищей в реку шлешь?» А он — на меня. Горячий был мужик. Слово за слово, прогнал я его к чертям собачьим. Приходил потом ко мне, клянчил, пожалеть просил, есть нечего, жена помирает, ну, что мне с ним было делать? Жена его и вправду померла. Осенью. Возвращается он с похорон, голову в окно просовывает, а я как раз дежурил, и тихонько так говорит: «Чтоб ты подох, да не сразу, а помаленьку». Не прошло и недели, выезжаем мы на аварию, опять на мост. Гляжу, а покойник-то, слушайте, он и есть! Изжарился, словно гусь. Пальцем по груди постучал — сухой, как скрипка, так спекся.

Старик поставил перед ними две миски с густым супом, сам пристроился на ящике рядом, держа на коленях дымящийся котелок. Принялись за еду — те не спеша, осторожно, а Стефан сразу ошпарил себе язык. Он не подал виду, но стал подолгу дуть на каждую ложку. Поели, и опять появилась жестяная коробочка. Закурили. Стефан надеялся, что Вох продолжит рассказ, но мастеру явно было не до того. Серый, большой, нахохлившийся, он сидел на своем стуле, шумно выпускал изо рта дым и односложно отговаривался от вопросов Стефана. Узнав, что Вох несколько лет проработал мастером на электростанции в его родном городе, Стефан заметил:

— Ах, вот оно что, стало быть, если так можно выразиться, благодаря вам в моей квартире был свет?

Ему хотелось сказать, что это хотя и тоненькая, но все же нить, как-то их связывающая. Вох промолчал, как будто не слышал его слов. Дождь почти прекратился, только из единственной водосточной трубы подле окна на землю изредка падали крупные капли. Стефан все не уходил, ему не хотелось расставаться с Вохом вот так, когда между ними возникла чуть ли не неприязнь. Но разговор уже совсем иссяк; в попытках как-то его оживить Стефан взял со стола зажигалку Воха, блестящую, никелированную, с выгравированным на плоских боках орнаментом. С одной стороны была готическая надпись: «Andenken aus Dresden».<sup>[21]</sup> Вертя зажигалку в пальцах, Стефан заметил на ее крышечке выбитые буквы: «Für gute Arbeit».<sup>[22]</sup>

— Какая красивая у вас зажигалка, — льстиво сказал Стефан. — Вы работали в Германии?

— Нет, — ответил Вох, отсутствующим взглядом уставившись прямо перед собой, — это мне здесь мой начальник дал.

— Немец? — Известие неприятно удивило Стефана.

— Немец, — подтвердил Вох и как-то странно посмотрел на Стефана.

— За хорошую работу, — уже и не спрашивал, а как бы хотел попрекнуть этим Воха Стефан, хотя и понимал уже, что такая тема наверняка не поднимет настроения.

— Да, за хорошую работу, — подчеркнул, пожалуй даже язвительно, в тон Стефану

ответил Вох.

Стефана это совсем сбило с толку; он мучительно искал какого-то нового «подхода» к Воху — встал и даже с деланной непринужденностью прошелся по комнате, наклоняясь и разглядывая приборы. Он рад был бы выслушать и строгое замечание об опасности, лишь бы нарушить враждебное молчание, которое его убивало. Все впустую. Старик погромел пустыми мисками и унес грязную посуду; вернувшись, заговорил с Вохом на свой манер — Стефан, слушая его бормотание, не разобрал ни слова. Вох продолжал сидеть на своем месте, сгорбившись, навалившись грудью на столик, гудело электричество, из окна — его открыл Пощчик — тянуло ночной свежестью. Дверь в коридорчик неожиданно распахнулась, и вошел молодой рабочий, которого Стефан видел уже дважды. Наброшенная на плечи, вывернутая наизнанку армейская куртка промокла насквозь и потемнела, медные волосы слиплись, вода ручейками стекала по лицу. Он остановился на пороге, у его ног сразу же образовалась небольшая лужица. Никто не произнес ни слова — сразу стало ясно, что парня ждали. Переглянувшись с Вохом, старик поплелся в угол, а Вох, до этой минуты сама неподвижность, порывисто поднялся из-за стола и подошел к Стефану.

— Я провожу вас, господин доктор. Уже можно идти.

Сказано это было так откровенно, без тени вежливого притворства, что все скоропалительно и хаотически возводившиеся Стефаном планы придать своему уходу хотя бы видимость добровольного вмиг рухнули. Раздосадованный, даже разозленный, он позволил выпроводить себя во двор. Здесь Вох показал ему, в какую сторону идти, чтобы добраться до больницы, и еще секунду как бы не отпускал от себя; и тут Стефана прорвало:

— Господин Вох, я у вас, отчего так, вы же понимаете, я...

Он не знал, что еще сказать.

Тьма стояла такая, что они едва могли рассмотреть лица друг друга. Вох тихо проговорил:

— Пустяки. Не дать человеку вымокнуть — дело житейское. Только, видите, специально заходить сюда незачем. Не то чтоб что такое, а так. Вы же понимаете.

Заговорив, он положил руку на плечо Тшинецкого, вернее, едва коснулся его плеча; в жесте этом не было и намек на панибратство, только желание прикосновением возместить невозможность посмотреть в глаза, ведь их разделяла тьма. Вох говорил просто, но выходило как-то значительно. Стефан, ничего не понимая, торопливо бросил в ответ:

— Да, да, ну, тогда спасибо и спокойной ночи. — Он почувствовал, что Вох слабо пожал его руку, круто развернулся и пошел восвояси.

Стефан карабкался в гору по глинистому склону, порывы ветра швыряли ему в лицо капли дождя. Он весь был во власти случившегося, и эти несколько часов перевесили месяцы жизни в больнице. Горькая обида на Воху, которую он испытывал на подстанции, испарилась, когда они прощались в темноте, и теперь его смущало, что сам он так глупо вел себя, — впрочем, что, собственно, ему еще оставалось, как только задавать идиотские вопросы? Наверное, он был похож на ребенка, который пытается разгадать, чем занимаются взрослые. Когда показалось, будто его подпустили к первой тайне, его тут же выставили за дверь. Стефан даже подумал: а не вернуться ли, не подглядеть ли в окно, что они там делают? На такое, естественно, он бы не отважился, но сама эта мысль говорила, в каком состоянии он находился. Стефан убеждал себя, что на подстанции ничего особенного не происходит, что те двое пойдут спать, а Вох, залитый резким светом ламп, устроится подле приборов, посидит, встанет и посмотрит на какой-нибудь циферблат, черкнет что-то на разлинованном клочке бумаги, потом опять усядется на место; все это бессмысленно и неинтересно, но почему же так притягивает к себе его мысли их молчаливая, однообразная работа? Стефан нащупал в темноте влажный холодный замок, повозился с ключом, открыл высокую калитку, вслепую пошел по убитой известковой щебенкой

тропинке, которая едва видной белой полоской перечеркивала черную траву, и вскоре оказался в своей комнате. Не зажигая лампы, торопливо разделся и юркнул под одеяло; он никак не мог согреться в холодной постели, чувствовал, что уснуть ему будет нелегко. И не ошибся.

Из тех, кто заходил в кабинет-мастерскую его отца, Стефана в детстве больше всего привлекали рабочие — слесари, токари, монтеры, которым изобретатель заказывал различные части приборов. Стефан их немножко боялся, так они были непохожи на других людей, которых он знал. Неизменно сдержанные, они молча и сосредоточенно выслушивали отца, чертежи брали в руки осторожно, чуть ли ни благоговейно, но под этой их вежливой предупредительностью ощущалась какая-то отчужденность, какая-то жесткость. Стефан подметил, что отец, любивший за столом порассуждать о людях, с которыми сталкивался, не поминал и словом о знакомых рабочих, будто в противоположность инженерам, адвокатам или торговцам они были лишены индивидуальности. Из этого Стефан сделал вывод, что их жизнь («настоящая жизнь» — так он ее называл) окутана тайной. Долго ломал он голову над загадкой этой «настоящей жизни», потом посчитал свое предположение глупостью и позабыл о нем.

И вот сейчас, ночью, бодрствуя и вглядываясь в мрак за окном, он вдруг вспомнил об этом. Значит, в его мальчишеских бреднях был какой-то смысл, была, существовала эта настоящая жизнь людей — таких, как Вох!

Пока дядюшка Ксаверий пропагандировал атеизм, пока Анзельм сердился, пока отец изобретал, а сам он копался в философии и беседовал с Секуловским — месяцами только читал и болтал, чтобы познать «настоящую жизнь», — она удерживала на своих плечах весь их мир, словно Атлас — небесный свод, а сама была незаметна, как земля под ногами... Стефан подумал, что впадает в мифотворчество, ведь существует же взаимный обмен услугами и взаимная зависимость в обществе: Анзельм занят сельским хозяйством, Секуловский пишет, он и дядюшка Ксаверий лечат... но Стефан тут же поймал себя на мысли, что, если бы все они вдруг исчезли, почти ничего бы не изменилось, — а вот без Воха и таких, как он, мир существовать не может.

Он повернулся на другой бок и зачем-то резко щелкнул выключателем. Лампа на ночном столике загорелась — ничего особенного, но свет вдруг показался ему символом, вроде бы знаком, свидетельством того, что Вох бодрствует. В этом желтом свете, равнодушно заливающим комнату, было что-то успокаивающее, гарантирующее свободу заниматься чем угодно и размышлять о чем угодно; пока горел свет, можно было преспокойно мечтать об иных, отличных от всех существующих, мирах.

«Надо спать, — решил Стефан. — Ничего я не придумаю». Он опять протянул руку к выключателю, но заметил на столике раскрытую книгу — первый том «Лорда Джима», <sup>[23]</sup> который он еще не дочитал. Рука, протянувшаяся к лампе, повернула выключатель, и Стефана опять накрыла тьма. Он вдруг подумал: а прочитал ли бы Вох эту книгу, но это было так невероятно, что он даже криво усмехнулся во мраке. Вох ее бы и в руки не взял; за проблемами «Лорда Джима» ему незачем отправляться в океан, он презрительно отнесся бы к тому, как Конрад разрешает их на бумаге, ведь самому Воху приходится сталкиваться с ними в реальной жизни! О том, чего это ему стоит, какими страданиями и заботами он оплачивает наблюдение за электрическим током, об этом никому и ничего известно не было. Какое счастье, что «настоящая жизнь», поддерживая свет в лампах, ничем не докучала Стефану и ничем ему не досаждала. Лучше всего было бы вовсе не касаться ее и не очень-то задумываться о ней, иначе не заснешь.

Мысли Стефана начали расползаться. Под закрытыми веками замаячили безбрежное небо и домик, на который обрушиваются все грозы мира; он увидел хмурое, серое лицо Воха, его сильные руки, словно загорающиеся при вспышках разрядов, — и потом уже не было ничего.

## Лекция Марглевского

В жаркие июльские дни больницу заполнили постояльцы военной поры, и между вновь прибывающими и выздоравливающими установилось равновесие. Солнце в полдень зависало в самой середине неба, окаймляя плотной лентой тени больничный парк, по которому, раздевшись чуть не до гола, слонялись больные. По вечерам с помощью ручного насоса для них устраивали примитивный душ. Насосу сонно кланялся санитар, прозывавшийся Юзефом-старшим, огромный детина с лицом старца и телом юноши.

Сидя в кабинете, искрящемся от солнечных лучей, словно кварцевая лампа, Стефан записывал в книгу приемного отделения нового пришельца, бывшего узника лагеря. По счастливой случайности перед ним распахнулись ворота, которые вроде бы открываются лишь для того, чтобы впустить в лагерь. Проходивший по коридору Марглевский заглянул в кабинет и заинтересовался случаем.

— Фу-фу, миленькая кахексия, истощеньице, — проговорил он, кладя руку на голову человека, который в сверкающей белизной комнате выглядел, словно куча лохмотьев.

Больной неподвижно сидел на вертящейся табуретке, щеки его наискось, от глаз к подбородку, прорезали две морщины, терявшиеся в щетине, которой заросло его лицо.

— Дебил, да? Идиот, да? — выпытывал Марглевский, все еще не снимая руки с головы несчастного.

Оторвавшись от писанины, Стефан отсутствующим взглядом посмотрел на него и словно очнулся.

По отмороженным, фиолетового оттенка щекам пациента скатились две крупные, очень прозрачные слезы и исчезли в бороде.

— Да, — сказал Стефан, — идиот.

Встал, швырнул бумаги на угол стола и отправился к Секуловскому. Начал разговор как-то бессвязно: вот, мол, переменял некоторые свои мнения, сейчас наступает время, когда нужно избавиться от части своего интеллектуального багажа.

— Кое-какие подходы уже устарели, — говорил он, стараясь подсластить свое отступничество цинизмом. — Вот я только что пережил маленький катарсис...

— Войдзевич в прошлом году угощал меня вишнежкой, которая вызывала большой катарсис... подозреваю, он в нее кокаину подсыпал, — отозвался Секуловский, но, заметив выражение лица Стефана, добавил: — Ну, доктор, говорите же, я вас слушаю. Вы человек ищущий и попали в самую точку. Сумасшедший дом — всегда некая выжимка духовного состояния эпохи. Все искривления, все духовные отклонения и чудачества так растворены в нормальном обществе, что их трудно обнаружить. И только тут, так сказать, в сгустке, они четко обрисовывают облик своих эпох. Вот музей душ...

— Да нет же, не о том речь, — перебил его Стефан и вдруг почувствовал себя чудовищно одиноким. Он искал нужные слова, но так и не смог их найти. — Нет, собственно говоря, нет... — пробормотал он, попятился и поспешно вышел вон, словно опасаясь, что поэт удержит его, однако внимание Секуловского привлек к себе паук, показавшийся из-за кровати и поползший по стене вверх; он кинул в него книгу, а когда она с шумом шлепнулась на пол, долго рассматривал кляксу, подергивавшую тонкой, как волосок, ножкой.

На галерее Стефан столкнулся с Марглевским, который стал зазывать его к себе.

— Я достал бутылочку «Extra Dry», — сообщил он, — может, заглянете ко мне? Горло промочим.

Стефан было отказался, но Марглевский счел это пустой вежливостью.

— Ну, ну, пошли, какие могут быть разговоры.

Жил Марглевский на том же этаже, что и Стефан, только в другом конце коридора. Комнату доктора загромождала сверкающая мебель: стол со стеклянной столешницей, опиравшейся одним краем на пирамиду из ящичков, а другим — на изогнутые стальные трубки; из таких же трубок были сооружены и креслица. Все это напомнило Стефану приемную зубного врача. Несколько картинок в легких металлических рамках. Две стены занимали книги, очень аккуратно расставленные, на корешке каждой наклеен белый номерок. Пока Марглевский накрывал салфеткой низенький столик, Стефан, подойдя к полкам, наугад вытянул томик и стал его перелистывать. В «Провинциальных письмах» Паскаля разрезаны были только две первые страницы. Хозяин выдвинул ящик современного буфетика: появились бутерброды на белых тарелочках. После третьей рюмки язык у Марглевского развязался. Водка только подчеркнула своеобразную манеру хозяина вести разговор — сказанное он любил иллюстрировать показом. Сообщая, к примеру, что испачкал халат и его надо выстирать, тер что-то невидимое в руках, как это делают прачки. Вот и сейчас, словно размахивая дирижерской палочкой, он принялся демонстрировать Стефану картотеку — множество ящичков, рядом стоящих на подоконнике. Разноцветные зажимы скрепляли большие картонные листы. Выяснилось, что Марглевский занимается наукой. Как бы невзначай он перекидывал с места на место пузатые папки с рукописями; он исследовал влияние камней в моче Наполеона на исход битвы под Ватерлоо, доискивался, как воздействовало усиленное производство гормонов на коллективные видения святых, — тут он провел пальцем вокруг головы, что должно было означать нимб, и рассмеялся. Ему было жаль, что Стефан неверующий. Он искал наивных, чистых, погрязших в догматике. Они были ему нужны, как полотенце грязнуле. Он говорил:

— Вы ведь, коллега, часами просиживаете у Секуловского? Спросите его, отчего литература так врет? Дорогой коллега, не одна любовь разбилась только из-за того, что малому захотелось пописать, а он постеснялся сказать об этом барышне, изобразил внезапный приступ тоски по одиночеству и дал тягу в кусты. Я сам знаю один такой случай...

Стефан скорее от скуки, чем из любопытства заглядывал в открытые картотеки. Между твердыми прокладками были сложены тщательно выровненные листки, заполненные машинописным текстом. А Марглевский говорил и говорил, однако речь его становилась все беспорядочнее, будто думал он о чем-то другом. Однажды Стефан даже поймал на себе его острый, холодный взгляд. Теперь, когда доктор сидел вот так — сторбившись, выставив вперед чутко приносящийся к чему-то нос, он казался Стефану похожим на старую деву, которой невтерпеж признаться в единственном своем грехе.

Марглевский начал говорить, так густо уснащая речь латынью, что нельзя было ничего понять. Его нервные, худые пальцы нетерпеливо ласкали полированную крышку ящичка, потом он наконец открыл его. Стефан, подгоняемый любопытством, заглянул внутрь: длинный реестр, что-то вроде инвентарной описи. Он успел прочитать: «Бальзак — гипоманиакальный психопат, Бодлер — истерик, Шопен — неврастеник, Данте — шизоид, Гете — алкоголик, Гёльдерлин — шизофреник...»

Марглевский приподнял завесу тайны. Он замахнулся на великую книгу о людях гениальных, даже собирался опубликовать отрывки из нее, — к сожалению, помешала война...

Он стал раскладывать огромные листы с изображениями генеалогических деревьев. Говорил, все более распаяясь, на щеках выступили бурые пятна. Он перечислял извращения, попытки самоубийства, обманы и психоаналитические комплексы великих людей с такой страстью, что Стефан невольно заподозрил: Марглевский сам, наверное, страдает какими-то отклонениями от нормы и стремится столь сомнительным образом породниться с гениями, втереться в их семью. С необычайным тщанием собирал он описания всех житейских промахов

великих людей, исследовал и раскладывал по ящичкам их неудачи, трагедии и несчастья, жизненные провалы. Обнаруженный в посмертных бумагах самый слабый след какой-нибудь греховности или только догадка о ней несказанно радовала Марглевского. Когда он бросился к нижнему ящичку стола и, размахивая во все стороны руками, принялся раскидывать папки, намереваясь продемонстрировать какую-то новейшую свою добычу, Стефан, воспользовавшись его молчанием, проговорил:

— Мне представляется, что великие творения возникают не благодаря безумию, а вопреки ему...

Он взглянул на Марглевского и пожалел, что сказал это. Тот поднял голову от бумаг, глаза его превратились в щелки.

— Вопреки?.. — язвительно протянул он. Резким движением собрал рассыпавшиеся страницы, чуть ли не вырвал из-под носа Стефана развернутые диаграммы, стал нервно распахивать все по скоросшивателям. И, только покончив с этим, повернулся к гостю. — Вы, дорогой коллега, еще неопытны, — заговорил он, сплетая руки. — Мы в конце концов не живем в эпоху Возрождения; впрочем, и тогда непродуманные действия могли обернуться роковыми последствиями... Вы, по всей вероятности, не охватываете... однако то, что с субъективной точки зрения может быть оправданно, перестает быть таковым перед лицом фактов...

— О чем вы говорите? — холодея, спросил Стефан. Марглевский не смотрел на него. Он растирал свои длинные, тонкие пальцы и упорно разглядывал их. Наконец сказал:

— Вы много гуляете... но эти бежинецкие электрики... этот их кирпичный дом... Это может бросить на больницу не только тень дурной славы, но и бог весть что! И не в том даже дело, что они прячут там какое-то оружие, но этот молодой, этот Пощчик, он же бандит, самый заурядный бандит.

— Откуда... откуда вы знаете? — вырвалось у Стефана.

— Не важно.

— Этого не может быть!

— Не может быть?! — Спрятавшиеся под очками глаза Марглевского с холодной ненавистью буравили Стефана. — А о подпольной Польше вы слышали? О лондонском правительстве? — выпалил он свистящим шепотом, и его большие руки, поглаживавшие белый халат, при каждом слове слегка подрагивали. — Здесь, в лесах, армия в сентябре оставила оружие. Заботу о нем взял на себя этот... этот Пощчик! Требование указать место он отверг. Сказал, что подождет большевиков!

— Так и сказал?.. Откуда вы знаете? — растерянно повторил Стефан, оглушенный неожиданным поворотом разговора и возбуждением Марглевского — того буквально трясло.

— Я не знаю! Я ничего не знаю! Я не имею с этим ничего общего! — взорвался он яростным шепотом. — Все об этом знают, кроме вас! Кроме вас, *коллега!*

— Так вы говорите, туда не ходить?.. — Стефан встал. — Правда, однажды я случайно, во время грозы...

— Я ничего не говорю! — оборвал его Марглевский, тоже вставая, а вернее, сорвавшись с кресла. — Покорнейше прошу вас навсегда позабыть об этом! Я всего лишь считал своим товарищеским долгом — а уж вы поступайте, как сочтете нужным, но, подчеркиваю, решайте исключительно сами!

— Разумеется... — забормотал Стефан. — Если вы, господин доктор, этого желаете... Я никому не скажу.

— Дайте в знак этого руку!

Помедлив, Стефан протянул ему руку. Происшедшее ошеломило его, но в этот момент его больше всего поразила нервность, явная тревога Марглевского. Может, этот скелет ненароком

проболтался? А его ярость? Неужто он как-то связан с подпольем? Какой-нибудь, как это говорится, контакт?..

Стефан вышел в коридор; он был совершенно сбит с толку, растерян. Жара стояла такая, что и здесь, в корпусе, он то и дело отирал платком пот со лба. Проходя мимо уборной, услышал за дверью смех. Голос казался знакомым. Дверь распахнулась, и из уборной, пошатываясь от хохота, больше напоминающего икоту, выскочил Секуловский в пижамных брюках. На светлых волосах, покрывавших его грудь, подрагивали капельки воды.

— Может, раскроете причину столь хорошего настроения? — спросил Стефан, жмурясь от ярких лучей, которые, пробивая стеклянную крышу, рассыпались в коридоре всеми цветами радуги и красочными пятнами расплзались по стенам.

Секуловский прислонился к стене; он никак не мог прийти в себя.

— Доктор... — прохрипел он наконец. — Доктор... это та ку... ха-ха-ха... не могу. Вспомнились мне наши уч... ученые диспуты... феномены... философия... Упанишады... звезды... дух и небеса, а как только посмотрю на кучу, ну... не могу! — Он опять расхохотался. — Какой дух? Кто такой человек? Куча! Куча! Куча!

Отбормотавшись — приступ судорожного веселья все не отпускал его, — поэт отправился к себе, то и дело раздражаясь смехом. Стефан, так и не проронив ни слова, пошел в свою комнату. Секуловский чертовски его расстроил. «И такие открытия он делает сейчас!» — подумал Стефан. Он не знал, как теперь быть. Выходя от Марглевского, он решил пойти на подстанцию и предостеречь Воха. Какое значение имеет слово, данное Марглевскому, если молчание может поставить электриков под удар? Однако Стефан быстро сообразил, что никуда не пойдет. Кого, собственно, Вох должен был остерегаться? Марглевского? Вздор. Так что же — сказать ему, что он прячет оружие? Но если это правда, Вох и сам это знает лучше Стефана.

Несколько дней ломал он себе голову, обдумывая самые нелепые способы предостеречь Воха, предупредить, чтобы тот был поосторожнее: может, анонимная записка, может, вызвать мастера на ночной разговор, — но все это не стоило и ломаного гроша. В конце концов он просто махнул на это рукой. На подстанцию не ходил, считая, что обещал это Воху, но какое-то время спустя опять стал бродить в тех местах. Однажды ранним утром заметил на вершине одного из самых высоких холмов Юзефа. Санитар неподвижно сидел на траве, словно зачарованный открывавшейся перед ним красочной картиной, но Стефан полагал, что не тот он человек, который способен наслаждаться прелестями природы. Он украдкой понаблюдал за Юзефом, но, так ничего и не открыв для себя, ушел. Уже подойдя к лечебнице, вдруг подумал, что Юзеф мог быть осведомителем Марглевского. Встречается с мужиками — в деревне ничего не скрыть, — да и работал он в отделении Марглевского, а тощий доктор, человек по натуре желчный, тем не менее поддерживал с ним даже в какой-то мере доверительные отношения. Хотя — что могло быть общего у Юзефа с лондонским правительством? Все это трудно было понять, различные мелочи не складывались в цельную картину, но Стефан опять почувствовал, что должен предостеречь Воха. Однако всякий раз, только представив себе, как в действительности будет протекать разговор с мастером, испытывал страх.

В те дни новые события нарушили привычный ритм жизни лечебницы. Стефан с любопытством наблюдал за тем, что происходило за стеной, в соседней квартире. До того пустовавшая, она готовилась принять нового жильца — профессора Ромуальда Лондковского, бывшего ректора университета. Этот ученый, чьи работы в области электроэнцефалографии сделали его известным далеко за пределами Польши, человек, восемнадцать лет возглавлявший психиатрическую клинику, был изгнан немцами со своего поста. Теперь его ждали в лечебнице — неофициально, как гостя Паенчковского. Адъютант несколько раз ездил на вокзал, чтобы в качестве почетного эскорта сопровождать прибывавшие партии профессорского багажа. Сам



Лондковский явился на следующий день. Запыхавшийся Юзеф носился с этажа на этаж — то с лестницей, то с каким-то шестом, то с потертым ковром.

Целый день слышал Стефан за стеной стук молотка, шум передвигаемых ящиков и грохот расставляемой мебели. К самому факту приезда Лондковского врачи отнеслись равнодушно. За обедом стояло молчание, которое только подчеркивалось яростным жужжанием мух. Стефан завесил окно в своей комнате влажной марлей, надеясь таким образом защититься от сухого и знойного воздуха, и, растянувшись на кровати, листал учебник психологии. Разглядывая фотографии незнакомых людей, он ясно почувствовал, что все они — разновидности одного и того же типа, широкая распространенность которого в жизни оскорбляет его представление о неповторимой индивидуальности. К индивидуальным различиям приводит простое изменение основных пропорций: одно лицо характеризуется глазами, другое — скорее скулами, в третьем главное — щеки. Попадая в город, Стефан любил представлять себе лица идущих впереди него людей, прежде всего женщин. Улицы, эти подвижные собрания лиц, давали возможность играть так часами.

Ни с того ни с сего заглянул Паенчковский и прервал его размышления. Поинтересовался чтением «уважаемого коллеги», потом перешел к своей излюбленной теме.

— Ну, вы уже этого не увидите, — грустно говорил он, — к сожалению, такие мощные, классические приступы с истерической дугой теперь больше не встречаются. Помню, у Шарко в Париже...

Он расчувствовался.

Но, заметив кислую улыбку Стефана, добавил:

— Ну, в известном смысле это вроде бы и хорошо, хотя истерия у нас есть до сих пор. Думаю, просто-напросто течения психических расстройств прорыли себе новое ру... русло. Ах да... что же это я хотел сказать?

Стефан с самого начала именно этого и ждал, ведь визит предвещал нечто из ряда вон выходящее. И Пайпак принялся втолковывать, что Лондковский — светило, его друзья Лэшли и Гольдшмидт — в Америке, а теперь вот немцы вышвырнули его на улицу.

— На улицу... — повторил он дрожащим от волнения голосом. — Так вот, надо, чтобы мы ему взамен, ведь правда же... все, что в наших силах...

Он попросил Стефана нанести визит ректору, когда настанет его очередь.

Паенчковский обошел с этим всех врачей больницы.

В первый же вечер отправились, чтобы, как выразился Марглевский, «вручить верительные грамоты», он сам, Паенчковский и Каутерс — как старшие. На следующий день — Носилевская с Ригером. Наконец, на третий — Сташек и Стефан. Кшечотек проворчал что-то насчет делювиальных<sup>[24]</sup> обычаев: вроде бы все и равны, вроде бы и работают вместе, вроде бы единство перед лицом врага, а чуть доходит до дурацких визитов, становись в очередь по возрасту и должности.

Стефан откопал на дне чемодана какой-то кошмарно черный галстук, прикрыл пятно на нем пиджаком, и они отправились.

Лондковский был похож на тощего льва без шеи. Бугристая голова, обрамленная серебристыми локонами; из ноздрей торчат пучки волос; нос размятой картофелиной; лицо изборождено глубокими изломанными складками; нависшие серые, пушистые брови трепещут при каждом движении головы. От гладко выбритого подбородка туго натянутыми струнками сбегали морщины. Лондковский в профиль немного напоминал Сократа.

Стефан, уже побывавший в нескольких квартирах врачей, с любопытством разглядывал профессорское жилье, обставленное все же наспех, хотя фура шесть раз ездила на вокзал и обратно.



Прямо от двери начинались книжные полки, занимавшие всю стену; они прогибались от толстенных томов. Книги в основном — в черных переплетах с золотым тиснением. В самом низу — кипы научных журналов. Кое-где виднелись на полках, словно случайно туда затесавшиеся, желтые или зеленые томики. Наискосок к окну стоял письменный стол, передний край которого был, словно забором, огорожен учебниками. Строгость этой комнаты, почти кельи, смягчали ковры: один, с высоким, как трава, ворсом, ромбом лежал у самого порога, другой — что-то вроде маленького гобелена — служил фоном для фигуры Лондковского.

Молодые люди раболепно что-то пробормотали вместо приветствия. Профессор умел разговаривать живо, вроде как обо всем на свете, а в сущности, ни о чем. Вышло так, будто они явились к нему за советами и знаниями. Он их расспрашивал о работе, интересах — разумеется, исключительно профессиональных, старательно избегая всего, что касалось больничной жизни. Держался он совершенно на равных. И именно благодаря этому сохранял солидную дистанцию. Даже крупицу доброжелательности могла свести к нулю его собственная душевная надменность. Взглянув на две бронзовые головы на низенькой полочке — Канта и неандертальца, — Стефан даже поежился. Его поразило, что, хотя в похожем на клубень черепа и сильно выдававшихся вперед глазницах неандертальца притаилась дикость, отсутствующая в другой голове, от обеих веяло каким-то бесконечным, мучительным одиночеством, словно каждая из них вобрала в себя жизнь и смерть многих поколений.

На стенах висели портреты: Листер с байроновской печалью в опущенных долу глазах, Павлов — резко торчащая вперед борода, лицо до жестокости любопытного ребенка, и Эмиль Ру — старик, добитый бессонницей.

Посчитав, что молодежь свое отбыла, профессор с необыкновенным тактом срежиссировал обмен поклонами и короткими, по теплыми рукопожатиями, так что они очутились в коридоре, темного сбитые с толку, чуть ли не против собственной воли.

— Черт возьми! Великий человек! — ошеломленно протянул Стефан.

Ему захотелось основательного, большого разговора из разряда тех, которые подтачивают устои мироздания, но партнер оказался совсем не на высоте. Энергия, которую Кшечотек демонстрировал Лондковскому, испарилась. Было похоже, что, войдя в его кабинет, свое несчастье он оставил за профессорской дверью. А теперь вновь натягивал его на себя. Носилевская донимала его все больше. Загорелая, равнодушно-вежливая, она отвечала на его трагически-вопросительные взгляды улыбкой, которая не означала ничего; она всегда оставалась врачом, готовым объяснить румянец приливом крови к голове, а сердцебиение — переполненным желудком. Заряженная, словно аккумулятор, женственностью, она мучила его каждым своим движением. Он, однако, робел заговорить с ней: собственное молчание оставляло ему хоть видимость надежды, которую неопределенность как бы укрепляла. Стефан давно уже состоял при друге деятельным утешителем-резонером и нес эту службу добросовестно, порой даже наслаждаясь ее изысканностью. Иногда он пускал в ход диссонансы, раздражаясь после какого-нибудь излияния Сташека громким хохотом или больно хлопая его по лопатке, но немедля брал себя в руки.

Июль слетел с календаря. Августовские дни, словно горячий, золотистый ранет, скатывались в короткую, испещренную звездами темноту. После вечерней грозы, когда деревья, сотрясавшиеся от раскатов грома, успокоились и, отяжелевшие от влаги, смиренно стояли в наползающих сумерках, к Стефану явился торжественный Марглевский: он организовал научную конференцию с демонстрацией больных.

— Будет очень интересно, — говорил он. — Впрочем, не хочу опережать событий. Вы, коллега, и сами увидите.

А Стефан на этот вечер пригласил к себе Носилевскую — ему хотелось протаранить несносную робость Сташека; опять все пошло прахом...

В библиотеке уже расставили обитые красным плюшем креслица. Первым пришел Ригер, за ним — Каутерс, Паенчковский, Носилевская, наконец, Кшечотек. Когда, казалось, пора было уже и начинать и все выжидательно поглядывали на Марглевского, суетившегося подле высокого пюпитра, на котором лежали его бумаги, вошел Лондковский. Это было настоящим сюрпризом. Старик с порога всем поклонился, затем погрузился в большое кресло, которое Марглевский предусмотрительно поставил для него впереди остальных, скрестил на груди руки и замер. Желая как-то вознаградить Сташека, обманутого в своих надеждах, Стефан постарался устроить так, чтобы Носилевская оказалась между ними. Докладчик подошел к пюпитру, откашлялся и, покопавшись в своих листочках, поднял на присутствующих поблескивающие стальные очки.

Его доклад, заявил он, скорее предварительное сообщение, обзор еще не до конца обработанных материалов, касающихся специфического влияния, каковое некоторые болезненные состояния психики оказывают на ум человека. Речь идет о симптоме, который можно было бы назвать тоской выздоравливающего по ушедшему безумию; в особенности это характерно для простых людей, неинтеллигентных, которых шизофрения в некотором роде одаривает обогащающими их внутренний мир экстатическими состояниями; такие больные, излечившись от болезни, тоскуют по ней...

Марглевский говорил, едва заметно сардонически улыбаясь, сплетая и расплетая пальцы. По мере того как, перекладывая странички, он погружался в тему, росло и его возбуждение. Он заглядывал окончания слов, сыпал латынью, строил бесконечные, головоломные фразы, стараясь не смотреть в свои записи. Стефан с интересом разглядывал красиво очерченную голень Носилевской (она заложила ногу за ногу). Он уже довольно давно перестал слушать Марглевского. Этот вибрирующий голос убаюкивал. Но вот докладчик попятился от пюпитра.

— А теперь я продемонстрирую коллегам выздоравливающего, у которого проявляется эта, как я ее называю, тоска по безумию. Прощу! — Он резко повернулся к открытой боковой двери.

Оттуда вышел пожилой мужчина в вишневом больничном халате. В темном проеме двери маячило белое пятно — халат санитаря, поджидавшего в коридоре.

— Поближе, пожалуйста, поближе! — с фальшивой любезностью попросил Марглевский. — Как вас зовут?

— Лука Винцент.

— Вы в больнице давно?

— Давно... очень давно. Может, с год! Пожалуй, год.

— Что с вами было?

— Что было?

— Почему вы пришли в больницу? — сдерживая нетерпение, спросил Марглевский.

Стефану неприятно было наблюдать за этой сценой. Конечно же, Марглевского совершенно не интересовал этот человек; ему хотелось лишь вытащить из него нужное признание.

— Меня сын привез.

Старик внезапно смутился и опустил глаза. Когда же он их поднял, они были совсем иными. Марглевский облизал губы и хищно вытянул вперед шею, упершись взглядом в желтое лицо больного, затем резко взмахнул рукой, давая знак зрителям, словно дирижер, который вытягивает чистое соло одного инструмента, но не забывает и об оркестре.

— Сын меня привез, — уже увереннее повторил старик, — потому как... я видел...

— Что вы видели?

Мужик замахал руками. Кадык дважды прокатился по его высохшей шее. Больной явно что-то хотел сказать. Несколько раз начинал он поднимать вверх обе руки, пытаясь подтвердить жестом свои слова, но слова эти так и не были произнесены, и каждый раз руки беспомощно опадали.

— Я видел, — наконец растерянно повторил он. — Я видел.

— Это было красиво?

— Красиво.

— Ну, так что же такое вы видели? Ангелов? Господа Бога? Богородицу? — четко, деловито выпрашивал Марглевский.

— Нет... нет, — всякий раз возражал мужик. Потом посмотрел на свои белые пальцы. И, не отрывая от них глаз, тихо протянул: — Неученый я... не умею. Началось, как я шел с сенокоса, там, где усадьба Русяков. Там это на меня и нашло. Все эти деревья там, во фруктовом саду... знаете, барин, и овин... как-то переменялись.

— Подробнее объясните, что это было?

— Переменялось там, возле усадьбы Русяков. Вроде бы и то же самое, но по-другому.

Марглевский окинул взглядом зал. Торопливо и четко, как актер, произносящий реплику «в сторону», бросил:

— Шизофреник с распадом психических функций, совершенно излечившийся...

Он хотел сказать что-то еще, но старик перебил его:

— Я видел... столько, столько видел...

Он запнулся. На лбу проступили капельки пота. Он сосредоточенно тер большим пальцем висок.

— Ну, хорошо, хорошо. Я знаю. А теперь вы больше ничего не видите, да?

Мужик опустил голову.

— Нет, не вижу, — покорно подтвердил он и весь как-то съежился.

— Прошу внимания! — бросил Марглевский зрителям и, подойдя вплотную к старику, заговорил с ним медленно, нажимисто, с расстановкой: — Больше вы уже не будете видеть. Вы здоровы, скоро пойдете домой, потому что у вас ничего нет, — ничего у вас не болит. Понимаете? Вернетесь к сыну, к семье...

— Значит, больше уже не буду видеть?.. — повторил старик, не двигаясь с места.

— Нет. Вы здоровы!

Старик в вишневом халате был явно огорчен; больше того — на лице его выразилось такое отчаяние, что Марглевский даже просиял. Он отступил на шаг, словно не желая заслонять собою вызванный им эффект, и лишь едва заметным движением прижатой к груди руки указывал на стоявшего перед ним человека.

Тот вдруг так крепко сцепил пальцы, что они хрустнули, и, тяжело ступая, подошел к пюпитру. Положил на него свои огромные, квадратные руки, с которых болезнь согнала загар и вьезшую в грубую кожу грязь. Только прозрачно-желтые мозоли, словно сучки на древесном срезе, сверкали на его ладонях.

— Господа... — запинаясь, начал он тоненьким голосом, — а нельзя так сделать... зачем же, господа, со мной занимались? Я уж там... что так уж меня кидало во все стороны, этот электрик или как его там... но вот если бы мне остаться... В избе голым голо, сыну на четыре рта не нагорбатиться, чего уж мне туда? Еще бы если работать мог — да, но руки-ноги не слушаются. Какая с меня польза? Мне уж недолго, чего мне надо-то, вишь, оставьте меня тут, оставьте...

По мере того как старик говорил, лицо Марглевского стало резко меняться: радость уступила место изумлению, тревоге, наконец, его искажил едва сдерживаемый гнев. Он дал знак

санитару, который быстро подошел к старику и схватил его под локти. Тот инстинктивно рванулся, как всякий свободный человек, но тут же обмяк и, не сопротивляясь, позволил себя увести.

В зале воцарилась глухая тишина; Марглевский, белый как полотно, обеими руками водрузив на нос очки, противно скрипя новыми ботинками, двинулся к пюпитру; он уже открыл было рот, когда из задних рядов раздался голос Каутерса:

— Ну, тоска тут была, коллега, но не столько по болезни, сколько по полной миске!

— Прошу меня извинить! Я еще не кончил! Свои замечания, коллега, вы сможете высказать потом! — прошипел Марглевский. — Больной этот, коллеги, бывал во власти экстатических состояний, его обуревали возвышенные чувства, которые он теперь не в силах передать... Перед болезнью он был дебил, не так ли, почти кретин, я его вылечил, но, если так можно выразиться, мозгов ему маслом смазать не мог... То, что он тут воспроизвел, это увертки, хитрость, нередкая у кретинов. Симптомы тоски по болезни я наблюдал у него в течение длительного времени...

Он говорил в таком роде еще долго. Наконец дрожащими руками протер очки, подпер языком нижнюю губу, покачался на пятках и проговорил:

— Ну, собственно, это... вес. Благодарю, коллеги.

Профессор тут же ушел. Стефан, бросив взгляд на часы, решительно наклонился к Носилевской и пригласил ее к себе. Она немного удивилась — не поздно ли? — но все-таки согласилась.

Они прошли мимо столпившихся в дверях врачей. Марглевский, схватив Ригера за пуговицу, что-то возбужденно доказывал. Каутерс молча грыз ногти.

— Настоящая тоска по безумию! — услышал Стефан, выходя в коридор.

Стефан усадил Сташека подле Носилевской, откупорил бутылку вина, выложил на тарелочки остатки кекса и не забыл об апельсиновой настойке, которую недавно прислала ему тетушка Скочинская. Выпил рюмку, потом вдруг вспомнил, что ему надо заглянуть в третий корпус, кашлянул, извинился и вышел из комнаты с чувством хорошо исполненного долга.

Немного пошатался по коридорам, раздумывая, не отправиться ли к Секуловскому, подошел к окну — тут его и настиг Юзеф-старший.

— Господин доктор, ох как хорошо, что вы здесь. Пащчиковяк, ну, тот из семнадцатой, вы же знаете, выкобенивается.

У Юзефа была своя терминология. Если пациент вел себя беспокойно, он говорил, что тот «дает». «Выкобенивание» было уже симптомом более серьезным.

Стефан пошел в семнадцатую.

Десятка полтора больных без особого интереса наблюдали за скакавшим по-лягушачьи мужчиной в халате, который, издавая воинственные — никого, правда, не пугавшие — крики, скалил зубы, мотался из стороны в сторону, далеко выбрасывая ноги, и, подлетев к кровати, разодрал простыню.

— Будет! Будет! Пащчиковяк, что случилось? — добродушно начал Стефан. — Вы — такой спокойный, культурный человек, а устраиваете бузу?

Безумец исподлобья посмотрел на него. Это был маленький тощий мужчина с головой и длинными пальцами безгорбого горбуна. Смутьившись немного, он пробормотал:

— А, так это вы, господин доктор, сегодня дежурите? Я думал, доктор Ригер. Простите, не буду больше...

Стефан, недолго любивавший Ригера, улыбнулся и спросил:

— А чем вам не угодил доктор Ригер?

— Э-э... да так... ничего больше не будет, ша, господин доктор. Раз вы дежурите, ни гугу.

— Я не дежурю... так просто зашел... — проговорил Стефан, и, поскольку это прозвучало чересчур уж по-домашнему, он, подстегиваемый чувством служебного долга, поправился: — Ну, не надо делать глупостей. Я или доктор Ригер — все едино. А то отправят вас сейчас на шок, на что это вам?

Пащчиковяк сел на кровать, заслонив дырку в простыне, оскалил мелкие зубы в дурацкой улыбке. Это был, отмечалось в истории болезни, дебил, обладавший, однако, немалой смекалкой, которую не удавалось описать бытующими в диагностике формулами. Стефан заглянул в другую палату. На ближайшей к дверям койке что-то бормотал, укрывшись с головой одеялом, ветеран лечебницы, идиот. Остальные больные сидели, только один топтался подле своей кровати.

Стефан вошел.

— Ну как? — обратился он к бормотававшему под одеялом.

На подушке показалось изможденное, заросшее рыжей щетиной лицо с желтоватыми глазами и беззубым ртом. Бормотание стало громче.

— Ну, сколько будет... сто тринадцать тысяч двести пять на двадцать восемь тысяч шестьсот тридцать?

Это была милость: согбенный человек забормотал на иной лад — ревностно, чуть ли не молитвенно, — и спустя некоторое время выдавил из себя:

— ...сят... миллион... ячи... шесть... двад... пять...

Стефану не нужно было и проверять. Он знал, что это — феноменальный вычислитель, который множит и делит шестизначные числа безо всякого труда в течение нескольких секунд. По приезде в лечебницу Стефан пытался расспросить его, как он это делает, но в ответ слышал лишь гневное бормотание. Однажды, не устояв перед лакомством (Стефан принес ему дольку шоколада), идиот обещал открыть свою тайну. Побормотав и изойдя шоколадной слюной, он выговорил: «У меня... там такие ящички в голове. Это прыг, скок. Тысячи тут... мальены тут... и прыг, скок. И здесь. И готово». — «Как это — готово?» — разочарованно спросил Стефан.

...«Математик» накрылся одеялом, и лицо его на миг просветлело. Он был велик. Он побормотал еще и прогнусавил:

— Сязите ще!

Это означало, что он хочет, чтобы ему назвали два больших числа.

— Ну... — Стефан добросовестно отсчитал тысячи и велел перемножить.

Идиот пустил слюни, зашептал, икнул и назвал результат. Тшинецкий в задумчивости постоял в ногах его кровати.

— Сязите ще!

Стефан, чтобы отвязаться, назвал несколько чисел. Может, ему это нужно для самоутверждения? На Стефана порой нападал страх, в эти мгновения ему казалось, что он должен повиниться перед всеми, на коленях выпрашивать у них прощения за то, что он вот такой нормальный, что иногда он радуется, что забывает о них...

Деваться Стефану было некуда — он пошел к Секуловскому.

Поэт брился. Заметив на столе том Бернаноса,<sup>[25]</sup> Стефан заговорил о ценностях христианской этики, но Секуловский не дал ему закончить. Стоя с намыленным лицом перед зеркалом, он так решительно замахал кисточкой, что пена разлетелась во все стороны.

— Господин доктор, это не имеет никакого смысла. Церковь, эта старая террористическая организация, массирует души вот уже две тысячи лет, и что, какой результат? Для одних это — симптомы, для других — откровения.

Секуловского, однако, заинтересовала проблема гениальности; Стефан полагал, что он размышлял о ней «изнутри». Сам себя почитал гением.

— Ну да, ну да... Ван-Гог... Паскаль... Да, старая история. Но с другой стороны, и вы, мусорщики человеческих душ, не знаете о нас ничего.

Ага, подумал Стефан.

— Со времен своего ученичества я помню несколько любопытных, попросту чистых форм, возвращенных в питательной среде разных литературных групп. Был там один такой молодой писатель. Все давалось ему удивительно легко. Фотографии в газетах, переводы, интервью, вторые издания. Я всему этому завидовал до судорог. Я умел созерцать ненависть, как Будда — небытие. Как-то по пьяному делу мы познакомились. Он был уже совсем тепленький: со слезами на глазах признался, что завидует моей элитарности, камерности. Что я такой замкнутый, что в стихах я так скуп на слова. Что мое одиночество таит в себе такую энергию, что такое оно независимое. Назавтра мы уже раззнакомились. Вскоре он написал эссе о моих вещах: eine Spottgeburt aus Dreck und Feuer.<sup>[26]</sup> Подлинный шедевр прикладного садизма. Если хотите слушать, прошу в ванную, мне надо принять душ.

С некоторых пор Секуловский допускал к себе Стефана во время вечерних омовений — быть может, ради того, чтобы и таким образом унижить врача. Раздевшись догола, он влез под душ и продолжал:

— В молодости мне было не по нутру, если друзья меня долго нахваливали. Когда они умолкли, я подумал: ого! Ну а когда посыпались со всех сторон советы, чтобы я перестал, что тупик, что дорога в никуда, что я кончаюсь, я уже знал — все отлично.

Он натирал рукавичкой волосатые ягодицы.

— Были там некогда двое постарше. Первый, якобы эпик (не издал ни одной большой вещи), пользовался славой в кредит. Кредитовали его все, но только не я. Он коллекционировал афоризмы, как бабочек. Они нужны ему были для «книги жизни». Писал он ее с юношеских лет, все правил, ссылаясь на рукописи Флобера, все что-то там переменял, и все было не так. За неделю переставлял три слова. Когда он умер, я на несколько дней достал его рукопись. Вы смотрите с любопытством, да? Скажу кратко: шаром покати. Ни упорства, ни желания, ни труда. Не верьте-ка хвастунам: талант надобно иметь. Пусть мне не тычут в нос измызганные клопиной кровью правки рукописи Флобера, я-то видел работу Уайльда. Да, Оскара. Вы знаете, что «Портрет Дориана Грея» он написал в две недели?

Секуловский сунул голову под струю и оглушительно прочистил нос.

— Второй был славен in partibus infidelium.<sup>[27]</sup> Член Пен-клуба. Упанишады читал в оригинале и писал по-французски не хуже, чем по-польски. Его даже критики уважали. Одного меня он боялся и ненавидел, поскольку я знал его пределы. Слышал их в каждой его вещи, словно глухой стук от удара по дну. Начинал он изумительно, обрисовывал обстоятельства, людей накачивал кровью, сюжет развивался легко, но дело неминуемо доходило до момента, когда надо было оторваться от плоскости листа исписываемой бумаги и приподняться — на чепуху, на один шажок. Вот тут и наступал его конец. Он не мог. Другие не слышали фальши, вот он и думал, что перебьется, как голый андерсеновский король. Но я слышал, слышал этот звук пустой бочки. Вы меня понимаете? Чужая вещь похожа на лежащий на земле тяжелый предмет. Уже подходя к нему, я мог оценить: подниму или нет? Это значит: способен ли я на такой размах?

— И чем кончились эти попытки?

Секуловский с наслаждением чесал намыленную спину.

— Пожалуй, удачно. Правда, когда волна отступала, я сам читал то, что написал, с некоторым изумлением... Но речь главным образом о стиле. Различия между поколениями сводятся к тому, что какое-то время пишут: «Утро пахло розами». Приходят новые: ого, вывернуть! И какое-то время пишут: «Утро пахло мочой». Но прием-то тот же самый! Никакие

это не реформы. Не в этом новаторство.

Он фыркал под горячей струей, как тюлень.

— У каждой вещи должен быть скелет, как у женщины, но такой, чтобы его нельзя было нащупать... тоже как у женщины. Подождите-ка, я вспомнил отличную историю. Позавчера доктор Ригер дал мне почитать несколько старых литературных журналов. Как это забавно, доктор, как забавно! Эта свора критиков, которые выговаривали каждое слово в убеждении, что их языком вещает история, хотя в лучшем случае все это было икотой после вчерашней пьянки. Ау! — Пена прилипла к его волосам. Он нежно массировал себе живот, не переставая говорить: — У меня о тех годах воспоминания самые горькие, хорошо еще, что судьба залепила их, словно рану, пропитанным бальзамом пластырем. Слышали вы о?.. Впрочем, оставим имена в покое. Пусть спит себе в гробу, на который я нас... — грубо засмеялся он, может, из-за того, что был наг. Ополоснувшись, взял купальный халат и заговорил спокойнее: — Я был вроде нахальнейшим созданием на свете, но, в сущности, сама неуверенность... Тогда человек подбирал себе идеологию, как галстук, из целой связки: какая поцветистее и поденжнее. Я был таким беззащитным бедолагой, а над всеми нами сиял, словно ярчайшая звезда, некий критик старшего поколения. Он писал так, как Хафиз воспевал бы паровозы. Он был плоть от плоти девятнадцатого столетия, задыхался в нашей атмосфере, ему не доставало великих. Нас, молодых, он еще не замечал. Поодиночке мы были не в счет: нужен был десяток, чтобы он поклонился. Доктор, это был любопытный тип. Просто прирожденный писатель — у него был и талант, и меткая метафора по любому поводу, и юмор, и полное отсутствие сострадания. Это самое важное: в таком случае можно описать любую грозу, глядя на нее из бездонных геологических глубин. Ни капельки волнения. Запихивать страсть во фразы — это значит загубить любую вещь. Он был такой: ради одной прицельной метафоры, если она пришла ему в голову, он был готов раздолбать любую книгу вместе с ее автором. Вы спросите: вопреки своему мнению? Вы наивны, — Секуловский с большим тщанием расчесывал влажные волосы, — сегодня я знаю совершенно точно, что он ни во что не верил. Зачем? Это были великолепные часы без одной малюсенькой шестереночки, писатель без гирьки. Ему не доставало ерунды, чтобы стать польским Конрадом, но это можно было исправить.

Секуловский надел рубашку.

— Тогда я потерял Бога. Не то чтобы перестал верить: я потерял его так, как некоторые теряют женщин, — без повода и без возможности вернуть. Я тогда страдал, мне нужно было пророчество. О, еще бы чуть-чуть, и он прикончил бы меня. Прежде всего: во что-то он все же верил. В себя. Он излучал эту веру, как некоторые женщины излучают женственность. К тому же он был до того прославлен, что всегда оказывался прав. Он прочитал несколько стихотворений, которые я принес ему, и оценил их. Мы противостояли друг другу, как мотыга и солнце. Я был острой мотыгой. — Он усмехнулся, размашисто завязывая галстук. — Он все это разложил на простейшие элементы, покопался в них и объяснил, почему они ничего не стоят. Поколебавшись, в конце концов позволил мне продолжать писать. Он мне позволил, понимаете? — Секуловский весь скривился. — Ах, это старая история. Но как подумаю, что для молодых сегодня имя его — пустой звук, испытываю наслаждение. Месть, к совершению которой никто и мизинца не приложил, которую учинила сама жизнь. Месть эта созревала медленно, как плод: не знаю ничего слаще, — и, очень собою довольный, поэт застегнул серебряные шнурки тужурки из верблюжьей шерсти.

— Вы что, думаете, никто из современников не в состоянии оценить гениального человека? Что судьба Ван Гога будет повторяться вечно?

— Откуда мне знать. Пошли в комнату, тут так жарко, дышать нечем.

— Я полагаю, что многие сумасшедшие — это непроявившиеся гении; им не хватает какой-

нибудь одной гирьки, как вы выразились. Вот, скажем, Морек...

Стефан рассказал о впадшем в идиотизм вычислителе. Секуловский зло оборвал его:

— Тоже мне гений! Прямо как ваш Паенчковский, только что на другой должности.

— Паенчковский, что бы там ни говорить, *saracitas*, величина в психиатрии... в особенности его работы по циклофрении, — возмутился Стефан.

— Да, да. Большинство ученых — как раз такие вот вычислители. Слюней, правда, не пускают, но замурованы они в своей специальности... был у меня знакомый лихенолог. Вы, может, не знаете, что это такое? — неожиданно спросил Секуловский.

— Знаю, — ответил Стефан, который и в самом деле не знал.

— Ну... такой травник, специалист по мхам и лишайникам, — тем не менее счел нужным пояснить Секуловский. — Эдакое чучело, толоконный лоб. Латыни его хватало, только чтобы классифицировать; из физиологии он знал лишь то, без чего не напишешь статьи, а о политике, кроме как со своим кучером, потолковать был не в состоянии. Когда разговор с грибов перескакивал на другие темы, он становился скучен. Наш мир кишмя кишит такими «гениальными вычислителями», они всего-навсего приспособили свои ничтожные способности к тому, что отвечает общественным потребностям, вот их и терпят. В литературе полно таких, которые, сочиняя послание прачке, оттачивают его, думая о посмертных изданиях... Ну а врачи?

Стефан попробовал уклониться от неприятной сферы врачебной практики, чтобы вытянуть из Секуловского еще какую-нибудь занятную формулу, но это кончилось грубой отповедью. Раздосадованный Стефан отправился к себе наверх.

«Только Секуловский и способен сбить меня с панталыку», — подумал без всяких к тому оснований Стефан. Ему захотелось на ком-нибудь отыграться, и он решил подслушать, что творится в его комнате. В коридоре было пустынно и темно. Он подкрался к своей двери на цыпочках: тишина. Какой-то шелест, шорохи — платье? одеяло? Потом какой-то звук, словно поршень выбило из шприца: шлепок. Затем опять полная тишина — и рыдания. Да, там кто-то плакал. Носилевская? Этого он и вообразить себе не мог. Стефан тихо постучал, а поскольку никто не ответил, постучал еще раз и вошел.

Горел только грибок на столике, заливая комнату нежно-лимонным полумраком, зеркало отбрасывало широкую полосу мягкого света на стену и кровать. Опустошенная наполовину бутылка апельсиновой настойки: добрый знак. Постель в беспорядке, словно тут пронесся торнадо, но где же Носилевская? На кровати лежал один Сташек, одетый, зарывшись головой в подушку, и плакал.

— Сташек, что произошло? Где она? — изумленно воскликнул Стефан, подбегая к кровати. Сташек зарыдал еще громче.

— Ну, говори же, говори, что случилось?

Все еще всхлипывая, Сташек повернул к Стефану распухшее, красное и зареванное лицо; лик отчаяния.

— Если тебе... если я могу... если у тебя...

— Да ты скажешь наконец? Ну!

— Не скажу! Если у тебя есть ко мне хоть капелька дружеского чувства, мы ни... мы никогда не будем говорить об этом.

— Да что же стряслось?! — закричал Стефан, в котором любопытство окончательно победило такт.

— О, я несчастный!.. — пробормотал Сташек. И вдруг заорал: — Не скажу, не говори теперь со мной! — и убежал, прижимая к груди подушечку-думку.

— Думку отдай, ненормальный! — крикнул ему вслед Стефан, но дробь шагов уже



скатывалась вниз по лестнице.

Стефан уселся в кресло, огляделся по сторонам, даже одеяло приподнял, подумав, понюхал подушку, но никаких открытий не сделал. Любопытство сжигало его, он было собрался к Носилевской, но раздумал. Может, к утру Сташек угомонится... может, по ее виду удастся что-нибудь понять... (Наверняка ничего — возразил он самому себе.)

Прошел август. На вспаханных полях, словно огромные кротовины, чернели навозные кучи. Осина под самым окном болела: ее слишком рано пожелтевшие листья покрылись черными оспинами. Застыв у окна, Стефан всматривался в голубевший, как лезвие ножа, горизонт. Частенько теперь на него накатывало какое-то оцепенение; надолго замерев в самой неудобной позе, упершись глазами в небо, он всматривался в узоры, которые рисовали пылинки, кружившие в безжизненной ясности, обрамленной оконной рамой.

Носилевская попросила Стефана заполнить за нее историю болезни новой пациентки. Ему хотелось убить время, и он согласился охотно.

Сказать, что больная была черноволосой, тощей барышней, значило бы исказить ее портрет. Она была из тех худеньких, похожих на подростков крестьянок, которые украшают платье кружевами и притягивают к себе взоры мужчин. Все очарование этой восемнадцатилетней шизофренички было в ее глазах, темных и подвижных. Руки ее постоянно находились подле лица, и ладони, трепеща пальцами, словно худенькие голуби — крыльями, присаживались то на щеки, то на крохотный подбородок. Стоило только оторвать взгляд от ее глаз, как все чары улетучивались.

Регулярный обход больных доставлял Стефану удовольствие.

Девушка тем больше привлекала его, чем сильнее он этому противился. Несчастная, трагическая любовь (трудно было от нее добиться, что же все-таки произошло) толкнула ее к бегству от злого мира, в котором она испытала столько страданий, в мир зеркальный. Ей захотелось обосноваться в собственном отражении.

Стефана она не дичилась, знала, что у него всегда с собой маленькое никелевое зеркальце. Он позволял девушке в него смотреться.

— Там так... так... так чудесно... — шептала она, и ее трепещущие пальцы без конца касались то бровей, то волос. Она не могла оторвать глаз от блестящей поверхности.

Девушка напомнила Стефану нескольких знакомых дам, жен его городских приятелей. Они умудрялись с утра до вечера просиживать перед зеркалом, часами примеряя разнообразные улыбки, изучая блеск глаз, исследуя каждую веснушку, каждую складочку, тут что-то разглаживая, там к чему-то осторожно прикасаясь, будто алхимик, колдующий над ретортой в ожидании, когда появится золото. Разумеется, болезненные навязчивости: как это он раньше об этом не подумал? Правда, это были безмозглые бабенки, но разговоры об интеллигентности всех неврастеников — просто чушь.

«Можно быть нервным идиотом, — подумал Стефан со злобой, ибо это было похоже на признание: — И я, собственно, таков».

Девушка часами просиживала в ванной, потому что там висело зеркало. Изгоняемая оттуда, она затаивалась под дверь и кидалась на каждого, кто открывал дверь, молитвенно складывала руки и просила позволения взглянуть на свое отражение. Она не пропускала ни одной никелированной поверхности.

С некоторых пор Стефана стала донимать бессонница. Он подолгу читал в постели, стараясь измучить себя, но сон не приходил, а когда наконец все-таки одолевал его, то казалось, что в комнате, за мечущейся над ночником мошкой, кто-то неподвижно стоит. Стефан знал, что никого там нет, но сон снимало как рукой, и только на рассвете, под первый зябкий щебет птиц, он погружался в беспокойную дрему.

В ночь с 29 на 30 сентября, расцвеченную крупными звездами, он заснул раньше обычного.

Вскоре неясная тревога разбудила его. За окнами тлела белесая заря. Не одеваясь, в ночном белье, Стефан подбежал к окну. На посыпанной щебенкой дороге, подходившей к самым дверям лечебницы, мурлыкали моторами две большие легковые машины в камуфляжной окраске, хорошо различимые в отражавшемся от стен свете фар. Подле дверец стояли немцы в темных касках. Из-под козырька, нависающего над воротами, вышли несколько офицеров. Один что-то прокричал. Моторы взревели, офицеры сели в машины, солдаты с обеих сторон на ходу вспрыгнули на подножки. Свет фар скользнул по клумбам, стеганул по ехавшей впереди машине — это продолжалось какое-то мгновение. Яркие пятна вырвали из мрака сидевших; Стефан увидел обнаженную голову между двумя касками и узнал ее обладателя. Столбы света уткнулись в ворота, около которых стоял ослепленный фарами вахтер с шапкой в руке. Потом моторы заревели уже на шоссе. Еще раз, на повороте дороги, свет фар вырвал из тьмы ряды на миг позеленевших деревьев, неподвижные кружева листьев; побежали плоские тени стволов, а напоследок сверкнул белизной и тотчас пропал березовый крест. От самого горизонта вновь накатила тишина, пульсировавшая, словно кровь в гигантском ухе, стрекотанием сверчков. Стефан сорвал с крючка плащ, наспех натянул его и босиком выскочил в коридор.

На первом этаже собрались все врачи; они наперебой засыпали друг друга вопросами, что-то кричали, толком ничего нельзя было разобрать. Но постепенно дело прояснилось: в лечебнице побывали эсэсовцы из летучего отряда, расположившегося сейчас в Овсяном. С собой они привозили рабочего, арестованного на подстанции; остальных разыскивали. Марглевский громогласно объявил, что с этого момента никто не должен ходить в лес, так как эсэсовцы будут его прочесывать, а с ними шутки плохи.

В больнице обыск не делали, лишь прошлись по корпусам и поговорили с Паенчковским.

— Их офицер стеком у... ударил по столу, перед которым я стоял, — рассказывал он, в лице его не было ни кровинки, под глазами круги.

Возбуждение постепенно спало, и все разошлись. Марглевский, проходя мимо Стефана, остановился, словно собираясь что-то сказать, но только зловеще покачал головой и исчез в коридоре.

Стефан так и не сомкнул глаз до самого утра. Его трясло, как в лихорадке; десятки раз он крепко зажмурился и вызывал в памяти коротенькую дачную сцену; он уже не решался, как тогда, когда наблюдал за ней, уговаривать себя, что арестованный — не Вох. У него не осталось ни малейших сомнений в том, что это его большую квадратную голову увидел он со второго этажа. Стефан изо всех сил сдерживал себя, чтобы не застонать, огромной тяжестью навалилась на него ужасающая ответственность. Испытывая неистребимое желание на кого-нибудь перевалить ее, чтобы очиститься от мучительного чувства вины, Стефан с самого утра отправился к Секуловскому, но тот не дал ему и рта раскрыть. Он был явно не в своей тарелке и, едва Стефан переступил порог, закричал:

— Вы что, не видите, я же пишу! Хорошенькое дело, опять мне надо «занимать позицию»?! Каждый делает, что умеет. Поэт — такой человек, который умеет красиво быть несчастным. Неужели вы полагаете, что после этой войны все лесные ахиллесы станут катонами? Фурии были не лучше вас, но их я понимаю, они хоть женщины по крайней мере! Да оставьте вы наконец меня в покое!

Стефан ушел как побитый. «Поделом мне!» — думал он, идя по коридору. Он готов был пожертвовать чем угодно, лишь бы заглянуть на подстанцию. Стефан понимал, что раз электричество в лечебнице есть, значит, кто-то должен быть и на подстанции; кто-то там работает — вместо Вохы; может, этот кто-то знает?..

Пытаясь укрыться от собственных мыслей, Стефан забрел в дальний угол мужского корпуса. Его внимание привлекли красноватые пятна на полу, но, приглядевшись, он понял, что

это не кровь.

Молоденький шизофреник лепил что-то из глины. Стефан долго наблюдал за его работой. Лицо юноши оставалось бесстрастным. Желтоватое и слегка перекошенное, маленькое, с резко очерченным профилем, оно походило на живую маску. Порой он прикрывал глаза и застывал — даже ресницы не вздрагивали, затем задирает голову и водил кончиками хищных пальцев по поверхности глины. Какое-то умиротворение чувствовалось в опущенных уголках его рта. Призраки больше не преследовали его, фразы разваливались у него во рту, он уже не в состоянии был достучаться до окружающих: ушел от всего. Высшая степень безразличия, какая воцаряется лишь в толпе и у людей, потерявших сознание, давала юноше возможность оставаться один на один со своей работой, — казалось, он заперт в келье. На круглом столике из плоского кружочка шины поднимался перед ним высококрылый ангел. В перьях, раздвинутых очень широко, как у задушенной птицы, чудилось, притаился ужас. Лицо ангела — готически вытянутое, прекрасное, спокойное. Низко опущенными руками — словно это вызывало у него самого отвращение — он сдавливал горло младенца.

— Что это? Как ты это назвал? — спросил юношу Стефан.

Тот молча растирал глину кончиком большого пальца. Из угла отозвался санитар, Юзеф-старший: больные обязаны отвечать докторам.

— Отвечай сейчас же, раз господин доктор спрашивает, — напомнил он, тяжело шагнув к юноше.

Юзеф не обходил больных стороной, это они уступали ему дорогу. Парень не шелохнулся.

— Я знаю, что ты можешь. Говори сейчас же, а не то эту твою куклу!.. — Он замахнулся, будто собираясь сбросить фигуру. Парень опять не шелохнулся.

— Ну-ну, — смутившись, вмешался Стефан, — не надо. Вы бы, Юзеф, сходили в дежурку и принесли бы поднос со шприцами и две ампулки скофеталя, сестра вам даст.

Ему хотелось как-то вознаградить паренька за унижение.

— Знаешь, очень красиво, — сказал Стефан, — очень красиво и странно.

Больной ссутулился, волосы прилипли к его вспотевшему лбу, под нижней губой разрасталась какая-то тень — тень презрения.

— Я этого не понимаю, но, может, когда-нибудь ты мне растолкуешь? — сказал Стефан, забыв о психиатрии.

Парень тупо уставился на перемазанные глиной пальцы.

Совсем растерявшись, Стефан неожиданно для себя самым обыденным образом протянул юноше руку.

Тот вроде бы испугался: отдернул ладонь и отступил за столик. Стефан смущенно посмотрел по сторонам — нет ли кого, кроме больных, в палате. Но тут парень стремительно и неловко перегнулся через столик, едва не свалив скульптуру, и схватил руку Тшинецкого. Не пожав, отпустил, словно его обожгло. Потом повернулся к фигурке, уже не обращая на врача внимания.

Наутро Юзеф сообщил зашедшему в палату Стефану:

— Эта глина, господин доктор, знаете, как называется?

— Что? Ах да! Ну? Ну?

— Ангел-душителъ.

— Как?

Юзеф повторил.

— Любопытно, — протянул Стефан.

— Чего уж тут любопытного. Он, подлец, кусается. — Юзеф показал красные отметины на своей огромной ручище.

Стефан удивился, он ведь знал обо всех испытанных приемах санитаров: лучше сломать больному руку, чем дать ему себя поцарапать, — таков был их девиз. Малый, вероятно, порядочно «навыкобенивал». Но видно, и получил сполна. Хотя санитаров тысячи раз учили и предупреждали, они тайком, когда врачи не видели, брали реванш и пациента, который им докучал, били мстительно, наверняка, по-мужицки, как побольнее, с умом. Колошматили через одеяло или в ванной, чтобы следов не оставалось. Стефан об этом знал и хотел строго-настрого запретить избивать паренька, но не мог: официально побои запрещены, а вмешиваться в «способы» санитаров было не в его власти.

— Видите ли... этот парень...

— С этим ангелом, что ли?

— Да... так вы... присматривайте за ним, чтобы никакой ему обиды...

Юзеф оскорбился. Он за всеми присматривает. Тогда Стефан вытащил из кармана кулак; в нем была зажата бумажка в пятьдесят злотых. Юзеф помягчал. Он понимает. Он и раньше присматривал, но теперь-то уж как за родным...

Они стояли в дверях палаты. Вокруг ходили больные, но все было так, будто они в полном одиночестве. Пока Юзеф незаметно прятал сложенную купюру, Стефан, задохнувшись от собственной решимости, изменившимся голосом проговорил:

— А вы, Юзеф, случайно не знаете, что стало с тем — ну, которого немцы прошлой ночью арестовали?.. Вы знаете...

Взгляды их встретились. У Стефана сердце готово было выскочить из груди. А Юзеф, казалось, еще ждал чего-то. В глазах промелькнула искорка любопытства, тут же загашенная ухмылкой ревностного служаки.

— Это который без уха, что на электричестве работает, Вох? Вы его знаете, господин доктор?

— Знал, — сказал Стефан, чувствуя, что отдает себя в его руки. Разговор этот отнял у него столько сил, что даже голова закружилась.

Глуповато-хитрая физиономия Юзефа расплывалась все более откровенной, все более слащавой ухмылкой. Его воловьи глаза округлились.

— Вы, господин доктор, его знали? Говорят, сам он *этого* в той яме при электричестве не держал, это крестник его, Антек. Ну, кто его знает? Ох, уж и конбинатор был, конбинатор! — повторил он, будто любуясь этим словом. — С немцами пил, делишки с ними разные обдeldывал, уж *с человеком* и слова сказать не хотел, такой *важный!* Думал, купил он немца-то, а немец — хитрый, пришел ночью и, как курицу, схватил! Сегодня на машине туда с Овсяного приезжали, два раза туда-обратно мотались — столько *этого* было! Под щебенкой все запрятано, в ящиках запаковано, что тебе товар!

— Вы, Юзеф, видели?

— Сам не видал. Где там? Люди видали. И видали, и ведали, а Вох с этим *не считался!* Ума палата! Ну, вот тебе и конбинатор.

— А с ним что?

— Почему я знаю? Вы рудзянский карьер знаете? Где раньше пруд был? Как вдоль дороги идти — через лес и направо... Там суют лопату в руки — яму копать, и над этой ямой ставят. Потом мужика на дороге изловят, чтобы, значит, закопал. Сами, вишь, *не мараются...*

Стефан, хотя и догадывался о чем-то подобном, больше того — уверен был, что иначе и не могло быть, ощутил такую ярость, такую ненависть к Юзефу, что пришлось прикрыть глаза.

— А те? — глухо спросил он.

— Пощички, что ли? Камень в воду. Ничего неизвестно. Наверное, к лесным подались. И куда это такому старому по болотам-колдобинам корячиться? Все от того, что пригляду не

было, да от глупости. Ихнее, что ли, дело-то — эта амуниция, или как там ее? — понизив голос, закончил Юзеф.

Стефан кивнул, резко повернулся и пошел к себе. Осторожно вытряхнул на ладонь таблетку люминала, затем, подумав, еще одну, проглотил обе, запив водой, и как был в белом халате, наброшенном на ночное белье, повалился на кровать.

Поздним вечером из глубокого сна его вырвал стук: с телеграммой в руках Юзеф барабанил в дверь. Тетка Скочинская сообщала, что отец тяжело заболел. Звала срочно приехать.

Стефан попросил Сташека подежурить в его отделении и без труда получил у Паенчковского отпуск на несколько дней.

— Все еще уладится, — покашливая, тряс руку Тшинецкому адъютант, — а поскольку вы уж туда едете, может, разузнаете, как там немцы?

— Простите?

— Осмотритесь там, что слышно... Такие дурные вести оттуда доходят...

— Что вы имеете в виду, господин адъютант?

— Э-э, да ничего особенного, ничего особенного, коллега.

Когда Стефан зашел к Секуловскому — вроде как попрощаться, — поэт был поглощен писанием: волосы всклокочены, казалось, они источают электричество. Зрачки подергивались; это означало, что он все глубже уходит в себя. Его громкий, металлического оттенка голос гремел на весь коридор; входя в комнату, Стефан услышал:

Сердце мое, ты — красных термитов планета,  
Паникующих в поисках собственных троп.  
Дев и столпников путь темнокудрый — я, как монета,  
Тускнею. Я гасну. Плоть теснит меня в гроб.  
Ночь, ты бесстыдно срываешь последний покров,  
Когда смерть, кровавобедрая дива, лицо мое  
Нежно ласкает: о, мой покинутый кров...

Стефан прикрыл за собой дверь, и поэт умолк. Тшинецкий рассказал о маленьком скульпторе.

— Ангел-душитель? — переспросил Секуловский. — Погодите-ка, это любопытно. Любопытно...

Аккуратно записал что-то на клочке бумаги своим ломким почерком.

— *Благоудушаемы* тихие, ибо их есть царствие небесное, — вслух прочитал он.

Потом бросил бегающий взгляд на Стефана.

— За то, что вы мне помогли немного, я вам кое-что покажу.

Он стал рыться в бумагах, беспорядочно разбросанных по одеялу.

— Мне грезится описание Земли, увиденной из другой планетной системы. Такое вот примерно вступление. — Он взял листок и начал читать: — «Матка, гноящаяся солнцами: Вселенная. В ней копошатся триллионы звездных личинок. Бурное размножение... исторгающее гарь и клубы черного порохового дыма, схватка следует за схваткой, тьма идет за тьмой», — импровизировал он, так как на листочке было всего несколько коротких фраз.

— Куда? — вырвалось у Стефана.

— Вся соль в том, что в никуда.

— Вы в это верите?

Секуловский задержал дыхание. Поднял голову; лицо его, на котором ярко полыхали глаза,

было вдохновенно и красиво.

— Нет, — сказал он, — я не верю. Я знаю.

Поездка стала для Стефана сплошным кошмаром: три обыска — искали жиры, — жандармы, толпа, дико атакующая двери и окна, темные вагоны, провонявшие перекисшим потом, клопы. В чудовищной толчее трудно было сохранять достоинство: в темноте лица не видно, а молчание воспринималось тут как капитуляция. Спустя час Стефан уже ругался, как сапожник.

Город изменился. Все улицы носят новые названия, немецкие. Патрули коваными башмаками шаркают по мостовой, звук такой, словно по ней тянут металлический невод. Над крышами домов изредка пролетают самолеты с черными крестами: небо было немецким.

Дом встретил Стефана привычным запахом вареной капусты, на втором этаже главенствовал сладковато-затхлый аромат мастерской меховщика, и это сразу разбудило память.

Завидя обшарпанную коричневую дверь своей квартиры с плоской львиной головой, вырезанной в притолоке, Стефан едва смог сдержать волнение. Дверь как дверь...

В передней — хлам, этажерки, жестянки, под потолком в свете тусклой лампочки темнели, словно чудовищные чучела каких-то животных, модели непостроенных отцовских приборов; они громоздились на полках, затянутых пушистой сеткой паутины. Мать, как тут же известила его драматическим шепотом тетушка Скочинская, уже месяц живет в деревне, здесь денег на хозяйство не хватает. Тетка, еще не закрыв двери, обняла его, и он утонул в ее пропахшем нафталином бюсте. Она чмокнула его, оросила слезинкой и втокнула в столовую — отведать хлеба с вареньем и чаем.

Переставляя с места на место баночки с наклейками, она говорила о растущих ценах на жиры, о каком-то адвокате и лишь много времени спустя упомянула об отце. С нескрываемым наслаждением принялась в подробностях описывать события последних месяцев. Нарисовала портрет непризнанного, несчастливое гения, истерзанного болезнью почек и сердца. Она, единственная во всем свете, хоть и дальняя только родня, позаботилась о великом изобретателе. «Твой отец», — повторяла она, и опять: «твой отец», — так что в конце концов Стефан даже начал подозревать, что она хочет уколоть его и укорить за черствость. Но у нее и в мыслях не было ничего подобного. Просто она всем сердцем ему сочувствовала. Когда-то она была красива. Стефан в свое время чуточку влюбился в фотографию, которую стянул со стены в ее кабинете. Теперь избытки жира затопили остатки былой красоты.

Когда он поел и умылся, его наконец допустили в спальню.

Тетушка взяла на себя роль посла; несколько раз входила туда и на цыпочках возвращалась обратно. При этом она размахивала руками — казалось, отталкиваясь веслами от сопротивляющегося воздуха. Настроение создалось торжественное. «Прямо-таки возвращение блудного сына», — подумал Стефан и вошел, почему-то тоже на цыпочках; в воображении его рисовались какие-то эскизы коричневатого Рембрандта.

Сразу бросилось в глаза, что мамина коллекция фикусов, аспарагусов и иной растительности безжалостно задвинута в самый темный угол комнаты. Отец лежал в постели, натянув на подбородок одеяло. И лишь лимонного цвета руки слабо сжимали его край искривленными пальцами — они напоминали мертвые, уродливые украшения.

— Как себя чувствуешь, папа? — с трудом выдавил из себя Стефан.

Отец промолчал. Стефан смешался, ему захотелось вежливо и быстро покончить с визитом. Мелькнула мысль, что было бы хорошо, если бы отец сейчас умер: место действия в лучших патетических тонах, «у одра»; сам он опустится на колени и пробормочет какую-нибудь молитву, а затем можно и уезжать. Это намного бы все упростило. Но отец не умирал.

Напротив, приподнялся на постели и попытался что-то сказать — заговорил поначалу шепотом, но потом голос его окреп: «Стефек, Стефек», — повторил он несколько раз, «Стефек», — сперва это прозвучало недоверчиво, потом радостно.

— Я слышал, отец, что ты чувствуешь, себя неплохо, и так перепугался, когда получил телеграмму, — солгал он.

— Э-э, чего там.

Отец пытался подняться, надо было ему помочь; Стефан оказался совершенным неумехой. Под своими пальцами он обнаружил тоненькие кости, дужки ребер, выпиравшие наружу, ощутил угасающую теплоту, удержать которую пыталось это тощее, беспомощное тело.

— У тебя болит что-нибудь? — спросил Стефан с удивившей его самого нежностью.

— Садись на кровать. Садись, — повторил отец, уже немного раздражаясь.

Стефан послушно присел на самый краешек; было очень неудобно, но трогательно. О чем теперь говорить?

Он помнил только одно выражение отцовского лица: бесконечно отрешенный взгляд в какой-то иной мир, в котором строились его приборы. Руки у него постоянно были в ссадинах от проволоки, изрезанные, обожженные кислотой или вымазанные краской экзотических цветов. Теперь все это с них сошло. В темных, толстых жилах под веснушчатой кожей рук слабо подрагивала собиравшаяся покинуть его жизнь.

Горькое откровение для Стефана.

— Я устал ужасно, — сказал отец. — Лучше бы уснуть и больше не просыпаться.

— Папа, ну, как же можно, — возмутился Стефан. А сам подумал: к чему стремится вот это тело и вот эта голова, в которой мозг чуть ли не перекачивается, как высохший орех в скорлупе? Вот суставы — скрипящие, проржавевшие петли, легкие — астматически хрипящие меха, сердце — барахлящий, разбитый насос. Убожество строительного материала предопределяло и формы ветшающей трущобы, жилец которой с ужасом замечает, что она готова обрушиться ему на голову. Он вспомнил стихотворение Секуловского. Вот именно, плоть нас и убивает, тело послушно только одним законам: природы — но не воли.

— Может, съешь чего-нибудь, папа? — неуверенно спросил Стефан, напуганный легкостью руки, которая поглаживала его лежавшую на одеяле кисть. И сам устыдился своих слов, так это глупо вышло.

— Я ничего не ем. Мне не нужно. Я столько хотел тебе сказать, но так сразу... по правде говоря, я всю ночь обдумывал. Даже и спать уже не могу, — пожаловался он.

— Так я сейчас... сейчас выпишу тебе. — Стефан полез в карман за бланками рецептов. — И вообще, отец, кто тебя лечит? Марцинкевич?

— Оставь это, оставь. Да, лечит. Теперь уже все равно. — Он уткнулся в подушку. — Этот час, Стефан, настает для каждого. Когда нет большей заботы — только чтобы какая-нибудь жилка в мозгу не лопнула. Это глупо, но не хотелось бы умереть в одночасье. Если бы знать наперед. Но это бессмыслица.

Ладонь, поглаживавшая его руку, замерла, словно в нерешительности.

— Мы так плохо друг друга знаем. У меня никогда не бывало времени. Теперь я вижу, что, в сущности, все равно: те, кто торопится, и те, у кого есть время, приходят в одно и то же место. Никогда не жалей, не жалей. — И, помолчав, добавил: — Никогда не жалей, что был тут, а не там, что мог сделать, а не сделал. Не верь этому. Не сделал, значит, не мог. Во всем свой смысл только потому, что все кончается. Видишь: всегда и везде — это ведь то же самое, что никогда и нигде. Не жалей, запомни это!

Отец опять замолчал, задышал труднее, чем прежде.

— Я, собственно, не то хотел тебе сказать. Но меня уже и собственная голова не слушается.



— Я бы дал тебе, папа... не знаю, ты какие лекарства принимаешь?

— Колят меня иголками, колят, — сказал отец, — не беспокойся. Ты на меня в обиде, да? Скажи!

— Но...

— Давай теперь не лгать друг другу, ладно? Я знаю, ты обижаешься. Никогда не было времени. Впрочем, мы чужими были. Видишь ли, мне никогда не хотелось отказываться от самого себя, наверное, я не любил тебя, иначе бы это... впрочем, не знаю. А тебе хорошо, Стефан?

Стефан не знал, что ответить.

— Я не спрашиваю тебя, счастлив ли ты. О том, что счастлив, человек узнает только после, когда это проходит. Человек живет переменой. Скажи, девушка у тебя есть? Может, жениться надумал?

У Стефана перехватило горло. «Вот человек, он умирает, он мне почти чужой, но думает обо мне. А я, сумел бы я так?» — и на этот вопрос Стефан не нашел ответа.

— Молчишь? Значит, есть?

Не глядя на отца, Стефан отрицательно покачал головой. У отца глаза были голубые, налитые кровью, но главное — исстрадавшиеся.

— Да, тут советами не поможешь. Но я вот что тебе скажу: мы, Тшинецкие, такие люди, которым женщины необходимы. В одиночку мы сами с собой не справимся. Человек, чтобы ему чисто жить, и сам должен быть чистым. Ты всегда был строптивым, может, я и нехорошо делаю, что так говорю. Но ты не умел прощать, а в этом, в сущности, все, больше ничего и не надо. Не знаю, научишься ли. Во всяком случае, от женщины не стоит требовать ни красоты, ни ума... Только мягкости. Чувства. Остальное приложится. А без мягкости... — Он прикрыл глаза. — ... Ничего они не стоят... А это так легко... — И очень сильным, давнишним голосом заключил: — Можешь все позабыть; как хочешь. Не слушать советов — это тоже мудрость. Но ничьих, помни. А теперь... что я тебе хотел сказать?.. В столе три конверта.

Тут Стефан удивился.

— А в нижнем тайнике, — зашептал отец, — есть такой рулон, перевязанный красной ленточкой, там чертеж моего пневмомотора. Вся схема. Слышишь? Запомни это. Как только немцы уйдут, отнеси Фронцковяку, надо будет сделать модель. Он знает как.

— Но, папочка, — возразил Стефан, — ты распоряжаешься так... так... вроде как завещание делаешь. Но ты ведь хорошо себя чувствуешь, правда?

— Ну да, но когда-нибудь я не буду себя хорошо чувствовать, — раздраженно сказал отец. Ему уже не нужны были утешения. — Этот пневмомотор — удача. Поверь мне. Я знаю, что говорю. Так вот, возьми это, а лучше бы, если бы сейчас прямо забрал, сейчас.

Он вытянул свою лимонного цвета, дряблую шею и горячо зашептал:

— Тетка Меля невыносима. Не-воз-можна! — Он как бы подчеркнул это слово. — Я ей ни на грош не верю. Забери это сейчас же, я дам тебе ключи.

Он едва не свалился с кровати, силясь стянуть со стула брюки. В карманах брюк они вдвоем — вытащив оттуда сначала грязный платок, мотки проволоки и клещи — отыскали связку ключей. Поднеся их к самым глазам, отец снял с колечка маленький английский ключик и вручил его Стефану. Когда тот возвратился из кабинета, отец дремал. Открыл глаза:

— Что? Это ты? Ну, взял?

Потом долго вглядывался в Стефана, будто что-то вспоминая, наконец сказал:

— Для твоей матери я был нехорош. Она ничего не знает, что я вот... я не хотел... — И, немного погодя, прибавил: — Но ты... помни. Помни!

Стефан был уже в дверях, когда отец неожиданно спросил:

— Придешь еще?

— Да ведь я, папочка, не уезжаю, мне надо по делам, я вернусь к обеду.

Отец откинулся на подушку.

Кабинет доктора Марцинкевича сверкал стеклом и белизной — солюкс, три кварцевые лампы, все это, по-видимому, имело определенную связь с выселением врачей-евреев в гетто. Через каждые три слова он величал Стефана коллегой, но чувствовалось, что всерьез его не принимает. Оба искренне презирали друг друга. Марцинкевич без обиняков сообщил Стефану, что отец в очень тяжелом состоянии: камни — это чепуха, но вот грудная жаба, правда, нетипичная, так как боли слабые и не отдающиеся, однако изменения в коронарном кровообращении сулят самое худшее. Он разгладил на полированной столешнице электрокардиограмму и начал было что-то объяснять, но Стефан резким движением руки прервал его. Однако на прощание повел себя вежливо, попросив позаботиться об отце. От денег Марцинкевич отказался, но так мягко, что Стефан оставил их на столе. Он не успел выйти из кабинета, как деньги уже исчезли в ящике стола. Стефан заглянул в несколько книжных лавок в поисках «Гаргантюа и Пантагрюэля». Ему давно пришлось по вкусу эта книга, а теперь, когда завелись деньги, захотелось купить ее в переводе Боя. Но найти ее нигде не мог: с книгами было плохо. Наконец ему повезло — у букиниста. По старому знакомству Стефан приобрел у него и несколько учебников, которые продавали только немцам, и последний номер немецкого медицинского журнала для Пайпака. Пачка оказалась довольно тяжелой, и возвращаться Стефан решил на трамвае. Подошел набитый битком вагон, за запотевшими окнами подрагивали, словно рыбки в аквариуме, фигуры людей. Свободной рукой (в другой была пачка книг) Стефан уцепился за поручень. Вскочил на подножку, но тут кто-то крепко и сноровисто схватил его за шиворот и стал стягивать на мостовую. Чтобы не упасть, Стефан соскочил с подножки. Прямо перед собой он увидел молодое, хорошо выбритое лицо немца в черном мундире, который бесцеремонно оттолкнул его локтем, а когда ошеломленный и растерявшийся Стефан попытался влезть в трамвай вслед за ним, другой немец, видимо, приятель первого, грубо отпихнул его.

— Mein Herr! — воскликнул Стефан и тут же получил тупой, не очень болезненный пинок: немец до блеска начищенным сапогом ткнул его в ягодицу. Трамвай зазвонил и отошел.

Стефан остался торчать на мостовой. Несколько прохожих остановились неподалеку. Он еще больше смутился и, сделав вид, будто что-то заинтересовало его на противоположной стороне улицы, не стал дожидаться следующего и отправился в обратный путь пешком. Это происшествие настолько выбило его из равновесия, что он отказался от мысли навестить университетского приятеля и, сопровождаемый неумолчным сухим шелестом листьев, двинулся к дому.

Отец сидел в кровати и, чавкая, с большим тщанием выскребал с алюминиевой сковородки остатки яичницы. Стефан, еще не остыв от возбуждения, рассказал о своем приключении.

— Да, да. Они такие. Volk der Dichter,<sup>[28]</sup> — заметил отец. — Ну что поделаешь. Вот она, их молодежь. До сентября<sup>[29]</sup> я переписывался с Феллигером — помнишь, это фирма, которая интересовалась моей машиной для глаженья галстуков. Потом он вообще перестал отвечать. Хорошо еще, я чертежей ему не отослал. Охамели. Все мы теперь, впрочем, хамеем.

Он вдруг скривился и заорал во все горло:

— Меля! Ме-е-ля-я!

Стефан вздрогнул от неожиданности, но тут же послышались шаркающие шаги, в дверь просунулось лицо тетушки.

— Дай мне еще немного селедки, но чтобы луку было побольше. Может, и ты съешь,

Стефан?

— Нет... нет!

Стефан был очень разочарован. Выходя от Марцинкевича, он предвкушал новую встречу с отцом, еще более сердечную, чем первая, а старик все разрушил своим аппетитом.

— Папа... мне, собственно, надо уже сегодня вернуться.

Он стал описывать сложные взаимоотношения в больнице, из его слов вытекало, что на нем лежит большая ответственность.

— Смотри-ка... смотри... — протянул отец, стараясь подцепить соскальзывающий с тарелки кусочек селедки. Поймал его на вилку, отправил в рот еще и большой кусок белой булки и закончил: — Ты бы там очень не встревал. Я ничего не знаю, но после этой истории в Колюхове...

— Какой истории? — Стефан насторожился; название это он слышал.

— Не знаешь? — удивился отец, вычищая тарелку мякишем. — Там ведь сумасшедший дом... то есть лечебница, — поправился он, исподлобья взглянув на сына — не обиделся ли тот.

— Да, маленькая частная лечебница; так что там произошло?

— Немцы забрали здание под военный госпиталь, а всех сума... больных увезли. Говорят, в лагерь.

— Что ты говоришь? — недоверчиво протянул Стефан. В портфеле у него лежал новый немецкий труд по лечению паранойи, изданный уже во время войны.

— Ну, не знаю. Так говорят. Однако вот что, Стефан! Смотри, пожалуйста, как у меня это из головы вылетело! Я тебе сразу хотел рассказать. Дядя Анзельм сердится на нас.

— И за что же? — неприязненно спросил Стефан. Это его мало трогало.

— Целый год живешь под боком у Ксаверия, а ни разу к нему не заехал.

— Так это дядя Ксаверий должен сердиться, а не дядя Анзельм.

— Угомонись. Ты же знаешь Анзельма. Не надо его против себя восстанавливать. Ну, сходил бы туда разок. Ксаверий тебя любит, правда, любит.

— Хорошо, отец, я схожу.

Когда они прощались, отца уже занимали только его последние изобретения. Это была икра из сои и котлеты из перемолотых листьев.

— Хлорофилл очень полезен. Подумай, ведь есть деревья, которые живут шестьсот лет! Безо всякого мяса, но с моим экстрактом — я тебе скажу — котлеты изумительные! Как жаль, что последнюю я съел вчера. Эта глупая Меля дала тебе телеграмму...

Стефан узнал, что поводом к отсылке телеграммы послужило неожиданное обострение отношений между отцом и теткой, которая решила покинуть этот дом. Однако еще до приезда Стефана они помирились.

— Я бы тебе дал баночку моей икры. Знаешь, как она делается? Сначала варишь сою, потом подкрашиваешь углем, *carbo animalis*, ты в этом и сам разбираешься, а затем добавляешь соли и моего экстракта...

— Того самого, что для котлет? — с серьезной миной спросил Стефан.

— Еще чего! Другого, специального, ну и для вкуса подливаешь оливкового масла. Был тут один еврейчик, обещал привезти целую бочку, но его забрали в лагерь...

Стефан поцеловал руку отца и собрался было уходить.

— Подожди, подожди. Я тебе еще про котлеты не рассказал.

«Совсем старичок из ума выживает», — подумал Стефан; ему жаль было отца, но того волнения, которое охватило его утром, он уже не испытывал.

Позабыв о немцах и оккупации, Стефан шел на вокзал, рассчитывая сегодня же вернуться в лечебницу. Это оказалось делом невозможным: страшная давка, гвалт, беготня. Люди, как

черви, заползали в окна вагонов, какой-то огромный бородач, забаррикадировавшись в клозете, втаскивал через окно раздутые чемоданы; устраивались даже на крышах. Стефан не дозрел еще до таких способов путешествия. Тщетно пытался он попасть в вагон, доказывая, что ему надо ехать в Бежинец. Ему советовали пуститься за поездом бегом. Не зная, что предпринять, он уже собрался вернуться к отцу, но тут кто-то потянул его за рукав. Незнакомец в засаленной кепке и клетчатой, сшитой из одеяла куртке.

— Вы в Бежинец?

— Да.

— У вас что, билета нет?

— Нет.

— Может, вместе что придумаем, но надо подмазать.

— О, я охотно... — начал было Стефан, но незнакомец уже исчез в толпе и вскоре вернулся с кондуктором, которого цепко придерживал за локоть.

— Дадите ему злотый... ну, значит, сотню... — втолковывал он изумленному Стефану. Тшинецкий дал, кондуктор раскрыл блокнотик, подложил полученную бумажку к другим таким же, поплюнил пальцы, отер их о лацканы и вытащил из кармана железнодорожный ключ. Они двинулись за кондуктором, пролезли под вагоном на другую сторону поезда и спустя минуту уже сидели в крохотном купе.

— Счастливого пути, — вежливо напутствовал их кондуктор, пошевелил усами, приложил руку к фуражке и пошел восвояси.

— Я вам очень признателен, — начал было Стефан, но спутник, оказалось, внезапно потерял к нему всякий интерес и отвернулся к окну.

Смуглое, не старое, а, пожалуй, потрепанное лицо с ввалившимся ртом и тоненькой полоской губ. Когда незнакомец скинул и повесил на крючок куртку, Стефану бросились в глаза его руки — большие, тяжелые, с пальцами, которые словно бы привыкли захватывать предметы неправильной формы. Толстые, мутные, как слюдяные пластинки, ногти. Натянув кепку на самые глаза, он как-то вжался в угол. Поезд тронулся. В купе оставалось места по меньшей мере для двоих — люди, теснившиеся в коридоре, прекрасно это видели. Лица их посуровели. На дверь навалился элегантный мужчина с нежной, пухлой, казалось, вечно влажной физиономией. Он непрерывно дергал ручку, барабанил по стеклу и проделывал это все решительнее. Наконец перешел на крик, а поскольку через дверь услышать его было нельзя, вытащил какую-то справку с немецкой печатью и продемонстрировал ее, приложив к стеклу.

— Немедленно откройте! — вопил он.

Сотоварищ Стефана какое-то время делал вид, что ничего не замечает, потом вскочил на ноги и заорал в дверь:

— Молчать! Это служебное купе, подонки!

Тот еще поворчал, пытаясь сохранить достоинство, и смирился. Путешествие обошлось без приключений. Когда за окном побежали, наскакивая друг на друга холмы, предвещавшие приближение Бежинца, незнакомец встал и натянул куртку. Пола ее скользнула по деревянной переборке, послышался глухой, металлический стук. Стефан этому немного удивился, но не более того. Повизгивая колесами на крутом повороте, поезд подкатил к пустому перрону. Заскрежетали тормоза. Стефан и незнакомец соскочили на щебенку. За их спинами тяжело засопел паровоз, одолевая подъем. Они прошли через проем в железной ограде. Миновали вокзальчик, и во всей торжественной красе раскинулась перед ними осень. Прикрыв глаза, Стефан посмотрел на солнце, любовался радугой, скользнувшей по кончикам ресниц, и, все еще жмурясь — от этого под веками плясали красные огоньки, — зашагал к лечебнице.

Незнакомец шел рядом, не произнося ни слова. Городок остался позади, они свернули в

овраг; спутник Стефана, казалось, был в некоторой нерешительности.

— Вы в лечебницу? — удивленно спросил Стефан.

Тот помолчал, потом ответил:

— Э-э, нет. Так, проветриться захотелось.

Они прошли еще с полкилометра. Когда овраг кончился и показалась стена деревьев, за которой был пока еще невидимый кирпичный домик, Стефана осенило.

— Послушайте... — забормотал он.

Незнакомец остановился как вкопанный, взглянул ему в глаза.

— Вы, может, на подстанцию, а?.. Я... вы не отвечайте... Пожалуйста, не ходите туда!

Незнакомец испытующе посмотрел на Стефана — не то насмешливо, не то недоверчиво; на губах его заиграла кривая усмешка, в узеньких щелках глаз неподвижно застыли зрачки. Он так и не произнес ни слова, но не уходил.

— Там сейчас немцы... — срывающимся голосом выпалил Стефан. — Не ходите туда! Они... взяли Воха. Арестовали его. Вроде бы... вроде бы... — Стефан осекся.

— Кто вы такой? — спросил незнакомец. Лицо его посерело, окаменело, он сунул руку в карман, и слабая улыбка, которая все еще блуждала у него на губах, превратилась в холодную ухмылку.

— Я врач из лечебницы. Я его знал...

Стефан осекся.

— На подстанции немцы? — переспросил незнакомец. Он выдавливал из себя слова, словно человек, который тащит неподъемную тяжесть. — Ну, меня это вовсе не касается... — добавил он, растягивая слова. Было заметно, что он мучительно обдумывает что-то. Однако быстро овладел собой и, приблизив лицо к лицу Стефана, обдал его дыханием и резко спросил: — А те?

— Пощички? — торопливо подхватил Стефан. — Убежали. Немцы их не поймали. Они в лесу, у партизан. То есть я так слышал.

Незнакомец поглядел по сторонам, схватил его за руку, сильно, до боли пожал и пошел прочь.

Не дойдя до поворота дороги, он взобрался по склону на холм и исчез в лесу. Тшинецкий облегченно вздохнул и по тропинке, вившейся, по откосу холма, пошел к лечебнице. У каменной арки обернулся и посмотрел вниз, на поля, взглядом ища своего спутника. Поначалу он принимал за него стволы, темневшие в море лимонных и огненно-рыжих листьев. Потом увидел. Незнакомец был далеко, он застыл на месте — черное пятно в безбрежном, безветренном пространстве. Так продолжалось всего миг; незнакомец наклонился и исчез между деревьями; больше он не показывался.

У дверей мужского корпуса стоял — редкое явление в саду — Паенчковский; рядом с ним — ксендз Незглоба. Ксендз уже несколько недель чувствовал себя совсем хорошо и, собственно, мог бы возвращаться к исполнению пастырских обязанностей, но до Нового года он еще числился в епархии отпусником. К тому же, как он сам признался, ему не хотелось проводить со своими прихожанами Рождество.

— Смех да и только, — рассказывал он, — но у нас любой обидится, если с ним не выпьешь. И на Новый год так, и на Пасху, с освящением-то, это уж всего хуже. Сейчас мне нельзя, но разве они уважат болезнь? Мне не отбиться. Лучше уж посижу здесь, если вы, господин профессор (так он титуловал Пайпака), меня не прогоните.

Старый адъютант питал к церкви слабость. Только из-за этого несколько лет назад не удавалось уволить двух сестер милосердия, славившихся немилосердным отношением к больным: тогда одна пациентка скончалась от ожогов, полученных в ванной, и в лечебницу

даже приезжала комиссия из министерства. Вскоре, правда, они ушли сами — втайне от всех Паенчковский заставил их это сделать. Так, по крайней мере, эту историю передавали.

Ксендз уговаривал Паенчковского позволить в ближайшее воскресенье отслужить мессу в маленькой часовне, которая стояла в саду, у северной стены, окружавшей лечебницу. Он уже разузнал в приходской канцелярии, что можно, что никаких препятствий к тому нет, уже позаботился обо всем необходимом и только просил «господина профессора» дать формальное разрешение. Пайпак страдал, ему-то хотелось, но он стыдился коллег. Известное дело: богослужение в сумасшедшем доме — это же чуть ли не издевка. Если бы только для персонала, но ксендз полагал, что пациенты — те, что поздоровее, — могли бы...

В конце концов Паенчковский, на лбу которого выступила испарина, согласился и тут же успокоился. Потоптался на месте, что-то вспомнил и, извинившись, ушел. Тут и объявился Стефан.

— Вы, отец, больше уже не видите княжны? — спросил он, оглядывая запущенный сад. Деревья, постоянно обдуваемые ветром, теряли здесь листья раньше, чем в долине. Он поначалу и не сообразил, что мог своим вопросом больно обидеть ксендза.

— Рассудок мой, дорогой господин доктор, — проговорил ксендз, — я уподобил бы музыкальному инструменту, в котором фальшивили несколько струн... Вот душа, этот удивительный артист, и не могла исполнить нужной мелодии. Теперь же, когда вы, господа, меня исцелили, я совершенно здоров и преисполнен благодарности.

— Одним словом, вы уподобляете нас настройщикам, — заметил Стефан и улыбнулся про себя, но лицо его оставалось серьезным. — Можно и так. Кажется, какой-то богослов девятнадцатого века говаривал, что телодендрии, то есть окончания нервных клеток, погружены в мировой эфир... Жаль только, что мировой эфир уже ликвидирован физикой.

— Еще недавно я не слышал в вашем голосе подобных ноток, — печально заметил ксендз. — Прошу простить бесцеремонность бывшего пациента, но представляется мне, что господин Секуловский всегда воздействовал на вас, господин доктор, словно... польнь. Вы по природе так добросердечны, а повидаетесь с ним, и начинают посещать вас какие-то горькие мысли, и, я в этом уверен, вам совершенно чуждые...

— Я — добросердечный? — Стефан усмехнулся. — Такие комплименты жизнь мне отпускала вообще-то скупо, вот только вы, отец...

— Но в воскресенье вы придете? Я бы оставил на ваше усмотрение, кому из больных можно принять участие в мессе. С одной стороны, мне хотелось бы, чтобы их было как можно больше, ведь уже столько лет... но с другой... — Он не решился продолжать.

— Я понимаю, — сказал Стефан. — Мне, однако, кажется, что это неуместно.

— Как так? — Ксендз явно опешил. — Вы полагаете, что?..

— Я полагаю, что есть такие места, где даже Бог может себя скомпрометировать.

Ксендз опустил голову.

— А ведь и вправду. Увы, я хорошо знаю, что не хватает мне нужных слов, что я — обыкновеннейший сельский священник. Сознаюсь: когда я учился, мечтой моей было встретиться с каким-нибудь неверующим и сильным духом. Чтобы обуздать его и повести...

— Как это — обуздать? Вы как-то чудно говорите.

— Я имел в виду обуздание любовью, но это было грехом. Только потом я понял: грехом гордыни. И затем уж узнал много иных вещей, которым учит жизнь среди людей. Я хорошо понимаю, сколь малого я стою. У каждого врача целая батарея аргументов, которыми он сумеет стереть с лица земли мою священническую премудрость...

Стефану наскучил этот сентиментальный и напыщенный разговор. Он огляделся. Больные стекались по аллеям к корпусу — близилась обеденная пора.

— Пусть это останется между нами, — проговорил он и взмахнул рукой, словно благословляя. — Вы знаете, что мы столь же строго храним тайну, как и вы, — если не принимать во внимание небеса... Вот вы, отец, вы никогда не сомневались?

— Как мне отвечать, господин доктор?

— Хотелось бы услышать правду.

— Прошу меня простить, но, кажется, вы не часто заглядываете в Евангелие. Прочитайте-ка у святого Матфея — глава 27, стих 46. Не однажды то были и мои слова.

Ксендз ушел. Сад почти опустел. Вишневые пятна халатов ползли так размеренно, словно невидимая сила вычесывала их из припорошенного золотом сада. Последним, дымя папиросой, прошествовал санитар. Стефан поплелся за ним. Проходя мимо кустов запущенной сирени, увидел присевшего на корточки человека. Хотел было позвать сестру, но удержался. Больной, низко наклонившись над клумбой, рукой, которая вроде бы плохо его слушалась, нежно поглаживал серебристую траву.

Стефан возвращался с прогулки. Канавы по обе стороны дороги были доверху забиты пушистым золотом, словно пробежавший тут мул Али-Бабы порастряс целые мешки цехинов. В сером небе прямо над головой полыхал каштан; он напомнил Стефану потрескавшиеся медные лады. А вдали ржавел лес. Стефан шел, под ногами шелестел толстенный ковер из листьев, цвет их менялся — от желтого до коричневого, — но основой все же оставался пурпур; это походило на разные инструментовки одной мелодии. Аллея, заворачивавшая здесь и устремлявшаяся вниз, тлела апельсиновым жаром. Убегавшие за горизонт фруктовые сады увядали. Ветер гнал шершавые облака листьев сквозь кавалькады стволов. Все это многоцветье еще стояло у Стефана перед глазами, когда он вошел в библиотеку забрать оставленную там книгу.

Около телефона, висящего на стене, стоял Пайпак, он так сильно прижимал трубку к уху, что оно побелело. Он почти ничего не говорил. Только поддакивал:

— Да... да... да... да... да...

Потом горячо поблагодарил и обеими руками повесил трубку.

Уцепился за аппарат. Стефан бросился к нему.

— Послушайте... милый вы мой... дорогой... — зашептал Паенчковский.

Стефану стало его жаль.

— Вам плохо, господин адъюнкт? Может, дать вам корамина? Я сбегаю в аптеку...

— Это не то... это не я... — забормотал старик. Выпрямился и, словно слепец, держась за стену, побрел к окну.

Красная осень, напоенная запахами тления, вся в золотисто-темных крапинках листьев, накатывала на окно, будто морской прилив.

— Видите? Конец, — проговорил Паенчковский. — Конец, — повторил он еще раз.

Его седенькая головка свалилась на грудь.

— Пойду к профессору. Да, пойду. Который час?

— Пять.

— Значит, наверное, у... себя.

Профессор был у себя всегда.

Обернувшись, Паенчковский как будто только теперь заметил Тшинецкого.

— А вы... вы пойдете со мной.

— Я?.. Зачем? Что случилось, господин адъюнкт?

— Пока ничего. И Бог этого не допустит. Нет, нет, не допустит. А мы сделаем... Вы пойдете, будете вроде как свидетелем. Да и мне легче будет говорить: вы же понимаете — его магнифициция!.. [\[31\]](#)

Слово это сверкнуло искоркой робкого юмора, но искорка тотчас же и погасла.

Заглянуть в общую палату, в квартиру кого-нибудь из врачей или пойти к профессору — разница громадная. Дверь обыкновенная, белая, как у всех. Паенчковский постучал так предупредительно, что его не услышали. Он подождал и попробовал еще раз, погромче. Стефан хотел постучать сам, но адъюнкт опасно оттеснил его: не умеешь, все испортишь...

— Прошу!

Мощный голос. Он еще не успел умолкнуть, а они уже открыли дверь, вошли.

В лучах заходящего солнца знакомая Стефану комната выглядела необычно. Солнце придало стенам огненный колорит. Комната, казалось, полыхала, она напоминала пещеру льва. Старое золото горело на корешках книг, все это походило на какую-то удивительную интарсию! [\[32\]](#) Под темным лаком буфета и полок солнце, как волшебник, высвечивало красное



дереву. Яркие пятна рябили на всех деревянных предметах в комнате, словно на поверхности воды; искрились волосы на голове профессора, который — как всегда, за столом, над каким-то толстым томом, в кресле, распахнутом, будто книга, — устремил неподвижный взгляд на Пайпака и Стефана.

Паенчковский с трудом продрался через несколько вступительных фраз: что извиняется, знает, что помешал, но *vis maior*<sup>[33]</sup> — это важно для всех. Наконец добрался до сути дела:

— Мне, ваша магнифициция, звонил Кочерба... бежинецкий аптекарь. Так вот, сегодня утром в Бежинец приехала рота немцев и полицейских-гайдамаков. Значит, украинцев. Им велено молчать, но кто-то проболтался: они прибыли ликвидировать нашу больницу.

И Пайпак сразу весь как-то съежился, только выставил вперед свой крючковатый нос: я кончил.

Профессор как человек науки поставил под сомнение достоверность информации аптекаря. За него вступился Паенчковский.

— Он человек надежный, ваша магнифициция. Он тут тридцать лет. Вас, господин профессор, помнит еще со времен слуги Ольгерда. Ваша магнифициция его не знает, он ведь человек маленький, — и Паенчковский показал рукой, опустив ее к самому полу, какой именно маленький. — Но человек порядочный.

Адьюнкт вздохнул и продолжал:

— Так вот, ваша магнифициция: это такое страшное известие, что и верить не хочется. Но наш, то есть мой, долг состоит в том, чтобы как раз поверить.

Тут начиналось для него самое трудное. С виду такой покорный и растерянный, он на самом деле прекрасно видел, как холодно его принимают: профессор даже не предложил сесть. Два кресла перед столом были пусты — два островка тени в золотистых облачках солнечных бликов. А профессор положил свою тяжелую, узловатую руку на книгу и выжидал. Это означало, что вся сцена представляет собой лишь интермедию, эпизод, предваряющий действие куда более важное, смысл которого пришедшие сюда понять не в состоянии.

— Я узнал, ваша магнифициция, что к этим солдафонам в качестве начальника приставлен немецкий психиатр. Стало быть, вроде как коллега. Доктор Тиссдорф.

Паенчковский смолк. Профессор не отозвался ни звуком, только слегка сдвинул брови, словно седые молнии: «не слышал», «не знаю».

— Да, это молодой человек. Эсэсовец. И, насколько я понимаю, предприятие это неблагодарное — но что еще остается? Надо пойти к нему, в Бежинец, еще сегодня, ваша магнифициция, ибо как раз, как раз завтра... — говорил он, и голос его набирал силу. — Немцы уведомили сегодня магистра Петшиковского, старосту, что завтра утром им понадобится сорок человек — дорожная повинность.

— Это известие... оно для меня не совсем неожиданно, — быстро проговорил профессор, и было странно, что такой великий человек может говорить так тихо. — Я ожидал его, быть может, не в такой форме, после статьи Розеггера... Вы ведь помните, коллега?

Пайпак подобострастно подтвердил: он помнит, он слушает и внимает.

— Однако же я не знаю, какова здесь моя роль? — продолжал профессор. — Насколько я разбираюсь в этом деле, ни персоналу, ни врачам ничего не угрожает. Ну а больные...

Этого ему говорить не следовало. Обычно подбирающий слова задолго до того, как их надо будет произнести, профессор на сей раз не успел их обдумать. Паенчковский внешне ничем себя не выдал, оставался таким же, как обычно (никакой не титан, голубок да и только), но, когда он оперся о стол, его тощая рука, рука старца, преобразилась — она больше не дрожала.

— Времена теперь такие, — сказал он, — что жизнь человеческая обесценивается. Времена страшные, но пока еще имя вашей магнифициции могло бы, словно щитом, прикрыть этот дом

и спасти жизнь ста восьмидесяти несчастных.

Правая рука профессора, прятая до сих пор под столом, словно кто-то, не принимающий участия в дискуссии, вмешалась теперь в нее: твердым, горизонтальным движением дала знак молчать.

— Я ведь не руководитель этого заведения, — заговорил профессор. — Меня нет даже в списках сотрудников, я не состою в штате, вообще нахожусь здесь неофициально, и, как полагаю, и я, и вы, мы можем из-за этого иметь серьезные неприятности. Однако же, если вы того пожелаете, я останусь. Что же касается заступничества — мои заслуги, ежели таковые и есть, уже были признаны «ими» в Варшаве; вы знаете, каким образом. Молодой, дикий ариец, который, как вы, коллега, говорите, намеревается завтра истребить наших больных, несомненно, получил приказ властей, каковые не считаются ни с возрастом, ни с научным именем.

Наступило молчание, и оно постепенно преображало комнату. Последний луч ускользавшего за стену солнца красным расплывающимся пятном сползал по дверцам стоявшего у окна шкафа, и был этот луч таким пушистым и таким живым, что Стефан, хотя он и следил с величайшим вниманием за разговором, проводил его глазами. Потом голубоватая дымка, предвестница ночи, словно прозрачная вода затопила комнату. Становилось и темнее, и печальнее, как на сцене в хорошо отрежиссированном спектакле, когда невидимые прожектора, меняя освещение, толкают вперед действие пьесы.

— Я собираюсь туда сейчас, — сказал Паенчковский, который, слушая профессора, все более выпрямлялся — даже его дон-кихотовская бородка затряслась. — И я думал, что вы пойдете со мной.

Профессор не пошевелился.

— В таком случае я иду. Прощайте... ваша магнифиценция.

Они вышли.

Коридор делал здесь крутой поворот. Он еще был залит тем красным светом, который только что покинул комнату профессора. Вышагивая рядом с семенившим стариком, Стефан чувствовал себя совсем маленьким. Крохотное, сморщенное личико адъютанта светилось гордостью.

— Я пойду прямо сейчас, — проговорил он, когда они остановились на лестничной площадке, исполосованной солнечными лучами. — А вы, коллега, все, что слышали, сохраните в тайне — до моего возвращения.

Он положил руку на перила.

— Профессор пережил тяжелые минуты. Его вышвырнули из лаборатории, в которой он создал основы электроэнцефалографии... не только польской. Я, однако же, не думал...

Тут старого Пайпака качнуло в сторону, бородка его затряслась. Но длилось это всего мгновение.

— Не знаю, может, *Acheronta movebo*.<sup>[34]</sup> Но...

— Мне пойти с вами? — воскликнул Стефан. И тут же перепугался, его словно слегка оглушило, как тогда, когда немец дал ему пинка. Он даже отшатнулся.

— Нет. Чем вы можете помочь? Наверное, один только Каутерс...

Паенчковский довольно долго молчал и закончил:

— Но он не пойдет. Я знаю. *Этого* было достаточно.

И начал спускаться по пустынной лестнице, ступая так твердо, словно разом хотел опровергнуть все сплетни о своей болезни.

Стефан остался на лестничной площадке, и тут к нему подошел Марглевский. Тощий доктор был в прекрасном расположении духа. Схватил Стефана за пуговицу и потянул к окну.

— Вы слышали, коллега, ксендз собирается завтра устроить нам богослужение? Ему нужны

министранты. Ну, я через Ригера обещал прислать мальчиков. Знаете, кто будет ему прислуживать? Этот маленький Петрусь из моего отделения! Знаете, кто он?

Стефан вспомнил маленького блондинчика с лицом мурильевских златовласых ангелов. Это был кретин, почти безнадежный, пускающий слюни.

— Это будет изумительно! Послушайте, коллега, нам обязательно нужно...

Стефан пожертвовал пуговицей, крикнул, что очень торопится, и, не дослушав, умчался. Выскочил из корпуса в сад, а оттуда понесся на шоссе, по которому Паенчковский пошел в Бежинец. Он стал спускаться, почти не разбирая дороги. И вдруг словно очнулся. В сухой шорох листьев вмешался новый звук. Стефан задрал голову, остановился. Где-то далеко урчал мотор. Кто-то ехал в гору; на это указывал и столб пыли, словно хвост, обметавший деревья, — он приближался. Стефан вздрогнул, как будто его обдало холодом, и быстро повернул назад. Он был уже у каменной арки со стершейся надписью, когда, теперь уже совсем вблизи, услышал шум мотора. Остановился у колонны.

Скрежеща на второй скорости и сильно накренившись на повороте, приближалась немецкая военная машина, Kübelwagen, с плоско обрубленным капотом. За ветровым стеклом чернела каска водителя. Машина проехала мимо Стефана, свернула, застонала и, вкатив на территорию, остановилась перед калиткой.

Стефан пошел туда.

У стены стоял высокорослый немец. На нем была маскировочная накидка; черные очки отброшены на каску; черные перчатки с воронкообразными раструбами. На сукне мундира — засохшие комочки грязи. Он возбужденно наседавал на вахтера. Услыхав вопрос немца, Стефан вмешался:

— Der Direktor ist leider zur Zeit abwesend. Bitte, was wünschen Sie?

— Hier muss mal Ordnung gemacht werden, — сказал немец. — Sind Sie sein Stellvertreter?

— Ich bin hier Arzt.

— Na, also, dann gehen wir mal rein.<sup>[35]</sup>

Он вошел так уверенно, словно был здесь не впервые. Водитель остался сидеть в машине. Проходя мимо, Стефан заметил, что правую руку солдат держит на автомате, лежащем на сиденье рядом с ним.

Стефан провел немца в общую канцелярию.

— Wie viele Kranke haben Sie jetzt?

— Entschuldigen Sie, aber ich weiss nicht, ob...

— Wann Sie sich zu entschuldigen haben, bestimme ich, — проговорил немец уже резче. —

Antworten Sie.

— Etwa einhundertsechzig...

— Ich muss die genaue Zahl haben. Zeigen Sie die Papiere.

— Es ist ja Arztgeheimnis.

— Ein Arschloch ist das, — буркнул немец.

Стефан взял с полки книгу и раскрыл ее; больных числилось 186.

— So? Und lügen Sie nicht?<sup>[36]</sup>

У Тщинецкого почему-то похолодели щеки. И все же он никак не мог оторвать взгляда от подбородка немца, уж очень он резко выпирал вперед. Покрывшиеся ледяным потом пальцы сами собой сжимались в кулак. Но он все смотрел в выцветшие глаза, которые видели сотни людей, раздевавшихся донага над свежерырытым рвом, в глаза, которым знакомы были бессмысленные движения этих людей, когда, сами того не понимая, они старались подготовить свое живое тело к падению в грязь. Стефану почудилось, будто комната и все предметы в ней завертелись вокруг него. Лишь высокая фигура в зеленой свисавшей с плеча накидке оставалась

неподвижной.

— Ein dreckiges Nest, das, — сказал немец. — Zwei Tage schon muss man die Schweinehunde durch die Wälder jagen. So was eine Sonderkommission wird zu Ihnen kommen. Wenn Sie einen einzigen Kranken verstecken, wird Ihnen...<sup>[37]</sup>

Он не угрожал, у него даже выражение лица осталось прежним, он не сделал ни одного жеста. Но все внутри у Стефана похолодело. Губы мгновенно стали сухими, он их беспрестанно облизывал.

— So zeigen Sie mir jetzt alle die Gebäude hier.

— In die Krankensäle werden die Nichtärzte nicht zugelassen, weil die Verordnung... — последний раз, едва слышно выдавил из себя Стефан.

— Die Verordnungen machen wir, — сказал немец. — Genug gequatscht!<sup>[38]</sup>

И, словно не замечая того, что делает, так подтолкнул Стефана, что тот едва устоял на ногах. Быстрым шагом пересекли они двор. Немец озирался, задавал вопросы: сколько мест в этом корпусе? сколько выходов? есть ли на окнах решетки? сколько больных?

Наконец, уже на прощание, он поинтересовался количеством врачей и санитаров. Остановился перед самой большой лужайкой, внимательно осмотрел ее, словно мерку с нее снимал.

— Sie können beruhigt schlafen, — бросил он уже у самой машины. — Ihnen wird nichts passieren. Falls wir aber einen Banditen bei Ihnen finden, eine Waffe oder so was, dann möchte ich nicht in Ihrer Haut stecken.<sup>[39]</sup>

Мотор заурчал, немец — огромный детина — расположился на заднем сиденье. И только теперь Стефана поразили два странных обстоятельства, на которые он раньше не обратил внимания: во-первых, они не встретили ни одного врача, ни одного санитаря, хотя все они обычно по вечерам прогуливались в саду, во-вторых, он так и не понял, кем, собственно, был этот самый немец. Маскировочная накидка не позволила разобрать, в каком он чине. Лица немца Стефан не запомнил, только черные очки и каска. «На марсианина похож», — подумал Стефан и в этот момент услышал тихие шаги.

— Что это было, коллега?

Прямо перед собой он увидел Носилевскую; глаза ее показались ему сейчас еще прекраснее; от бега и волнения она раздурманилась. Он смутился, сказал, что и сам не знает, — какой-то немец пожелал осмотреть больницу. Кажется, они устраивают облавы на партизан в лесу, вот он и приехал.

Стефан сознательно напустил туману, стараясь не подвести Пайпака.

Носилевскую прислали Ригер с Марглевским, которые, правда, видели из верхней дежурки, что машина ушла, но все же не рискнули спуститься сами. И ее до последней минуты от себя не отпускали: береженого...

Стефан не очень-то вежливо обошелся с Носилевской — оставил ее одну в саду, а сам опять направился на шоссе.

Взглянул на часы: семь. Темнело быстро. Немец пробыл тут без малого полчаса, Пайпак должен вот-вот вернуться. В сумерках все вокруг казалось иным, чужим. Он посмотрел на лечебницу. Горделивые очертания зданий чернели на фоне коричневых туч, подсвеченных — словно лампой, спрятавшейся за ними, — луной.

Стефан прошел еще несколько сот метров, и вдруг в шуме листьев ему послышалось какое-то постукивание.

Кто-то брел навстречу. Стало темно, луна укрылась за тучей. Ориентируясь по слуху, Стефан перешел на другую сторону дороги и узнал адъютанта, когда тот был всего в трех шагах.

— Господин доктор... У нас немец был, — начал было Стефан, но осекся: у того, судя по всему, новости поважнее.

Паенчковский, однако, шел молча. Стефан старался держаться рядом, то чуть отставая, то чуть обгоняя. Так они и добрались до ворот, затем направились — по-прежнему в полном молчании — в кабинет Пайпака. Вернее, направился туда адъютант, а Стефан неотступно следовал за ним. Паенчковский открыл ключом дверь и вошел в кабинет; Стефан — тоже. И хотя оба они хорошо знали, где что стоит, а выключатель был у самой двери, они странным образом раза три-четыре натыкались друг на друга в темноте, прежде чем догадались зажечь свет. И тут Стефан, который готов был наброситься на старика с вопросами, в ужасе отшатнулся.

Паенчковский был совершенно желт, и казалось, совсем высох. Зрачки крохотные, прямо точечки.

— Господин адъютант... — прошептал Стефан. И чуть громче: — Господин адъютант...

Паенчковский подошел к аптечке, достал маленькую бутылочку с притертой пробкой: «Spiritus vini concentratus», плеснул немного жидкости в стакан — рюмки у него не было, — выпил и сильно закашлялся. Потом повалился в кресло и обхватил голову руками.

— Всю дорогу, — заговорил он, не отнимая пальцев от лица, — всю дорогу я думал, что мне сказать. Если он мне ответит, что ненормальные бесполезны, размышлял я, сошлюсь на немцев, Блойлера и Мебиуса. Если упомянет нюрнбергские законы, разъясню, что мы — оккупированная страна, стало быть, до подписания мирных договоров положение наше никак не легализовано... Если потребует выдать неизлечимых, скажу, что медицина не знает безнадежных случаев. Всегда необходимо считаться с неведомым, это одна из обязанностей врача. Если скажет, что это страна врагов, а он — немец, я ему напомню, что прежде всего он — врач. Если...

— Господин адъютант... — умоляюще прошептал Стефан.

— Да, вы не хотите слушать. Когда я пришел туда, не знаю, успел ли я произнести хоть три слова. Он ударил меня по лицу.

— А... А... — Стефан попытался что-нибудь сказать, но не смог.

— Вахмистр украинцев сообщил мне, что оберштурмфюрер Гутка поехал в лечебницу, чтобы установить число больных и «разработать тактический план». Они это так называют. Надеюсь, вы сообщили им ложные сведения?

— Нет... я... то есть он сам посмотрел.

— Да. Ну да, да.

Из другого пузырька Пайпак налил себе бром с люминалом, выпил и отер рот тыльной стороной ладони. Потом попросил пригласить всех врачей в библиотеку.

— И... господина профессора тоже?

— Что? Да. А впрочем, нет. Нет.

Когда Стефан вместе с Носилевской и Ригером пришел в библиотеку, там уже горел свет; вслед за ними явились Каутерс, Марглевский и Сташек. Паенчковский стоя дожидался, пока все рассядутся. Затем кратко, не пускаясь в рассуждения, до которых был такой охотник, сообщил, что германо-украинская команда, которая умиротворила, то есть сожгла, деревню Овсяное и уничтожила ее население, намерена истребить больных, находящихся в лечебнице. С этой целью немцы потребовали собрать к утру людей из Бежинца, так как по собственному опыту знают, что больные не способны к согласованной работе — в отличие от крестьян, которые обычно копают себе могилы сами. Затем он рассказал о предпринятой им попытке, каковой было посещение доктора Тиссдорфа.

— Едва я успел упомянуть о цели их прибытия, он дал мне пощечину. Мне хотелось бы

верить, что так он выразил свое возмущение клеветой, однако вахмистр украинцев информировал меня, что они получили приказ подготовиться к боевой операции: сегодня им доставят патроны — сверх того, что у них есть. Вахмистр показался мне достаточно честным человеком, насколько в подобных обстоятельствах слово это вообще что-нибудь значит.

Напоследок Паенчковский объяснил врачам истинную цель дневного визита оберштурмфюрера Гутки.

— Мне хотелось бы, чтобы вы... поразмышляли над этим. Чтобы... принять определенное решение... шаги... Я руководитель, но просто... просто не дорос...

Голос изменил ему.

— Можно было бы отпустить всех больных в лес, а самим разъехаться; в два часа ночи идет скорый до Варшавы, — начал было рассуждать Стефан, но не кончил, такое глухое молчание было ему ответом. Пайпак заерзал в кресле.

— Я думал об этом... но не стоит. Они легко переловят больных. Да и не смогут же больные жить в лесу. Это... было бы проще всего, но это не решение вопроса.

— Полнейшая чушь, — категорически заявил Марглевский. — Полагаю, мы должны уступить силе. Как Архимед. Покинуть... покинуть больницу.

— Вместе с больными?

— Нет, зачем же? Просто-напросто покинуть.

— Значит, сбежать. Разумеется, это тоже выход, — с каким-то поразительным терпением мягко заметил старик. — Немцы могут бить меня по лицу, выбросить вон отсюда, все, что захотят. Я, однако, нечто большее, чем руководитель учреждения. Я врач. И вы все — тоже врачи.

— Чепуха. И что с того? — Марглевский подпер рукой подбородок, будто был тут в одиночестве.

— Вы не пробовали... иных средств? — спросил Каутерс.

Все посмотрели на него.

— Что вы имеете в виду?

— Ну... какой-нибудь способ умиловить...

— Взятка... — догадался наконец адъютант.

— Когда они тут будут?

— По всей вероятности, между семью и восемью утра.

Марглевский, который, казалось, не мог усидеть на месте, оттолкнул стул и, широко расставив пальцы, прямо-таки вlepил ладонь в стол, даже косточки пальцев побелели. Он проговорил:

— Я... считаю своим долгом... Я обязан спасти свою научную работу, которая является не моим только, но и всеобщим достоянием. Вижу, у меня просто не остается другого выхода. Прощайте, господа.

Ни на кого не глядя, высоко подняв голову, он вышел.

— Однако же, коллега! — крикнул ему вслед Кшечотек.

Паенчковский слабо, безнадежно махнул рукой. Все еще смотрели на дверь.

— Ну, стало быть, так... — заговорил Пайпак срывающимся голосом. — Это так. Я работаю здесь двадцать лет... двадцать лет. Но я не знал... я не предполагал... я психолог, я знаток душ... я... Да ведь не о себе же мы должны думать, а о них! — пронзительно закричал Паенчковский, стукнул кулаком по столу и заплакал. Закашлялся, его всего трясло.

Носилевская встала, подвела его к креслу и усадила, хотя он и упирался. Золотые искорки пробежали по ее волосам, когда она, наклонившись над стариком, мягко обхватила его запястье и начала считать пульс. Потом, откинув волосы, вернулась на свое место.



И тут все заговорили разом:

— Может, это еще не наверняка.

— Я позвоню аптекарю.

— Во всяком случае, Секуловского надо спрятать.

(Это сказал Стефан.)

— И ксендза тоже.

— Коллега, но он, кажется, уже выписан?

— Нет, в том-то и дело, что нет.

— Пошли тогда в канцелярию.

— Немец проверил списки, — глухо проговорил Тшинецкий, — и... меня, то есть всех нас объявил ответственными.

Каутерс продолжал сидеть молча.

Паенчковский встал — он уже успокоился, только покрасневшие глаза его выдавали.

Стефан подошел к нему.

— Господин адъюнкт, нам следует решиться. Надо бы некоторых спрятать.

— Надо спрятать всех больных, которые отдадут себе отчет в происходящем, — сказал адъюнкт.

— Несколько наиболее ценных можно было бы... — неуверенно начал Ригер.

— Может, выздоравливающих вообще отпустить?

— У них нет документов. Их на вокзале сейчас же схватят.

— Так кого прятать? — с нескрываемым раздражением спросил Кшечотек.

— Ну, я говорю: наиболее ценных, — повторил Ригер.

— Не я буду решать, кто ценнее. Речь о том, чтобы они не выдали других, — сказал Пайпак. — Только об этом.

— Значит, селекция?

— Прошу всех разойтись по палатам... коллега Носилевская, соблаговолите отдельно уведомить сестер.

Все пошли к дверям. Пайпак стоял в стороне, обеими руками вцепившись в стул. Стефан, выходявший последним, услышал его шепот.

— Простите? — Он думал, Паенчковский хочет что-то сказать ему. Но старик его не услышал.

— Они... они будут... им будет так страшно... — еле слышно прошептал он.

Они не спали всю ночь. Отбор дал сомнительные результаты: каких-нибудь двадцать больных, но и за них никто не мог поручиться, никто не знал, выдержит ли их нервная система. Новость, хотя ее вроде бы и скрывали, стремительно разнеслась по всей больнице. Молодой Юзеф, в халате нараспашку, ни на шаг не отходил от адъюнкта, он все бормотал что-то о своей жене и детях.

В женском отделении орава полураздетых пациенток танцевала в сизом облаке перьев из подушек; их визгливый вой не затихал ни на минуту. Стефан и Сташек за два часа почти дочиста вымели скромные запасы лекарств, хранившихся в аптечке, щедро раздавая до сих пор столь строго оберегавшиеся люминал и скополамин; впрочем, этим они ничего не добились. Стефан и сам дважды прикладывался к большому пузырьку брома, выслушивая насмешки Ригера, который отдавал предпочтение спирту. Спустя какое-то время увидел Марглевского, который с двумя чемоданами и рюкзаком с картотекой о гениях направлялся к воротам. Каутерс около полуночи заперся в своей комнате. Суматоха усиливалась. Каждый корпус выл на свой лад, все сливалось в многоголосый ор. Стефан бестолково носился с этажа на этаж, несколько

раз пробежал мимо квартиры профессора. Под дверью виднелась полоска слабого света; оттуда не доносилось ни звука.

Поначалу казалось, что спрятать больных на территории больницы — дело безнадежное. Но Паенчковский поставил врачей перед свершившимся фактом, поместив в свою квартиру одиннадцать шизофреников в стадии ремиссии и трех маньяков. Дверь к ним замаскировал шкафом. Шкаф потом пришлось снова отодвигать, потому что у самого здорового по виду шизофреника начался приступ. Возясь со шкафом, от стены в спешке откололи увесистый кусок штукатурки, и Паенчковский сам прикрыл это место сооруженной на скорую руку занавеской. Стефан заглядывал к нему в квартиру несколько раз; если бы не всеобщее нервное возбуждение, он, может, и порадовался бы, глядя, как старик, сунув в рот парочку гвоздей и балансируя на стуле, который держал Юзеф, неврологическим молоточком прибивает портьеру. Решили, что больных заберут к себе только те, у кого по меньшей мере две комнаты. Речь шла о Каутерсе и Ригере. Этот последний, уже солидно нагружившийся, согласился спрятать нескольких человек. А Стефан пошел в палату, чтобы забрать парнишку-скульптора, но, открыв дверь, угодил в сцепившийся клубок ревуших людей.

Огромные куски разодранных простыней носились под уцелевшими лампами. В общем гаме можно было разобрать кукареканье, свист и, казалось, бесконечный визгливый крик: «пуническая война в шкафу!» Утопая в вонючей насыпи из перьев, Стефан остервенело пробивался вдоль стены. Два раза его сваливали на пол, однажды он упал прямо под ноги Пащчиковяку, который огромными прыжками пересекал палату из угла в угол, словно стараясь побороть земное притяжение.

Обезумевшие, ослепленные яростью, больные метались по палате, врезались в стены так, что кости трещали, вдвоем-втроем заползали под кровать, из-под нее выскакивали их дрыгающиеся ноги. Стефану с огромным трудом в конце концов удалось добраться до парнишки. Отыскав его, он пустил в ход кулаки, чтобы пробиться к двери. Но там парень уперся ногами в пол и начал тянуть Стефана в угол. Вытащил из-под матраса что-то большое, завернутое в мешковину. И только тогда позволил довести себя до двери.

В коридоре Стефан облегченно вздохнул; на его халате не осталось ни одной пуговицы, из носа сочилась кровь. В палате рев усилился. Стефан передал паренька Юзефу, который помогал устраивать укрытие в квартире Марглевского, и спустился вниз. Уже сходя с лестницы, он заметил, что держит в руках сверток, — тот, что сунул ему парнишка. Взяв его под мышку, достал сигарету и испугался: руки его, когда он чиркал спичкой о коробок, ходили ходуном.

После третьего по счету приступа буйства в квартире адьюнкта, ставшей укрытием для больных, вездесущий Пайпак велел всем им дать люминал. И на рассвете тридцать запертых в трех квартирах больных забылись наркотическим сном.

Их истории болезни собственноручно уничтожил Пайпак, не обращая внимания на опасно разводившего руками Стефана. И, только поднявшись с пола и закрыв дверцу печки, в которой догорали эти листочки, вытирая вымазанные сажей руки, он сказал:

— Я в... все это беру на себя.

Носилевская, бледная, но спокойная, следовала за адьюнктом по пятам. Ксендза Незглобу наскоро оформили на несуществующую должность «духовного лица учреждения». Он стоял в самом темном углу аптеки, и оттуда разносился его пронзительный шепот — он молился.

Стефана, который неведомо куда и неведомо зачем неся по коридору, перехватил Секуловский.

— Послушайте... господин... доктор... — закричал он, вцепившись в его халат. — А может, я... дайте мне белый халат... я же знаком с психиатрией, вы ведь знаете...

Он гнался за ним, словно они играли в салочки. Стефан остановился перевести дух,



немного пришел в себя и задумался.

— А почему бы и нет? Теперь уж все равно. Устроили ксендзу, можно и вам... но с другой стороны...

Секуловский не позволил ему продолжать. Крича и не слушая друг друга, они дошли до лестницы. На площадке между этажами стоял Пайпак и давал какие-то распоряжения санитарам.

— А я говорю, всех их надо отравить! — орал красный, как свекла, Кшечотек.

— Это не только вздор, но и п... преступление, — парировал Паенчковский. Крупные капли пота сбегали по его лбу, поблескивали на седых перышках бровей. — А если, Бог даст, все переменится... что тогда? Иначе... мы просто поставим под удар и спрятанных, и себя.

— Да не обращайтесь вы на него внимания. Это же сопляк, — презрительно бросил из угла Ригер. Карман его халата оттягивала бутылка спирта.

— Вы пьяны!

— Господин адъюнкт, — вмешался Стефан, которого Секуловский прямо-таки подталкивал к старику. — Такое вот дело...

— Ну, как тут быть? — выслушав, протянул Пайпак. — Ну, отчего вы не захотели пойти в м... мою квартиру?

Он отер лоб большим белым платком.

— Ну ладно. Сейчас... доктор... коллега Носилевская, у вас уже есть навык в этом... в этой писанине...

— Сейчас я все устрою в книге, — своим ясным, милым голосом успокоила его Носилевская. — Пойдемте со мной.

Секуловский помчался за ней.

— Да... еще кое-что, — сказал Пайпак. — Надо сходить к доктору Каутерсу. Но я сам — мне не... не с руки.

Он дождался, когда из канцелярии вернется Носилевская. Секуловский уже слонялся по корпусу в белом халате Стефана, даже сунул в карман его стетоскоп. Но, подойдя к дверям в следующий корпус, услышал нарастающий адский вой и укрылся в библиотеке.

Стефан совершенно обессилел. Посмотрел в коридор, махнул рукой, выглянул в окно — не рассвело ли — и пошел в аптеку глотнуть брома. Переставляя на полке пузырьки, услышал чьи-то легкие шаги.

Вошел Лондковский — как обычно, в своем черном свободном костюме.

— Ваша магнифициция?..

Профессор, казалось, был недоволен, застав здесь Стефана.

— Ничего, ничего. Нет, — повторял он. Но продолжал в нерешительности стоять в дверях.

Стефан подумал, что, вероятно, Лондковский плохо себя чувствует: он был очень бледен, на Стефана старался не смотреть. Даже сделал движение, будто собирался идти восвояси. Положил руку на дверную ручку, но отпустил ее и подошел к Стефану совсем близко.

— Есть здесь... цианистый калий?

— Что, простите?

— Есть ли в аптеке цианистый калий?

— А... а... есть, — ошеломленно пробормотал Стефан.

Он даже выронил пузырек с люминалом, тот упал на пол и разбился. Стефан хотел было собрать осколки, но вместо этого выпрямился и выжидательно посмотрел на профессора.

— Вот тут висит ключ, ваша магнифициция... вот он, тут!

Цианистый калий вместе с другими ядами хранился в запертом на ключ маленьком шкафчике, на стене.

Профессор выдвинул ящичек и, подумав, вытащил маленькую пустую стеклянную пробирку из-под пирамидона. Затем взял с полки пузырек, с помощью маленьких ножниц скovyрнул с него пробку и осторожно высыпал в колбочку с десяток белых кристалликов. Заткнул колбочку пробкой и сунул в нагрудный карман пиджака. Запер шкафчик, повесил ключ на гвоздь и собрался было уходить, но раздумал и опять подошел к Стефану:

— Пожалуйста, никому не говорите о том, что... что я... — И вдруг как-то сверху схватил обвисшую руку Стефана, сжал ее холодными пальцами и закончил вполголоса: — Очень вас прошу.

Поспешно вышел, тихо притворив за собой дверь.

Стефан так и стоял — опершись рукой о стол, ладонь его ощущала прикосновение пальцев профессора. Он посмотрел на нее. Вернулся к шкафу, чтобы налить себе брома, и замер, держа бутылку в поднятой руке...

Всего минуту назад он видел: воротник рубашки Лондковского расстегнут, пиджак — тоже и видна впалая, старческая грудь. Он вспомнил всемогущего короля из сказки и теперь ни о чем другом думать не мог.

Властелин этот стоял во главе громадного государства. К голосу его прислушивались люди на тысячи миль окрест. Однажды, утомившись, он уснул на троне, придворные решили сами раздеть его и отнести в спальные апартаменты. Они сняли с него горностаевую накидку, под которой были пурпурные, золотом расшитые одежды. Когда они сняли и их, увидели шелковую рубашку, всю в звездах и солнцах. Под ней оказалась сорочка, сотканная из жемчуга. Следующую украшали рубиновые молнии. Так снимали они одну рубаху за другой, и рядом вырос огромный, сверкающий холм. И тогда в ужасе взглянули они в глаза друг другу, восклицая: «А где же наш король?!» Ибо видели перед собой множество раскиданных богатых одеяний, а среди них не было и следа живой души. Сказка эта называлась «Очистка луковицы, или О величии».

Совещание у Каутерса растянулось на час. Хирург наконец выбрал «splendid isolation»: [\[40\]](#) он ничего не знает, ни во что не вмешивается. Он отвечает только за операционную. Секуловский стал врачом его отделения. Рассказывая об этом Стефану, Носилевская обронила, что у Каутерса на двух сдвинутых креслах спит Гонзага. Сестра Гонзага? У Стефана уже не осталось сил удивляться. Он одеревенел. Все вокруг видел, словно сквозь легкую дымку. Было уже около шести. Лениво бредя по коридору первого этажа, Стефан наткнулся на Ригера, который сидел посреди прохода в кресле-каталке для паралитиков. На полу перед ним стояла бутылка, он осторожно постукивал по ней ногой, как будто наслаждаясь чистым звоном стекла.

Стефана поразило его насупленное лицо; казалось, он вот-вот разрыдается. Стефан не решался заговорить, но Ригер неожиданно дернулся: до этого он пытался сдержать икоту.

— Не знаете, где Паенчковский?

— В сад пошел, — ответил Ригер и опять икнул.

— Зачем?

— С ксендзом. Наверное, молятся.

— Ага.

Увидя Стефана, из библиотеки вышел Секуловский.

— Вы куда?

— Сил больше нет. Лягу; думаю, всем нам еще потребуется много сил — утром.

В белом халате Секуловский казался толще, чем обычно. Пояс не сходился; он надвезал его бинтом.

— Вы меня восхищаете. Я... я... я бы не смог.

— Э, что там. Пошли ко мне.

На лестнице Стефан заметил прислоненный к батарее сверток. Вспомнил, что его дал ему тот парнишка. Поднял сверток и с любопытством развернул. Это была голова мужчины в каске, погруженная до верхней губы в кусок камня. Набухшие глаза и раздутые щеки. Невидимый, утопленный в камень рот кричал.

Придя к себе, Стефан положил скульптуру на стол, стянул с кровати одеяло и, придвинув стул поближе, прилег, опершись на подушку. В эту минуту прибежал Ригер.

— Слушайте, пришел молодой Пощчик, забирает шестерых больных, поведет их лесом в Нечавы. Хотите идти с ними, господин Секуловский?

— Кто пришел? — одними губами, почти беззвучно спросил Стефан.

Но его шепот покрыл голос Секуловского:

— Кто? Каких больных?

Стефан, полусонный, встал с кровати.

— Ну, молодой Пощчик, сын этого электрика... из леса пришел и ждет внизу, — волновался протрезвевший Ригер. — Берет всех, кому старик не дал люминала. Ну, вы идете или нет?

— С сумасшедшими? Сейчас?

Поэт в сильном возбуждении вскочил со стула. Руки у него тряслись.

— Мне идти? — Он повернулся к Стефану.

Тот промолчал; его ошеломило известие, что так внезапно объявился человек, который все время был где-то поблизости, а он, Стефан, ничего не знал об этом.

— Я в этих обстоятельствах советовать не могу...

— После комендантского часа... с сумасшедшими... — вполголоса бормотал Секуловский. — Нет! — проговорил он громче, а когда Ригер бросился к двери, закричал: — Да постойте же вы!

— Ну давайте, решайтесь! Он не может ждать, два часа лесом!

— А кто он такой?

Ясно было, что Секуловский задает вопросы, только чтобы выиграть время. Он теребил пальцами узелок на матерчатом поясе халата.

— Вы что, оглохли?! Партизан! Вот пришел да еще устроил Паенчковскому скандал, что тот дал другим пациентам люминал...

— На него можно положиться?

— Не знаю! Идете вы или нет?

— А ксендз идет?

— Нет. Так как?

Секуловский молчал. Ригер пожал плечами и выбежал из комнаты, с треском захлопнув дверь. Поэт шагнул было вслед за ним, но остановился.

— Может, пойти?.. — растерянно спросил он.

Голова Стефана упала на подушку. Он пробормотал что-то невразумительное.

Слышал, как поэт ходит по комнате и что-то говорит, но смысла слов не понимал. Сон навалился на него.

— Ложитесь-ка и вы, — пробормотал он и заснул.

\* \* \*

Стефана разбудил резкий свет. Кто-то ударил его палкой по руке. Он открыл глаза, но продолжал лежать не шевелясь; в комнате было темно, шторы он опустил еще вечером. Около

кровати стояли несколько высоких мужчин. Стефан машинально прикрыл глаза рукой: один из мужчин направил фонарь прямо ему в лицо.

— Wer bist du?

— A, lass ihn. Das ist ein Arzt,<sup>[41]</sup> — отозвался другой голос, как будто знакомый. Стефан вскочил, трое немцев в темных клеенчатых плащах, с автоматами, перекинутыми через плечо, расступились перед ним. Дверь в коридор была открыта настежь, оттуда долетал глухой топот кованых сапог.

В углу комнаты стоял Секуловский. Стефан заметил его только тогда, когда немец направил в угол луч фонаря.

— Auch Arzt, wie?<sup>[42]</sup>

Секуловский быстро заговорил по-немецки срывающимся, каким-то незнакомым голосом. Выходили из комнаты по одному. В дверях стоял Гутка. Передал их солдату, приказав проводить врачей вниз. Они спустились по второй лестнице. В аптеке, перед входом в которую стоял еще один черный с автоматом, они застали Паенчковского, Носилевскую, Ригера, Сташека, профессора, Каутерса и ксендза. Сопровождавший Стефана и Секуловского солдат вошел вместе с ними, запер дверь и долго всех разглядывал. Адъютант стоял у окна, сгорбившись, спиной ко всем, Носилевская сидела на металлическом табурете, Ригер и Сташек устроились на столе. День был облачный, но светлый; сквозь редяющие листья за окном проглядывало серое небо. Солдат загородил собою дверь. Это был парень с плоским темным лицом, со скошенными скулами. Он дышал все громче, наконец заорал:

— Ну вы, паны доктора, на шо вам вышло? Украина була и будэ, а вам каюк!

— Выполняйте, пожалуйста, свои обязанности, как мы выполняем свои, а с нами не говорите, — на удивление твердым тоном заметил Пайпак в ответ. Выпрямил спину, неторопливо повернулся к украинцу и уставился на него своими черными глазками из-под нависших седых бровей. Дышал он тяжело.

— А ты... — Солдат поднял шарообразные кулаки.

Дверь распахнулась, сильно толкнув его в спину.

— Was machts du hier? Rrrraus!<sup>[43]</sup> — рявкнул Гутка.

Он был в каске, автомат держал в левой руке, словно собирался им кого-то ударить.

— Ruhe! — крикнул он, хотя все и так молчали. — Sie bleiben hier sitzen, bis Ihnen anders befohlen wird. Niemand darf hinaus. Und ich sage noch einmal: Solten wir einen einzigen versteckten Kranken finden... sind Sie alle dran.<sup>[44]</sup>

Он обвел всех своими выцветшими глазами и круто развернулся на каблуках. Раздался хриплый голос Секуловского:

— Heir... Herr Offizier...

— Was noch?<sup>[45]</sup> — рявкнул Гутка, и из-под каски выглянуло его загорелое лицо. Палец он держал на спусковом крючке.

— Man hat einige Kranken in den Wohnungen versteckt...

— Was? Was?!

Гутка подскочил к нему, схватил за шиворот и начал трясти.

— Wo sind sie? Du Gauner! Ihr alle!<sup>[46]</sup>

Секуловский затрясся и застонал. Гутка вызвал вахмистра и приказал обыскать все квартиры в корпусе. Поэт, которого немец все еще держал за воротник халата, торопливо, пискливым голосом проговорил:

— Я не хотел, чтобы все... — Он не мог пошевелить руками: рукава халата впились ему под мышки.

— Herr Obersturmführer, das ist kein Arzt, das ist Kranker, ein Wahnsinniger! <sup>[47]</sup> — завопил, соскакивая со стола, смертельно бледный Сташек.

Кто-то тяжело вздохнул. Гутка опешил:

— Was soll das? Du Saudoktor?! Was heisst das?! <sup>[48]</sup>

Сташек на своем ломаном немецком повторил, что Секуловский — больной.

Незглоба весь сжался у окна. Гутка, разглядывал их всех; он начал догадываться, в чем дело. Ноздри у него раздувались.

— Was für Gauner sind das, was für Lügner, diese Schweinehunde! <sup>[49]</sup> — проревел он наконец, оттолкнув Секуловского к стене.

Бутылка с бромом, стоявшая на краю стола, покачнулась и упала на пол, разбилась, содержимое растекалось по линолеуму.

— Und das sollen Ärzte sein... Na, wir werden schon Ordnung schaffen. Zeigt eure Papiere! <sup>[50]</sup>

Вызванный из коридора украинец — видимо, старший, на его погонах были две серебряные полоски, — помогал переводить документы. У всех, кроме Носилевской, они оказались при себе. Под конвоем солдата она отправилась наверх. Гутка подошел к Каутерсу. Его документы он разглядывал дольше и немного помягчел.

— Ach so, Sie sind ein Volksdeutscher. Na schön. Aber warum haben Sie diesen polnischen Schwindel mitgemacht? <sup>[51]</sup>

Каутерс ответил, что он ничего не знал. Выговор у него был жестковат, но это был хороший немецкий язык.

Носилевская вернулась и показала удостоверение Врачебной палаты. Гутка махнул рукой и повернулся к Секуловскому, который все еще стоял за шкафчиком, у самой стены.

— Komm.

— Herr Offizier... ich bin nicht krank. Ich bin völlig gesund...

— Bist du Arzt?

— Ja... nein, aber ich kann nicht... ich werde...

— Komm. <sup>[52]</sup>

Теперь Гутка был совершенно невозмутим, даже слишком невозмутим. Он вроде бы даже улыбался — громадный, плечистый, в плаще, скрипящем при каждом его движении. Он манил Секуловского указательным пальцем, как ребенка.

— Komm.

Секуловский сделал один шаг и вдруг повалился на колени.

— Gnade, Gnade... ich will leben. Ich bin gesund.

— Genug! — яростно взревел Гутка. — Du Verräter! Deine unschuldigen verrückten Brüder hast du ausgeliefert. <sup>[53]</sup>

За домом громыхнули два выстрела. Зазвенели стекла в окнах, в шкафчике металлическим позвякиванием отозвались инструменты.

Секуловский припал к сапогам немца, полы белого халата разлетелись в стороны. В руке поэт еще сжимал резиновый молоточек.

— Франке!

Вошел еще один немец и с такой силой рванул руку Секуловского, что поэт, хотя и был толст и высок, подскочил с колен, словно тряпичная кукла.

— Meine Mutter war eine Deutsche!!! <sup>[54]</sup> — визжал он фальцетом, пока его выволакивали из аптеки. Он успел уцепиться за дверь и рвался обратно, судорожно извивался, не решаясь, однако, защищаться от ударов. Франке стал деловито постукивать прикладом автомата по пальцам, впившимся в дверной косяк.

— Gnaaade! Матерь Божия!.. — выл Секуловский. Крупные слезы катились по его щекам.

Немец начинал выходить из себя. Он застрял на пороге, потому что Секуловский вцепился теперь в дверную ручку. Немец обхватил его обеими руками, присел, напрягся и изо всех сил дернул поэта на себя. Они вылетели в коридор. Там Секуловский с грохотом повалился на каменные плитки, а немец, прикрывая за собой дверь, повернул к врачам вспотевшее и побуревшее от напряжения лицо.

— Dreckige Arbeit!<sup>[55]</sup> — сказал он и захлопнул дверь.

Под окном аптеки все заросло, поэтому в помещении было сумрачно. Чуть поодаль, за деревьями, вздымалась глухая стена. Вопли больных и хриплые крики немцев долетали сюда приглушенными, но все равно слышно их было отлично. Чуткий, обостренный слух врачей уловил звуки винтовочных выстрелов. Поначалу частые, они прерывались только шумом падающих мягких мешков. Затем установилась тишина. Кто-то пронзительно закричал:

— Wei-tere zwan-zig Figuuiu-ren!<sup>[56]</sup>

Пули зацелкали по стене. Порой тоскливый, резко обрывающийся свист сообщал о полете заблудившейся пули. А то вдруг опять раздавался короткий стрекот пулемета. Но чаще подавали голос автоматы. Затем тишина нарушалась топотом множества ног, монотонным криком:

— Wei-tere zwan-zig Figuuiu-ren!

...И два-три пистолетных выстрела, звонкие и короткие хлопки, словно пробка вылетала из бутылки.

Раздался пронзительный рев, не похожий на человеческий. А сверху, как будто со второго этажа, донеслись рыдания, похожие на хохот. И долго не смолкали.

Глаза у всех были отсутствующие, никто не шевелился. Стефан совсем отупел. Поначалу он еще пытался о чем-нибудь думать: что Гутка, которому все это явно не по зубам, тем не менее как-то с этим управляет... что даже у смерти есть своя жизнь... но эту, последнюю мысль пронзил резкий немецкий окрик. Кто-то убежал. Трещали ломающиеся ветки, красные листья повалили на землю, совсем рядом послышалось прерывистое дыхание и щелканье камушков, вылетающих из-под ног беглеца.

Словно раскат грома, пророкотал выстрел. Крик резко взмыл в небо и оборвался.

Быстро пролетающие облака, беспрестанно меняющие очертания, затянули видимый краешек неба. После десяти выстрелы стихли. Что-то вроде перерыва. Но через четверть часа застрекотали автоматы. И вновь все вокруг огласилось воплями больных и хриплыми криками немцев.

В двенадцать уши врачей различали только звук тяжелых шагов вокруг корпуса, собачий лай и сдавленный женский писк. Неожиданно дверь, на которую они уже перестали обращать внимание, распахнулась. Вошел вахмистр украинцев.

— Выходить, выходить швидко! — закричал он с порога. За его спиной показалась каска немца.

— Alle gaus!<sup>[57]</sup> — крикнул он, до предела напрягая голос.

На его потемневшем лице пыль перемешалась с потом, глаза пьяные, бегающие.

Врачи вышли в коридор. Стефан оказался рядом с Носилевской. Было пусто, только в углу валялась куча смятых простыней. Длинные, размазанные черные полосы тянулись к лестнице. За поворотом, впритык к батарее, лежало что-то большое: сложившийся пополам труп с разбитой головой; из нее сочилось что-то черное. Сморщенная желтая ступня вылезла из-под вишневого халата и протянулась до середины коридора. Все старались обойти ее стороной, только немец, замыкавший процессию, пнул сапогом эту окоченевшую ногу. Фигуры идущих



впереди людей, показалось Стефану, качнулись в разные стороны. Он схватил Носилевскую за руку. Так они и добрались до библиотеки.

Тут все было вверх дном. Книги из двух ближайших к двери шкафов валялись на полу. Когда врачи проходили мимо, страницы огромных томов, раскрывшихся при падении, зашелестели. Двое немцев поджидали их у дверей и вошли последними. Немедля заняли самое удобное место — обтянутый красным плюшем диванчик.

В глазах у Стефана рябило. Все вокруг подергивалось, было каким-то серым, краски будто выцвели, а предметы сморщились, словно проколотый пузырь. Первый раз в жизни с ним случился обморок.

Придя в себя, он почувствовал, что лежит на чем-то мягком и упругом: Носилевская положила его голову себе на колени, а Пайпак держал его задранные вверх ноги.

— Что с обслуживающим персоналом? — спросил Стефан; он еще плохо соображал.

— Им с утра приказали идти в Бежинец.

— А мы?

Никто не ответил. Стефан встал, его пошатывало, но он чувствовал, что больше сознания не потеряет. Шаги за стеной; все ближе; вошел солдат.

— Ist Professor Llon-kow-sky hier?!<sup>[58]</sup>

Тишина. Наконец Ригер прошептал:

— Господин профессор... Ваша магнифициция...

Когда немец вошел, профессор, сгорбившись, сидел в кресле — теперь он выпрямился. Его глаза, огромные, тяжелые, ничего не выражавшие, переползали с одного лица на другое. Он вцепился в подлокотники и, с некоторым трудом поднявшись, потянулся к верхнему карману пиджака. Пошарил ладонью, что-то там ощупывая. Ксендз — черный, в развевающейся сутане — пошел было к нему, однако профессор сделал едва заметный, но решительный знак рукой и направился к двери.

— Kommen Sie, bitte,<sup>[59]</sup> — проговорил немец и учтиво пропустил его вперед.

Все сидели молча. Вдруг совсем рядом прозвучал выстрел — словно раскат грома в замкнутом пространстве. Стало страшно. Даже немцы, болтавшие на диванчике, притихли. Каутерс, весь в поту, скривился так, что его египетский профиль превратился чуть ли не в ломаную линию, и с таким ожесточением сжал руки, что, казалось, закрипели сухожилия. Ригер по-ребячьи надул губы и покусывал их. Только Носилевская — она ссутулилась, подперла голову руками, поставив локти на колени, — оставалась внешне невозмутимой.

Стефану почудилось, будто в животе у него что-то распухает, все тело раздувается и покрывается осклизлым потом; его начала бить омерзительная мелкая дрожь, он подумал, что Носилевская и умирая останется красивой, — и мысль эта доставила ему какое-то странное удовлетворение.

— Кажется... нас... нас... — шепнул Ригер Сташеку.

Все сидели в маленьких красных креслицах, только ксендз стоял в самом темном углу, между двумя шкафами. Стефан бросился к нему.

Ксендз что-то бормотал.

— У-убьют, — проговорил Стефан.

— Pater noster, qui est in coelis, — шептал ксендз.

— Отец, отец, это же неправда!

— Sanctificetur nomen Tuum...<sup>[60]</sup>

— Вы ошибаетесь, вы лжете, — шептал Стефан. — Нет ничего, ничего, ничего! Я это понял, когда упал в обморок. Эта комната, и мы, и это все; это — только наша кровь. Когда она

перестает кружить, все начинает пульсировать слабее и слабее, даже небо, даже небо умирает! Вы слышите, ксендз?

Он дернул его за сутану.

— Fiat voluntas Tua...<sup>[61]</sup> — шептал ксендз.

— Нет ничего, ни цвета, ни запаха, даже тьмы...

— *Этого* мира нет, — тихо проговорил ксендз, обращая к нему свое некрасивое, искаженное страданием лицо.

Немцы громко засмеялись. Каутерс резко встал и подошел к ним.

— Entschuldigen Sie, — сказал он, — aber der Herr Obersturmführer hat mir meine Papiere abgenommen. Wissen Sie nicht, ob...<sup>[62]</sup>

— Sie missen schon etwas Geduld haben, — оборвал его плотный, широкоплечий немец с красными прожилками на щеках. И продолжал рассказывать приятелю: — Weisst du, das war, als die Häuser schon alle brannten und ich glaubte, dort gebe es nur Tote. Da rennt Dir doch plötzlich mitten aus dem grossten Feuer ein Weib schnurstracks auf den Wald zu. Rennt wie verrückt und presst eine Gans an sich. War das ein Anblick! Fritz wollte ihr eine Kugel nachschicken, aber er konnte nicht einmal richtig zielen vor Lachen — war das aber komisch, was?<sup>[63]</sup>

Оба рассмеялись. Каутерс стоял рядом и вдруг невероятным образом скривился и выдавил из себя тоненькое, ломкое «ха-ха-ха!».

Рассказчик нахмурился.

— Sie, Doktor, — заметил он, — warum lachen Sie? Da gibt's doch für Sie nichts zum Lachen.

Лицо Каутерса пошло белыми пятнами.

— Ich... ich... — бормотал он, — ich bin ein Deutscher!

Сидевший вполоборота немец смерил его снизу взглядом.

— So? Na, dann bitte, bitte.<sup>[64]</sup>

Вошел высокий офицер, которого они прежде не видели. Мундир сидел на нем как влитой, ремни матово поблескивали. Без каски; вытянутое, благородное лицо, каштановые с проседью волосы. Он оглядел присутствующих — стекла очков в стальной оправе блеснули. Хирург подошел к нему и, встав навывтяжку, протянул руку:

— Фон Каутерс.

— Тиссдорф.

— Herr Doktor, was ist los mit unserem Professor? — спросил Каутерс.

— Machen Sie sich keine Gedanken. Ich werde ihn mit dem Auto nach Bieschinetz bringen. Er packt jetzt seine Sachen.

— Wirklich?<sup>[65]</sup> — вырвалось у Каутерса.

Немец покраснел, затряс головой.

— Mein Herr! — Потом улыбнулся. — Das müssen Sie mir schon glauben.

— Und warum werden wir hier zurückgehalten?

— Na, na! Es stand ja schon übel um Sie, aber unser Hutka hat sich doch noch beruhigen lassen. Sie werden jetzt nur bewacht, weil Ihnen unsere Ukrainer sonst etwas antun konnten. Die lechzen ja nach Blut wie die Hunde, wissen Sie.

— Ja?<sup>[66]</sup> — изумился Каутерс.

— Wie die Falken... Man muss sie mit rohem Fleisch füttern,<sup>[67]</sup> — рассмеялся немецкий психиатр.

Подошел ксендз.

— Herr Dortor, — сказал он, — Wie kam das: Mensch und Arzt, und Kranke, die Erschiessen, die Tod!<sup>[68]</sup>



Казалось, немец отвернется или попытается заслониться рукой от черного нахала, но неожиданно лицо его просветлело.

— Jede Nation, — заговорил он глубоким голосом, — gleicht einem Tierorganismus. Die kranken Körpersellen müssen manchmal herausgeschnitten werden. Das war eben so ein chirurgischer Eingriff.<sup>[69]</sup>

Через плечо ксендза он смотрел на Носилевскую. Ноздри его раздувались.

— Aber Gott, Gott,<sup>[70]</sup> — все повторял ксендз.

Носилевская по-прежнему сидела молча, не шевелясь, и немец, который не сводил с нее глаз, заговорил громче:

— Ich kann es Ihnen auch anders erklären. Zur Zeit des Kaisers Augustus war in der Galilea ein römischer Statthalter, der übte die Herrschaft über die Juden, und hiess Pontius Pilatus...<sup>[71]</sup>

Глаза его горели.

— Стефан, — громко попросила Носилевская, — скажите ему, чтобы он меня отпустил. Мне не нужна опека, и я не могу тут больше оставаться, так как... — Она смолкла на полуслове.

Стефан, растроганный (она впервые назвала его по имени), подошел к Каутерсу и Тиссдорфу. Немец вежливо поклонился ему.

Стефан спросил, могут ли они уйти.

— Sie wollen fort? Alle?

— Frau Doktor Nosilewska, — не очень уверенно ответил Стефан.

— Ach, so. Ja, natürlich. Gedulden Sie sich bitte noch etwas.<sup>[72]</sup>

Немец сдержал слово: их освободили в сумерки. В корпусе было тихо, темно и пусто. Стефан пошел к себе; надо было собраться в дорогу. Зажег лампу, увидел на столе записную книжку Секуловского и бросил ее в свой открытый чемодан. Потом посмотрел на скульптуру; она тоже лежала на столе. Подумал, что ее создатель валяется где-то тут, поблизости, в выкопанном утром рву, придавленный сотней окровавленных тел, и ему стало нехорошо.

Его чуть не вырвало, он повалился на кровать, коротко, сухо всхлипывая. Заставил себя успокоиться. Торопливо сложил вещи и, надавив коленом, запер чемодан. Кто-то вошел в комнату. Он вскочил — Носилевская. В руках она держала несессер. Протянула Стефану продолговатый белый сверток: это была стопка бумаги.

— Я нашла это в вестибюле, — сказала она и, заметив, что Стефан не понял, пояснила: — Это... это Секуловский потерял. Я думала... вы его опекали... то есть... это принадлежало ему.

Стефан стоял неподвижно, с опущенными руками.

— Принадлежало? — переспросил он. — Да, верно...

— Не надо сейчас ни о чем думать. Нельзя. — Носилевская произнесла это докторским тоном.

Стефан поднял чемодан, взял у нее бумаги и, не зная, что с ними делать, сунул в карман.

— Пойдемте, да? — спросила девушка. — Ригер и Паенчковский переночуют здесь. И ваш приятель с ними. Они останутся до утра. Немцы обещали отвезти их вещи на станцию.

— А Каутерс? — не поднимая глаз, спросил Стефан.

— Фон Каутерс? — протянула Носилевская. — Не знаю. Может, и вообще тут останется. — И добавила, встретив его удивленный взгляд: — Тут будет немецкий госпиталь СС. Они с Тиссдорфом об этом разговаривали, я слышала.

— Ах да, — отозвался Стефан. У него разболелась голова, заломило в висках, словно обручем сдавило лоб.

— Вы хотите здесь остаться? А я уйду.

— Вы... я любовался вашей выдержкой.

— Меня едва на это хватило. Сил больше нет, я должна идти. Я должна отсюда уйти, — повторила она.

— Я пойду с вами, — неожиданно выпалил он, чувствуя, что и он не может больше притрагиваться к вещам, которые еще хранили тепло прикосновений тех, кого уже нет, дышать воздухом, в котором еще носится их дыхание, не может оставаться в пространстве, которое еще пронизывают их взгляды.

— Мы пойдем лесом, — заметила она, — это самый короткий путь. И Гутка сказал мне, что украинцы патрулируют шоссе. Мне бы не хотелось с ними встречаться.

На первом этаже Стефан вдруг в нерешительности остановился.

— А те...

Она поняла, о чем он.

— Пожалуй, лучше пожалеть и их, и себя, — сказала Носилевская — Всем нам нужны другие люди, другое окружение...

Они подошли к воротам; сверху шумели кроны темных деревьев, и это походило на гул холодного моря. Луны не было. У калитки перед ними вдруг выросла огромная черная фигура.

— Wer da?<sup>[73]</sup>

И белый луч фонаря стал ощупывать их. На фоне поблескивавших листьев стало видно лицо Гутки. Немец обходил парк.

— Gehen Sie.<sup>[74]</sup> — Он махнул рукой.

Они прошли мимо него.

— Hallo!<sup>[75]</sup> — крикнул он.

Они остановились.

— Ihre erste und einzige Pflicht ist Schweigen. Verstehen Sie?<sup>[76]</sup>

Слова эти прозвучали угрозой.

Может, причиной тому был исполосованный клиньями тени свет, однако развевающийся, длинный, до пят, плащ и лицо со сверкающей полоской мелких зубов придавали его фигуре нечто трагическое.

Минуту молчали, потом Стефан сказал:

— Как они могут делать такое и жить?

Они уже вышли на темную дорогу и проходили как раз под накренившейся каменной аркой со стершейся надписью; на фоне неба она казалась темным полукругом. Опять свет: Гутка размахивает фонарем, прощается с ними. И опять мрак.

Пройдя второй поворот, они сошли с дороги и, увязая в грязи, побрели к лесу. Деревьев вокруг становилось все больше, они были все выше. Ноги утопали в сухих листьях, журчавших, как вода при ходьбе вброд. Шли долго.

Стефан взглянул на часы: они уже должны были бы выйти на опушку леса, откуда видна станция. Но он ничего не сказал. Они шли и шли, спотыкаясь, чемодан оттягивал руку, а лес вокруг однообразно шумел, и сквозь ветви изредка призрачно просвечивала ночная туча.

У большого с широкой кроной клена Стефан остановился и сказал:

— Мы заблудились.

— Кажется.

— Надо было идти по шоссе.

Стефан попытался сориентироваться, но из этого ничего не вышло. Становилось все темнее.

Тучи заволокли небо; казалось, оно спустилось и ветер раскручивает его над голыми кронами деревьев. Посвистывали ветки. И еще один звук, шелестящее эхо — посыпал дождь,

капли секли по лицам.

Когда они уже совсем выбились из сил, впереди вдруг выросло какое-то приземистое строение — не то сарай, не то изба. Деревья расступились, они вышли из леса.

— Это Ветшники! — сказал Стефан. — Мы в девяти километрах от шоссе, в одиннадцати от городка.

Они ушли далеко в противоположную сторону.

— На поезд уже не поспеем. Только если лошадей достанем.

Стефан промолчал: это было невозможно. Мужики наглухо запирались в избах — несколько дней назад соседнюю деревню сожгли дотла, людей, всех до единого, перебили.

Они шли вдоль плетней, колотя в двери и окна. Все будто вымерло. Подала голос собака, за ней еще одна, вскоре их сопровождал многоголосый неумолчный лай, катившийся вслед, словно волна. На околице, на пригорке, стояла одинокая изба; одно ее оконце тускло краснело.

Стефан принялся барабанить в дверь, под его кулаками она ходила ходуном. Когда он уже потерял всякую надежду, дверь открыл высокий, взъерошенный мужик. Лица его было не разглядеть, посверкивали лишь белки. Под наброшенной на плечи кофтой белела незастегнутая рубаха.

— Мы... врачи из бежинецкой больницы... мы заплутали, нужен ночлег... — заговорил Стефан, чувствуя, что говорит не так, как надо.

Впрочем, что ни скажи, вышло бы невпопад. Он считал, что знает мужиков.

Мужик не сдвинулся с места, загораживая собою вход в избу.

— Мы просим вашего разрешения переночевать, — тихо, словно далекое эхо, подала голос Носилевская.

Мужик и пальцем не пошевелил.

— Мы заплатим, — предпринял еще одну попытку Стефан. Мужик по-прежнему молчал, но и не уходил. Стефан достал из внутреннего кармана бумажник.

— Не надо мне ваших денег, — сказал вдруг мужик. — За таких, как вы, пуля положена.

— Ну зачем же так, немцы разрешили нам уйти, — возразил Стефан. — Мы заблудились, хотели на станцию...

— Застрелят, сожгут, забьют до смерти, — равнодушным голосом тянул свое мужик, переступив через порог.

Он закрыл за собой дверь и во весь свой громадный рост стоял теперь перед домом. Дождь припустил сильнее.

— Что с такими делать? — проговорил наконец мужик.

Куда-то пошел. Стефан и девушка — за ним. На задах двора стоял крытый соломой сарай. Мужик отбросил слегу и открыл ворота; от запаха лежалого сена приятно защекотало в носу.

— Тут, — сказал мужик. Как и прежде, помолчал чуток и прибавил: — Соломы подстелите. Да снопы не раскидывайте.

— Спасибо вам, — заговорил Стефан. — Может, все-таки возьмете?

Он попытался всунуть в руку мужику деньги.

— Пули они не отведут, — сухо отказался тот. — Что с такими поделаешь? — повторил он свое, на этот раз тише.

— Спасибо вам... — смущенно поблагодарил Стефан.

Мужик постоял еще немного, затем сказал:

— Спите... — закрыл ворота и ушел.

Стефан остановился у входа. Вытянул перед собой руки, как слепой: он вообще плохо ориентировался в темноте. Носилевская возилась где-то невдалеке, сгребала солому. Стефан снял облепивший спину холодный, тяжелый пиджак, с которого капала вода. Ему очень

хотелось так же поступить и с брюками. Он обо что-то споткнулся, кажется, о дышло, чуть не упал, но ухватился за собственный чемодан и вспомнил, что там у него фонарь. Нащупал замок. Нашел и фонарь, и плитку шоколада. Положил зажженный фонарь на землю и полез в карман пиджака за бумагами Секуловского. Девушка накрыла одеялом набросанную на глиняный пол солому. Стефан уселся на самый краешек и расправил листки. На первом было написано несколько слов. Буквы бились в голубых клеточках, словно в сетке. Сверху — фамилия, ниже — заглавие: «Мой мир». Он перевернул страницу. Она была чиста. И следующая тоже. Все белые и пустые.

— Ничего... — сказал он. — Ничего нет...

Его обуял такой страх, что он стал озираться по сторонам, ища Носилевскую. Она сидела, скрючившись, накинув на себя плед, и выбрасывала из-под него поочередно кофточку, юбку, белье — все насквозь мокрое.

— Пусто... — повторил Стефан; он хотел сказать еще что-то, но только хрипло простонал.

— Иди сюда.

Он взглянул на нее. Она выжимала волосы и темными волнами отбрасывала их за голову.

— Не могу, — прошептал он. — Не могу думать. Этот парнишка. И Секуловский... Это Сташек... это он...

— Иди, — повторила она так же мягко, каким-то сонным голосом.

Он удивленно посмотрел на нее. Вытащив из-под пледа обнаженную руку, она потрепала его по щеке, как ребенка. И тогда он резко наклонился к ней.

— Я проиграл... как мой отец...

Она притянула его к себе, стала гладить по голове.

— Не думай... — зашептала она. — Не думай ни о чем.

Он почувствовал на своем лице ее груди, ее руки. Было почти совсем темно, только мутно угасал фонарь, который, закатившись под солому, отбрасывал перечеркнутый полосками тени свет. Он слышал неспешное, спокойное биение ее сердца; казалось, кто-то говорит с ним на старом, хорошо понятном языке. Он все еще видел перед собой лица тех людей, из больницы, когда она мягко, задержав дыхание, поцеловала его в губы.

Потом их сжал мрак. Был резкий шорох соломы под волосатым одеялом, и была женщина, дарящая ему наслаждение, но не так, как это бывает обычно. Ни на секунду не теряя самообладания, она владела и собой, и им. И потом, утомленный, бесстрастно обнимая ее прекрасное тело, бесстрастно, но всей силой своего отчаяния, он расплакался на ее груди. А успокоившись, взглянул на нее. Она лежала навзничь, чуть повыше его, и в угасающем свете фонаря лицо ее было удивительно спокойно. Он не решился спросить, любит ли она его. Так пожертвовать собою, словно поделиться с незнакомцем последним куском, — это больше, чем любовь. Значит, и ее он не знал. Стефана вдруг поразила мысль, что он ведь про Носилевскую вообще ничего не знает, не помнит даже, как ее зовут. Он еле слышно прошептал:

— Послушай...

Она мягко, хотя и очень решительно, прикрыла его рот ладонью. Кончиком одеяла вытерла ему слезы и нежно поцеловала в щеку.

И тогда испарилось даже любопытство; в объятиях этой чужой женщины Стефан на один миг стал чистым, не замаранным ни единым словом — как в минуту, когда он появился на свет.

*Краков, сентябрь 1948 г.*



# Предисловие

Теперь я вижу, насколько неудачной оказалась моя попытка выполнить то первоначальное намерение, с которым я садился за работу: довериться памяти, послушно отдаться под ее начало и даже, сдерживая эмоции, высypать из нее, словно из кошелки, на стол все, что только со мной происходило, предполагая, что коль она удержала в себе все это, то, видимо, это было в какой-то степени важно и, быть может, именно поэтому мозаика воспоминаний, рассыпавшись, словно осколки цветного стекла из разбитого калейдоскопа, уложится в какой-то осмысленный узор и, возможно, даже не однозначный, а во взаимопронизывающее множество узоров, множество, в котором можно будет отыскать отдельные более упорядоченные участки, пусть даже только чуть-чуть обозначенные, содержащие в себе лишь намеки; и таким образом я не столько повторю в сокращенном ракурсе слов мое детство, представляющее сейчас в общем-то не более чем абстракцию как бы меня самого, но распыленного вдоль нескольких десятков календарей, вдоль всех их красных и черных листков, сколько благодаря такому приему набросаю портрет, а может быть, механизм памяти, которая ведь не является ни мною самим, ни совершенно чуждым мне идеально инертным хранилищем, емкой пустотой, секретером души со множеством щелей и тайников.

Она — память — не является мною, потому что представляет собой самостоятельную силу, не в тех же точно местах, что я сам, цепкую, не в тех же местах восприимчивую или безразличную: ведь она не сохранила в себе многое из того, что я хотел бы запомнить, и, наоборот, столько раз сберегала то, что интересовало меня менее всего. Поэтому гораздо больше, нежели себя самого, хотел я принудить к «даче показаний» именно ее, чтобы возникла ее биография, за которую, впрочем, я готов был взять на себя ответственность, хотя вовсе не распоряжался и не распоряжаюсь своею памятью. Это должен был быть эксперимент, результатов которого я и сам ожидал с нетерпением, словно бы это не обо мне шла речь, будто источником образов и сведений должен был стать не я, а некто иной. Просто так уж случилось, что этот *некто* давным-давно сидел во мне, был как бы спрятан, наподобие того, как внутренние слои дерева, налившиеся соком во времена его детства и юности, окружены множеством наслоений периода зрелости. В таком смысле можно уже почти буквально принять, что то юное деревцо, которое росло десятки лет назад, укрыто в этом большом, старом.

Я действительно не знаю, когда меня впервые чрезвычайно удивило то обстоятельство, что я существую, и одновременно немного напугало то, что ведь вот меня могло вообще не быть или же я мог стать каким-нибудь прутиком, одуванчиком, козьею ногой или улиткой. А то и камнем. Порой мне кажется, что это было еще перед войной, то есть во времена, здесь описываемые, но я не так уж в этом уверен. Во всяком случае, это чувство изумления кануло в Лету, так и не перейдя в мономанию. Я подступал к нему позже с разных сторон, по-всякому к нему подбирался, порой бывало, что я уже начинал считать его полнейшей бессмыслицей, чем-то постыдным, предосудительным. Но потом опять всплывал вопрос: а почему, собственно, мысли текут в голове в ту, а не в другую сторону, что ими управляет и кто дирижирует? Некоторое время я довольно сильно верил, что душа, а точнее сознание, находится у меня где-то за носом, немного пониже глаз, сантиметрах в четырех или пяти от кожи. Почему? Не имею понятия.

Вероятно, это была «подфилософия», подобно тому как некогда, еще раньше, вместо мышления было какое-то «под-» или «предмышление». И это я тоже хотел вытрясти из памяти вместе со всем ее содержимым. Это должно было произойти само по себе, мой же труд — ограничиться исключительно воспоминанием, как бы встряхиванием этой метафорической кошелкой. К сожалению, из моей затеи ничего не получилось. Вижу, что хотел я того или нет,

вспоминая, я одновременно упорядочивал эти воспоминания, к тому же делал это так, чтобы они складывались в стрелки, достаточно определенно указывающие на меня, меня сегодняшнего, так называемого литератора, то есть человека, занимающегося одной из наименее серьезных и наиболее стеснительных работ: безумно трудоемким сочинительством, которое обычно характеризуют разными учеными или обозначающими неведомо что названиями, вроде «писательская кухня». Что касается меня, то никакой такой кухни у меня нет. Во всяком случае, до сих пор я ее не замечал. Итак, все, что я высypал из кошелки памяти, сразу же, на лету направлялось в соответствующее русло, правда, этак легонько-легонько. Не может быть и речи о какой-то преднамеренной лжи, подтасовке. Все происходило само по себе, во всяком случае — неумышленно. Впрочем, я не оправдываюсь.

Лишь теперь, вторично, словно детектив, идущий по следам совершенного преступления, которое состояло в ловком упорядочении даже того, что в свое время вовсе не было ни упорядоченным, ни указывающим в мою — литератора — сторону, я вижу во всем, что написал, эту нацеленную в меня — повзрослевшего на четверть века — стрелу. Это тем более удивительно, что я никогда не считал, будто «я родился писателем», будто *hoc erat in votis*. [177](#) Впрочем, я и сейчас так думаю. То есть в том детстве и оставшемся после него старье было, наверно, множество пересекающихся тропинок, по которым можно было пойти, направлений, которыми можно было воспользоваться, преимущественно бессистемных, кончающихся тупиками, обрывающихся; а может, это вовсе были и не тропинки, а лишь множество разделенных пространством и временем островков; это не был абсолютный хаос, потому что хотя бы уже то, что были дом, школа, родители, что вначале, будучи еще совершенно маленьким, я прилеплял себе к носу зеленое «крылышко», а потом, взрослея, ходил в школьном мундирчике, уже это само по себе создавало достаточно явный порядок. Но это был, пожалуй, такой же порядок, как на пустой шахматной доске, на которой по желанию можно увидеть черно-белые полосы, идущие либо вдоль, либо поперек, либо же по диагонали. Достаточно небольшого усилия воображения — и все переиначивалось так, как мы того пожелаем. Шахматная доска по-прежнему остается шахматной доской, и мы не можем увидеть ничего, кроме того, что на ней есть в действительности — белые и черные квадраты попеременно, — и лишь их порядок, направление неожиданно меняются. Видимо, нечто подобное случилось с нарисованной в этой книжке шахматной доской памяти. Я ничего не прибавлял, но один из многих возможных порядков, направлений черно-белых клеточек моего детства слегка акцентировал. Или так получилось потому, что мы невольно ищем лейтмотив, ведущую ось, логику жизни, чтобы не чувствовать себя виновными даже перед собою за то, что столько начатых направлений было брошено, потеряно, не использовано? Или просто и только потому, что мы хотим, чтобы все, что есть, равно как и то, что было, всегда имело какой-то четкий и однозначный смысл, хотя этого вовсе могло и не быть? Будто недостаточно так вот просто жить, я уж не говорю, в зрелом возрасте, когда неопределенность, отсутствие четкого смысла не позволяет нам чувствовать себя «на высоте», — но в детстве? Я хотел «предоставить» слово неискушенному ребенку, по возможности не мешая ему, а вместо этого поживился за его счет, выпотрошил ему карманы, тетради, ящички, чтобы похвалиться перед старшими, каким многообещающим он был уже тогда, какими личинками, куколками будущих достоинств были даже его грешки, а чтобы этот грабеж как-то оправдать, я превратил его в красивый указатель пути, чуть ли не в целую систему. Таким образом, я написал еще одну книгу, словно с самого начала не знал, не догадывался, что иначе и быть не может, что все намерения присматривать за тем, чтобы воспоминания были протокольно точными, все эти строгие наказания ничего не добавлять от себя — самообман.

Я слишком много говорил, слишком много интерпретировал, комментировал чужие

секреты и забавы — ведь не свои же, ибо их уже нет, они не существуют; я очень старательно, спокойно, деловито, словно бы писал о ком-то выдуманном, кто никогда не жил, кого можно сформовать, не отступая от канонов эстетики, в соответствии с волей и планом, построил этому мальчонке надгробие, заточил его там.

Это было нечестно. Так с детьми не поступают.



Помните ли вы набор загадочных предметов, которые лилипуты обнаружили в карманах Гулливера? Таинственные и фантастические штучки вроде гребня-частокола, огромных часов, издающих ритмичный гул, и множества иных вещей, назначение которых было уж совсем непонятным? Я тоже был когда-то лилипутом. Я знакомился с отцом, взбираясь на него, когда он сидел на стуле с высокой спинкой, и исследовал те карманы его черного, пахнущего табаком и больницей костюма, к которым он меня допускал. В левом кармане жилета лежал металлический цилиндр, напоминающий патрон на крупного зверя; цилиндр раскручивался, и становилась видна маленькая пирамидка никелированных вороночек, нанизанных одна на другую; каждая следующая немного отличалась диаметром от предыдущей. Это были отоскопы. В соседнем кармане хранился карандаш, исписанный уже почти до конца еще во времена моих первых изысканий. Он был вставлен в золотую оправу, из которой высовывался, стоило на нее нажать. Правда, для этого нужна была сила побольше той, на которую я был способен. В правом кармане сюртука хранилась металлическая коробочка с плюшевой подкладкой, довольно грозно хлопающая; там же лежал крохотный кошелечек, только, кажется, не для монет: в нем вообще ничего не было, кроме кусочка замши; кошелек как-то сам раскрывался, стоило отстегнуть застежку. В том же кармане хранился маленький серебряный футлярчик с кнопкой на крышке; в футлярчике находилась тоже серебряная, как мне помнится, пластинка с прикрепленной снизу плоской темно-фиолетовой резинкой, к которой нельзя было притрагиваться, потому что пальцы тут же становились чернильными. В левом кармане сюртука лежало надтреснутое круглое зеркало с дыркой посередине и черным ремешком с застежкой. Это зеркало здорово увеличивало мое лицо, делая из глаза что-то вроде огромного пруда, в котором, словно круглая рыба, плавала каряя радужница, а сам пруд был окружен камышами — толстыми ресницами: На золотой цепочке, пристегнутой к жилету, были укреплены плоские золотые часы с тремя крышками. У часов были цифры, именуемые римскими, и маленькая секундная стрелка. Открывать заднюю крышку часов я не умел, да и не всегда это можно было делать. Там жили маленькие колесики с рубиновыми глазками, светящиеся и двигающиеся. Таким образом, я узнавал отца вблизи. Он носил белую сорочку в узкую черную полоску; манжеты к сорочке пристегивались пуговицами, а твердые воротнички — запонками. Множество таких воротничков, уже использованных, лежало в ящиках комода. Они ласкали руку своей эластичной твердостью, и мне всегда казалось, что из них можно бы сделать что-то интересное, полезное, но я так и не сообразил, что бы это могло быть. Галстук у отца был мягкий, черный, напоминал шарф, отец завязывал его на манер банта. У шляпы были широкие мягкие поля и отличнейшая резинка — натягивать ее было одно удовольствие. Тросточек было две, одна время от времени терялась. Это были обыкновенные тросточки; необыкновенная же, с серебряной конской головой, была у дяди, а какой-то незнакомый мне человек, невероятно старый, еле двигающийся, пользовался еще одной тросточкой, с ручкой из слоновой кости. Однако я никогда не видел ее вблизи, когда приходил тот человек: он ужасно сопел. Я не знал, что он вовсе и не пытался напугать меня своим сопеньем. Это, кажется, тоже был какой-то дядя, вроде бы даже прадеда, но, по моему глубокому убеждению, на дядю он не походил ничуть.

Жили мы на Браеровской улице, в доме номер четыре, на третьем этаже. На прогулку обычно ходили — отец и я — в Иезуитский сад или вверх по аллее Мицкевича, в сторону церкви святого Юра. Не знаю, зачем отец носил тросточку: в то время он ею еще не пользовался. Зимними днями, когда в саду было еще слишком много снега, мы прогуливались по Маршалковской перед Университетом Яна Казимира, где, задрвав голову, я мог рассматривать

огромные полунагие каменные фигуры в странных, тоже каменных, шляпах. Эти фигуры неподвижно исполняли свои непонятные функции: одна сидела, другая держала раскрытую книгу, оперев ее о колено. Постоянное задирание головы было мучительным, поэтому в основном я рассматривал шествующего рядом отца примерно на уровне колена — немного выше. Однажды я заметил, что на отце не обычные его ботинки со шнурками, а какие-то совершенно мне незнакомые, гладкие, без следа застежек. Исчезли и его гамаши, с которыми он не расставался. «Откуда у тебя такие ботинки?» — удивленно спросил я, и тогда с высоты раздался чужой голос: «Вот это смельчак!»

Это был вовсе не отец, а какой-то чужой пан, к которому я неведомо как пристал; отец шёл в нескольких шагах позади.

Я перетрусил. Видно, это было не очень приятное переживание, коль я его так хорошо запомнил.

Иезуитский сад был не очень велик, но все равно однажды я в нем заблудился; однако это случилось так давно и я был такой маленький, что, собственно, это даже не мое воспоминание; мне просто об этом рассказывали. В кустах — кажется, в орешнике, потому что ветки были красные, — стояла огромная бочка с водой; спустя, вероятно, лет тридцать я перенес ее в рассказ «Сад тьмы». Правду говоря, Иезуитский сад не был таким уж привлекательным. Другое дело Стрыйский парк. Там было озерко в форме восьмерки, а по правой стороне шла аллея, ведущая на край света. Почему я так считал, не знаю. Может, потому, что мы никогда туда не ходили, может, мне кто-нибудь так сказал. Но, пожалуй, я все-таки выдумал это сам и даже довольно долго склонен был в это верить. У Стрыйского парка были, по крайней мере, две достопримечательности: запутанная топография и великолепное соседство выставочного района Восточной ярмарки. Зимой и летом над ней возвышалась башня Бачевского, четырехугольная, вся обложенная рядами запечатанных разноцветных бутылок. Меня всегда интересовало: был ли в бутылках настоящий ликер или только цветная вода? Но этого не знал никто.

В Стрыйский парк мы обычно ездили на дрожках, а в Иезуитский сад просто шли пешком. А жаль, потому что проезжая часть площади перед университетом была выложена специальной брусчаткой — деревянной, — и конские копыта, ударяя по ней, высекали особый звук, словно под брусчаткой скрывалось какое-то огромное пустое пространство. Это не значит, что столь близкие прогулки не доставляли мне удовольствия.

У входа в сад сидел человек с «колесом счастья». Мне несколько раз удавалось выиграть жестяные портсигары с желтоватыми резинками для удержания папирос. Но по большей части доставались лишь двусторонние карманные зеркальца. Там же стояли лотки с мороженым, которое мне запрещено было есть. А потом, когда я немного подрос, я там иногда встречал Анюсю. Старушечка немного повыше меня ростом, в проволочных очках, с корзинкой кренделей, когда-то была моей первой воспитательницей. Крендели поменьше шли по пять грошей за пару, и эти я предпочитал, те же, что потолще, стоили пять грошей штука. Десять грошей называли «шустак»<sup>[78]</sup> — это была солидная сумма.

Домой из сада возвращались или напрямик, или окружной дорогой через плац Смолки.<sup>[79]</sup> Это делалось для того, чтобы в лавке Оренштейна купить фруктов, а то и вишневый компот в жестяной банке, который считался редким деликатесом. В витрине всегда возвышалась пирамида румяных яблок, мандаринов и бананов с овальной этикеткой, снабженной надписью «Fyffes». Слово это я запомнил, но что оно означало, не знаю до сих пор. Немного дальше, там, где начиналась Ягеллонская улица, находилось кино «Марысенка».<sup>[80]</sup> Я его ужасно не любил, потому что ходил туда с матерью, когда, мне думается, она не знала, что со мной делать. Того, что происходило на экране, я не понимал и скучал страшно. Порой кончалось тем, что

потихонечку, украдкой я сползал со стула на пол и принимался на четвереньках исследовать окрестности, ползая между ногами людей, но и это тоже скоро надоедало. Поэтому приходилось ждать, пока фильм кончится. Паны и пани на экране безмолвно открывали и закрывали рты, и все это действие сопровождалось музыкой. Вначале фортепьянной, позже, кажется, с граммофонных пластинок.

Да, так, значит, мы возвращались домой. С площади Смолки, посередине которой возвышалась его каменная персона, надо было идти по неинтересной улице Подлевского, а потом по маленьким улочкам Шопена и Монюшки, где сильный запах кофе из курилки свидетельствовал о том, что вот-вот покажется наш дом.

За мрачными и тяжелыми железными воротами начинались каменные ступени. По черной лестнице, кухонной, ходить не полагалось. Она была спиральной, очень крутой и издавала глухой жестяной звук. Меня туда все время что-то тянуло, но, кажется, во дворе, через который сначала надо было пройти, жили крысы. Однажды такая крыса даже появилась у нас на кухне; в то время мне было уже лет, наверно, десять, а может, и одиннадцать. Крыса была страшная. Когда я двинулся на нее с кочергой, она прыгнула мне на грудь; я сбежал, и ее дальнейшая судьба мне не известна.

Мы жили в шести комнатах, и все-таки своей у меня не было. К кухне примыкала проходная комната со старой кушеткой, старым, некрасивым буфетом и подоконными шкафчиками, в которых мама хранила запасы; одна дверь, покрашенная в тон стены, вела в ванную, другая — в коридор, из которого можно было попасть в столовую, кабинет отца и спальню родителей; особая дверь вела в запретную зону — приемную отца. Я жил вроде бы везде и одновременно нигде. Сначала я спал с родителями, потом на диване в столовой, время от времени пытался в каком-нибудь месте осесть, но из этого ничего не получалось. Когда было тепло, я оккупировал небольшой каменный балкон, на который можно было попасть через кабинет отца. С него я — мысленно — совершал нападения на соседние дома, трубы которых, дымя, превращали их в военные корабли. Сидя на балконе, я чувствовал себя Робинзоном, а точнее — самим собою, заброшенным на необитаемый остров. Мои интересы уже с малых лет были тесно связаны с гастрономией. Я массу времени уделял созданию запасов провизии. Особую симпатию я питал к зернам лущеной кукурузы в маленьких бумажных пакетиках, бобам, а когда приходила пора, к черешне — боевому сырью: ее косточками было неплохо стрелять из оружия ближнего боя, то есть с помощью пальцев. Не оставались без внимания и липкие кофейные тянучки и остатки сладкого после обеда. Я окружал себя тарелочками, мешочками, пакетиками и начинал многотрудную и полную опасностей жизнь отшельника. Грешнику, даже преступнику, мне было о чем поразмыслить. Я научился проникать в центральный ящик буфета, в котором мама прятала ватрушки и торты; я вынимал верхний ящик и ножом обрабатывал кружочки сладкого теста с таким расчетом, чтобы на первый взгляд нельзя было ничего заметить. Потом собирал и съедал крошки, а нож, орудие преступления, старательно облизывал для сокрытия следов. Порой здравый смысл боролся во мне с мрачной страстью к засахаренным фруктам, которыми были украшены кондитерские изделия, и я неоднократно обдирал глазированную поверхность, безбожно лишая ее зеленого, сладко хрустящего под зубами аира, апельсиновых корочек и цукатов, так что появившиеся пролысины уже невозможно было скрыть. Потом я ожидал последствий рокового поступка с чувством безнадежности, а одновременно со стоическим отчаянием.

Свидетелями моих балконных сиест были два олеандра в больших деревянных кадках, цветущие один белым, другой розовым цветом; я сосуществовал с ними на принципе нейтралитета; от их присутствия мне было ни холодно, ни жарко. В комнатах тоже было несколько растений-вырожденцев, дальних измельчавших родственников южной флоры; какая-

то пальма, которая, если мне память не изменяет, все время умирала, но никак не могла погибнуть окончательно; филодендрон с жестяными листьями и маленькая сосенка, а может, елочка — не помню, — каждый год выпускающая бледно-зеленые пахучие стрелочки юных иголок.

В спальне были две вещи, с которыми связаны мои самые ранние воспоминания: потолок и огромный железный сундук. Я спал там, а спальне, будучи еще совсем маленьким, и часто рассматривал лепной потолок, на котором с помощью гипса были изображены дубовые листья и между ними пузатые желуди. Мои предсонные мечтания как-то переплелись с этими желудями, и я много думал о них — точнее, их созерцание занимало много места в моем психическом бытии. Мне ужасно хотелось их сорвать, но не взаправду — словно я уже тогда понимал, что острота желаний гораздо важнее их осуществления. Между прочим, что-то от этой инфантильной мистики перешло на настоящие, живые желуди: снятие с них шапочек в течение многих лет казалось мне чем-то особым, приоткрывающим что-то необычное, актом, имеющим огромное значение. Я ломаю себе голову, пытаюсь понять, почему это было для меня столь важным, — пожалуй, напрасно.

В спальне, в которой я спал — да, кажется, в ней, — умерли мои дедушка и бабушка. После дедушки остался железный сундук, предмет чрезвычайно тяжелый, огромный, никому не нужный, что-то вроде домашней сокровищницы тех времен, когда еще не было профессиональных взломщиков сейфов, а существовали лишь примитивные со всех точек зрения воришки, в наивности своей пользовавшиеся какой-нибудь палкой либо дубинкой. Железный сундук был приставлен к наглухо заколоченной двери, отделяющей спальню родителей от комнаты ожидания для больных. Сундук был снабжен большими ручками и плоской крышкой с какими-то вырезанными на ней листьями и квадратным клапаном посередине. Стоило этот клапан особым образом нажать сбоку, как он отскакивал, открывая отверстие для ключа — хитрость, как я теперь вижу, была трогательно добропорядочной. Однако в то время черный сундук казался мне делом рук каких-то изощренных умельцев и уж совершенно сверхъестественное изумление вызывал во мне ключ к нему: огромный, как мое предплечье. Я долго и нетерпеливо дорастал до того момента, когда смог, наконец, впервые повернуть его в скважине; эта операция потребовала от меня максимальных усилий, и, лишь ухватив ключ обеими руками, я смог одолеть его сопротивление.

Правда, я знал, что в сундуке нет сокровищ. Там на дне лежало несколько старых, пожелтевших газет, бумаг и деревянная шкатулка, полная восхитительных тысячемарочных банкнотов времен большой инфляции. Я даже пытался играть этими марками, а также сторублевками, которые были еще красивее: голубоватые, очень веселые, в то время как коричневато-бурые немецкие мерки немного напоминали по цвету замызганные обои. Какая-то непонятная история приключилась с этими деньгами, неожиданно лишив их могущества. Вот если бы мне их не давали, я, может, и поверил бы в то, что остатки могущества, гарантированного цифрами, печатями, водяными знаками, портретами коронованных бородатых панов в овале, в них еще сохранились и только дремлют до поры до времени. Но я мог делать с ними что душе угодно, и поэтому они только вызывали презрение, которое обычно начинаешь чувствовать к великолепию, оказавшемуся на поверку вульгарной подделкой. Поэтому рассчитывать я мог не на эти банкноты, а лишь на то, что *могло бы* произойти внутри черного сундука, пока он находился под замком, а замкнут он был, собственно, всегда — с моего молчаливого согласия, которого, естественно, никто не спрашивал. Да, надо думать, там, в темноте, внутри, *могло* что-нибудь случиться. Поэтому процесс открывания сундука был актом весьма значительным и нелегким. С трех сторон ужасно тяжелой крышки откидывались длинные петли; крышку надо было поднять и подпереть специальными подпорками, иначе,

падаая, она могла — как меня в том уверяли и во что я охотно верил — отсечь голову. От такого сундука можно было всего ожидать. Он вовсе не был симпатичным, или приятным, или хотя бы просто красивым. Скорее угрюмым и безобразным, тем не менее я долго рассчитывал на его собственную внутреннюю силу. В дне сундука были предусмотрительно высверлены отверстия, чтобы его можно было наглухо привернуть к полу: отличная идея. Но не было уже винтов, теперь излишних; потом сундук накрыли старым ковриком, и, таким образом, он был окончательно занесен в разряд ненужной мебели, унижен, и его перестали замечать. Иногда, очень редко, я показывал кому-нибудь из ровесников ключ от него — он вполне мог сойти за ключ от городских ворот. Но со временем и он куда-то запропастился.

В примыкающем к спальне кабинете отца стоял большой застекленный книжный шкаф с внутренним замком, огромные кожаные кресла и круглый столик с довольно интересными ножками: они напоминали кариатид; под самой крышкой каждая из них кончалась металлической головкой, а внизу из-под дерева, словно из маленького гробика, выступали босые, тоже металлические, человеческие ступни. Однако это вовсе не казалось мне жутким и вообще не вызывало у меня никаких ассоциаций. Я одну за другой методично пооткручивал все головки — пустые бронзовые отливки, — и хотя потом старательно попридельывал их на место, они все равно болтались под крышкой стола при каждом его перемещении.

У стены в одиночестве стоял замкнутый на все замки письменный стол отца, покрытый зеленым сукном. Там в совсем будничном ящике хранились деньги, но уже настоящие. Изредка в нем гостили сокровища более значительные, с моей тогдашней точки зрения, — коробочка шоколада Нардалли, привезенная из самой Варшавы, или другая — с фруктовым мармеладом. Отец обычно долго священнодействовал связкой ключей, прежде чем какая-нибудь из этих сладостей, по-аптечному отмеряемых, появлялась передо мной, разрываемым двумя взаимоисключающими желаниями: проглотить угощение молниеносно или же упиваться перспективой этого поглощения по возможности дольше. Как правило, я все проглатывал сразу. В столе были замкнуты еще две удивительно интересные вещи. Маленькая заводная птичка в коробочке, выложенной перламутром, родом, кажется, с Восточной ярмарки. Птичка эта была не подлежащим продаже экспонатом какой-то экзотической экспозиции. Отец, увидев, что после нажатия миниатюрной кнопочки открылась плоская перламутровая крышечка, а под ней вторая — в золотую клеточку, — и став свидетелем того, как из — коробочки выскочила малюсенькая, меньше, чем ноготь, птичка, вся темно-радужная от блесток, и, трепеща крыльшками, шевеля клювиком, стреляя глазками, вертелась, словно флюгер на костеле, и пела, привел в движение все пружины, знакомства и связи, так что в конце концов за неведомую мне баснословную сумму купил эту драгоценность, которую он лишь в исключительных случаях доставал из-под замка и заводил, тщательно заботясь о том, чтобы она не попала мне в руки, ибо было совершенно очевидно, что это была бы последняя минута в жизни птахи, хотя я не меньше отца дивился ею и даже почитал. Птичку отцу продал, кажется, очень важный представитель заморской фирмы, а еще точнее — японец. Во всяком случае, именно такой версии я остался верен. Некоторое время в столе обитала другая птичка, похуже, размером с воробья, заводная, которая заядло долбила стол, если ее на него ставили. Однажды я выпросил ее на некоторое время; в тот день и окончилась ее история. Были еще в столе отца всякие диковинки, из которых лучше всего я помню очки из золотой проволоки со стеклышками-рубинами, тоже в золотом футлярчике, длиною не больше маленькой спички. Другие, менее ценные вещички хранились в стеклянном шкафу в столовой. Это были плоды искусства миниатюризации — крохотный столик с шахматной доской и раз навсегда расставленными на ней шахматами, курятник с курочками, скрипки (у них я повыдергивал струны) и разная мелочь из слоновой кости, какие-то стульчики, диванчики, яйцо, которое, открываясь, являло миру множество сбившихся в кучу

фигурок, потом еще серебряные рыбки, сделанные из пустых металлических члеников, что позволяло их изгибать в две стороны, а также, помнится, коричневые креслица с обивкой; сиденья были размером с ноготь, атласные и мягкие. Сам не знаю, каким чудом большинство этих предметов в течение многих лет выдерживало мое активное присутствие. Однако возвращаюсь к кабинету, к его старым большим креслам; в узких, но глубоких провалах между их спинками и сиденьями постепенно накапливались разные предметы — монеты, пилки для ногтей, ложечки, гребешки; все это я весьма усердно, выкручивая себе пальцы, а креслам коленчатые пружины, скрипевшие словно в агонии, вылавливал, вдыхая аромат мертвой кожи, столярного клея, шершавого полотна. Меня влекли не столько сами находки, сколько неясная надежда, что я найду — или даже скорее, что они сами как-то вылупятся, — предметы совершенно иные, наделенные непередаваемыми свойствами. Поэтому на всякий случай я должен был быть один, когда с тихой яростью принимался пытаться потемневших от старости лентяев. То, что ничего необычного я в них не обнаруживал, как-то не остужало моего запала.

Теперь, пожалуй, уже пришла пора поговорить о первых основах мифологии, которую я в то время исповедовал. Я верил, например, никому не признаваясь в этом, что мертвые предметы не менее, чем люди, ущербны, а следовательно, и они могут страдать рассеянностью; и если запастись терпением, то их можно заставить врасплох, принуждать, в частности, к делению. Так, если, скажем, лежащий в шкафу перочинный ножичек забудет, где ему быть положено, то его удастся отыскать в совершенно ином месте — например, между книгами на полке; и тогда, попав в совершенно безвыходное положение и не будучи в состоянии выбраться из шкафа, он удвоится и получится два одинаковых ножичка. Таким образом, я считал, что предметы подчиняются некоей логике неизбежности, они должны подчиняться определенным правилам, и лишь тот, кто отлично знал эти правила, мог добиться от этой якобы мертвой материи желаемых результатов. Долгое время немного бездумно, а немного и бессознательно я исповедовал эту религию — и не могу сказать, избавился ли я от нее окончательно и по сей день.

Книжный шкаф — поскольку он был замкнут — притягивал меня. В нем находились прежде всего медицинские книги, анатомические атласы отца; и благодаря его рассеянности я имел возможность с их помощью солидно и методично ознакомиться с особенностями, касающимися различия полов. Однако, странное дело, гораздо больше меня привлекали тома остеологии. Человек с содранной кожей, изображенный на кроваво-красных или кирпичных миологических картинках, мне не нравился; в нем было что-то от крови, от сырого бифштекса, которого я не переносил, которым гнушался. Зато скелеты были очень опрятны. Не знаю, сколько мне было лет, когда я впервые листал эти черные тома in quarto <sup>[81]</sup> с большими желтыми гравюрами черепов, ребер, тазобедренных суставов и берцовых костей. Во всяком случае, я не боялся ни этих мертвецов, ни их костей, но и особого удовольствия они мне тоже не доставляли. Это немного напоминало изучение описаний к большим Детским «Конструкторам», в которых вначале нарисованы отдельные рычажки, оськи, колесики, а уж потом, на следующих страницах, конструкции, которые можно из них собирать. Возможно, остеологические атласы были в какой-то степени созвучны моим, правда проявившимся значительно позже, конструкторским интересам. Я добросовестно изучал эти тома и некоторые рисунки помню по сей день. Например, костлявые ступни скелетов; маленькие косточки, связанные полосками сухожилий, раскрашенных, возможно, для большей выразительности в голубой цвет.

Отец был ларингологом, поэтому основную часть библиотеки составляли пухлые книги, посвященные болезням уха, горла, носа. Эти органы вместе с их недугами я втихую и по секрету считал второсортными, в чем отдаю себе отчет лишь сейчас. Среди множества книг находился



монументальный труд, многотомный немецкий «Handbuch»<sup>[82]</sup> оториноларингологии. В каждом его томе было не меньше тысячи меловых страниц. Там можно было увидеть бесчисленные человеческие головы, разрезанные самым неожиданным образом, со всей их чрезвычайно старательно вырисованной и раскрашенной машинерией; притягивали меня также и изображения мозгов, отдельные слои которых отличались друг от друга всеми мыслимыми цветами. Бессознательно и, надо сказать, не очень умно я много лет спустя удивился, впервые увидев в прозекторской мозг в натуре (то есть, разумеется, в виде анатомического препарата). Он вовсе не был таким уж попугаичьи пестрым.

Поскольку эти анатомические сеансы были запрещены, мне приходилось организовывать их особым образом. Подробная разработка тактических ходов отнюдь не является привилегией одних лишь взрослых — любой ребенок кровно заинтересован в их организации. Я словно наездник сидел на большом поручне кресла, которое хрустело кожей при каждом моем движении, и, защитившись со стороны входной двери открытой створкой книжного шкафа, чтобы иметь возможность в любой момент сказать, что я-де только что его открыл, а также по возможности быстро и незаметно всунуть книгу на свое место, опирал извлеченный том о спинку кресла и в такой позиции предавался изучению. Интересно и то, что я тогда думал: меня особенно привлекала аккуратность, точность исполнения рисунков — разочарование опять пришло лишь много лет спустя, когда я понял, будучи уже студентом медицинского института, что в кабинете отца я рассматривал лишь идеал и абстракцию расположения нервов или крючков для оттягивания сухожилий. Не помню также, чтобы я когда-нибудь связывал то, что рассматривал, с собственным телом. В этих огромных изображениях не было ничего тревожного — быть может, благодаря деловитости, фрагментности, пытливой многосторонности, присутствовавшей в пухлых томах даже тогда, когда они являли мне не только анатомические детали, но и кончики нарисованных пальцев, держащих тупые или острые крючки, с помощью которых полагалось для лучшей видимости оттягивать в стороны участки разрезанной кожи. Были там и другие книги, уже с действительно жуткими картинками, но, собственно, настолько уж жуткими, что я их тоже не боялся. На них были изображены изуродованные войной человеческие лица; там были лица безносые, лишённые челюстей, ушных раковин и даже в полном смысле слова лица без лиц, от которых остались одни лишь глаза, глядевшие из рубцов шрамов с выражением, которое мне ни о чем не говорило. Мне не с чем было его сравнить, оно мне ничего не напоминало. Может, от таких картинок немного и бегали по спине мурашки, но, пожалуй, так же, как при слушании сказок — а ведь обычно в них происходят ужасные вещи, — так что эта дрожь, в принципе желанная и даже приятная, не была для меня чем-то из ряда вон выходящим. Более того: многие картинки мне просто казались смешными, так как, посвященные проблемам протезирования, они демонстрировали прицепленные к очкам искусственные носы, уши на ленточках, масочки, имитирующие лёгкую улыбку, совсем невинную, какие-то искусные затычки для продырявленных щек, зубные протезы, заменители нёба. Все это казалось мне каким-то маскарадом, какими-то развлечениями для взрослых, не совсем понятными, как и множество их обычаев, но я не видел в них ничего плохого или позорного. Это мне даже в голову не приходило. В принципе только один предмет, не книжка, вызывал беспокойство. На одной из полок, перед золочеными корешками толстых томов, лежала височная кость, прокипяченный препарат, результат так называемой полной операции на среднем ухе, с пробитым сосочным отростком. Разумеется, ничего этого я не знал, просто эта кость, по весу, на ощупь немного похожая на те, что оставались на самом дне супницы с бульоном, обнаруженная в книжном шкафу, словно бы умышленно подброшенная, заставляла задуматься и даже немного тревожила. У нее был какой-то особый запах, прежде всего пыли, книг, библиотеки, но сквозь него тонкой струйкой пробивался другой, немного сладковатый, а

немного с гнильцой. Иногда я подолгу обнюживал ее, как бы пытаюсь уразуметь, что же, собственно, это такое, словно бы обоняние было тем чувством, которое уведет меня дальше остальных. В конце концов это вызывало легкое отвращение; тогда я откладывал кость, стараясь положить ее на ту же полку, на которой она лежала до этого.

На более низких полках почивали кучи растрепанных, поразорванных французских романов без обложек и каких-то журналов; один — на немецком языке — назывался «Uhu». [83] То, что я мог прочесть названия, не помогает мне установить хронологию этих начинаний, поскольку печатный шрифт я умел читать уже в четыре года. Я только листал рассыпающиеся, сброшюрованные французские романы, так как в них были иллюстрации достаточно фривольные, в стиле fin de siècle. [84] Вероятно, там были напечатаны какие-то пикантные истории, но это вывод современный, более поздняя реконструкция, опирающаяся на воспоминания, уже сильно размытые влиянием времени. На одних страницах были видны дамы и господа в изысканных светских позах, а несколькими страницами дальше эта галантность вдруг уступала место утопающей в кружевах наготе, кто-то убегал через окно, теряя брюки, нагие дамы в длинных черных чулках бегали по комнате; теперь я вижу, что соседство обоих видов книжек было достаточно своеобразным, а сам порядок, в котором я все это листал, был тоже достаточно забавен, забавен до ужаса, коль скоро я, наездник на кресле, без всяких хлопот или колебаний, ничтоже сумняшеся, переходил от скелетов к фривольной эротике. Как бы там ни было, я воспринимал все это так же, как принимал облака, деревья; ведь я все еще всему учился, ко всему должен был привыкать, и ничто у меня, собственно, ни с чем не вступало в диссонанс.

На книжной полке лежала длинная жестяная труба с широким концом, из нее торчал рулон плотной желтоватой бумаги, от которой шел плетеный черно-желтый шнур, заканчивающийся плоской коробочкой, содержащей в себе как бы маленький светло-красный пряник с выпуклым изображением и надписями. Это был докторский диплом отца на пергаменте, возвышенно начинающийся отпечатанными огромными буквами словами: «SUMMIS AUSPICIIIS IMPERATORIS AC REGIS FRANCISCOSEPHI...», [85] пряник же, который я осторожно раз за раз пытался надкусить, но больше не пробовал, так как он был невкусный, представлял собой большую восковую печать Львовского университета. Разумеется, вначале я знал лишь, что в трубе хранится диплом (мне это сказал отец, хоть я и не понимал, что это значит), который мне запрещалось вынимать из трубы (при этом я не очень-то верил, что пергамент действительно сделан из обработанной ослиной кожи). Позже я уже мог прочесть несколько слов, ничего, однако, не понимая. В первом, кажется, классе гимназии я уже мог перевести эти возвышенные слова; я говорю об этом потому, что на примере диплома отчетливо виден тот процесс возобновляемого и многократного познания предметов и явлений, с помощью которого я постепенно как бы переходил с этажа на этаж; каждый раз я узнавал очередную версию явления или вещи, что само по себе не представляет ничего необычного. Каждый это знает, ибо, знакомясь с историей собственного происхождения, любой из нас вначале познает «версию аиста», а уж потом вторую, более реалистичную. Но дело в том, что все предыдущие версии, даже явно фальшивые, как, например, «версия аиста», не исчезают бесследно, отброшенные. Что-то от них в нас остается, сливается с последующими, смешивается, одним словом, как-то продолжает существовать. Конечно, если говорить о фактах вроде диплома моего отца, то нетрудно установить истинную версию, ту единственную, которая соответствовала истине. Иначе обстоит дело с переживаниями. У каждого из них свой вес и своя правда, безапелляционная и ни от чего, кроме себя самой, не зависящая, и в этом вся беда, поскольку единственным стражем и гарантом их истинности в воспоминаниях является память. Конечно,



можно бы отметить, что существуют «переживания неадекватные», вроде моих измышлений, касавшихся черного железного сундука. Однако не всегда удается сделать столь окончательный вывод.

За боковой створкой двери в отцовской библиотеке находились плотно уложенные книги, к которым я даже не приступал, убедившись однажды, что картинок там нет. Я лишь помню цвет и вес некоторых из них, не более. Много бы я дал за то, чтобы узнать, что же собрал там мой отец, но библиотека полностью погибла во время войны, и от нее не осталось и следа, а потом творилось такое и столько, что было просто некогда разбираться в этом. Поэтому версия, созданная ребенком, примитивная, неверная, собственно, никакая, должна стать для меня единственной, и это относится не только к книгам, но и ко множеству событий, подчас драматичных, которые разыгрывались над моей головой. Если бы я пытался их реконструировать задним числом, делать выводы и строить домыслы, это превратилось бы в рискованный труд, — кто знает, не нафантазировал ли бы я к тому же уже не как ребенок. Поэтому, я думаю, мне надо отказаться от подобного намерения.

В столовой, как я уже говорил, кроме разношерстных стульев и стола, раздвигаемого во время больших приемов, стоял солидный буфет, средоточие сладостей, этажерка с «нипами», [\[86\]](#) специальностью матери, а под окном лежал пушистый ковер, на котором немного позже я охотно валялся, читая книги, — уже купленные специально для меня. Поскольку, однако, чтение было действием весьма пассивным и слишком простым, я имел обычай ставить себе на лодыжку, в углубление под коленом, на подошву ступни ножку какого-нибудь стула и легкими движениями балансировал им так, чтобы он все время оставался в состоянии неустойчивого равновесия, на самой его границе. Мне неоднократно приходилось резко прерывать чтение, чтобы поймать падающий стул, иначе его грохот мог совсем нежелательно привлечь ко мне внимание домашних. Впрочем, я слишком забежал вперед, чего мне очень трудно систематически избегать.

Насколько я помню, я довольно часто болел. Меня загоняли в постель различные ангины, бронхиты, и в принципе это было время величайших привилегий. Не только все вокруг меня кружилось, не только отец особо подробно выпытывал меня о самочувствии, используя при этом определенные признаки и показатели, которые должны были с исключительной точностью определить качество моего самочувствия в выдуманных градусах несуществующей шкалы, но, кроме того, я был объектом сложнейших процедур. Не все я относил к приятным. Например, трудно было назвать таковыми питье горячего молока с маслом, но вот ингаляции становились для меня воодушевляющим развлечением. Прежде всего приносили большой таз, в который наливали горячую воду, затем отец из маленькой бутылочки с притертой пробкой добавлял туда немного маслянистой жидкости и шел на кухню, где тем временем уже раскаляли докрасна на огне чугунный кружок кухонной плиты. Отец брал его щипцами и, внося в комнату, опускал в таз, а в мои обязанности входило старательно вдыхать клубы пара, пахнувшие ароматным маслом. Отличнейшее это было зрелище — бешеное кипение воды, шипение раскаленного докрасна железа, от которого отпадали почерневшие крошки окалины, а вдобавок ко всему я еще старался воспользоваться оказией и запустить в таз что только под руку попадало: например, целлулоидную утку или деревянный пенал. Надеюсь, я не симулировал страданий, когда их не было. Впрочем, видимо, такого рода попытки все-таки были. Их просто не могло не быть, коль мне, как больному, отец ни в чем не мог отказать: и птичка в перламутровой коробочке тогда пела для меня, и золотыми очками с рубиновыми стеклышками я мог играть, и еще, возвращаясь из больницы, отец приносил так называемые «узелки» с игрушками. Посему без всякого преувеличения я могу сказать, что наподобие некоторых дам наибольшие выгоды я получал, лежа в постели. В результате одной из ангин мне достался автомобиль-гигант,

деревянный лимузин таких размеров, что я мог ездить на нем верхом, сидя на крыше. Правда, более серьезные болезни, вроде камня, выросшего у меня в пузыре, с их болями и температурой, делали все подарки и игры недостаточной усладой бытия. Однако так или иначе я всегда выздоравливал. Будучи здоровым, я большую часть времени проводил наедине с собой. Я охотно исследовал квартиру, ползая на четвереньках. По непонятным причинам максимальное удовольствие мне доставляло чувствовать себя каким-нибудь воображаемым животным, и этой игрой я занимался так рьяно, что на коленках у меня выросли толстые, твердые мозоли, которые сохранились еще в то время, когда я ходил в старшие классы начальной школы.

Пора описать Мои порочные наклонности.

Я ломал все игрушки. Быть может, наиболее позорным моим поступком была поломка отличнейшей маленькой шарманки, блестящей деревянной коробочки, в которой под стеклышком вертелись золотистые зубчатые колесики, вращающие золотистый же бронзовый валик с иголками, так что возникали хрустальные мелодийки. В середине ночи я встал, видимо решившись заранее, потому что, почти не задумываясь, поднял стеклянную крышечку и напрудонил внутрь. Позже я так и не сумел объяснить обеспокоенным домашним мотивы этого нигилистического акта. Какой-нибудь фрейдист наверняка подыскал бы для меня соответствующий звучный термин. Во всяком случае, о том, что шарманочка умолкла, я сожалел, пожалуй, не менее искренне, чем какой-нибудь извращенный убийца о своей свежей жертве.

Увы, это не было действием единичным. У меня был маленький мельник, который, после того как его заводили, вносил мешочек с мукой на верх лестницы, в амбар, спускался за следующим, опять его вносил, и так до бесконечности, потому что сброшенные в амбар мешочки тем временем съезжали на самый низ лестницы. Был у меня водолаз в скафандре, заточенный в пробирку с резиновой мембраной. Когда эту мембрану нажимали, он погружался в воду. Были у меня клюющие птички, вертящиеся карусели, гоночные автомобили, кувыркающиеся куклы — и все это я безжалостно потрошил, извлекая из-под блестящих красок колесики и пружинки. Волшебный фонарь фирмы Патэ с французским эмалированным петушком на стенке мне пришлось обрабатывать тяжелым молотком, и толстые линзы объектива долго сопротивлялись его ударам. Жил во мне какой-то бездумный, отвратительный демон разрушения и порчи; не знаю, откуда он взялся, так же как не знаю, что с ним случилось позже.

Когда я был немного — но только совсем немного — повзрослей, я уже не смел так вот, попросту, с детской непосредственностью — потому что, видимо, постепенно терял ее — схватиться за орудие преступления и «пырнуть» им очередную жертву. Тогда я уже пытался отыскивать для себя различные оправдания. Ну, например, что-де там, внутри, надо что-то такое отрегулировать, поправить, проверить. Это была дешевая видимость, потому что, конечно же, я не только не сумел бы этого сделать, но даже и не пытался. И все-таки мне казалось, что я имею право так поступать; и когда мать резко запротестовала, увидев, как я начал было вбивать гвоздь в буфет в столовой (мне нужен был крючок для подвесной дороги), то я долго и горько на нее обижался. Из круга тотального уничтожения была исключена только одна кукла мужского пола по имени Вицусь — тощий паренек, полный опилок, рыжеватый блондин, которому я шил костюмы, башмаки и который болтался потом по квартире, пожалуй, до самой войны. Однажды в приступе неудержимой жажды познания я немного подраспорол его, но тут же зашил ему дырку в животе, а может, пришел оторванную руку, не помню. Я много беседовал с ним, но об этом мы никогда не вспоминали.

У меня не было собственного угла, поэтому я со все растущей разнузданностью бесчинствовал по всем комнатам. Недоеденные конфеты («хопсьес») я обычно прилеплял к

столу, под крышкой, и со временем там образовывались воистину геологические залежи сладких окаменелостей. Извлеченные из шкафов костюмы отца я переделывал в манекены, восседающие на стульях и креслах, в поте лица своего набивая свернутыми в рулоны журналами их болтающиеся рукава, а внутрь запихивая что под руки попадало. В сезоне созревания каштанов я пытался что-то делать с этими изумительнейшими плодами, которые настолько привлекали меня, что, сколько бы я их ни набирал, мне все равно не хватало; они уже сыпались у меня из-под рубашки, а я запихивал в карманы, в трусы-дутики все новые и новые... Но вскоре я убедился, что красивыми и блестящими бывают каштаны, только пребывающие на свободе, заключенные же в коробочки, они быстро морщятся, тускнеют, дурнеют.

Калейдоскопами, которые я вскрывал, можно было обдарить целый приют, а ведь я знал, что в них нет ничего, кроме цветных стекляшек. Вечерами я охотно смотрел с балкона, как темная улица оживает от огней. Неведомо откуда появлялся молчаливый фонарщик, на мгновение задерживался около очередного фонаря, поднимал свой шест — и маленькая бабочка огонька тут же разрасталась в голубоватое пламя. Некоторое время я хотел быть фонарщиком.

Из двух сил, двух категорий, которые берут нас в свое владение, когда мы неведомо как появляемся на свет, пространство, несмотря на все, гораздо менее непонятно. Правда, и оно подвержено изменениям, но их суть проста: пространство не делает ничего иного, как постоянно сокращается по мере того, как уходят годы. Поэтому-то понемногу уменьшалась площадь нашей квартиры, и Иезуитский сад, и спортивная площадка Второй государственной гимназии имени Карла Шайнохи, в которую я ходил восемь лет. Правда, мне легко было не заметить эти изменения, потому что одновременно росла моя самостоятельная активность, я перемещался по Львову все смелее, так что измельчение отдельных хорошо знакомых мест заслонялось сериями эскапад все более дальних. Поэтому уменьшение размеров удается заметить относительно поздно. Пространство, как ни говорите, остается солидным, единым, лишенным каких-либо западней и ловушек. Зато враждебным чудовищем, по-настоящему коварным и даже, я бы сказал, противным природе человека, является время. Прежде всего в течение многих лет величайшие трудности для меня составляли попытки различить смысл таких понятий, как «завтра» и «вчера». Признаюсь — об этом я еще ни разу не говорил, — что оба эти понятия я достаточно долго помещал в пространстве. Я считал, что «завтра» располагается над потолком, как бы на следующем этаже, и опускается на нижний уровень ночью, когда все спят. Правда, одновременно я знал, что на четвертом этаже нет никакого «завтра», а живет там некое семейство, и есть там взрослая дочь и золотистая коробочка, полная зеленоватых, липнущих к пальцам конфет. Эти конфеты, заполняющие рот эвкалиптовой мятой, вовсе мне не нравились, и, тем не менее, я любил их получать, учитывая, вероятно, сопутствующие обстоятельства. Конфеты хранились в ящике секретера, снабженного деревянной шторкой, которая, опускаясь и прикрывая крышку стола своими выпуклыми ребрами, гремела, словно водопад. В то время я понимал, что, поднимаясь наверх, я не смогу застать «завтра» врасплох, так же как, спускаясь, не поймаю «вчера», так как под нами жили владельцы дома. Несмотря на это, я был все-таки убежден, что «завтра» находится над нами, а «вчера» — под нами; причем это «вчера» отнюдь не растворилось в небытии, но продолжает существовать, выпотрошенное, где-то там, под моими ногами. В этом образе было несомненное противоречие, но оно мне как-то не мешало.

Но все это лишь предварительные и, добавим, элементарные замечания. Я помню ворота, лестницу, двери, коридоры и комнаты того дома на Браеровской, в котором родился; я помню также множество людей, например тех же соседей, но без лиц, потому что эти лица изменялись, а моя память, не отдающая себе отчета в неотвратимости подобных изменений, была бессильна

перед ними, так же как фотографическая пластинка бессильна перед движущимся предметом. Конечно, я могу себе представить отца, но четче буду видеть его фигуру, одежду, нежели черты лица, потому что друг на друга наложились образы многих лет и я не знаю, каким хочу его увидеть: уже совершенно седым или еще крепким пятидесятилетним мужчиной; подобным же образом обстоит дело со всеми, рядом с которыми я пребывал достаточно долго. Когда погибают фотографии и портреты, проявляется эта наша полнейшая безоружность перед лицом времени; узнать, каково его действие, можно рано и быстро, но это знание теоретическое, ни на что, собственно, не пригодное; ведь уже пятилетним мальчишкой я знал, что означают понятия «молодой» и «старый», потому что было старое масло и молодая редиска, я многое знал о днях недели, даже о годах (у лет были свои оттенки — двадцатые годы были светлые, потом, по мере приближения к девятке, они темнели), а ведь, по сути дела, я верил в неизменность окружения. Особенно людей. Я не мог примириться с мыслью, что взрослые не всегда были такими. Меня даже немного раздражали те уменьшительные имена, которыми они наделяли друг друга; мне это казалось противоестественным. Ведь уменьшительные имена были только для детей. Мне казалось абсурдным, когда старик обращался к другому старику, называя его «мой Стась». Если я не говорил об этом никому, то только потому, что чувствовал: все равно меня никто не поймет.

Итак, время в те годы было пучиной, недвижимой в себе самой, как бы инертной, неактивной. В нем, словно в море, происходило многое, но само оно как бы стояло. Каждый школьный час представлял собою что-то вроде Атлантического океана, который требовалось переплыть с мужеством самоотречения в сердце, от звонка до звонка проходили насыщенные опасностями вечности; что же говорить о летних каникулах, которые превращались в целые эпохи. Об этой — немислимой для меня теперь — пространности часов или дней я рассказываю так, словно бы я об этом от кого-то услышал, а не так, будто познал это сам, — я не в состоянии этого ни уразуметь, ни представить. Со временем все стало свершаться гораздо быстрее, и пусть не говорят мне, будто лгут ощущения, а часы отмеряют одинаковый ритм бега времени; я скажу, что все обстоит совсем наоборот: лгут часы, потому что физическое время не имеет ничего общего с биологическим. Какое нам дело — за пределами физики — до времени электронов или зубчатых колес? В этом разделении мне всегда чудился какой-то подвох, я ощущал какую-то низость, замаскированную методами времяисчисления, нивелирующими все изменения. Мы появляемся, полные веры, что все обстоит именно так, как мы видим, что делается то, о чем нам говорят наши органы чувств, а потом неизвестно как и когда оказывается, что дети взрослеют, а взрослые начинают умирать.

Не знаю, совершенно ли уже ясно, что я был тираном? Норберт Винер начал свою биографию словами: «I was a child prodigy» — «Я был чудесным ребенком»; я мог бы сказать только: «I was a monster» — «Я был чудовищем». Итак, чудовищем, быть может, лишь с небольшим преувеличением; но то, что я терроризировал окружающих, особенно будучи еще совсем маленьким, — истина. Есть я соглашался только в том случае, если отец, взгромоздившись на стол, попеременно открывал и закрывал зонтик, или же меня можно было кормить только под столом; я этого, разумеется, не помню, это было начало, спящее где-то за пределами воспоминаний. Если я и был чудесным ребенком, то исключительно лишь в глазах любвеобильных тетушек. Зато чувствительным я был наверняка. Отсюда мое первое очень раннее сближение с поэзией. Еще не умея читать, я декламировал единственное в моем репертуаре и пользующееся неизменным успехом у гостей стихотворение о комаре, что с дуба упал. Не помню, чтобы я хоть раз довел декламацию до конца, поскольку, дойдя до того места, в котором выяснялось, что это падение имело совершенно роковые последствия (комар сломал себе кость в крестце), я начинал реветь, и совершенно зареванного меня выводили из комнаты. В то время было мало существ, которым бы я сочувствовал столь горячо и одновременно так безнадежно, как этому комару; *in hoc signo*<sup>[87]</sup> проявилась надо мной власть литературы.

Писать я научился в четыре года, однако ничего особо сенсационного этим путем сообщить не мог. Первое письмо, которое я написал отцу из Сколы, куда поехал с мамой, было лаконичным; в нем сообщалось о том, что я по собственной инициативе искупался в настоящем деревенском клозете с дыркой в доске. Я, правда, не стал сообщать, что в ту же дыру выбросил все ключи нашего хозяина — доктора. Впрочем, авторство этого поступка было спорным, потому что в то время со мной был один местный житель, мой ровесник, и установить, у кого были ключи в последний раз, не удалось. С их вылавливанием была масса хлопот.

Из достопримечательностей и монументов Львова в тот период мое внимание приковала кондитерская Залевского на Академической улице. Видимо, у меня был недурной вкус, потому что с тех пор я действительно нигде не видел кондитерских витрин, сделанных с таким размахом. Собственно, это была не витрина, а сцена, оправленная в металлические рамы, на которой несколько раз в году сменяли декорацию, образующую фон для гигантских статуй и аллегорических композиций из марципана. Какие-то великие натуралисты, а может, Рубенсы воплощали в марципановой яви свои мечты, а уж перед рождеством и пасхой за стеклами творились закованные в миндальную массу и какао чудеса. Сахарные Миколаи правили упряжками, а из их мешков низвергались водопады сладостей: на глазированных тарелках почивали ветчина и заливная рыба — тоже марципановые, с отделкой из крема; причем эти мои знания не носят чисто теоретического характера. Даже ломтики лимона, просвечивающие из-под желе, были достижениями кондитерского искусства. Я помню стада розовых свинок с шоколадными глазками, все мыслимые разновидности плодов, грибы, копчености, растения, какие-то лесные дебри и просеки. Создавалось впечатление, что Залевский мог бы повторить в сахаре и шоколаде весь космос, солнцу добавить лущеного миндаля, а звездам — глазурного блеска; каждый раз в новом сезоне этот мастер мастеров ухитрялся пронзить мою душу, алчущую, беспокойную, еще совершенно доверчивую, с новой стороны, заполнить меня многозначительностью своих марципановых скульптур, офортами белого шоколада, везувиями тортов, извергающих взбитые сливки, в которых, словно вулканические бомбы, летали замороженные фрукты. Пряники Залевского стоили 25 грошей — немалую сумму, если учесть, что большая булка стоила 5 грошей, лимон около десяти, — но, видимо, надо было платить за

его панорамы, за сладкую освещенную баталистику, как знать, уступавшую ли той, которую являла Рацлавицкая панорама. [\[88\]](#)

Была на Академической еще и другая кондитерская, произведения которой больше говорили желудку, нежели глазу. С ней связаны не самые веселые из моих воспоминаний. Так, например, однажды брат отца дядя Фридерик вез меня на двуконных дрожках якобы ради невинной цели, празднично принаряженного в белый кружевной воротничок, а кончилась эта поездка у зубного врача, который вырвал мне молочный зуб. Потом мы возвращались — я зареванный, с заплеванными, испачканными кровью кружевами, — и дядя пытался умаслить мой праведный гнев, вызванный его вероломством, в упомянутой уже кондитерской фисташковым мороженым. Сдается, отец не решился присутствовать при душераздирающем акте «зубодрания» и поэтому тогда не пошел с нами к врачу.

В пассаже Миколаша был другой кондитерский магазин, точнее — магазинчик, с итальянским мороженым, где уже значительно позже Стефан, мой брат по тете, парнице страшно крупный, вызывал меня на коварные поединки: мы ели мороженое, а платить должен был тот, кто проиграет и съест меньше. Стефан обладал феноменальной вместимостью; я помню возвращения из этого места, помню, как шел по пассажи, прикрытому сверху матовыми стеклянными плитками, и вышагивал, словно палку проглотил, потому что желудок мой превращался в нечто похожее на ванилиновый холодильник.

В начале Академической, недалеко от гостиницы Георга, находился другой, уже не конфетный, но тоже очень важный магазин Клафтена с игрушками. Я ничего не могу сказать ни о его витринах, ни о внутреннем оформлении, потому что место это, для меня святое, отнимало у меня дар наблюдательности и я приближался туда в сладостной истоме, с учащенно бьющимся сердцем, чувствуя, какому испытанию будет сейчас подвергнута моя не способная к выбору ненасытность. Там мне покупали соблазнительно тяжелые плоские коробочки с оловянными солдатиками, пушечки, заряжаемые горохом, деревянные крепости, волчки, пугачи, стреляющие пробками, но никогда не приобретали никаких пистолетов или снаряжения к ним; то и другое было запрещено.

Когда-то, в самом начале, был у меня конь, сивка на колесиках; теперь я уже не могу восстановить в памяти его образ, только в кончиках пальцев сохранилось что-то от шершавого прикосновения к его шерсти, хвосту, сделанным из настоящего конского волоса. Первое время я обращался к нему на «вы», потому что он был такой большой и восхитительный, что я не смел к нему прикасаться. Относился я к нему хорошо — колесики отскочили у него сами, обгрызенные зубами времени. Остатки впечатлений, которые сохранились у меня от предгимназической эпохи, сгруппированы вокруг происшествий скорее поразительных и бурных, нежели приятных. Я знаю, где на Ягеллонской жила моя тетка, потому что там однажды на меня в сенях напал огромный индюк — не имею понятия, откуда он взялся, — я долго боялся туда ходить, молниеносно проносился через темное пространство между деревянными воротами, в которые была вделана маленькая дверца, и подножием деревянной, жутко трясущейся лестницы. Дорога к жилищу тетки была страшновата — по галерее флигеля, неприятно наклонившейся в сторону двора. Мне казалось, что галерея вот-вот рухнет. В прихожей весь пол тоже был перекошен, словно в Пизанской башне; за одной дверью находился салон — место запретное, полное зеркальных паркетных искорок и тяжелой мебели в полотняных чехлах. Туда никто никогда не ходил, и тетке доставлял удовольствие, пожалуй, уже сам факт существования этого наглухо замкнутого храма. Юный обжора, я однажды проник туда, воспользовавшись то ли кратковременным отсутствием тетки, то ли ее рассеянностью, уж не помню, и подло и без раздумий направился к черному буфету, в котором под стеклянным колпаком вздымалась пирамидка больших марципановых плодов, какие-то яблоки, бананы, груши. Приподняв стекло,



я впился в одно из этих сладких сокровищ. Каким-то чудом я не сломал себе ни одного зуба, но и на блестящей поверхности не осталось следа: марципаны оказались твердокаменными; течение времени наложило на них броню и таким образом уберегло от моей прожорливости. Это было одно из самых горьких разочарований.

Однажды я чуть было не утонул в Железной Воде. Я сидел на берегу, а знакомая пани играла со мной, подавая мне пруттик; в один из моментов она потянула слишком сильно. Я камнем пошел на дно и не успел даже испугаться. Сделалось зелено, потом темно, мокро, кажется, тоже. Потом кто-то вытрясал из меня воду, держа за ноги. Это как бы покрыто дымкой — не знаю, но мне кажется, что купальня в то время была еще разделена; отдельно купались женщины, отдельно мужчины. Если так, значит, я находился с мамой среди женщин.

Мне довелось быть свидетелем двух страшных событий. Однажды во Львов приехал «человек-муха» и в центре города, помнится, на улице Легионов, взбирался по стене многоэтажного дома. Кажется, он пользовался только крючком для застегивания туфель — сведения, почерпнутые мною от нашей служанки, достаточно достоверные, потому что такие крючки действительно существовали; они служили для застегивания дамских туфель на солидную пуговицу и петлю и состояли из металлической ручки и овального крючка. «Человек-муха» упал, собралась толпа, полиция; наутро я увидел на первой странице газеты, кажется «Нового века», фотографию поднятого с брусчатки человека. Его лицо как бы охватывал пружинистыми лапами огромный паук — кажется, у акробата треснуло основание черепа. Не знаю, что с ним стало.

Однажды в нашем доме загорелся или только начал тлеть уголь. В то время у нас были гости, играли в карты; неожиданно раздался энергичный звонок и в коридоре появились совершенно необычные, грозно сверкающие медью боевые каски пожарников. Эвакуировали весь дом. Некоторое время мы стояли на улице, глядя, как через брезентовые змеи в подвалы лили воду, потом, помнится, пошли к жившему неподалеку дяде. Пожар затушили в зародыше, но страх после него у меня так и остался. Я помню, что долго видел кошмарные сны, в которых пожар выступал в виде белой кольшущейся на ветру особы, колотящейся в двери квартиры, заглядывающей в окна; а наяву, когда меня никто не видел, я украдкой прикладывал руку к полу, чтобы проверить, не разогревается ли паркет от угля, потихоньку разгорающегося на нижнем этаже. Впрочем, от страха перед огнем не осталось ничего. Интересно, почему одни переживания приводят у ребенка в действие механизм совершенно патологической восприимчивости, а другие стекают как с гуся вода, не оставляя следа?

Одна из первых книжечек, которые я читал, была заполнена историей о мальчике, который ехал в лифте, а лифт взбунтовался или, может, испортился и, пробив потолок дома, словно воздушный шар, летал с ним над городом. С точки зрения авторов это, вероятно, должно было выглядеть забавно, а меня напугало, и еще четверть века спустя, садясь в лифт, я вспоминал эту вздорную историю. Не знаю также, откуда взялся у меня страх перед насекомыми — мои сверстники с увлечением гонялись за майскими жуками, а я не мог к ним притронуться. Подобная же история была с ночными бабочками. В то же время мышей я совершенно не боялся и даже зарабатывал на них. Мама так брезгала ими, что вынимать трупки из мышеловок приходилось мне; а иногда, когда мыши не желали ловиться, я издали показывал маме серую резиновую мышку, чтобы таким образом получить обусловленное таксой вознаграждение за исполнение похоронных обязанностей.

Достойна удивления моя забывчивость в отношении товарищей по играм, ровесников, при одновременной чувствительности к различным предметам. Я совершенно не помню никаких детей, зато отлично помню форму моего обруча, даже винтики, соединявшие концы дерева, и то, как научился запускать обруч, чтобы, катясь, он сам возвращался ко мне. Может, потому,

что предметы подчинялись мне беспрекословно, а живые существа обладали собственной волей, слишком непокорной? В конце концов все, что меня окружало и было изготовлено из металла или дерева, становилось моей добычей. Долго, несколько лет я терпеливо ожидал смерти граммофона или по крайней мере его дряхлости и действительно в конце концов дорвался до его внутренностей. Это уже не был аппарат с большой трубой, какие я видел только на выставках и на картинках; наш граммофон был большой, деревянный, у него был резонирующий ящик с внутренним рупором, и его правильнее было бы называть патефоном. Я охотно крутил рукоятку; было у нас несколько пластинок с боевиками; на одной был записан смех — и больше ничего, на других какие-то шлягеры вроде «Больше газа, вот мой принцип, больше газа, пока любовь играет в жилах», оперные арии, но механизм смены иголок и устройство пружинного регулятора интересовали меня гораздо больше музыкального содержания. Абсолютно то же было и с радио. Первый радиоаппарат в нашем доме появился, пожалуй, где-то около 1929 года, хотя я не могу поручиться за эту дату. Это был длинный ящик с эбонитовым верхом, ручками с белыми насечками и стрелками, с гнездами для наушников; у него был огромный динамик на одной ноге, немного похожий на вентилятор, но поймать этим аппаратом можно было лишь местную станцию. Питали это огромное сооружение большие анодные батареи и кислотные аккумуляторы, которые требовалось время от времени заряжать. По счастливому стечению обстоятельств я знаю, что первой львовской передачей, которую мы поймали, была новелла Конрада «Корчма под тремя ведьмами», которую читал мужчина с загробным голосом. Дядя Мундек, муж тети Гани с улицы Свободы, не раз приходил к нам, чтобы совместно с отцом извлекать из шведского ящика марки Эрикссон мощный свист, грохот и мяуканье электрических кошек; они вместе различным образом устанавливали антенну, что-то вроде деревянного креста, на котором был растянута четырехугольная проволока. Иногда сквозь завесу треска удавалось выловить скрип какой-то музыки, словно сигнал с иной планеты, приносящий удовольствие лишь благодаря тому факту, что вообще так здорово, прямо-таки невероятно повезло; об эстетическом удовольствии от приема передачи не могло быть и речи. Дядя, помнится, записывал особо исключительные достижения, вроде приема передачи из Милана или Берлина, где, кажется, работала самая мощная в то время в Европе радиостанция Кенигсвустерхаузен. И этот аппарат тоже переживал медленные долгие сумерки, а когда устарел, пришло время моих кусачек и молотка; я разбил его на мелкие кусочки, сильно разочарованный неинтересностью его строения — никаких пружин, зубчатых колесиков, ничего, только непрозрачные от серебра лампы и конденсаторы в паутине проводов.

Если отец мой боялся различных вещей — он так и не согласился установить наружную антенну на крыше, потому что она якобы «притягивает к себе молнии», а в печах у нас жгли исключительно дрова, поскольку «уголь дает чад, от которого можно задохнуться», то я получил от него в наследство, так сказать, общую диспозицию, а не точные указания адресов этих тревог. Электричество я любил, был с ним всегда на дружеской ноге еще с тех времен, когда притягивал клочки бумаги натертым гребешком, да и отравляющие газы, не исключая чада, пытался по мере возможностей производить. Эти увлечения — электрические, химические, механические — полностью развеялись лишь в следующей, гимназической эпохе; в конце двадцатых годов мои интересы сводились, во всяком случае в принципе, к совершенно банальным занятиям, почти полностью лишенным оригинальности, а именно к тому, что заполняет жизнь всех маленьких мальчишек. Иначе говоря, вначале я проходил различные машинные метаморфозы — бывал кораблем, паровозом, самолетом, работал шатунами, пускал пар, давал «полный назад», и остатки этих привычек жили во мне почти до самых выпускных экзаменов; я помню, что, будучи подрастающим и одетым в мундир гимназистом, я частенько не мог удержаться от того, чтобы на улице «дать контрпар», «переложить руль на бакборт»,



«бросить якорь».

Любовь к подражанию представляет собою, вероятно, естественную фазу развития, немного раздражающую стороннего наблюдателя из-за явной ее обезьянности, потому что обычно хочется, чтобы дети были просто детьми, и по возможности меньше — маленькими взрослыми; в данном случае я особо имею в виду легионы восьмилетних мамочек с маленькими колясочками. Впрочем, я не изменял полу, и, быть может, моими устами говорит инфантилизм мальчика, а точнее — тех его остатков, которые каким-то образом просуществовали в моей постепенно портящейся натуре. Впрочем, бог с ними, с этими не очень умными оценками! Какой-нибудь специалист сказал бы, что просто дети, играя, подготавливают себя к культуре той эпохи, которая их породила. В средневековье играли, вероятно, в лошадей, осаду крепостей, а наверняка и в крестовые походы. Вполне естественна также тенденция к исследованию собственного тела и его возможностей; правда, с этим у меня бывало по-разному. Некоторое время я весьма охотно вешался где попало, конечно, «невзাপравду» и не до конца, накапливая для этого соответствующие веревки и бечевки, а также немного занимался самоистязаниями. Ну, например, обвязывал палец шнурком, чтобы он «заснул», или привязывал самого себя к какой-нибудь дверной ручке, или висел вниз головой на веревочной лестнице (была у меня такая), вдавливал глаз пальцем, чтобы видеть, как раздваиваются предметы; одного я не делал никогда: не засовывал себе в ухо или нос никаких горошин и фасолин; я прекрасно знал, к каким печальным последствиям это могло привести, недаром мой отец был ларингологом. Не знаю, откуда это у меня взялось, но достаточно долго самой необыкновенной частью человеческого тела я считал ногу — точнее, босую ступню. Помню, однажды я крепко подрался с братом Метком (он был старше меня на два года и погиб в Варшаве, как и Стефан) именно из-за ноги: мы сидели на подоконнике в нашей квартире, и я убедил Метка принять предложенный мною уговор: проигрывал тот, кто первым покажет другому босую пятку; воспользовавшись тем, что домашних не было, мы долго катались по полу, сцепившись в смертельной схватке. Фрейдист, наверно, был бы очень обрадован моими признаниями, но от ногопоклонства у меня не осталось и следа.

Я так много времени уделяю этим пустячным мелочам потому, что они почему-то кажутся мне занятнее, чем мои более поздние воспоминания и действия. С течением времени ребенок все отчетливее, все однозначнее становится членом определенного коллектива — в школе, в гимназии — и своим поведением уподобляется ему, во всяком случае, пытается по мере сил это сделать. Поэтому его активность оказывается в значительной степени вторичной и, как я думаю, может сказать о его природных особенностях, о демонах, полученных им в наследство с помощью набора генотипов, меньше, чем поступки первичные, часто совершаемые в одиночестве. Наиболее интересными и достойными внимания кажутся мне первые предпочтения и неприязни — они берутся неизвестно откуда, — а не более поздние, привнесенные, порой представляющие собою простое механическое копирование. Ведь дети, как известно, не боятся даже самых ужасных телесных недостатков близких людей, они просто их не замечают. Необходимо некоторое время, чтобы дети впитали в себя нормы окружающего их мира. Вероятнее всего, мы появляемся на свет, не имея никаких критериев, позволяющих отличить уродство от совершенства, — но это не более чем туманное предположение; не известно, можно ли действительно приучить ребенка к какой-то «обратной» по отношению к обычной эстетике повседневности.

Возвращаясь к миру предметов. Одежда была из них исключена, я ею не интересовался. Этот вывод я делаю на основании того факта, что не помню ни одного наряда, за исключением кожаных тирольских штанишек на зеленых бретельках. Спереди у них был широкий клапан, застегивающийся на роговые пуговицы. Одежда весьма небезопасная и очень неудобная, потому

что можно было попросту... не успеть; помню я еще и то, что мечтал стать обладателем настоящей, застегивающейся на пуговицы ширинки, а не клапана, словно у маленького дитяти.

До сих пор я почти ничего не сказал о двух комнатах нашей квартиры, примечательных тем, что я не имел к ним легального доступа. Это была ожидальня и приемная отца. Ожидательно украшали кресла в чехлах; помнится, дерево было совершенно синим; это выяснилось, когда однажды у одного из них отломился поручень. Стоял там еще застекленный шкафчик с безделушками, но не первосортными: какие-то подносики, серебряные корзиночки — подарки от благодарных пациентов, там же за стеклом лежал разваливающийся стилет в псевдояпонском стиле. Был там еще львовский баян<sup>[89]</sup> на деревянной подставке, безмянный, потому что не мой, да и вообще вроде бы ничей, — большая кукла с вытаращенными голубыми глазами, в виртуозно залатанной курточке, штанах и полосатой рубашке. Мне запрещено было прикасаться к нему, поэтому он прожил долго, до самой войны, пережил даже первые ее годы и пал лишь в результате массированных, методически повторявшихся налетов моли. А моли на Браеровской хватало, и каждый домашний обязан был при виде ее пускаться в преследование и остервенело хлопать ладошами, чтобы уничтожить зловерное насекомое. Я же, брезгая этим, всегда хлопал мимо.

Приемная отца была местом запретным, по крайней мере теоретически. Именно поэтому я добросовестно изучал ее при первом удобном случае. Стены были оклеены обоями, имитирующими кафельную плитку. В приемной стояли тощенький твердый диванчик, деревянный шкафчик с лекарствами и небольшим количеством книжек, небольшой врачебный письменный стол, обогревательная лампа, металлический столик с инструментами, а также белое кресло для больных и круглый винтовой стул отца. Обстановка более чем аскетическая, за единственным исключением: на шкафу стоял черный ящик, разделенный на маленькие отделения, и в нем хранились старательно разложенные экспонаты — все, что отец с помощью больших трубок ларингоскопа Брюннинга извлек из дыхательных путей, пищеводов, бронхов. Эти вещи, сами по себе невинные, поражали воображение, стоило подумать, где они находились. Была там искусственная челюсть с четырьмя зубами и крючком, открытая английская булавка, выловленная из дыхательного горла ребенка, разные шпильки, фасоли, которые уже успели немного прорасти, словно и действительно намеревались в своей растительной невинности навсегда осесть в чьем-то носу, позеленевшие монеты, а также большой кусок киноленты. Когда я подрос, отец иногда рассказывал об обстоятельствах и условиях, при которых добыл эти трофеи, об охоте с пистолетной рукояткой трахеоскопа Брюннинга в руке, показывал мне специальные наборы длиннющих крючьев, хитроумных клещей и зондов. Совершенно необычной была история одного больного, которого привезли задыхающимся, ежеминутно теряющим сознание, синюющим. Зеркальце на лбу отца показывало свободное, широко открытое отверстие гортани, и только по специфическому блеску отец сообразил, что ее все-таки что-то закрывает — может быть, стеклышко. Оказалось, это был кусочек киноленты, которую этот пан, кинооператор, съел с блинчиками (с творогом! — и это я помню); неведомо как в начинку попал один кадр пленки и, осев в дыхательном горле, душил кинооператора, действуя, как клапан. Предметов банальных, множество которых отец все время вытаскивал из пациентов, в черном ящике не было вообще: например, рыбьих костей. Мы никогда не могли пообедать вместе — обязательно в дверь кто-нибудь звонил, отец тут же облачался в белый халат и, поблескивая своим зеркальцем, словно огромным третьим глазом, исчезал в приемной.

Позавидовав отцовским лаврам, в которых меня привлекала их спортивная, а не медицинская сторона, я в величайшей тайне подбирался к сложнейшей аппаратуре Брюннинга, составлял длинные никелированные трубки, включал, если было нужно, осветительные

лампочки и предпринимал смелые попытки извлечь посторонние тела из шланга пылесоса, предварительно засунув их туда. На белом винтовом стулике отца я время от времени крутился до седьмого пота и головокружения, включал огромный соллюкс, который не только грел, но и светил (однажды, кажется, у какой-то пациентки загорелись волосы, потому что в них была скрыта целлулоидная шпилька или гребень, но этого я не помню, так как это случилось еще в то время, когда меня не было на этом свете). Если же я уж совершенно ничего не мог придумать, то наполнял пол-литровый шприц, которым отец пользовался при вымывании из ушей так называемых пробок, и брызгал через раскрытое во двор окно вверх, на четвертый этаж, или вниз, на крыльцо хозяев.

Я уже говорил, что писать и читать научился рано. Я рисовал красивые, усеянные множеством цветочков, поздравительные открытки матери и отцу, да и первые мои занятия были типичными, обыкновенными — сказки и стихи вроде тех, о комаре; уже после войны мне в руки случайно попал какой-то сборник стихов для детей, в котором я обнаружил то, что читал тридцать лет назад; и меня удивило, чего только я в этих стихах не находил, будучи шестилетним мальчонкой. Какие-то драмы, неправдоподобные и невероятные, эмоции, уже совершенно отсутствующие у меня теперь, удивления, страсти и смех таились в то время для меня в сочетании невиннейших слов. Почему история пятна на полу, с которым не могла справиться метла, была полна угрюмости, даже угрозы? Почему подсчет бесхвостых ворон превращался в действие чуть ли не магическое, чуть ли не в рискованный вызов, брошенный каким-то скрытым силам, в искушение неведомого лиха? Тем более странно, что я никому не признавался в этих эмоциях, страхах, драматических переживаниях, никому о них не говорил. Вероятно, я не сумел бы этих состояний выразить, описать. Но кроме того — будь я в состоянии в то время подумать об этом, — я, видимо, счел бы, что реакция, подобная моей, является единственно возможной и совершенно естественной. Во всяком случае, тогда я был более отзывчивым инструментом, нежели сегодня, не требовалось многих раздражителей, ударов, чтобы вызвать во мне, или, точнее, чтобы возвести в моей голове, целые небоскребы чувств и переживаний; определенно, авторы книжек для детей сами не ведают, что творят, не представляют себе, каким легковоспламеняющимся — правда, лишь психически — материалом жонглируют. Им кажется, что они рассказывают поучительную историю, а между тем во время чтения она превращается в загадку или в запутанную драму; стремясь рассмешить, они учат мистическим тайнам. Они складывают ямбы, а в какой-нибудь семилетней голове эти ямбы трансформируются в возвышенный гекзаметр. Самыми необыкновенными были эти первые, полузабытые чтения. Потом незаметно и втихую я утонул в книгах.

Я, конечно, был Зверобоем, Маугли, капитаном Немо, в мою память запали обрывки самых неожиданных текстов; покупая после войны книжку Уминского «Путешествие без денег», я старательно ее перелистал, чтобы найти одну из прелестнейших ее фраз: «Пуля, с характерным грохотом пронзив пространство...» — речь шла об охоте на крокодила или носорога, но, увы, мне попало переработанное издание, и изумительная пуля вместе с ее характерным грохотом, к великому моему разочарованию, исчезла из книжки. А «Замкнутое ущелье»? Чего только я не пережил, читая ее! Что же тогда говорить о «Духе джунглей»: такие книги нельзя было читать, лежа под окном и ловко балансируя стулом или забравшись с ногами на стул и облокотившись о крышку стола. Нет, нужна была твердая уверенность, что рядом находится кто-нибудь из взрослых, но все равно бывало страшно. Диккенса я читать не хотел — он был словно беспросветная дождливая осень, а в Дюма я просто-напросто заблудился, затерялся — началось невинно с «Трех мушкетеров», а спустя некоторое время оказалось, что для того, чтобы прочесть все его книги, не хватит жизни.

Позже, в гимназии, я уже читал все, что попадалось под руку: Фредро и Мая, Сенкевича,

Жюля Верна и Уэллса, Словацкого и Питигрилли; это был суций винегрет.

Читая, я обычно что-нибудь ел; я, кажется, уже дал понять, что был обжорой, но обжорой любвеобильным — тут уже пришла пора вспомнить о первых женщинах. Удивительно зигзагообразно все это шло. Первой была Миля, наша прачка; мне было лет, может, пять и, как обычно в таком возрасте, я сразу же хотел жениться. Бедняга страдала расширением вен. Электрических стиральных машин не было, стирка превращала дом, и уж во всяком случае кухню с примыкающими к ней помещениями, в подобие парного ада; на середину выезжала огромная бадья, в котлах вулканически кипело, потом появлялся деревянный рубель для катания белья и половина дома заполнялась гулом и грохотом; во время стирки я неизменно торчал на кухне, тарарам мне нисколько не мешал.

Позже я был влюблен в учительницу начальной школы — не помню, как она выглядела. Однажды она побила моего соседа по парте — в принципе в начальной школе можно было получить только линейкой по вытянутой ладони, но этот парень был упрямым, холодным, ужасно строптивым и наглым, моя возлюбленная выколотила из его штанишек тучи пыли. Он даже не пикнул и слезы не уронил, что мне ужасно понравилось.

Понемногу моей специальностью становилась несчастная любовь. Я до умопомрачения влюбился в девочку, которая была старше меня года на четыре, то есть почти в девушку, если учесть, что мне в то время было около десяти лет. На эту девчонку я глазел издали в Иезуитском саду, почти не двигаясь, словно загипнотизированный. Я был довольно толст, особенно пониже спины; фигура моя уже в то время несколько напоминала грушу, хотя максимального сходства с ней я достиг позже, в гимназии. Лицо у меня было толстощековое, глаза немного навывкате, потому что я по природе был любопытен, ко всему прочему я частенько любил раскрывать рот, кажется, считая, что это придает мне обаяние. Я не располагал тогда особыми шансами, да и, откровенно говоря, не представлял себе каких-либо реальных шагов, ибо не знал, что еще можно делать с девчонками, кроме как бегать за ними вечером по саду от куста к кусту и пугать фонариком. Моя любовь к девчонке из Иезуитского сада, лишенная сколько-нибудь четкой структуры действия, не была отмечена печатью развития и тем не менее была невероятно интенсивной. Кажется, я признался в этом родителям, иначе мне не удавалось бы пребывать достаточно часто в той отличной точке, из которой я мог за нею наблюдать. Она обо мне, пожалуй, и не подозревала, я не обмолвился с ней ни словом, и, однако, линия ее профиля, подбородка, губ врезались мне в память настолько основательно, что их след остался и по сей день.

Любопытно, что бурность такого рода платонических увлечений отнюдь не мешала мне в «любовишках» (если это были «любовишки») более — как бы это сказать? — вульгарных. Однажды, когда мне было, вероятно, лет восемь, отец, войдя на кухню, застал меня за тривиальным занятием: я щипал служанку. Смутившись, я пробормотал что-то вроде «ах да» или «ах, простите» и вышел. Интересно также, что я могу вспомнить кое-что из моих тогдашних действий и даже эмоций, но ничего — из мыслей; вполне возможно, что я вообще не выходил ими за круг непосредственных, данных органами чувств ощущений.

На улице Словацкого, напротив Главной почты находилось бюро паровой компании «Cunard Line», и в каждом его окне стояло по огромной модели океанского парохода. Они преследовали меня, снились мне, эти восхитительные корабли, у них было все как положено, даже бронзовые винты около рулей, такелаж, мачты, бесчисленные ряды иллюминаторов, палубы, мостики, миниатюрные шлюпки, трапы и спасательные круги. Я мечтал о них безнадежно и пылко — вероятно, столь же платонически Джек Потрошитель мечтал о девушках, которые не попали к нему в руки. Его мечтания были, наверно, столь же невинными, как и мои у окон «Cunard Line», лишь их осуществление открывало путь к преступлению.

Поэтому, может быть, и хорошо, что ни к одному из этих двухметровых чудес мне так и не удалось приблизиться на расстояние вытянутой руки, ибо раньше или позже она потянулась бы за молотком.

Ребенок, которым я был, интересуется меня, а одновременно и беспокоит. Правда, я не убивал никого, кроме кукол и граммофонов, но при этом следует учесть, что я был физически слабым и опасался репрессий со стороны взрослых. Отец меня никогда не бил, мать иногда шлепала, это все, но ведь было множество иных, менее прямолинейных методов и средств, начиная от словесного внушения и кончая лишением сладкого. Если б четырехлетние дети по силе равнялись взрослым, мир наш выглядел бы иначе. Они в самом деле образуют совершенно иную касту, определенно не менее сложны, чем взрослые, только эта сложность сидит у них в другом месте. Разве не с отчаянием в сердце я превращал в хлам игрушки? Разве не жалел потом (независимо от кар) об их утрате? Почему, будучи таким пугливым, я обожал рискованные ситуации? Что меня все время толкало по возможности дальше высунуться из окна? Я ведь хорошо знал, хотя бы благодаря истории с «человеком-мухой», к чему может привести падение с третьего этажа. Я также помню, как напугал дядю, когда зимой во время каникул в Татарове неожиданно влез под паровоз, чтобы срочно отломить свисающую с цилиндра ледяную сосульку. Я ужасно боялся, что поезд тронется и отрежет мне ноги, но, видимо, эта сосулька была мне чрезвычайно нужна. Может, это было то, что психологи именуют «вынужденное действие», что-то вроде навязчивой идеи? Я проходил — это известное явление — через периоды счета окон, дверей, через фазы сложных ритуалов, должен был ходить так, чтобы ступать только на плиты тротуаров, не касаясь ногами мест их соединения, а уж с дыханием у меня были самые невероятные заботы. Я пробовал не дышать, пока возможно, или же делать это как-нибудь по-особому, придумывая какие-то совершенно необыкновенные вдохи и выдохи, особенно перед тем как заснуть; я как-то хитроумно укладывал думки и подушки под голову, строил из одеяла какой-то не то курятник, не то собачью конуру, и так далее.

Бывали у меня — иногда во время болезни, а порой и когда я был совершенно здоров — особые переживания, именуемые — как я узнал тридцать лет спустя — нарушениями схемы строения тела. Я лежал в постели, сложив руки на груди — и вдруг кисти рук начинали расти, в то же время сам я делался совершенно маленьким под их неправдоподобно большим грузом; это повторялось всегда одинаково, кажется, и наяву. Кулаки выросли до размеров воистину гигантских, пальцы превращались в какие-то замкнутые горные цепи, все в них делалось слоноподобным, менструальным; я немного боялся этого, но опять же не особенно, это было очень странно — я об этом никому не говорил.

Теперь я вижу, что был ребенком скорее одиноким, но об этом я совершенно не знал. Мне очень хотелось иметь братишку или сестренку, а вернее — опасаясь — маленького невольника. Я охотно читал объявления в газетах, в которых шла речь о передаче детей в собственность. Такие анонсы появлялись довольно часто. Мне мечталось, что было бы отлично, если бы мы взяли в дом такого ребенка; неопределенность подобного желания представляется мне сейчас несколько подозрительной.

Сверстники приходили ко мне не очень часто. Это не значит, что их вообще не было, но их посещения были исключением из правила, если не редкостью.

По воскресеньям, летом или осенью, мы обычно ездили за город, всегда в одно и то же место, а именно — в ресторационный городской сад пана Руцкого, лежавший на Стрыйском шоссе, около шлагбаума. Сбор пошрины был забавным и любопытным перерывом в езде, во время которого я, конечно, сидел на козлах. Извозчик, точнее кучер, всегда был один и тот же. Звали его не то Крамер, не то Кремер, но я именовал его Толстяком. Так оно и прижилось. Он был коренастым, краснолицым и очень терпеливым. Именно от него я получил основы знаний по коневодству, между прочим, узнал, что лошадь уважает, слушается и боится человека потому, что у нее большие глаза, которые все увеличивают, поэтому человек кажется ей гораздо больше ее самой. Вот почему лошади так пугливы — ведь им все кажется таким громадным!

Мне приходилось придумывать себе занятия на те долгие часы, которые отец, дядя Фриц и остальные проводили под фруктовыми деревьями, играя в карты; была у Руцкого кегельная, но мне не хватало силы бросать огромный деревянный шар — в конце концов и до этого я дорос тоже. Иногда мне удавалось не только вести с Толстяком теоретические беседы, но и убедить его выпрячь лошадь, на которой я немного ездил; а если он отказывал — впрочем, вполне вежливо — или просто спал в дрожках, закинув ноги на козлы, я забирался в малинник, где росло огромное количество жестокой крапивы, и подкрадывался к играющим. Дядя носил котелок, который страшно меня интриговал, так как был твердым. Я изо всех сил пытался сломать у него доньшко, но оно сопротивлялось, словно под черным фетром была прикреплена стальная пластина.

Видимо, мне вполне хватало самого себя, так как я не помню, чтобы когда-нибудь скучал. Ведь у меня было все: игрушки, книги, пластилин — я лепил из него слонов, лошадей (они всегда получались хуже), сардельки, колбаски, а то и кукол. У кукол я выбирал из живота пластилин и вкладывал внутрь кишочки, желудки, легкие — тоже пластилиновые; я уже немного знал, как там все внутри устроено. Лучше всего это получалось, когда пластилин был разноцветный, потому что потом можно было залепить живот пациенту и мять его руками до тех пор, пока из него не получалось забавное месиво с перепутавшимися, размазавшимися слоями разноцветного пластилина; из этой смеси изготавливалась очередная жертва, и так до бесконечности.

Будучи до самой гимназии не очень самостоятельным, я, если не считать ближайших окрестностей, плохо знал Львов; немного — улицу Казимировскую, район тюрьмы Бригиток — мрачного здания с толстыми стенами, неподалеку оттуда начиналась боковая улица Бернштейна, где у дяди Фрица была адвокатская контора. Ну, еще Грудецкую, по которой ездили на каникулы, то есть на вокзал, красивый и огромный, расположенный в конце аллеи Фоша.

Дядя Фриц жил на улице Костюшки, неподалеку от Браеровской, и я мог дойти туда сам, чего, впрочем, на практике не случалось. Его квартиры я немного побаивался; причиной тому

была медвежья шкура с головой, ощерившей разинутую пасть. Шкура лежала посредине гостиной, и много воды утекло в Пелтви, пока я решился сунуть в пасть этому медведю пальцы. Дядю я очень любил, хотя однажды он жестоко подшутил надо мной. Он принес мне в подарок огромный пакет, на который я тут же набросился, чтобы развернуть упаковку. Это длилось долго, минут пятнадцать, так что, наконец, вспотевший, дрожащий, я оказался среди пораскиданных на все стороны бумаг, держа в руке малюсенькую, меньше фасолины, куколку. Дядя долго смеялся над своей шуткой, не подозревая, как сильно ранил мое сердце.

Если я вообще соглашался ходить на улицу Костюшки, то, пожалуй, только из-за пианино, черного, огромного, на котором, кажется, никто не играл. Я любил измываться над его клавиатурой, потому что обожал мощные удары, бурную и безудержную какофонию; слух у меня никогда не был блестящим, и, к моему счастью, родители даже не пытались подвергать мою музыкальность, дубовую от природы, испытанию наукой игры на каком-либо инструменте.

Кроме бесчисленного множества тяжелых и длинных гардин, в которых души не чаяла вторая жена дяди, тетя Нюня, на улице Костюшки имелась весьма пышная, кажется, «а-ля Луи», мебель. Я помню золоченое зеркало на чьих-то ногах (кажется, льва), грифона на подставке, деревянного и раскрашенного, с маленьким, сидящим на нем верхом негритенком, подсвечник, изукрашенный тысячью кусочков радужного стекла, а также любопытный предмет: стоящую в темной нише огромную бочку из червонной меди, абсолютно бесполезную и потому интригующую.

Этому дяде я многим обязан, потому что он позволил мне перетащить на Браеровскую улицу энциклопедию восьмидесятых годов Брокгауза и Майера, которая вздымалась у него в конторе. Я носил эти огромные тома по одному, настолько они были тяжелы. Разумеется, читать их я не мог, ведь я не знал немецкого, но они были заполнены цветными вклейками, черно-белыми гравюрами на дереве — я проводил над этими тяжелыми и пыльными томищами много времени. Мир, который рисовала энциклопедия, был уже тогда, в двадцатые годы, немного окаменевшим, почти все отдавало анахронизмом, но, во-первых, я об этом не думал, а во-вторых, это нисколько мне не мешало. Поезда восьмидесятых годов, железные мосты с чугунными гирляндами, локомотивы с обильно украшенными металлическим кружевом трубами, равно как и управляющие ими особы, бородатые и усатые паны, все это казалось мне восхитительным, насыщенным невыразимым очарованием. Тогдашние динамо-машины — архаические сооружения с колесами, спицы которых были, разумеется, изукрашены резьбой, электрические моторы, а также различные «новейшие» изобретения, вроде черпавших энергию из аккумуляторов дрожек без лошадей, — все это составляло содержание последнего, дополнительного тома; самым же забавным казалось мне то, что в этих фолиантах было все, и к тому же все это соседствовало друг с другом — слоны, птицы, растения, мамонты, прусские ордена на цветных вклейках, портреты «сильных мира сего», негритянские физиономии, кувшины, драгоценности. Я с головой погружался в энциклопедию; каждый очередной том листал старательно от корки до корки, силясь ничего не пропустить. Не помню, знал ли я вообще, что это за издание и чему оно, собственно, должно служить. Пожалуй, это меня не интересовало. Так что даже и не понимая, что здесь сосредоточен весь мир, каталогизированный и описанный, или же его разрез, сделанный вдоль восьмидесятых годов девятнадцатого столетия, я, думается, воспринимал все правильно: все там было для меня одинаково хорошо, хотя, естественно, не все одинаково интересно. Энциклопедия была отличным дополнением к зондированиям, проводимым мною в отцовской библиотеке. Многие из имеющихся в ней гравюр послужили мне, надо думать, источником вдохновения в тот период, когда меня охватила страсть к изобретательству; кроме того, энциклопедия, завоевавшая в нашей квартире права гражданства и расставленная в старом белом шкафу в

комнате рядом с кухней, служила мне своеобразным тайником. Между книгами и задней стенкой шкафа было достаточно места, чтобы поставить там флакончики с тайными микстурами или просто с винами, в величайшей тайне сливаемыми из стоящих в буфете бутылок.

Насколько же мне легче рассказывать о предметах раннего детства, нежели о людях! Но, если так можно выразиться, лишь предметы были в то время со мной искренни. Они отдавались мне полностью, ничего не утаивая; это относится и к тем, которые — отданные на мою милость — я уничтожал, равно как и к тем, с которыми я ничего не мог поделать. Конечно, у родителей и близких были вполне понятные причины не поверять ребенку свои проблемы и заботы. Это нормально, иначе быть не может. Но отголоски этих проблем и забот или же их последствия все равно рано или поздно доходили до меня в отрывках, не полно, не совсем понятно; ни о чьей злой воле тут не может быть и речи. Впоследствии мне многое стало ясным, и я мог бы привести свой рассказ — односторонний и зачастую лишенный ключа, помогающего восстановить истинные (с точки зрения взрослых) пропорции описываемых событий, — в необходимый порядок, введя в него нужные пояснения и коррективы. Но именно этого-то я и не хочу делать, поскольку стремлюсь по возможности избежать двойной перспективы. Ведь я пишу не историю своей семьи или ее отдельных представителей. Мои намерения скромнее. Меня интересует только ребенок, которым был я. Ведь ребенок не считает свой мир несовершенным, полным провалов, требующим ретроспективных пополнений в каком-то неопределенном будущем — и поступает так, разумеется, инстинктивно, поскольку своего особого положения в мире взрослых не осознает. Тот, кто описывает общество, поклоняющееся магии, не должен на каждом шагу корректировать его верований, приводя различные опровержения, комментарии, рационалистические разъяснения, непрерывно отрицая преувеличения, подвергая сомнению правомочность заклятий и результативность чар. Если они и не оказывают реального воздействия на материальный мир, то наверняка влияют, и к тому же вполне однозначно, на тех, кто в них верит. То же и с ребенком. В этой субъективной перспективе учитываются лишь переживания, а не истинные интерпретации фактов, и селекция отделяет не истинные версии от версий фальшивых, а превращается в молчаливую исполнительницу приказов памяти, которая зарегистрировала то, что зарегистрировала, без какой-либо возможности апеллировать к прошлому.



Упорядочивать воспоминания детства — занятие довольно рискованное, особенно для человека с такой скверной памятью, как у меня, тем более если учесть, что я еще вынужден держать в узде профессионализм фантаста, то есть стремление группировать отдельные, пусть даже и соответствующие фактам, но не связанные друг с другом подробности в единое целое. Будучи автором не только фантастических книг, но и одного романа на современную тему, <sup>[90]</sup> я уже столько раз конструировал биографии фиктивных лиц, что, обращаясь к собственной персоне, к тому же существовавшей много лет назад, обязан поставить себя под возможно более строгий самоконтроль. Очень литературной — в профессиональном понимании этого слова — является привычка, стремление создавать именно нечто целостное, то есть определенные упорядочения, последовательность событий, которые каким-то образом замыкались бы и взаимообъясняли друг друга. Впрочем, как часто думают, эта склонность представляет собою одно из основных свойств человеческой природы, как в ее наиболее единичных, так и общественно-коллективных проявлениях.

Так повелось издревле, ибо что такое, например, мифы, как не навязывание видимости порядка даже таким явлениям, которые его в себе не содержат. Все мифы, сколь бы далеки они ни были от философских систем или научных теорий, сходятся с ними в том, что отрицают возможность всеобщего и уж, во всяком случае, достаточно распространенного хаоса как закономерности бытия. Итак, хаос в чистом виде, не нарушенном какими-либо разновидностями порядка, вероятнее всего, нигде в материальном мире не существует; однако это не значит, что мы согласны некритично принять всякий род порядка, поддающегося объективному выделению в тех или иных явлениях. Ни романист, ни даже биограф не могут удовольствоваться использованием одних лишь статистических закономерностей типа больших чисел или броуновского движения молекул; стало быть, туда, где главенствуют упорядочения именно такого типа, характеризующие лишь общий ход развития событий и оставляющие множество лазеек для слепого случая, легче всего проникает, даже не всегда сознательно вводимый автором, надпорядок, такой его избыток, которому нет аналога в реальном мире и который является либо выражением религиозных идеалов, либо результатом одностороннего видения мира, либо, наконец, следствием подчинения бытующей в данный момент методологии или эстетике. Тот, кто в описываемую действительность «вживляет» избыток отсутствующего в ней порядка, чаще всего рисует ее в несколько облагороженном виде. Так, подчеркивая, скажем, идилличность, невинность детских лет, автор конструирует «безгрешные годы», либо, наоборот, стремясь активно избежать такого подхода, создает мир детей — маленьких чудовищ, ограничиваясь исключительно биографическими сведениями, так как именно они интересуют нас в данном случае. О том, чтобы кто-то, не придерживаясь каких-либо канонов, сказал «все», не может быть и речи, поскольку селекция производится всегда, отличаются лишь наборы критериев, использованных для отсева. Наконец, если я стараюсь основываться на памяти, то я доверяюсь ей как селектирующему фактору, ставлю себя в зависимость от того, что сумел запомнить; поэтому я считаю, что граница способности запоминать является барьером объективности, преодолеть который невозможно.

Работая над этими несколькими десятками страниц воспоминаний, я постоянно ощущал довольно сильное беспокойство, так как мне частенько казалось, что я описываю не сами события, а лишь их в какой-то степени литературно перепародированные версии. В самом деле, «Непотерянное время» я начинал с детства героя, и эту вступительную часть книги, которую я многократно переписывал и переделывал, я в конце концов решил отбросить. А именно там

содержалось максимальное количество материалов, касавшихся воспоминаний раннего детства. Кроме того, различные крохи этого детства расплылись у меня по другим книгам, поэтому я оказался в неблагоприятном положении человека, который не может просто так вот запускать руку в мешок, в котором содержатся, пусть даже совершенно хаотически перемешанные, хроникальные факты, а вынужден как бы силой вырывать их из самых разнообразных конструкций, в которых они обросли предельно совершенными имитациями правды. Иронический вариант ворожбы ученика чернокнижника, или, попросту говоря, лгуна, начинающего путаться в собственных измышлениях.

Вполне понятно, что в большей степени это касается переживаний, психических реакций, нежели чисто сенсуальных<sup>[91]</sup> впечатлений; говоря это, я подрываю — в чем отдаю себе отчет — самое концепцию, которой должен был руководствоваться: изолировать интерпретации и версии переживаний от них самих, выделить эти переживания в чистом виде. Это невозможно, если мы намерены излагать всю правду, и только правду. Ребенок, которым я был, превращается в этом случае в какую-то кантовскую «вещь в себе». Мне приходится додумывать его, никогда не зная, в какой степени мне это удастся, когда я лишь восстанавливаю, реконструирую, а когда переступаю очерченный порог, из домыслов создаю фрагменты действительности, вообще не существовавшей.

Довольно забавно, что с весьма похожими заботами человеческие стремления сталкиваются в областях, казалось бы, совершенно не связанных с попытками вернуться в «мир детских лет». Так, например, оказывается, что если только потребовать четкости и очень строгой определенности, если точность продвигать чрезмерно далеко, то уже невозможно отделить объективные факты от их интерпретаций, поскольку у истоков языка его исходные элементы, отдельные слова, равно как и законы грамматики и синтаксиса, являются интерпретациями, а не абсолютно точными фотографиями предметов или психических явлений. Конечно, подобная констатация не утешение, хотя в какой-то степени она и может снять с нас тяжесть греха. Избыток знания подчасную оказывается бременем, балластом, ограничивающим свободу действия. Тот, кто хорошо знает, сколько «теорий ребенка» существует в психологии или антропологии, должен отдавать себе отчет в том, что как бы он ни желал, как бы ни стремился быть прямолинейным, искренним, подлинным — предрасположения его интеллекта, характера неизбежно будут сносить его в сторону одного из этих теоретических положений, ибо того ребенка, которым он был, он видит сквозь набор линз, надетых на нос последующими годами жизни, и тут уж ничего не попишешь.

Все это относится к «теории ребенка», как существа непознанного; постепенно он теряет эти черты; но одновременно, мне кажется, происходит процесс своеобразного опошления, приспособления к группе, в которой — и вместе с которой — этот ребенок растет. Извечный спор о том, что является в человеке врожденным, а что приобретено в результате влияния окружающей среды, охватывает лишь первые годы детства; и кто знает, не ждут ли нас в этой области не только теоретические откровения, но и революция в педагогике, если действительно окажется, что границу формирования, приобщения к культуре и ее достижениям, в том числе и интеллектуальным, можно весьма значительно сместить в сторону первых лет жизни. Это, вероятно, могло бы сделать из малолетних детей людей, владеющих даже элементами высшей математики.

Впрочем, давайте отложим разговор о будущем, коль на этот раз я говорю о прошлом. Занимаясь им, я могу основываться исключительно на памяти. Тщетно я пытался восполнить ее пробелы, ее анархический диктат, просматривая старые книги и альбомы. Правда, изображенные в них улицы, площади, костелы мне знакомы, близки, я чувствовал их как бы своими, но это ощущение можно, пожалуй, сравнить с ощущением доменной мыши, для которой

закоулки и щели квартиры более близки и «свойски», нежели для законных владельцев жилища. Поразительно, что план города — сухая схема расположения улиц, рисунок довольно-таки абстрактный — говорил мне больше, чем картинки в книгах и альбомах. Сдается, память с ее механизмами, столь упорно сопротивляющимися расшифровке наукой, многообразна и как бы многослойна.

Из дому до гимназии я, пожалуй, мог бы пройти с закрытыми глазами даже сегодня: эта дорога настолько запомнилась мне своим повторением, что стала чем-то вроде мелодии — тем, что психологи называют «кинетической мелодией». И опять-таки невольно напрашивается сравнение с мышью, которая, отлично ориентируясь в окружении, наверняка не способна к его эстетической оценке — так же, как не был способен я, будучи львовским гимназистом. Несомненно, я проходил мимо памятников архитектуры, армянского собора, старых домов Рынка со знаменитой Черной Каменицей во главе, но я ничего не могу о них сказать. В половине восьмого утра я доливал в кофе воды, чтобы остудить его, и шел по улицам Монюшко, Шопена, через площадь Смолки с каменным Смолкой посередине, по Ягеллонской, проходил мимо кино «Марысенька» к улице Легионов. В глубине, слева, маячил театр, но меня, словно маяк моряка, притягивал домик гораздо менее пышный, стоящий на углу площади Духа, — киоск с изделиями пана Кавураса.

Он изготавливал халву в двух видах упаковки, по 10 и 20 грошей. Я обычно получал 50 грошей на неделю и, таким образом, в понедельник мог объедаться халвой; но начиная со среды положение резко менялось. Изводила меня также сложнейшая проблема, стоящая где-то на пограничье стереометрии и алгебры: что лучше — одна пачка за 20 грошей или две по 10? Коварный Кавурас затруднял решение, придавая пачкам несравнимые формы, и я никогда не был уверен, что решил правильно.

Дальше дорога пересекала Рынок, шла мимо огромного сундука Магистрата с башней Ратуши, мимо колодца с Нептуном и каменных львов, присевших на корточки у ворот, через узкую Русскую улицу на Подвалье, где стоял трехэтажный дом гимназии, окруженный деревьями.

Когда у меня не было ни гроша за душой, я предпочитал ходить мимо так называемого «Венского кафе», может, чтобы вид маслянистых стен халвы за стеклом киоска не ранил мне сердце. У кафе находился первый ориентир — электрические часы. Следующие висели на Рынке высоко на башне Ратуши. Они показывали, можно ли еще задержаться у какой-нибудь витрины, или следует ускорить шаг. Это, собственно, все, что запомнил глаз, да и многое из того, чем был занят мой дух. Я воистину был мышью, а общество делало все, чтобы с помощью педагогики превратить меня в человека. Сопротивлялся ли я? Как индивидуум даже не очень, скорее уж как частица ученического коллектива. Вероятно, это действительно так — об этом уже поведали величайшие писатели мира. Они показали гимназию как сложную игру, то есть борьбу противоположных интересов, в которой преподавательская сторона, стоя на позициях власти и авторитета, пытается вдолбить в головы ученикам максимум информации, а сторона противоположная, естественно, более слабая, всеми силами и способами увиливает от этой информации. Это не удается ей полностью, но бездумное, отчаянное сопротивление класса — мешанина маленьких подлостей и всеобщей инертности — стремится по мере сил извратить, осквернить или хотя бы только уничтожающе переосмыслить все наглядные пособия, все материальные средства процесса обучения. Микрпейзаж педагогической баталистики не богат. Однако он представляет собою поле для поединков во время опроса или массового избиения — то есть контрольных работ, — всякого рода петляния, вывертов, молчания, обходных маневров, когда каждая парта становится редутом, мел порой превращается в снаряд, а последним прибежищем — ох как часто! — становится туалет.

Таким образом, в результате всеобщих усилий во всех щелях и трещинах официальной структуры возникает своеобразная гимназическая субкультура, ибо, измываясь над партами, выцарапывая на стенах туалета бог знает что, топя в чернилах мух, смачивая водой мел, разрывая губки для классных досок, подрисовывая национальным героям женского пола усы, а их мужским аналогам бюсты, класс только на первый взгляд отвечает возведением хаоса на требования порядка. В действительности и он строит порядок, однако такой, который сводит на нет — путем обесмысливания — ценность материальных пособий науки: из ручек делает предметы товарищеских забав или озверивает тетради, придавая им ослиные уши. Стало быть, в кажущемся сумасшествии рычащей ученической братии есть метод и даже религия, поскольку класс, окопавшийся на партах напротив кафедры учителя, недаром взывает к божеству Великого Оглупления.

На мне производили эксперименты. Я поступил в первый класс старой гимназии, кажется, в 1931 году и украсил воротник, застегивающийся на крючки, одной серебряной полоской, к которой со временем предстояло присоединиться следующим, а в пятом классе серебро должно было уступить место золоту. Однако из второго класса я вновь перешел в первый — нового типа. Твердые фуражки с желтым бархатным околышем, из-за которых нас прозвали «канарейками», уступили место мягким «матеевкам»;<sup>[92]</sup> прогресс выразился и в новом покрое школьной формы: синих куртках и брюках с голубым кантом, а также рубашке, расстегнутой на шее; кроме того, нам выдали нарукавные нашивки, имеющие вид щита. Вторая гимназия стала именоваться Пятьсот шестидесятой. Началась борьба против нашивок. Около восьми часов утра директор, сопровождаемый кем-либо из классных наставников, крутился перед гимназией, среди усердно сдергивающих фуражки учеников. Время от времени он подзывал кого-нибудь, чтобы проверить, прикреплена ли нашивка согласно инструкции или только прихвачена на живую нитку. Поэтому многие носили в кармане портняжные принадлежности и, предупрежденные знакомыми где-нибудь на углу Русской улицы, лихорадочно затирали следы порочной жизни. Что касается меня, то нашивка у меня всегда была пришита намертво, чего я стыдился и с чем боролся окольными путями, в конце концов придумав, как можно ею воспользоваться в рамках той субкультуры, о которой я только что говорил. Но об этом позже.

Одновременно с кончиной старой гимназии я пережил гибель парт — почти во всех классах их заменили стулья и современные столы с ящиками. Парты я вспоминаю лишь как что-то архаическое, некий реликт минувших эпох, с ними я мимолетно столкнулся под конец их существования и вспоминаю о них не без искреннего волнения. Впрочем, бог с ними, с чувствами, — мне кажется, следовало бы собрать последние экземпляры школьных парт, если они вообще еще где-то сохранились, и поместить в музеи на равных правах с остатками мустьерской.<sup>[93]</sup> или ориньякской<sup>[94]</sup> культур. Палеолитический человек занимался резьбой по камню, гимназический — по парте. Это был благодатный материал. Мудрые столяры проектировали их, имея в виду бесчисленные волны учеников, которые непрекращающимся прибоем будут пытаться изничтожить деревянные окопы. Края парт со временем стали гладкими, словно слоновая кость, потому что за них спазматически хватались бесчисленные поколения вызванных отвечать гимназистов. Пот и чернила настолько впитались в толстые доски, что постепенно они приобрели свой неопиcуемый серо-буро-малиновый цвет; стальные перья, лезвия перочинных ножей и просто ногти, а кто знает, может быть, и зубы, испещрили их вязью таинственных знаков, иероглифических писем, слои которых накладывались один на другой, ибо каждое очередное поколение закрепляло и продолжало труд предыдущих; так появились глубокие и глубокомысленные рытвины, несравненную же гладкость отверстиям от выпавших сучков придал сизифов труд лекционных часов; но и это еще не все. Когда обострения достигали апогея и приходилось сидеть, заложив руки за спину, глаза, эти слуги

души, над которыми учителя уже не властны, в последней попытке уклониться от получения знаний почивали на рисунке древесных слоев; при соответствующей сосредоточенности можно было начисто оглохнуть к учительским словам. Как Гамлет, если б его заключить в ореховую скорлупу, чувствовал бы себя владыкой бескрайних просторов, так и каждый из нас мог благодаря парте сливаться с абстрактными меандрами ее поверхности, охваченный сладостным обалдением, передохнуть в этой двуличной разновидности эскапизма<sup>[95]</sup> Вероятно, вырезать ерунду можно и на полированной крышке стола, но это уже типичное не то. Это делалось без уверенности, а стало быть, и без артистизма, скорее по инерции. У добротной парты были две не очень глубокие выемки для чернильниц; мы использовали специальную их разновидность — стеклянные баночки с воронкообразным отверстием, довольно глубоко входящим внутрь, вследствие чего чернила должны были не выливаться, если чернильницу перевернуть. Уверяю вас, они выливались, а если не хотели делать этого сразу, мы им помогали. Шариковых ручек в то время еще не существовало, на авторучки смотрели неодобрительно; писали мы обычными стальными перьями, которыми можно и в цель кидать и соседей покарывать в рамках субкультуры. Мы своими действиями доказывали, что нет такого предмета, который нельзя было бы поставить на службу целям, противоречащим намерениям их создателей. Культуру, как известно, наследуют поколения за поколениями; с незапамятных времен было известно, для чего существуют парты, что же касается столов, то мы были в полном неведении относительно того, что с ними делать. Однако побежденными мы себя не признали, в результате чего у стульев поотлетали ножки. Популярно это именовалось вандализмом. Вероятно, это и был вандализм, хотя, с другой стороны, чем, собственно, отличались от нас святые писаки средневековых монастырей, соскребавшие с пергаментов ценные записи, чтобы поместить на их место свои неинтересные тексты?

Тем, чем для христианина является рай, для каждого из нас был Высокий Замок. Туда ходили, когда из-за непредвиденного отсутствия учителя пропадал какой-нибудь урок — одна из самых приятных неожиданностей, которыми изредка баловала нас судьба. Это было место не для прогульчиков, так как в аллеях, между скамьями и деревьями можно было натолкнуться на кого-либо из воспитателей; местом укрытия дезертиров служили ямы из-под выкорчеванных деревьев в Кайзервальде и районы за Песчаной горой, там они беспечно слонялись в чаще, досыта накуриваясь «Силезскими раритасами» или «Юнаками». К Высокому же Замку мы отправлялись открыто, шумно, в сладостном ореоле легального бездельничанья, упиваясь избытком неожиданно свалившейся на нас свободы. От этого восхитительного места гимназию отделяли, помнится, две трамвайные остановки; однако мы никогда не ездили туда трамваем — это было слишком дорогое удовольствие. Обычно мы шли вверх по Театынской улице, а в нескольких десятках шагов за домами, там, где кончались трамвайные рельсы, склон холма улетал вниз, открывая вид на огромную панораму Львова, с правой стороны обрамленную последними отрогами Песчаной горы, а с левой — парковыми зарослями, за которыми скрывался Курган Любельской Унии.<sup>[96]</sup> Далеко внизу чернели переплетения путей железнодорожной станции Подзамче с маленькими паровозиками, а еще дальше до самого зеленого горизонта голубоватой дымкой дышало воздушное пространство.

От Высокого Замка сохранились остатки стены, руины, которые я едва помню. Понадобилось тридцать лет, чтобы я над этим задумался и узнал, что Высокий Замок был названием некогда красивого строения, а называлось оно так потому, что в городе когда-то существовал еще и Низкий Замок. Впрочем, в описываемое время руины и другие достопримечательные памятники веков меня совершенно не интересовали. Что же в таком случае мы там делали? Собственно, ничего. Правда, несколько раз в году мы с отцом ходили на Курган Любельской Унии или на Песчаную гору, но это никогда не делалось в учебное время. В



учебные же дни можно было воспользоваться только случайно выпавшей возможностью. За восемь гимназических лет я бывал в Замке несчетное количество раз, но, кроме теней огромных каштанов да низких живых изгородей, за которыми голубела панорама города, не помню ничего, потому что это, собственно, было даже не место, а некое идеальное состояние, по своей насыщенности сравнимое разве что с первым днем каникул — еще не затронутым, не надкушенным, при одной лишь мысли о котором сердце замирало от сладостного предчувствия, поскольку всему еще только предстояло случиться, а одновременно с этим появлялась склонность к расточению времени, разлившегося океаном на весь июнь и июль. Высокий же Замок открывался нам всего на один час, поэтому каждой минутой надлежало насытиться, испить ее до конца, заполнить откровенным бездельем, старательным ничегонеделанием; мы утопали в нем, позволяли ему нести себя, словно теплой реке под облачным небом, это не был погруженный в молитвы скромный христианский рай, а скорее нирвана — никаких искушений, желаний, — блаженство, существующее само по себе, даже наши глотки, охрипшие от крика на переменах, охватывало, видимо, это небесное дуновение, так как хоть мы немного и верещали, но больше по привычке, чем по необходимости.

Туда, точнее, на холмистый участок за Песчаной горой, мы ходили также и на уроках природоведения, но это было совершенно иное дело, особенно для меня, всегда бывшего с растениями не в ладах. Наш «природник», Носкевич, не мог надивиться, как это у меня во время классифицирования с определителем Ростафиньского<sup>[97]</sup> в руках травы и колючки превращались чуть ли не в рододендроны. Покрытосемянные, голосемянные — одни эти названия не знаю почему мне противны; в свое оправдание я, вероятно, мог бы сказать, что растения действуют мне на нервы. Ведь это как бы наши отдаленные родственники, всегда и всем удовлетворенные, если не хуже: абсолютно безразличные ко всему. С мышами, львами, даже муравьями мы разделяем множество забот: боимся, желаем или добиваемся чего-то, а растительное безразличие к судьбе кажется мне предательством по отношению к общему делу. Неужели столь причудливые взгляды были у меня на двенадцатом году жизни? Пожалуй, нет. И, однако, неприязнь, не имеющую, правда, ничего общего с необходимостью есть шпинат, я испытывал к этим зеленым побратимам с незапамятных лет.

Лишь возвращаясь в гимназию с подобной сестры, мы замечали, насколько мал школьный двор — врезанная в склон Валов горизонтальная площадка, вытопанная до предела. Двор был огорожен низкими каменными столбиками, соединенными толстыми металлическими прутьями, — не преграда, конечно, но переступить эту границу запрещалось. Поэтому необходимо было максимально использовать отведенное пространство, не оставляя без внимания ни сантиметра. Со стороны свободного мира приходил продавец пряников и вместе с ними приносил нам сладость азарта. Двое школяров платили по пять грошей; он же, многозначительно позвякав медяками в кармане грязного фартука, вынимал горсть монет и считал: чет — нечет; угадавший выигрывал и немедленно съедал десятигрошовый пряник. Мне никогда не разрешалось их есть. Считалось, что ими можно отравиться, как утверждал отец. Я ему не возражал, хотя все мои товарищи неизменно оставались в добром здравии. У самой стены корпуса со склона спускалась бетонированная канава; в ней мы бесконечно, то есть от звонка до звонка, мыли каблуки и подошвы, сползая, съезжая и взбираясь наверх. Кроме того, мы расшатали все прутья, когда-то наглухо зацементированные в бетон столбиков, содрали (я чуть было не сказал — обгрызли) кору с окружавших двор деревьев; иначе говоря, мы были как бы коллективным аббатом Фариа из романа Дюма.<sup>[98]</sup> Если б можно было каким-либо образом собрать воедино энергию всех гимназистов мира, вероятно, удалось бы Землю насквозь пробуравить и высушить океаны, но предварительно это следовало бы строжайше запретить.

Я набросал нечто вроде заявки на очерки под названиями «Гимназия как субкультура» и

«Гимназия как стихия». Но она была и еще кое-чем, ибо была обществом. Определенно. И как всякое общество, мы управлялись не только легальными законами, имея демократически избранное самоуправление со старостой во главе, казной, казначеем (я тоже некоторое время был им) и дежурными на уроках, но и законами автономными, которые возникали и действовали как бы самостоятельно. В иерархии последних были две четко выделявшиеся должности: недотепы и классного шута. Недотепой становились по решению класса, решению неофициальному, но безапелляционному. Идеальным кандидатом считался какой-нибудь толстый, неловкий мальчишка, над которым можно было слегка поизмываться, впрочем, не жестоко — только так, чтобы он не забывал о своем положении; если он смирился с назначением, то мог жить вполне сносно. У класса обычно был только один недотепа, словно бы большее их количество бросало тень на весь класс. В нашем классе эту должность долгое время занимали двое, однако исключение только подтверждало правило, так как речь шла о близнецах, братьях Ф. Близнецы представляли собою как бы единую личность, ходящую в двух телах. Таким образом, они были одним недотепой, повторенным дважды. Такое положение приводило к любопытному соперничеству, настраивая их друг против друга. Частенько после долгого семейного перешептывания в углу они неожиданно начинали драться — разумеется, как недотепы, то есть молотя вслепую кулаками, вырывая волосы и слезливо визжа. Когда братья болели, обязанности недотепы рег ргосига<sup>[99]</sup> исполнял толстый З. Он был страшно обидчив, у него были как бы специально созданные для щипков щеки, а будучи одновременно толстым и недоверчивым, он чудесно подходил для «тисканья». Процедура заключалась в том, что к ничего не подозревающей жертве с двух сторон скамейки (скамейка абсолютно необходима для тисканья) подсаживались два лоботряса и, упираясь ногами в пол, а руками в столы, по сигналу до тех пор стискивали между собой несчастного, пока у того не начинали хрустеть ребра, а глаза не вылезали на лоб. Впрочем, недотепе особенно не доставалось — заниматься им не считалось признаком хорошего тона.

Рассматривая классное общество сквозь лупу, можно заметить, что особенно беспокойно чувствовали себя ученики, которые инстинктивно догадывались, что превращаются в кандидатов в недотепы и, вероятнее всего, будут низведены на эту должность, как только «штатное место» освободится. Именно они занимались патентованными недотепами, вклеивая им множество тычков и колкостей, чтобы как можно явственнее отмежеваться от них. Таким образом, они пытались противостоять собственной потенциальной недотепистости, весьма, впрочем, наивно, поскольку благородные представители класса отнюдь не заботились о его парнях.

Недотепой становились по всеобщему решению, шутом же лишь благодаря собственным активным заслугам, когда врожденный талант соединялся с соответствующим тщеславием. Шут — это тот, кто ухитрялся позабавить класс одним удачно брошенным словом, слепить меткую поговорку и прежде всего прикидываться дурачком во время опроса. Положение было трудным, так как приходилось балансировать между классом и противоположным лагерем; нельзя было стать шутом и тех и других. Так что подобная эквилибристика требовала большого искусства.

Некоторое время чем-то вроде шута в нашем классе был Мечик П., отличавшийся тяжеловесной шуткой и еще более тяжелой рукой. Когда его вызывали, он обычно начинал разыгрывать из себя идиота, стараясь делать это так, чтобы было ясно, что он издевается над преподавателем. Особенно беспощадным он был к молодым женщинам, исполнявшим обязанности ассистенток при учителях и иногда проводившим занятия самостоятельно. Мечик был вульгарным, и я его не любил; он сидел на последней парте, частенько притворялся глуховатым, так что приходилось повторять вопросы, а врал он артистически: с бесстыдной невинностью глядя в глаза, он с поразительными подробностями излагал совершенно

неправдоподобные события, которые якобы не позволили ему приготовить уроки. Чем явственнее была лживость оправданий, тем с большими подробностями он их преподносил. Класс смеялся, но не над ним лично — подобные попытки Мечик пресекал ссылкой на свою компанию. В нее входило еще несколько «деятелей» — двоечников, представлявших собою, с точки зрения педагогики, безнадежные случаи. Он был их porte-parole,<sup>[100]</sup> даже интеллектуалистом, хотя и не верховодом. Шуток они не любили и к близким контактам с нами не стремились. В них чувствовались гости из иного, внегимназического мира, совсем из другой сферы. По сравнению с ними мы были хлюпиками — какой-нибудь В., например, позволял нам душить себя и сопротивлялся лишь одним напряжением твердых, как доска, мускулов шеи. В средних классах гимназии мы начинали интересоваться вопросами «любви и дружбы». Для них это была обыденщина, рутина, почти профессия — с отчаяния мы не упускали случая выкрикнуть что-нибудь поскабрезнее, чувствуя, однако, как у нас из-под ног уходит почва вожделенной мужественности. Интересно, что мне запомнились в основном не их лица, а руки и портфели — руки взрослых мужчин, тяжелые и малоподвижные, пожелтевшие от никотина, со вспухшими жилами на оборотной стороне ладони, покрытые шрамами отнюдь не от игры перочинным ножиком; у этих шрамов не было ничего общего с игрой, а портфели из потемневшей, грязной кожи, полуразвалившиеся, давно лишившиеся ручек и металлических уголков, со впалыми боками, потому что в них никогда не было ничего, кроме завтрака, давали понять, что в течение многих лет их приучали к суровой жизни — бывали они и воротами импровизированного во время пропуска уроков матча, и подушками под головы в Кайзервальде, и даже снарядами; такой портфель-ветеран, мне думается, следовало бы поместить под музейное стекло рядом с партией.

Были у меня и довольно близкие товарищи, но, пожалуй, не было ни одного друга, которому бы я мог поверять свои тайны. Я любил Юзека Ф., у которого усы начали расти, почитай, чуть ли не в первом классе гимназии нового типа; это был отличный математик; его убили немцы. Нравился мне еще Зигмунд Е. по прозвищу Пуньча. Интересно, что я помню его не по парте или классу, а по спортплощадке. Сын бедных родителей, он пробивал себе дорогу к знанию с помощью репетиторства. Учение стоило дорого — полугодовая плата составляла 110 злотых, то есть стоимость костюма или пяти пар ботинок, а получить освобождение от платы было нелегко. Итак, драматические минуты, когда пробивали штрафной в ворота противника... Героем был Пуньча — я его вижу словно живого; сначала он клал мяч на подходящее место штрафной площадки в одиннадцати метрах от ворот — в которых нервно облизывал губы вратарь, ссутулившийся, широко открывший глаза, — потом отступал для разбега и в молчаливом, томительном раздумье оставался один на один с противником, его расслабленное тело слегка напрягалось, и он направлялся к мячу сначала медленно, по-утиному переваливаясь; у него были немного кривые ноги, к тому же он еще специально ими загребал, чтобы вратарь не догадался, с которой ноги Пуньча ударит. Правда, все знали, что он всегда бьет с левой, тем не менее эту игру мнимой неуверенности он повторял всегда и, что самое странное, с отличными результатами. На последних метрах он набирал скорость, так что только ноги мелькали, раздавался тупой звук удара — и мяч под восхищенный гул зрителей шел точно в девятку. Пуньча медленно оборачивался, и все видели его вежливо улыбающееся, невинное лицо — то, с парты, из класса, немного как бы сладковато-мягкое и совсем будничное. У меня были два долголетних соседа по парте. Один, Юлек Х., сын полицейского, довольно крупный парень, блондин со вздернутым носом и выражением неуверенности в глазах; мы с ним провели солидную деловую операцию, которая долго тянулась, прежде чем пришла к финишу: за надоевший мне пугач-браунинг девятого калибра он дал однозарядный шестимиллиметровый пистолетик. Разумеется, я воспылил желанием немедленно испытать оружие, а так как каждая



минута была дорога, вернувшись домой, тут же зарядил пистолет так называемым «горошком». «Горошек» никак не хотел уместиться в заряднике, но в конце концов я его туда затолкал. Я раскрыл окно в комнате рядом с кухней, нацелился вдоль галереи в оконце клозета, находящегося в ее конце, и бабахнул. Грохот был неожиданно сильный, я бы даже сказал, чудовищный. Прежде чем я успел побежать на галерею, чтобы проверить, что стало с пулей, в комнату влетела мать, а следом за ней отец в белом халате и с ларингологическим зеркалом на лбу — выстрел застал его во время приема. Еще дымящийся пистолет был немедленно конфискован и в качестве весьма опасного оружия отправлен в запертый на четыре замка ящик. Значительно позже я убедился, осмотрев пистолет, что мне действительно крепко повезло, потому что зарядная камера была высверлена в слишком тонком металле, а выступающую часть гильзы раздуло пороховыми газами; к счастью, вязкая медь выдержала и все это вместе взятое не полетело мне в глаза. Пулю я искал долго и безуспешно, ствол не был нарезан. Кажется, Юлек выгадал больше. Не знаю уж почему, но об оружии мы говорили много; Юлек однажды даже участвовал в охоте, помнится, на кабанов, и один из товарищей, целившийся на высоту прятавшегося в кустах зверя, по ошибке подстрелил его в бедро. Юлек долго ходил в бинтах, вызывая всеобщую зависть. Впрочем, это было уже позже, в лицее. В то время прекрасный многозарядный «фловвер-репетир» был и у Юлека Д., а я так и не пошел дальше воздушного пистолета; я переживал это весьма болезненно. Если б это зависело от меня, я, вероятно, ходил бы в гимназию с головы до ног увешанный револьверами; а так самое большее, что я мог делать, — это похвалиться различными охотничьими достижениями, впрочем, без особого энтузиазма, потому что чувствовал: в этой области фикция слишком явно уступает действительности.

Еще раньше моим соседом по парте был Юрек Г., красивый и влюбчивый; у него всегда было множество запутанных историй с девочками...

Я не мог уйти из дому пополудни, потому что мне был придан ангел-хранитель, попросту говоря, репетитор, пан Вильк, вначале студент, а затем магистр права; он наблюдал за мной, то есть присматривал за тем, чтобы я добросовестно выполнял домашние задания. Таким образом, классическая отговорка, что я-де иду к товарищу готовить уроки, для меня не существовала: мне действительно приходилось заниматься. Вдобавок ко всему я еще изучал дома французский с некоей Мадемуазелью — особой, достаточно неприятной, обладавшей огромным пористым, словно его рассматривали под увеличительным стеклом, красным носом. Правда, мне удавалось ее умаслить, придумав целую систему уверток, спасавших от ловушек ужасной грамматики. К счастью, Мадемуазель была весьма любопытна по натуре, поэтому охотно выпытывала меня обо всем, что происходило в нашей семье: не выходит ли кто замуж, или наоборот. Я же, ничего не зная об этих матримониальных делах, плел и врал что на ум взбредет; в конце концов, несмотря на все, я научился немного «парлевать», однако тайны *temps défini*, *indefini* и всех ужасных *subjonctif*'ов остались для меня загадкой навсегда. В то время я уже производил собственные алкогольные напитки, имея в виду каких-то неожиданных гостей мужского пола, которые, впрочем, так и не появлялись, но я все равно прятал за томами энциклопедии Брокгауза и Майера грязно-белый ящичек со скляночками, заполненными остатками невыпитых вин и коктейлей собственной рецептуры. Я пользовался буфетом матери; основой коктейлей были альяс и тминная настойка, которую отец иногда употреблял перед обедом. Когда семейные сплетни иссякали, я потчевал французенку своими алкогольными изобретениями, и она была не прочь опрокинуть рюмочку — другую. В маленьких химических бюксиках я смешивал мази, упертые из комода матери, и умащал ими мою французенку. Совершенно удивительно, что после всего этого я ухитрюсь прочесть книжку на языке Мольера.

Разрываясь между занятиями в школе, паном Вильком и французенкой, я не располагал

достаточным количеством свободного времени, и жизнь моя была бы, вероятно, совершенно бессодержательной, если бы я не разнообразил ее тайными способами, о которых вскоре расскажу. Некоторым развлечением были школьные спектакли; приходилось ходить на всякую страшную «муру» вроде «Освобождения» Выспьянского <sup>[101]</sup> (я не высказываю здесь своего мнения о драматургии Выспьянского, а говорю лишь о ее раннем восприятии четырнадцатилетками). В классе нам раздавали нумерованные билеты, и немедленно начиналась оживленная дискуссия о том, где будут сидеть женские гимназии. По каким-то тайным каналам проникали необходимые сведения, и мы приступали к торговле и обмену, потому что каждый или почти каждый хотел сидеть там, где можно было рассчитывать на роскошное соседство. Меня это не касалось; я был инфантильным телком и мог только слушать разинув рот о победах Юрека Г., о свиданиях и всем том, что на них творилось. Впрочем, выгоды соседства с женскими гимназиями на школьных спектаклях были довольно иллюзорными, поскольку стратегически размещенные представители педагогического коллектива не жалели усилий, чтобы не допустить даже самого слабого контакта гимназических душ разного пола.

Время от времени родительский комитет организовывал танцульки, но я в то время еще не умел танцевать и самое большее мог подпирать стенку — точнее, лесенку, — потому что танцевали мы в гимнастическом зале. Некоторые молодые преподаватели были не прочь пуститься в пляс с нашими гостями слабого пола, и это, правду говоря, казалось мне противоестественным. Я не мог представить себе Аттилу, увлекающегося хореографией.

Чтобы стало ясно мое положение в классе, я должен сравнить себя с другими; будучи неуклюжим и довольно толстым, я тем не менее как-то не попадал в недотепы; во всяком случае, не был недотепой патентованным, одобренным всем классом. Может, потому, что от большинства я держался в стороне, учился хорошо и голова у меня была забита множеством личных забот. Впрочем, не знаю. Кажется, на переломе гимназии и лица я столкнулся с Прустом, узнав о его существовании благодаря Иереми Р. и Янеку Х. Иереми изучал английский, таскал с собой какие-то словари и вообще был невероятно умный. Поскольку я читал все, что попадало под руку, то, увидев, как Янек и Иереми носятся с томами, имеющими недурственные названия, вроде «В тени расцветающих девиц», я немедленно взял первый том цикла и увяз на первых же страницах. Страшно этим удивленный, я, как профессиональный прыгун, несколько раз отступал, чтобы набрать скорость, и бросался на преграду, но каждый раз отлетал, словно от стены. Кто знает, не тогда ли мне в душу запали первые семена комплекса неполноценности? Пробовал я читать Пруста, но ничего из этого не получалось. Прогуливаться с девочками даже не пытался, потому что не знал, как и когда это делается. Поэтому перед товарищами, к которым я причислял и Янека Х., приходилось прикидываться, будто со всем этим у меня дело обстоит как нельзя лучше. Янеку я втайне ужасно завидовал. Он был сыном известного львовского адвоката, жил неподалеку от улицы Мицкевича, рядом с площадью Смолки, в просторной квартире, где входящего приветствовал бюст его отца — громадная, воистину римская голова на массивной шее, с неправильными чертами лица и широкими ноздрями. Мать у него была ненормальной, Янек никогда о ней не говорил; она никуда не выходила из квартиры, жила в отдельной комнате, почти всегда за замкнутой дверью — там было сине от дыма; я несколько раз мимолетно видел ее, и всегда она держала в пальцах дымящуюся сигарету. Репетитора у Янека не было, отец относился к нему как к взрослому; ему не приходилось говорить, куда он идет, что собирается делать, приготовил ли уроки. Он читал себе своего Пруста, сидя в очках с проволочной оправой, а когда приходил я, захлопывал книжку, снимал очки вместе с бумажкой, подложенной на переносицу, чтобы проволочка не оставляла следа. Он прекрасно плавал: сто метров вольным стилем за минуту и шестнадцать

секунд, я же держался на воде как колун; кроме того, он играл в волейбол, а в лицей ходил с великолепной Вандой П., причем о Ванде не считал нужным говорить. Никакими победами он не хвастался. Но больше всего мне в нем нравилось, пожалуй, то, что этот, вообще-то говоря, довольно средний ученик совершенно не интересовался школой, двойки его отнюдь не волновали, словно он имел свою систему оценок и преспокойно ею пользовался. Мы подолгу провожали друг друга, кружа между Браеровской и Мицкевича; это был добрый, отзывчивый мальчик с немного сонным, как бы флегматическим поведением и большим чувством юмора. Насколько мне известно, его тоже убили немцы.

В то время — в гимназии — я делал множество вещей уже отнюдь не ради удовольствия, а (бессознательно подражая в этом взрослым) лишь потому, что именно этим, а не чем-то иным занимались мои ровесники. Еще до лицей самые умные товарищи начали играть в бридж, который казался мне хуже неправильных латинских глаголов. Я никогда не мог запомнить, какие карты уже вышли, какие еще на руках, чем бить и с чего ходить, — меня признали абсолютно неспособным к карточной игре, и я навсегда охладел к бриджу. Что касается шахмат, то однажды я выиграл у одного молодого, но, кажется, подающего надежды шахматиста, да так, что он совершенно обалдел. Ни до этого, ни потом я так и не смог повторить этого достижения. Если не ошибаюсь, произошла одна из тех случайностей, о которых, кажется, Наполеон сказал, что на поле брани якобы наиболее опасны идеальный военный гений и абсолютный идиот, с перевесом на стороне идиота, поскольку его поступки уж совершенно невозможно предвидеть.

Некоторое время я играл в пуговицы, таская у матери из шкафа ценные экземпляры; кидал в потолок наклюявленные папиросные гильзы — все так делали; когда слюна высыхала, гильзы во время урока начинали падать таинственным дождем к вящему возмущению учителей; под присмотром Янека Х. я занимался джиу-джитсу, обычно в тамбуре уборной второго этажа нашей гимназии, кидал в доску специальными пробковыми снарядами, в которые спереди вставлялась булавка, а сзади оперение и микроскопический балластик, научился плевать на пять, а то и шесть метров, но никогда не умел свистеть «в два пальца», что было одной из причин моего искреннего сожаления. Если в этой науке мне многое не удавалось, то, будучи часто непонятливым, я был тем не менее прилежным. Я пытался приспособиться, собирал — точнее, делал вид, что собираю, — почтовые марки, до которых мне не было никакого дела, с коллегами же, навещавшими меня, играл в войну, в солдатики, а в свои альбомы заглядывал, только оставшись один. Впрочем, мне не приходилось себя принуждать, когда, например, мы ходили гурьбой на Восточную ярмарку и до тех пор собирали бесплатные рекламные листки и упивались бесплатным бульоном Магги, пока нас, наконец, не оттащивали от прилавков их хозяева.

Даже мое пухлое тело в определенных обстоятельствах бывало полезным: я немного играл в защите в футбол, и меня трудно было оттеснить и победить в борьбе «телом», потому что у меня был солидный вес.

Изредка во Львове проходили захватывающие автомобильные гонки по замкнутому кругу, который пролегал по улицам Стрыйской, Кадетской и Пелчинской. На Пелчинской даже заливали рельсы гипсом, а края тротуаров обкладывали мешками с песком; тогда чувствовалось, что Львов невероятно европейский город: это подтверждали огромные гоночные машины, издающие адский грохот.

Стыдно признаться, но сбегать с занятий я не смел. Однако когда не было какого-нибудь урока, мы ходили в близлежащий Высокий Замок, на Кортумову гору, в Кайзервальде; окружающий район я потом еще лучше узнал зимой на лыжах, а также будучи юнаком военной подготовки; он был полон ям, оврагов, холмов, но самый лучший вид открывался с Кургана Любельской Унии.

Директором нашей гимназии был Станислав Бузат, невысокий мужчина, обладавший зычным, властным голосом, впрочем, очень хороший человек и историк; географии обучал наш долголетний классный наставник Навроцкий, прозванный Моторным за то, что в кабинете географии он утихомиривал нас звуками специального звонка с кнопкой; физике учили в разные годы Левицкий и Бляйберг. От первого мне однажды крепко досталось по лбу, и все потому, что, сидя на первой парте, во время урока, на котором он излагал свойства ртути, я в непреодолимом желании блеснуть систематически подсказывал ему, и за то, что несколько раз кряду подсказал температуру затвердевания ртути, он, выйдя из терпения, треснул меня так, что у меня искры из глаз посыпались. Я был страшно разочарован, так как рассчитывал на иное отличие.

Однофамилица, но не родственница Левицкого, пани Мария Левицка, обучала нас польскому. Я всегда был в передовых, писал саженные классные работы, почти никогда не мог их докончить за сорок пять минут урока; полонистка выписывала мне красными чернилами множество изумительных замечаний в тетради, тем более когда тема была свободной: такие я особенно любил. Увы, я слишком злоупотреблял своим положением «любимчика» и почти не учил уроков, а из обязательной литературы читал только то, что мне нравилось; всякие там Шимоновичи<sup>[102]</sup> или Каспровичи<sup>[103]</sup> не могли рассчитывать на мою благосклонность; поэтому в области истории литературы у меня остались пробелы, не целиком заполненные и в последующие годы. Я пользовался тем, что Левицка никогда не вызывала меня сама, и теперь являю собою печальный пример человека, сдавшего выпускные экзамены и не имеющего ни малейшего представления о грамматике, потому что и в этой области знаний я совершенно запущен, подпорченный оказанным мне доверием. Помню, однажды я совершил позорный поступок: выполняя работу — мы писали сочинения, — я связал воедино поставленное перед нами задание с собственными интересами: перенесся на планету Венеру и содрал солидный кусок из книги профессора Выробка о чудесах природы; там было помещено выразительное и увлекательное беллетристическое описание Венеры с ее девственными джунглями и плотными облаками. Таким образом, возвращаясь к гимназическим временам, я должен сказать, что у истоков моей литературной карьеры стоит самый банальнейший плагиат. Я пытался, помнится, кое-что добавить уже от себя, написав что-то о венерианцах (как же впоследствии мстят нам грехи молодости!), но чувствовал сам, что написанное мною по своей экспрессии и красочности далеко уступает картинам профессора Выробка.

Наша полонистка проводила уроки по современному методу, стремясь установить с классом непринужденную беседу; коль уж я признался в неблагоприятных поступках, то для уравнивания картины хочу добавить, что не все в польском языке было мне безразлично и я мог порой высказаться не только на «венерианские» темы; кроме того, сам метод проведения уроков Левицкой действительно побуждал к некоторой самостоятельности — иное дело, что следовало проявить минимум доброй воли да и прилежания, на что не каждый был способен.

Математике учил профессор.<sup>[104]</sup> Зарицкий, одна из наиболее одиозных фигур педагогического коллектива, украинец, дочка которого была замешана в деле покушения на министра Перацкого<sup>[105]</sup> Это был представительный мужчина лет пятидесяти со смуглой, даже темной, морщинистой кожей, еще более темными веками, острым неправильным носом, глубоко сидящими глазами, лысый, как колено, — он старательно брил весь череп. Мы панически боялись его, я тоже, потому что математика всегда была моей ахиллесовой пятой. Наш математик — большой оригинал — обращался с нами довольно необычно. Иногда он

наградил за хороший ответ тем, что отличившемуся приказывал покинуть класс и прогуляться по городу; или же начинал урок с того, что рассылал учеников по разным адресам, чтобы те сделали для него то или другое. Это было отличием, потому что абсолютно ненаказуемо исключало из круга опасностей, поджидающих нас около испачканной мелом доски. Будучи в хорошем настроении, Зарицкий, немного напоминая популярного киноактера Бориса Карлоффа тем, что никогда не улыбался и никакие эмоции не оживляли его маскоподобного лица, задавал какие-либо особо трудные вопросы всему классу, одаряя того, кто ответит правильно, сигаретой. Однажды благодаря неожиданно снизошедшему на меня озарению я и сам получил такую награду и торжественно отнес ее домой. Сигарету я, разумеется, не выкурил, а бережно хранил до тех пор, пока табак не выкрошился из гильзы. Зарицкий был опасен своей загадочностью; мы никогда не могли понять, шутит он или требует чего-то всерьез; когда один из новичков, услышав, что за хороший ответ должен пойти в город, не послушался и вернулся на место, Зарицкий рывкнул на парня так грозно, что того моментально вынесло из класса. Каким этот человек был в действительности, я не имею ни малейшего понятия. Да и вообще, что мы знали о наших воспитателях? К примеру, математике, правда, очень недолго, нас учил профессор Ингарден, уже в то время философ с европейским именем, о чем, вероятно, никто из нас даже не догадывался. Впрочем, Ингарден задержался у нас совсем недолго, что и не удивительно, так как своим коллективным сопротивлением математике мы подвергали испытанию даже наиболее мощные педагогические таланты.

Сдается, плеяда больших чудачков учителей понемногу вымирает, быть может, их появлению способствуют условия. Навроцкого-Моторного некоторое время замещал пришелец из другой гимназии, Бабин. Этот за один урок изничтожил весь класс при помощи соответствующим образом поставленного элементарного вопроса. Он спросил, сколько существует континентов, а всем, кто отвечал, что существуют пять частей света, вlepлял кол за колом. Как выяснилось, следовало говорить «частей Земли», поскольку «свет» — это весь космос. Никакой дискуссии, разумеется, на этот счет быть не могло, и я в числе многих получил тогда неудовлетворительную оценку по географии.

Бабин был нашим кошмаром; причем его боялись все, ибо тот, кто урок выучил, находился почти в таком же лотерейном положении, что и самый последний лодырь. Я ничего о нем не знаю; он появился, как всеразрушающая комета, на несколько месяцев превратил уроки географии в сеансы ужаса и затем исчез с нашего горизонта. Я думаю, у него в голове не все было в порядке, поскольку победы, безапелляционно одерживаемые им над нами, были слишком уж иллюзорны.

Латыни в младших классах нас учил профессор Раппапорт, старый, болезненный, с желтоватым лицом, брызгливый, но довольно мягкий; он почти не покидал кафедру, так что техника нелегальной передачи необходимой для ответа информации расцвела в его эпоху буйно. Но уже тогда до нас доходили в виде сплетен и жутких историй страшные слухи о другом латинисте, Ауэрбахе, который в одном из старших классов предстал перед нами собственной персоной.

Маленького роста, забавной внешности, он приходил в огромных калошах, которые, войдя в класс, тут же яростными ударами сбрасывал с ног, а затем, чтобы лучше командовать аудиторией, забирался на кафедру, свешивал ноги и в смертельной, томительной тишине начинал обозревать класс сквозь очень толстые, лупообразные стекла очков. Спустя некоторое время, окончив сеанс гипноза, он вызывал того, кто как раз меньше всего ожидал опасности, и парализовал жертву, если та пыталась даже самым незаметным жестом призвать на помощь соседей; в этом случае он тигриным прыжком тут же оказывался около подозреваемого, внимательно осматривал его парту, книгу, руки. В отыскании грешников он проявлял поистине

детективные способности. Во время классных работ он не удовольствовался пассивной охраной форта кафедры, а тихо кружил по классу; его жуткое «А хии!» — боевой клич, звук немного носовой, — а также вся специфика произношения и выражений, которыми он прищипливал «правонарушителей», были предметом бесконечных подражаний, иронического обезьянничанья, но это ни в коей мере не снижало грозного обаяния нашего крохотного латиниста.

Если я правильно понимаю — а это не более чем мой домысел, — в самом начале своей учительской карьеры он решил, что должен по возможности решительно и зримо компенсировать физические недостатки тела, не только смешного, но и незащитного, ибо разве не были таковыми его чрезвычайная близорукость в соединении с малым ростом. Придя к такому выводу, он разработал для себя систему засад, выпадов, прыжков, воплей, которая служила ему щитом и орудием нападения. В принципе это был умный и мягкий человек. Помню, на «малом экзамене» после четвертого класса гимназии нового типа его напугал наш одноклассник, выросший из мундира У., который, получив из рук гимназических властей свидетельство, полное «цваек», одним энергичным движением извлек из кармана флакон, прижал его к губам и опорожнил двумя глотками, распространив кругом запах йода... Все одеревенели, а из преподавателей, пожалуй, больше всех Ауэрбах, двойка которого, как он решил, должна была сыграть роль последнего гвоздя в гробу У. Немного погодя выяснилось, что выпитая У. жидкость не была смертельной, так как это была вода с примесью нескольких капель йодной настойки. У., которому уже на все было наплевать, этим красочным мазком завершил пребывание в нашей гимназии.

В языке древних римлян я не был особенно силен, но обладал солидным чувством ритма и мог без особого труда — без подготовки — читать гекзаметр, абсолютно мне неизвестный — *nota bene*, — подчасую ничего или почти ничего не понимая. Быть может, гладкость произношения, правильность расстановки ударений несколько смягчали раны, наносимые ушам наших латинистов менее красноречивыми товарищами, поэтому профессора относились ко мне более или менее благосклонно. Кроме того, я никогда не решался пользоваться какими бы то ни было шпаргалками. Ясное дело, не все мои коллеги считали, что подготовка домашних уроков их первейшая обязанность. Несомненно, именно поэтому они внесли уйму нового в сокровищницу изобретений и методов, с помощью которых в течение веков ученики пытаются бороться с педагогами; контрабанда информации, как можно, пожалуй, назвать весь комплекс подобных процедур, была отличной базой для развития различных промыслов. И прежде всего для ремесла и изнурительного рукоделия; я имею в виду те искусные приемы, с помощью которых между строками книги — например, латинской — наносился текст перевода, а также указывались предполагаемые ударения и цезуры в стихе, обозначались длинные и короткие слоги, дактиль, трохей; для этого на страницу клали листок бумаги и на нем писали карандашом, а в нужных местах текста между строчками слова и буквы выдавливались в виде бесцветных углублений. Если соответствующим образом держать книжку, то падающий под углом свет позволял, особенно молодым глазам, прочесть спасительные сведения. Кто не хотел утомлять себя такой подготовительной работой, мог воспользоваться уже промышленными изделиями, поскольку один издатель из Злочева — кажется, Цукеркандель — в массовом количестве выпускал маленькие, оправленные в желтое книжечки переводов, которыми пользовались гимназии не только Львова, но и, кажется, всей Польши. Это были сборники латинских переводов и разборов обязательных для чтения поэм, драм, отпечатанные мелким шрифтом на отвратительной бумаге. Иметь такую книжечку считалось страшным проступком, поэтому наиболее благоразумные переписывали нужные отрывки латинских переводов от руки, например, на малюсеньких полосках бумаги, которые прятали в рукава, в карманы; впрочем, не

было недостатка и в лентах, которые обычно просто выдирали нужную страницу из Цукерканделя и вкладывали ее в учебник. Некоторые рассчитывали на свой рост, благодаря которому они вместе с учебником возвышались над особой Ауэрбаха. Наивные, они плохо кончали! Несравненный следопыт каким-то чудом — возможно, по одному только дрожанию глазных яблок спрашиваемого — ухитрился безошибочно угадать, что перед ним творится обман, а следствием был немедленный парализующий клич «А хии!», прыжок с кафедры, сухая профессорская ручка выхватывала книжку, и тайное, ставшее явным, представало перед классом в виде листка, которым, словно смоченным ядом платком, Ауэрбах с омерзением, а одновременно с горьким торжеством размахивал на все стороны. А если порой листок удавалось как-то скомкать, передать соседу, маленький профессор немедленно приказывал очистить весь ряд и поочередно вытаскивал из столов все, что там было; подобные ревизии, как правило, оканчивались для виновного плачевно.

Конечно, мы пытались противодействовать, вводить новые методы — иногда можно было прочесть кусочек перевода по тексту, который под соответствующим углом держал товарищ, сидящий двумя рядами впереди, скрывая его от Ауэрбаха раскрытыми книжками, но неутомимый следопыт, мастер из мастеров с легкостью пресекал и подобные начинания. Одно время подумывали мы о том, чтобы на манер кинематографа проецировать на стену, в какой-нибудь угол, за спину профессора надписи с помощью зеркала, сигнализировать азбукой Морзе, но из этого так ничего и не получилось, потому что, несомненно, легче было в конце концов просто научиться переводу, чем сложному искусству телеграфного алфавита.

Говоря о моих профессорах, я все явственнее, все с большим недовольством ощущаю, что попадаю в колею, одну из многих выбитых поколениями более или менее добросовестных воспоминателей. О гимназии говорят, как о кукольном домике, то есть как-то свысока, издавляя, сквозь смех со слезинкой, немного карикатуризируя — что понятно — фигуры педагогов. Истертые фальшивые приемы лысеющего хроникера!

Особо коварные своей неосознанностью, они стиль превращают в сладкий бульончик младенца, подернутую глазурью кашу, которая склеивает и парализует мысль. Говорить о гимназии свысока — это хуже злодеяния, это ошибка. О гимназии следует писать, как об Абсолюте. Охраняемый стенами и мелом, он содержится в самом педагогическом коллективе — такой первый, приближенный диагноз. Это не шутка. К профессорам других школ, а с ними мы встречались, например, в театре, мы относились, как правоверные к иноверцам, их алтарям и обрядам — никаких сомнений, просто какое-то конфузливое удивление: что же в них нашли их ученики; откуда такая слепота? Каждого чужого учительишку я мог с первого взгляда разложить на составляющие — от калаша и озабоченности служаки до пенсне; он был скучным сборищем этих элементов — не более. А вот то, что у Моторного был большой живот, в расчет не шло, ибо он был абсолютным, он и его записная книжка, и маленький, пышущий могуществом карандаш, и медленное движение пальцев, перелистывающих всегда таинственные странички; еще секунду назад они были пустыми, как мир перед сотворением, а в следующее мгновение ударял тихий гром. Ворожейки с первого ряда пытались вычитать по микроскопическому движению карандаша нашу неотвратимую судьбу.

Мне частенько доводилось носить в учительскую тетради после классных работ. Там должен был быть какой-нибудь стол, возможно, даже стулья, но этого я не помню. Что же касается кабинета самого директора, то не может быть и речи о каком-то его описании, и это неведение невозможно объяснить одними только обстоятельствами, которые меня туда приводили — ну, например, когда я вместе с Л. разбил классный умывальник. Я так напираю на это обстоятельство потому, что ослеплял меня не страх, а Абсолют. Он там присутствовал



наверняка. Я это чувствовал. Я искал его даже спустя много лет, когда в качестве литератора, которому предстояло встретиться с учениками, сидел в директорских кабинетах школ, потягивая черный кофе и ожидая своего часа. Но я так и не нашел его, этот Абсолют, он испарился, оставив холодные письменные столы, кресла, изречения и соответствующие портреты на стенах, исчез, но исчез лишь для меня. Присутствие его я неожиданно угадывал в выражениях лиц учеников, переступавших порог директорского кабинета. Они сразу же впадали в легкий, столь хорошо знакомый мне транс; я с первого взгляда узнавал это слабое одеревенение, окостенение, сухой холодок, блеск опасной эйфории в глазах, атрофию всех сразу чувств; они говорили совсем не дело и даже усердно шаркали по полу ногами, но и я тоже так поступал. Боялись? Может, и я, двенадцатилетний, боялся? Какое упрощение! Во время сентябрьского обстрела Львова немцами я бегал по Иезуитскому саду, разыскивая еще горячие шрапнелины, и ужасно трусил, потому что канонада продолжалась, и дело здесь не только в том, что я был глуп, но и в том, что опасность была до смешного очевидна: снаряд мог убить. Директор же не только не убивал, но порой даже не повышал голоса. Вероятно, можно попытаться представить дело в виде квадратуры круга, ибо до тех пор, пока существует вера, ее приверженцы и не хотят и не могут о ней говорить, ее принимают без доказательств, так же, как, например, наличие уха или ноги; атеист же маскирует мистику давних воспоминаний пытливым критиканством либо снисходительным превосходством пробудившегося ото сна перед только что пережитой во сне драмой. А впрочем, пожалуйста, анализируйте, улыбайтесь сквозь слезы умиления, плетите радужную нить воспоминаний, а я останусь при своем. Мистика? Да, но особого рода, всеприсутствующий и одновременно тотально материализованный абсолют; гимназические племена не суеверны, не верят в телепатию или психокинез; они овладели бы и тем и другим, если б мир это позволял. Никакой медиум так не восприимчив к чужой мысли или загробному дуновению, как были восприимчивы мы к капле знания, оказавшись один на один с Абсолютом у классной доски и раскаленной Сахарой невежества в голове. Что касается психокинеза, то нас было сорок человек, объединенных духом, и прежде чем удалось бы прочесть эту фразу, кафедру, профессора и классный журнал поглотило бы чрево нижних этажей, если б только напряженная до предела мысль могла поколебать основы материи. В последних фразах стиль у меня изменился, принял какой-то библейский оттенок, ибо, пожалуй, только так можно говорить об этих делах. А может, в стиле Гомера? Ведь древние греки подсмеивались над своими богами, знали их маленькие грешки и слабости. Впрочем, и ветхозаветные евреи, стоило господе отвернуться, уже перешептывались по углам, прогуливались с тельцами, теряли веру в кафедру, то бишь, я хотел сказать, в спасительное пришествие, — я думаю, их души были сродни гимназическим. Исайя или Иезекииль,<sup>[106]</sup> ухитрились бы изложить даже лекцию по алгебре нумерованными виршами, каждая строчка которых была бы подобна молнии, пронизывающей до мозга костей; я на это не покушаюсь. Все, на что я способен, — это разбавленная риторикой шутка, гротеск, а ведь spiritus, который flat ubi vult<sup>[107]</sup> пронизывал тогда высоким напряжением мел, который онемевшие пальцы судорожно сжимали в ожидании Слова. Или я преувеличиваю? А ведь я отнюдь не считал нашего математика божеством или директора — Зевсом; тем не менее многим из моих товарищей до сих пор — столько лет и войн спустя — снится выпускной экзамен, ничуть не уступающий Последнему Суду, хотя ни один Гойя не выразил его эсхатологии;<sup>[108]</sup> кистью. Неужели все эти свидетельства яви и упорных снов мы должны выразить словами «робость», «страх», «авторитет»? Я знаю одно: нас понуждали получать знания, мы же отшатывались от них как от заразы, а обстоятельства приводили к тому, что одновременно мы впадали в экстремальные состояния, из наших настроенных в унисон мозгов

извлекали самые высокие и самые низкие обертоны, какими только может завибрировать человек. Была, конечно, ветхозаветная робость перед геенной огненной, страх перед серным дождем двоек, доводилось нам пререкаться с профессорами на уроках, как это делал на горе Синай Моисей, неожиданно призванный к ответу Иеговой, но эти переживания, переступая известные до сих пор границы, ставили нас один на один с Непроизносимым, этим божественным первоначалом, с призрачным экстазом, который он тщетно пытается призвать, вызывая к Абсолюту. Религии, которые мы исповедуем в ходе жизни, со временем сходят на нет, их храмы приходят в запустение, но сброшенные с пьедесталов предметы вчерашнего культа нельзя презирать или относиться к ним со снисходительной иронией. Скажу больше — в то время я этого не знал, но не будь нас, профессора были бы ничем; из человеческого конгломерата учеников и учителей, оправленного в рамку классных губок, черных каталогов и испаханых парт, постепенно рождается то, что освящало и возвеличивало в наших глазах их очки, цепочки от часов, боты и карандашники; а когда все это развеялось и исчезло за стенами гимназии, словно за преодоленной магической чертой, осталось смутное ощущение — не выраженный словами избыток, который наши воспоминания тщетно пытаются пробудить к жизни, — что, кроме часов учебы и сумасшествия перемен, я познал некое состояние, сложившееся из отдельных, не всегда ясно различимых элементов, состояние, может быть, в масштабе времени и превратившееся в пустяк, несколько неуклюжее, до беззащитности смешное, — ощущение первого посвящения в трагифарс бытия, поскольку я пережил восход, кульминацию и закат Могуществ, которые со временем оказались, как в каждой великой или малой истории, самыми обыкновенными людьми. Молния, которую Зевс держал в учебнике древней истории, напоминала мне гуральский ощипок<sup>[109]</sup> я видел ее без всяких иллюзий, как сегодня: аккуратно отточенный карандашник в руках у Моторного. Для человека практического Олимп — просто гора, ему там нужны вибрымы,<sup>[110]</sup> а не жертвенные животные; ничего, кроме стульев и столов, уже нет для меня в кабинетах гимназических директоров; я говорю это без сожаления, но и без улыбки, без сентиментальности, но и без снисходительности, ибо таков порядок вещей.

Окончив эту песнь, я возвращаюсь ко Львову тридцатых годов, к его тенистым пассажам, холмистым улицам, зеленой, как бы лесистой, Академической, улице Легионов, оканчивающейся Большим театром, и Мариаккой площадью посередине, особо шикарной по ночам, когда с крыш мчались светящиеся олени мыла Шихта, а по неоновым лесенкам прыгали шоколадки Су-шара, Милька, Бельма и Биттера.

Примерно в 35-м году к нам пришло звуковое кино, с Аль Джольсоном и его песенкой «Санни Бой», которую тут же подхватили дворовые певцы. Следует сказать, что в то время по дворам бродили бесчисленные фокусники, огнеглотатели, акробаты, певцы и музыканты, а также самые что ни на есть настоящие шарманщики; у некоторых были попугаи, вытаскивающие билетки с судьбой. Не знаю, действуют ли это скрытые в душе угрызения совести за мою позорно уничтоженную шарманку, но визгливую, нескладную, полуфальшивящую музыку всяческих музыкальных ящиков и других не менее анахроничных инструментов я глубоко уважаю. Есть в ней сладостно-наивная серьезность, вера девятнадцатого века в совершенство колесиков и зубчатых валиков, механическая учтивость материи, подающей собственный голос, а не просто подражающей человеческому. Но гераклитова река поглотила все эти бречащие сундуки. Был я также большим любителем циркового искусства на кухонных ступенях; иногда свои представления давали целые семьи, бродящие со свернутым в рулон ковриком, на котором проделывались шедевры акробатики, и потрепанным фибровым чемоданчиком, в котором хранились факелы, гири, шпаги для глотания и другие не менее достопримечательные предметы. Пока глава семейства заглатывал шпагу или

огонь, мамаша подыгрывала на гармонике, а дети строили зыбкие пирамиды и бегали по двору, собирая медяки, завернутые в бумажки, если их бросали из окна. Это было время немалой нужды, выгонявшей на улицу не только искусство, но и торговцев гребешками и зеркальцами, частенько слышался густой звон бродячих точильщиков и крик: «Та-а-а-зы паять!»; кругом сновала масса цыганок-гадалок или совсем уж обычных попрошаек, которые в качестве единственного товара могли предложить лишь собственное несчастье. Все эти люди в то время составляли в моих глазах естественное дополнение городского пейзажа, словно иначе и быть не могло.

Из фильмов звуковой эпохи я сравнительно неплохо помню фильмы о чудовищах; о короле Конге, обезьяне высотой в четырехэтажный дом, которая, влюбившись в некую даму, вытащила ее через окно небоскреба и, держа в горсти, словно банан, снимала с нее одежды; о Мумии, Черной комнате, Вурдалаке; в «Мумии», когда она воскресала, Борис Карлофф, игравший заглавную роль, клал руку на плечо юному египтологу; ужасна была эта появляющаяся из могилы пятерня, в которую специалисты превратили руку актера, Карлофф вообще был непревзойденным в ролях истлевших покойников («Франкенштейн», «Сын Франкенштейна»). Темы ходили как-то семьями, потому что сразу после этого я видел «Сына короля Конга»; будучи обезьяной порядочной, он благосклонно относился к людям, оказавшимся на вулканическом острове, а когда остров погрузился в океан, он сгреб героев в кулак и до тех пор держал их над водой, пока их не втащили на корабль, сам же, побулькав, сколько положено, пошел после столь благородного поступка ко дну.

У меня была ужасная привычка подталкивать отца локтем в бок во время наиболее сильных сцен в кино, а на некоторых фильмах отцу доставалось особенно. Сдержаться я не мог — это было сильнее меня. Чем страшнее был фильм, тем сильнее он притягивал меня; почему мы, собственно, любим, когда нас (лишь бы в меру) пугают, неизвестно, так что и от меня тоже трудно ждать объяснений.

Как каждый львовский ребенок, я, разумеется, время от времени ходил на Рацлавицкую панораму. Это было огромное удовольствие. Уже сам вход настраивал торжественно и необычно, поскольку вначале надо было пройти сквозь зону полумрака, а потом по лесенке подняться на помост, который у меня безоговорочно ассоциировался с гондолой очень большого, неподвижно висящего воздушного шара. С этого помоста панорама битвы казалась совершенно живой; причем множество споров вызывала проблема, в каком месте настоящий забор с насаженными на жерди горшками переходит в рисованный. В то время я не имел ничего против натуралистической школы в живописи. Наоборот, в театр я любил приходить очень рано, когда еще не был поднят огромный железный занавес работы Семирадского, на котором была намалевана масса забавных вещей. Вообще наш Большой театр со своей красной бархатной обивкой, множеством ярусов, канделябров, огней на них, залом-курилкой и last not least <sup>[111]</sup> буфетом, в котором отец покупал нам, то есть маме и мне, бутерброды с тонко нарезанной ветчиной, казался мне местом прямо-таки баснословно роскошным, comme il faut <sup>[112]</sup> Не помню, какие великие драматургические произведения я видел в театре, зато отлично помню, что такой бутерброд стоил целых пятьдесят грошей.

Цивилизовался я все быстрее, по мере собственных возможностей, и, однако, где-то в глубине души, втайне, был, видимо, на стороне всех тех сил, с которыми цивилизация борется как умеет. Об этом свидетельствует моя реакция на суровые зимы или другие, более скоротечные катастрофы. Климат Львова был скорее континентальный, что-либо подобное январской слякоти было там просто невозможно. В 1930, кажется, году при чистом, как голубой ледник, небе температура упала до минус 36 градусов; цены на топливо дико подскочили, за каждой повозкой, развозящей уголь, бежали согнувшиеся фигурки ребят, подхватывающих

каждый упавший кусок; а когда мы с отцом вышли на небольшую прогулку — я, до невозможности закутанный в разные зимние войлоки и наушники, — то по пути встретили несколько больших железных решеток, в которых горел городской уголь. Над каждой из них грелось несколько замерзших бедолаг; я, конечно, понимаю, это возмутительно, но все это вместе взятое казалось мне прекрасным, а еще больше надежд на какие-то катастрофические и непонятным образом радикальные перемены я возлагал на повалившийся вслед за этим густой снег. Как же я мечтал о том, что снег засыплет весь наш дом, что останятся трамваи и автомобили, что с балкона третьего этажа можно будет выйти прямо на улицу, превратившуюся в ледяное ущелье! А когда, впрочем, очень редко, выключали электричество, я с восторгом помогал искать свечи, обносил их зыбкое и неверное пламя по неожиданно потемневшей, таинственно расширившейся квартире и искренне сожалел, когда тривиальные лампочки, вновь вспыхнув, разрушали эту сладостную феерию средневекового мрака.

Так же, как и через детские болезни, я прошел и через различные более или менее банальные мании века и эпохи. Вначале, ясное дело, я собирал «англассы», то есть копии государственных флагов на шоколадках этого названия. Потом — миниатюрные фотографии далеких городов, изображенных (опять же) на шоколадках Сушара, так что в конце концов насобирал их столько, что получил за это от фирмы стереоскоп для их рассматривания. Марки я собирал только для вида. Я как-то не любил бескорыстное собирательство. Вначале отец уговаривал меня откладывать грош к грошу и с этой целью купил мне глиняную свинку — одну я разбил, другую выпотрошил с помощью ножа. Тогда он торжественно принес домой копилку сберегательной кассы, в нее можно было засовывать монеты, но уже нельзя было их оттуда вынуть — это могла сделать лишь сама касса, разумеется, только теоретически, потому что, изучив механизм, я убедился, что если очень упорно и очень долго трясти перевернутую вверх дном копилку, то в конце концов ее можно заставить выплюнуть одну-две злотовки, что в конечном итоге приводило к ее полному опустошению. Тогда отец махнул рукой на систему сбережений, к которой он так настойчиво пытался меня приучить. А ведь деньги были нужны мне не для шуток. Никто не раздавал даром ни проводов для индикаторов, ни станиоля для конденсаторов, ни лейденских банок, ни клея или резинки для рогаток. Из других предметов первой необходимости халва, которой я потреблял много, тоже была недешева. Кроме того — картинки для вырезания. Удивительные вещи в то время вырезали и клеили; не считая обычных танков и самолетов, можно было склеить противогазы, которые можно было даже носить до тех пор, пока от слюны и дыхания через дырчатое доньшко бумажного поглотителя они буквально не расклеивались. А воздушные шарики? Не знаю, почему сейчас уже нет настоящих, живых — раньше я их получал, как и маленькие ветрячки из цветной бумаги, пришипленные к лучинкам, всегда воткнутым, словно в рукоять, в большую сырую картофелину, которую держал в руке один продавец перед университетом, (Сам университет в то время назывался Сеймом, я не знал, что это название осталось еще от австрийской эпохи, когда там размещался галицийский сейм.) Кроме ветрячков, продавец торговал воздушными шариками на ниточках из пеньки, цветными и заполненными газом. Для меня в них было что-то необычное, притягательное и одновременно печальное. Нельзя было отпускать шарик, потому что он улетал в небо, — я помню отчаяние детей, с которыми подобное приключалось в Иезуитском саду! Но и в квартире шарик тоже был не особенно счастлив, иначе зачем бы ему было сразу же уплывать под потолок и оставаться там, глупо, упорно и как бы отчаянно тычась в него своей надутой головой; но хуже всего было следующее утро, когда я заставал шарик умирающим. Сморщенный, постаревший за одну ночь, не имея уже сил даже на то, чтобы подпрыгнуть под потолок, он едва приподнимался над полом, меланхолично таская за собой нитку. Я вспоминаю об этом сейчас потому, что



удивительная нежность к шарикам осталась у меня на долгие годы, — я покупал их и скрывал это, чтобы меня не высмеяли. Я якобы приделывал им гондолы, делал из них какие-то цеппелины, но это был самообман. Мне было необходимо их кратковременное присутствие, их однодневное существование, словно какое-то *memento mori*, <sup>[113]</sup> некая модель, делающая очевидной преходящесть любой святости. Иногда появлялись шарики на медных проволочках, надутые воздухом, но эти мертвые, эти неживые с самого рождения подделки меня не интересовали, я брезгал ими, поскольку они притворялись тем, чем не были. Боявшиеся риска настоящей жизни, они годились только для глупцов. Я не хотел иметь с ними ничего общего.

Однако было нечто, что я коллекционировал бескорыстно, долго, упорно: электрически-механический хлам. У меня до сих пор остался своеобразный сантимент ко всяким испорченным звонкам, будильникам, старым катушкам, телефонным микрофонам и вообще предметам, которые, будучи выбитыми из колеи своего существования, использованные, заброшенные, ютятся где-то; местом их последнего прибежища, обителью, в которой им последний раз давалась какая-то, пусть мизерная возможность сравнительно сносного существования, была свалка за театром. Я ходил туда не раз, немного, пожалуй, напоминая добродеея, навещающего юдоль нужды, или любителя животных, украдкой подкармливающего самых истощенных собак и кошек. Я был филантропом по отношению к старым разрядникам, покупал испорченные магнето от автомобилей, какие-то гайки, никому ни на что не нужные коммутаторы, части непонятных приборов, сносил все это в дом, прятал в коробки от ботинок в шкафу, засовывал куда попало, даже за книжки на верхней полке (у меня уже была собственная библиотека), иногда вынимал их, стирал пыль, разумеется, пальцами, подкручивал какой-нибудь рычажок, чтобы сделать им приятное, и опять заботливо прятал. Не знаю, почему я это делал. Конечно, если бы меня спросили, я немедленно ответил бы, что кое-что всегда может пригодиться при реализации каких-то там планов, но это не была ни вся, ни абсолютная истина.

За Восточной ярмаркой раскинулось одно из притягательнейших для меня мест мира — Веселый городок. Были там карусели, Американские горы, Дворец духов, Колесо смеха и даже еще более интересные вещи. Например, кожаный идол, падающий после того, как его ударяли в скулу, а силомер тут же показывал в соответствующих величинах силу удара. Или блошинный цирк, в котором блохи волей-неволей таскали миниатюрные повозки и кареты. Или таинственные киоски и кабинеты; в одном, когда я вошел туда с отцом, раздевалась необычайно толстая женщина, не в целях стриптиза, а чтобы показать нам богатство украшающей ее феноменальной татуировки. Во время демонстрации интереснейших сцен на животе отец заволновался, а когда она перешла дальше, он силой вытащил меня за дверь, и я успел заметить только уголок какого-то оригинального пейзажа. В одном месте находился аттракцион, отгороженный от зрителей барьером. За барьером располагалось что-то вроде низкого и широкого стола, на котором лежали шоколадки, коробки с конфетами, солидные бонбоньерки, а задача состояла в том, чтобы бросать монеты в сторону этих предметов. Тот из них, на котором монета задерживалась, переходил в собственность счастливого игрока. Я вскоре заметил, что у самых крупных коробок шоколада были немного выпуклые крышки, оклеенные вдобавок ко всему очень скользким целлофаном, и монета всегда соскальзывала на стол. Однако зачем человеку дана сообразительность? Дома я устроил себе опытный полигон из разложенных на полу книг и пеналов и после непродолжительной тренировки научился бросать монету так, что, взлетая сначала вверх, она потом падала совершенно отвесно и намертво, без тенденции к боковому скольжению. Потом я спокойно отправился в Веселый городок. Мне удалось выиграть большую бонбоньерку, но почти тут же ко мне подошел какой-то мужчина с солидными бицепсами и просипел мне на ухо: «Сматывайся, г...к». Я выполнил просьбу, а содержимое бонбоньерки оказалось дома несъедобным: все в ней было или намертво засахаренным, или

окаменевшим от старости.

Как видно из этих мелких историек, годы уходили, но определенный вид моих увлечений сопротивлялся воздействию времени. Я по-прежнему был влюблен в халву Пясецкого и Веделя (в маленьких коробочках); кроме того, я обнаружил неподалеку от Большого театра кондитерскую под названием «Югославия», в которой продавались самые шикарные во Львове восточные сладости: различные рахат-лукумы, казинаки, экзотические маковки, хлебный квас и множество других отличнейших вещей; в то время я — *nota bene* — весил на несколько килограммов больше, чем теперь.

Я говорил о Восточной ярмарке. Я любил ходить туда, когда она стояла пустой, безлюдной, — странными казались тогда огромные павильоны с грязными стеклами, а особенно нравилась мне площадка, отгороженная самым длинным полукруглым павильоном, который дугой охватывал павильон Бачевского (тот, что был выложен бутылками ликеров). Стоя под башней Бачевского, можно было разбудить эхо, спящее в пространстве; достаточно сильный хлопок в ладони повторялся четыре, пять, а то и шесть раз, так же как и любой звук. При этом протекало, казалось, невероятно много времени между этими все более слабыми возвращениями голоса, который все больше замирал, возвращался из все большей дали, со все большим трудом; я стоял там в холодные дни погожей осени, внимательно прислушиваясь к последним, умирающим отголоскам эха, в которых было что-то пронизывающее, таинственное и одновременно восхитительно жалостливое; я знал, конечно, на чем основывается механизм возвращения отраженной звуковой волны, но это никак не приуменьшало особой прелести этого места.

За три года до войны я там впервые столкнулся как-то неожиданно и совсем близко с гитлеровской Германией. На одном из павильонов появился красный флаг со свастикой, внутри было много неинтересных машин, а на специально отведенном месте красовались несколько не то игрушек, не то механических моделей танков, абсолютно точно скопированных с оригиналов, покрытых пятнистой, словно у ящериц, броней, с гусеницами, башнями и полным вооружением; на них красовались четко вырисованные точные миниатюры опознавательных знаков вермахта, которые немного позже предстали передо мной уже в натуральную величину на броневых плитах тех же самых танков «Марк-IV»; однако в то время они были не более чем игрушками, хотя я уже кое-что знал о гитлеровской Германии, и было для меня в этих, правду говоря, привлекающих глаз игрушках что-то от неясного предчувствия будущего времени, или даже провозвестника грозы, но такого, который с помощью уменьшения притворяется невинным. В этих прелестных игрушках было что-то отталкивающее, словно они не были только и просто собою, будто из них должно было что-то вылупиться, вырасти. Впрочем, справедливости ради добавлю, что я в этом не очень убежден; позднейшие события могли бросить этот как бы предугаганный свет назад и немного необычно окрасить им события, абсолютно невинные.

Самое время поговорить о том, на что я лишь туманно намекнул, а именно — о тех усердных, особых и прежде всего интимных занятиях, которым я отдавался как в гимназии, так и дома. Сегодня, когда буквально почти ни на что не хватает времени, меня поражает, что я вообще мог делать так много (а сейчас я покажу, что у меня действительно была масса трудоемкой работы). Видимо, время, этот элемент нашего бытия, особо растяжимо в молодости и при надлежаще приложенном усилии может создавать в себе самом совершенно неожиданные, как бы добавочные просторы, распухая словно карманы моей школьной формы, в которых я, придерживаясь традиций, носил больше, чем допускало прозаическое измерение их вместимости. А может, и пространство тоже по природе своей более благоволит к детям? Это, пожалуй, невозможно; и, однако, кроме мотков шнура (для морских узлов, а также на всякий случай), горсти особо любимых шурупов, перочинного ножичка, стерок, именуемых «радерками» (они исчезали на глазах, словно я их заглатывал), латунной цепочки от туалетного бачка, катушек, транспортира, небольшого циркуля (нужного не столько для геометрических построений, сколько для того, чтобы колоть сидевшего передо мной толстого З.), стеклянной пробирки от пилюль, наполненной превращенными в порошок спичечными головками (яд, а одновременно взрывчатое вещество), помутневшего от царапин увеличительного стекла, бумажника-подковки с вечно раздутыми боками, а также тех плодов, которыми в данном сезоне снабжала нас природа (желуди, каштаны), половины резинки от «уйди-уйди», непригодной, но тем не менее ценной, маленькой головоломки с передвигающимися квадратиками цифр, именуемой «пятнадцать», и еще одной, покрытой стеклышком, под которым катались три поросенка (это была игра на ловкость), я носил из дома в школу и из школы домой целую контору. Сам не знаю, как и когда мне в голову пришла весьма оригинальная мысль — удостоверения. Заслонившись приподнятой в левой руке обложкой раскрытой тетради и делая при этом вид, будто записываю слова профессора, я изготовлял их на уроках, изготовлял в массовом количестве, не торопясь, исключительно для себя, никому не показывая ни краешка. Период ученичества я опускаю; разговор, стало быть, пойдет о мастерстве, достигнутом во втором и третьем классах. Прежде всего я вырезал из гладкой бумаги тетрадок небольшие листки, складывал их вдвое в виде книжки и сшивал особым образом и специальным материалом. Цифры «560» на гимназической нашивке, означавшие номер гимназии, были сделаны из малюсеньких спиралек серебряной тонкой, как волос, проволоочки. Они и послужили мне переплетным материалом. Располагая определенным запасом книжечек различного формата — что весьма существенно, — я приделывал им обложки из самых высококачественных материалов — бристольского картона, тисненой бумаги, а некоторые специальные бланки оправлял в картон высшей марки, вырезаемый из обложек общих тетрадей. Услышав звонок на перемену, я прятал все это в ранец, а на следующем уроке начинал методичное, аккуратное заполнение пустых страничек. Я пользовался чернилами, тушью, цветными химическими карандашами и монетами, с помощью которых в нужных местах оттискивал печати. Что это были за удостоверения? Самые разнообразные: дающие, например, определенные, более или менее ограниченные, территориальные права; я вручную печатал звания, титулы, специальные полномочия и привилегии, а на продолговатых бланках — различные виды чековых книжечек и векселей, равносильных килограммам благородного металла, в основном платины и золота, либо квитанций на драгоценные камни. Изготовлял паспорта правителей, подтверждал подлинность императоров и монархов, придавал им сановников, канцлеров, из которых каждый по первому требованию мог предъявить документы,



удостоверяющие его личность, в поте лица рисовал гербы, выписывал чрезвычайные пропуска, прилагал к ним полномочия; а поскольку я располагал массой времени, удостоверение явило мне скрывающуюся в нем пучину. Я начал приносить в школу старые марки, переделывал их на штемпеля, снабжал документы печатями, складывающимися в целую иерархию, начиная от маленьких треугольных и четырехугольных и кончая самыми тайными, идеально круглыми, с символическим знаком в центре, один вид которого мог повергнуть на колени кого угодно. Войдя во вкус этой кропотливой и канительной работы, я начал выписывать разрешения на получение бриллиантов размером в человеческую голову; причем действительно зашел далеко, коль скоро снабжал удостоверения приложениями, приложения — дополнениями, проникая в сферу все более могущественной власти и даже туда, где действовали только уж секретные личные удостоверения, шифрованные, с системой паролей и символов, требующей особого кода; для некоторых документов были созданы специальные книжки, в которых раскрывалось их истинное, потрясающей силы значение; без этих книжечек указанные документы представляли собою всего лишь тетрадки нумерованных страничек, покрытых абсолютно непонятной каллиграфией. В то время я где-то прочел рассказ, который произвел на меня совершенно потрясающее впечатление. Это была история экспедиции к «белому пятну» в сердце Африки. Участники экспедиции, преодолев горы и джунгли, натолкнулись на неизвестное племя дикарей, которые знали некое страшное слово, произносимое исключительно *in extremis*,<sup>[114]</sup> ибо каждый, кто его слышал, превращался в кучку студня примерно метровой высоты. Эти кучки были в книжке описаны столь же подробно, сколь и тот гениально простой способ, благодаря которому дикари сами не превращались в желе, — способ действительно простой, ибо, выкрикивая трансмутирующее слово, они плотно затыкали себе уши. Я запомнил ужасное слово и не сразу осмелился его произнести, памятуя о судьбе одного ученого-маловеера, который, легкомысленно подсмеиваясь над сообщением последнего уцелевшего участника экспедиции, произнес это слово... с трагическими — желеобразными — последствиями. Слово это, способное превратить человека в кисель, было «эмэлен».

Спешу пояснить, что в то время я не верил в сказки, хотя читал их охотно. Однако историю с «эмэленом» я не считал сказкой — скорее это был рассказ в духе Эдгара По (я не утверждаю, что он представлял собою какую-либо ценность, я просто говорю о моих тогдашних — тринадцатилетнего мальчишки — ощущениях). Оглядываясь назад, я думаю, что тогда я, пожалуй, впервые столкнулся с так называемой *science-fiction*. Таким образом, я не верил, по крайней мере буквально, этой истории, а если и поверил было, то очень быстро охладел, однако у меня осталось довольно неясное и мрачное ощущение, что слова, приводящие к последствиям, в какой-то степени подобным описанному, все-таки могут существовать: ведь некоторые звуки или регулярно повторяющиеся световые отблески могут погрузить человека в гипнотический транс, так почему бы какое-либо особое их сочетание не могло быть еще более эффективным, не из-за своей магичности, а в связи с тем, что поток звуковых волн, действуя на ухо... ну, и так далее.

«Эмэлен» требовалось как-то перевести в сферу удостоверенческого бытия, где я уже превратился в преуспевающего специалиста. Учился я неплохо, поэтому никто не заглядывал в мой ранец, в мои книжки, тетради — и к счастью, потому что иначе из них можно было бы вытрясти множество уже заполненных малюсеньких книжечек и еще пустых бланков, а также тех экспериментальных экземпляров, на которых я, стремясь усилить значимость документов, пытался — увы, безуспешно — оттискивать водяные знаки. Эту страсть к реалистическим мелочам так и не удалось провести в жизнь, несмотря на бесчисленные попытки.

Должен сказать, что, хотя я и создавал королевство удостоверенческого всемогущества, этот девиз как таковой в моем творчестве не проявлялся. Прислушиваясь к здравому шепоту

бюрократической трансцендентности, <sup>[115]</sup> я не доверял понятиям бесконечности и пользовался, как правило, метрической системой СГС, то есть точно сообщал, на что может рассчитывать предъявитель в конкретных единицах меры и веса. Что же касается книжечек бланков, то каждый бланк имел порядковый номер, строго определенный номер серии, необходимые подписи и печати, придающие ему уже окончательную правомочность. Эти печати я ставил в самом конце работы, чтобы не тратить их зря на бумаги, запятнанные какой-либо, пусть даже самой незначительной, ошибкой или неточностью. Листки были, разумеется, перфорированы вдоль корешка, чтобы любой из них действительно можно было вырвать из книжки для предъявления. Эту перфорацию после ряда опытов я осуществил с помощью небольшого зубчатого колесика от будильника, которое постоянно носил в пенале в школу. В том же пенале хранилось еще вполне хорошее лезвие от отцовской бритвы, которым я аккуратно обрезал краешки страничек; причем от постоянного употребления лезвий во время переплетных работ крышка моего стола покрылась густой сеткой порезов, что каким-то чудом сходило мне с рук.

Никому из товарищей я не показывал эти неоспоримые до-роды неограниченной власти над сундуками рубинов и судьбами заморских королей. Ведь товарищам это могло показаться шуточками, а для меня было вопросом особой значимости. Я чувствовал, что они могли меня высмеять, а это было недопустимо. Вероятно, я был прав. Ныне сетуют на повсеместное снижение высоты полета искусства, затронутого проказой бессилия, обреченного неведомо кем на мелкоту преходящих экспериментов и моды-однодневки. Особенно это чувствуется, когда мы обращаемся к произведениям прошлого, сохраняющим свое могущество, к соборам Флоренции и Сиены, мистериям средневекового китайского театра, почерневшим, закопченным негритянским божкам, покидаем выставки искусства каменного века или Сикстинскую капеллу, полные тревожного вопроса: что же, собственно, такое произошло с духом, что он утратил способность к столь эруптивному <sup>[116]</sup> и одновременно вынужденному самовыражению, содержащему в себе как бы силу естественной необходимости и требующему приятия в той же степени, в какой этого требуют деревья, облака, тела зверей и людей, — то есть безоговорочно и окончательно. Нам отвечают, что-де человек искусства перестал быть послушным орудием, проводником тех приходящих извне ураганных сил, которые он сосредоточивал в себе, но которые не создавал, утверждают, что искусству приносит смерть свобода безграничного выбора, сознание условности уговора, ибо тот, кто знает, что можно написать книгу любым способом и на любую тему, не напишет ни одной значительной книги. Тот, кто понял, что на полотне можно изобразить все, что душе угодно и как угодно, найдет в разверзшейся перед ним свободе могилу творческих возможностей.

Взгляните на фотографии космонавтов, выходящих из своего корабля на прогулку по бесконечному пространству. До чего же не приспособлено человеческое тело к бесконечности, каким беззащитным становится оно там, где каждое движение, лишённое ограничений и сопротивлений Земли, стен, потолков, обнажает свою бессмысленность! Не случайно они принимают положение плода в лоне матери, сутулясь, подгибая колени и прижимая руки, не случайно спасательный фал так напоминает пуповину, связующую плод с маткой. Энергичными, решительными, целеустремленными мы можем быть только в рабстве гравитации, в пределах ее власти наше тело обретает свой смысл и форму, проявляет себя каждым суставом и нервом, идеально приспособленное и поэтому прекрасное. Таковую же, как бы естественную, необходимость, ощущение, что мы общаемся с единственно возможным и допустимым решением проблемы, пробуждает в нас каждое крупное произведение искусства. Господь Микеланджело с мощной курчавой бородой, в складчатых одеждах, с босыми ногами, испещренными жилами, не родился из свободного воображения мастера. Художник должен был подчиниться абсолютной букве предписаний, берущих истоки в книгах «Откровения». На месте

Микеланджело современный художник, душа которого размякла от скептицизма, этого испарения знаний, на каждом шагу сталкивался бы с парадоксами, дилеммами, нонсенсами там, где мастер Возрождения не испытывал никаких сомнений. На ногах бога короткие ногти. — Если бог подобен телом человеку, ногти должны расти. Коль он существует вечно, они должны были бы разрастись и превратиться в роговые змеи, устремляющиеся с нагих пальцев ко всем галактикам одновременно, заполнить небо потоками извивающейся, перепутавшейся роговины. Это возможно? Так надо рисовать? А если сказать себе, что это не так, то возникает проблема божественного педикюра. Ногти могут быть короткими или потому, что их подрезают, или благодаря вмешательству чуда — ведь тот, кто может останавливать солнце, может приостановить и рост ногтей. Оба выхода недопустимы: первый отдает маникюрным кабинетом, второй — неприятным привкусом атеизма, и тот и другой — богохульством. Ногти должны быть короткими без всяких вопросов и анализов.

Здесь мы сталкиваемся со спасительным ограничением, делающим возможным возникновение большого искусства, которое актом веры пресекает потенциально беспредельный поток вопросов. Естественно, строгая дисциплина, навязанная литургией, должна стать внутренней потребностью, превратиться в добровольно надеваемую огненную власяницу души, стать границей, принимаемой горячим сердцем, а не охраняемой полицией. Существуют ограничения мистические и полицейские; и если эти вторые не приводят к возникновению великих произведений, то только потому, что полицейский контролирует других, он не является вдохновенным служителем собственного искусства, обожествляющим служебные инструкции. Посему запрет должен идти свыше, грань должна быть обозначена и принята пылким и не вопрошающим ни о каких полномочиях или обоснованиях сердцем бесспорной, как бесспорны листья, звезды, песок под ногами или форма человеческого тела, Поэтому вера должна воплотиться в совершенно негибкую, абсолютную реальность. И лишь так связанный, покорный, но старательный, послушный дух, располагая столь ограниченным свободным пространством для изобретательности, в узкой полосе свободы создает великие произведения. Это относится ко всем разновидностям искусства, которым свойственна смертельная серьезность, сводящим на нет дистанцию, иронию, насмешку — разве можно смеяться над гравием, крыльями птиц, заходами луны и солнца? Так, например, танец представляет собою лишь кажущуюся свободу — танцор только разыгрывает ее, по сути дела полностью подчиняясь диктату партитуры, которая регулирует каждое заранее обдуманное им движение, индивидуальное же самовыражение возникает в щелках интерпретационных возможностей. Конечно, столь высокие ограничения можно найти и за пределами религии, но тогда им придется придать сакральный <sup>[117]</sup> характер, поверить в то, что они неизбежны, а не надуманны. Сознание того, что можно сделать совсем иначе, отвержение неодолимой необходимости в пользу океана осознанных техник, стилей, приемов, методов, сковывает мысль и руки свободой выбора. Художник, как космонавт в безгравитационном пространстве, беспомощно извивается, не ощущая избавительного сопротивления среды, спасительных границ.

Как же близко в ранней, бюрократической фазе моего творчества я подошел к тем сакральным родникам, из которых бьет искусство! За исходный пункт — более того, за непоколебимую основу — я принял Удостоверение, так же как Микеланджело принимал Рай, Престол и Серафимов. Чудовищно ошибся тот, кто решил бы, что в тот период я свободно фантазировал. Я был добровольным невольником канцелярской литургии, чиновником Генезиса, из толстощекого школяра превратился в переписчика декалога, <sup>[118]</sup> принявшего обличье современного кодекса поведения, в бюрократа, регламентирующего в административном вдохновении Служебную Милость. Сегодня, в печальной фазе сознательного

творчества, я, вероятно, сразу бы довел и суть и тему до абсурда, придумывая разрешения на движение галактик, а геологическим эпохам выдавая свидетельства зрелости. Но тогда, как Микеланджело о ногтях, я не спрашивал о том, почему соответствующие учреждения присвоили себе право выдавать новорожденным свидетельства, удостоверяющие их личность. В том безгрешном состоянии, в котором мне это даже в голову не приходило, я помимо воли приравнял Удостоверение к Абсолюту и тем самым оказался на пороге искусства. Оберегая буквы и печати, соблюдая порядок нумерации бланков и полномочий, аккуратность подписей, придающих документам исполнительную власть, я действовал в полном согласии с канцелярской прямолинейностью, которой абсолютно чужды всяческие сомнения и колебания, так же как и понятия, не имеющие конкретного значения.

Первые мои шаги были мелкими, робкими, но шли в нужном направлении. Я никогда не превышал своих полномочий, может быть, именно потому, что не знал, кто есть кто и чьей рукою являюсь я сам. Поэтому вначале я не заполнял на чье-либо имя уже готовые бумаги — удостоверения личностей королей и канцлеров. Это не входило в мои обязанности, я оставлял пустые места для фотографий, имен и подписей будущих владельцев. Документы же, выписываемые на предъявителя, я держал в специальном, застегивающемся на две пуговицы отделении ранца, чтобы они не попали в посторонние руки. В финансовых вопросах я был особо осмотрительным, стремясь уже в зародыше пресечь самую возможность злоупотреблений или мошенничества. Я уточнял суммы, количество, платежную силу монетарных средств; от некоего отвлеченного «золота вообще» перешел к кирпичикам, плиткам, слиткам (ассигнации представляли собою нечто вроде описания слитка золота, который я принял за эталон, используя знания, полученные на уроках физики). Образцом мне служил платино-иридиевый эталон метра, хранящийся в Севре под Парижем и в сечении напоминающий букву «X». Я определял даже размеры нуггетов — золотых самородков, сведения о которых почерпнул из романов Мая и Лондона,<sup>[119]</sup> — используемых для расплаты и хранимых в кожаных мешках, перевязанных лассо, разрубленным на куски. Получив же, благодаря «Чудесам природы» профессора Выробка, необходимые сведения, я выписывал разрешения на выдачу рубинов, халцедонов, шпинелей, хризопразов, опалов, агатов, бриллиантов, оговаривая на контрольных талонах блеск, форму шлифа, количество штук; изготовлял я также купоны на специальные награды в виде золотых — из стопроцентного золота — цепочек, при этом я сталкивался и с довольно сложными проблемами. Так, например, удобно ли в официальном порядке награждать, скажем, платиновым сервизом? Спросив об этом свою чиновничью совесть, я решил, что так делать не полагается; счастливый инстинкт подсказал мне, что вообще такие слова, как «дар», «одарить», в прагматике<sup>[120]</sup> не могут иметь места; иное дело «выдать», «выплатить», «выделить». Золотую цепь с горем пополам можно носить на шее, а кто станет есть с платинового сервиза? Вещь совершенно неподобающая в сфере чистого канцелярского мышления. О, мной руководствовала не какая-нибудь там алчность, когда я рассыпал дожди (но пересчитанные до капли) жемчугов, щедрые лавины изумрудов, нет — просто финансовые проблемы представляли собою один из неизбежных элементов создаваемого мною бытия. Изготовлял я и особые пропуска, тоже складывающиеся в прагматическую иерархию и дающие право прохода через Внешние ворота, Средние, а затем через Первые двери, Вторые, Третьи, опять же со специальными купончиками, отрываемыми стражей. Следующие же, все более внутренние проходы, тщательно охраняемые пассажи, вначале открыто называемые обыденным канцелярским языком, а потом известные только под шифрованными намеками, постепенно, но неизбежно приоткрывали проступающий из небытия контур, Дом домов, Замок невообразимо Высокий, с никогда не произнесенной, даже в приступе наивысшей смелости, не названной Тайной Центра, которой можно было бы, пройдя сквозь все двери, пороги и посты, предъявить



свое удостоверение.

Легко об этом говорить сегодня, но как же далеко от этого Центра я находился тогда, создавая с муравьиным трудолюбием и кропотливостью минускулы,<sup>[121]</sup> и маюскулы<sup>[122]</sup> добросовестный, смиренный писарь, почти что средневековый каллиграф, инкунабулы,<sup>[123]</sup> которого неведомо как и когда пересекают грань, отделяющую книжку от Книги, поделку писаря от произведения писателя, копировщика от артиста! Обретая беглость формы, употребляя даже красную тушь для расширения шкалы служебных ступеней, я предусмотрительно, но, видимо, инстинктивно, осторожно относился к их содержанию. Я не только легкомысленно не разбрасывался раздачей королевств, но не допускал даже и того, чтобы кто-нибудь мог возвыситься чрезмерно. Что могло быть проще, чем выписать какую-нибудь охранную грамоту, которая открывала бы все, то есть абсолютно все, двери дворцовых стен и сокровищниц? Так вот, и пусть это будет мне похвалой, я так и не создал подобного документа. Правда, бывали моменты, когда в эгоистической заботе о собственном величии я об этом подумывал. Мне вспоминается книжечка-удостоверение, специально изготовленная для инспектирующего посланника с чрезвычайными полномочиями. Каждый очередной бланк, выписанный карандашом иного цвета, расширял круг его правомочий. Я живо представлял себе, как он предъясвляет самым низшим чинам первый листок Удостоверения-Пропуска, этакий совсем обычный, с двумя треугольничками печатей, и ключники с некоторым промедлением начинают отодвигать перед ним засовы первых дверей; а вот он, слегка отвернувшись, вырывает второй листок — зеленый; и, увидев его, замрут офицеры; но тут он бросает на стол стражи третий листок и четвертый — белоснежный, с кровавой Главной печатью, и высшие офицеры вытягиваются в струнку, сдерживая дрожь в коленях, а он проходит мимо отдающих честь стражей к Высоким дверям, и тут уж сам генерал-ключник<sup>[124]</sup> еще секунду назад воплощение неприступности, в мундире, источающем золотое сияние, взопревший от служебного рвения, обеими руками настежь распахивает перед ним двери, так что лязг открываемого замка сливается с бриллиантовым звоном генеральских орденов, и, замерев, отдает честь — этот монументальный старец — блеском добытой в бою шпаги не особе, переступающей порог, а невзрачному корешку книжечки пропусков, которую Посланник небрежно держит в руке.

Разве не щекотала нервы мысль об этом восхитительном аукционе Пропусков, об этом все возрастающем, по-гурмански отмеряемом могуществе абсолютно законных полномочий? Никакой батальный пейзаж родом из Сенкевича,<sup>[125]</sup> никакой гром орудий не мог сравниться с тихим шелестом Купонов Могущества, падающих на серый стол среди серых стен Замка! Какая же магия скрывалась в Главной печати, которой никто — даже я сам! — не в состоянии был понять и разгадать, поскольку в центре ее стоял Знак, Тайный Сам в Себе, то есть Шифр Без Ключа, свидетельствующий без обиняков, что предъясвитель сего является посланцем Неназываемого!

Уж не был ли он Инспектором, ниспосланным Творцом, экзекутором самого господ бога? Этого я не знаю. Он прибывал ниоткуда и — выполнив свою задачу — опять должен был уйти в ничто.

Действительно ли я представлял себе все это так подробно и искусно? Более или менее, ибо в принципе, только выписывая Удостоверения, я одновременно отдавался под их начало, между мною и ими возникала своеобразная разность потенциалов, которая уже сама по себе определяла дальнейшее направление событий, мне оставалось только домыслить его. Откровенно говоря, я не придумывал никаких историй, не конструировал фабул иначе как в виде туманных приближений и намеков, они возникали сами, заполняя пустоты между отдельными документами. Возникающие одна вслед за другой бумаги были лишь узловыми

пунктами запутанной служебной драмы, источником сил, приводящих в движение — как солнце приводит в движение планеты — троны, стражу и шеренги. Поэтому, даже и не желая этого, я всегда был обязан присутствовать — своими удостоверениями — в любой момент и в любом месте, где течение событий создавало критическую ситуацию, где — если не показать соответствующих бумаг — вещи, государство, мир могли бы завянуть, замереть, замкнуться в себе; в этих условиях удостоверения не были всего лишь цезурами ни разу не названных событий, но их создателями, двигателями существования и дальнейшего развития. Обратите внимание, сколь современный характер носило это мое гимназическое открытие. Вначале, хоть я и не был посвящен в законы творческого искусства, я усиливал выражение и впечатление, ничего, то есть никакой личности, никакой сцены, не описывая в лоб; все, что я воздвигал в самоусложняющейся драме существования, было производной, вовлечением, додумыванием, продолжением; из отдельных удостоверений, пропусков, доверенностей можно и нужно было делать выводы о лицах, незримо стоящих за ними, так же как по ветвистой тени делают вывод о солнце, дереве, лучах света, законах неба и земли. Далее, немного подобно тому, как и антироман второй половины двадцатого века, я все внимание концентрировал — как невольный предтеча — на предметах, признавая тем самым, что движение, жест, слово, страсть люди для своих сообщений, эмоций, переживаний, конфликтов черпают из предметов, а не из себя самих; но в этом аскетическом универсализме я пошел дальше, чем антироман, — я ведь не писал антироманов, — поскольку в неизбежном и окончательном самоограничении выдавал лишь формуляры *in bianco*! Делая же это, я отказывался от излишних фабулярных усложнений и старосветских описаний чьих-то рук, глаз, урбанистического или же природного фона, от устаревшей психологизации действующих лиц, анахронизма романтических ходов, долбя печатями, графитом, зубчаткой все время только в самое суть, ибо благодаря столь всестороннему отказу, упущениям столь же тотальным я доказал, что весь мир можно выразить молчанием. Я действительно мечтал об этом на уроках латыни или математики, когда под прессом царящей на них дисциплины не мог действовать и вынужден был притворяться, будто внимательно слушаю профессорские лекции; тогда я мысленно подсчитывал уже выданные в тот день удостоверения, складывающиеся, правда, в единое целое, но такое, вокруг которого воображение могло понастроить, вообще-то говоря, неисчислимое множество вариантов конкретного развития событий; таким образом, эта последовательность книжек с бланками была жесткой осью, направленной своим продолжением в сердце Замка, но избирательный дух мог свободно наматывать на нее воистину бесчисленное множество драм, ибо — говоря языком теории литературы — мое творчество позволяло прочесть его бесконечным количеством способов. Взять хотя бы относительно простую историйку с уже упоминавшейся Инспекцией. Ее увертюрой были несколько доверенностей на получение золота в слитках, удостоверений, снабженных пропусками на машины, окованные броней, — необходимое средство перевозки. Поражало то, что количество ценного металла резко возрастало, достигнув, наконец, массы, для перевозки которой требовался уже чуть ли не весь подвижной состав какого-нибудь армейского корпуса. Отсутствие некоторых документов после того, как были использованы эти ассигнаты, могло свидетельствовать о том, что соответствующие инстанции отнеслись с почтением к продиктованному им количеству звонких брусков, подлежащих выдаче, а охранники, не пикнув, выдали эту тысячу сундуков, надрывающих мускулы людям и вьючным животным. Затем появляется некое полномочие самого низшего разряда, дающее право лишь на то, чтобы переступить линию внешних стен, а также на осмотр караульного помещения и трех фортов. Какая задача была у этого низшего контролера? Не известно — во всяком случае, кто-то где-то приказал ему обследовать сторожевые пункты, а может, и кое-что побольше. Опять пробел, и перед нами уже приказ (не разрешение!) войти в хранилище Нижнего Этажа, выданный на

предъявителя, с продолговатой зеленой печатью. А затем уж внутренняя проверка, устроенная потому, что где-то наверху возникло недоверие, может быть, подозрение. Наконец — уже упоминавшаяся Верховная Инспекция, результаты которой абсолютно никому не известны, и — апофеоз всей этой истории — словно гром с ясного неба, после долгого молчания канцелярского механизма — новый документ, личное удостоверение монарха! И к тому же — на предъявителя! Теперь рыхлая стопка документов резко уплотняется, превращается в набор бумаг прямо-таки невероятного значения, резкий свет падает вспять, освещая минувшие события, да еще какие, коль после вывоза золота появилась необходимость сменить короля, и, будто этого еще мало, новый владыка вступает на трон тайно, как аноним, имени, лица которого никто не знает и никому знать не положено! О, какие же дьявольские махинации должны были свершиться на участке между тронным залом и подземельями сокровищниц, сколь долгий ряд покорно склонившихся дворян, посредников, бравых начальников стражи, привратников, генерал-ключников, тайных агентов, вступивших в предательские сношения с Кем-то вне Стен и Врат, помог опустошить дворцовые подземелья, свершив акт измены, одобренный самою короною — вершиной государственной иерархии! Какая же изощренность в этой постепенно возрастающей жажде выплат — сатанинская радость после каждой удавшейся операции; что за продажность самого трона, а как знать, не еще ли хуже... Потому что, посудите сами, что стало с Низшим Инспектором? Он пошел в Замок, предъявил удостоверение и словно канул в Лету. Может, он обнаружил что-то, что возбудило у него подозрения? Или какой-нибудь унтер-офицер из периферийной стражи, недовольный низким жалованьем, рассчитывая на повышение, нашептал ему какие-то сплетни, слухи, в которых чувствовался намек на Высочайшее обвинение?!

А если бы это дошло куда не следует — в случае, если унтер был провокатором, — то тинистая, темная, отдающая гнилью вода во рву могла без единого всплеска принять ночью тело чиновника, сомкнуться над ним, и опять только часовые перекликались бы на башнях, а бумаги днем и ночью циркулировали бы в управлениях, спокойно и благородно, как звезды и солнце на небе.

Но ведь Канцелярии бодрствовали... Они не хотели больше посылать своих людей на смерть и гибель — *ex ungue* распознали *leopem*,<sup>[126]</sup> набравшись мужества, которое представляет собою не более чем приверженность бессмертной букве, догадались, кем мог быть ультимативный свершитель такого поступка...

И вот в один туманный день раздается стук в ворота — и как солнце, поднимающееся над горизонтом, сначала показывает лишь розоватый, зыбкий краешек и заглядывает им в глубокие бойницы, в оконца, пока, наконец, в зените явит миру весь свой раскаленный до полной белизны диск, так и Посланец в нужном месте нужным людям предъявил прямо в лицо пурпур круглой печати, которая извлекла из них мерзость предательства, прикрытую неожиданной гримасой страха. Но, быть может, не было произнесено ни слова, не задано ни вопроса, не брошено ни обвинения — защищенный, как непроницаемым панцирем, Удостоверением, крепче, чем эфес шпаги, сжимая в руке корешок книжечки с бланками, уже пустой, уже исполнившей свои функции, но все еще пышущей могуществом, он ушел, минуя все ворота, прошагал по бревнам моста, исчез в светлом тумане — после чего спустя несколько дней неожиданно грянул гром, ниспровергающий короля и одновременно короля создающий! История, как говорится, примитивная... полная пробелов, наивности, слишком простая для наших утонченных вкусов — возможно. Но ведь я нарисовал всего лишь один из придуманных мною — тринадцатилетним школяром — вариантов прочтения лишь нескольких бумаг, говорящих сухим языком канцелярий. К тому же я запомнил не все документы, наверняка даже в этом деле их должно было быть гораздо больше, не говоря уж о других, где цепь улики,



составленная из удостоверений, полномочий, пожалований, отличий, наградений и доверенностей была столь невероятно сложной, что сам выдающий их мог в них запутаться и даже не вспомнить о тех нагромождениях гипотез, которые можно было бы возвести вдоль остова канцелярской деятельности. Воображение должно было работать внутри воображения, это было усиление могущества, взлет на все большую высоту, полет, однако, не теряющий опоры, грунта, поскольку он вырастал всегда из бесспорных материальных фактов, в существовании которых невозможно усомниться, как невозможно усомниться в существовании деревьев, камней и бури: из несокрушимых, как сама природа, формуляров...

Не запутывался ли я сам в безграничье этой канцелярщины?.. Трудно сказать. По чисто техническим соображениям я не вел, разумеется, никаких картотек, они просто не уместились бы в ранце, да и, откровенно говоря, мне не хотелось этого делать (что я самым старательным образом скрывал от себя самого). В результате это иногда приводило к столкновениям противоречивых документов, взаимоисключающих друг друга бумаг, к *Cirnen Laese Legitimationis*,<sup>[127]</sup> — но ведь это может случаться и в реальности, а поэтому с помощью селективной работы воображения можно было объяснить даже мои ошибки, более того, они, эти просчеты, создавали условия для нового неожиданного, порой адского усложнения драмы, давая понять, что даже внутри самих канцелярий нет всеобщего, единомыслия и однородности, что и там скрытно, исподтишка борются друг с другом антагонистические силы, что одни Канторы подкапываются под другие, что и они не являются единственными обладателями Главной печати и всех печатей низших, ей подвластных, но кружатся вокруг нее, вокруг них, перепутавшись до невозможности, в неотвратимом рвении, и эта извечная пульсация молчаливых, беззвучных битв еще раз — уже последний — доказывает, что сила и закон Канцелярий не в чиновниках, служащих — одним словом, не в людях, а в пространстве, отделяющем лица от бланков, руки от печатей, глаза от Двери. Однако почему — спросит кто-нибудь — я смею требовать особой благосклонности к бумагомаранию толстого гимназиста, ведь и у шутки должен быть предел? Отвечаю: уж слишком стыдливо мы умалчиваем об абсолютно необходимой благосклонности человека к искусству. И нас воспитывали, и мы воспитываем в наших подопечных убеждение, будто творения искусства лишь немногим отличаются от лежащих в полутьме граблей. Наступивший на них получает такой удар по лбу, что у него из глаз вылетают снопы искр; так же, а не иначе, должно обстоять дело и с великими произведениями: человека, приобщившегося к ним, оглушает — охватывает — неожиданный восторг! Эта благородная ложь столь распространена, что когда по прошествии нескольких лет после описанных здесь событий я вынужден был бежать от гестапо из «погоревшей» квартиры, оставив среди личных вещей тетрадь с собственными стихами, то к сожалению о невозполнимой потере, понесенной национальной культурой, примешалась твердая уверенность в эстетическом шоке, который должны были испытать те из моих преследователей, которые владели польским языком. Некоторое время спустя, поумнев, я краснел при одном воспоминании об этом, но исключительно лишь потому, что понял, сколь чудовищно графоманскими были мои сонеты и октавы — таким образом, я стыдился именно отвратительного качества, все еще не понимая, что качество поэзии не имело в той обстановке абсолютно никакого значения. Совершенно иначе выглядел бы наш мир, если б в нем можно было воздействовать на гестаповские души пусть даже самой высокой поэзией. Повергнуть кого-либо искусством невозможно — оно пленяет нас, если мы соглашаемся быть плененными. На то, что становится тогда элементом взаимного стимулирования, падения на чужие колени и соревнования в восторгах, то есть мошенничества и коллективного самообмана, нам открыл глаза уже Гомбрович,<sup>[128]</sup> но есть во всем этом и еще кое-что, причем в лучшем роде, а именно — читательский талант. Прочсть «Золушку» как добродетельную сказку сумеет и ребенок, но

как же без утонченности и Фрейда усмотреть в ней пляску извращений, созданных садистом для мазохистов? Вопрос о том, содержится ли в сказке закамуфлированная непристойность, свидетельствует сегодня лишь о наивности вопрошающего. Потом он неизбежно будет утверждать, что робгрийетовский, [\[129\]](#) детектив из «Резинок» — типичный партач, ибо таково буквальное звучание произведения, а несвязность поведения Гамлета проистекает из того, что Шекспир решил соединить воедино слишком много разнообразных элементов из предыдущих версий этой драмы. Вместо ответа современный теоретик укажет вам пальцем на небо, на котором — если рассуждать буквально — звезды рассыпаны совершенно бессистемно, а между тем всем известно, что они складываются в зодиакальные фигуры богов, животных и людей. Ведь в принципе для того, чтобы возвысить, облагородить любое произведение или, наоборот, счесть его банальным, плоским, достаточно во время знакомства с ним установить на сцене своей души такой фон, такую декорацию, которую мы сочтем наиболее подходящей. Это не инертный фон, а система отсчета, в которой неестественно переломленный прутик может оказаться древнеяпонской стилизацией ветви, а достаточно выщербленный камень — скульптурой, олицетворяющей дух нашего разрывающегося на части времени. Стало быть, по одному и тому же поводу можно кричать: «ошибка!», «несообразность!» или наоборот: «гениальный диссонанс!», «бездна, показанная путем удачного разлома логических связей!» Не каждый позволяет себе произвольно придать произведению совершенно новый фон, этим занимаются специалисты, которые частенько тоже не знают, что к чему; отсюда споры, распри и совещания, а также все возрастающие заботы. Ибо авторы, стремясь превратить плоды своих усилий в семантические калейдоскопы, начинают изъясняться все менее внятно, выражая свои замыслы не то что полунамеками, а уж какими-то четвертьнамеками. Конечно, массы и власти в принципе не особенно благосклонны к воплощенческим начинаниям гимназистов, но коль уж мы знаем механизм явлений, то можем по крайней мере на равных с другими правах надеяться на благожелательное отношение, и не только в собственных интересах, ибо мы подозреваем, что в глубине запыленных библиотек хранится уйма неоткрытых Канетти [\[130\]](#) и Музилей [\[131\]](#) множество произведений, которые никогда не покажут всего своего великолепия, если мы не поможем им указанным уже образом.

Но всего этого я в то время не знал. Старательно ограничивая полномочия, даже монаршие, сам безымянный в этой муравьиной работе, я растворялся в созданном мною творении, не превышал меры, не допускал инфляции Бумаг, а благодаря столь абсолютно практикуемой скромности объединял сакральное с реалистическим. Сакральное, ибо я инстинктивно предположил, что вначале было Удостоверение; реалистическое, поскольку эти действия нашептывал мне сам Genius Temporis. [\[132\]](#) Если же где-то в отдалении и светило мне Всеудостоверение Личности, Наисветлейший Документ, тяжелый от опечатающих его красных восковых солнц, весь в гирляндах многоцветных шнуров, зачатие Summis Auspiciis [\[133\]](#) хаоса, в котором параграфы и картотеки витали еще в состоянии, свободном от Служебной Лестницы (той, что в другом контексте превратилась в Лестницу на небо [\[134\]](#)), я отбрасывал от себя эти искушения, эти святотатственные мечты, это цепкое желание проникнуть в Суть, словно бы я предчувствовал тщетность подобного намерения, попытки, заранее обреченной на провал, и только — упорный, в мелочном уточнении, — создавая в ходе канцелярствования то пачку ассигнаций на сто мешков крупнозернистого золотого песка на предъявителя (да, но только такого, который одновременно предъявит Полномочие Пятой Степени), то книжечку Палача II категории, сшитую серебряной проволокой, объединяя на своей парте Бытие с Повинностью, отгородившись стенкой из учебников, я возвысил мертвую по природе и бесплодную бюрократическую деятельность до уровня артистизма. Я вознесся на крыльях

Удостоверений над серой юдолью и уже в свободном полете одним росчерком пера и прикосновением зубчатого колесика от будильника вырывал из небытия необъятные миры. Итак, будучи неполных тринадцати лет, я создал, скрестив литературу с графикой (и то и другое необходимо для создания документов), новое направление, а именно — удостоверизм, то есть сакрально-бюрократическое творчество с двуединым додуманым метафизическим патронатом, святым Петром и Полицейским в одном лице, ибо удостоверения, как известно, существуют затем, чтобы их предъявлять.

Я, разумеется, не верил в собственное детище — в конце концов я лишь играл на уроках истории, географии и даже — о позор! — польского языка... и все-таки... Никогда никому я не показывал даже краешка своих бумаг и поверг себя в такое состояние духа, что, найди я, предположим, на улице удостоверение на предъявителя, доверяющее выкопать сокровища из-под Песчаной горы, я, вероятно, обрадовался бы, но не удивился... Потому что — мне очень трудно это выразить — все было немножко так, будто, зная, что я не изготавливаю настоящих документов, я одновременно чувствовал, что все-таки какой-то отсвет истины на них падает, что все это не полностью и абсолютно бессмысленно, хотя одновременно и является таковым — но только условно: ведь я знал, что за мои ассигнации никто не даст не только горсти рубинов, но и вообще ломаного гроша; однако если я не создавал этих звонких ценностей, то, может, изготавливал какие-нибудь другие? Какие? Ценности в себе, как соборы Орвиета и Сиены, которые атеист пытается как-то принизить, говоря, что они-де не более чем очень большие строения, перечеркнутые попеременно белым и черным, как пижама в полоску... Разумеется, бесконечно легче было бы высмеять и свести к нулю мой собор, который не был настолько, как те, материален не вследствие неустойчивости строительного материала, а исключительно из-за того, что те попросту существуют, а мой был всего лишь приравнен к ним. Или, как сказал бы уже современный кибернетик, он был аналоговой многозначной моделью отношений, которые можно обнаружить в мире. Но до этого-то уж я действительно и додуматься не мог. Чувствуя кожей, что того, чего даже я не могу выразить, никто не поймет, а увидит во всем этом всего лишь мой инфантилизм, я молчал, оберегая Тайну. Увы, произведения того периода погибли, даже самые ценные — например, такие, как «Декрет о гимнастике», с оттиснутой двугрошовой монетой серией Малых печатей и снабженный для придания весомости кусочком желтого шнурка, который я на большой перемене оторвал от ботинка, или же разрешение брать в рабство приглянувшихся, с приложенной к нему книжкой паролей, относящихся по сложности к Тайному ключу I класса (о шифрах я знал в основном благодаря «Приключениям бравого солдата Швейка»). Мой труд погиб, но путь остался как весьма многообещающее, четко указанное направление.

Поскольку всю мою обширную канцелярию я приводил в движение исключительно в гимназии (мне жаль было тратить на это время дома — впрочем, у меня просто не хватило бы терпения сидеть над ней специально, а в классе я просто был вынужден отсиживать), постольку эти интенсивные занятия не отнимали домашнего времени. В то время я очень много читал. Помню «Остров Мудрецов» Буйно-Арктовой, представлявший собою что-то вроде предшественника современной science-fiction; как-то я так и не удосужился переложить этот пухлый роман на удостоверения.

После всего рассказанного, вероятно, будет понятно, почему, будучи столь занятым, а в связи с этим рассеянным мальчишкой, я никогда не мог, исполняя функции казначея в школьном самоуправлении, сбалансировать кассу, и отцу приходилось добавлять мне один, а то и два злотых в месяц. Я не растрачивал общественных средств, просто грошовые взносы как-то перепутались в моем сознании с возами золота и сундуками бриллиантов, которыми я мысленно ворочал, а возникающий в результате балаган приводил к дефициту в реальном бюджете.

Строго придерживаясь, как истинный бюрократ, времени, отведенного на труды канцелярские, дома я даже не смотрел на Бумаги с Удостоверениями; в перерывах между репетитором, француженкой и ужином я занимался творчеством совершенно иного рода: делал изобретения. В школе я вообще о них не думал, поглощенный канцелярщиной, дома же, словно переставив железнодорожную стрелку, все свои мысли я направлял в другую сторону; это было совсем просто. Я, пожалуй, не могу сказать, которое из двух занятий считал более важным — этим я напоминал мужчину, ухитряющегося отлично поделить себя между двумя поклонницами; и тут и там я был искренним, как он, отдавался с легкостью и без остатка, поскольку все было подробно распланировано, или, вернее, потому, что все прекрасно сложилось. Возвращаясь домой, я знал, куда мне надо пойти, чтобы купить провод, клей, парафин, шурупы, наждачную бумагу; причем, если отцовской дотации не хватало, я или уговаривал щедрого по натуре дядю, брата мамы, тоже, как и отец, врача, или же комбинировал. У дяди, которого я звал по имени, почти как товарища, иногда бывали приступы расточительности, которые моим родителям не нравились. Несколько раз я получал от него пятизлотовку с Пилсудским, которую не клал в портмоне-подковку, а на всякий случай вообще не выпускал из кулака. Помню, как, идя по городу со вспотевшей монетой в руке, я чувствовал себя замаскированным Гарун аль-Рашидом, а мой взгляд, наталкивающийся на витрины магазинов, в доли секунды разменивал серебряный металл на неисчислимое множество выставленных вещей, однако ни одну из них я пока не собирался облагодетельствовать, купив ее, зачерстивший внутренне в неожиданной скупости миллионщика. Как правило, я вкладывал свои сбережения в изобретения, которые, совсем как у настоящих изобретателей, ухитрялись любую сумму поглотить без остатка — и без результата. Будучи работающим чиновником, я сохранял спокойствие, поскольку канцелярствовать с вдохновением невозможно, техника же горела во мне жарким, святым пламенем. Я приносил ей кровавые жертвы из вечно кровоточащих пальцев, облепленных пластырями, упорный в поражениях, с разбитым сердцем и обломанными ногтями, но все время ищущий, обуреваемый новыми замыслами, новыми надеждами. Я долго конструировал электрический моторчик, внешне напоминающий старую паровую машину Уатта с балансиром; вместо цилиндра с поршнем у него была электрическая катушка — соленоид, магнитное поле которого всасывало внутрь железный сердечник. Специальный прерыватель посылал в обмотку катушки импульсы тока. Это было, как оказалось впоследствии, изобретение вторичное, ибо подобные моторы уже существовали, а точнее — уже перестали существовать, как непрактичные, непроизводительные и малооборотные. Но это, разумеется, не имеет значения. Знаю, что в то время я, пожалуй, впервые проявил чрезвычайно длительное упорство и переделывал эту модель десятки раз, прежде чем она, наконец, заработала. А когда моторчик, неуклюжий, собранный из кусочков жести, выпрошенной у жестянщика (он содержал небольшую мастерскую в нашем доме), наконец, заработал, я уселся среди пережженных батареек, путаницы проводов, масляных пятен, отходов, а также молотков и плоскогубцев (на них едва успела пообсохнуть кровь совсем недавно изничтожаемых игрушек) и смотрел на скрежещущие, медленные, не совсем равномерные обороты, на колебания кривошипа, на маленькие искорки в прерывателе, грязный, измученный и торжествующий. Если потом я и хвастался перед домашними, демонстрируя им мотор, то делал лишь то, что делает на моем месте каждый мальчишка; однако самой торжественной была минута, когда исполнилось, когда был завершен творческий акт и мне уже нечего было делать — мотор работал, спотыкаясь, пожалуй, до темноты, а я только смотрел. Это было, если я не ошибаюсь, совершенно особое удовольствие, не требующее никаких похвал извне или свидетелей. Мне не был нужен никто, поскольку — свершилось! Ни Уатт, ни Стефенсон не могли испытать более бурных ощущений. Ясное дело, этим я ограничиться не мог. Я жаждал

новых свершений. Очень долго и терпеливо я занимался электролизом воды, подсыпая в нее самые различнейшие вещества, отнюдь не рассчитывая, что в один прекрасный момент на электродах появится золото. Во-первых, я знал, что этого случиться не может; а во-вторых, мне было нужно не золото. Речь шла о создании субстанции, вообще до тех пор не существовавшей; я соскребал с электродов коричневые, красные, серые порошки и старательно прятал их в баночки. В конце концов я убедился в недостаточности моих познаний. Я начал более систематично строить электрические аппараты, в качестве руководства избрав толстую немецкую книгу, напечатанную готическим шрифтом, «Elektrotechnisches Experimentierbuch». Правда, в течение двух лет я уже изучал в гимназии немецкий язык, однако на этом языке не мог прочесть, то есть понять, ни одной фразы. Поэтому я начал разгадывать немецкий текст с помощью словаря, немного напоминая этим Шампольона, разгадывавшего египетские иероглифы; это был сизифов труд. Как бы там ни было, он принес результаты, поскольку в конце концов я проштудировал книгу от корки до корки и построил машину Вимшерста и индуктор Румкорфа: по непонятным причинам я обожал мощные электрические разряды. Я был очень неряшлив по натуре, страшно нетерпелив, небрежен, и тем более странно, что ухитрялся подвигнуться на самоограничение, на мозольное повторение попыток, когда десятки их не приносили никаких результатов. Дважды повторялся многомесячный, кровавый труд, кровавый буквально, потому что пальцы и костяшки рук были у меня — неловкого манипулятора — все в порезах, перевязанные грязными бинтами, когда я наматывал на склеиваемые собственноручно бумажные катушки несколько километров обмотки, каждый слой которой заливал парафином, перекладывал восковой; еще хуже дело шло с электростатической машиной, поскольку я не мог найти нужного материала для дисков. Вначале я пробовал использовать старые грампластинки диаметром чуть ли не шестьдесят сантиметров, оставшиеся после кинематографа и записанные только с одной стороны, но они оказались непригодными. Наконец я достал пластины от очень старой и уже не работающей машины Вимшерста, с помощью лобзика вырезал из них пластины поменьше, отбрасывая позеленевший от старости эбонит, обточил их на электромоторчике, весь в клубах зловонного дыма и черной пыли, залезавшей в глаза, волосы, скрежетавшей на зубах, забивавшейся под ногти. В конце концов машина была построена. Забавно то, что одновременно у меня была масса неприятностей на уроках труда, поскольку все, что я там делал, было немного кривым, неустойчивым, неаккуратно выполненным, и мне постоянно ставили плохие отметки.

Потом я еще построил трансформатор Тесла и упивался неземным светом вакуумных трубок Гейслера в поле высокого напряжения. В то время я облюбовал магазин учебных пособий в пассаже Хаусманна. Помню, небольшая, но гораздо более совершенная, чем моя, машина Вимшерста стоила там 90 злотых — это была цена костюма. Много лет спустя, на первом курсе, первые деньги, какие я получил в жизни, — стипендию в Медицинском институте (это был 1940 год) — я полностью истратил на покупку трубок Гейслера. Моя машина Вимшерста тогда еще действовала. Погибла она только после начала войны, в 41-м году.

Занимался я и теорией. То есть была у меня кипа тетрадей, в которых я записывал изобретения, прилагая к ним «технические эскизы». Некоторые помню. Был там приборчик для разрезания зерен вареной кукурузы, чтобы при еде кожица оставалась на кочне; самолет в форме огромного параболоида, который должен был летать над облаками, где собираемые вогнутым зеркалом солнечные лучи превращали воду, заполнявшую резервуары, в пар, приводивший в движение турбины пропеллеров; велосипед без педалей, на котором надо было ездить «галопируя», как на коне, седло ходило в полой трубке рамы словно поршень в цилиндре, а приводимая им в движение зубчатая рейка должна была вращать ведущее колесо;



источником движения, таким образом, был вес сидящего, который должен был подниматься и приседать, как на стремянах. В другом велосипеде привод был на переднее колесо, благодаря тому, что руль раскачивался словно маятник, соединенный рычагами с эксцентриком, как у паровоза. Был там автомобиль, в двигателе которого роль свечей зажигания играли... камушки от зажигалки. Была и электромагнитная пушка — я даже построил небольшую модель, потом оказалось, что уже задолго до меня кто-то придумал нечто подобное. Весло с лопаткой в форме зонтика, который под воздействием сопротивления воды сам попеременно раскрывался и закрывался. Самым значительным моим изобретением, несомненно, была планетарная передача, изобретение столь же вторичное, как многие другие, с тем отличием, что мне не было знакомо даже его настоящее название, но конструкция эта по крайней мере была реальной; ее используют и по сей день. Не обошлось, конечно, и без моделей «перпетуум мобиле», которых я навьдумывал несколько штук. Были у меня тетрадки, посвященные исключительно конструкциям автомобилей, например, в одной из них небольшие трехцилиндровые двигатели, напоминающие авиационные, были размещены в барабанах колес; вариант этой идеи был использован на практике, только вместо двигателей внутреннего сгорания внутрь колес вмонтировали электромоторы. Помню я еще двухпоршневые двигатели и даже что-то вроде ракеты, которую должны были приводить в движение ритмично повторяющиеся в камере сгорания взрывы газов; я сразу же подумал об этом изобретении, прочтя в 44-м или 45-м году о механизме немецкой «ракеты возмездия» Фау-1. Конечно, это не значит, что я изобрел Фау-1 до немцев, просто сам принцип действия был несколько схож.

Кроме того, я проектировал различные боевые машины: одноместный танк — что-то вроде стального плоского гроба на гусеницах, с автоматическим пулеметом и мотоциклетным мотором, танк-снаряд, танк, перемещающийся по принципу винта, а не благодаря поступательному движению гусениц (есть уже такие тракторы), самолеты, могущие взлетать вертикально благодаря изменению расположения двигателей, то тянущих вертикально, то горизонтально, — и множество иных, больших и маленьких машин, приборов, заполнявших толстые черные тетради, а также тетрадки поменьше, обклеенные мраморной бумагой. Рисовал я тщательно и, разумеется, с фантастическими табличками, в которых фигурировали придуманные цифровые данные и другие важные технические подробности.

Одновременно росла моя библиотека, все более обогащаясь научно-популярными книгами, разными там «Чудесами природы», «Тайнами вселенной», а параллельно заполнялись и другие тетради, в которых я проектировал уже не машины, а животных; выполняя — per procura [\[135\]](#) — роль заместителя эволюции, ее главного конструктора, я планировал различных жутких хищников, производных от известных мне бронтозавров, или диплодоков, с роговыми дисками, пилоподобными зубами, рогами и даже некоторое довольно продолжительное время пытался придумать животное, которое бы вместо ног имело колеса; причем я был настолько добросовестным, что начал с изображения скелета, чтобы представить себе, как бы можно было воплотить в материале мускулов и костей элементы, позаимствованные у локомотива.

Уделяя так много места описанию моих конструкторских занятий в низшей гимназии, рассказывая об открытии давно открытых Америк, подчеркивая количество труда, которого требовали эти — столь тяжкие — труды, я не забываю о том, что это было не более чем игра. Трудности я создавал себе сам, подчас слишком оптимистично соизмеряя силы с намерениями, ибо были у меня и поражения; например, когда я пытался повторить Эдисона и построить фонограф! и хотя я перепробовал все доступные виды иголок, мембран, скалок для текста, воска, парафина, станиоля, хотя до хрипоты надрывался над трубами моих фонографов, мне так и не удалось добиться того, чтобы хоть один из них отплатил мне за мои труды пусть даже слабеньким скрипом закрепленного голоса. Но, повторяю, это была игра; я знал об этом и даже,

с некоторыми оговорками, соглашаюсь сегодня с собой, тринадцатилетним, в такой оценке. Эпоха разрушения, уничтожения предметов, попадавших мне в руки, не переросла в следующую — конструирования — неожиданно, резко. Их связывал переходный период, как мне кажется теперь, более интересный, как феномен, чем оба названные: период работ мнимых. Так, например, долгое время я строил — до великих технических начинаний — радиоаппараты, передающие и приемные станции, которые не могли, да и не должны были работать.

Я собирал их из старых катушек от ниток, перегоревших ламп и конденсаторов, толстой медной проволоки, снабжал возможно большим количеством солидно выглядевших кнопок и рукояток, монтировал на досочках, в жестяных коробочках из-под чая, и если, будучи натуралистическими, неладными копиями настоящих аппаратов, они не устраивали меня своим видом, недостаточно нравились мне, я, инстинктивно ощущая потребность подчеркнуть их значительность, втыкал в эту искусную мешанину то какую-нибудь блестящую железку, то пружинку, специально для этой цели выкрученную из будильника, насыщая свое детище до тех пор, пока неведомое чувство подсказывало мне, что уже довольно, что вид псевдоаппарата соответствует моим требованиям.

Повторяю еще раз: я играл. А меж тем конструкции, удивительно похожие на мои тогдашние, можно сегодня найти на выставках скульптуры. Неужели и в этом я был предтечей? Мысль уж чересчур лестная, особенно если вспомнить недавнее приключение на Выставке абстрактной скульптуры. Центральную часть экспозиции занимали идолообразные и кренделевато-дырявые антиторсы и антискульптуры, на стенах же висели коллажи (а разве нельзя их назвать попросту аппликациями?) различного формата и происхождения. Проходя мимо натянутых на станки абсолютно девственных полотен, лишь в двух-трех точках подпертых с обратной стороны кольшками, геометрически оттопыривающими простынную белизну, минуя оправленные в рамы грязно-серо-зеленовато-дерюжные конгломераты, в которых наблюдательный глаз мог только вблизи обнаружить генеалогию материала, отождествляя отдельные их элементы с остатками каких-то сеток, застывших под слоем мастики или клея, металлическими стружками, пружинными пластинами, я в один из моментов остановился перед очередным экспонатом. Он был вполне спокойным, словно его создатель обуздал уже предварительные свои намерения, натянув сдерживающие вожжи; у этого произведения было что-то вроде прямоугольной рамы, изготовленной из листового железа; примерно в двух пятых от нижнего края, то есть в пропорции золотого сечения, его пересекала неряшливо прикрепленная планка, что-то вроде засова, а над этой основной линией простиралось пустое пространство старой, чуть ли не заплесневевшей жести с тремя почти симметричными отверстиями посередине; пробитые насквозь, они зияли пустотой, окруженные каждое чем-то вроде темно-сизого ободка. Воистину ослепшие звезды, дыры, оставшиеся на месте выбитых солнц! Подумал я и о той совершенной технике, которую применил художник, чтобы так естественно опылить отверстия бледнеющим к краю ореолом, постепенно уходящей в небытие пепельностью, об искусстве, с каким он прокалил поверхность металла, ибо она одновременно была оплавлена и местами шершаво-узловата от действия пламени; я начал искать табличку с названием произведения и именем автора, но ее не оказалось; и неожиданно, заморгав глазами, я сообразил, что произошло недоразумение. Выставка размещалась в большом подвале с красивым сводчатым потолком, экспонаты висели на неоштукатуренных стенах, и, как обычно в подобном месте, тут и там в кирпичные ниши были вмазаны дверцы дымоходов, Я стоял как раз перед такой заслонкой, проржавевшей и снабженной разболтавшимся засовом. Эстетическое зарево, полыхавшее перед моими алчущими глазами из этой вьюшки, тут же сникло, угасая, а сама она, разоблаченная, неожиданно поскромнее, превратилась в банальную жестянку каминного дымохода; я же, оконфуженный, быстро отошел от этого места, чтобы уже



перед подлинным произведением искусства вновь погрузиться в соответствующее состояние, то есть подстроить дух к требованиям абстрактного творчества.

Размышляя над этим приключением, я пришел к выводу, что в нем не было ничего предосудительного; если кто-то и виновен в том, что я так легко впал в ошибку, то только не я. Не такие вещи случались на подобных выставках; помню, как некий знаток, истинный, хотя, честно признаю, несколько близорукий ценитель, на другой выставке, на которой весьма обильно были представлены каменно-серые и гипсово-белые глыбы и комья, неожиданно энергичным шагом направился к выходу, неподалеку от которого на постаменте покоилась довольно крупная глыба с почти геометрически правильным переплетением поверхности, притягивающим глаз цветом и формой. На полпути он замер, вздрогнул и медленно повернулся, так как глыба оказалась самой обычной халой, творением пекаря, которую женщина, исполняющая обязанности кассирши, положила на первое попавшееся место, отправившись за чаем. Что же такое все-таки происходит с искусством, коль оно допускает возможность столь юмористических перестановок? Или поставщиком модных в настоящее время предметов могут быть равно каменщик, пекарь и играющий ребенок? Все это не так просто. Раньше художник, живописец, скульптор изготавливали предметы общественно необходимые; это были орудия, правда, своеобразные, ибо они помогали умершим переноситься в вечность, закланиям — свершаться, молитвам — обрести исполнительную силу, бесплодной женщине — зачать, герою — получить желанную награду в раю. Эстетическая сторона этих орудий была их составляющей, стимулирующей действие, вспомогательной стороной, но никогда — доминантой, непрактичной самоцелью. Поэтому художник имел свое четко обозначенное место на ступенях религиозной или государственной метафизики, он был инженером-изготовителем темы, а не ее автором; тематическое авторство приписывалось Откровению, Абсолюту, Трансцендентности; отсюда, как следствие, барьеры суровых ограничений, о которых мы столько говорили, отсюда также и тавтологичность тогдашнего искусства, которое в общем-то не говорит ничего нового, поскольку лишь повторяет на память отлично известные идеи: Распятие, Провозвестие, Воскрешение, акт размножения, выраженный в иносказательных символах, борьбу Аримана с Ормуздом.<sup>[136]</sup> Свою индивидуальность неповторимый гений, художник протаскивал, если так можно выразиться, контрабандой в глубь полотен, скульптур и алтарей, и сила его таланта, в прямой зависимости от степени изобретательности, проявлялась в том, что, несмотря на подсознательное подчинение литургическим рецептам, могла в узкой полосе дозволенного, то есть неканонизированного до конца, проявить свое присутствие в принципе неисчислимыми способами. Он мог незначительно нарушить окаменение догмы, расшатать ее, мог заставить ее звучать более или менее явно в унисон с современным ему реальным миром, мог, наоборот, укрыть себя в собственном произведении с помощью системы диссонансов, едва ощутимых и тем не менее имеющих там разладов, в интерпретации которых мы можем сегодня совершенно ошибаться, поскольку то, что в каких-либо фигурах раннеготических святых мы воспринимаем как преднамеренное, даже юмористическое, отнюдь не обязательно было таковым для живших в то время людей. Правда, я охотно бы понаблюдал за минами многих из этих творцов, когда они оказывались один на один с возникающим образом. Эта контрабанда личности в область метафизической догматики представляется мне увлекательнейшим делом, ибо во многих крупных произведениях я ощущаю активное присутствие творца, обнаруживая это как своеобразную фальшь, как, может быть, только подсознанием отмеренные микроскопические дозы богохульства, ядовитая щепотка которого, как это ни парадоксально, еще больше усиливает официально святое звучание темы. Но об этом надо помолчать, по крайней мере здесь. Эпоха миновала, здание метафизического рабства рухнуло под ударами технической цивилизации, и художник оказался ужасающе свободным.

Вместо декалога тем — бесконечность мира, вместо откровения — поиски, вместо наказания — выбор. Возникают эволюционные ряды: произведение буквальное, произведение, едва намеченное, каменное обобщение тела, геометрический намек на него, фрагмент, обрубок, руина торса или головы; наконец, некто, копаясь в высохшем русле реки, выбирает из миллиарда окружающих камней один из-за его особой формы и несет на выставку. Обработка не обязательна, коль достаточно отбора. Таким образом, словно бы неумышленно — от случайности как Всеведущего Провидения переходят к случайности как статистической теории, слепому клокотанию сил, обрабатывающих камни в речном потоке, от сознательного созидания — к созиданию наобум, от необходимости к случайности.

Не только художник страдает от избытка свободы; потребители не в лучшем положении. Начинается своеобразная игра между художественным предложением и потребительским спросом или отвержением. Над мировой шахматной доской подобных игр возвышается отгоняемый пассажирами знатоков и специалистов, до муки наскучивший демон всеобщей неуверенности. Известный художник выставляет на обозрение шесть абсолютно черных полотен; что это — скверная острота, вызов или дозволенная шутка? Холодильник без дверцы, на велосипедных колесах, раскрашенный в полосу, — это что, можно? Стул, пробитый насквозь тремя ножками, — и так тоже можно? Но что значат подобные вопросы; коль это выставляют, коль есть зрители, и покупатели, и критики-апологеты, стало быть, через несколько лет все это будет изложено в учебниках по истории искусства как уже пройденный, неизбежный этап. Однако неуверенность продолжает существовать, поэтому произведения не называют по имени, а каждое из них снабжают калиткой интерпретационного отступления: это, говорят нам, поиски, новые опыты, эксперименты. Будущий историк искусства двадцатого века сможет не без удовольствия отметить, что наш, для него уже архаический, период не создавал почти никаких произведений, а лишь одни заявки на них.

Между тем художник, окруженный исключительно полезными предметами, превращает их в поле эксплуатации. Все создано для чего-то: для приема радиопередач, для бритья, для переезда с места на место, для помола муки или выпечки хлеба. Можно, вероятно, прикатить на выставку жернов с мельницы, но мизерность собственного вклада в этот творческий акт удручающе очевидна. Необходимо что-то сделать с предметом, отнять у него что-то, и только тогда, как бы волей-неволей, останется чистое выражение, одна эстетичность. Однако же появляются «машины для ничего». Я тоже их создавал. Не как предтеча, а как ребенок. Современный художник пытается стать ребенком в самом сердце цивилизации, в ребенке — отыскать избавительные ограничения. Ибо только он, ребенок, не ведает сомнений, ничего не знает о потоке условностей, только его игры еще остаются до смешного серьезными. Но найдет ли ищущий то, что пытается отыскать, скрывшись в ребенке от бездны чрезмерных свобод?

Художник жаждет вернуться к праначалу, туда, где труд был одновременно и игрой и творческим актом, где труд являлся и самовознаграждением, вне себя бессмысленным, самослужебным — да, это было состояние, в котором я взялся за изготовление псевдоаппаратов. Я строил их потому, что они были мне необходимы, а необходимы они были мне для того, чтобы я мог их строить. Это была петля, столь же замкнутая, сколь и идеальная — петля веры, которая гласит, что является Всем, — но этот упоительный *circulus vitiosus*, [\[137\]](#) был естествен, поскольку мне было тринадцать лет. Я делал все, что умел, не преследовал никаких реальных целей, все время оставаясь в пределах своих — тринадцатилетнего — возможностей, и в то же время это отнюдь не было каким-то самоограничением, а как раз наоборот: это была моя наивысшая свобода, моя гимназическая кульминация. Если она и была заужена, замкнута, то только самую природою, самым возрастом, в противоположность человеку искусства я вовсе не старался быть ребенком; чем же еще я мог быть в то время? Несчастный художник, ищущий

ограничений в ребенке, в нем не уместается. Это правда, что слова: *credo, quia absurdum est*<sup>[138]</sup> вырвала из уст человека спокойная абсолютность веры. И правда, что внутри цивилизации, которая представляет собою пирамиду служащих человеку машин, нет ничего более абсурдного, нежели машина, которая ни ему, ни кому-либо другому не служит. Впрочем, абсурдность — это лишь та точка, в которой сошлись пути, различные по своему характеру. Скверно, если булку, речной гольш и дверцу от печки можно перепутать с произведениями искусства. Скверно, если увеличенную микрофотографию кристаллического шлифа, либо подкрашенный препарат живой ткани, либо рассматриваемую через электронный микроскоп колонию вирусов, опыленную ионами серебра, можно выставить на равных среди ташистских<sup>[139]</sup> абстрактных полотен. Это вовсе не значит, что мне не нравятся абстрактные художественные композиции; наоборот, они бывают прелестны, но еще более оригинальные можно отыскать среди лабораторных препаратов или на почерневших участках коры в лесу, которые выткала своей белесой биологической вязью какая-нибудь плесень.

Несчастье современного искусства отнюдь не в том, что оно надуманно; напротив: мертвая и живая природа кишит подобными «абстрактными композициями», они знакомы микробиологу, геологу, математику, они содержатся в псевдометаморфозах старых диабазов, в микроструктуре амеб, в путанице жилок на листьях, в облаках, в форме выветрившихся скало-единцов; мастерами и предшественниками в этой области являются великие ваятели — уничтожители и создатели одновременно, энтропия;<sup>[140]</sup> и энтальпия<sup>[141]</sup> тот же, кто не хочет с ними соревноваться (поняв — а это, кстати, понимают немногие, — что в конце концов проиграет), а ищет спасения в возвращении к сладостной дикости пещер, прячется в ребенке, в примитиве, — тот только попусту тратит время, ибо неандерталец и ребенок действовали и раньше его и оригинальнее.

Но, собственно, кто дал мне право все это говорить? Отвечаю сразу: никто. Со мной можно не соглашаться, тем более что я не в состоянии предложить какую-либо новую неволю, какое-либо спасительное ограничение. Тогда придется, увы, признать, что я все-таки был великим предтечей, да и не только я, но и все мои друзья из начальной школы, которые, болтая прутиком в луже с каплей пролитого бензина, творили моментальные, но изумительные цветочные композиции. Мы были великими, хоть и сопливыми, примитивами, а мои псевдорadioаппараты по сравнению с «мобилями» были тем же, чем был Босх,<sup>[142]</sup> по сравнению с надреалистами. А какие композиции получались у нас еще раньше из манной каши, размазанной по тарелке! Впрочем, если имеет силу возврат к прошлому, а наимоднейшим течением окажется турпизм<sup>[143]</sup> то я позволю себе напомнить, теперь уже с гордостью, свою запрудоненную шарманку. Разве это увечное творение, возникшее путем заполнения часового музыкального механизма низменной субстанцией телесного происхождения, разве результат подобного столкновения ньютоновской мысли (часовая точность движения небес, это ее исходная идея) с элементом анимального,<sup>[144]</sup> разложения, одним словом, разве скрещение Идеи с Экскрементом не является истинным феноменом прокурсорства<sup>[145]</sup> — более того, профетичности<sup>[146]</sup> которую возглашает катастрофальный нигилизм? Будучи четырех лет от роду, я решительно отверг детерминальную необходимость мертвой мелодийки, актом воистину экзистенциальным открыто высказавшись за животную свободу, уже самим фактом расстегивания штанишек давая пощечину тысячелетиям трудолюбивых цивилизаций! К тому же надо учесть полнейшую ненужность, а стало быть, абсолютную бескорыстность этого спонтанного поступка...

Подобным рассуждениям нет предела. Не все является насмешкой, поскольку все оказалось конвенцией, уговором, в том числе и язык, и алфавит, и законы синтаксиса и грамматики; и если поле дозволенного достаточно расширять, если добиться хоть какого-то согласия, чего-то

вроде хотя бы временного одобрения значений, приписываемых произвольному объекту, то с помощью произвольного знака, символа, предмета, картины можно выразить абсолютно все. Можно будет выставлять отрубленные пальцы, стулья, у которых вместо спинки — грудная клетка и позвоночник человеческого скелета, а вместо деревянных ножек — берцовые кости; увеличенную, выполненную в бетоне луковицу — в качестве ссылки на эпистемологическую<sup>[147]</sup> симптоматику космической материи, то есть на ее многослойность и одновременно бесконечность путей познания, которые представляют собою как бы отделение очередных слоев: ибо исчезает общественная договоренность, ранее однозначная в своем отношении к Истинам, и нет уже такой свалки, с помощью которой при соответствующем освещении и в должной обстановке нельзя было бы выразить какой-то надуманной, темной, может быть, даже означающей осуждение цивилизации идеи. Возникло затемнение, затмение, информационная нечеткость, в которой собственным тоскливым светом кое-где дрожат единичные произведения, но все это пробуждает иррациональную тоску по освобождению от слишком Произвольной свободы, что уже давно не относится к делу, ибо разговор идет не о заботах взрослых людей, а о ребенке. Поэтому вернемся к нему по возможности непредубежденными.

Мне уже осталось рассказать немного, а целые толпы неназванных предметов домашнего обихода и улиц, по которым я ходил, настойчиво требуют, чтобы о них упомянули хотя бы раз. Что, собственно, такое колдовское кроется в вещах и камнях, окружавших нас в детстве, что они содержат в себе прямо-таки магическое свойство ни с чем не сравнимой исключительности? Откуда у них эта бескомпромиссная жажда того, чтобы после гибели в хаосе войны и на свалках я засвидетельствовал их былое существование?

Всего несколько лет прошло после описанных здесь идиллических времен, а уже приходится позавидовать постоянству мертвых предметов; постепенно — лишаясь людей — они превращались в издевку, а неожиданное осиротение, ненужность опустевших кресел, тростей, безделушек приобретало какой-то чудовищный смысл. Действительно, походило на то, будто предметы соперничали с живыми, более устойчивые, менее зависящие от катастроф времени, словно, только освободившись от своих хозяев, они набирались сил и значения — достаточно вспомнить детские коляски и тазы на баррикадах, очки, сквозь которые некому было смотреть, кучи истоптанных писем. Но хотя они и приобретали в военном пейзаже силу необычных знаков, я никогда не ставил им этого в вину. Я верил в их невиновность. У меня осталась, не нарушенная огнем и временем, бессознательная привязанность к старой фаянсовой сове из книжного шкафа отца, ко льву и тигру, тяжелым, чудесным животным из черненой бронзы, к шахматам, королей и пешек которых с татарскими чертами лица вырезал отцу сосед — русский военнопленный 1915 года, к двум часам-собакам с комода матери, отмечающим время вращением вытарщенных глаз. В банальной, очень мещанской спальне родителей я помню стекло форточки, в котором зияло круглое отверстие с разбегающимися к раме паутинками трещин. Мне рассказывали, что во время боев 1918 года туда влетела пуля; поэтому я, шустрый ребенок, искал на потолке след ее затерявшегося полета, но потолок был гладкий и девственный. Выщерблину заштукатурили. Так мне сказали, но то ли я не мог, то ли не хотел поверить, важно одно: в квартире, столь спокойной, столь обычной, полной сытого мещанского достатка, мои глаза частенько обращались почти под самый потолок, к маленькой форточке, неизвестно почему притягивающей взгляд. Отверстие было небольшое — видимо, заменять стекло было невыгодно, таким оно и осталось на все междувоенное время. Быть может, пробоина тревожила меня, как растревожил Робинзон след босой ступни на берегу необитаемого острова? Нет, я вовсе не считал ее предвестником жестоких времен, просто это отверстие не соответствовало сонной гармонии мебели, этот след поражал, словно какая-то взятая из невозможного деталь, которую человек вдруг случайно увидел перед собой и которая уже самой своей материальностью не допускала и мысли о сомнении. Как же так: выходит, это действительно могло быть, значит, кто-то действительно мог стрелять в окна? В квартиры? А я родился тремя годами позже?

Я должен быть осторожным, чтобы не впасть в преувеличение. Пробитое пулей стекло всегда удивляло, даже, может быть, раздражало, как неожиданный скрежет, но не более, и изумляло не больше, чем капля смолы, сочившейся из рамы того же окна, — я очень любил собирать на палец каждую каплю — постепенно, в течение нескольких дней выплаканную, наконец, деревом сквозь краску — сверху уже немного засохшую, внутри пахучую, смолистую и липкую. Создавалось впечатление, что дерево не хотело примириться со своей судьбой, словно все его невидимое под краской существо еще находилось в лесу, говорило о нем наперекор очевидности рубанка, гвоздей, лака, обеих колец, с помощью которых к раме была прикреплена тонкая рейка шторы. Все это я говорю для того, чтобы придать проблеме



простреленного стекла масштаб.

А что вообще связывало ребенка, ходящего всегда по одним и тем же улицам, с их тротуарами, их стенами? Может быть, дело тут в красоте? Я ее не замечал, не думал, что город может быть другим, то есть не закованным в каменную броню мостовых, холмистым, не подозревал, что перспективы улиц, например, Коперника, Сикстусской, могли бы и не взлетать вверх, трамваи — спускаться вниз или взбираться в гору, я не замечал готической прелести костела Эльжбеты, восточной экзотики армянского кафедрального собора, а если я и поднимал голову, то только для того, чтобы посмотреть, как крутится на трубе жестяной петушок. Удивительно, что я вообще могу усилием идущей против течения памяти возратить невинность таким словам, как «Янув», «Знесень», «Пески», «Лонцного», <sup>[148]</sup> — которым сорок первый и сорок второй годы придали зловещее звучание, когда улицы начиная от Бернштейна и дальше за театр, в сторону Солнечной неожиданно вымерли, захлопали на ветру раскрытые настежь окна, опустели стены, дворики, подъезды, а еще позже появились, а затем исчезли деревянные заборы гетто. Я видел его издалека; вначале пригородную разбросанную застройку, потом уже только заросшие травой развалины. Но в тридцатые годы никто не мог этого предвидеть. Правда, и в то время бывало по-разному. Я видел с балкона нашей квартиры, прячась за его каменным барьером, стычки атакующей конной полиции с демонстрантами, это было во время похорон Козака; под скрип железных жалюзи, с помощью которых купцы пытались спасти стекла своих витрин, видел, как слетает с коня полицейский в блестящей каске, но это было словно неожиданно налетевшая буря. Буря прошла, и, когда дворники убрали с брусчатки разбитые стекла, опять вернулся покой, благодарные пациентки-монашенки приносили отцу из своего сада огромные букеты сирени, которую клали под струю воды в ванне, на «Веселой львовской волне» передавали диалоги Тоньца с Щепцем или прерываемые кашлем потешные монологи пана Строньца, а я заявил родителям, что не пойду в гимназию, поскольку там надо носить гольфы, а я это делать не могу, так как они щекочут под коленками. Мы были, теперь это известно, подобны муравьям, энергично копошащимся в муравейнике, над которым уже занесен сапог. Некоторые, как им казалось, улавливали его тень, но все, а стало быть и они, до последних минут с рвением и запалом продолжали суетиться вокруг тех же самых дел, стремясь обеспечить, смягчить, освоить будущее. Взрослые и дети, все мы были равны в благословенном неведении, без которого невозможно жить.

А ведь мы готовились. Обычно мы ходили в гимназию в мундирах, а один раз в неделю были уроки ВП — военной подготовки. В эти дни мы были обязаны являться в соответствующей форме. Она состояла, собственно, только из зеленой полотняной рубахи, надеваемой через голову наподобие обычной русской гимнастерки. Кто мог, прикручивал на грудь харцерские значки, стрелковые отличия; что касается меня, то, изведя на стрельбище у Высокого Замка уйму патронов, я перед экзаменом заработал золотой значок, но недолго смог им похвалиться — надвигалась война.

Рубаху полагалось идеально расправлять спереди и перехватывать широким ремнем. У некоторых были великолепные ремни с двойной пряжкой и многочисленными дырочками; я тоже достал себе такой; он даже был подбит тонким фетром, и были у него латунные тренчики для того, чтобы пристегивать перекинутый через плечо офицерский ремешок, носить — который я, конечно, не имел права. Вся беда в том, что для такой рубахи нужна была стройная фигура, как, например, у Л., которого можно было обхватить в талии четырьмя пальцами, — ни следа выпирающего зада, иначе собранные сзади складки торчали, словно распушенный хвост, превращая гимнастерку в юбку. Меня это весьма смущало.

Командиром рати был профессор Стажевский, историк, офицер запаса, но он присматривал за нами сверху, а стало быть, и издалека. Обычно нами занимались несколько строевых унтер-

офицеров, приходивших из города и частенько приносивших с собой таинственные свертки с покрытыми военной тайной предметами: например, маленькими флакончиками, из-под пробок которых пробивался еле ощутимый запах отравляющих газов, смягченный до безопасности в этой аптечной упаковке. Нам давали нюхать фосген, хлорацетофенон и другие невидимые отравы со столь же грозными названиями. На учениях нам выдавали и противогазы; до сих пор я помню их неприятный резиново-брезентовый запах и вкус, дышалось в них с трудом, судорожно, но ведь это была игра.

Однажды на площадке зажгли дымовые шашки и сержант бросил гранату со слезоточивым газом. Облако понесло на школьного сторожа, и он вынырнул оттуда, истекая слезами. У унтер-офицеров была с нами масса хлопот. Мы втихую подсмеивались над ними, впрочем, добродушно, частенько повторяли различные их оговорки — капрал Лелявый, например, носил совершенно другую фамилию, мы окрестили его этим прозвищем после того, как на одном из уроков он в драматических тонах описал нам, каким «лелявым» становится человек, наглотававшийся фосгена.

В микроскопическом арсенале нашей гимназии были собственные винтовки, в основном лебели, почитай, 1889 года. Это было архаическое, хоть и многозарядное ружье, длинное и тяжелое, патроны вкладывались один за другим в канал, просверленный в ложе под стволом, замки мы разбирали и собирали несметное число раз, много было муштры, а изредка мы даже получали по физиономии — разумеется, уже за городом, где-нибудь в Кайзервальде, куда нас отводили, выстроив в колонны.

Стволы наших винтовок были раскалиброваны, никакого боевого значения это оружие не имело, с таким же успехом можно было пользоваться выструганными в форме винтовок досками, но усомниться в качестве оружия считалось, пожалуй, государственным преступлением. При скверной погоде мы проводили эти два часа в классе за чисткой оружия, заваленные паклей и вымазанные вазелиноподобным тавотом. Это был труд одновременно и данаидов и сизифов. Познакомились мы также с методами проверки качества нашей работы — спичкой, заточенной, как иголка, сержант тщательно ковырял вокруг винтов приклада, между деревянным ложем и стволом; в конце концов всегда можно было найти какую-нибудь микроскопическую щелочку, которая испачкает кончик спички, и все приходилось начинать сызнова. Но это как-то не очень злило — словно мы понимали, что таковы правила игры, что именно на этом и стоит армия.

Во втором классе лица мы уже ходили на стрельбы из настоящих винтовок, не лебелей; там царил фронтальная атмосфера. К этим стрельбам мы готовились так долго, карабины Маузера, состоявшие на вооружении, нам не давали пощупать почти до последнего момента, боевые патроны, выделяемые уже на бетонированных позициях, выдавали с такой таинственностью, осторожностью и бухгалтерской скрупулезностью, что в конце концов винтовка превращалась в оружие прямо-таки титанического значения, огневой мощи которого не может противостоять ничто, в редкостный и точнейший инструмент, которым обладала мало какая армия мира. Я не утверждаю, что нечто подобное нам внушали, — просто в результате всего долгого священнодействия возникало в конце концов такое ощущение.

Впрочем, честно говоря, тут играла роль атмосфера стрельбища, бетонные позиции, сильная отдача, которой награждало ружье, если не прижать его как следует прикладом к плечу; каким незначительным в сравнении с боевой винтовкой был спортивный карабин, из которого мы иногда постреливали в гимназии! Даже репетир Юлека Д. терял свою привлекательность.

Забавно, что сознание конечной цели, для которой предназначена винтовка, до нас, или, во всяком случае, до меня, да, пожалуй, и до других, в принципе не доходило. Правда, мишенями на стрельбище были уже не невинные спортивные кружочки с черным яблочком посередине, а



достаточно красноречивые бледно-зеленые силуэты, с каской на голове и белым пятном лица, но ведь и эта цель была чисто условной. Требовалось попасть, а не убить — об убийстве как-то не говорили. Даже тогда, когда шло обучение штыковому бою. Я этого не любил. Вместо винтовок мы пользовались длинными жердями, лишь грубо имитирующими винтовки, торчащие концы которых были обернуты паклей, обвязанной тряпками, так что получалось нечто вроде твердого матерчатого кулака. Основная стойка была нескладная: на широко расставленных, очень низко согнутых в коленях ногах; мы сражались друг с другом, а иногда с сержантом — большим мастером штыкового боя — или же кололи огромные тряпичные куклы, немного напоминающие увеличенные портновские манекены. Показывал нам сержант, куда и каким образом следует колоть, — его тут же втягивали в посторонние разговоры о тех или иных видах штыков, о польском — плоском, о русском четырехгранном; после укола при определенных обстоятельствах следовало «покрутить», чтобы у пораженного врага внутренности перемешались.

Наконец, но уже совершенно теоретически, сержант показывал нам, что можно сделать обыкновенной саперной лопаткой, какое это изумительное оружие, если садануть им человека в основание шеи, потому что при удаче можно отхватить все плечо; только, упаси боже, не следует целиться в голову, ибо на ней обычно сидит каска и лопатка отскочит.

Показывали нам также способы отражения штыковых атак именно такой лопаткой; мы бросали гранаты, то есть болванки, а потом опять долгие часы не покладая рук чистили лебели. Однажды при совершенно необычных и особых обстоятельствах мы отправились с ними в город.

Это было после смерти маршала Пилсудского, вечером. Не знаю, почему именно в эту пору. Мы долго маршировали, и все время в положении «смирно», так что руки замлели от тяжелого лебеля, прижатого к самому поясу; мы шли центральными улицами, через Мариацкую площадь, где, кажется, неподалеку от памятника Мицкевичу, тогда в темноте невидимого, стоял одинокий небольшой постамент с каменным бюстом, перевязанным только черной лентой, освещенный откуда-то сверху прожектором, а мы под траурный, заполняющий, казалось, весь город, угрюмый грохот барабанов, шли, изо всех сил колотя по брусчатке ногами. Был тридцать пятый год.

За три года военной подготовки нам ни разу не говорили о том, что существует что-либо похожее на танки. Как будто их и не было. Да, нас учили всевозможным газам и названиям частей оружия, и уставам, и караульной службе, и местной тактике, и множеству иных вещей; в общем за год набиралось что-то около ста часов, и триста в последних классах. Но все это выглядело — теперь я это вижу — так, словно нас готовили на случай войны вроде франко-прусской 1870 года. Мы не были частицей армии — ведь мы не входили в ее состав, — нет, мы были лишь намеком на такую частицу. На сколько же тысяч и десятков тысяч надо было бы помножить это вошедшее в систему анахроничное, никому ни на что не нужное школение, чтобы стал ясен масштаб этих изнурительных подготовок, этих работ, бесчисленных усилий людей в мундирах, направленных в ничто! Поражение заслонило все, но я и сейчас не могу спокойно, без тоскливого изумления подумать об этом пропавшем труде.

Последние летние каникулы перед выпускными экзаменами я провел в военно-подготовительном лагере в Делятине. Там было как в армии на маневрах: мы жили в палатках по восемнадцать человек над высоким, обрывистым берегом Прута, со всем, как положено, — утренней побудкой, муштрой, полевыми занятиями, обедами из котла, тактическими учениями и вечерней поверкой. Впервые я оказался абсолютно вне семьи — никто, кроме командиров отделений и унтер-офицеров, за мной не присматривал. Нам сразу же дали понять, что нас

рассматривают как взрослых военных людей, ибо капитан предостерегал от контактов с женским населением, поскольку среди гуцулов пошаливал сифилис.

Учился я в то время многому, в том числе и функционированию механизма власти. Когда пришла моя очередь и я стал дежурным унтер-офицером, я утром отправился к шефу-сержанту, чтобы получить приходящуюся на мою палатку порцию мармелада к хлебу; сержант откroил себе громадный кусок малинового вещества и вручил мне остальное; я же, возвращаясь, понял, что следует делать мне, и, в свою очередь, по собственной инициативе отхватил изрядную толику.

Под конец учений были проведены большие маневры в присутствии наблюдателя из самой Варшавы, какого-то майора; он показался нам величиной совершенно недостижимой. Чтобы избежать хлопот, связанных с ношением лопатки, которая во время перебежек была по заду, я воспользовался тем, что такие лопатки были не у всех, и прикинулся, будто тоже не получал ее, сам же, по совету благоволившего ко мне командира отделения, спрятал лопатку в матрац. Она, разумеется, немедленно исчезла, потом за нее пришлось платить. Но я по крайней мере избежал трудов по окапыванию; я неплохо справился со своим лебелем, так как, послушавшись совета сидевшего во мне гражданского духа, раз навсегда вычистил до зеркального блеска внутренность ствола и заткнул его небольшой, незаметной пробочной, чтобы во время бесконечных прыжков и падений туда не мог попасть песок. Таким образом, во время чистки оружия я драил его только снаружи, а при осмотре в соответствующий момент украдкой вынимал пробку.

Хуже получилось у моего товарища, Мечика Р., которого во время перерыва в больших маневрах по каким-то причинам заметил сам пан майор и приказал сначала продемонстрировать выполнение операций по программе «Первая помощь при отравлении газами», а потом закричал: «Тревога!» Мечик побледнел, но, сопровождаемый бдительным взглядом всех чинов, в конце концов вынужден был открыть жестяную коробку, в которой вместо маски оказались яблоки и сладости. Маску, как и лопату, он спрятал в матрац. Последствия должны были быть жуткими — вплоть до неудовлетворительной оценки по ВП, — но потом все как-то обошлось.

Сами маневры я помню как великое бегание и стрельбу холостыми патронами, причем поднимали нас в четыре часа утра. Я заметил, что в эту пору суток мир в июне невероятно прекрасен, и даже пообещал себе, что в гражданке обязательно буду приветствовать его столь же рано. Впрочем, это так и осталось благим намерением. Наползались мы сверх меры, и никогда не было известно, где находится так называемый неприятель, так что на всякий случай мы стреляли во все стороны. Потом куда-то запропастился головной дозор, потом встреченная случайно гуцулка, покрутившись около нас, неожиданно кинулась на шею командиру отделения и выхватила у него винтовку — оказалось, это был один из капралов, переодетый до неузнаваемости и демонстрировавший нам таким образом военные хитрости.

Кажется, мы победили, хотя полностью я в этом не уверен. Еще несколько раз нас по тревоге поднимали с матрацев посреди ночи; причем, если все шнурки не были как следует продеты в отверстия ботинок, отделение возвращали под одеяла; однажды нам пришлось раздеваться и одеваться в рекордном темпе раза четыре. Но лучше всего я запомнил, что в армии беспрерывно что-нибудь драят — если не винтовку, то ботинки, если не ботинки, то полы (полов в палатках не было, и драение в данном случае носило чисто символический характер).

Собственно, в то время я впервые столкнулся вблизи, когда у нас бывали выходные, со страшной нуждой, царившей среди гуцулов. За пять грошей или за кусок хлеба можно было получить манерку малины или земляники, и при этом еще ее расхваливали. Делятин стоял несколько в стороне от таких центров туризма, как Татры или Яремчи.

Несколько дней мы работали в воде на строительстве моста, сорванного вспухшей рекой. В

то время я загорел, как негр. Наконец пришел конец этой игрушечной воинственности, остались позади все ритуалы с подбрасыванием поручиков и унтер-офицеров, причем менее любимым, которые сидели у нас в печенках, мы подставляли кулаки вместо раскрытых рук.

За одним из поручиков, поросычье-розовым блондином, красневшим на солнце так, словно его вот-вот должен был хватить удар, мы гонялись по всему лагерю — он пытался выкрикивать сдерживающие нас команды, но наше уважение перед чинами лопнуло, дисциплина неожиданно развалилась, и поручику ничего не помогло — он-таки взлетел на воздух.

Винтовка меня удивительно распрямила, и я даже похудел.

В последний день был вечерний костер с песнями, пир с газированным лимонадом и непропеченными пончиками, а наутро нас погрузили в вагоны. По пути во Львов ко мне подсел один из преподавателей, подхорунжий, [\[149\]](#) которому я был просто-таки невероятно симпатичен, более того, который, оказывается, все время восхищался мною; сердечность, да что там, уважение (совершенно неизвестно за что), выказываемые мне почти что офицером, меня совершенно отуманили. Поэтому, когда выяснилось, что подхорунжему нравятся мои ботинки (у меня было две пары), я немедленно расстался с ними — только сначала не знал, как бы ему эти ботинки подарить, чтобы он не обиделся: все-таки почти офицер! К счастью, он сам облегчил мне дело и, держа их за шнурки, тут же исчез. А поезд уже подходил к перрону, под огромный купол Главного вокзала, где ждали истосковавшиеся родители.

Когда я был маленьким, никто не умирал. Правда, я слышал о таких случаях, впрочем, как о падении метеоритов. Каждый знает, что они падают, это случается, но какое это имеет к нам отношение? Однажды, в ночь между двумя дождливыми днями в Закопане, мне снился отец. Не такой нечеткий, туманный, неопределенного возраста, каким я могу себе его представить наяву, а в конкретном времени, живой. Я видел его серые, еще неутомленные глаза под очками, короткие усы, подстриженные над губой, небольшую бородку, руки с коротко обрезанными ногтями, постоянно натираемые щеткой руки врача, с золотым кольцом, потончавшим от ношения, складки на жилетке, пиджак, немного оттянутой с правой стороны тяжестью ларингологического зеркала, а в глубине квартиры — обои, старую высокую печь из белого, покрытого мелкими трещинками изразца, тысячи других мелочей, которые, проснувшись, я не мог даже назвать. Все это во мне, недоступная толпа воспоминаний, череда минут, часов, недель, лет — и никто, кроме сна, над которым я не властен, не может туда проникнуть. Где-то там есть Стрыйский парк, весь в снегу, и отец, прогуливающийся по аллейке черных деревьев, страшно замерзший, засунувший руки в карманы пальто, а я — впервые на лыжах, едва двигаю ногами, воображая себя владыкой бескрайних просторов. Стук копыт, неожиданно пригложший на деревянной брусчатке Маршалковской перед Университетом Яна Казимира, протяжный, бьющий в окна класса плакучий скрежет трамвая, сворачивающего около нашей спортплощадки в своем трудном восхождении к Высокому Замку. Поручни всех лестниц, с которых я съезжал, клетчатые гольфы моего однокашника Лозы, самые длинные в классе, зеленые локомотивы с Восточной ярмарки и все каштаны. Медный котел для воды с кухонной печи, желуды на потолке спальни, толкучка с железками, на которой я разыскивал сокровища, и даже первая кровать — белая, с боковой сеткой. Корабль-загадка, который каким-то чудом заплыл через узкое горлышко в бутылку, и первая легальная папироса марки «Нил» с красным бумажным мундштуком, которую я закурил после экзаменов в июле 1939 года. А ведь какие лавины обрушились на этот мир! Как могли не стереть его в порошок, не уничтожить последние его следы? Для кого они, собственно, существуют, от кого их так бережет память, недоброжелательная, только ночью, только в беспомощности сна, перед ним, слепым, открывающая настезь свои сокровищницы, непокорная и скупая наяву, дающая обрывочные, недосказанные ответы, которые вначале требуется старательно расшифровать, преоборов ее

упорное молчание, смириться, если какой-либо — силой вырванный из нее, как бы украдкой вынесенный — осколок, цветное пятнышко, контур чьих-то губ, тень, звук, ничего не объясняют, несмотря на подсознательное ощущение, что это было связано с чем-то важным, что там когда-то прошла судьба, а сейчас есть только пустота, глухая, невидимая стена; тут ничего не поделаешь! Что за скарედность, что за безразличие памяти, которая ведь все знает и может, а не поддается, упрямая, презрительно замкнувшаяся в себе, игнорирующая течение времени, не зависящая от него. Если б она хоть действительно была пустырем, редко засеянным сборищами угасающих образов, но нет, это наверняка не так, есть тому доказательства в снах — а она всегда допускает не туда, куда бы я хотел, не тогда, когда мне это необходимо, никогда — тупо захлопнувшийся механизм, независимый в своем сумасшедше точном исполнении задачи: сохранять, закреплять неизменно и навсегда. Навсегда? Но ведь это неправда: ведь она погибнет вместе со мной, неподкупный страж, скряга, заостеневшая в тирании, в непослушании, в язвительной строптивости, столь постоянная и столь непрочная одновременно, сентиментальная и в то же время равнодушная, словно пласт угля, в котором оттиснулся лист. Как ее понять? Как с ней согласиться? Нейронные сети, синапсы, петли Мак-Куллоха? Нет, не объясняйте ее столь мудрым, столь смешно ученым образом — это ни к чему, пусть уж все останется так, как есть. Мы представляем с ней как бы пару косящихся друг на друга лошадей, которые тянут один и тот же воз. Так иди же вперед, моя неразлучная, моя незнакомка, подруга, мой враг, мой друг.

*Закопане. Июль 1965 года.*

Репутация превыше самой очевидной реальности. Она не считается ни со стремлением человека казаться чем-то иным, ни порой даже с тем, что он собой представляет в действительности. Хуже того, она по характеру своему способна давать лишь весьма упрощенное, одноцветное представление о человеке, игнорируя, как правило, богатую палитру красок его сложной натуры.

Если вы снискали репутацию остролова, то все будут выжидательно улыбаться, слушая ваш рассказ о сугубо мрачных, казалось бы, вещах. Как ни расписывай свои страдания или прискорбность какого-то там случая, сочувствия все равно не жди: мыслеприемники окружающих уже заранее настроены на шутливую волну. И наоборот, самая смешная история выслушивается в гробовом молчании, если аудитории давно известно, что рассказчик на них не мастер.

Особенно плохо приходится в этом смысле писателям, вообще людям, сопричастным искусству. Какой бы замысловатый, чисто развлекательный детектив ни сочинил автор романов, снискавших репутацию «философских», все равно читатель — весь ожидание: что там, за новым поворотом?.. Станислав Лем имеет прочно установившуюся репутацию писателя-фантаста. Мало того, его имя вот уже второе десятилетие неизменно фигурирует среди наиболее известных фантастов мира. Открывая книгу, на обложке которой значится это имя, читатель заранее настраивается на XXI век или мысленно садится в кресло космонавта, готовясь к межзвездным путешествиям. На худой конец допускаются экскурсии в несколько более туманные и потому менее занимательные сферы футурологии, даже обращение к таким далеким от приключений сюжетам, как, например, проблема смысла жизни человека или смысла существования человечества. На это автор «Суммы технологии» — философского трактата, который недавно вышел на русском языке, — завоевал право. Но уж дальше начинается, говоря языком гоголевских героев, сплошной реприманд неожиданный.

А между тем писатель-фантаст — прежде всего писатель. И как всякий писатель, он не только вправе, но, наверное, просто обязан обращаться к таким темам, которые в данный момент больше всего затрагивают струны его сердца. Даже если эти темы несколько неожиданны для его уже сложившейся писательской репутации.

Мы знаем Алексея Толстого как автора не только «Хождения по мукам», но и «Аэлиты». Герберт Уэллс известен главным образом как фантаст. Но его перу принадлежат также менее знакомые широкому читателю великолепные реалистические романы, воскрешающие Англию конца Викторианской эпохи, написанные с трогательной теплотой диккенсовского юмора. Для многих почитателей его таланта знакомство с этими романами, как и для меня в свое время, явилось, можно сказать, вторым открытием Уэллса. Наконец, Рэй Брэдбери — автор и научно-фантастического романа «451° по Фаренгейту» и автобиографической повести «Вино из одуванчиков».

Ну, а Станислав Лем?

Должен сознаться, что я приступил к «Высокому Замку», всецело настроенный на «Магелланово облако» или «Солярис». Что поделаешь? Стереотипы есть стереотипы. Прочитав несколько страниц, убедился, что речь пойдет не об иных веках и мирах, а о старой, довоенной Польше 20-30-х годов и не о марсианах, а о карапузе, затем школьнике, из которого впоследствии образовался уже известный нам автор «Соляриса». И хотя мир этого карапуза, как

и всех мальчишек на свете, был посложнее иного марсианского (и уж, во всяком случае, не менее любопытный), я все еще долго ожидал если не фантастики, то чего-нибудь вроде нового слагаемого «Суммы технологии». Велика сила стереотипа!

А потом были забыты и фантастика, и футурология, и все иные материи, кроме той, о которой шла речь. Обычно автобиографические повести — это прежде всего средство показа социальной среды, в которой вырос писатель. Так было у М. Горького. Так было в значительной мере у Г. Уэллса. С. Лем подошел к той же теме под несколько иным углом зрения. Его интересует прежде всего внутренний мир ребенка, подростка, юноши, особенности этого мира, процесс его становления и постепенного перерастания во взрослый мир. Все остальное рассматривается сквозь призму именно этого мира.

Писатель избежал соблазна дать развернутый психологический трактат с обязательным в таком случае анализом психологии ребенка, как она рисуется взрослому. Он не анализирует. Он вспоминает и размышляет. И постепенно втягивает в свои размышления читателя. Вместо путешествия к иным звездным мирам каждый читатель незаметно для себя оказывается в совершенно другом мире чудес — в мире своего собственного детства.

Мне не хотелось бы быть понятым так, будто я преуменьшаю значение научных трактатов на подобного рода темы. Нет, по моему убеждению, еще не написанная «Сумма мальчишкологии» ничуть не менее важна и интересна, чем «Сумма технологии». Но согласитесь, что перенести читателя в мир детства — задача, посильная только искусству. С. Лем отлично справляется с ней, размышляя вместе с читателем о таких вещах, с которыми, вероятно, столкнулся в своем детстве каждый, особенно если у него, подобно автору, было достаточно сильно развито воображение.

Размышления настраивают на философский лад. Но автор окрашивает их какой-то особой, ему одному свойственной тональностью, придающей повествованию местами, я бы сказал, лирический характер. Получается что-то вроде философско-лирических новелл.

Философская лирика? А почему бы и нет!

Не стану разбирать здесь подробно содержание «Высокого Замка». Не стану и сопоставлять его с «Вином из одуванчиков» Рэя Брэдбери, хотя обе автобиографические повести выдающихся фантастов дают немало материала для сравнений.

Хочется, чтобы читатель тоже страницу за страницей сам открывал для себя нового Лема, для нас во многом еще незнакомого и удивительного. И чтобы каждый с его помощью сам совершил путешествие в собственное детство. Вернее, с помощью писателя увидел бы свое детство иначе, чем обычно вспоминаешь и тем более рассказываешь о нем.

Мир нашего детства... Это прежде всего мир поразительно иных измерений пространства и времени.

Замечали ли вы, оказавшись спустя много лет в местах, где выросли, что ваш необозримый космос съезжился вдруг до огорчающе мизерных масштабов? Бескрайние джунгли парка обернулись десятком аллеек среди довольно скромных древонасаждений. Двор, не уступавший по площади и богатству рельефа целой Швейцарии, предстает теперь весьма невзрачным «пяточком». Даже комнаты старой квартиры, даже старая мебель в ней (если она еще сохранилась) не имеют ничего общего с теми залами и гигантскими сооружениями из дерева, металла, стекла, которыми, казалось бы, были всего несколько лет назад.

А время? Конечно, из учебников известно, что относительность его течения может быть заметной только при субсветовых скоростях. Но, говоря фигурально, каждый сталкивается с этим феноменом в повседневной, обыденной жизни.

Делать нечего. Одолевать скуку. И время тянется до отчаяния медленно. Порой даже вообще останавливается и не дает убить себя никаким доступным способом.

Но вот находится интересное дело. Остановись, мгновение! Не тут-то было! Скашивая глаза на часы, видишь, как по циферблату все скорее начинает ползти не только секундная, но и минутная, и даже, кажется, часовая стрелка. Солнце зримо движется по небу и, миновав точку зенита, мячиком катится за горизонт.

Одна-две прочитанные книги средних размеров или десяток-другой страниц исписанной бумаги — и уже далеко за полночь, хотя утром казалось, что успеешь еще сделать и то, и другое, и третье. Две-три недели такой жизни — и в один прекрасный вечер начинается паника. Подсчитываешь, что согласно исчисленной средней продолжительности жизни человека тебе осталось лет двадцать (или тридцать, все равно) на все задуманное, желанное или хотя бы желательное. Переводя оставшиеся годы на число страниц, имеющих быть прочитанными и написанными, можно рассчитать с точностью до сотого знака, сколько книг успеешь прочитать и сколько написать. При всех, даже явно завышенных, подсчетах получается, что прочитана будет ничтожная доля желаемого (не считая того, что еще выйдет в свет за эти годы!), а написано и того меньше. К тому же сознаешь, что всяческая суэта издевательски перечеркнет самую урезанную программу-минимум.

И с тоской вспоминаешь раннее детство, когда в сутках, безусловно, было по 60 часов, а в каждом часе не меньше чем по 3600 минут. Еще до ухода в детсад проходила целая вечность, заполненная бурными историческими событиями — и «войной» с соседом, и «восстанием» против законной родительской власти, и заслуженной карой, и всеобщим миром, и снова «войной». При этом неведомо каким образом в то же самое время велась увлекательная игра (преимущественно в выдуманном мире собственного творения), перелистывалась масса книг, содержание которых запоминалось от корки до корки, ставились рискованные опыты алхимического характера — словом, жизнь была ключом сразу во всех четырех измерениях. А уж день целиком по богатству событий не уступал нынешнему году, и к вечеру бурное утро, затуманенное далью времен, вспоминалось с великим трудом.

Как возвратиться к космическим масштабам пространства и времени тех лет? (Разумеется, не с помощью безделья и скуки, «останавливающих» время.) Как раскрыть секрет долгожителей детского и отроческого возраста, не уступающий по значению находке пресловутого философского камня?

Не знаю, может быть, мои размышления, навеянные чтением «Высокого Замка», не вполне совпадают с ходом мыслей автора. Но книга эта такого рода, что каждый читает ее по-своему, воспринимая содержание через призму собственного детства. Возможно, в этом как раз и проявляется ее художественная ценность.

Только трижды на протяжении книги С. Лем позволяет себе прямое возвращение из мира своего детства в сферы, близко соприкасающиеся с современным ему миром.

Он снова и снова задается вопросом, не напоминают ли некоторые явления модернистского искусства платье андерсеновского Голого Короля. Это не анафема, не ярлыки и не рецепты. Это просто раздумья человека, ясно видящего, что нарисовать абстракционистскую картину или написать современный антироман при известной доле самоуверенности вполне способен за очень короткое время каждый желающий. С другой стороны, не менее ясно, что застывшее, не развивающееся искусство — это агония. Без постоянного поиска, опытов, споров настоящее искусство развиваться попросту не может. Как отличить воинствующую халтуру, подбадриваемую модой, от самоотверженного поиска, пусть иногда даже неудачного?

Мысли по поводу такого рода вопросов интересны для каждого человека, равнодушного к искусству. Вдвойне интересно мнение на этот счет писателя, немало размышлявшего о путях дальнейшего развития литературы и искусства. Прочитайте хотя бы статью С. Лема «Куда идешь, мир?» в журнале «Иностранная литература», где он ставит проблему облика культуры



завтрашнего дня, «возвращенной на обломках индивидуализма, земного универсализма». (Здесь речь идет, разумеется, о буржуазной культуре.) В воображаемом мире не так уж далекого будущего с его, может быть, двадцатью миллиардами людей высокой культуры, по его словам, ценных книг, произведений искусства, музыкальных произведений, решений и новых теорий будет возникать просто чересчур много, чтобы даже самый завзятый потребитель культурных ценностей мог справиться с такой лавиной. Ни прозорливость читателя, ни жажда знания не смогут обеспечить непосредственного контакта с совокупностью даже наиболее значительных творений человеческой мысли, когда одновременно будут творить тысячи Рафаэлей, Моцартов, Ферми. Может быть, спрашивает в заключение Лем, поэтов будут читать лишь поэты, художники творить для художников, а музыканты — для музыкантов?

А не получится ли так, что новоявленные гении вообще не сумеют пробиться к людям через энергичные шеренги потомков Феофана Мухина, Никифора Ляписа-Трубецкого и других героев И. Ильфа и Е. Петрова, потомков всегда подающего надежды композитора Керосинова (помните кинофильм «Антон Иванович сердится»)? Ведь им не было, нет и никогда не будет равных в искусстве работать локтями...

Мы с вами знаем по научно-фантастическим романам Станислава Лема о его большом оптимизме. Но этот оптимизм не бездумен.

И такой поворот темы тоже заслуживает внимания.

Другое такое же, не столько лирическое, сколько философское, отступление Лема связано с его новеллой о созданном им в тоске гимназического классно-урочного сидения Мире, где царствует Удостоверение. У мальчика вдруг прорезалась страсть к брошюрно-переплетным работам (это бывает не только с мальчишками), но, подкормленная различными удобрениями — от житейских наблюдений до псевдоисторических романов, — породила не только увлечение шрифтами, обложками, всеми аксессуарами профессии будущего художника книги, а и страшный культ Бумаги, Которая Может Все.

Для буржуазного мира, где, по давнему чиновничьему откровению, «без бумажки человек букашка», возможность расцвета бюрократической идеологии «удостоверизма», как ее именует писатель, не такое уж фантастическое предположение. Нет, трудно все-таки С. Лему долго оставаться в позиции автобиографа! Пристрастие гуманиста, роднящее его с автором «451° по Фаренгейту», красной нитью проходит и через эту книгу.

Сказанное относится и к последним разделам книги, где Лем вспоминает себя в лагерях польских допризывников кануна второй мировой войны. Это был в его жизни последний полустанок на пути из отрочества в юность. Чуть позже, уже за пределами «Высокого Замка», мы встречаем Станислава Лема в рядах польского движения Сопротивления. Но об этом лучше всего рассказывает его первая книга, опубликованная в 1955 году, — «Непотерянное время», роман о годах фашистской оккупации и становлении народной Польши.

Примерно таким же образом кончилось отрочество многих других ребят — сверстников Лема. Здесь — каждый из них тоже, видимо, совершит вместе с писателем путешествие в свои юные годы.

И еще одна башня «Высокого Замка» — пожалуй, краеугольная: юмор, воскрешающий в памяти уже упоминавшиеся автобиографические романы Уэллса. Ироническая улыбка автора сопровождает маленького Станислава во всех его подвигах и злоключениях, придавая им совершенно непередаваемую лирическую окраску. В заключительных новеллах лемовский юмор прямо-таки всецело царствует и управляет. Это особенно располагает к рассказчику, ибо совсем не просто с иронией повествовать о самом себе, даже ссылаясь на несовершеннолетие и на то, что речь идет о делах тридцатилетней давности.

Что это? Общая черта всех талантливых фантастов, обращающихся к живописанию

собственной персоны? Или знаменитый польский «гумор», категорически воспрещающий рассказывать о себе иначе как в ироническом наклонении? Или, может быть, просто немыслимость для С. Лема вообще писать о таких вещах без доброй и умной улыбки?

Оставим эти вопросы будущим лемоведам.

*И. Бестужев-Лада, доктор исторических наук*

## Четыре будущих Станислава Лема <sup>[150]</sup>

Он живет в небольшом стандартном доме на дальней окраине Кракова. Он очень ценит покой, позволяющий ему сосредоточиться. В углу валяется заброшенный киносъемочный аппарат: одно время писатель увлекался фотографией и кино, но потом решил, что это отнимает у него слишком много времени. А все свое время он отдает работе. Когда же он очень устает или хочет повидать свет, он садится за руль своей машины, выезжает на шоссе Краков — Закопане, проходящее неподалеку от его дома, и отправляется, в зависимости от настроения, либо к центру города, либо в горы.

Он небольшого роста, с быстрыми движениями и веселыми темными глазами. Часто усмехается, а говорит так стремительно, что едва успеваешь следить за его мыслями. Но хотя он следует за мгновенно возникающими ассоциациями, он в то же время очень обстоятелен, а фразы его так точно сформулированы и отточены, что кажется, будто он просто вслух читает какую-то книгу.

— Видите ли, научная фантастика совсем не пророческая литература, как иные ошибочно думают. Предсказания научных и технических достижений неминуемо обречены на поражение. Даже Жюль Верн кажется нам сейчас очень архаичным. Что же тогда говорить о сегодняшнем дне, когда невозможно предвосхитить все вероятные качественно новые скачки, которые совершаются в жизни человечества благодаря успехам науки! Фантастика скорее похожа на гигантскую и могущественную лупу, в которую мы рассматриваем тенденции развития — социальные, моральные, философские, которые мы усматриваем в нашем сегодняшнем дне. В сущности, говоря о будущем, о жизни на далеких планетах, я говорю о современных проблемах и своих современниках, лишь облаченных в галактические одежды.

В наши дни, для того чтобы заниматься научной фантастикой, мало одной фантазии, нужно еще очень много знать!

Лем обводит руками комнату, словно пытается обнять все книги, которые, кажется, скоро выживут из кабинета своего хозяина — сотни, тысячи книг на многих языках по истории и методологии науки и по самым диковинным ее разделам; книги теснятся на полках, лежат на столах, нераспечатанными пачками сложены на полу. Кибернетика, астронавтика, биохимия, биофизика, теория информации, молекулярная биология, бионика, генетика, фантоматика, радиоэлектроника, семиотика, парапсихология! В это мгновение кажется, что за окнами домика зажигаются не тусклые уличные фонари, но вспыхивают метеоры, кометы и взрываются дальние галактики. Лем хитро и весело улыбается, словно мудрый маг, занимающийся волхвованием, или престижиджитатор, показывающий сложный фокус, в котором все зависит от ловкости рук и умения фокусника отвлечь внимание зрителей от того, что он делает.

— Всех этих наук не существовало, когда я был мальчиком. Когда я писал свою философскую книгу «Диалоги», о кибернетике было написано всего лишь около шестидесяти книг. Из них я — не хвалясь могу сказать — прочел половину. Ныне об этой науке написаны целые библиотеки!.. Для некоторых писателей научная фантастика представляет собой нечто вроде чистой игры ума, интеллектуального кроссворда, а не один из разделов литературы. Меня

же интересуется другое — сами люди и. проблемы, волнующие человека наших дней.

— Но почему же вы, интересуясь главным образом сегодняшним днем и своими современниками, пишете о далеком будущем и о других, нечеловеческих мирах?

Лем усмехается.

— Давайте вместе еще раз перечитаем или хотя бы перелистаем мои книги!

Станислав Лем — один из известнейших писателей-фантастов мира. Он пишет лирические стихи, статьи, рассказы, повести и романы, а также философские трактаты, в которых привычные философские понятия излагает на языке кибернетики и теории информации, отчего они приобретают совершенно новое звучание. Его переводят на множество языков, по его произведениям ставятся кинофильмы. А он с неистовой страстью и поразительной фантазией продолжает писать, выпуская книгу за книгой — иногда по несколько книг в год!

Он родился во Львове в 1921 году, здесь учился, здесь же пережил тяжкие годы немецкой оккупации. Фашистский террор лишил польскую интеллигенцию права на труд по специальности, и Станислав Лем вынужден был бросить политехникум и пойти работать сварщиком. Он говорит в шутку, что эта профессия ему нравится больше, чем профессия писателя, и он не раз думал вернуться на производство. Работа столкнула его с реальной жизнью, и он впервые встретился с настоящими людьми, будущими героями его первой книги — молодыми рабочими-подпольщиками, участниками польского Сопротивления.

После войны вместе со всеми поляками, проживавшими на территории Западной Украины, Лем репатриировался и переехал в Краков, где смог закончить свое образование. На этот раз он выбрал медицину и некоторое время работал врачом-практикантом.

Больше всего оказал на Лема влияние доктор Хойновский, основавший в Кракове после войны студию науковедения. Под его руководством Лем изучал историю и методологию науки. Это позволило ему смотреть на многие научные проблемы, так сказать, «с птичьего полета». Особенно увлекся он историей людей, которые совершали перевороты в науке. Через руки Хойновского проходили все иностранные книги, которые выписывались из-за границы для комплектования польских научных библиотек. И Лем стал черпать материал не из популярных книг, но из «первых рук», в трудах ученых-созидателей, где ощущаешь дыхание подлинного научного творчества.

Писать Лем начал рано. Уже с 1946 года в печати стали появляться его рассказы и стихи. Первым крупным произведением был роман «Непотерянное время», посвященный судьбам польской молодежи в трагические годы оккупации. В 1950 году выходит первый фантастический роман «Астронавты».

Роман «Астронавты» посвящен межпланетной экспедиции на Венеру в 2006 году. В нем Лем впервые дал полную волю своей смелой и безудержной фантазии.

Широкими мазками рисует Лем картину первых шагов коммунистического общества. Обводнение Сахары, безлюдные заводы-автоматы, фотохимические преобразователи, в которых углекислота воздуха и вода превращаются в сахар, атомные реакторы, управление передвижением облаков, погодой и климатом и, наконец, искусственные атомные «солнца», подвешенные над полюсами, чтобы растопить льды и уничтожить вечную мерзлоту, — вся эта фантастическая техника изображена резкими, но беглыми штрихами: она нужна писателю для того, чтобы показать на этом фоне людей будущего и их приключения на страшной планете смерти Венере.

Фантастика этой книги реалистична, потому что Лем показывает осуществленным то, что планируется и создается сейчас или замышляется в близком будущем.

Многое, о чем мечтал в романе «Астронавты» автор, уже осуществлено в нашей стране: атомные электростанции дают промышленный ток, вокруг Земли летают многочисленные спутники, через которые осуществляется дальняя телефонная связь и передача программ телевидения. Космическая ракета сфотографировала обратную сторону Луны не в 1970 году, как писал Лем, а в 1959 году, и межпланетная станция совершила мягкую посадку на Луну в 1966 году. К Венере и Марсу устремляются исследовательские ракеты. Космический корабль влетел в межпланетный простор в 1960 году, а спустя пять лет человек в скафандре вышел в свободный космос.

Так наша жизнь обгоняет самую смелую мечту.

Но, рисуя расцвет науки и техники в ближайшем будущем, Лем в романе «Астронавты» почти ничего не говорит о развитии самого общества, о его формах и отношениях людей при коммунизме. В этом романе он показал лишь фантастическое развитие научных и технических идей своего века.

Сборники научно-фантастических рассказов «Сезам» (1953) и «Вторжение с Альдебарана» (.) 959) показывают нам Лема совсем с другой стороны. Здесь его можно сблизить с Гербертом Уэллсом. Бесспорно, что материалом произведений Уэллса является наука в ее фантастическом развитии, но далеко не во всех его романах, повестях и рассказах сюжет покоится на строго научном фундаменте.

Таков и Лем во многих своих рассказах, вошедших в сборники «Сезам» и «Вторжение с Альдебарана».

В 1954 и 1958 годах вышли два сборника рассказов Лема, объединенных одним героем и единым замыслом, — «Звездные дневники Иона Тихого». Это шуточные сатирические рассказы в стиле «Мюнхгаузена» или «Гулливера». Ион Тихий — «знаменитый звездопроходец, капитан дальнего галактического плавания, охотник за метеорами и кометами, неутомимый исследователь, открывший восемьдесят тысяч три мира, почетный доктор Университетов обеих Медведиц, член Общества по опеке над малыми планетами».

Смелая сатира, безобидная шутка, остроумная и злая пародия перемешаны в этой книге. Когда читаешь «Дневники», невольно вспоминается замечательный чешский писатель Карел Чапек и его сатирико-фантастический роман «Война с саламандрами».

Пристальное внимание к человеку, поиски положительного героя, подлинного человека будущего, — всем этим Станислав Лем особенно близок нам.

На скрещении влияний Жюль Верна, Герберта Уэллса и Карела Чапека, западной и советской фантастики, на стыке философии, кибернетики и теории информации, науки и искусства Станислав Лем нашел свое собственное, неповторимое лицо, свой стиль. Но его творчество не стало смесью этих разнородных элементов: все составные части пошли на переплав, откуда вышел качественно совершенно новый, чистый и сверкающий благородный металл.

И из этого-то благородного металла было выковано то перо, которым Станислав Лем написал книги о будущем.

«В вычислениях где-то была допущена ошибка. Они не прошли над атмосферой, а столкнулись с нею. Корабль вонзился в воздух с ревом, от которого чуть не — лопались барабанные перепонки...» Так начинается книга Станислава Лема «Эдем». Не случайно на титульном листе книги отсутствует традиционный подзаголовок «Научно-фантастический роман». Это совсем не роман, а философский или социально-философский трактат, литература в этом произведении — только внешняя форма, привычная для писателя, внешний сюжет — нечто второстепенное, а главное — тот фон, на котором ясно проступают идеи автора.

Все герои Лема, люди с Земли — координатор, инженер, физик, химик, кибернетик и доктор — вовсе лишены индивидуальных человеческих черт, все они лишь представители определенных профессий и не случайно не имеют имен. Ремонт космического корабля, их поездки по Эдему, описанные очень реалистично, — все это нужно писателю лишь для того, чтобы противопоставить реальный, логический, познаваемый мир нашей планеты фантастическому безумию мира планеты с жестоким и ироническим наименованием Эдем.

Обитателей Эдема земляне называют «дубельтами» — двойными. Это существа фантастически странные.

Непонятной и алогичной, с земной точки зрения, физиологии этих двойных существ соответствует непонятное общественное устройство. На планете осуществляется план биологической реконструкции. Направленная эволюция должна была принудительно переделать целые поколения с помощью управляемых мутаций. Но в результате на свет стали появляться личности без глаз или с различным числом глаз, уроды, безносые, неспособные к жизни, а также большое число психически недоразвитых. Такую ужасную «продукцию» решено было истребить в массовом порядке.

Это неспособное к прогрессу общество потерпело инволюцию: сначала демократическую власть заменила олигархия, власть меньшинства, затем единоличная тирания, перешедшая в анонимную диктатуру. Теперь существование всякой власти отрицалось и утверждение, что власть существует, каралось смертью.

Такое чудовищное фашистское квазиобщество, пошедшее по тупиковому пути развития, не могло вызвать у жителей Земли ничего, кроме ужаса и гнева.

Герои романа бессильны понять логику этого страшного мира, так как он чужд их Вселенной, их обществу, целостному и, по-видимому, достаточно далеко ушедшему по пути прогресса. Но читатель, живущий в расколотом надвое обществе, где существуют две логики — логика социализма и логика капитализма, — достаточно ясно понимает аллегории Лема — философа и социолога.

Роман с ироническим названием «Эдем» больше чем роман или трактат. Это философская утопия, относящаяся к разряду «черных», или «антиутопий», как их называют некоторые.

«Фантазия может навеять любые картины „черного будущего“, — говорит сам Лем, — и, собственно, много различных произведений, варьирующих эту тему, бродит по свету. В них говорится о космических войнах, о галактических империях, о хищных и кровожадных цивилизациях. Но предостерегать от такого будущего было бы в такой же степени банально, как предостерегать человека не питаться ядом».

«Я хотел бы написать повесть о будущем, но не о таком будущем, которого я бы желал, но о таком, которого нужно остерегаться. Гораздо больше опасностей мне видится в вариантах „розового будущего“...»

На эту тему и написан роман-предостережение, роман-сигнал Станислава Лема «Возвращение со звезд» — быть может, лучшее и, во всяком случае, философски наиболее глубокое его произведение.

Книга Лема — страстное предупреждение человечеству о том приятном и в то же время страшном будущем, которое его ждет, если оно пойдет по пути достижения сытости, спокойствия и мещанского благополучия.

Мир, показанный Лемом в романе «Возвращение со звезд», на первый взгляд прекрасен и гармоничен. Здания города здесь похожи на скопление стекловидных светящихся скал, от которых исходит голубоватое сияние: бастионы, хрусталь, застывший зубцами, амбразами, ярусами, террасами. Взметнувшийся ввысь размах невероятных крыльев, а между ними

колонны, созданные будто не из материи, а из головокружительного движения. Это уже не архитектура, а скорее горообразование: перейдя определенный рубеж, люди уходят от симметрии, от правильности форм и идут на выучку к величайшему мастеру — природе.

Человечество, населяющее этот мир, можно было бы назвать прекрасным, если бы у него была великая цель, кроме стремления к любви и наслаждениям. Социальных противоречий в нем как будто нет. Труд — это удел роботов. Но Лема мучит иная мысль: подмена социальных факторов прогресса биологическими факторами.

В романе «Возвращение со звезд» каждый человек в младенческом возрасте подвергается так называемой бетризации. Операция эта на первый взгляд является вершиной гуманности: благодаря впрыскиванию определенного вещества, действующего на кору головного мозга, человек теряет способность убивать.

Это цивилизация, лишенная опасностей и страха. Все, что существует, служит людям. Угрозе, борьбе, насилию нет места. Мир кротости, мягких форм и обычаев...

Но бетризация не только благо — это и увечье. В вечной битве за жизнь, за будущее человек не победил, не закалился в борьбе, не стал сильнее и лучше. Ему просто сделали прививку — вот и все!

Отсюда — непредвиденные последствия: вместе со страхом люди потеряли и мужество. Они утратили способность защищать других, рисковать жизнью для великой цели, во имя любви и дружбы. Исчезло стремление идти вперед, интерес к другим людям, забота о них. Это мир довольства, мещанского уюта и малых дел. Никому уже не приходит в голову отдавать жизнь науке или лететь к другим звездам.

И наступает грозное социальное возмездие. Человечество вырождается. Люди даже становятся меньше ростом.

В романе «Возвращение со звезд» Станислав Лем нарисовал яркую, великолепную картину будущего, словно сотканного из пламени, цветных огней и миража. Но блестящая техника в этом сумеречном мире не призвана решать великие задачи, она служит лишь для удовлетворения мелких мещанских интересов ничтожных, себялюбивых людишек. Можно ли считать такое общество подлинно человеческим, достойным наследником нашего трудного, но героического времени?

Герои романа, выходцы из нашего времени — эпохи труда, борьбы и великих побед, — не могут примириться с этим прирученным, словно игрушечным миром. Этот мир вырождения, мир заката не только чужд им — он им страшен. И втайне ото всех они строят новый межзвездный корабль, чтобы лететь к созвездию Стрельца, к тому облаку, что лежит в центре Галактики.

Сквозь гигантскую лупу времени Лем рассматривает нашу эпоху в романе «Дневник, найденный в ванне». Это тоже пристрастный суд, как и «Возвращение со звезд», но суд над нашими современниками с позиций будущего, которое лишь незримо присутствует в книге.

Коммунизм давно победил во всем мире. Страна, прежде именовавшаяся Соединенные Штаты, ныне называется Аммер-Ку. Многие из прошлого забылось, но в Скалистых горах во время раскопок, глубоко под землей наши далекие потомки обнаруживают залитый некогда лавой так называемый Пятый Пентагон — живой реликт нашего времени, становящийся для будущего человечества своеобразным музеем Прошлого.

Из дневника «человека неогена», чудом уцелевшего во время катастрофы и найденного при раскопках, люди узнают скорбную летопись нашего времени.

Уже давно покончено с войнами, и атомная энергия, заключенная в «летающих солнцах», превращает ночь в день и лед в нежные, пушистые облака. Тучные поля бредят о скорой

пышной жатве. К сверкающей синеве неба поднимаются великолепные города, пронизанные солнцем и бенгальскими огнями фейерверка. А здесь, в Пентагоне, люди продолжают по инерции плести сеть привычных интриг: поднимают с аэродромов несуществующие бомбардировщики, сбрасывают смертоносные бомбы, взрывающиеся лишь на бумаге, вербуют и перевербовывают шпионов, следят друг за другом. Лишь на их картах, в их циркулярах и доносах существуют бушующие адским пламенем взрывы водородных бомб, деревни, выжженные напалмом, горы трупов, лагеря смерти. А мир живет, совсем забыв о них.

И вот в это призрачное здание, глубоко ушедшее в землю и населенное фантомами, попадает человек извне, завербованный пентагоновской разведкой. Чудовищная действительность Пятого Пентагона доводит его до самоубийства: ведь все, что его окружает, так же лишено человеческой логики, как на Эдеме. Но он оставляет дневник, читая который сквозь дымку времени мы видим наш мир...

О завтрашнем дне пишут у нас немало. Пишут и за рубежами социалистического мира, особенно в западном полушарии. В американской литературе, пытающейся заглянуть в третье тысячелетие нашей эры, много выдумки, есть интересные, талантливые писатели.

Авторы большинства научно-фантастических произведений если и заглядывают в будущее, то не ставят перед собой задачи нарисовать коммунистическое общество, его социальное устройство, новые отношения между людьми, семью, воспитание, быт. Такие романы — лишь проекция на близкий завтрашний день еще не решенных научных и технических проблем, не решенных, но уже поставленных и существующих в наше время, а их герои — наши современники, люди сегодняшнего дня.

Сверкающий мир будущего показан в романе Лема «Магелланово облако», в который автор вложил все богатство своего ума и таланта.

Это не приключенческий роман в строгом, старинном смысле этого слова. Это скорее произведение психологическое и философское. И поэтому его можно поставить рядом разве только с такими книгами, как «Люди как боги» и «Облик грядущего» Герберта Уэллса и «Туманность Андромеды» И. А. Ефремова, в разряд современных утопий. Роман посвящен коммунистическому будущему человечества.

Изображая людей XXXII века, автор, естественно, не мог не показать и человеческие дела — развитие науки и техники, полное покорение природы. Но для него все это лишь величественный романтический фон, на котором он рисует людей завтрашнего дня.

Картину будущего общества автор пишет не розовыми красками. Это суровое время, полное борьбы и противоречий. Да, утверждает автор, человек никогда не перестанет бороться — и с косными силами природы и со своими слабостями. Задачи, которые встанут перед освобожденным человечеством, будут решаться в великой и жестокой борьбе, рождающей великих героев. Даже через тысячу лет будет существовать неразделенная любовь, останется горечь разлуки с домом, близкими людьми, родной планетой, будут возникать противоречия между людьми, слабыми духом, и настоящими коммунистами. Больше того — возникнут проблемы отношений между поколениями людей далеких друг от друга веков, сосуществующих на одной планете. Но вечным останется движение человечества вперед, стремление к завоеванию не только Галактики, но и других вселенных, и в первую очередь ближайшей из них — Магелланова облака.

Этот мир полон света, движения и жизни, одухотворен образами людей будущего — таких далеких и таких близких нам. По его дорогам, лугам и лесам можно пройти босиком, не поранив ног. В нем уже нет государств — от них осталось воспоминание лишь в названии «Праздника уничтожения границ», — и начинают стираться национальные различия между



людьми. Обитатели этого мира бесконечно дороги нам потому, что они похожи на нас. Они работают, спорят, любят и отдыхают почти так же, как и мы. Но их окружает иная жизнь, где нет нужды и порабощения человека человеком, где у каждого есть собственное место, своя любимая работа, свой друг и своя любовь.

Какой же ценой оплачено это великолепное грядущее, полное страсти и сурового величия? Об этом очень образно и очень сильно рассказано в главе «Коммунисты» — лучшей главе книги.

Каковы же те люди будущего, которых рисует Лем, по его мнению, достойные наследники нашего великого времени?

Во вступлении к своему рассказу о первой межзвездной экспедиции герой романа пишет: «В поисках смысла нашей экспедиции мы обратились к минувшим эпохам и лишь там, на трудном пути, пройденном человечеством, нашли себя, а наша эпоха, отделяющая бездну прошлого от просторов неведомого будущего, приобрела такую силу, что мы смогли двинуться навстречу победам и поражениям... Человек освоил путь к звездам, и ничто не может противостоять ему. И чем больше препятствий встречается на пути человека, тем больше проявляется его величие. Даже звезды стареют и угасают, а мы навеки остаемся. Пройдут годы, минет эпоха быстрого прогресса нашей цивилизации, перед человечеством встанут новые трудности. И тогда люди оглянутся назад и вновь откроют нас, как мы открыли великую эпоху прошлого!...»

Всех людей будущего характеризует отрывок из книги нашего времени — «древней книги», по их определению, о каком-то человеке, который был таким, как они, «одним из нас»:

«Его спросили:

— Как тебе жилось?

— Хорошо, — ответил он, — я много работал.

— Были ли у тебя враги?

— Они не помешали мне работать.

— А друзья?

— Они настаивали, чтобы я работал.

— Правда ли, что ты много страдал?

— Да, — сказал он, — это правда.

— Что ты тогда делал?

— Работал еще больше: это помогает!»

В этой неразрывности времен и эпох основная философская идея романа.

Станислав Лем четыре раза заглянул в будущее, чтобы в живых образах представить себе, что ожидает человечество. Дорога в будущее трудна и опасна, она не раз разветвляется, уходит в стороны, заводит, казалось бы, в тупик. И лишь в жестокой борьбе человечество может выйти на верный путь к коммунизму, который будет не отдыхом после труда и битвы, но великим началом подлинной и бесконечной истории человеческого рода!

Но Лем не только размышлял о будущем и набрасывал на бумаге смутные образы облика Грядущего. Он исследовал также не только околосолнечное пространство, но и всю Галактику, чтобы найти иные, нечеловеческие формы жизни. Ведь жизнь — это высший цвет материи, и она в результате развития не обязательно должна создать гоминоидов — человекообразных существ с разумом, похожим на наш.

Проблеме иных форм жизни посвящены две книги Лема — «Солярис» и «Победитель».

Странный, но необыкновенно талантливый роман «Солярис» сам Лем считает вершиной своего творчества.

— Мне хотелось бы написать что-нибудь вроде «Соляриса», — говорит Лем, — но такая удача бывает только раз в жизни!

— Ну, а как всё-таки с предсказаниями будущего? Можем ли мы сейчас увидеть хотя бы смутный облик Грядущего? — с таким вопросом к Лему часто обращаются журналисты.

— Предвидение — очень трудная вещь. Ведь мы умеем только экстраполировать то, что уже знаем, но не можем предвидеть некоторые качественные скачки, которые постоянно делает наука. Недавно я читал сообщение о новом радиоприемнике в виде монолитного кристалла. Из самой структуры этого кристалла явствует, что он мог бы с успехом имитировать мозг, подобный человеческому, но в направлении ином, чем это делает живая природа. Сейчас один такой приемник стоит миллион долларов. А что будет дальше?

Меня лично больше всего удивляет нынешняя эволюция биологии. Мы сейчас увлечены технологией, однако мне кажется, что после эры технологии наступит биотехническая эра. Зачем корова, когда молоко может производить машина? Вероятно, вначале это молоко будет не особенно удачным, однако постепенно люди научатся изготавливать его гораздо лучше по качеству, чем то, что мы получаем сейчас от коров.

А вопрос о самом человеке? Проблемы болезней и долголетия? Нынешняя медицина еще напоминает такого монтера, который исправляет приемник, начиная его встряхивать. Только иногда, и очень редко, такие встряски бывают полезны...

Меня лично будущее не только интересует, но и тревожит...

Известно, что человек биологически не изменился за последние тридцать — тридцать пять тысяч лет, и у нас нет оснований ждать нового скачка в его биологическом развитии: темпы технической и социальной эволюции значительно опережают природу. Человек долго еще останется ребячливым, непостоянным и часто непоследовательным. Аналитической машине с совершенной логикой, которую мы когда-нибудь построим, вероятно, покажутся смешными (если она будет уметь смеяться!) некоторые человеческие поступки. Зачем марафонские состязания, когда на мотороллере можно гораздо быстрее достигнуть цели? Зачем нужны лишения и муки при восхождении на Чомолунгму, когда легче подняться туда на вертолете? Зачем вообще полеты в Космос, требующие огромных затрат? Но мы-то именно за все это и любим человечество, потому что мы — люди!

Если придерживаться терминов теории информации, то история будущего — это стратегическая игра, в которой само понятие «противник» подвергается постепенному изменению, что, в свою очередь, вызывает изменение применяемой человеком стратегии. Поэтому так трудно предсказывать будущее, даже не очень отдаленное. Загляд же на сто тысяч или миллион лет, вероятно, больше всего похож на мечты первобытной амебы о будущем своего племени в двадцатом веке.

«...На гигантском осколке метеорита, таком черном, будто на нем запекся мрак бездны, в которой он кружил нескончаемые века, лежал навзничь человек. Днем этот упавший колосс виден из самых отдаленных пунктов города. Обломок ракетного оперения пронзает его грудь. Сейчас, в отблесках зарева отдаленного города, гигант утратил свои очертания. Складки его каменного скафандра темнели, как расселины скалы. Человеческой была лишь голова — огромная, тяжело закинута назад, касающаяся виском выпуклой поверхности камня».

Так Станислав Лем описал памятник далекого будущего Неизвестному астронавту — низверженному, но не побежденному, ибо человеческое упорство и отвага непобедимы.

Но в то же самое время это образ человека сегодняшнего дня, потому что, как бы далеко Лем ни заглядывал в будущее, в какие миры ни заносила бы его фантазия, он всегда пишет о нашем времени и о нас самих.



Сейчас сумасшедшая мода на интервью. Некоторых счастливиц интервьюируют чуть ли не каждую неделю. Я тоже ждал, ждал, но не дождался, значит, ничего не поделаешь — приходится самому это устроить. И вот я отправляюсь к себе и застаю себя сидящим на полу с жестяной уточкой в руках.

— Чем вы сейчас занимаетесь? — спрашиваю я, почтительно пожимая себе руку.

— Уточку завожу. Смотрите, как крыльшками машет, а?

— Я имел в виду вашу творческую деятельность.

— Ах, это? Я меняю профиль. Литература, которой мы занимались до сих пор, оказалась нерентабельной. «Дом книги», а также пример товарищей указали мне новый путь развития. Я пишу детективные повести. Для начала — три.

— Стало быть, вы отошли от фантастики? — спрашиваю я с сожалением.

— Вовсе нет. Это повести детективно-фантастические.

— Можно узнать какие-нибудь подробности?

— Можно узнать. Действие первой разворачивается на шикарно оборудованном космическом корабле. Экипаж состоит из аристократов, психопатов, красоток, кинозвезд, страдающих нимфоманией, а также собак чау-чау с нездоровой наследственностью. Рецепттура, как видите, современная.

— Действительно. А чем занимается экипаж этой ракеты?

— Ясное дело, оргиями и убийствами, в пропорции два к одному. Это соотношение, как показал анализ общественного мнения, гарантирует наибольший тираж.

— А детектив на ракете есть?

— Конечно. Это некий пожилой, флегматичный, любящий цветы электронный мозг.

— А те, другие повести, о которых вы изволили упомянуть?

— Одна построена на отечественной тематике. Это история создания первого польского искусственного спутника, связанная с солидной взяточной аферой, благодаря которой некий тип в порядке личной инициативы оборудует на этом спутнике тайный дом свиданий.

— Правильно ли я расслышал?

— Не знаю. Прочистите уши. На спутнике должны были оборудовать атомную лабораторию, но этот тип подмазал заказчиков, и там произвели некоторые перестройки, так, чтобы через спектрографы Астона можно было рассматривать порнографические снимки; автоматическую аппаратуру переделали на обслуживающие эротические роботы, а о том, что происходило в атомном реакторе, вы уж прочтете сами, когда повесть выйдет... Есть там и другие линии. Оперативная группа Министерства торговли направляется на Луну под предлогом открытия филиала Цепелии<sup>[151]</sup> для торговли по образцам, а в действительности перерабатывает лунную почву на камушки для зажигалок и имеет на этом миллионы. Постепенно Луна уменьшается, и происходят известные изменения, обнаруженные обсерваторией в Кельцах, но главный астроном не сообщает об этом, так как его заблатовали.

— Забла...

— Да. Представитель Цепелии, возвращаясь с Луны, заходит по пути на искусственный спутник на рюмочку радиоактивной и застаёт там собственную жену тет-а-тет с одним американским роботом, который смягчает его ярость обещанием сделать надувной спутник из резины, соответственно раскрашенный, — он будет имитировать на небе настоящую Луну. У этого робота есть любовница из высших сфер, через которую он налаживает контакт с матросами на космической линии Гдыня-Марс и совместно с ними продает всю Луну на лом.

На полученную валюту они строят себе два одноквартирных спутника с удобствами (рулетка, электронный разврат и т. п.). К несчастью, муж любовницы робота из мести протыкает надувную Луну, воздух улетучивается, резина спадается и назревает скандал. Наша милиция немедленно отправляется на место происшествия, но ввиду низкого уровня моторизации она располагает только двуконной бричкой, так как мотоциклы в ремонте, а ракеты им вычеркнули из соображений экономии. На Млечном Пути кони слабеют, и приходится сделать остановку на спутнике.

— На одноквартирном?

— Нет, на том, который с домом свиданий. Один из милиционеров по ошибке попадает в атомный реактор, становится свидетелем скабресной сцены и выбегает оттуда в величайшем возбуждении, но руководитель, этот тип с личной инициативой, объясняет ему, что именно в этом состоит расщепление ядер. Милиционер — не атомный физик, так что принимает все за чистую монету, но тут с неба падает резиновая оболочка, накрывает искусственный спутник, становится темно, в суматохе один агент кладет в следственный чемоданчик вместо зонтика спектрограф с теми самыми снимками...

— Минуточку. Простите, но... я не успеваю за полетом вашей фантазии. Немножко голова кружится... Да, мне уже лучше. Это, право, неслыханно. Вы говорили еще о третьей повести, правда?

— Да. Это молодежное произведение. Длинная история, обильно иллюстрированная, об этом маленьком мальчике, который убивает свою семью.

— Убивает?..

— Ну да. Вы, кажется, и вправду плохо слышите? Мы объявили войну навязчивой, нудной дидактике. Применяя попеременно шоколадки с цианистым калием, топор и дрессированную кобру...

— Простите, ради бога, но мне кажется, что о таких детях, которые убивают, уже где-то писали?

— О таких детях, может, и писали, но не о том, который стал героем моей повести. Это синтетический мальчик, с вашего разрешения.

— Синтетический?

— Да, пластмассовый, для бездетных родителей, с электромозгом, только изготовленный в порядке «левой» продукции заводом имени Новотки и есть у него небольшой дефект, из-за которого он вместо того, чтобы любить приемных родителей, убивает их. Небольшая ошибка в соединении катодных ламп, не правда ли?

— И что дальше, можно спросить?

— Можно спросить. Разоблаченный, он ищет спасения в коротком замыкании, то есть, я хотел сказать, в самоубийстве.

— Это безумно интересно. А что вы еще делаете, кроме того, что пишете эти оригинальные книжки, можно задать такой вопрос?

— Можно задать. Эпоха схематизма, дорогой мой, во время которой вьетнамские джунгли лепили из папье-маше, а атлантическое побережье снимали в Фаленице, эта эпоха, к счастью, миновала. Теперь каждый фильм снимают там, где происходит его действие. Планируется фильм о Монте Кассино — его будут снимать в Италии. Коллега Ставинский недавно написал любопытный сценарий «Касаларго» с весьма динамичным сюжетом...

— Тоже в Италии?

— Ясно, а вы что думали, в Радоме? Будут также снимать моих «Астронавтов». В связи с этим меня ждет служебная командировка...

— Ха-ха! Вы очень остроумны!

— Но это не шутка. Мы едем не на Венеру, но за границу. Установлено, что для того, чтобы найти на земном шаре место, подходящее для съемок фильма о другой планете, нам придется группой в сто восемьдесят человек, плюс соответствующее количество автомашин, объехать весь мир. Поиски продлятся около трех лет. Главными пунктами будут: Плас Пигаль в Париже, 72-я улица в Нью-Йорке, портовые районы Марселя и Копенгагена, кроме того, некоторые районы Лондона, Рима, Токио, а также Сицилия, Касабланка, Центральная Африка и Гаити.

— Гаити тоже?

— Да. Они славятся не то танцовщицами, не то ромом, сейчас не помню, у меня это где-то записано.

— А может быть, вы скажете, что будет в Польше через десять лет?

— Вы спрашиваете меня как писателя-фантаста или как частное лицо?

— Ну... как писателя.

— Да? Гм, ну что ж, будет, я думаю, бешеный избыток автомашин, холодильников, черт знает чего еще, гигиена, неслыханный порядок, пластмассовые цветные дома, вертолеты, автострады и все, как часы!

— А... а как частное лицо — что могли бы вы сказать?

— Я считаю, дорогой мой, что и некрасиво и нетактично публиковать содержание частных бесед, да и кому до них какое дело? Вы как-то так смотрите... наверное, устали? Действительно, мы беседовали довольно долго. Может, вы спешите, а?

Я быстро встаю, поняв тонкий намек, и, от всей души поблагодарив хозяина, бегу в редакцию, чтобы поскорей поделиться с читателями богатством впечатлений, вынесенных из столь удачного интервью.

# Конец света в восемь часов

## (Американская сказка)

Редактор "Ивнинг стар" просматривал еще влажный от типографской краски номер своей газеты. Весьма благосклонно прочел передовицу собственного сочинения, с одобрением пробежал глазами раздел спорта и новости дня, поморщился лишь при чтении последней полосы. Снимок, запечатлевший собрание Клуба бывших сенаторов, напоминал скопище раздавленных на бумаге тараканов.

— Ну и клише, черт побери! — буркнул редактор, непроизвольно протягивая руку к внутреннему телефону. Однако тут же решил, что для разговора с техническим редактором в комнате, пожалуй, чересчур жарко, и вместо того, чтобы снять трубку, нажал кнопку климатизации. Его глаза, безразлично скользнув по колонкам финансовых сообщений, неожиданно загорелись и расширились. Редактор ахнул, наклонился и стал читать набранную жирным шрифтом статью "Пролитая кровь". Через минуту-другую хватил ладонью по столу, подскочил, расстегнул воротничок сорочки и, пробежав глазами еще с десятков строк, всем телом навалился на внутренний телефон.

— Алло! Секретариат!.. Мисс Эйлин? Пришлите ко мне Роутона. И не говорите, что его у вас нет. Целыми днями любезничает, вместо того чтобы добросовестно работать! Он должен быть у меня немедленно, вы поняли? Не дожидаясь ответа, редактор снова взялся за статью. Бормоча проклятия, он еще раз перечитывал ее, когда послышался стук в дверь.

— Войдите! С каких пор вы начали стучаться, и что все это значит? — хлопнул он рукой по раскрытой газете. — Вот удружил! Вот спасибо! Роутон был невысок. На сероватом и словно засушенном лице светились холодные сонные глазки. Ре-портер был одет в серый костюм. На голове серая шляпа, которая, казалось, приросла к волосам. Он жевал резинку так медленно, словно засыпал.

— Шеф! Что с вами? Печень пошаливает?

— Прекратите! Почему в судебном репортаже вы написали, что эта баба пускала его к себе?

— Вы же говорили, что последнее время у нас редко появляются пикантные, острые вещи.

— Умолкните, не то у меня кровь... закипит! И ради остроты вы превратили восьмидесятилетнюю" старуху в любовницу убийцы?

— А кому от этого хуже? Ему все равно болтаться, а она накрылась, так что жаловаться не будет.

— А газеты? Облают нас, поизмываются...

— Бизнесмену плевать на клевету конкурентов. Вы сказали полить соусом, немножко сальца; получайте и сальце, и соус. Я еще довольно деликатно поступил, потому что написал, будто этот душегуб искренне любил ее.

— Довольно! Перестаньте! Запомните одно, — редактор принялся ритмично бить ладонью по столу, — если вы еще хоть раз так подведете газету (ведь судья знает, как обстояло дело, и может прислать опровержение), то вылетите отсюда в двадцать четыре... секунды! Сенсации надо организовывать, а не придумывать! Ф-фу, ну и жара! — Редактор отер пот со лба... — Довольно об этом! У меня для вас есть работа.

Роутон сел в кресло, облокотился о письменный стол и потянулся к небольшой шкатулке, в которой редактор хранил сигары. Помял одну, другую, наконец выбрал хорошо свернутую, отгрыз конец, щелкнул зажигалкой и погрузился в кресло, приняв как можно более



независимую позу.

— Я даю вам шанс. Солидный шанс. Я узнал кое-что интересное. Это может стать для нас золотой жилой. Пустим все машины, тираж увеличится! Только на этот раз вам придется поработать головой. И никаких измышлений! Слышите?! — бросил он, потому что репортер прикрыл глаза и выпускал дым с таким блаженным и отсутствующим выражением лица, словно сидел на палубе собственной яхты. — Итак, слушайте. Через несколько дней должна состояться конференция физиков, посвященная открытию профессора Фаррагуса. Речь, кажется, пойдет о невероятном изобретении — лучах смерти, ракетах, Луне или о чем-то там еще. Не известно, о чем, но конференция совершенно секретная. На ней будет всего около тридцати ученых. Пресса не допускается, слышите?

— Слышу.

— Вы должны туда попасть. Только без ваших штучек! Он сурово взглянул на репортера, который, сидя с закрытыми глазами, ничего не заметил.

— Не ждите, что я стану гадать вам на картах. Вам придется соображать самому. Действовать надо культурно — насколько это в ваших силах — и дипломатично. Газета горит — вы и сами знаете. Это наш общий шанс. Ну, Роутон...

Репортер молча протянул руку, которую редактор попытался было сердечно пожать, но сей акт дружелюбия не достиг цели. На лице у Роутона отразилось неудовольствие. Он погасил сигару, спрятал ее в плоскую жестяную коробочку, служившую портсигаром, и снова принялся жевать.

— Шутки в такую-то жару? — сказал он. — Только без сантиментов, шеф. Я думал, вы мне даете чек!

— Чек! А вы знаете, куда ехать? Идите сюда! Они подошли к большой карте, висевшей на стене. Редактор обвел красным карандашом маленький кружочек.

— Вы поедете прямо в Лос-Анджелес. В восточном пригороде его находится Центральная исследовательская станция Физического факультета университета; там вы должны разузнать, где и когда будет проходить конференция.

— А кто будет платить? Мормоны? После долгих поисков редактор извлек из кармана тощую чековую книжку и принялся выписывать чек; когда настала очередь проставить сумму — замялся.

— Смелее, смелее, — ободрил его Роутон, — вы знаете, сколько стоит самолет до Лос-Анджелеса? Не стану же я терять время на поезд! А какая там дороговизна!

Он взглянул на чек, словно бы беззвучно присвистнул и, не снимая шляпы, почесал в голове.

— Да такой суммы мне в случае чего даже на аптеку не хватит, заметил он. — Ну, ладно, скажем, это на дорогу. Теперь выпишите мне мой гонорар. Редактора Салливэна, казалось, поразила столь неслыханная наглость.

— Гонорар? А за что? Откуда я знаю, не кончите ли вы свое путешествие в каком-нибудь полицейском участке? Сделайте из этого сенсацию и тогда получите... получите...

— Три кругленьких, — подсказал репортер. Шеф поперхнулся. Улыбающийся Роутон молча повернулся к двери.

— Впрочем, — добавил он в глубоком раздумье, — в "Чикаго сан" мне дали бы, сколько я пожелаю. Они там сидят на долларах. гДоконав редактора этими страшными словами, он осторожно прикрыл за собой дверь. Назавтра в полдень Салливэн, просматривая почту, увидел телеграмму, подписанную буквой Р. и поспешно вскрыл ее. ПРИЕХАЛ СТРАШНАЯ ДОРОГОВИЗНА ОГРОМНЫЕ РАСХОДЫ ПРИШЛИТЕ ДЕНЕГ, — с помощью электрического тока сообщал прыткий репортер.

Саллиуэн поднял трубку внутреннего телефона.

— Алло! Мисс Эйлин, телеграфируйте, пожалуйста, Роутону: ЛосАнджелес, 33-я авеню: "Как тетка? Зачем деньги? Саллиуэн". Записали? Прошу молнией.

Под вечер Саллиуэн забежал в редакцию. Его уже ждала телеграмма. Как оказалось, секретарша, питавшая слабость к репортеру, послала телеграмму с оплаченным ответом, поэтому на бланке было десять слов:

ТЕТКА УГАСАЕТ ЕДИНСТВЕННОЕ СПАСЕНИЕ ДЕНЬГИ ДЕНЬГИ ДЕНЬГИ  
ДЕНЬГИ ДЕНЬГИ ДЕНЬГИ

Саллиуэн застонал и схватился за сердце, рядом с которым покоилась чековая книжка.

Обосновавшись для начала в небольшой гостинице, Роутон принялся кружить по университетским корпусам. Прежде всего он старательно пришел к лацкану пиджака несколько орденских ленточек и вставил в петлицу значок известной бейсбольной команды. Это помогало при установлении контактов со студентами и лаборантами.

Учебный год начался недавно, и толпы молодежи заполняли коридоры старых кирпичных зданий, окруженных купами вековых лиственниц. Репортер сосредоточил все внимание на здании Физического факультета. Быстренько достал расписание лекций и даже невероятно! трудно поверить! — готовился записаться на первый курс. Он старательно изучал все объявления, развешанные на стенах, не исключая и тех, в которых сообщалось о поисках комнаты с незапирающимся входом или напоминалось о необходимости возвратить книги, взятые перед каникулами в университетской библиотеке. На подобные занятия он потратил два дня, но все еще не напал на след. Он рассчитывал на то, что на время конференции профессор отменит лекции или лабораторные работы; однако заседание могло произойти в какой-нибудь свободный день или в воскресенье, а, похоже, так оно и было, потому что никакого объявления, отменяющего лекции, Роутону обнаружить не удавалось. Вдобавок ко всему оказалось, что Фаррагус читает только по вторникам и четвергам. Роутон пошел на его лекцию по волновой механике и благодаря своей железной воле выдержал два часа абсолютно невразумительного брюзжания (как он со злости окрестил лекцию профессора) только затем, чтобы с передней скамьи вперять в старого ученого горящий энтузиазмом и умом взгляд да усердно записывать в специально припасенной тетради математические формулы, впрочем, в весьма вольной интерпретации.

После лекции он подошел к кафедре и робко спросил (хороший репортер, если это потребуется, может изобразить даже робость), не согласится ли профессор принять его завтра во второй половине дня и поговорить об одной идее, недавно пришедшей ему в голову.

— Я напал на эту мысль при изучении вашего труда "Трансмутация стереометрических инвариантов общей теории поля", — выпалил он без запинки название работы Фаррагуса, которую несколько часов назад листал в университетской библиотеке.

Старый профессор заинтересовался любознательным студентом и, несмотря на то что явно спешил, начал оправдываться: "Нет, я не могу встретиться с вами завтра, так как принимаю экзамены".

— Тогда, может быть, в пятницу, — попросил Роутон, всем существом выражая глубочайшее разочарование и подавленность.

— Увы, и в пятницу тоже нет... утром я должен готовиться... у меня будет такое небольшое... в общем, хм, у меня не будет времени, да и вторую половину дня я занят. Разве что поздно вечером, но не могу ручаться, когда кончится... когда я вернусь домой. Может быть, в субботу вы придете ко мне в лабораторию? Сияющий Роутон поблагодарил, договорился на

субботу и, посвистывая, присоединился к толпам студентов, снующим по лестницам.

"Честный старикан, все как на ладони, — думал он, — голову даю на отсечение, что заседание будет в пятницу после обеда. Даже обидно, что все так просто получилось. Дай бог, чтобы так шло и дальше. Однако на всякий случай надо проверить".

Он кометой облетел лаборатории, мастерские и аудитории факультета. Оказалось, что все занятия, назначенные на вторую половину дня в пятницу, были перенесены на субботу или понедельник. Что это могло значить? Только то, что у доцентов и профессоров это время было занято — а чем?

"Либо та самая конференция, либо я круглый идиот", — подумал Роутон и в награду за собственную проницательность устроил себе отменный обед за счет Салливэна. Он и так уж достаточно сэкономил, перейдя из гостиницы в комнату, снятую у вдовы покойного мексиканского политика; это, собственно, была клетушка, заполненная старой мебелью, в основном креслами-развалюхами, полными клопов. Но, снимая комнату, Роутон об этом не знал. Бессонные ночи способствовали разработке плана действий, и, доведенный до отчаяния стойкостью насекомых, с которыми делил ложе, Роутон прохаживался по комнате в лунном свете, бормоча:

— Будут три математика, восемь физиков и один химик. Кроме того, наверно, съедутся специалисты из других городов. Теперь — как же туда пролезть? Сначала у него было серьезное намерение появиться перед уважаемым собранием под видом почтенного индийского ученого в чалме, с выхоленной седой бородой в завитках, в золотых очках и с негром, держащим над ним опахало, но это была, по его собственным словам, совершенно идиотская мысль. Клопы не давали ему глаз сомкнуть, интенсивно ускоряя созревание нужной концепции, и поэтому уже в три часа утра она выкристаллизовалась и приняла окончательный вид. Битва началась — оставалось только воплотить идеи в жизнь, но это казалось Роутону уже мелочью. Он засел за свои записи, сделанные в университете. Туда были занесены привычки и характеры всех сотрудников факультета. Он знал, что профессор Фар-рагус — самый старший из них, что он старый холостяк, живет вдвоем с таким же старым слугой в маленьком розовом домике в тени больших каштанов, стоящем в километре от здания Физического факультета. Из соответствующих рубрик можно было узнать (он слышал это от студентов), что иметь с профессором дело следует только при высоком положении барометра, ибо при пониженном давлении он как подагрик и ревматик мучается от различных болей и становится совершенно несносным и бесчеловечным. Вообще-то — в этом все студенты были единодушны — Фаррагус относился к разряду экзаменаторов-мучителей и обладал прекрасно сохранившимся, несмотря на возраст, темпераментом холерика.

Взвесив все это, репортер появился возле профессорского домика около семи утра, неся под мышкой портфель, содержимое которого было в состоянии распалить даже не особенно буйную фантазию. Там в удивительнейшем соседстве лежали рядом: второй том "Теории ядерных сил" Эфферсона и Уэбстера, справочник "Как разводить кур", пачка жевательного табака, наручники, удостоверение контролера Водопроводной компании в Милуоки, три карты, кусочек мела, пустое пластмассовое яйцо, а также очень тяжелый, обернутый грязным носовым платком сверток, в котором находились резиновая, покрытая свинцом перчатка из тех, которыми пользуются рентгенологи, и герметически закрытый, тоже свинцовый, тубик с надписью: "Радиоактивный изотоп йодистого калия — только для употребления в закрытых лечебных учреждениях".

Вооруженный таким образом, Роутон прибыл в пригород, где стояли домики университетского городка, прежде всего убедился, что жалюзи на окнах фаррагусовского дома еще опущены, после чего забрался в сад и принялся уничтожать яблоки, которые он по дороге

срывал с чрезмерно отягощенных Ветвей, свисающих через забор.

Только он управился с этим здоровым, хотя и несколько однообразным завтраком, как показался профессор, направляющийся к себе на факультет, как обычно, в семь тридцать. Это был высокий, худой, сутуловатый старик; лицо у него было крупное, синеватое, с обвисшей кожей. Ничего не подозревая, он продефилировал перед сидевшим в кустах репортером. Когда он исчез из поля зрения, Роутон выкопал перочинным ножиком небольшую ямку в земле, посадил в нее несколько яблоневых зернышек и, пригладив волосы, ринулся в бой, а проще сказать, направился к старому слуге. Этот на первый взгляд добродушный старичок с роскошными седыми бакенбардами, великолепно оттенявшими его свежие румяные щеки, медленно прохаживался по небольшому садику вокруг дома и поливал цветы. Роутон двинулся к калитке, как крейсер с двойной броней.

— Добрый день, — начал он, перегибаясь через изгородь. Сейчас он напоминал худого серого кота-забияку, лаптящегося к кому-то.

— Добрый день. Голубые глазки старого слуги удивленно остановились на чужаке.

— Господин профессор у себя? — спросил Роутон.

— Нет. Пошел на лекции. Он всегда выходит в это время.

— Я имею удовольствие говорить с его братом? Слуга проглотил наживку достаточно легко. Роутон понял это по жесту, которым старик отставил лейку.

— Нет... я веду хозяйство господина профессора. А что вы хотели? Репортер прекрасно знал, что старый слуга до прошлого года был лаборантом на кафедре физики. Когда из-за преклонного возраста он уже больше не мог переносить аппараты и помогать профессору во время демонстраций опытов, Фаррагус, четверть с лишним века читавший лекции в университете, взял его к себе, предварительно с великим скандалом выдворив свою экономку. "Профессор — суцая горчица, — подумал репортер, — а этот старичок — бальзам для ран, на мое счастье".

— Речь идет о чрезвычайно важном деле, — сказал он громко и добавил: — Я из Федерального бюро расследований, командирован госдепартаментом в Вашингтоне. Слуга поспешно пригласил высокого гостя войти. Спустя минуту в прелестной небольшой беседке среди цветов Роутон, как это пристало истинному демократу, уже сердечно беседовал со слугой. Видимо, это не унижало достоинства Чрезвычайного правительственного уполномоченного.

— Я, собственно, прибыл, хм, в связи с тем... мероприятием, которое состоится завтра, — сказал он. — Не знаю, вы в курсе? добавил он быстро, разыгрывая недовольство тем, что проговорился. Старый лаборант разгладил седые бакенбарды.

— В курсе. Я знаю обо всем. У господина профессора нет от меня тайн. Мы живем бок о бок вот уже семнадцать лет, — добавил он конфиденциально. Это "мы живем бок о бок" особенно понравилось репортеру.

— Ну, прелестно. И вы знаете, где будет происходить заседание?

— А как же! Репортер изобразил недоверие.

— Вам профессор и это сказал? Боже мой, но это же почти государственная тайна! И вы в состоянии разобраться в столь сложных вопросах? Хотя... видимо, да... если вы присматриваете за таким знаменитым человеком, как Фаррагус... Слуга все нежней гладил седые бачки.

— Оно, конечно... кое-что знаю. При покойном господине ректоре Ховерье, который читал основы теории относительности... а в то время это было внове... я был препаратором. Потом, когда к нам пришел Тарлтон — тот, что сейчас доцентом в Нью-Йорке, — я уже сам был на кафедре с тремя помощниками. Ну, а через девять лет приехал мой профессор... тогда еще ассистент. Нервный... ужасно. Обмакнул мел в чернила и написал на резолюции декана наискосок: "Не согласен". А ведь ему тогда еще не было и тридцати...

— Зачем в чернила? — спросил репортер, лишь бы что-нибудь сказать: он слушал одним ухом.

— Не знаю — видно, чтобы получше писалось. Очень способный, так быстро защитил диссертацию. Я ему помогал. А как читал лекции! Когда он говорил о матричном исчислении, то даже с других факультетов студенты приходили, а таких демонстраций, как у нас, ни у кого не было.

— Ну, да, да, — сказал репортер, даже глазом не моргнув. — А как с этим открытием профессора? — закинул он удочку. Рыбка клюнула.

— О, знаете ли, это великое, величайшее дело...

— Что, вам известны подробности? Нет, ни за что не поверю. Ведь все это очень сложно... Старик скромно улыбнулся.

— А интегральное или матричное исчисление, вы думаете, проще? Но ведь люди и в этом разбираются. Во время экзаменов ребята, бывало, меня всегда просили: "Джон, встаньте рядом с дверью и, когда профессор раздаст задания, подсказывайте... помогите сделать работы... а то... а того..." Хи-хи-хи... да, да, было, было... но, но зачем же вы все-таки приехали, если можно спросить? Не станете же вы ждать профессора?

— Разумеется, нет. Я приехал, видите ли... есть данные... подозрения, что профессору угрожает некая... опасность.

— Что вы говорите? — испугался старый ла-борант.

— Увы, да. Так я, видите ли, как бы это сказать... разведать, как и что. На этой конференции не будет никого, кроме ученых, правда?

— неожиданно резко спросил он.

— Нет... профессор говорил, что только одни специалисты.

— От прессы, надеюсь, тоже никого? Эту голь пускать не следует.

— Вероятно, да.

— Дело в том, — сказал репортер, — что за профессором необходимо установить наблюдение. Он возьмет с собой на заседание какую-нибудь папку или что-нибудь в этом роде?

— Да... бумаги... наверно, свою работу.

— Я ее-то и имею в виду, — сказал репортер, — это очень важно. А где машина профессора? Не пойдет же он так далеко пешком?

— То есть как далеко? Вы не знаете города? Ах, правда, вы же приезжий! У нас нет машины. Профессор машин не любит.

— Мне придется осмотреть дорогу... — сказал как бы про себя репортер. — Так как же мне туда пройти?

— Куда?

— Ну, на завтрашнюю конференцию?

— Вы не знаете, где Физический факультет? — с нескрываемым удивлением спросил слуга.

— Ах, да! Столько забот в голове! Знаю, знаю, видел на плане. Слуга принялся долго и пространно объяснять, рисуя пальцем на столике, а репортер лихорадочно размышлял. "Что делать? Сам не понимаю, как мне в голову пришла идея с госдепартаментом... Теперь придется ехать на этой лошадке, сколько удастся".

— Простите, — сказал он серьезно, почти угрюмо, — я вижу, что имею дело с человеком разумным, интеллигентным и что вы осознаете, какую ценность представляет профессор Фаррагус для нашей отчизны, поэтому скажу вам все... Нашему департаменту стало известно, что шпики иностранных держав пытаются слям... пардон, выкрасть плоды трудов профессора. Самый опасный момент будет завтра, когда профессор явится на конференцию. Они могут

вмонтировать в стену микрофон, либо подложить бомбу с часовым механизмом, либо при помощи водопроводных труб впустить некую пластическую субстанцию...

Репортер неожиданно осекся, так как, болтая, что ему на ум взбредет, вдруг сообразил, что его собеседник знает физику.

— Поэтому, — быстро покинул он опасную тему, — наш департамент хотел сначала дать знать профессору обо всем и прислать несколько человек для охраны в критический момент, но мы опасались, что профессор недооценит предупреждения. Вы же его знаете... а? Однако мы не можем допустить, чтобы такому человеку что-либо угрожало, и поэтому я был послан сюда самолетом со специальными полномочиями. Хорошо, что я встретил именно вас. Профессор необыкновенный человек, но очень уж того... нервный, правда?

— Ох, да, — вздохнул слуга, — он очень добрый, но уж если что-нибудь решит, то на своем настаит, а когда разгневется — не приведи господь.

— Вот именно. Мы об этом прекрасно знаем. Это наша обязанность. Так вот, мне необходимо присутствовать на конференции, потому что я обязан непрерывно следить за профессором, но он не должен об этом знать. Понимаете?

— Понимаю... — теперь лаборант оттягивал свои бакенбарды и накручивал их на пальцы. — Оно, конечно, надо бы, но...

— Какие могут быть «но», если речь идет о важном деле! Когда профессор выйдет завтра из дома?

— В шесть вечера.

— Ага. Ну, конечно, раз конференция начнется в шесть тридцать.

— Нет, в шесть сорок пять.

— Да, да. Я оговорился. Профессор знает своих коллег в лицо, поэтому я должен укрыться в зале, чтобы меня никто не видел, понимаете? Я возьму с собой специальный аппарат и автоматический револьвер, — репортер хлопнул по оттопыривающемуся заднему карману брюк, в котором лежал футляр от зубной щетки.

— Так, что же нам сделать?

— Вы случайно не знаете кого-нибудь, кто мог бы меня впустить в зал?

— А, правда! Ну, конечно! — обрадовался слуга. — Конечно, знаю! Стивенс! Он сейчас старший лаборант в корпусе. Все ключи у него. Репортер встал.

— Так что же, профессор сегодня после обеда не придет домой?

— Нет... будет у сестры в городе. Вернется только к ночи.

— Прекрасно. В половине шестого я буду тут с машиной и отвезу вас на факультет, там поговорим с этим, как его? Сти...

— Стивенс, Стивенс. Он был помощником на кафедре еще год назад.

— Вашим подчиненным?

— Ну да.

— Стало быть, я приеду на машине и заберу вас, — повторил репортер, небрежно встал, приложил пальцы к шляпе и быстро вышел на дорогу. Слуга удивленно смотрел ему вслед. Такое случилось с ним впервые в жизни. Тихо посвистывая, в радужном настроении, репортер доехал автобусом до города, оплатил в гараже комиссионные за пользование автомашиной на два часа, выбрал черный как ночь «бьюик» с компрессором, приказал поставить новое сиденье сзади и поморщился, увидев в вазочке несвежие цветы; наконец, сунув в зубы тридцатицентовую сигару, уселся за руль и что было сил погнал за город.

Опускались первые осенние сумерки, когда тормоза огромной машины завизжали-перед домиком профессора. Возбужденный ожиданием необычной поездки, старый слуга уже сидел на скамеечке в садике, одетый в свой лучший костюм. Репортер ждал в машине, пока слуга

закроет все двери в доме и выйдет к нему. Наконец тронулись. Со Стивенсом все прошло гладко. С огромным уважением он рассматривал Чрезвычайного правительственного уполномоченного по особо важным делам.

Когда они расположились в малюсенькой комнатке, дежурке лаборанта, и старый слуга изложил Стивенсу суть дела, неожиданно молчаливый джентльмен с сигарой открыл портфель, выхватил из него черное удостоверение с золотым гербом на обложке (такие роскошные удостоверения выпускала Водопроводная компания в Милуоки) и, молниеносно открыв его, словно это был затвор фотоаппарата, подсунул под самый нос ошеломленному Стивенсу. Если какая-нибудь тень сомнения еще и гнездилась в душе этого честного человека, то теперь она окончательно исчезла. Разыскав в большом застекленном шкафу нужный ключ, он показал его правительственному уполномоченному.

— Хорошо. Я приеду за час до начала, — сказал репортер, — а сейчас покажите мне зал, чтобы я мог как следует сориентироваться. Может быть, я установлю там комприматор.

Его просто распирало от нахальства. Он уже обращался к Стивенсу на «вы», опуская «мистер» и время от времени бросал непонятные слова вроде ком-приматора. Здание в эту пору было почти пустым. Длинными, мрачными коридорами трое заговорщиков пошли к боковому крылу и остановились перед высокими дверями, глубоко сидящими в толстой стене. Стивенс, чувствуя значимость момента, долго гремел ключом в замке, пока наконец двери не поддались. Это был небольшой зал, уставленный стульями. Первый ряд занимали кресла. Перед ними возвышалась маленькая сцена, на ней стол, покрытый зеленым сукном, спадающим до самого пола. Репортер внимательно осмотрел все, поднял сукно и заглянул под стол. Окончив осмотр, удовлетворенно кашлянул и решительно заявил:

— Я устроюсь здесь. Да, вот еще что, — обратился он к неподвижно стоявшим лаборантам, — как вы будете пропускать приглашенных?

— Каждый должен показать пригласительный билет, даже если я знаю этого человека лично, — сказал Стивенс.

— Кто выдает приглашения?

— Деканат Физического факультета... Простите, а если господин профессор или кто-либо из господ обнаружит вас, что будет? Меня не выкинут? — неожиданно забеспокоился Стивенс, у которого не уместилось в голове, что особа, посланная правительством, будет три часа сидеть, скорчившись под столом.

— Будьте спокойны. Вас не выкинут, а если даже что-нибудь случится, то я вам говорю, — репортер покровительственно улыбнулся, как Рокфеллер, — мы устроим вас на такую должность, что они только локти будут кусать.

— Я уж лучше остался бы тут, в университете.

— Ну, так останетесь, нечего бояться. Там, где нахожусь я, без моего ведома ни у кого волос с головы не упадет. Ну, с этим мы покончили. Завтра вечером я буду здесь, — поворачиваясь, он подмигнул серьезному Франклину на портрете, взиравшему на зал о высоты.

Доброжелательный правительственный уполномоченный не поленился отвезти старого слугу домой.

— Смотрите, чтобы профессор ни о чем не узнал, — сказал он со значением, высаживая старичка из машины. — Мы не хотим, чтобы он напрасно нервничал. Это может ему повредить. Ну, до свиданья. Благодаря вам все пойдет как надо. Вы славно послужили Соединенным Штатам.

Он дал газ, и черная машина, словно ее сдуло с места, пропала в вечернем мраке. Слуга еще долго стоял неподвижно, глядя, как вдали тают красные огоньки. Слова репортера потрясли его до глубины души.



Роутон потел. Под покровом сукна было дьявольски душно, а в заполненном зале температура все повышалась. Сидя словно в бочке, он слышал гул многочисленных голосов. Это продолжалось так долго, что ему, не приспособленному к "турецкой позе", пришлось несколько раз ее менять; мурашки ползали у него по ногам.

Наконец заседание началось. Кто-то забренчал астматическим звонком прямо у него над головой. Он даже вздрогнул, потому что под сукно, в пяти сантиметрах от его колена, влез черный мыс ботинка.

— Уважаемые коллеги, — раздался над столом зычный старческий голос, — открываю чрезвычайное заседание, посвященное сообщению коллеги Фарра-гуса. Слово предоставляется коллеге Фаррагусу. В этот момент чем-то зашуршали, закашляли, доски заскрипели докладчик раскладывал что-то на столе, наверно папки с бумагами. В зале было слышно покашливание и истинно профессорское сморкание трубное и продолжительное.

— Уважаемые коллеги! У Роутона под столом был небольшой стенографический блокнот и специальная авторучка с встроенной под пером лампочкой, при свете которой можно было писать. Едва профессор начал говорить, как ручка запорхала по белому листку. Но, о горе! Неожиданно профессор перестал говорить и начал писать. Он повернулся, отошел от стола, и послышался скрип мела о доску.

Будучи прирожденным любителем риска, Роутон не мог усидеть спокойно. Несмотря на то что его познания в математике ограничивались четырьмя арифметическими действиями, а единственной специальной литературой в этой области являлись для него долларовые банкноты Федерального банка, он во что бы то ни стало хотел увидеть, что именно пишет Фаррагус на доске. Поэтому он начал потихоньку приподнимать край зеленого сукна. В тот момент, когда появилась узенькая щелка, мел в руках профессора треснул, разлетелся, и маленький кусочек попал репортеру прямо в глаз. Роутон едва сдержал проклятия. Вытер платочком заслезившийся глаз и, уже отказавшись от выхода на поверхность, сидел, словно подводная лодка в глубинах океана, накрытый волнами зеленого сукна. Из ужасно сложных выкладок профессора получалось насколько Роутон мог понять, — что во время каких-то теоретических исследований тот вывел некую математическую формулу, "материальная реализация которой была бы равносильна концу света". Как профессор сказал, так Роутон и записал, не понимая, впрочем, совершенно, каким образом математическая формула может влиять на судьбы человеческие. Однако же из дальнейшего изложения стало ясно, что это возможно.

— Я искал, — говорил профессор, — условия, при которых выполнялось бы это теоретически вычисленное положение. Вначале мне казалось, что это невозможно. Однако кропотливые двадцатидвухлетние поиски наконец увенчались успехом.

— Уважаемые коллеги! — голос Фаррагуса надломился. — Мне удалось создать соединение, существование которого предсказывала вот эта написанная на доске формула... и это соединение... самая страшная, самая мощная сила, отданная природой в руки человека... это соединение, которое в состоянии погубить все живое на нашей планете, все, что обитает на ней, обратить в пепел и наконец уничтожить земной шар, превратив его в клубы раскаленных газов... а затем в результате центробежной взрывной реакции привести к распаду всю Солнечную систему... всю Галактику... миллионы звезд и солнц... всю Вселенную... это соединение... это соединение здесь!!!

Фаррагус стукнул чем-то твердым по столу так, что репортер подскочил, решив, что запальчивый экспериментатор намерен тотчас же доказать справедливость своих апокалиптических пророчеств.

— В этой пробирке хранится белый порошок, который при низкой температуре совершенно инертен и безопасен, мало того — не вступает ни в какие химические реакции, ни

кислоты, ни щелочи, ни какие-либо иные химические соединения не растворяют его! Профессор все больше возвышал голос. — Но будучи подогрет до восьмисот градусов по Цельсию — столь незначительной температуры, — этот препарат видоизменяется ужасающим образом. Прошу уважаемых коллег обратить внимание, — произойдет не химическая реакция, как в снаряде, заполненном динамитом... не реакция ядерного распада, как в атомной бомбе... ибо и тут и там мы имеем дело с детонацией ограниченного характера. И пусть даже действие ее, как в случае с водородной бомбой, распространяется на несколько десятков километров, что значат такие расстояния по сравнению с размерами континентов и морей?

Мой препарат, вот этот легкий белый сыпучий порошок, подогретый до температуры восьмисот градусов, становится ДЕТОНАТОРОМ МАТЕРИИ! Что значит "детонатор материи?" Это значит, что если в атомной бомбе в энергию взрыва превращается лишь сотая часть массы, то мой препарат расщепляет материю на два противоположных полюса: материю и антиматерию, результатом чего явится их немедленное соединение и взаимоуничтожение с выделением потрясающих количеств энергии... Протоны, соединяясь с антипротонами, испускают излучение с напряжением в сотни миллиардов электронвольт... от центра взрыва этот процесс распространяется с наивысшей известной в природе скоростью... со скоростью света.

А поэтому, если когда-либо в каком-либо пункте видимого звездного космоса кто-либо однажды даст толчок такой реакции, кто-то приведет в действие детонатор материи, то конец света — истинный и необратимый конец света, понимаемый как полное превращение всех субстанций в энергию в результате непрекращающегося космического взрыва, станет действительностью — неизбежной и окончательной... Ибо достаточно щепотке белого порошка попасть в огонь, как это вызовет взрыв запасов энергии, аккумулированных в материальных частицах... скачок температуры до миллиардов и триллионов градусов... и благодаря этому мелкая, казалось бы, невинная белая пыль может уничтожить всю Вселенную!

"Ну и ну!" — перо репортера летало по бумаге как сумасшедшее, а стопка исписанных листков росла. Роутон так ликовал, будто профессор пророчил вечный рай на Земле.

— Мое изобретение... мой препарат я назвал ге-нетоном, то есть созидателем... Почему созидателем? Потому, уважаемые коллеги, что с этого момента не будет более войн, так как любая война означала бы полный, буквальный и абсолютный конец света, ибо каждая война привела бы к уничтожению той земли, по которой мы ходим, вместе со всеми солнцами и звездами, во время безоблачных ночей горящими над нашими головами... а мы можем быть уверены, что ни один человек, ни один народ, ни одно государство не решились бы на столь ужасный шаг! Поэтому я верю, что мой генетон самым фактом своего возникновения открывает эру вечного мира народов...? Был слышен шелест бумаг в зале, скрип стульев, кашель; кто-то высморкался вблизи так громогласно и демонстративно, что репортер вздрогнул. "Вот и поминки", — подумал он, когда зазвенел звонок и скрипучий голос председателя произнес:

— Кто желает высказаться?

— Позвольте мне... — отозвался неподалеку низкий, ровный бас.

— Коллеги, — загудел минуту спустя тот же бас над самым репортером, — есть в нашем языке одно меткое выражение, которое гласит, что человек чересчур часто руководствуется желаниями, а не действительностью... Коллега Фаррагус предложил нам некую гипотезу. Она столь же смела, сколь и любопытна. Она вполне может заинтересовать литераторов, занимающихся научной фантастикой... но только литераторов. Ученому же не пристало высказывать идеи, не подтвержденные экспериментами. Я вижу на доске формулу и утверждаю, что эта формула не может быть реализована, так как ничто не соответствует ей в действительности, ибо коэффициенты уравнений были установлены столь же искусственно,

сколь и произвольно. Формула эта представляет собой не более чем своеобразный каламбур, математическую забаву...

— Как вы смеете! — раздался рядом резкий возглас Фаррагуса. Говоривший пропустил это мимо ушей.

— Из теоретических предпосылок, взятых с большой натяжкой и даже со сверхапокалиптической натяжкой, был сделан вывод произвольный, поспешный и, я бы сказал, легкомысленный...

По залу прошел гул.

— Такое вещество, — послышался стук пальца по доске, — не в состоянии привести к разложению материи... а тем более к возникновению пар протонов и антипротонов... Что мы видим? Мы видим смещение количества тепла и величины температуры. А второй закон термодинамики? Я полагаю, коллеги, все ясно. Для меня проблема генетона более не существует.

— Так вы считаете, что это шарлатанство?! Обман?! — закричал Фаррагус, пытаясь перекрыть шум зала. — Что двадцать лет исследований были сплошной ошибкой? А что же в таком случае представляет собой то, что лежит у меня здесь, вот в этой пробирке? Тот препарат, который вы видите?!

— То, что вы синтезировали, — мягко ответил гремевший до сих пор бас, — если это действительно было синтезировано, представляет собой не более чем еще одно из пятнадцати тысяч новых, не приносящих пользы химических соединений, которые ежегодно регистрируют альманахи экспериментальной химии. Говоривший начал спускаться со сцены. В зале стоял страшный шум.

— Стало быть, точные доказательства, точные вычисления для вас ничто?! — кричал Фаррагус, совершенно потеряв над собой власть. Как мне вас убедить? Разве что сунуть эту пробирку в пламя свечи, и только катастрофа сможет доказать, что я не зря потратил большую часть своей жизни?

— Да, лишь такой путь... однако опасаясь, что мой уважаемый коллега значительно преувеличивает опасность подобного опыта. Подать зажигалку? Послышался общий смех. Зал гудел.

— Немедленно выпустите меня! — раздался тонкий, возбужденный голос Фаррагуса. — Я вам докажу, что я прав, чего бы мне это ни стоило! Послышался треск падающего стула, потом дверь с грохотом захлопнулась.

Доктор Грей, ассистент физики в Лос-анджелесском университете, первый помощник Фаррагуса, опаздывал на работу. Все больше ускоряя шаг, он шел к университету, который спрятался за раскидистыми кронами старых деревьев. Выйдя на площадь — Вашингтона, Грей уже издали увидел толпу людей около решетки ограды. Одни стояли спокойно, другие грозили кулаками темным окнам университета. Изумленный ассистент замедлил шаги.

"Демонстрация? — подумал он. — Здесь?" Ему пришло в голову, что все складывается как нельзя лучше: профессор, обычно донимавший его едкими замечаниями за малейшее опоздание, сегодня, наверно, не обратит на это внимания — ведь произошло что-то необычное. С немалым трудом он протиснулся к высоким воротам с золочеными прутьями, напоминающими частокол из металлических копий. За воротами стоял лаборант Стивенс и четверо его помощников, а рядом

— Грей даже заморгал от удивления — полицейский офицер в полной форме.

— Добрый день, доктор, — сказал привратник. — Сейчас откроем, только, пожалуйста, подойдите поближе. Они отомкнули тяжелые решетчатые ворота, и под неприязненные выкрики толпы ассистент проскользнул за ограду. Те, что стояли поближе, вели себя спокойно,

только мрачно глядели на него, зато сзади слышались враждебные выкрики, и даже какой-то камень просвистел в воздухе. К счастью, за ним не последовали другие.

— Ради бога, что здесь происходит? Безработные? Что им тут надо? начал доктор Грей, обращаясь к офицеру.

— Доктор Грей? — спросил офицер. — Хорошо, что вы пришли.

— Господин инспектор, что тут происходит? Чего хотят эти люди? Что-нибудь случилось? — вопрошал перепуганный доктор. Инспектор казался злым и обеспокоенным.

— Нет, что вы... это все проклятая статья.

— Какая статья?

— Вы не видели сегодняшней утренней газеты?

— Нет.

— Ну, так почитайте.

Офицер достал из кармана помятый и сложенный вчетверо номер "Ивнинг стар". Грей взглянул на первую полосу и обомлел. Там виднелся огромный заголовок, обрамленный восклицательными знаками:

## !ЧЕСТОЛЮБИВЫЙ ПРОФЕССОР ВЗРЫВАЕТ АМЕРИКУ!

А пониже мелкими буквами:

ГЕНЕТОН — страшный взрывчатый материал, В МИЛЛИАРД РАЗ более мощный, чем водородная бомба!

Еще ниже:

СЕНСАЦИОННЫЙ РЕПОРТАЖ С ТАЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СВЕТИЛ МИРОВОЙ НАУКИ!

Собственный корреспондент

Вся эта прелестная история была густо сдобрена цифрами и неизвестно откуда выкопанными фотографиями участников собрания, описанного во всей красе. Надо признать, что Роутон не ударил в грязь лицом. Он создал рельефную, полнокровную эпопею, героями которой были профессор Фаррагус и его основной оппонент (репортер ухитрился узнать его имя). Роутон представил их как столкнувшихся лбами фанатиков, готовых ради доказательства справедливости своих утверждений в запальчивости уничтожить весь мир. Слова, которые Фаррагус произнес выбегая из зала, показались прыткому репортеру недостаточно устрашающими и не в полной мере отражающими страшную угрозу Земле, поэтому он сгустил краски и, ничтоже сумняшеся, написал:

...профессор Фаррагус, подняв вверх сосуд с генетоном, бросается к двери и кричит: "Скоро мир убедится в том, что мой препарат самый страшный разрушитель, какой только знала история человечества!"

— Ой! Генетон... — ужаснулся Грей.

— Неужели это правда? Я говорил с профессором, он утверждает, что таких слов не произносил. Вы были на конференции?

— Что? Ах, нет, меня не было в Лос-Анджелесе... Бог мой, что будет? Так эти люди...

— Послушайте-ка, доктор... этот препарат чего-нибудь да стоит? спросил инспектор, конфиденциально взяв Грея за локоть.

— Что? В каком смысле?

— Ну, он что, действительно взорвется, если его сунуть в огонь? Вы это видели?

— Что вы говорите? Упаси боже... не видел, потому что больше бы я уже ничего в жизни не увидел. Что он понаписал, этот репортер? Препарат вызывает симметричное раздвоение материи... Вы понимаете? Нет? Возгорание материи — уже прямое следствие... Это — как искра в бочке пороха, пожар все распространяется и распространяется, и ничто не может его остановить. Достаточно одного грамма этого порошка, да что там, десятой доли грамма, огарка свечи и коробки спичек, чтобы покончить со Вселенной. — Так вы уверены, что...

— Уверен ли я?! Оставьте меня в покое! Где профессор? Грей дрожал от возбуждения.

— Где он? — обратился Грей к Стивенсу, хватаясь за голову. — Бог мой, но он же не мог сказать этого серьезно!

— Профессор-то? Когда он утром пришел в университет, его хотели линчевать, — и все из-за проклятого репортера, который раззвонил об этом.

— Я работал над препаратом вместе с профессором семь лет... это ужасно... — бормотал Грей. Толпа сгрудилась и стала напирать на ограду. Кто-то из самых слабонервных кричал:

— Эй там, расступитесь!!! В образовавшемся проходе появились несколько громил, которые несли к ограде, словно таран, вывороченный телеграфный столб. Инспектор бросился к воротам, одной рукой хватаясь за свисток, другой — за рукоять пистолета.

— Не смей разбивать ворота! — рявкнул он. — Слышите? Гопкинс! крикнул он полицейскому, который, опираясь на карабин, глядел на него во все глаза, — беги к телефону, проси, чтобы нам прислали пару констеблей, мотопомпу и пусть держат наготове еще штуки две! Грей побрел к зданию в таком состоянии, словно он только что принял натошак парочку стопок старого вина. В кабинете профессора царил тишина. Грей постучал в дверь — ответа не было. Он нажал ручку. Профессор даже не повернулся на его покашливание. Он сидел в кресле, низко опустив голову, и барабанил пальцами правой руки по крышке стола. На столе валялась груда исписанных бисерным почерком листков. Только когда Грей оказался совсем рядом, профессор заморгал усталыми и припухшими от бессонницы близорукими глазами.

— А, Грей? Вы не были вчера на конференции, да?

— Господин профессор, фатальное стечение обстоятельств, — начал Грей, — моя племянница...

— Ах перестаньте! Поверите ли, Гунор назвал мое открытие пустым надувательством, мои данные — фальшивыми, а уважаемое сборище высмеяло меня!.. Стадо, проклятое стадо!

— Каждое новое великое открытие... — несмело начал Грей.

— Знаю, знаю — принимали враждебно и неохотно. Ну и что же?

— Полемика, господин профессор, это естественная вещь. Что значит мнение Гунора перед лицом фактов? Пустяки...

— То есть как пустяки? — профессор вскочил. — Гунор смешивает с грязью меня, мою работу — это пустяки? Называет препарат безобидным порошком, а, казалось бы, самые компетентные люди аплодируют ему — это пустяки? Фаррагус вдруг оперся о стол, побледнел и схватился за грудь. Грей перепугался.

— Где нитроглицерин? Здесь? Сейчас... я сейчас... Он подал старцу стеклянную ампулку, побежал за водой, трясущимися руками наполнил стакан и вернулся к столу. Фаррагус, обмякнув, сидел в кресле. На желтоватых щеках выступили кирпичные пятна.

— Сердце... сердце... — прошептал он едва слышно. Когда Грей хотел подать ему воду, он отмахнулся. Пришел в себя, встал, пошатываясь, добрался до окна и взглянул в парк, где за деревьями слышались глухие крики.

— Какая подлость!.. — проворчал он. — Когда я утром вышел, они хотели меня прикончить. Я думал сделать из генетона символ и гарантию мира, а какой-то Гунор, который

дал науке... простите, вы сами знаете, что... осмеливается... только потому, что у него рука в Вашингтоне.

В этот момент послышался деликатный стук и в кабинет просунулся человек средних лет, глаза которого молниеносно обшарили кабинет. Из заднего кармана помятых серых брюк он извлек толстый стенографический блокнот и, вооружившись им, приблизился к профессору, отвесив учтивый поклон. Профессор отвернулся от окна и только теперь заметил нахала.

— Кто это? Что вам угодно?

— Роутон из "Ивнинг стар", — представился пришелец, кланяясь еще раз. — Репортер по особо важным делам, — добавил он с вежливой улыбкой. — Господин профессор, я позволил себе вчера поместить статейку...

— Ах, так вот кто заварил эту кашу! — яростно крикнул Фаррагус, подступая к репортеру с таким видом, словно бы собирался выкинуть его за дверь. — И вы еще смеее ко мне приставать?

— Одну минуточку. Тут, понимаете, такое дело: вы изволили выразиться в том смысле, что этот препарат, генетон, будучи помещен в пламя или нагрет иным образом до температуры восемьсот градусов, приведет, так сказать, к концу света. В связи с этим я не замедлил проинтервьюировать профессора Гуно-ра... сегодня утром у него дома. Я спросил его, что он думает о последствиях, которые имели бы место в результате помещения вашего препарата в огонь.

— Ага! И что же он ответил? — спросил Фаррагус, поднося руку к уху, чтобы лучше слышать.

— Господин профессор Гуно, — почти пропел в ответ репортер, вперив свой взгляд в стенографический блокнот, словно в молитвенник, — ответил мне, что результат был бы таким же, как если бы мы Всыпали в огонь щепотку табаку. "Быть может, экспериментатор чихнет... этим дело и кончится", — сказал профессор Гуно. Я хотел бы спросить, какова в связи с этим позиция уважаемого господина профессора?

Фаррагус посинел.

— Экспериментатор чихнет... — прошептал он, нервно сжимая и разжимая пальцы, — чихнет... Вы... Вы желаете знать мое мнение? — дрожащий голос Фаррагуса сел, но в нем послышались стальные нотки. Хорошо. Скажите своим читателям, скажите этим медным лбам, этим тупицам... что сегодня же в восемь часов вечера с последним ударом часов я введу мой препарат в пламя... а тогда пусть бог смилостивится над профессором Гунором... над всеми людьми... и над этими надутыми спесивцами, которые меня высмеяли! Выгнали! Вышвырнули!!! Секунду стояла мертвая тишина, потом профессор с ужасной гримасой схватил ключ и выбежал из комнаты. Проскрипел замок, в котором снаружи повернули ключ. Грей секунду стоял окаменев, потом беспомощно огляделся вокруг.

— Господин... господин профессор! — неожиданно взвизгнул он. Репортер все еще писал. Потом старательно закрыл авторучку, вложил блокнот в карман, словно это было что-то чрезвычайно ценное, и, даже не пытаясь открыть дверь, ловко вскочил на подоконник. От земли его отделяли четыре метра. Он перекинул ноги наружу и, победно улыбнувшись Грею, воскликнул:

— Экстренный выпуск! После чего исчез.

Грей начал метаться по комнате, издавая отчаянные вопли, наконец, схватил стул и попытался выбить им дверь. Это, конечно, не удалось, но грохот привлек внимание полицейского инспектора.

Поскольку профессор оставил ключ в замке, инспектор повернул его, вошел и тотчас отскочил, потому что Грей замахнулся на него остатком стула.

— Что это значит? Что вы делаете? — сурово спросил страж порядка, завидев растрепанные волосы, сумасшедший взгляд и бледную вспотевшую физиономию ассистента, который, жестикулируя, пытался сладить с разбросанными бумагами и льющейся из чернильницы рекой чернил.

— Репортер... профессор... Фаррагус... генетон... сбежал... стонал Грей.

— Да успокойтесь вы наконец. Где профессор?

— Бог мой, что теперь будет?

— Да говорите же в конце концов. Грей опустился в кресло.

— Репортер пришел от Гунора, раздражил профессора... довел его до бешенства, потому что Гунор сказал, будто генетон никогда не взорвется... что он ничего не стоит... тогда профессор закричал... что сегодня в восемь часов сунет генетон в огонь. Инспектор протяжно свистнул. Быстро осмотрелся.

— Где профессор?

— Куда-то побежал, может, домой.

— Где этот порошок?

— Был у профессора в стеклянной ампуле.

— Где ампула?

— Тут была, в ящике стола... Они бросились к столу. Ящик был пуст. Инспектор вдруг крикнул:

— Господи, где репортер?

— Выскочил в окно! Инспектор задохнулся.

— Ну, — сказал он, — теперь-то уж действительно начинается светопреставление. Он выбежал в коридор. Было слышно, как он набирает номер телефона и кричит в трубку, поднимая на ноги весь комиссариат.

— Арестуйте его, как только увидите! — кричал он. — Что? Что? Хорошо! Он уже собирался повесить трубку, когда что-то вспомнил.

— Алло! Брэдли! Слушайте, как только вам в руки попадетсЯ Роутон, репортер из "Ивнинг стар", дайте ему пару раз «бананом» и киньте в холодную, пусть остынет... Он так же опасен, как и профессор! Грей сидел на предпоследней ступеньке лестницы, играя ключом.

— А вы что тут сидите? — спросил инспектор, который летел вверх словно ракета. Грей равнодушно взглянул на него.

— Я собирался пойти пообедать, да стоит ли?

— Это еще почему?

— Ну, ведь после восьми уже не надо будет больше есть...

— Пропадите вы пропадом! — прорычал инспектор и помчался дальше. Государственный секретарь положил пресс-папье слева от серебряной статуэтки, изображающей статую Свободы, потом справа, затем перед собой и долго смотрел на его хрустальный шарик. Наконец он поднял голову.

— Ну? Генерал Харвей проглотил слюну.

— Мы сделали все, что могли.

— Ничего вы не сделали.

— В два часа оцепили все вокзалы, станции надземной железной дороги и метро, улицы, площади; мобильные патрули с фотографиями Фаррагуса разъезжают по городу. Они держат постоянную радиосвязь с Главной квартирой. Оцеплены университетские здания... произведены обыски в квартирах профессоров... в три мы развесили объявления, назначающие пять тысяч долларов награды за информацию о месте нахождения профессора. Ни одна машина, ни один самолет, ни один человек не могут без нашего ведома покинуть Лос-Анджелес.



Государственный секретарь с такой злостью стучал линейкой по пресс-папье, словно оно было во всем виновато.

— Ну и что?! — взорвался он. — Ну и что?! Харвей почесал переносицу.

— Ежеминутно ждем сооб... Зазвонил телефон. Государственный секретарь поднял трубку.

— Что? — спросил он. — Да. Это вас. Он отдал трубку генералу. Тот прижал ее к уху.

Некоторое время слушал, потом его шея стала наливаться кровью.

— Что? Фельетон? Из Лос-Анджелеса? Что? Что?? Что??? Не разрешать! Возвратить!

Пустить в ход все резервы! Он прикрыл рукой микрофон и глухо сказал:

— Надо было этого ожидать. В городе паника-то есть волнения... поправился он. — Толпы людей стремятся выйти из города в различных направлениях.

— Какое мне дело! — взорвался государственный секретарь. Хрустальное пресс-папье закончило свое существование, разлетевшись под столом на тысячи осколков.

— Что делать, мистер Давьес... сил полиции недостаточно. Я вынужден просить о помощи армию. Секретарь достал из кармана носовой платок.

— Армию? Это невозможно... Он встал и подбежал к окну.

— Какой скандал! Звонки из британского посольства... вопросы... понижение курса акций на шестнадцать пунктов... наконец разговоры в конгрессе... нет, это исключено! Вы должны обойтись своими силами.

Генерал отдернул руку от микрофона.

— Фельетон? Инспектор? Слушайте меня. Стяните из Пасадены и СанДиего, вообще со всего округа, городские отряды, можете реквизировать автобусы. Что? Что? Он побагровел еще больше.

— Там... то же самое?.. Пусть ищут! Почему они не шевелятся, идиоты? Поставить кордоны, проверять документы и пустить в дело радио. Все это блеф! Людей, имеющих машины, можно в конце концов отпускать, пусть едут к дья... что? Переодетый? Он может быть переодет? Что, я и этим тоже должен заниматься? Значит, тяните всех за бороды, а мне не забивайте голову ерундой! Это может вам дорого обойтись, напоминаю! Ладно, ладно. Он бросил трубку. Государственный секретарь перестал ходить по комнате и остановился около стола.

— Ну?

— С утра задержали шестьсот восемнадцать человек, — начал генерал.

— Можете не продолжать, понимаю, сплошные Фаррагусы! Хорошо. Ну, а еще что? Зазвонил другой телефон. Государственный секретарь поднял трубку.

— Что? Белый дом? А?.. хорошо, жду. Канцелярия президента, прошептал он в сторону Харвея, уничтожая его взглядом. Но тут же его лицо приняло другое выражение.

— Господин президент? Да, это я. Слушаю. Совершенно определено. Мы не можем поднимать шума, поэтому действуем ограниченными силами, но зато это отборные отряды. Да. К вечеру он будет у нас в руках, совершенно точно. Я тотчас сообщу.

Он отложил трубку. Выражение самоуверенности, как по мановению волшебной палочки, слетело с его лица.

— Вот так. Уже Белый дом. Это будет стоить мне портфеля. Подумайте — третий звонок с утра! Какой скандал! Люди с ума сходят на улицах.

Снова зазвонил телефон.

— Я слушаю вас, мисс! Из британского посольства? Прошу передать, что я на совещании у президента, буду через час. Телефон звякнул.

— Только этого не хватало... — начал государственный секретарь, но под странным, неподвижным взглядом генерала осекся.

— Что вы так смотрите?

— Простите... но если мы... не приведи господь... если нам не удастся его схватить, то ведь речь пойдет уже не о портфеле, а о... смерти...

— Что? Государственный секретарь стоял, как громом пораженный. Наконец рассмеялся противным смехом.

— Мне это даже в голову не пришло, — признался он. — Ничего себе, хороши дела! Тридцать тысяч полицейских, три с половиной тысячи патрулей на радиомашинах, собаки, самолеты, вертолеты — и не могут поймать одного старика с больным сердцем... Телефон зазвонил еще раз. Генерал слушал рапорт так, словно из трубки ежесекундно выскакивало шило, жаля его в ухо.

— Ну, другого выхода у меня нет, — сказал он наконец, поднимая глаза на секретаря. Мне нужна армия, иначе я ни за что не ручаюсь. Секретарь уселся на стол и по-наполеоновски скрестил руки на груди.

— Пожалуйста. Делайте, что хотите. Он склонился над столом, заваленным газетами с огромными красными и черными заголовками, игравшими свежей краской.

Теперь генерал набирал один номер за другим.

— Алло? Генерал Уилби? Господин генерал, я говорю из кабинета государственного секретаря Давье-са... Вы знакомы с положением, не так ли?.. Возникла паника... могут быть волнения, грабежи... у меня уже нет людей для восстановления порядка. Необходимы... да, вы меня прекрасно понимаете. Нет, не пехота. Я предпочел бы моторизованные отряды. Так будет лучше, не правда ли? Что вы сказали? Прекрасно.

— Что это? — государственный секретарь взглянул на часы. — Уже шесть. Осталось два часа? Он открыл ящик стола, поискал таблетки от головной боли, сунул их в рот. Генерал положил трубку.

— Сумасшествие, — сказал он. — Сумасшествие. Если б хоть знать, как в действительности обстоит дело с этим проклятым генетомом.

— Половина специалистов утверждает, что это шарлатанство, а другая

— что реакция возможна, — сказал государственный секретарь.

— А что говорит Гунор?

— Слышать о нем не хочу. Ведь по сути дела все это началось из-за него.

— Вообще-то все это затеял репортер.

— Как его там?

— Роутон, — бросил генерал, подняв трубку и покручивая телефонный диск.

— Верно. Его наконец взяли?

— Не знаю. Сейчас позвоню. Генерал опять начал набирать номер. Первым делом Роутон направился к междугород-нему телефону. Через восемь минут его уже связали с редакцией. Передав балласт самых свежих новостей ротаторам, он почувствовал, что ему стало свободнее и легче. Полный бодрости и самых радужных надежд, он вышел на улицу и взглянул на удлинившиеся уже тени. Приближалось к шести.

"Прежде всего, — сказал он себе, — надо отыскать профессора. Можно будет взять дополнительное интервью. Правда, сама история со взрывом была бы сенсацией номер один, но если это действительно означает конец света, то уже некому будет читать специальный выпуск. Нет, этого мы не допустим. Только бы полиция не пометала..."

Роутон оглянулся. Прошло всего несколько часов с момента исчезновения профессора, а город уже кишмя кишел моторизованными и пешими патрулями. На каждом углу проверяли документы у людей, которым с виду было больше сорока.

Репортер вошел в небольшую кондитерскую. Ему всегда лучше думалось за мороженым.

Поэтому он заказал фисташковое со взбитыми сливками и принялся размышлять:

"Собственно, можно было побежать за Фаррагу-сом. У меня было преимущество, потому что я выскочил через окно, — думал он. — Но сначала пришлось послать репортаж. Ну, еще не все потеряно. Паста свое дело сделает".

Он решил пока отложить розыски профессора. Надо было заняться и другими проблемами.

— Мисс, где здесь телефон? — спросил он, облизывая ложечку.

— Кабина вон там. Репортер даже не прикрыл за собой дверцу. Набрал номер телефона квартиры доктора Грея и терпеливо ждал. Наконец в трубке послышался далекий голос.

— Алло, доктор Грей? Хорошо, что я вас поймал. Говорит профессор Гемпфри из Техаса. Коллега, я специально прилетел самолетом в связи с этим роковым генетомом... Вы меня не знаете? Нам не дано знать всех. Но, но, мне дорого время. Скажите, пожалуйста, как выглядела пробирка, в которой старик... то есть профессор Фаррагус держал свой порошок?.. Что? Да, это важно! Ага... стеклянная... а длинная? Хорошо. А порошок был белый, да? С оттенком или совершенно белый? Как соль? Прекрасно.

Грей принялся очень пространно объяснять.

— Увы, коллега, я не могу с вами встретиться. Я говорю из Главной квартиры шефа полиции... да. Я тоже поражен. Но в таком солидном возрасте, как мой... нет, нет. До свидания. Буфетчица вытаращила глаза на репортера, который не обратил на это ни малейшего внимания. Он бросил на мраморную плиту стола доллар и остановился в дверях, чтобы спросить:

— Где тут ближайшая аптека?

— За углом.

— А продовольственный магазин?

— Рядом.

— До свидания. Да не подмешивайте в мороженое молока, а то вас пресса уничтожит. Он купил в автомате две жевательные резинки, в киоске приобрел сигару и значок Клуба курильщиков, потому что он был весь золотой и очень массивный, пришил его к внутренней стороне лацкана и побежал дальше. В аптеке он не задержался. Только купил стеклянную пробирку с патентованной пробкой, потом попросил в магазине щепотку соли, отсыпал один грамм в пробирку, а остальное выбросил. "Армия стоит на равнине с развернутыми знаменами, — сказал он себе, — а теперь пора ринуться в атаку".

Он купил в книжном магазине план города и, быстро осмотревшись, заметил вдалеке большую рекламу магазина радиотехнических приборов. Взглянул на электрические часы над входом в подземку. Было тридцать минут седьмого.

"Немного поторопимся", — решил он и почти бегом влетел в магазин. В глубине из-за прилавка, увидев его, поднялся рыжий молодой человек в белом, элегантно скроенном пиджаке с перламутровыми пуговицами.

— Дайте-ка мне большой радиоактивный монитор — этаким счетчик Гейгера, понимаете? — сказал репортер, быстро обшарив глазами блестящий никелем и дорогими инкрустациями магазин. Рыжий продавец с сожалением покачал головой.

— Увы, все раскуплено... сегодня после обеда был большой спрос...

— И ничего не осталось?

— Ничего, — эхом отозвался продавец. Роутон, добродушно улыбнувшись, взглянул на него.

— Может, для простых смертных и не осталось, — сказал он очень тихо и спокойно, — но для меня-то, надеюсь, найдется. Ну, живо, молодой человек... а не припрятали ли вы чего-нибудь для себя на черный день? Или мне применить чрезвычайные меры?

Он слегка отогнул лацкан. Значок блеснул золотом и исчез. Продавец молча вышел в

маленькую комнату, завешенную бархатной портьерой, и вернулся с небольшой, но явно тяжелой коробкой.

— Двадцать шесть долларов.

— Получите. Привет. Инструкция внутри?

— Да. До свидания. Благодарю вас.

— Не за что. Со счетчиком или без него, конец света выглядит одинаково, — бросил репортер уже через плечо. На улице он переложил аппарат в портфель и остановился, чуть присев, словно собирался дать пинка подъезжающему автобусу.

"Явление второе", — сказал он себе и вошел в магазин игрушек. Он пробыл там недолго — через минуту уже вышел с прелестным танком под мышкой. Этот танк, способный распалить воображение любого человека в возрасте до четырнадцати лет, был снабжен электрическим моторчиком и мог управляться на расстоянии.

— Теперь нам необходим медиум, — задумчиво сказал Роутон. Идя по улице, он заглядывал в ворота; наконец в одном из больших дворов заметил того, кого искал.

— Гарри, поди-ка сюда на минутку, — закричал он, останавливаясь в тени лестницы. Мальчуган лет шести в длинных ковбойских брюках, бегающий по двору с деревянным атомным пистолетом в руке — на его желтом, как лимон, свитере был намалеван кровавый тигр остановился при звуке его голоса, а потом сделал несколько шагов в сторону ступеней.

— Я не Гарри, — сказал он сурово, исподлобья глядя на незнакомца.

— А кто?

— Том.

— Видишь ли, Том, тебе нравится такой танк? Том сделал еще три шага и теперь оказался уже чересчур близко от чудесной игрушки, чтобы думать об отступлении. На его лице отразилось возбуждение.

— Это кому? — спросил он тихо.

— Тебе, — ответил Роутон. — Только ты должен мне помочь, понимаешь? Я — знаменитый сыщик. Ты, наверно, слышал о таких, а? Ну вот, это как раз я. При помощи радиоактивных лучей я слежу за одним преступником, но один справиться не могу. Если ты мне поможешь, считай, что танк твой.

Наступило напряженное молчание.

— А не врешь? — прошептал мальчуган.

— Не вру. Порази меня гром, если я собираюсь тебя обмануть, Томми.

— Честное слово?

— Честное слово.

— А что мне делать?

— Прежде всего договоримся, — сказал репортер. Он открыл портфель и вытащил оттуда счетчик Гейгера. — Видишь, сынок, — говорил он, разрывая бумагу, — это наш гончий пес. Преступнику, которого я отслеживаю, я подмешал в сапожный крем радиоактивный препарат, благодаря чему мы сможем его где угодно отыскать при помощи вот этого счетчика Гейгера. Понял?

— Угу.

— Ну и хорошо. Только, понимаешь, я не могу бегать по улице с аппаратом на животе. Сообщники гангстера меня быстро засекут. Поэтому мне необходима твоя помощь. Гейгера мы засунем внутрь танка... вот так... ты пойдешь впереди, а я буду смотреть на стрелку, вот тут, на циферблате. Никто не обратит на это внимания. Самое удивительное в этой истории то, что я ее вовсе не выдумал. А теперь пойдём во двор... да, а где твоя мама?

— Она поехала к дяде и сказала, что вернется через час.

— Это нам подходит. Сейчас мы посмотрим карту... понимаешь? Репортер разложил карту на крышке мусорного ящика. И долго молча изучал ее.

"Вероятнее всего, профессор облюбовал это место еще в кабинете, рассуждал он. — Я полагаю, что он все хорошенько продумал. Оно должно находиться близко и в то же время быть таким, чтобы никто не мог ему там помешать. Ну, в качестве средства сообщения он может воспользоваться автомобилем — это, пожалуй, отпадает, велосипедом — тоже отпадает, потому что для блага человечества я проткнул ему камеры; ногами... Остановимся на ногах".

— Иди, сынок, — сказал он громко, — поедem в автомобиле в притон разбойника. Ты не боишься? Малец взглянул на репортера с обидой и одновременно с восхищением. За углом поймали такси. Погрузив в него Тома и танк, Роутон вскочил на переднее сиденье, рядом с шофером.

— К университету, только быстро. На углу площади, в некотором отдалении от здания Физического факультета, он расплатился с шофером и вылез вместе с Томом. Было еще, к сожалению, довольно светло, и поэтому пришлось прибегнуть к маскарладу с танком и ребенком; в противном случае полиция быстро обратила бы внимание на его странные манипуляции. Танк, приведенный в движение, во хвалу фирмы, которая его изготовила, деловито погрохатывая, полз по асфальту, а Роутон вместе с мальшом, которому приказал называть себя дядей, бежал за ним, ежеминутно поглядывая на циферблат радиометра. Скоро характерное подрагивание стрелки показало ему, что они напали на след. Профессор, оставляя следы радиоактивного йодистого калия, ушел из университета в сторону центра города. Это весьма обеспокоило и удивило Роутона, и его волнение достигло предела, когда оказалось, что следы совершенно явно ведут к ближайшей станции метро.

— Доконал нас противный старикашка, — зло проворчал репортер. — В метро с танком не заедешь. Придется снова пускать в ход мыслительный аппарат. На скамейке ближайшего сквера он опять проанализировал положение по карте, в то время как Том, совершенно позабыв о его существовании, гонял с танком по газону.

Тем временем уже порядком стемнело. Роутон после глубокого раздумья вытащил аппаратик из танковой башни, сунул пустой танк пареньку в руку, похлопал его по щеке и побежал в сторону улицы, взмахом руки и пронзительными криками остановив одновременно два такси.

— На станцию, — бросил он шоферу. — На товарную, а не пассажирскую, — добавил он тут же.

— Хотите сбежать товарняком? Поздно уже — через полчаса восемь, сказал шофер.

— За каждый совет вычитаю пять центов с таксы, — невежливо сказал репортер. — Поезжайте, куда вам говорят, иначе я ни за что не ручаюсь. Перед товарной станцией он бросил приготовленную мелочь в раскрытую ладонь шофера и побежал так, словно под ним горела земля. Большие часы уже показывали без четверти восемь. "Массу времени загубил с пацаном", — ругал себя Роутон, когда, задыхаясь, перелез через высокую металлическую ограду. Он легко спрыгнул на деревянный грузовой настил. Пути, забитые вагонами, стояли тихие и безлюдные, только со стороны города долетал непрекращающийся гул и шум автомобилей.

"Почтенные люди разбегаются, и если бы не я, ничто бы им не помогло, — пронеслось у Роутона в голове. — А если мне не повезет, придется лететь в бесконечность".

Он опустил головку аппарата и, глядя на фосфоресцирующую в темноте стрелку, пошел так быстро, как только мог, стараясь описать возможно большую дугу. Он рассчитывал на то, что таким образом в каком-нибудь месте пересечет путь, по которому прибыл сюда Фаррагус, если он не ошибся в расчетах и старик действительно избрал местом последнего суда эту большую,

заполненную вагонами и безлюдную станцию.

Без семи восемь капельки пота покрыли лоб репортера. Он пробежал уже три четверти своего маршрута, а стрелка прибора не дрогнула. Фонари появлялись все реже. Тут было уже почти совершенно темно. Наконец он уже едва мог идти: слабый свет давали только лампы путевых стрелок.

Неожиданно стрелка прибора затанцевала, и почти одновременно он заметил лучик света, падающего на гравий. Он глубоко вздохнул, беззвучно положил уже не нужный теперь аппарат на землю и выпрямился. Дверь одного из вагонов была прикрыта неплотно, из щели падал дрожащий желтоватый свет.

— Свеча, — сказал себе Роутон, и на душе у него сделалось так хорошо, словно вся она была выложена стодолларовыми банкнотами. Он на цыпочках подкрался к вагону и заглянул внутрь сквозь щель. За большим ящиком сидел профессор. На краю доски стояла грязная, довольно толстая восковая свеча. "Громница"<sup>[152]</sup>, — подумал репортер. Рядом лежали часы, и совершенно явственно слышалось тиканье, усиленное резонансом пустого ящика. Фаррагус, сидя на грязном полу, опирался о край ящика и тяжело дышал. В руке у него была стеклянная пробирка. Бросив взгляд на часы, репортер увидел, что у него в запасе еще шесть минут. "Не так уж мало, — подумал он, — но если бы тут стоял какой-нибудь полицейский, он наверняка с грохотом бросился бы в дверь, профессор сунул бы пробирку в огонь, и... пойте, хоры небесные. Надо придумать что-нибудь получше. Только бы, упаси боже, не испугать его. Жаль, я не прихватил шприца с водой: можно было бы погасить свечу". Но шприца не было, а часы тикали. Дьявольски быстро, подумал Роутон.

Он заметил, что на противоположной стороне вагона, на высоте ящика, в полуметре от его края, чернеет прямоугольная щель, настолько широкая, что в нее можно было просунуть руку. Он на четвереньках пролез под вагоном. Оказавшись по другую сторону пути, он увидел, что находится на расстоянии вытянутой руки от головы профессора, сидевшего к нему спиной. К сожалению, выступающая доска заслоняла свечу и задуть ее было невозможно. Да и такой неожиданный поступок мог вызвать у профессора сердечный приступ. Репортер стоял неподвижно. Вдруг что-то мягко коснулось его ноги. В первый момент он вздрогнул. Потом пошарил рукой в темноте. Это был маленький худой котенок, который терся о его ногу, тихо мурлыча. Роутон поднял котенка, взял его на руки и начал нежно гладить. "Кого любят старые засушенные книжные моли? — задумался он. Котов любят. А посему иди спасать мир, кот!" И Роутон мягко поставил котенка на краешек щели, легонько поддав ему под зад. Котенок тихо мяукнул и вскочил в вагон, а репортер прильнул к дыре, наблюдая, что делается внутри.

Профессор вздрогнул, поднял руку с пробиркой, но, завидев кота, снова сел. Что-то вроде усталой, горькой улыбки появилось на его сухих синих губах.

— Кс-с-с, — прошептал он. — Кс-с-с... киска... Котенок подошел к профессору. Тот протянул руку. Трубка с порошком мешала ему, поэтому он положил ее на ящик. Пробирка блестела на расстоянии двух ладоней от репортера, у которого даже дух захватило. Он вытащил из кармана трубку с солью и приготовился к решающему удару. В левую руку взял камушек и перекинул его через крышу вагона. Раздался короткий стук, и профессор опустил котенка, невольно повернув голову в сторону источника звука. Длилось это самое большее секунду. Потом профессор успокоился. Посмотрев на часы и, видя, что до восьми осталось еще три минуты, положил котенка на доски и протянул руку за пробиркой.

— Добрый вечер, — сказал Роутон. Профессор подскочил, схватился за сердце и отступил к стене. Но уже в следующий момент взял себя в руки. Схватил пробирку и поднес ее к пламени.

— Фу, вы собираетесь нарушить слово? — сказал репортер. — Но ведь... еще осталось три минуты. Профессор изумленно вперился во тьму. Это, должно быть, какой-то дьявольски

храбрый человек, если он осмелился так говорить, а может, у него есть даже револьвер, и сейчас он целится в него?

— Револьвер вам не поможет, — сказал он наобум. — Вы видите, дно пробирки в двух сантиметрах от пламени. Даже если вы выстрелите, я успею сунуть ее в огонь.

— Вижу, — ответил Роутон, — но у меня нет револьвера.

— Кто вы? Что вам надо?

— Я хотел с вами побеседовать.

— Отойдите.

— А не все ли равно, где встречать конец света? Почему бы нам не поговорить?

— Вы что, ошалели? Через две минуты произойдет нечто ужасное, нечто страшное — катаклизм, которого не знали ни звезды, ни люди.

— Хорошо, — сказал репортер, — с человечеством в порядке, но что вам надо от котенка?

— Что? Как?

— Чем провинился перед вами котенок, что вы и его хотите убить?

— Я... котенка?

— Профессор, а такой непонятливый, — материнским тоном сказал Роутон. — Ведь приканчивая Вселенную, вы и котенка тоже погубите.

— Вон! — закричал профессор, и рука, держащая пробирку, задрожала.

— Идите прочь! Через полторы минуты... через полторы минуты... Он тяжело дышал, блестящими глазами вглядываясь в часы. Большие капли пота выступили у него на лбу и стекали по лицу.

— Может быть, вы успокоитесь? — мягко сказал репортер. Подумайте. Сколько прекрасных вещей есть в мире: птицы, горы, женщины, дети — большинство из них даже не знают, что должны умереть. Ведь это очень скверно: из личных побуждений, из гордости устроить конец света.

— Да вам-то что известно?! — буркнул профессор. Секундная стрелка обегала диск. Еще минута и двадцать секунд!

— Не столько, сколько вам, но все-таки кое-что мне известно. Подумайте о звездах. Тысячи людей смотрят на них каждую ночь. Мужчины, плывущие на океанских кораблях, эскимосы в полярных льдах... Негры... Почему вы хотите все это у них отнять? Отнять можно только то, что даешь, да и это нехорошо.

— Идите вы со своими проповедями, — выдохнул профессор, — а то... а то...

— Что — "а то"? Ведь вы и так собираетесь сделать черт знает что, так что уж хуже не будет. Вы серьезно собираетесь сунуть пробирку в пламя? Но, собственно, зачем? Ведь вы даже удовлетворения не почувствуете. Гунора вы не убедите — в лучшем случае превратите его в кучку пыли.

— Прочь! — рявкнул Фаррагус. Оставалось еще пятьдесят секунд.

— Успокойтесь. Я должен сказать вам кое-что весьма неприятное. Профессор зловеще рассмеялся — если этот сдавленный, похожий на кашель звук можно было назвать смехом.

— Любопытно, что такое, по-вашему, неприятность для меня, — сказал он. — Но говорите быстрее, осталось еще сорок секунд.

— Не надо так спешить. У нас есть время. Так вот... только вы действительно приготовьтесь к скверному известию.

— Идиотизм. Вы меня на пушку не возьмете, — проворчал Фаррагус.

— А я и не пытаюсь. Я — Роутон из "Ивнинг стар", тот, что написал статью — помните?

— Ну и что? Только поэтому вы хотите, чтобы я не сунул пробирку в огонь?

— Ну... нет, но знаете, этот порошок в вашей пробирке... не совсем генетон. Профессор



резко поднес трубку к глазам.

— Лжете! Что значит "не совсем"?

— Ну, это я, чтобы вы не волновались... говорят, у вас сердце больное... я, видите ли, забрал ваш порошок.

— А это что? Уж не сахар ли? — ехидно спросил Фаррагус. — Ну, довольно. У вас осталось ровно столько времени, чтобы быстренько помолиться, если вы верующий. Мне это ни к чему.

Стрелка подходила к черте. Оставалось еще десять секунд.

— Нет, это не сахар, это соль, — сказал репортер. — Будьте осторожнее, когда станете совать пробирку в пламя, потому что соль стреляет, еще обожжетесь... Фаррагус рыкнул и сунул стекло в огонь.

— Только спокойно... спокойно... — говорил репортер, словно ребенку. — Все будет хорошо... вот увидите. Пламя охватило стекло, порошок действительно только потрескивал в пробирке. И все.

— Не взрывается... — простонал профессор. — Подлец, что вы наделали?!

— Я же вам говорил. Пробирочку заменил.

— Так это правда? Когда?

— Минуту назад, когда вы отвернулись. Это я бросил камушек. Да вы не волнуйтесь. Генетон — наверняка прекрасное изобретение, только лучше уж его не испытывать.

— Действительно, не взрывается... — профессор еще глубже засунул пробирку в огонь.

— Я еще никогда не видел, чтобы соль взрывалась, к тому же такая чистая... Вам плохо? — сказал репортер. Он молниеносно пролез под вагоном на другую сторону пути, изо всей силы толкнул дверь и вскочил внутрь. Фаррагус издал глухой крик, закачался и упал. Его рука инстинктивно потянулась к карману. Репортер поддержал его, всунул руку в карман профессора и, найдя там флакончик с лекарством, силой влил лежащему без сознания Фаррагусу в рот несколько капель. Вскоре профессор начал дышать спокойнее. Когда он открыл глаза, то увидел, что сорочка у него расстегнута, а под голову засунуто что-то мягкое — пиджак Роутона. Что-то теплое согревало ему сердце. Профессор протер глаза — кот. Это было дело рук Роутона.

— Страшно нервные вы, ученые, — сказал Роутон. — Ну, уже лучше, да? Пойдем баиньки! А может быть, вы скажете что-нибудь интересное нашим читателям? Я сейчас бегу к телефону. Будет чрезвычайный выпуск. Впрочем, это не обязательно, пусть это вас не волнует, уж я что-нибудь придумаю за вас.

— Обокрал меня, обокрал меня... — шептал профессор, не имея сил, чтобы подняться. — Уйдите... уйдите... что за муки! Он прикрыл глаза и лежал словно мертвый. Слезинка выкатилась у него из уголка глаза и сбежала на грязный пол.

— Да, обокрал, — деловито произнес репортер, — но мне сдается, я поступил правильно. Впрочем, с этим вы и сами позже согласитесь. Он встал.

— А теперь потихоньку пойдем к ближайшей стоянке такси, — сказал он, — а кота я советую вам прихватить с собой. Все-таки близкая душа. Я сам охотно взял бы его, но у меня такая злющая хозяйка. Она может его обидеть.

— Куда вы дели мой генетон? Что вы с ним сделали? — шептал профессор, пока репортер помогал ему встать.

— Порошок-то? Никуда пока еще не дел. Тут он — в карманчике для часов. Я, наверное, получил бы за него и миллион, да это не мое. Я отдам его вам, но, разумеется, только тогда, когда вы дадите мне честное слово — а? В связи с этим концом света у меня были некоторые расходы: танк влетел мне в шесть долларов, счетчик Гейгера почти в тридцать, мороженое, такси — да и радиоактивная паста тоже на улице не валяется, — но это уж мое дело. Вы мне дадите только слово. Вы это сделаете — правда? Вашего слова мне достаточно.

# Существуете ли вы, мистер Джонс?

*Судья.* Суд приступает к рассмотрению дела «Сайбернетикс компани» против Гарри Джонса. Присутствуют ли обе стороны?

*Адвокат.* Да, господин судья.

*Судья.* Вы выступаете от имени?..

*Адвокат.* Я юрисконсульт фирмы «Сайбернетикс компани», господин судья.

*Судья.* Где же ответчик?

*Джонс.* Здесь, господин судья.

*Судья.* Ваше имя, фамилия?..

*Джонс.* К вашим услугам, господин судья. Джонс Гарри. Родился 6 апреля 1917 года в Нью-Йорке.

*Адвокат.* Разрешите, господин судья, по существу вопроса. Ответчик говорит неправду: он вообще не родился.

*Джонс.* Пожалуйста, вот моя метрика. А в зале находится мой брат, который...

*Адвокат.* Это совсем не ваша метрика, а указанное лицо не является вашим братом.

*Джонс.* Чьим же? Интересно, чьим? Может быть, вашим?

*Судья.* Тише! Одну минутку, господин юрисконсульт. Итак, мистер Джонс?

*Джонс.* У моего покойного отца, Лексигтона Джонса, была авторемонтная мастерская, и он привил мне любовь к этой профессии. В семнадцатилетнем возрасте я впервые принял участие в автомобильных гонках. С тех пор я стартовал как профессионал восемьдесят семь раз и завоевал шестнадцать раз первое место, двадцать один — второе...

*Судья.* Благодарю вас, эти подробности к делу не относятся.

*Джонс.* Три золотых кубка, три золотых кубка.

*Судья.* Достаточно, благодарю вас.

*Джонс.* И серебряный венок.

*Судья.* Прошу прекратить! Есть ли у вас защитник?

*Джонс.* Нет. Я сам буду защищать себя. Мое дело ясно как божий день.

*Судья.* Знаете ли вы, мистер Джонс, какой иск предъявляет вам «Сайбернетикс компани»?

*Джонс.* Знаю. Я пал жертвой бесчестной деятельности коварных акул...

*Судья.* Благодарю вас. Господин юрисконсульт Дженкинс, можете ли вы изложить суду содержание иска?

*Адвокат.* Да, господин судья. Два года тому назад с ответчиком, принимавшим участие в автомобильных гонках под Чикаго, произошел несчастный случай. Ему отняли ногу. Тогда он обратился в нашу фирму. Как известно, «Сайбернетикс компани» изготавливает протезы рук, ног, искусственные почки, сердца и другие органы. Ответчик купил в рассрочку протез левой ноги, уплатив первый взнос. Четыре месяца спустя он обратился к нам снова, заказав на этот раз протезы обеих рук, грудной клетки и шеи.

*Джонс.* Ложь! Шею — весной, после автогонки по горной местности.

*Судья.* Будьте добры, не перебивайте.

*Адвокат.* После этой второй по счету сделки задолженность ответчика фирме составила 2967 долларов. Через пять месяцев к нам обратился от имени ответчика его брат. Ответчик находился тогда в больнице Монте-Роза под Нью-Йорком. По новому заказу фирма после получения задатка выслала ответчику ряд протезов, подробный перечень которых приложен к делу. В нем, в частности, указан заменяющий полушария головного мозга электронный мозг марки «Гениак» стоимостью 26500 долларов. Я обращаю внимание высокого суда на тот факт,

что ответчик заказал у нас одну из лучших, наиболее совершенных моделей «Гениака» со стальными лампами, аппаратурой для цветных сновидений, горефильтром и печалеглушителем, хотя это в значительной степени превышало финансовые возможности мистера Джонса.

*Джонс.* О, конечно, вы бы предпочли, чтобы я удовлетворился вашим серийным мозгом!

*Судья.* Прошу не мешать!

*Адвокат.* О том, что ответчик действовал сознательно и совсем не намерен был уплатить фирме за приобретенные вещи, свидетельствует тот факт, что он заказал у нас не обыкновенный, а специальный протез руки с вмонтированными швейцарскими часами марки «Шаффхаузен» на восемнадцати камнях. Когда долг ответчика возрос до 29863 долларов, мы потребовали возвратить фирме все ранее приобретенные протезы. Однако суд штата отклонил нашу жалобу, мотивируя это тем, что, лишив ответчика протезов, мы тем самым отнимем у него возможность дальнейшего существования, ибо следует заметить, что к этому времени от бывшего мистера Джонса осталось всего лишь одно полушарие головного мозга.

*Джонс.* Что значит, от «бывшего Джонса»? Уж не премирует ли вас, адвокатишка, фирма за оскорбления?

*Судья.* Прошу не мешать! Мистер Джонс, если вы будете оскорблять истца, я оштрафую вас.

*Джонс.* Но ведь это он меня оскорбляет!

*Адвокат.* При всем этом ответчик, имея такую задолженность, протезированный с головы до ног фирмой «Сайбернетикс компани», которая отнеслась к нему столь сердечно и беспрекословно исполняла малейшее его желание, публично поносил наши изделия, жалуясь на их плохое качество. Это, однако, не помешало ему три месяца спустя снова обратиться к нам. Он жаловался на недомогание и боли, которые, как определили наши эксперты, были вызваны тем, что старое полушарие головного мозга плохо себя чувствовало в новом, так сказать, протезном окружении.

Руководствуясь высокими принципами гуманизма, фирма и на этот раз удовлетворила просьбу ответчика и согласилась полностью «гениализировать» его, то есть заменить его собственную, старую часть мозга подобным же аппаратом-близнецом марки «Гениак». В счет этого нового кредита ответчик выдал нам вексели на сумму 26950 долларов, по которым уплатил нам всего лишь 232 доллара 18 центов. При таком положении... Высокий суд, ответчик умышленно мешает мне говорить, заглушая мою речь каким-то шипением, чириканьем и скрежетом. Прошу вас, успокойте его!

*Судья.* Мистер Джонс...

*Джонс.* Это не я, а мой «Гениак». Он всегда так ведет себя, когда я напряженно думаю. Должен ли я отвечать за «Сайбернетикс компани»? Высокий суд обязан привлечь в данном случае к ответственности председателя Доневена за бракоделство!

*Адвокат.* При таком положении вещей фирма просит признать за ней полное право собственности на изготовленного ею и присутствующего здесь в зале самозваного набора протезов, незаконно выдающего себя за Гарри Джонса.

*Джонс.* Что за наглость! А где же, по-вашему, Джонс, если не здесь?!

*Адвокат.* Здесь, в судебном зале, нет никакого Джонса, так как бранные останки этого известного чемпиона покоятся на различных автострадах Америки. Таким образом, если мы выиграем дело, то никто не пострадает от этого, так как фирме будет передано то, что ей законно принадлежит, начиная с нейлоновой оболочки и кончая последним винтиком!

*Джонс.* Этого еще не хватало! Они хотят разобрать меня на части, на отдельные протезы!

*Председатель Доневен.* Не ваше дело, что мы сделаем со своей собственностью!

*Судья.* Господин председатель, будьте любезны, не перебивайте! Благодарю вас, господин

юрисконсульт. Что вы хотите сказать, мистер Джонс?

*Адвокат.* Господин судья, я хотел еще заметить по существу, что ответчик фактически является не ответчиком, а своего рода неодушевленным предметом, утверждающим, что он это он. Однако в действительности, поскольку он не существует...

*Джонс.* Подойдите-ка ко мне поближе, вы убедитесь, существую ли я.

*Судья.* Да... гм, это на самом деле очень, очень странный случай. Гм! Господин юрисконсульт, вопрос о том, существует или нет ответчик, я оставляю открытым до тех пор, пока суд не вынесет решения, так как в противном случае это очень осложнило бы нормальное судопроизводство. Мистер Джонс, предоставляю вам слово.

*Джонс.* Высокий суд и вы, граждане Соединенных Штатов, являющиеся свидетелями бесчестных действий крупного концерна, направленных на подавление свободной, мыслящей личности...

*Судья.* Я прошу вас, обращайтесь только к суду. Вы не на митинге.

*Джонс.* Верно, господин судья. Дело было так: я действительно приобрел в фирме «Сайбернетикс компани» несколько протезов...

*Председатель Доневен.* Несколько протезов! Это мне нравится!

*Джонс.* Высокий суд, призовите, пожалуйста, к порядку этого господина. Так вот, я купил эти протезы. Не буду уже говорить о том, каковы они. Не буду говорить о том, что все время, хожу ли я, сижу ли, ем или сплю, в голове у меня такой шум, что я вынужден был даже переселиться в другую комнату, чтобы не будить ночью брата. Что из-за этих разрекламированных «Гениаков», переделанных из негодных к употреблению счетных машин, меня теперь преследует мания счета: я непрерывно считаю, будь то заборы, кошки, столбы, прохожие или еще бог знает что. Я не буду распространяться на этот счет, во всяком случае, я был намерен уплатить все мои долги. Однако деньги я мог бы получить в том случае, если бы выиграл на гонках. Между тем я был в плохой форме, впал в уныние, потерял голову...

*Адвокат.* Ответчик сам признает, что потерял голову! Прошу суд обратить внимание на данное обстоятельство!

*Джонс.* Не перебивайте меня, пожалуйста! Я сказал это в другом смысле. Я потерял голову и начал играть на бирже, проигрался, и мне пришлось занять деньги. При всем том я чувствовал себя прескверно. В левой ноге все время покалывало, из глаз сыпались искры, мне снились какие-то идиотские сны о швейных, чулочных и трикотажных машинах. Я лечился у психоаналитиков, которые нашли у меня комплекс Эдипа, так как моя мать шила на швейной машине, когда я был ребенком. Как раз в это время, когда я уже совершенно ослабел, фирма начала таскать меня по судам. Об этом писали в газетах. В результате этой злобной клеветы община методистов (я методист) закрыла передо мной свои двери.

*Адвокат.* Вы жалуетесь на это? Значит, вы верите в загробную жизнь?

*Джонс.* Верю. А вам какое дело до этого?

*Адвокат.* Меня это очень интересует, так как мистер Гарри Джонс живет уже загробной жизнью, а вы просто узурпатор!

*Джонс.* Думайте, прежде чем говорить!

*Судья.* Я прошу обе стороны соблюдать порядок.

*Джонс.* Высокий суд, когда я находился в таком тяжелом положении, фирма предъявила мне иск. Когда же суд отклонил ее требования, ко мне обратился какой-то темный тип, некий Гоас, подсланный ко мне председателем Доневенном. Но я тогда обо всем этом еще не знал. Этот Гоас представился мне и сказал, что он монтер-электрик и что против всех моих недомоганий есть только одно средство: позволить полностью «гениализировать» себя. При тогдашнем состоянии здоровья я даже мечтать не мог об автомобильных гонках. Что же мне

оставалось делать? Я дал свое согласие, и Гоас повел меня на следующий день в монтажный отдел фирмы «Сайбернетикс».

*Судья.* Значит, у вас вынули?..

*Джонс.* Да, конечно.

*Судья.* И вместо этого вмонтировали?..

*Джонс.* Ну да, но я никак не мог понять, почему они так охотно мне все это делали, притом на таких выгодных условиях — в рассрочку на много лет. Но теперь-то я хорошо знаю! Высокий суд! Они хотели лишиться меня моего старого собственного полушария. Ведь суд отклонил их иск на том основании, что эта несчастная часть моей головы не могла бы самостоятельно существовать, если бы у меня отняли все остальное. Поэтому суд ничего не признал им. Они воспользовались моей наивностью и упадком умственной деятельности, вызванным несчастными случаями, и подослали ко мне этого Гоаса, чтобы я сам согласился на устранение этой старой части. Таким образом, я стал жертвой их коварных замыслов! Правда, это безумие недолговечно! Ибо, Высокий суд, что стоят их рассуждения? Они утверждают, что имеют какие-то права на меня. Но с какой стати? Скажем, кто-то покупает у лавочника в кредит муку, сахар, мясо и другие продукты, а тот обращается в суд с требованием, чтобы ему передали в собственность должника, потому что, как известно из медицины, телесные вещества непрерывно обновляются за счет питательных. Итак, по истечении нескольких месяцев весь должник, с головой, печенкой, руками и ногами, состоит уже из белков и углеводов, проданных ему лавочником в кредит. Есть ли где бы то ни было в мире такой суд, который удовлетворил бы иск лавочника? Живем ли мы в средневековье, когда Шейлок мог требовать фунт живого мяса от своего должника? Мы имеем дело с аналогичным случаем! Я чемпион автогонок Гарри Джонс, а не какая-то машина.

*Председатель Донебен.* Неправда, вы машина!

*Джонс.* Ах так! Так кого же в таком случае обвиняет ваша фирма? Кому выслана судебная повестка? Какой-то машине или же мне, Джонсу? Господин судья, может быть, вы объясните нам это?

*Судья.* Гм... да, повестка адресована Гарри Джонсу, Нью-Йорк, 44-я авеню.

*Джонс.* Вы слышите, господин Донебен? Кроме того, господин судья, разрешите мне задать еще один вопрос процессуального порядка: предусматривают ли законы Соединенных Штатов судебные процессы против машин? Можно ли, например, вызывать их в суд, обвинять в чем-то...

*Судья.* Нет... нет. Это законом не предусмотрено.

*Джонс.* В таком случае все ясно. Раз я машина, значит о судебном разбирательстве не может быть и речи, так как машина не может быть заинтересованной стороной в судебном деле. Если же я являюсь не машиной, а одной из сторон, то какие претензии имеет ко мне фирма? Должен ли я стать ее рабом? Хочет ли господин Донебен быть рабовладельцем?

*Председатель Донебен.* Что за наглость!.. И все же... эти наши «Гениаки»... что?

*Джонс.* Какое там ваши! Высокий суд, о применяемых фирмой методах пусть свидетельствует следующий факт. Когда я, измученный болезнью, кое-как собранный, вышел из больницы и пошел на пляж, чтобы подышать свежим воздухом, я заметил, что за мной ходят толпы. И что же? Оказалось, что на спине у меня надпись «Made in Cybernetik's Company». Мне пришлось на собственный счет вырезать ее и вместо нее поставить заплатку. И теперь меня еще преследуют! Да, бедняк всегда подвержен гневу богачей, мне неоднократно повторяли это мои незабвенные отец и мать.

*Председатель Донебен.* Ваши отец и мать — это фирма «Сайбернетикс компани».

*Судья.* Прошу успокоиться. Кончили ли вы вашу речь, мистер Джонс?

*Джонс.* Нет. Во-первых, я хотел подчеркнуть, что фирма должна обеспечить дальнейшее мое существование, так как мне не на что жить. Правление мотоклуба дисквалифицировало меня в панамериканских гонках, состоявшихся месяц тому назад, заявив, что моей машиной управляло какое-то «неодушевленное автоматическое устройство». Кто это все подстроил? Они! Фирма «Сайбернетикс компани», направившая мотоклубу клеветническое письмо, пасквиль! Они отнимают у меня хлеб, так пусть дают мне средства для дальнейшего существования, пусть снабжают меня запасными частями! Разве я виноват, что постоянно то тут, то там перегораю?! Этого еще мало, при каждой встрече служащие фирмы и особенно хозяева оскорбляют меня!

Председатель Доневен предлагал мне полюбовно решить этот вопрос, он хотел, чтобы я согласился стать рекламным макетом и ежедневно торчал восемь часов в витрине! Когда же я ему отказал, говоря, что это унижительное для автогонщика занятие, чтобы он подавился подобными мыслями, он ответил, что он уже подавился мной и что это обошлось ему в 56 тысяч долларов. За это и подобные оскорбления я подам на фирму в суд. А теперь я прошу, Высокий суд, выслушать в качестве свидетеля моего брата, так как он знает все подробности.

*Адвокат.* Господин судья, я протестую против вызова в качестве свидетеля брата ответчика.

*Судья.* По поводу родства?

*Адвокат.* И да и нет... Дело в том, что брат ответчика потерпел на прошлой неделе авиакатастрофу.

*Судья.* Вот как! И не может явиться в суд?

*Брат Джонса.* Могу. Я пришел.

*Адвокат.* Да, действительно он может. Но дело в том, что эта катастрофа оказалась для него трагичной и по заказу его жены фирма изготовила нового брата ответчика.

*Судья.* Что нового?

*Адвокат.* Нового брата и в то же время мужа вдовы.

*Судья.* Ах так!

*Джонс.* Что же такого? Почему же брат не может давать показания? Ведь жена брата уплатила наличными.

*Судья.* Прошу успокоиться! Ввиду необходимости рассмотреть дополнительные обстоятельства, суд решил отложить слушание дела «Сайбернетикс компани» против Гарри Джонса.





Они перестали целоваться. Янек Хайн шел напрямик через луг и был уже совсем близко от них. Временами трава доходила ему до коротких кожаных штанишек с вышитыми на карманах шестизарядными револьверами, по одному на каждом. Тонким прутиком маленький Янек старательно сшибал головки одуванчиков. Они ждали, когда мальчик пройдет. Он миновал их, оставив за собой ленточку светлого пуха, и ветер пронес ее над головами влюбленных. Несколько пушинок запуталось в крыжовнике, за которым они прятались. Юноша прижался щекой к обнаженной руке девушки, нежно прикоснулся губами к смуглой коже там, где снежинкой отпечатался след от оспы, и посмотрел в ее ореховые глаза. Она глянула на луг и тихонько оттолкнула его от себя. Янек остановился, так как одуванчик, до которого он едва дотянулся концом прутика, не облетел, а лишь чуть-чуть наклонился. Резко просвистел прут, и над одуванчиком поднялось белое облачко. Янек пошел дальше, становился меньше и меньше. За спиной у него болтался мешочек, из которого торчала бутылка для сливок.

Девушка бросилась на траву, над ее черными волосами качались покрытые пушком твердые прозрачные ягоды крыжовника. Юноша пытался перевернуть ее навзничь, а девушка прятала свое лицо на его груди и беззвучно смеялась; потом вдруг подняла разгоряченное лицо, обожгла его губы горячим дыханием, обняла за шею и провела рукой по коротко подстриженным волосам на затылке. Они целовались, лежа в небольшом углублении, походившем на неглубокую могилу, — вероятно, когда-то здесь был окоп. До того, как деревне передали пастбище, тут был полигон. Да и сейчас еще лемеха плугов натыкались на зарывшиеся глубоко в землю, позеленевшие от времени гильзы.

Маленькие мушки — они были видны только в солнечном луче — роились над кустарником тонким кружевным венчиком, будто их единственная цель заключалась в том, чтобы образовывать в воздухе переменчивые, просвечивающиеся, непонятные силуэты. Мушки не жужжали и почти не чувствовались, когда садились на руку, — такие были маленькие. Где-то невидимый косарь точил косу, и размеренный звон доносился неизвестно откуда. Девушке не хватило дыхания, она оттолкнула парня, запрокинула резко голову, зажмурил ослепленные солнцем глаза, блеснули зубы, но она не улыбалась. Он поцеловал закрытые глаза девушки, чувствуя губами трепетанье жестких, длинных ресниц. В небе что-то засвистело. Девушка оторвалась от юноши, веки ее дрогнули, и он увидел страх в ее расширившихся зрачках.

— Это самол... — начал юноша.

Свист перешел в вой. На голове юноши от ветра зашевелились волосы. И наступила темнота. Клен, росший в пятнадцати шагах от них, взлетел кверху, его раскидистая крона медленно описала в воздухе дугу, и над остатком расщепленного ствола поднялось облако пара; далеко в траву падали ветви, но шума падения не было слышно, все перекрывал грохот, непрерывный, катящийся во все стороны, дальше и дальше — покамест не прекратилось мерное позвякивание косы.

Янек Хайн — шестьсот метров отделяло его от первых деревьев на шоссе — обернулся с побелевшим от страха лицом и увидел облако дыма и пара, разделившееся вверху на две части; кислая, едкая волна горячего воздуха обрушилась на него и швырнула в сторону, прежде чем он успел крикнуть и закрыть лицо руками (в правой он все еще держал прутик); ему показалось, что громадное, свитое из отдельных клубков облако застыло, как на моментальном снимке, а у его основания, у самой земли, до этого зеленой, а теперь вдруг почерневшей, вздымается что-то блестящее, похожее на огромный мыльный пузырь. Больше мальчик ничего не видел, как подкошенный упал он в траву, услужливо раздвинутую перед ним грозовой волной звуков,

жесткая стена воздуха, сметающая все на своем пути, была уже далеко — у шоссе, и высокие тополя ломались один за другим, как спички. Устояли лишь самые дальние, почти на самом горизонте, там, где блестела крытая медью башенка «Дома туриста».

Косарь работал в противоположном конце пастбища, почти на середине длинного склона, спускавшегося к высохшему ручейку. Вершина холма заслоняла происходившее, но он слышал протяжный надрывный свист и треск и увидел, как из-за холма поднялся столб дыма. Он был единственным, кто подумал, что упала бомба, хотел бежать к воде, спрятаться в ней, но даже не успел обернуться — налетела взрывная волна, она была сильнее, чем у шоссе, ее подгонял ветер, она пронеслась вверху, высоко над косцом, у него замелькало все перед глазами, посыпались листья, мелкие комья земли. Он бросил косу и оселок, сделал несколько шагов в сторону вздымавшегося кверху столба дыма, но тут же повернул назад и, втянув голову в плечи, помчался вдоль речки к шоссе.

Примерно на час воцарилась тишина. Усилившийся ветер разметал столб дыма, его грушевидная, клубящаяся шапка, рассеиваемая ветром по мере того, как она поднималась выше и выше, слилась с облаками, мерно плывущими к югу, и наконец исчезла за горизонтом. В первом часу на шоссе показались две медленно идущие автомашины. Они подъехали к тому месту, где поваленные деревья преградили дорогу, и остановились.

В машинах сидело несколько десятков солдат, офицер и трое штатских. Солдаты сразу же принялись убирать с дороги поваленный тополь, но офицер, увидев, что это займет много времени, отозвал их и, стоя возле первой, открытой машины, пристально рассматривал в бинокль пастбище. Бинокль был большой, с сильными линзами, и офицер, чтобы удержать его, вынужден был опереться локтем на открытую дверцу машины.

По траве под порывами ветра бежали волны мелких блесток. Офицер, плотно прижав к глазам бинокль, тщательно просматривал изрезанную холмами местность. Примерно в семистах метрах от автомобиля, на пологом склоне холма совсем недавно стояла группа деревьев — остатки старого, давно вырубленного сада, — окруженная низкими кустами одичавшего крыжовника и смородины. Теперь на этом месте было серое неправильной формы пятно, окаймленное пожелтевшей травой, дальше от пятна желтизна исчезала, постепенно переходя в сочную зелень луга.

Полоска кустарника, росшая вдоль старой границы сада, обрывалась возле пятна, и на месте ее под сильными порывами ветра дымились какие-то бесформенные лохмотья, а в самом центре воронки медленно пульсировало полупрозрачное, молочного цвета облачко, напоминая клубы пара, вырывающиеся из старого локомотива, и виднелся какой-то выпуклый, блестящий, голубой, как небо, предмет. От него в черную как уголь землю отходили короткие, блестящие на солнце отростки, воронкообразно расширяющиеся на концах. С одной стороны эти ответвления упирались в остатки ствола вывороченного, обгоревшего дерева.

Офицер решил, что увидел все, что можно было увидеть. И вдруг среди взлохмаченного кустарника заметил какой-то бледно-серый холмик со срезанной вершиной. Офицер подкрутил окуляры бинокля, но все расплылось, и ему больше ничего не удалось разглядеть.

— Это там упало.

— Наверное, спутник.

— Смотрите, как блестит, — стальной...

— Да нет, на сталь не похоже.

— Во какой прилетел! Как думаешь, горячий?

— Еще как!

— Но почему он так дымит?

— Это не дым, а пар. Наверное, внутри была вода.

Офицер слышал эти разговоры за своей спиной, но сделал вид, что не обращает внимания. Он спрятал бинокль в футляр и тщательно его запер.

— Сержант, — обратился он к унтер-офицеру, который мгновенно вытянулся в струнку и принялся есть глазами начальство, — возьмите солдат и окружите это место в радиусе... метров двухсот. Никого не допускать, зевак гоните прочь. И смотрите, чтобы кто-нибудь из них ненароком не пролез туда. Ваше дело — занять посты, остальное вас не касается. Понятно?

— Так точно, господин капитан!

— Ну, ладно. А вам, господа, здесь больше делать нечего. Возвращайтесь в город.

Штатские, стоявшие вместе с шоферами возле второго автомобиля, протестующе зашумели, но открыто никто ничего не сказал. Когда солдаты, перейдя ров, двинулись, растянувшись цепочкой, напрямик к холмам, капитан закурил сигарету и, стоя под сломанным тополем, ждал, пока оба автомобиля развернутся. Он быстро набросал что-то на листке из блокнота и передал шоферу.

— Зайди на почту и дай телеграмму, немедленно! Понял?

Штатские неохотно сели в машину, все время поглядывая на цепочку солдат, фланги которой уже скрылись в поросшей травой лощине, а середина медленно полукругом приближалась к желтеющей вдали полоске.

Заворчали моторы, автомашины одна за другой двинулись в сторону местечка.

Офицер постоял еще немного под деревом, затем подошел к неглубокой канаве, сел на ее край и снова, подперев локоть рукой, стал рассматривать в бинокль пятно на склоне холма.

В третьем часу, когда на дне канавы у его ног валялась уже куча окурков, а едва заметные фигурки солдат, до пояса скрытые травой, все чаще стали переминаясь с ноги на ногу, с трудом подавляя желание присесть, с запада послышался густой рокот моторов.

Офицер вскочил. Прошло несколько минут, прежде чем ему удалось высмотреть в небе что-то вроде огромного комара: сначала одного, затем второго и третьего. В бинокле их силуэты росли довольно медленно, но все же через минуту, гудя моторами, вертолеты проплыли треугольником над шоссе и стали описывать над пастбищем неровные круги.

Строй, в котором вертолеты шли над шоссе, нарушился — один из вертолетов повис над черным пятном, два других замерли в воздухе чуть в стороне от первого, и только ветер, слегка покачивая машины, немного относил их. Офицер выбежал из-за деревьев и большими скачками, чтобы не мешала высокая трава, помчался по лугу, потом вдруг остановился и начал махать руками, словно приглашая вертолеты приземлиться. А они, казалось, не замечали этого, даже когда в руке офицера затрепетал на ветру белый платок. Офицер взмахнул им еще несколько раз и наконец опустил руки, немного постоял и медленно побрел в сторону пятна, над которым в каких-то ста метрах от земли все еще висел, тяжело перемалывая воздух, вертолет с толстым брюхом и длинным, похожим на трубу хвостом с блестящим диском второго винта.

Над стекловидной бочкой в центре пятна все еще поднимались маленькие облачка пара и таяли под вертолетом, который чрезвычайно медленно снижался, словно опускался на невидимом канате. Вдруг моторы всех трех машин заворчали сильнее, и вертолеты снова выстроились треугольником. Офицер растерялся от неожиданности и остановился. Он стоял, расставив ноги, подняв вверх голову. Ему показалось, что вертолеты улетают, но в это мгновение винты остановились, машины спланировали и одна за другой приземлились на вершине ближайшего холма.

Офицер резко повернулся и направился к ним, ему нужно было сделать, наверное, шагов пятьсот, а тем временем вылезшие из двух машин люди в серо-голубых комбинезонах выгрузили целую грудку продолговатых пакетов, завернутых в брезент, канистры, несколько высоких узких ящиков, обмотанных парашютным шелком, увязанные в тугие пучки штативы,

треноги, большие кожаные футляры. Выгрузка происходила под надзором трех мужчин, высадившихся из последнего вертолета. Возле этой машины стояли еще два человека: один в пыльнике, другой в летном комбинезоне с расстегнутой до пояса молнией, — хорошо был виден белый короткий мех на его подкладке. Они разговаривали с сержантом, успевшим добежать к месту приземления раньше офицера.

Капитан шел медленно, так как склон, по которому он поднимался, оказался крутым. Офицер был зол на сержанта за то, что тот самовольно покинул пост, но внешне не обнаруживал своих чувств. Пилот, взглянув на офицера, спросил:

— Капитан Тоффе? Это вы прислали донесение?

— Сержант, скажите ребятам, чтобы пропустили экспедицию, — приказал капитан, делая вид, что не слышал вопроса. Тогда пилот отвернулся и стал разговаривать с другим пилотом, прихлебывавшим кофе прямо из термоса. К ним присоединился и третий спутник.

— А вы будете здесь ждать? — рискнул задать вопрос капитан, несколько нерешительно подходя к пилотам, которые в этот момент стали вдруг смеяться над тем, что сказал самый низкий из них, казавшийся непомерно толстым в комбинезоне на искусственном меху. Никто не ответил офицеру, но в этот момент мужчина преклонного возраста, в пыльнике, опирающийся на тонкую трость с серебряным набалдашником — капитан никогда еще такой не видел, — спросил:

— Может, вы мне расскажете, что здесь произошло? Я профессор Виннель.

Капитан повернулся и горячо, но весьма обстоятельно начал рассказывать ему, как в полдень в местечке услышали грохот, словно гром прогремел, хотя небо было ясным, как на горизонте заметили облако дыма, как в полицию прибежал запыхавшийся косец, но полицейский пост был на замке, так как все полицейские выехали в Дертекс на торжественное открытие мемориальной доски, установленной на том месте, где во время войны бомбой убило трех участников обороны побережья, как он сам, капитан Тоффе, на свой риск и страх принял решение направить солдат к месту взрыва, как, выезжая из местечка, они встретили прихрамывающего и заплаканного мальчика Янека Хайна...

— Подходили ли вы к этому месту близко? — профессор указал тростью на склон противоположного холма, над которым тихо плыли освещенные солнцем искрящиеся белые облачка.

— Нет, я расставил посты и отправил телеграмму...

— Вы поступили разумно. Благодарю вас. Маурелл! — повысил голос профессор, обращаясь к мужчине, занятому выгрузкой. — Что там такое?

Профессор уже не замечал капитана. Тоффе обернулся и посмотрел на пилотов — они возились с горизонтальным винтом последнего вертолета. Затем взгляд его остановился на группе людей, толпившихся у выгруженных предметов. Работа там шла полным ходом. На штативах темнели аппараты: один, с длинными трубами, походил на огромный бинокль; второй — на теодолит; кроме этих аппаратов, были там еще и другие; два человека усердно утаптывали траву и заколачивали в землю ножки штативов, кто-то, сидя на корточках, копался в открытых чемоданах, где находились аппараты. Они уже были соединены между собой кабелем, брошенным прямо на траву; несколько человек в комбинезонах торопливо монтировали что-то вроде крана.

— Солдаты считают, что это спутник, господин профессор. Конечно, болтают вздор. Сейчас такое время — стоит кирпичу упасть с крыши, как все кричат о спутнике.

— Активность? — спросил Виннель. Не глядя на Маурелла, который срачивал концы провода, профессор что-то мудрил над своей тростью. Вдруг ручка ее открылась и оттуда выскочил маленький, уже раскрытый зонтик. Это был просто-напросто складной нейлоновый

стул, на котором профессор уселся, широко расставив ноги, и поднес к глазам огромный бинокль.

— Нет ничего, — ответил Маурелл, выплевывая кусочек изоляции.

— Следы?

— Нет, все в норме. Холостая пульсация, несколько недель назад здесь, должно быть, выпал дождь с остатками стронция, вероятно, от последнего взрыва, но уже почти все смыло водой — счетчик едва реагирует.

— А эти облачка? — спросил профессор, медленно цедя слова, так говорят люди, все внимание которых поглощено чем-то другим. Трость, на которую он опирался, постепенно все глубже и глубже уходила в землю.

Резким движением профессор отнял бинокль от лица.

— Там какие-то тела, — проговорил он глухим голосом.

— Да, я видел.

— Профессор, а это не хондрит? — спросил третий мужчина. Он подошел к ним, держа в руках металлический цилиндр, от которого тянулся провод к кожаному футляру, висевшему у него на плече.

— Вы, что, хондрита не видели, — обрушился на него Виннель. — Это вообще не метеорит.

— Ну пошли? — спросил Маурелл.

Его собеседники с минуту стояли как бы в нерешительности. Виннель сложил трость и медленно пошел вниз по склону, внимательно глядя себе под ноги. Вчетвером, вместе с профессором, они миновали неглубокую седловинку между холмами, прошли посты — солдаты, замерев, глазели на них — и вступили на ломкую, обгоревшую, рассыпающуюся под ногами траву.

Капитан, минутку помедлив, двинулся за ними.

Маурелл первым вошел в проход, образовавшийся среди обожженных кустов, наклонился, что-то поднял с земли, посмотрел вперед и медленно пошел к темнеющему неподалеку холмику, к тому месту, где торчал обуглившийся пенек. Вскоре к Мауреллу подошли и остальные, вся эта небольшая группка застыла у воронки.

Немного ниже того места, где они стояли, из воронки торчал какой-то высокий — в два человеческих роста — грушевидный предмет, с совершенно гладкой, как будто отполированной поверхностью; из его верхнего конца вырывались чуть заметные маленькие облачка, точнее, очень тонкие колечки прозрачного пара, которые сразу же теряли форму и таяли в воздухе, а вместо них появлялись новые, — весь этот процесс проходил абсолютно бесшумно.

Никто из присутствующих, однако, вверх не смотрел.

Стеклянная груша, суживающаяся кверху, была слегка наклонена. В первую минуту она показалась прозрачной. На необычайно гладкой поверхности, освещенной солнцем, отражались, как в зеркале, небо, облака и группы людей, уменьшенных до размеров пальца. В глубине, пронизанной лучами, можно было увидеть как бы погруженную в стекло, удлиненную фигуру в человеческий рост. По мере приближения к центру стекло все более и более мутнело, а в самом центре становилось совсем матовым, местами даже отсвечивало темным перламутром. Фигура с одного конца заканчивалась двумя продолговатыми, склеенными между собой шарами, а с другого — расщеплялась начетверо, словно у нее было четыре ноги: две подлиннее, а две покороче, — и все это упиралось в нечто, напоминавшее живую изгородь, тоже погруженную в стекло; виден был только один ее фрагмент, контуры которого с обоих концов расплывались в мутной стеклообразной массе, и только посредине она рельефно выделялась, будто эту изгородь кто-то вырезал в снежно-белом коралле. Чем дольше люди всматривались в эту грушу, над которой через равные промежутки времени взмывали облачка пара, тем отчетливей и

отчетливей молочно-белые фигуры выделялись в окружающей их прозрачной массе, а мутная жидкость прилегалась к ним все плотнее и плотнее. Процесс этот совершался слишком медленно, и никому не удалось заметить какое-либо движение, хотя все смотрели не отрываясь очень длительное время и никто даже не пошевелился, когда донеслись ослабленные расстоянием тревожные крики людей, оставшихся на холме, у вертолетов, — ведь фигуры, заключенные в груше, становились еще более отчетливыми, и каждому казалось, что вот-вот можно будет все рассмотреть.

Первым из оцепенения вышел Маурелл, слабо вскрикнув, он закрыл глаза рукой и на какое-то мгновение застыл в этой позе.

— Там кто-то есть, — послышался голос за его спиной.

— Подождите, — проговорил профессор.

— Что это? — удивился капитан, он пришел последним, но уже пробрался вперед и стоял ближе всех, на самом земляном валу, окружавшем это прозрачное небесное тело, и прежде, чем кто-либо успел его удержать, начал спускаться вниз. Сделав три шага, он резко вытянул руку и прикоснулся к блестящей поверхности груши. Вдруг он скорчился и упал прямо на грушу, тело его судорожно дернулось, как у заводной куклы, скользнуло вниз, ударилось головой о грудку земли и осталось так лежать, вклинившись между основанием этой небесной «груши» и большим стекловидным ответвлением, уходившим глубоко в почву.

Все вскрикнули. Маурелл придержал за плечо товарища, бросившегося на помощь к капитану. Плотная группка людей медленно отступила и остановилась.

— Нельзя его так оставить! — крикнул мужчина с бледным от ужаса лицом. Он мгновенно вытащил из сумки кабель и, бросив его на землю, завязал петлю.

— Гетсер, что ты делаешь? — вскрикнул Маурелл. — Остановись!

— Пусти меня!

— Не смей!

Гетсер перескочил через грудку земли, лежавшую на краю воронки, остановился в трех шагах от груши и забросил петлю на задранный кверху ботинок капитана. Петля, когда потянули кабель, соскользнула с ноги и возвратилась пустой. Гетсер еще раз бросил аркан, более тщательно целясь. Петля крутнулась в воздухе несколько раз, коснулась зеркальной поверхности и упала. Все замерли, но ничего не произошло. Гетсер сделал еще шаг и уже смелее, старательно нацелившись, бросил петлю. Наконец она обвилась вокруг ботинка. На этот раз Гетсеру помогали тащить уже два помощника. Тело капитана дрогнуло, медленно перевалилось через стекловидный корень груши и поползло по склону. Перед земляной насыпью капитана подняли и понесли на руках. Его повернули лицом вверх — оно было белое и покрыто крупным, как роса, потом. Лоб и щеки были в крови.

— Жив! — с радостью воскликнул Маурелл.

Он и другой мужчина присели на корточки и, торопливо отрывая пуговицы, расстегнули мундир. Потом стали поднимать и опускать руки не подающего признаков жизни офицера, сжимали и отпускали его грудную клетку. Наконец у капитана появилось дыхание. Он судорожно хватал воздух ртом и стонал при выдохе. Когда отпустили его руки, они мягко упали на траву. Тут все увидели, что правая ладонь, которой капитан прикоснулся к груше, сжата и почернела, будто ее опалило огнем. Пострадавший застонал, по его телу пробежала дрожь. Ему быстро перевязали лоб, разбитый при падении, забинтовали руку, кто-то подозвал двух солдат, неторопливо шедших по склону. Солдаты унесли так и не пришедшего в себя капитана. Маурелл бросил взгляд на грушу и тут же вскрикнул.

Все взоры обратились к ней.

На высоте человеческого роста в том месте, где капитан прикоснулся к груше, в глубине,

под поверхностью, белел расплывчатый, но постепенно становившийся все более и более отчетливым отпечаток чего-то, походившего на утопленную в стекле ладонь с пятью слегка расставленными пальцами.

Маурелл чуть ближе подошел к груше. С момента, когда он увидел ее в первый раз, прошло несколько минут. За это время то, что было внутри груши, обрисовалось более четко. Две фигуры, несомненно человеческие, похожие на молочно-белые скульптуры, лежали внутри, они, казалось, были окутаны слоями стекловидной массы, которая на глазах мутнела, — мужчина, обнимающий за талию лежащую рядом женщину, их прижатые друг к другу головы сливались с нежным кружевом видневшейся за ними живой изгороди, вырезанной гораздо более филигранно, чем тела, — Маурелл даже отчетливо видел какой-то маленький совершенной шаровидной формы плод, свисавший с кружевной веточки над головой женщины.

Но черты лица, линии рук, одежду невозможно было различить, хотя видно было, что оба одеты, — поверхность их тел скрывало обманывающее зрение мутное вещество; когда Маурелл присмотрелся внимательнее, стараясь не пропустить ни малейшей детали, он заметил места, где безвестный скульптор как бы ошибся, и в результате — если пропорции частей тела, формы торсов и голов, исключая застывшие позы, переданы были великолепно, верно, по-человечески естественно, то в других местах были заметны искажения: на маленькой закругленной пятке девушки виднелся молочно-белый нарост, казавшийся продолжением ее тела. Почти такой же полип Маурелл увидел и на обнаженной руке, которая обнимала мужчину, а обращенные друг к другу лица молодых людей покрывало что-то вроде неплотно прилежавшего, усеянного похожими на пальцы вздутиями савана из того же самого мелочно-белого вещества, которое застывшей массой блестело в ядре груши.

Маурелл стоял, не шелохнувшись, пока не услышал возглас Гетсера. Он обернулся — перед глазами все еще стояла эта непонятная картина — и увидел своих товарищей, склонившихся над обуглившимся кустом, и под ним две человеческие фигуры, лежащие обнявшись, как и те, которые он рассматривал минуту назад. У него подкосились ноги, он едва мог идти. Машинально, совершенно обессиленный, он опустился на корточки рядом с профессором.

Юноша и девушка, чуть присыпанные тонким слоем земли, обгоревшими листьями, щепками, лежали в небольшом окопчике. Они были удивительно маленькими, как бы высохшими, съезжившимися от жара, сгоревшая рубашка юноши и юбка девушки рассыпались от легкого дуновения ветерка, пепел, поднимаясь в воздух, сохранял еще форму ткани — заметны были даже ее изгибы. Маурелл закрыл глаза, он попытался вскочить, убежать и почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. Споткнулся, чуть не упал, кто-то схватил его крепко, грубо за плечо, он даже не заметил кто.

Словно издалека донесся до него голос Виннеля:

— Успокойтесь, успокойтесь...



В сумерках на дороге показался танк. Было уже почти темно, но длинный ствол пушки и скошенный силуэт башни четко вырисовывались на фоне пылающего заката. В темноте светились сигнальные огни. Танк сбавил ход, с треском и лязгом проехал по ветвям, завалившим дорогу. Отброшенная гусеницей ветка ударила человека, выскочившего из придорожной канавы с фонариком. Человек зло вскрикнул от боли и остановился. Танк медленно развернулся, напоминая слепого, осторожно нащупывающего дорогу, ствол пушки чуть качнулся, когда машина переползала через канаву. На луг танк въехал, задрал кверху тупую морду. Фары едва светились, в их свете можно было увидеть лишь высокую траву и неясные тени людей, расступившихся перед танком. Офицер, стоявший в открытом люке, что-то проговорил, наклонившись вниз, и танк остановился как вкопанный, только двигатель работал, сонно постукивая на холостых оборотах.

— Ну, как там? — спросил офицер, не зная, к кому обращается в темноте. Человек, которого спрашивали, неизвестно зачем осветил карманным фонариком шершавый бок танка и, похлопывая его ладонью, ответил:

— Еще сидят, только я думаю, ничего у них не получается. Надеюсь, ты расправишься с этой штукой.

— С чем? — переспросил офицер, сдвигая шлем на затылок, в нем он почти ничего не слышал.

— С этим проклятым елочным стеклянным шаром. Ты что — даже не знаешь, зачем приехал?!

— А ты знаешь, с кем разговариваешь?! — не повышая голоса, проговорил офицер, он уже рассмотрел в слабом отблеске фонаря, падавшем от брони танка, нашивки рядового.

Фонарь тут же погас, и солдат растворился в темноте, только слышно было, как под ногами шелестела трава. Офицер усмехнулся уголками рта и поискал взглядом ориентиры, указывающие путь танку.

На вершинах близлежащих холмов светили прожекторы, их лучи перекрещивались в одной точке, и там, где они пересекались, вспыхивали голубовато-серебристые отблески, слепившие глаза. Офицер зажмурился — какое-то мгновение он ничего не видел. Кто-то подошел к танку с другой стороны.

— Ну как, сынок, справишься?

— Что? Это вы, господин майор?

— Да. Танк шел через Дертекс?

— Так точно, господин майор.

Офицер высунулся из башни. Он видел лишь темный силуэт головы собеседника.

— Ты не знаешь, что с тем капитаном?

— С тем, которого обожгло?

— Да. Он жив?

— Кажется, жив. Точно не знаю. Я торопился очень. А что здесь творится? Я ведь даже не знаю точно, в чем моя задача. Я получил приказ в пять часов — прямо из дома вытащили! Собирался как раз уезжать...

— Вылезай-ка, сынок, сюда ко мне.

Командир танка легко соскочил с башни на лобовую броню и ловко спрыгнул на землю. Его ботинки скользнули по мокрой хрустящей траве. Майор предложил ему сигарету, сунув открытую пачку прямо в ладонь. Они закурили. Огоньки сигарет мерцали в темноте.

— Наши мудрецы сидят там с трех часов. Первая партия прилетела на вертолетах, в пять часов примчались эксперты из академии, самые сливки; где светит вон тот крайний прожектор, стоит с полдюжины вертолетов, даже легкие транспортеры перебросили по воздуху, так им было невтерпех. «Операция стеклянная гора» — во как!

— А что на самом деле с этим шаром?

— Ты что, радио не слушал?

— Нет. Я слышал только, что говорят люди, — всякую ерунду, будто тарелка приземлилась, марсиане, какие-то похитители детей, едят их живыми — черт его знает, еще что!

— Ну и ну, — буркнул майор, и огонек сигареты осветил его лицо, широкое, отливающее металлом, будто покрытое ртутью. — Я там был, знаешь?

— Там? — спросил командир танка, всматриваясь в дальний холм, где полукругом расположились прожекторы. В перекрещивающихся снопах света передвигались гигантские тени людей.

— Да, там. Действительно, упало с неба, а что — неизвестно. Вроде бы из стекла, но прикоснуться к нему нельзя. Тот капитан — как там его — прикоснулся.

— Ну, а что с ним случилось?

— Точно неизвестно. Врачи говорили всяк свое; а когда все вместе собрались, то, конечно, согласовали — они всегда согласуют. Сотрясение, ожог, шок.

— Электричество?

— Говорю тебе, ничего не известно, сынок. Сидят там, разглядывают — слышишь, как полевые генераторы для них крутятся?

— И что?

— И ничего. Шар — не шар, тверже, чем скала, да что там — тверже алмаза, по-всякому к нему подступали — ни сдвинуть, ни просверлить, а в середине — парень с девушкой.

— Что вы говорите! Так это правда? Как же это? И живы?

— Ну, что ты — это слепки, похожие на гипсовые, что-то вроде мумий. Ты видел мумии?

— По телевизору.

— Так вот, это похоже. В середине, в шаре, белые как кость. Но это не тела — не люди...

— Как не люди? Господин майор, по правде говоря, я ничего не понимаю.

— Эх, сынок, сынок, думаешь, кто-нибудь понимает? Блеснуло, загремело, что-то упало в полдень, воронка — как от двухтонной бомбы, из середины вылез какой-то пузырь с твою коробку. В нескольких шагах от места, где он упал, лежал парень с девушкой, местные, — сам понимаешь, лето, амуры. Уложило на месте.

— Чем?

— Мудрецы наши не знают чем. Одни говорят — взрывной волной, другие — что умерли от жара. Наверное, было тут чертовски жарко, когда эта штука упала. Понимаешь, как от снаряда. Обжарило их, скрючило, вероятно, не успели даже испугаться...

— Но вы говорили, что они в этом... в этом шаре?

— Не они. Их изображения. Как бы слепки. Правда, не совсем точные. Я рассматривал со всех сторон. Там и часть куста, под которым они лежали...

— Где?

— В этом шаре.

— Господин майор, и... что все это означает?

Майор затянулся последний раз, бросил окуроч, который описал геометрически правильную огненную параболу и погас.

— Неизвестно. Успокойся, сынок, не только я или ты ничего не знаем. Профессора, ученые, президент оказались такими же умными, как и мы. Фотографировали, измеряли, искали, с

самолетов что-то сбрасывали каждые несколько минут — прямо-таки вся их лаборатория спустилась на парашютах! Репортеров, всяких важных персон, каких-то дотошных типов — толпы. Посты видел?

— Да. Действительно, контролируют, с десятков встретил их только на одном этом шоссе.

— Просто не понимаю, зачем эта горячка. С телецентра в пять часов на собственных самолетах прилетели, сесть им не разрешили, так они с воздуха щелкали и транслировали, как могли.

— И что, в самом деле я должен буду стрелять... по этой штуке?

— Правду говоря, и это еще неизвестно. Разве ты не знаешь ученых? Трясутся над ней. Был скандал! К счастью, не ученые у нас командуют. Они добились отсрочки еще на четыре часа. Но это уж все. Им хотелось еще четыре недели!

— А этот... этот шар что-нибудь делает?

— А что он должен делать? Ничего не делает. До вечера немного дымился, теперь уже перестал. Утверждают, что совершенно остыл, но прикасаться все равно нельзя. Привозили всяких зверей, даже обезьян, и ставили опыты. Как только прикоснется, сразу — фьють и конец.

— Господин лейтенант! Донесение! — раздался откуда-то сверху голос.

Командир танка подскочил к башне, из люка высунулся танкист в шлеме. Над его головой спокойно мигали звезды.

Лейтенант при свете фонаря с трудом читал каракули на листке, вырванном из блокнота.

— Господин майор — уже! — с волнением в голосе воскликнул он.

— Что, едешь громить?

— Так точно.

Танкист вскарабкался на башню. Через минуту мотор загудел, танк развернулся на месте и двинулся в направлении холма.

Майор, заложив пальцы за ремень, смотрел ему вслед. В отдалении, в осветленном квадрате, что-то происходило. Мелькали быстрее, чем раньше, тени, слышался тонкий, пискливый гул, в воздухе клубами поднимался откуда-то дым, мигали фонари, а в самом центре этого муравейника сияла, вбирая в себя прожекторные лучи, сверкающая голубоватая капля. По мере удаления шум двигателя становился все тише, неожиданно мотор взревел — начался подъем, — темное пятно, опережаемое двумя полосами света от фар, начало взбираться по склону. Снопы света, падающие с вершин холмов, дрогнули и стали медленно один за другим удаляться в разные стороны от груши, и только два луча с противоположных концов поля скрещивались на ней. Майор машинально стал считать про себя. Окружавшая его темнота была наполнена звуками человеческих голосов, он слышал шум моторов вездеходов, едущих в направлении шоссе, люди с большими фонарями шли по траве, раздвигая ее руками, капли росы блестели на стеклах, вдалеке кто-то кричал что-то непонятное, крик повторялся без устали через равные промежутки времени; за холмом на больших оборотах выли динамо-машины, и вдруг все эти звуки покрыл приглушенный грохот.

Майор напряг зрение, но ничего не увидел. Грохот повторялся ритмично, каждые несколько секунд, — между одним и другим ударом майор успел сосчитать до десяти. Напрасно он старался увидеть вспышки выстрела. «Видимо, стоит за гребнем», — подумал он о танке. Потом послышался скрежет металла. В последнее мгновение майор отскочил в сторону, на него двигался тягач, тащивший высокое, неуклюжее, облепленное со всех сторон людьми сооружение, покачивавшееся на фоне звездного неба. Когда все это проезжало мимо майора, в глаза ему ударил отблеск огней, отраженный от линзы двухметрового прожектора. Невидимый танк продолжал стрелять. Скрежет за спиной майора прекратился, теперь был слышен размеренный приглушенный топот множества ног. Мимо проходили нескончаемой вереницей

люди, мелькали лучи карманных фонариков; вдруг от конца колонны к месту, где стоял майор, набежала волна неясных голосов, она надвигалась все ближе и ближе, люди что-то кричали друг другу, водители вездеходов, обгонявших колонну, перекликались друг с другом, волна звуков обрушилась на майора и покатила дальше к шоссе, а он все еще ничего не знал.

— Что?! Что?! — закричал он.

— Не берет! Снаряд не берет! — ответило ему из темноты сразу несколько голосов, в которых послышалось что-то похожее на разочарование и огорчение. Потом до него долетели такие же вопрошающие возгласы и отчетливо доносился ответ:

— Не берет, не берет...

Вдруг майора ослепил свет фары — огненный глаз, раздвигающий черные стебли травы, и кто-то окликнул:

— Господин майор, садитесь!

Проведя рукой по крылу машины, майор нащупал покрытое войлоком железное сиденье и уселся на него, свесив ноги, как и другие. Маленький вездеход тронулся, подскакивая на толстых шинах. Когда машина выезжала через ров на шоссе, сидящие сзади покатались по скамье, их хватили за ремни, воротники, раздался смех. Мотор взвыл, маленькая машина с трудом выбралась на шоссе. И тут, в первый раз за весь вечер, майор увидел красоту пейзажа, расстилающегося перед ним: под звездным небосклоном раскинулась огромная сверкающая равнина, наполненная мелькающими точками огней. Где-то высоко в небе, будто стараясь что-то кому-то внушить, настойчиво и размеренно ворчал самолет, а вдалеке, в двух скрещенных снопах света, сверкала, переливаясь, груша — словно капля хрусталя — и по-прежнему равнодушно гремела танковая пушка.

По обочинам шоссе среди поваленных в кюветы тополей стояли солдаты-регулирующие и направляли движение зелеными огнями сигнальных фонариков — в некоторых местах предупреждающие красные фонари висели прямо на еще не убранных стволах деревьев. Медленно, то и дело останавливаясь, двигался поток легковых автомобилей, грузовиков, амфибий.

— Эй, что там! Вперед! — кричали сзади. Никто не отвечал, впереди загорались фонарики, машины трогались, двигались дальше. Вот миновали сползший в кювет легкой автомобиль, из которого торчали головки детей, мужчина за рулем кричал что-то командиру дорожного патруля, а тот усталым голосом повторял: «Проезда нет, проезда нет».

Сразу же за поворотом снова образовалась пробка.

— Что это такое? Отступаем? — спрашивал кто-то молодым, звонким голосом.

— Едем в отпуск! — раздалась возгласы с огромного грузовика, идущего впереди амфибии, кто-то стал петь, кто-то сердито прикрикнул на поющего, песня оборвалась, какой-то солдат высунулся сквозь деревянную решетку, надставленную над бортом, и прокричал вниз:

— Эвакуация местности, удирай, пока цел.

— А что? Что? — допытывался молодой голос.

— Будут бомбардировать, вот что!!!

Вдруг колонна увеличила скорость, проехала между стоящими в темноте мотоциклистами с белыми повязками на рукавах и в таких же белых касках и попала в слепящий поток света. Лучи прожектора медленно, подобно морскому маяку, крутились над самым краем шоссе, задевая верхушки деревьев. Раздалась возмущенные возгласы ослепленных людей, водители включили сирены, а прожектор поднял свою серебристо-серую колонну кверху, задел одинокое облачко и вновь прошелся лучом по шоссе, выхватывая из мрака лоснившиеся крыши автомобилей, кузова с торчащими в них головами людей, и вдруг замер — в этот момент майор увидел едва ползущий рядом с ними открытый легкой автомобиль. Высокий мужчина,

опирающийся на зажатую в коленях трость с серебряным набалдашником, повторял срывающимся от волнения голосом:

— Это безумие, это безумие, хотят бомбардировать. Мы не должны этого допустить...

Этот мужчина с серебристыми волосами, залитый каким-то неестественным зловещим светом, обращался к самому себе, сидящие рядом с ним более молодые, чем он, спутники молчали, один из них держал на коленях большой, завернутый в плащ ящик, все без исключения были в черных очках — в лучах прожектора они походили на слепых, — полоса света дрогнула и переместилась дальше, автомобиль, ехавший рядом с вездеходом, поглотила темнота. Прожектор погас, все утонуло во мраке, настолько густом, что казалось, будто фары автомобилей светили через толщу воды. Майор закрыл лицо руками и сидел в такой позе, безвольно подчиняясь толчкам автомобиля, подскакивающего на ухабах.

Вдруг он поднял голову.

Танк прекратил стрельбу, а может, выстрелы не слышны из-за дальности расстояния? Он увидел первые тускло светившие фонари на улицах местечка. Машины проезжали по многолюдным улицам, люди стояли на тротуарах, из настежь открытых окон освещенных квартир неслись звуки радио; колонна медленно заворачивала, обгоняемая несущимися с бешеной скоростью мотоциклами, а где-то вдалеке кричали детские голоса: «Чрезвычайный выпуск! Второй шар упал в Баварии! Чрезвычайный выпуск!»

Высоко в небе рокотал самолет.

Маурелл примчался домой в мокрой от росы одежде, на коленях — следы глины и золы. Вытирая ноги в прихожей, он счистил прицепившуюся к каблукам траву. Фокстерьер, увидев хозяина, радостно завертелся вокруг него, барабаня твердым обрубок хвоста по открытой дверце шкафа, потом вдруг насторожился, припал к ногам хозяина и задвигал носом, жадно вытягивая воздух; неожиданно собака оцетинилась. Жена Маурелла как раз направлялась к двери, когда он открывал ее. Она молча остановилась.

— Дорогая, я должен сейчас же ехать с профессором. Ты знаешь, они хотят этот шар бомбардировать на рассвете... Я должен ехать с профессором, — повторил он еще раз, — у него плохо с сердцем.

— Второй упал, — проговорила госпожа Маурелл, всматриваясь в лицо мужа. — Ежи, что это? Что это значит?

— Не знаю. Никто не знает! Что-то из межпланетного пространства, со звезд. Непонятное! Ты видела?

— Да, по телевизору.

— Значит, ты представляешь, как это выглядит.

— Это был слепок с них за секунду до гибели, да? В последнее мгновение их жизни?

— Да, похоже на это.

— Что вы собираетесь делать?

— Прежде всего не допустить сумасшедших поступков тех... тех... — Он не находил слов. — Они сначала действуют, потом думают — знаешь их девиз. Утром будут бомбить. Профессор рассказывал мне, что кто-то из департамента уже поговаривает и об атомной бомбе — в случае если обыкновенные не возьмут.

— Но почему они так спешат, почему хотят растоптать, уничтожить? А может быть, под этим шаром есть... что-нибудь?

— Что? — Маурелл поднял голову. — Что ты говоришь? Под шаром? Ах, ты, наверное, думаешь — какая-нибудь ракета, снаряд? Нет, там нет ничего. Мы зондировали. Шар, точнее, это вовсе не шар — так его почему-то все называют — вошел в землю на три метра, не больше. Материал везде одинаковый, похожий на стекло, но тверже алмаза. На вершине имелось отверстие, но через четыре часа оно затянулось. Из него выходил пар — нам удалось взять пробу. Делаются анализы. От этого предмета, что зарылся в землю, отходят в разные стороны шесть цилиндрических отростков.

— Корни? — предположила она.

— Можно и так сказать... Дорогая, я должен собираться. Я... честное слово, не знаю, когда возвращусь. Думаю, что завтра вечером. Что?.. — и не закончил фразы под ее взглядом.

— А второй шар. Ежи?..

— Что?! — Он подошел к ней, схватил ее за плечи. — Ты что-нибудь слышала? Сообщали по радио? Я знаю только то, что он упал где-то возле Обераммергау; в газете поместили об этом три строчки — почему ты молчишь?

— Нет, нет, ничего нового я не знаю, но, вероятно, они еще будут падать.

Он отошел от жены и нервно заходил по комнате, снял со шкафа маленький чемоданчик, открыл его, бросил туда рубашку, потом остановился с полотенцем в руках.

— Это возможно. Возможно.

— Так что это такое? Что думаешь ты об этом? Что говорит профессор?

Зазвенел телефон. Госпожа Маурелл подняла трубку и молча протянула ее мужу.

— Алло? Это вы, господин профессор? Хорошо, сейчас еду. Что? Что не нужно? Где? К вам? В институт? Сейчас? Ладно. Буду там через четверть часа.

Он бросил трубку.

— Заседание института. Сейчас. Который час? Только двенадцать? Мне казалось, что больше... все равно. За чемоданом забегу потом. Быть может, уже не нужно будет, не знаю. Ах, я просто ничего не знаю!

Маурелл поцеловал жену и стремительно выбежал; пес, прижавшись к полу, заворчал на него.

Расположенный на крутом берегу реки, у подножия старой крепости, институт был виден уже издали, особенно сейчас, когда Маурелл ехал по аллее на подножке совершенно пустого ночного автобуса. Во всех окнах небольшого старого дворца, в котором помещался институт, было темно, но Маурелл знал, что со стороны фасада расположены только библиотечные комнаты и почти никогда не используемый зал для торжественных актов. Кованая железная калитка была открыта, во дворе длинной шеренгой выстроились автомобили. Маурелл обогнул дом, за домом тянулся большой сад. Нереида, из рук которой бил фонтан, лежала, нагая и темная, на своем камне посередине маленького, усеянного огромными листьями озера. Маурелл черным ходом поднялся на второй этаж. До него донеслось покашливание и шум многочисленных голосов. В коридоре возле телефона кто-то стоял спиной и упрямо повторял в трубку:

— Нет, не могу. Не вернусь. Сейчас нет. Ничего определенного не могу сказать.

Это был Треворс — Маурелл узнал его. У него он слушал курс математического анализа. Маурелл прошел мимо него и очутился в небольшом зале. Виннель, окруженный плотной толпой (голова к голове — седые, седеющие, лысые), держал в руке что-то блестящее и, потрясая этим предметом, говорил:

— Если это не достаточное доказательство, тогда прошу в кинозал.

Все двинулись за ним. Слышен был шум отодвигаемых кресел, кто-то уронил стул, все говорили одновременно, перебивая друг друга. Маурелл стоял в нерешительности, не зная, что делать. Профессор заметил его, когда проходил мимо, он как раз отвечал на вопросы сразу нескольких человек.

— Ага, вы здесь, прекрасно, прошу к нам, вы мне поможете.

Кинозал представлял собой обыкновенную затемненную комнату с небольшим количеством мест, и половина присутствующих вынуждена была стоять в проходах и у стены, где были пробиты четырехугольные окошки для киноаппарата. Виннель, стоявший возле экрана, поднял руки. Стало тише.

— Коллеги, вы увидите фильм, заснятый необычным способом и в особых условиях. В течение четырех часов, покамест нас не выгнали военные, коллега Терманн с шестидесяти метров делал одиночные снимки с интервалом в три секунды.

— Почему снимали с такого далекого расстояния? — спросил кто-то.

— Для безопасности, — ответил профессор. — Того, что дал фильм, мы, конечно, совсем не ожидали. Снимки не идеальны, проявлялись они в необычайно тяжелых условиях, даже не полевых, а под постоянной угрозой удаления нас с места работы, в условиях непрекращающихся столкновений с военными властями, — но сейчас не об этом идет речь. Коллега Терманн! — повысил голос профессор. — Прошу вас!

Профессор сел и исчез из поля зрения Маурелла, стоявшего у самых дверей, сбоку, но он знал, что это не такое уж плохое место. Свет потух, и аппарат застрекотал. Изображение сначала перемещалось вверх и вниз и наконец вошло в рамку. Почти весь экран заняла груша.

Снимки сделаны были, вероятно, телеобъективом, о чем профессор ничего не сказал.



Постепенно изображение стало четким, и хотя по экрану временами проходили темные полосы, но грушу и то, что находилось внутри нее, видно было довольно сносно. Иногда все изображение бледнело, вероятно, из-за отблесков; пленка в некоторых местах была засвечена. В зале стояла тишина, время от времени чуть слышно поскрипывали кресла.

Маурелл внимательно смотрел на экран — он разглядел беловатые, лежащие внутри груши фигуры; ленту крутили, наверное, с минуту, и вдруг он в первый раз заметил какое-то движение.

Юноша и девушка, заснятые сверху и сзади и выглядевшие, словно расчлененная надвое статуя, пошевелились. Медленно, необычайно медленно девушка запрокинула голову назад, и стало видно ее лицо. Глухой вздох пронесся по комнате. Напряжение росло. Вместо лица у лежащей белой фигуры была плоская маска, и с нее лениво стекали огромные полиповидные капли. Впечатление, что обе фигуры сделаны из белого коралла или камня, рассеялось — казалось, что они вылеплены из тягучей, густой, похожей на застывающее стекло массы. Голова девушки клонилась назад и коснулась шевелившейся как бы под каким-то необычайно замедленным дуновением ветра белой веточки, на которой висела белая ягодка. Затем обе головы снова миллиметр за миллиметром начали сближаться, и, хотя они двигались в границах нескольких сантиметров, это передвижение хорошо было видно, видны были и плавные движения торсов, можно было подумать, что фигуры дышат. А потом снова две белые головы стали отходить друг от друга, но на этот раз вещество, та белая масса, из которой они были сделаны, застыло, и между медленно удалявшимися друг от друга лицами повисли тонкие, рвущиеся перемычки — клейкие нити, которые, лопаясь, скручивались в маленькие шарики и медленно поглощались поверхностью масок, заменявших скульптурам лица. Зашевелились и ступни ног, а ладонь девушки, белая, гибкая, переместилась с затылка юноши на шею — и опять, уже в третий раз, головы нежно коснулись друг друга, как в поцелуе, — это движение было настолько естественным, что в зале кто-то вскрикнул.

Дождь черных линий прошел по экрану, потом на сером фоне замелькали какие-то черные пятна, некоторое время пустой экран ярко блестел в потоке света, идущего от киноаппарата, но потом погас и в комнате зажглись лампы.

— Прошу всех в зал! — пригласил профессор, первым поднимаясь с кресла. Он был бледен, как и все, кто находился в комнате, хотя профессор, наверное, уже видел эту картину, может быть, не один раз.

— Никогда в жизни не мог бы представить себе что-то более ужасное и в то же время более непонятное, чем это, — проговорил какой-то мужчина, столкнувшись с Мауреллом, не торопившимся уходить. Постепенно кинозал пустел. Из кинобудки вышел доктор Терманн, он был без пиджака, в одной рубашке. На лбу у него блестели капельки пота.

— Ты видел. Ежи? — спросил он Маурелла, беря его под руку.

Маурелл кивнул головой.

— А профессор... Что он говорит об этом?

— Ничего. По крайней мере мне ничего не говорил. Пойдем, уже начинают!

В зале все уже уселись, и для Терманна и Маурелла не оказалось мест, поэтому они стали у тяжелой бархатной портьеры серо-зеленого цвета. Что-то коснулось плеча Маурелла, он оглянулся, это был всего-навсего кончик золотистого шнура портьеры.

— Здесь, — говорил Виннель, который снова стоял у стола в глубине зала, — лежат все данные, какие нам удалось добыть: фотографии, результаты измерений, анализов и так далее. Прежде чем приступить к ознакомлению с этими материалами, обработка которых, несмотря на всю их фрагментарность, займет недели, я хотел бы, коллеги, сообщить вам содержание телефонограммы, которую только что получил из Баварии...

По залу прошел шорох.

— Эта телеграмма от доктора Монеггера, который занят исследованиями в Баварии возле Обераммергау и к которому я обратился по телеграфу немедленно по получении сообщения о приземлении второго шара. Гм, гм, — захмыкал профессор, читая про себя первую фразу, а вслух сказал: — Да... так вот что он сообщает: «Тело неземного происхождения упало в восемь часов сорок две минуты по местному времени», то есть раньше, чем наше, — уточнил профессор, глядя в зал поверх очков, — «и его полет в атмосфере был замечен компетентными наблюдателями — местной метеорологической станцией; в это время они производили измерение силы ветра, и ими было установлено, что летящее тело — огненный болид. Тело это появилось на северо-востоке, описало дугу на небосводе и упало на юго-западе, вне поля зрения наблюдателей». Это во-первых, — прибавил от себя Виннель, — и дальше: «Тело, замеченное...» и так далее «упало на участке, принадлежащем крестьянину, по имени Юрген Поль, срезав непосредственно перед столкновением с землей верхушку старой липы, росшей в ста шестнадцати метрах от северного угла дома. Хозяйственные постройки состоят из...»

— И если вся телеграмма так составлена, придется вам, коллега, читать ее до утра, — бросил толстый мужчина из второго ряда кресел. Кто-то засмеялся, все зашикали на него.

— Это пишет немец, — ответил Виннель и, не поднимая глаз, продолжал: — Гм, да, итак, м-м... «...Тело пробило насквозь крышу свинарника, который сразу же запылал, и врезалось в землю в тридцати восьми метрах от свинарника, в точке, расположенной на...» Ну, да не об этом речь. Как вытекает из вышеизложенного, траектория полета тела была тангенциальной, а угол падения... Я опускаю здесь абзац относительно вычисления кривой полета, — кашлянув, произнес Виннель и принялся читать дальше: — «В точке приземления образовалась воронка правильной концентрической формы и тут же повалил дым, сначала черный, затем грязно-серый, желто-лимонно-серый, белесый и, наконец, снежно-белый. Дым поднялся на высоту, определяемую в...» Это опустим. Так, дальше следует описание пожара в усадьбе; все сторело, люди спаслись, погибло пять свиней, в том числе два поросенка...

— Какой породы? — спросил остроумный толстяк, но никто не обратил внимания на его остроту.

— Две курицы... гусь... так. Дальше идет: «Место падения находилось под непосредственным наблюдением отряда скаутов, их лагерь был разбит в четырехстах восьмидесяти метрах у ручья» — и так далее, и так далее, — нетерпеливо повторял профессор, пробегая глазами листки и откладывая их один за другим. — Ну, наконец! Итак, что говорят эти скауты... сначала тут характеристика каждого, с точки зрения степени доверия, которого каждый из них заслуживает, ага, вот здесь: «Когда дым рассеялся, можно было заметить...» — прошу прощения, я не сказал, что наблюдение велось с расстояния почти полкилометра, но у двоих ребят имелись бинокли, — итак: «...можно было заметить блестящий шар, переливающийся всеми цветами радуги, который поднимался из земли все выше и выше, раздаваясь при этом пропорционально и в стороны, словно его надували... это длилось больше часа. За это время к шару прибыли наблюдатели с метеорологической станции и случайные прохожие... пожарные тем временем тушили пожар...», так... «был расставлен полицейский кордон...» Ну, а теперь о содержимом этой колбы! — оповестил приподнято Виннель, он облизнул пересохшие губы и начал медленно читать: — «Содержимое...» ага... «состоящее из матовой, белой, как обожженная кость, массы неизвестного состава и консистенции...» — наблюдение затруднено отложением туманного слоя, что-то вроде последовательных напластований — центральное ядро и три слоя, края которых в некоторых местах сливаются, их описание дается для большей ясности отдельно...

— Ясность изумительная, — снова не выдержал толстяк в светлом костюме.

— «...части тел одного поросенка и свиноматки плюс фрагмент как бы вырезанной и реконструированной во всех чертах стены свинарника... полное изображение второй свиньи... постепенно переходящее в фигуры двух кур... над этой двуфрагментной группой, приблизительно на семьдесят сантиметров выше, в стекловидной массе имеется изображение из аналогичной белой субстанции маленькой птички с распростертыми крыльями, по всей видимости, синицы. Представляется вероятным, что птица непосредственно перед моментом приземления тела находилась над местом падения, так как вблизи находились...», — тут какие-то орнитологические наблюдения, не существенные для нас. Таким образом — это все, что я хотел зачитать, вам, коллеги, — проговорил в заключение Виннель и положил бумагу на стол.

— И что дальше? — раздался голос из глубины зала.

— Именно этот вопрос я хотел поставить перед вами, уважаемые коллеги, — ответил Виннель. — Наша храбрая армия имеет на это готовый ответ, до атомной бомбы включительно. Боюсь, что это стекло не выдержит цепной реакции урана, как оно выдержало оружейный обстрел.

— Неужели это правда? — раздался вопрос из зала.

— Да, бронебойные снаряды — это снаряды литые, без заряда — рикошетировали от поверхности шара. Несколько снарядов было найдено. Разумеется, никто из ученых не имел возможности даже посмотреть на них. Ну, да бог с ними! Так вот — проблема не разрешена. Конечно, имеется ряд догадок, но говорить о них публично еще рано. На основе изучения этих двух событий вырисовывается следующая картина: данные тела обладают способностью создавать внутри себя изображения вещей, существ, предметов, которые находились вблизи в момент столкновения их с землей. Возникает ряд вопросов: как это происходит? Прилетает ли тело готовым к получению таких изображений или способность к этому возникает лишь после некоторого подготовительного процесса? Ну, и прежде всего: к чему все это?

Наступила тишина. Математик, у которого Маурелл учился, проговорил со своего места:

— Мы здесь собрались, чтобы наметить план исследования и представить его компетентным органам, не так ли? Разумеется, нас могут не выслушать — нас слушают ровно столько, сколько в нас нуждаются, — и совершенно не исключено, что дертекский шар будет уничтожен. Остается тем не менее другой, упавший возле Обераммергау, поэтому нам следует отправиться туда, по крайней мере некоторым из нас, если, конечно, немцы окажутся более здравомыслящими, нежели наши власти...

— Да, это правильно, — сказал Виннель. — Я хотел бы еще... Я считаю, что коллеги должны быть ознакомлены с точкой зрения военных. Они считают, что мы имеем дело с попыткой вторжения.

— Вторжения?!

— Да. Это гипотеза... Она так же хороша, как и всякая другая, когда ничего не известно. Сообщение о падении шара в Баварии министерство получило почти в одно время с известием о приземлении шара на территории нашей страны. Они ожидают дальнейших — гм, гм — десантов... и готовятся каждый такой падающий объект уничтожить.

— Но ведь шар не обнаруживает никакой агрессивности? — возразил из первого ряда высокий мужчина, рассматривавший на свет негативы снимков.

— Ну... постольку, поскольку. Офицер, прикоснувшийся к нему, погиб на моих глазах.

— В чем причина смерти?

— Шок. Так говорят врачи. Мы исследовали шар — все животные, которые прикасались хотя бы на какую-то долю секунды к его поверхности, гибли с симптомами шока.

— Электрического?

— Нет, скорее анафилактического. Агглютинация крови — выпадение белка из

протоплазмы, — еще это бывает под действием токов высокой частоты.

— Шар радиоактивен?

— Нет.

На некоторое время воцарилось молчание.

— Вы говорили об изображениях, профессор, — отозвался стоявший у стены худенький, лысый человек с покрытым шрамами лицом, — но ведь эти изображения... подвижны. Мы даже видели это в фильме. Выглядит это так, как будто падавший объект подсмотрел, если можно так сказать, не только предметы или живые существа... людей... но и их движения. Это означает, что они во время этого... наблюдения, этого... копирования, как там ни назови данный процесс, — еще жили. То есть я хочу сказать, что смерть, возможно, никоим образом не связана с этим процессом получения изображений, она могла наступить вследствие непосредственной близости объекта к месту падения, в результате воздушной волны, высокой температуры и так далее.

— Профессор Лаарс, вопрос не представляется таким простым, — вмешался в дискуссию математик, — так как случаи ранения или убийства человека либо животного падающим метеоритом, обычным метеоритом, неизвестны и практически маловероятны. Это следствие того, что поверхность земного шара настолько велика и, так сказать, настолько пуста по сравнению с площадью тел живых существ, которые перемещаются по ней, что прямые попадания или падения метеоритов вблизи живых существ статистически почти невероятны. И то, что один шар упал в нескольких десятках метров от двух молодых людей, а другой — вблизи населенной усадьбы, не кажется результатом слепого случая. Но если это так, то данные шары перемещаются не как мертвые космические тела, а как объекты, управляемые или нацеленные.

— Это звучало бы убедительно, если бы мы были уверены, что на Землю упали только эти два шара, — защищался Лаарс. — А что, если таких предметов за последние сорок восемь часов упало, скажем, сто, причем четыре пятых в океаны, одна шестая в пустынных местностях — и только два там, где их заметили? В таком случае следует ожидать обнаружения таких шаров в труднодоступных местах.

— Я с вами согласен. Трудность состоит в том, что мы не знаем, где их искать...

— Предлагаю послушать сейчас радио, — сказал Виннель, подымаясь из-за стола, за которым он что-то писал. — Уже почти половина третьего, должны быть сообщения о результатах бомбардировки.

— Они собираются провести это ночью?

— Да, спешат — им все не терпится! Точно, правда, я не знаю: решения менялись каждые полчаса. Маурелл, прошу вас, подключите в кабинете к радио громкоговоритель, установленный здесь.

Маурелл вышел.

Через минуту-две послышался неясный шум, то усиливающийся, то затихающий, и вдруг сквозь него пробился мужской голос, затем исчез и так же внезапно снова возник, наполняя весь зал.

— ...в траншею был заложен заряд тротила, величина которого не была сообщена прессе. Затем саперы удалились на противоположащую цепь холмов и оттуда подожгли шнур. Взрывом шар подняло в воздух, и он по склону скатился в лощину. В настоящее время ведутся интенсивные исследования.

Диктор сделал паузу.

— Из Мюнхена наш корреспондент сообщает. Работы по исследованию шара, который упал вчера утром в окрестностях Обераммергау, идут полным ходом. На место падения выехали шесть научно-исследовательских групп. Согласно плану, шар будет подвергнут действию

различных видов энергии, и в связи с этим рассматривается возможность транспортирования его в ближайший город, где имелись бы необходимые приспособления и аппаратура. Немецкие ученые оценивают вес шара в пределах от ста девяноста до двухсот двадцати тонн. Ввиду этого проблему транспортировки решить нелегко.

Диктор снова умолк, в репродукторе слышен был шелест переворачиваемых листков. Пауза затянулась. Вдруг голос диктора зазвучал громче:

— Передаем только что полученные сообщения. Джакомо Каэлли, который вместе со своими товарищами сегодня возвратился в Рио-де-Жанейро из экспедиции в глубь бассейна Амазонки, заявил на пресс-конференции, что неподалеку от места, где река Путумайо впадает в Амазонку, экспедиция обнаружила в джунглях выжженную огнем значительную площадь, где на дне кратера лежала большая стекловидная глыба, а вокруг нее погибшие по неизвестным причинам животные, в том числе хищники, а также птицы и насекомые. Под прозрачной оболочкой глыбы можно было заметить нечто вроде барельефов или отлитых в белом металле копий голов различных животных, трупы которых валялись возле шара. Ввиду отсутствия соответствующей аппаратуры Каэлли не смог произвести каких-либо исследований этого объекта, кроме фотографирования его. Снимки эти вы будете иметь возможность увидеть в нашей телевизионной программе утром, в восемь часов тридцать минут. Бейрут. Здесь собрался политический совет...

Репродуктор щелкнул и умолк.

— Кое-что мы узнали, — проговорил Виннель и встал. — Кажется, профессор Лаар оказался прав — следует ожидать и других открытий.

— Что это за история с изображениями погибших животных? — спросил кто-то из сидевших в зале.

— Как, разве я не говорил? В самом деле! Прошу прощения, коллеги. В месте, где этот несчастный офицер прикоснулся к шару, появился потом отпечаток или слепок его руки — собственно говоря, ее негатив — зеркальная копия, чем ближе к поверхности шара, тем явственней различимая.

— Вероятно, военные уже довольно много знают, если им удалось вскрыть шар... — заметил кто-то.

— Не думаю. Не замедлили бы похвастаться, — ответил Виннель. — А теперь, уважаемые коллеги, давайте наконец приступим к выработке плана действий...

Пресс-конференция подходила к концу. Вспышки фотоламп больше не слепили глаза сидевших за столом. Репортеры, журналисты и представители иностранных агентств толпились у стен; некоторые, устав, присаживались на корточки, сидели на ступеньках вокруг возвышения, на котором стоял стол президиума. Мало кто из корреспондентов записывал, только обладатели карманных магнитофонов все еще не переставали целиться головками микрофонов в шефа пресс-отдела Специальной комиссии. Все растерялись, будучи не в состоянии переварить ту лавину научного материала, который им представили. На столе громоздились стопы таблиц и бумаг с результатами спектральных анализов, чертежи, изображающие шар в поперечном и продольном разрезах, рисунки, аналитические таблицы, сопоставляющие веса, цветные таблицы с записями физических и химических реакций, абсорбции и адсорбции, сравнительные таблицы всех исследованных образцов, а по обоим концам стола высились кипы толстых книг в лимонных переплетах — отчет комиссии. Все корреспонденты имели экземпляры этой книги, но только самые отважные решались перелистать толстый том — будто им было недостаточно того, что сказал доктор Хейнс.

Итак, четверо суток падали на Землю шары. Известны уже точки падения на поверхности Земли. Вычистана энергия удара, раскрыт механизм образования так называемого «радужного волдыря», который был не чем иным, как зародышем с необычайно ускоренным — в период «укоренения» — обменом веществ. Было установлено, что каждое упавшее из космоса тело, хоть и не было ни животным, ни растением, жило. Из врезающегося в землю при падении «яйца» почти взрывным путем формировался «плод», покрытый быстро затвердевающим защитным панцирем, способным поразить всякого, кто к нему прикоснется. Расположенное внутри молочно-белое ядро выполняло в организме груши роль органа, управлявшего всеми жизненными функциями, его сравнивали — но только для профанов и с целью популяризации — с ядром клетки. После периода «взрывного» развития метаболизм груш замедлялся. Через десять месяцев появлялись первые признаки регрессии — контуры внутренних органов и частей организма сперва становились неясными, потом полностью исчезали, превращаясь постепенно в темнеющую удлинненную каплю, все стекловидное содержимое груши всасывалось, и, наконец, на дно пустой уже оболочки опадала продолговатая гряда темной комкообразной субстанции величиной в две человеческие головы. Расколоть внешнюю оболочку на этой стадии эволюции груши было уже совсем нетрудно, а исследования доктора Карелла и профессора Казаки показали, что «черная голова» представляет собой нечто вроде «личинки-зародыша». Она начинает развиваться тогда и только тогда, когда ее выстрелят с большой скоростью в какую-нибудь материальную преграду. И лишь после того как с «зародышем» поступят так жестоко, он в условиях высокой температуры, возникающей при ударе, начинает преобразовывать окружающую материю в стекловидную массу, из которой возникает дочерняя груша.

В свете этих фактов очень близкой к истине казалась гипотеза Виннеля, что груша представляет собой живое тело, приспособленное к космическим путешествиям и даже более того — к космическим катастрофам. Так что на одной планете, на которую попадает это тело, может развиваться только одно поколение груш, а их зародыши вынуждены ожидать миллиарды лет, до тех пор пока данная планета вследствие какого-нибудь катаклизма не распадется, и тогда зародыши, смешавшись с осколками планеты, отправятся в виде метеоритного дождя путешествовать в какой-нибудь закоулок Галактики. Гарвардские астрофизики по этому поводу высказали предположение, что либо развитие груш совершалось в необычайно далекие эпохи существования Вселенной и они представляют собой реликты форм жизни, существовавших за

миллиарды лет до появления ее белковых форм, либо они упали из таких областей космоса, в которых планетные катастрофы — явления закономерные и частые. Ученые не скрывали своей радости: открытие организмов, способных развиваться не только в условиях отсутствия катастроф, но именно благодаря им, стало поразительным доказательством приспособленности феномена жизни к любым возможным материальным условиям во Вселенной.

Что касается падения груш на Землю, то это следует рассматривать как совершенно исключительное явление. Это был какой-то отдельный рой, затерявшийся в космическом пространстве и блуждавший там многие миллионы лет или веков.

Разумеется, не все ученые придерживались одного мнения. Профессор Лаарс, например, считал, что груши — это форма жизни, типичная для планет, вращающихся вокруг звезд, периодически меняющих свою яркость, — цефеид с большой амплитудой мерцания, и даже для периодических звезд — новых. Это подтверждает характер развития данных форм, приспособленных никоим образом не к путешествиям в космосе, а к неслыханно высоким температурам, возникающим на планетах в период взрыва на звезде-солнце. Действительно, оказалось, что одним лишь нагреванием «черной головы» до белого каления, можно вызвать у груши весь цикл развития.

Некоторые ученые не считали данный эксперимент доказательным. Но все эти различия точек зрения людям несведущим казались не очень существенными.

Когда доктор Хейнс закончил свой доклад, корреспонденты засыпали его вопросами, которые по существу сводились к одному: почему ядро груши создавало слепки объектов, окружавших место, где начинался процесс его развития.

Доктор Хейнс отвечал с величайшей добросовестностью. Вновь он перечислил физико-химические причины, приводящие к тому, что высокомолекулярное ядро груши, испытывая воздействие световых волн определенной длины, начинает вырабатывать центральный сгусток, на котором откладываются последующие слои вещества, а световые волны, являющиеся существенным фактором развития, поступают главным образом из ближайшего окружения и тем самым влияют на систему катализаторов, которые в известной степени моделируют форму ядра. Форма ядра для жизненных процессов груши не имеет никакого значения, лучшим доказательством чего следует считать тот факт, что ядро довольно-таки свободно принимает форму человеческих фигур, угла дома и даже кустарника. В то же время движение молочно-белой субстанции ядра далеко не безразлично для жизненных функций груши, так как циркуляция этой субстанции обеспечивает надлежащий обмен веществ и именно поэтому непосвященному может казаться, что груша имитирует повторяющиеся без конца объятия людей или трепетание крыльев птицы.

Как только Хейнс закончил, снова посыпались вопросы. Как понять, что для груши «безразлична» форма ядра? Зачем ядру принимать форму окружающих предметов, а, скажем, не шара, овоида или какой-нибудь другой геометрической фигуры? Почему циркулирование ядерного вещества не может быть обычным неупорядоченным перемещением жидкостей, если тип циркуляции не имеет значения, и почему при этом ядро имитирует движение тел земных существ?

Хейнс, казалось, обладал неисчерпаемым запасом терпения. Сначала он подробно представил причины того, почему формы ядра и циркуляция в нем вещества не могут иметь никакого влияния на жизнедеятельность этого неземного организма. Хейнс рассказал о ряде опытов, когда развитие груши вызывалось в среде, лишенной объектов с резко выраженными формами, например, в герметически закрытом стальном шаре. Ядро, развивающееся в таких условиях, имело строго шаровую форму, а его движения ограничивались чередованием продольной и поперечной пульсации. В заключение доктор Хейнс сказал, что наука описывает

явления и обобщает их, то есть выводит законы природы, но этим и ограничивается. Нет ответа, например, на вопрос, почему Земля третья, а, скажем, не четвертая планета от Солнца, почему Солнце находится в разреженной периферической части Галактики, а не в самом ее центре; или же на вопрос, почему нет людей с розовыми волосами. Солнце могло находиться в центре Галактики, люди могли иметь розовые волосы, а груша — ядро в форме тетраэдра. Но этого нет, и наука это не интересуется. Наука занимается тем, что есть, а не тем, что могло бы быть.

После этих слов в зале разгорелись жаркие споры. Корреспонденты, представлявшие научные отделы журналов, кричали о том, что следует везде искать биологическую целесообразность. Другие упрямо повторяли уже задававшиеся раньше вопросы, несколько иначе их формулируя. Больше всех шумели представители ежедневных газет — предчувствуя громы и молнии, которые жаждущие сенсаций редакторы обрушат на их головы, стоит им явиться с такими объяснениями.

Доктор Хейнс поднял руки и ждал, пока утихнет буря. Когда зал немного успокоился, Хейнс заявил, что изложил все что мог — как руководитель пресс-отдела научной комиссии. Но как частное лицо он хорошо понимает беспокойство собравшихся и даже в какой-то степени разделяет его. Если хотите, он может сообщить, что доктор Амменхопф, теолог-протестант из Швейцарии, утверждает, будто стекловидные груши, подобно людям, существуют для того, чтобы исполнилась воля Господа, чтобы служить Ему и благодарить Его за акт творения. А посему, воссоздавая образы людей, которых, сами того не желая, груши убивают, когда падают на Землю, и повторяют без устали, например, предсмертный, последний поцелуй влюбленных — все это, согласно доктору Амменхопфу, груши делают во славу Господа, ибо каждый славит Творца так, как ему дано. Это объяснение, по-своему цельное и непротиворечивое, как и вообще всякое объяснение, не является завершенным, оно апеллирует к чему-то вне нас — в данном случае к Творцу. Надо сказать, что оно не имеет ничего общего с наукой так же, как ничего общего с религией не имеют структурные формулы соединений, из которых созданы тела груш и людей.

После этих слов часть зала притихла, но другая зашумела еще сильнее. На этот раз громче всех кричали научные обозреватели — снова пошли в ход лозунги о биологической целесообразности, а несколько репортеров, столпившихся в углу, начали даже их скандировать.

Доктор Хейнс оказался на высоте положения. Снова он поднял руку, показывая, что хочет дополнить сказанное, а когда в конце концов ему дали возможность говорить, он заявил, что пять человек из тех, кто требует раскрытия биологической целесообразности обсуждаемого здесь процесса, носят цветистые рубашки, что с точки зрения борьбы за существование или биологической приспособляемости не очень-то существенно. Можно с большим основанием утверждать, что эти господа носят такие рубашки ради удовольствия. Это объяснение не так уж плохо, ибо не все, что делают люди или другие живые существа, продиктовано биологической целесообразностью. Поэтому, если хотите, вы можете сказать, что воссоздание образов существ, среди которых груши проводят свою раннюю молодость, доставляет им удовольствие.

Ответом на эти слова был многоголосый вой. Доктор Хейнс обошел стол — все ученые, сидевшие за ним, уже давно ушли — и начал собирать и приводить в порядок свои бумаги так невозмутимо, как будто он находился в совершенно пустом зале. Он намеревался выйти через маленькую дверь в углу, но толпа репортеров загородила ее, и Хейнс очутился перед плотной живой плотинной. Он развел руками и усмехнулся.

— Хорошо! Скажу! Скажу! — крикнул он несколько раз.

Толпа немного успокоилась.

— Меня вынуждают отвечать, — заявил Хейнс. — Вы хотите услышать от меня правду — но правда не одна, их две. Одна — для еженедельников, помещающих длинные статьи с



заставками. Стекловидные груши — это экспонаты из ботанических садов высокоразвитых звездных существ. Существа эти вырастили их ради своих эстетических целей. Груши — это их скульпторы и портретисты. Другая правда, которая ничуть не хуже первой, обязательна для ежедневной прессы, особенно выходящей после полудня. Груши — космические чудовища, которым доставляет удовольствие процесс уничтожения, являющийся в то же время процессом их самоутверждения как индивидуумов. Всю оставшуюся часть жизни они наслаждаются, повторяя предсмертные движения своих жертв. Больше мне нечего сказать!

С этими словами Хейнс нырнул в толпу, размахивая портфелем, корреспонденты, стоявшие в непосредственной близости к нему, на секунду расступились, оберегая свои фотоаппараты, доктор воспользовался этим и исчез в маленьких дверях. Гул в зале стоял такой, что нельзя было услышать своего собственного голоса. Позади всех стоял какой-то молодой человек, он не был корреспондентом и вообще не имел никакого отношения к прессе, а на конференцию пробрался только из-за любопытства. Как только Хейнс скрылся за дверью, молодой человек выскользнул из зала и помчался длинными коридорами за ним вдогонку. Он догнал Хейнса, когда тот, уже одевшись, направился к боковому выходу.

— Простите! — окликнул его молодой человек. — Простите!

— Я уже все сказал, — сухо бросил Хейнс на ходу.

Но юноша не отставал от него. Так они прошли через весь сад. Хейнс подошел к своему автомобилю, стоявшему в тесной шеренге других машин.

— Простите, — повторил молодой человек, пока Хейнс искал ключ в кармане, — я... я не корреспондент и вообще не из прессы, но...

Хейнс взглянул на него с искоркой интереса.

— Так чего вы хотите?

— Хочу знать...

Хейнс пожал плечами и всунул ключ в замок.

— Я уже все сказал, — повторил он.

— Но что вы, вы сами...

— Я?

Хейнс уже садился в машину, но, услышав такой вопрос, выпрямился. У юноши были удивительно голубые глаза; они смотрели на него, как бы в ожидании чуда. Хейнс потупил взор перед бесконечно доверчивым взглядом юноши.

— Извините, но дело вовсе не в этой груше, — сказал Хейнс.

— Не в...

— Разумеется. Эта проблема в такой же степени относится к растениям, животным, к людям — ко всем существам. В обычной жизни мы не задумываемся над нею, потому что привыкли к жизни, к нашей жизни, такой, какая она есть. И нужны были чуждые, другие для нас организмы, с иными формами, функциями, чтобы мы ее открыли заново — еще раз.

— Ага, — нерешительно проговорил молодой человек, — значит, речь идет о смысле...

— Безусловно, — подтвердил кивком Хейнс. — Действительность не так наивна, как побасенка о галактических садах, и она не так страшна, как сказка о выдуманных чудовищах, но временами становится грустно оттого, что она не хочет открыть нам свои тайны... Прощайте.

Хейнс захлопнул дверцу и выехал из блестящего лаком рада автомобилей. Молодой человек все глядел ему вслед, когда машина давно уже затерялась в уличном потоке.

Я хорошо помню обстоятельства, при которых познакомился с Харденом. Это случилось через две недели после того, как я стал помощником инструктора в нашем клубе. Я очень дорожил этим назначением, потому что был самым молодым членом клуба, а Эггер, инструктор, сразу же, в первый день моего дежурства в клубе, заявил, что я вполне интеллигентен и настолько разбираюсь во всей лавочке (так он выразился), что могу дежурить самостоятельно. И действительно он тут же ушел. Я должен был дежурить через день до шести, консультировать членов клуба по техническим вопросам и выдавать им карточки QDR по предъявлении билетов с уплаченными взносами. Как я уже сказал, я был очень доволен своим постом, однако вскоре сообразил, что для выполнения моих обязанностей совершенно не нужно знать радиотехнику, потому что никто не обращался за консультацией. Здесь можно было бы обойтись простым служащим, однако такому клуб должен был платить, я же дежурил даром и не только не имел от этого никакой корысти, а, напротив, терпел ущерб, если учесть вечное брюзжание матери, которая требовала, чтобы я сиднем сидел дома, когда ей хотелось пойти в кино и оставить малышей на моем попечении. Из двух зол я предпочитал дежурства. Внешне наше помещение выглядело вполне прилично. Стены были сверху донизу увешаны квитанциями радиосвязи со всего света и пестрыми плакатами, скрывавшими подтеки, а возле окна в двух застекленных шкафчиках помещалась кое-какая коротковолновая аппаратура старого типа. Была у нас и мастерская, переделанная из ванной, без окна. В ней нельзя было работать даже вдвоем, не рискуя выколоть друг другу глаза напильниками. Эггер, по его словам, питал ко мне огромное доверие, однако не столь огромное, чтобы оставить меня наедине с содержимым ящика письменного стола. Он выгреб оттуда все подчистую и унес к себе, не оставив даже писчей бумаги, так что мне приходилось вырывать листки из собственных тетрадок. В моем распоряжении находилась печать, хотя я и слышал, как Эггер сказал председателю, что ее, собственно, следовало бы прикрепить цепочкой к ящику стола. Я хотел использовать время для сборки нового приемника, но Эггер запретил уходить в часы дежурства в мастерскую, — как бы, мол, кто-нибудь не забрался в клуб и не стянул что-либо. Это было чистой водой вздором — хлам в шкафчиках не представлял никакой ценности, — но я не сказал этого Эггеру, потому что он вообще не признавал за мной права голоса. Теперь я вижу, что чересчур с ним считался. Он без зазрения совести эксплуатировал меня, но этого я тогда еще не понимал.

Не помню, в среду или в пятницу появился впервые Харден, — впрочем это безразлично. Я читал очень интересную книгу и злился: в ней не хватало множества страниц. Все время нужно было о чем-то догадываться, и я опасался, что самого важного в итоге не окажется, а тогда все чтение пойдет насмарку — обо всем не догадаешься. Внезапно послышался робкий стук. Это очень удивило меня, так как двери всегда были открыты настежь. Наш клуб обосновался в бывшей квартире. Кто-то из радиолюбителей говорил мне, что в такой скверной квартире никто не хотел ютиться. Я крикнул «войдите», и вошел посторонний, которого я никогда не видал. Я знал, — если не по фамилии, то по крайней мере в лицо всех членов клуба. Незнакомец стоял в дверях и смотрел на меня, а я разглядывал его, сидя за письменным столом; так мы созерцали друг друга некоторое время. Я спросил, чего он хочет, и подумал, что если бы этот человек пожелал вступить в клуб, то у меня не нашлось бы даже вступительного формуляра: их тоже забрал Эггер.

— Здесь клуб коротковолновиков? — спросил вошедший, хотя это было написано на дверях и на воротах.

— Да, — ответил я, — что вам угодно?

Но вошедший как будто не слышал вопроса.

— А... простите, вы тут работаете? — спросил он, сделал два шага в мою сторону, ступая словно по стеклу, и поклонился.

— Дежурю, — ответил я.

— Дежурите? — переспросил он как бы в глубоком раздумье. Улыбнулся, потер подбородок полями шляпы, которую держал в руке (не помню, видел ли я когда-либо такую поношенную шляпу), и, все еще стоя как бы на цыпочках, выпалил одним духом, словно опасался, что его прервут:

— Ага, так здесь дежурите вы, понимаю, это большая честь и ответственность, в юные годы мало кто этого достигает по нынешним временам, а вы всем ведаете, так, так, — при этом он сделал рукой, в которой держал шляпу, плавный жест, охватывающий всю комнату, точно в ней помещались бог весть какие сокровища.

— Не так-то уж я молод, — сказал я. Этот тип начинал меня немного раздражать. — А нельзя ли узнать, что вам угодно? Вы член нашего клуба? — Я задал этот вопрос умышленно, зная, что это не так, и действительно незнакомец смутился, снова потер шляпой подбородок, спрятал ее за спину и, забавно семеня, подошел к письменному столу. Нижний ящик, куда, услышав стук, я сунул книгу, был открыт. Понимая, что от такого назойливого субъекта быстро не избавишься, я задвинул ящик коленом, вынул из кармана печать и принялся раскладывать чистые листки бумаги, дабы он видел, как я занят.

— О! Я не хотел вас обидеть! Не хотел! — воскликнул он и тут же понизил голос, беспокойно оглядываясь на дверь.

— Так, может быть, вы скажете, что вам угодно? — сухо спросил я, потому что мне все это надоело.

Он оперся рукой о письменный стол, держа другую, со шляпой, за спиной, и наклонился ко мне. Только теперь я сообразил, что ему, должно быть, немало лет, пожалуй за сорок. Издалека это не бросалось в глаза, у него было худое, неопределенное лицо, какое иногда бывает у блондинов, у которых не заметно седины.

— К сожалению, я не являюсь членом клуба, — сказал он. — Я... видите ли, в самом деле питаю огромное уважение к тому, что делаете вы и все ваши коллеги, но мне увы, не хватает подготовки! Мне всегда хотелось приобрести знания, но, к сожалению, не удалось. Моя жизнь сложилась кое-как...

Он запнулся и умолк. Казалось, он вот-вот расплачется. Мне стало не по себе. Я промолчал и начал прикладывать печать к пустым листкам, не глядя на него, хотя чувствовал, что он все ниже наклоняется надо мной и, пожалуй, хочет обогнуть стол, чтобы подойти ко мне. Я делал вид, будто ничего не замечаю, а он принялся громко шептать, в чем, по-видимому, не отдавал себе отчета:

— Я знаю, что помешал вам, и сейчас уйду... У меня есть одна... одна просьба... Я рассчитываю на вас... едва смею рассчитывать на вашу снисходительность... Человек, который предается такой важной работе, такому бескорыстному служению всеобщему благу, быть может, поймет меня, может быть... я не... смею надеяться...

Я совсем одурел от этого шепота и все продолжал прикладывать печать, но с ужасом видел, что листки скоро кончатся и я не смогу таращиться на пустой стол, а на незнакомца я не хотел смотреть: он расплывался передо мной.

— Я хотел бы... хотел бы, — повторил он раза три, — просить вас не о... то есть об услуге, о помощи. Одолжите мне одну мелочь... однако сначала я должен представиться. Моя фамилия Харден... Вы меня не знаете, но, боже мой, откуда же вам меня знать...

— А вы меня знаете? — спросил я, не поднимая головы, и дыша на печать.

Харден так испугался, что долго не мог ответить.

— Случайно... — пробормотал он наконец. — Случайно видел, у меня были... были дела тут, на этой улице, поблизости, рядом, то есть недалеко от этого дома... Но это ничего не значит. — Он говорил горячо, словно для него имело громадное значение убедить меня, что он говорит правду. У меня от этого шумело в голове, а он продолжал:

— Моя просьба может показаться вздорной, но... Я хочу попросить вас, разумеется со всевозможными гарантиями, одолжить мне один пустяк. Это вас не затруднит. Речь идет... идет о проводе. С вилками.

— Что вы говорите? — спросил я.

— Провод с вилками, — воскликнул он почти в экстазе. — Немного, несколько... с дюжину метров и вилки... восемь... нет — двенадцать — сколько можете. Обязательно отдам. Вы знаете, я живу на одной с вами улице, дом номер восемь...

«А откуда вы знаете, где я живу?» — хотел я спросить, но в последний момент прикусил язык и сказал по возможности безразличным голосом:

— Мы не выдаем провод напрокат. Впрочем, разве это уж такая редкость? Ведь его можно достать в любом электротехническом магазине.

— Знаю! Знаю! — воскликнул он. — Но, пожалуйста, поймите меня! Прийти, как пришел я... сюда... очень тяжело, но у меня нет выхода. Этот провод мне очень нужен, и, собственно, не для меня, нет. Он... он нужен другому. Он... эта... особа... не имеет... средств. Это мой... друг. У него... ничего нет... — произнес Харден снова с таким видом, точно собирался расплакаться. — Я, к сожалению, теперь... такие вилки продают только дюжинами, вы знаете. Прошу вас, может быть, вы, с вашим великодушием... обращаюсь к вам, потому что не имею... Потому что никого не знаю...

Некоторое время он молчал и только тяжело дышал, как бы от избытка чувств. От всего этого меня прошиб пот, и я хотел одного: избавиться от этого человека. Я мог бы просто не дать ему этот провод, и тогда все бы кончилось. Но я был заинтригован. Впрочем, может быть, мне хотелось немного помочь ему, из жалости. Я еще хорошенько не знал, как ко всему этому отнестись, но в мастерской хранилась моя собственная старая катушка, с которой я мог делать что хотел. Вилки, правда, у меня не было, но целая куча их лежала на столике. Никто их не считал. Конечно, они не предназначались для посторонних, но я решил, что в конце концов один раз можно сделать исключение.

— Погодите, — сказал я, пошел в мастерскую и принес оттуда провод, кусачки и вилки.

— Подойдет вам этот провод? — спросил я. — Другого у меня нет.

— Конечно, я... я думаю, будет в самый раз.

— Сколько надо? Двенадцать? Может быть, двадцать метров?

— Да! Двадцать! Если можно...

Я отмерил на глаз двадцать метров, отсчитал вилки и положил на письменный стол. Харден спрятал все в карман, а у меня мелькнула мысль, что Эггер, узнай он об этих вилках, поднял бы шум на весь клуб. Мне бы он, конечно, ничего не сказал, я видел его насквозь — интригана, фарисея и, в сущности, труса. Харден отпрянул от стола и сказал:

— Молодой человек... извините, сударь... Вы сделали большое, доброе дело. Я знаю, что моя нетактичность — и то, как я тут к вам... могла бы создать превратное впечатление, но, уверяю вас, уверяю, это было крайне необходимо! Речь идет о деле, в котором участвуют хорошие, честные люди. Не могу даже выразить, как тягостно мне было прийти, но я питал надежду — и не ошибся. Это отрадно! Весьма отрадно!

— Будем считать, что вы взяли на время? — спросил я. Меня беспокоил срок возврата, и ели бы он не скоро их мне возвратил, я принес бы нужное количество собственных вилок.

— Разумеется, на время, — подтвердил Харден, выпрямляясь с каким-то старомодным достоинством и прижимая шляпу к сердцу.

— Я, то есть не во мне суть... Мой друг будет вам чрезвычайно признателен. Вы... вы даже не представляете себе, что такое *его признательность*... Полагаю даже, что...

Он поклонился.

— Я скоро все верну — с благодарностью. Когда?.. В данную минуту, увы, не могу сказать. Я сообщу, с вашего разрешения. Вы — простите — бываете тут через день?

— Да, по понедельникам, средам и пятницам.

— А смогу ли я когда-нибудь... — начал еле слышно Харден. Я испытующе посмотрел на него, и это, по-видимому, его обескуражило, так как он ничего не сказал, а только поклонился, надел шляпу, еще раз поклонился и вышел.

Я остался один. Впереди был почти час времени, я попробовал читать, но тут же отложил книгу, потому что не мог понять в ней ни единого слова. Этот визит и сам посетитель выбили меня из колеи. Он выглядел очень бедно, башмаки, начищенные до блеска, так потрескались, что жалко было смотреть. Карманы пиджака отвисли, словно он постоянно носил в них какие-то тяжелые предметы. Впрочем, кое-что я мог бы рассказать на этот счет. Больше всего меня поразили два обстоятельства — оба они касались меня. Во-первых, Харден сказал, что знает меня в лицо, потому что бывал по делам недалеко от клуба, — что, конечно, могло случиться, хоть мне и показался странным испуг, с которым он это растолковывал. Во-вторых он жил на той же самой улице, что и я. Слишком уж много случайностей. В то же время я отчетливо видел, что по своей природе этот человек не способен запутанно лгать или вести двойную игру. Любопытно, что, размышляя подобным образом, я только под конец задумался над тем, для чего же, собственно, ему потребовался провод. Я даже удивился, что так поздно об этом подумал. Харден совершенно, совершенно не походил на человека, который занимается изобретениями или хотя бы мастерит что-то для собственного удовольствия, впрочем, он сказал, что провод нужен не ему, а его другу. Все это как-то не вязалось.

На следующий день я пошел после уроков посмотреть дом номер восемь. Фамилия Хардена, разумеется, фигурировала в списке жильцов. Я завязал разговор с дворником, стараясь не возбудить подозрений, и выдумал целую историю о том, что, якобы, должен давать частные уроки племяннику Хардена и потому интересуюсь, способен ли он платить. Харден, по словам дворника, служил в центре города, в какой-то большой фирме, на работу уезжал в семь, а возвращался в три. За последнее время все изменилось, он стал возвращаться все позднее, случалось даже, что и вообще не ночевал дома. Дворник даже как-то спросил Хардена об этом, но тот ответил, что берет сверхурочную и ночную работу, так как ему нужны деньги к празднику. Однако что-то незаметно, сделал заключение дворник, чтобы такой напряженный труд много дал Хардену, — как был он беден, словно церковная мышь, так бедняком и остался. Последнее время запаздывал с квартплатой, праздников вовсе не справлял, в кино не ходил. К сожалению, дворник не знал названия фирмы, в которой служил Харден, а я предпочел не расспрашивать слишком долго, так что разведка принесла мне не очень обильный урожай.

Признаюсь, я с нетерпением ожидал понедельника. Я чувствовал, что затевается нечто необычайное, хотя и не мог понять, что же, собственно, произойдет. Пробовал представить себе различные варианты, например, что Харден работает над изобретением или занимается шпионажем, но это абсолютно не вязалось с его персоной. Я убежден, что он не отличил бы диода от пентода и был менее, чем кто-либо другой в мире, способен выполнить задание иностранной разведки.

В понедельник я пришел на дежурство раньше времени и прождал два часа с растущим нетерпением.

Харден появился, когда я уже собирался уходить. Он вошел как-то торжественно, поклонился у порога и подал мне руку, а потом небольшой пакет, аккуратно завернутый в белую бумагу.

— Добрый день, молодой человек. Рад, что застал вас. Хочу поблагодарить вас за вашу доброту. Вы меня выручили в весьма сложном положении. — Он говорил уверенно, казалось, что он заранее все это сочинил. — Тут все, что вы любезно мне одолжили, — он указал на сверток, который положил на стол.

Мы оба стояли. Харден поклонился еще раз и сделал движение, как бы собираясь уйти, но остался.

— Стоит ли говорить о пустяках, — сказал я, желая ободрить его. Я думал, что Харден начнет горячо возражать, но он ничего не сказал и лишь хмуро смотрел на меня, потирая подбородок полями шляпы. Я заметил, что шляпу старательно чистили, однако без особых результатов.

— Как вы знаете, я не состою членом клуба... — проговорил Харден, неожиданно подошел к письменному столу, положил на него шляпу и, понизив голос, продолжал:

— Не осмеливаюсь снова утруждать вас. Вы и так много для меня сделали. Все же, если вы согласитесь уделить мне пять минут, никак не больше... Речь идет не о материальной помощи, боже упаси! Понимаете, у меня нет соответствующего образования и я не могу с этим справиться.

Я не понимал, к чему он клонит, но был сильно заинтригован и, чтобы придать ему смелости, сказал:

— Ну, конечно, я помогу вам, если буду в силах.

Он молчал, ничего не отвечая и не двигаясь с места, поэтому я наугад добавил:

— Речь идет о каком-нибудь аппарате?

— Что? Что вы говорите?! Откуда, откуда вы... — выпалил перепуганный Харден, как если бы я сказал нечто неслыханное. Казалось, он хочет попросту удрать.

— Но ведь это ясно, — по возможности спокойно ответил я, стараясь улыбнуться. — Вы одалживали у меня провод и вилки, а стало быть...

— О, вы необычайно проникательны, крайне проникательны, — в словах Хардена звучало не одобрение, а скорее испуг. Нет, никоим образом, то есть — вы ведь человек чести, не правда ли? Могу ли, смею ли я просить вас... То есть, одним словом, не пообещаете ли вы мне, что никому... что сохраните все, о чем мы говорим, в тайне?

— Да, — ответил я решительным тоном и, чтобы убедить его, добавил: — Я никогда не нарушаю данного слова.

— Я так и думал. Да! Я был в этом убежден! — сказал Харден, сохраняя хмурое выражение лица и не глядя мне в глаза. Еще раз потер подбородок и прошептал: — Знаете... есть кой-какие помехи. Не знаю почему. Не могу понять. То почти хорошо, то ничего не разберешь.

— Помехи, — повторил я, потому что он умолк, — вы имеете в виду помехи приема?

Я хотел добавить: «У вас есть коротковолновый приемник», но успел произнести только «У вас...», как он вздрогнул.

— Нет, нет, — прошептал Харден. — Речь идет не о приеме. Кажется, с ним что-то *стряслось*. Впрочем, откуда мне знать! Может, он просто не хочет со мной говорить.

— Кто? — снова спросил я, потому что перестал понимать Хардена; тот оглянулся и еще тише сказал:

— Я принес это с собой. Схему, вернее, часть схемы. Я, знаете ли, не имею права, то есть не совсем имею право показывать ее кому бы то ни было, но в последний раз получил разрешение. Это не моя работа. Вы понимаете? Мой друг, речь идет, собственно, о нем. Вот

рисунок. Не сердитесь, что нарисовано так плохо, я пытался изучать различные специальные книги, но это не помогло. Все надо изготовить, сделать в точности так, как нарисовано. Я бы уж позаботился обо всем необходимом. Все уже есть, я раздобыл. Но мне этого не сделать! С такими руками, — он вытянул их, худые желтые пальцы дрожали перед моим лицом, — вы же сами видите! В жизни я ни с чем подобным не сталкивался, мне и инструмента не удержать, такой я неумелый, а тут нужна сноровка! Речь идет о жизни...

— Быть может, вы покажете мне рисунок, — медленно проговорил я, стараясь не обращать внимания на его слова, и без того он слишком смахивал на помешанного.

— Ах, простите... — пробормотал Харден.

Он расстелил на письменном столе кусок плотной бумаги для рисования, накрыл его обеими руками и тихо спросил:

— Нельзя ли закрыть дверь?

— Разумеется, можно, — ответил я, — часы дежурства уже кончились. Можно даже запереть на ключ, — добавил я, вышел в коридор и умышленно громко, чтобы он слышал, два раза повернул в замке ключ. Я хотел завоевать доверие Хардена.

Вернувшись в комнату, я сел за письменный стол и взял в руки рисунок. Он никак не походил на схему. Он вообще ни на что не походил, разве что на детские каракули: попросту нарисованы соединенные между собой квадраты, обозначенные буквами и цифрами, — не то распределительный щит, не то какой-то телефонный коммутатор, изображенный так, что волосы вставали дыбом. Символы не использовались, конденсаторы и дроссели были набросаны «с натуры», словно их рисовал пятилетний ребенок. Смысла во всем этом не было ни на грош, поскольку оставалось неизвестным, что означают эти квадратики с цифрами. Тут я заметил знакомые буквы и числа обозначения различных катодных ламп. Всего их было восемь. Но это не был радиоаппарат. Под квадратиками располагались прямоугольнички с цифрами, которые уже ничего мне не говорили; там же виднелись и греческие буквы — а все вместе выглядело как какой-то шифр или просто как рисунок сумасшедшего.

Я разглядывал эту мазню довольно долго, слыша над собой громкое дыхание Хардена. Я не мог даже приблизительно уловить идею аппарата в целом, но продолжал изучать рисунок, чувствуя, что из Хардена больше ничего не вытянешь, а стало быть, придется обойтись тем материалом, который лежал передо мной. Не исключено, что если я нажму на Хардена и потребую показать и разъяснить кое-что, то он перепугается и сбежит. И так уж он оказал мне большое доверие. Поэтому я решил начать с рисунка. Единственная понятная часть напоминала фрагмент каскадного усилителя, но скорее это был мой домысел, поскольку, как я уже сказал, все в целом представляло собой нечто совершенно неизвестное и запутанное. Была подводка тока с напряжением в 500 вольт — настоящий бред радиотехника, которого мучают кошмары. Имелись также надписи, которые должны были, по-видимому, служить руководством тому, кто бы собрал эту установку; например, замечания о материале, из которого следовало изготовить распределительный щит. Присмотревшись как следует к этой путанице, я обнаружил нечто удивительное: наклонные прямоугольнички, стоящие на ножках и обрамленные шторками, что-то вроде колыбелек. Я спросил Хардена, что это такое.

— Это? Это будут экраны, — ответил он, показывая пальцем на другой точно такой же прямоугольничек, в который действительно было вписано мелкими буквами слово «экран».

Меня это просто сразило. Скорее всего Харден совершенно не отдавал себе отчета в том, что слово «экран» означает в электротехнике нечто совершенно иное, чем в обыденной жизни, и там, где речь шла об экранировании отдельных элементов аппаратуры, то есть об отделении друг от друга электромагнитных полей заслонками, или экранами, из металла, со святой наивностью нарисовал экранчики, которые видел в кино!

И в то же время в нижнем углу схемы располагался фильтр высоких частот, подключенный совершенно новым, неизвестным мне способом, необычайно остроумно — это была просто первоклассная находка.

— Вы сами это рисовали? — спросил я.

— Да, я. А что?

— Тут есть фильтр, — начал я, указывая карандашом, но он прервал меня:

— Простите, я в этом не разбираюсь. Я рисовал, следуя указаниям. Мой друг... он, стало быть, является в некотором смысле автором...

Харден умолк. Внезапно у меня блеснула идея.

— Вы общаетесь с ним по радио? — спросил я.

— Что? Конечно, нет!

— По телефону? — непоколебимо выпрашивал я. Харден внезапно начал дрожать.

— Что... что вам нужно? — пролепетал он, тяжело опираясь на стол. Казалось, ему делается дурно. Я принес из мастерской табурет, на который он опустился, словно одряхлев за время разговора.

— Вы с ним встречаетесь? — спросил я. Харден медленно наклонил голову.

— Почему же вы больше не пользуетесь его помощью?

— О, это невозможно... — сказал он, неожиданно вздохнув.

— Если ваш друг находится не здесь и с ним нужно объясняться на расстоянии, то я могу одолжить вам мой радиоаппарат, — сказал я не без умысла.

— Но это ничего не даст! — воскликнул Харден. — Нет, нет. Он действительно здесь.

— Почему же он сам не зайдет ко мне? — бросил я. Лицо Хардена исказила какая-то спазматическая улыбка.

— Это невозможно. Он не является... его нельзя... Поверьте, это не моя тайна, я не имею права ее выдать... — неожиданно горячо сказал Харден с такой доверчивостью, что я поверил в его искренность. От напряжения у меня разламывалась голова, но я не мог уразуметь, о чем идет речь. Одно было абсолютно ясно: Харден совершенно не разбирался в радиотехнике, а схема была творением друга, о котором он выражался столь туманно.

— Послушайте, — неторопливо начал я, — что касается меня, то можете быть полностью уверены в моем умении хранить тайны. Я не хочу даже спрашивать, что вы делаете и для чего это предназначено, — я указал на рисунок, — но, чтобы помочь вам, мне надо, во-первых, скопировать рисунок, а во-вторых, мою копию должен просмотреть ваш друг, который, по-видимому знает в этом толк...

— Это невозможно... — прошептал Харден. — Я... я должен был бы оставить вам рисунок?

— А как же иначе? Вам надо смонтировать этот аппарат не так ли?

— Я... я бы принес все что нужно, если вы позволите, — сказал Харден.

— Не знаю, выйдет ли, — сказал я, — удастся ли это осуществить.

Когда я взглянул на Хардена, тот выглядел совершенно подавленным. Губы у него дрожали, он заслониł их шляпой. Мне стало очень жаль его.

— Впрочем, можно попробовать, — сказал я равнодушно, — хотя, следуя столь неточной схеме, вряд ли можно смастерить что-либо путное. Пусть ваш друг просмотрит схему или, черт побери, просто перерисует ее толково.

Посмотрев на Хардена, я понял, что требую невозможного.

— Когда я могу зайти? — спросил он наконец.

Мы условились, что он придет через два дня. Харден почти вырвал рисунок у меня из рук, спрятал его во внутренний карман и окинул комнату невидящим взглядом.



— Я, пожалуй, пойду. Не буду... не хочу отнимать у вас время. Очень благодарен, до свидания. Я приду, стало быть, если можно. Но никто... никто... никому...

Я еще раз обещал ничего не говорить, удивляясь собственному терпению. Выходя, он неожиданно остановился.

— Извините... я еще раз осмелюсь. Вы не знаете случайно, где можно достать желатин?

— Что?

— Желатин, — повторил он, — обычный сухой желатин в листах, кажется...

— Скорее всего в продовольственном магазине, — посоветовал я.

Харден еще раз поклонился, горячо поблагодарил меня и вышел. Я подождал минуту, пока не утихли его шаги на лестнице, запер клуб и пошел домой, настолько погруженный в раздумье, что натыкался на прохожих. Дело, за которое я, пожалуй, легкомысленно взялся, не вызывало во мне восторга, но понимал, что участие в постройке этого злосчастного аппарата — единственный способ узнать, что же, собственно, предпринимают Харден и его загадочный друг. Дома я взял несколько листов бумаги и попробовал нарисовать странную схему, которую показал мне Харден, но мне почти ничего не удалось вспомнить. Наконец я разрезал бумагу на куски и написал на них все, что знал об этой истории; просидев над листками до вечера, я попытался сложить из них что-либо осмысленное. Не очень-то мне это удалось, хотя должен сказать, что дал волю фантазии и, не колеблясь, выдвигал самые неправдоподобные гипотезы, вроде того, что Харден поддерживает радиосвязь с учеными какой-то другой планеты, как в рассказе Уэллса о хрустальном яйце. Но все это как-то не вязалось. Наиболее очевидное, напрашивающееся заключение, что я имею дело с обыкновенным сумасшедшим, я отбросил: во-первых, потому, что в чудачествах Хардена было слишком много методичности, а во-вторых, потому, что так, без сомнения, звучал бы приговор огромного большинства людей во главе с Эггером. Когда я уже ложился спать, мелькнула догадка, заставившая меня подпрыгнуть. Я удивлялся, почему не подумал так сразу, настолько все это было очевидно. Неведомый друг Хардена, скрывающийся за его спиной, был слепым! Некий профессионал-электрик, слепой, возможно даже хуже, чем слепой! Когда я быстро перебрал в памяти некоторые замечания Хардена, а главное — представил себе жалостливую улыбку, с которой он встретил мое предложение, чтобы его друг зашел сам, я пришел к заключению, что неизвестный полностью парализован. Какой-то старый, вероятно, очень старый, человек, много лет прикованный к постели, в вечном мраке, окружающем его, придумывает изумительные приборы. Единственный друг, услугами которого он может при этом пользоваться, совершенно несведущ в электротехнике. Старик, конечно, со странностями, подозрителен и опасается, что его секрет могут выкрасть. Гипотеза эта показалась мне вполне правдоподобной. Оставалось лишь несколько неясных мест: для чего потребовался провод и вилки. Я не замедлил тщательно исследовать эти пункты. Провод был разрезан на куски разной длины — по два, два с половиной, три и четыре метра, у вилок (совершенно новых, неиспользованных, когда я вручил их Хардену) была сорвана нарезка, а из некоторых торчали отдельные волоски медной проволоки. Значит, провод был использован не только как предлог, чтобы завязать со мною знакомство.

Кроме того, желатин. Зачем ему понадобился желатин? Чтобы приготовить своему другу какое-нибудь желе, клей? Я сидел в темноте на кровати настолько взбудораженный, словно в эту ночь вообще не собирался спать. «Листы сухого желатина» — ведь из такого количества желатина можно сделать желе для кита. Харден не разбирался в пропорциях? Или просто хотел направить мою пытливость по ложному пути? Можно это назвать отвлекающий маневр «желатин»? Но подобной хитрости от Хардена нельзя было ожидать, — он органически был к ней неспособен. Размазня физически и духовно, он даже убить муху готовился бы, наверное, со

смесью страха, колебаний и таинственности, как к самому страшному преступлению. Стало быть, этот ход подсказал ему «друг»? Неужели он придумал весь разговор заранее? Со всеми недомолвками и оговорками, которые расточал Харден? Это было заведомо невозможно. Я чувствовал, что, чем тщательнее анализирую все мелочи, все подробности дела, вроде этого несчастного желатина, тем больше погружаюсь во мрак, хуже того обычные на первый взгляд элементы логически приводили к абсурду. А когда я вспомнил слова Хардена о «помехах», о том, что он не может объясниться с другом, меня охватывала тревога. Я представил себе — что же еще могло прийти мне в голову? — старика, совершенно беспомощного, слепого, наполовину вышедшего из ума, его дряхлое тело в конуре на темном чердаке, отчаянно незащищенное существо, в мозгу которого, охваченном вечной тьмой, мелькают фрагменты призрачной аппаратуры, а Харден, смешной и верный, напрягает все силы, чтобы из обрывистого бормотанья, из хаотичных замечаний, прорывающихся сквозь мрак и безумие, создать вечное, как памятник, как завещание, целое. Подобные мысли роились в моей голове в ту ночь; вероятно, меня лихорадило. Впрочем, всего нельзя было объяснить безумием; мелкая, но совершенно необычная деталь — конструкция фильтра высоких частот — красноречиво говорила специалисту, что он имеет дело — что тут скрывать — с гениальным творением.

Я решил, что буду держать в памяти схему аппаратуры, которую обещал собрать, и, успокоенный сознанием, что у меня в руках есть нить, которая укажет путь в этом лабиринте, заснул.

Харден, как мы условились, пришел в среду, нагруженный двумя портфелями, полными деталей, и еще трижды ходил домой за остальными. Заняться монтажом мы решили после моего дежурства, — так мне было удобней. Увидев все эти детали, особенно лампы, я понял, как дорого они стоили, — и этот человек одалживал у меня двадцать метров провода?! Мы принялись за дело, распределив между собой работу. Я отмечал на эбонитовой пластине места, где нужно было просверлить отверстия, а Харден возился с дрелью. У него ничего не получалось. Мне пришлось показать ему, как держать корпус дрели и крутить ручку. Харден сломал два сверла, прежде чем этому научился. Я тем временем внимательно проштудировал схему и быстро сообразил, что в ней было много бессмысленных соединений. Это подтверждало мою гипотезу: либо замечания «друга» были столь путаны и неясны, что Харден не мог в них разобраться, либо же сам «друг», охваченный временным помрачением, путался в собственном замысле. Я сказал Хардену об этих неверных соединениях. Тот сперва не поверил, но когда я в доступной форме растолковал, что монтаж по этой схеме попросту приведет к короткому замыканию, к тому, что перегорят лампы, Харден испугался. Он слушал долгое время в полном молчании, с дрожащими губами, которых даже не заслонила, как обычно, полями шляпы. Потом засуетился, с неожиданным приливом энергии схватил со стола схему, накинул пиджак, попросил, чтобы я подождал минутку, полчаса, повторил еще раз свою просьбу уже в дверях и помчался в город. Наступили сумерки, когда он вернулся, успокоенный, но запыхавшийся, словно бежал всю дорогу. Он сказал мне, что все в порядке, что так и должно быть, как нарисовано, что я, конечно, не ошибаюсь, однако то, о чем я говорил, было предусмотрено и учтено.

Уязвленный, я хотел было в первую минуту просто бросить работу, но, поразмыслив, пожал плечами и дал Хардену новое задание. Так прошел первый вечер. Харден добился некоторого успеха, его внимание и терпеливость были прямо-таки невероятны, я видел, что он не только старается выполнять мои указания, но и пытается освоить все манипуляции, вроде монтажа шасси и пайки концов, точно хочет заниматься этим и в будущем. По крайней мере мне так казалось. «Ага, подглядываешь за мной, — подумал я, — вероятно, тебе велели приобрести сноровку в радиотехнике, значит, и мне можно нарушить лояльность». Я намеревался набросать

по памяти всю схему, выйдя на минутку под деликатным предлогом, так как Харден не выпускал рисунок из рук и разрешал смотреть на него только под своим контролем, за что, впрочем, тысячу раз извинялся, но все же стоял на своем. Я чувствовал, что это фантастическое стремление сохранить тайну исходит не от него самого, а навязано ему и чуждо его натуре. Однако, когда я попробовал выйти из мастерской, он загородил дорогу и, глядя мне в глаза, горячо прошептал, чтобы я дал обещание, поклялся, что не буду пытаться скопировать схему ни сейчас, ни в дальнейшем, никогда. Это меня возмутило.

— Что же вы хотите, чтобы я забыл схему? — спросил я. — Это не в моей власти. Впрочем, я и так уж слишком много сделал для вас, и недостойно требовать, чтобы я действовал, как слепой автомат, как слепое орудие!

Говоря это, я хотел обойти Хардена, который преграждал мне путь, но он схватил мою руку и прижал ее к сердцу, вот-вот готовый расплакаться.

— Это не ради меня, — повторял он трясущимися губами. — Умоляю, прошу вас, поймите... Он... он не просто мой друг, речь идет о чем-то гораздо большем, несравненно большем, клянусь вам, хотя и не могу сейчас всего открыть, но, поверьте мне, я не обманываю вас, и во всем этом нет ничего низкого! Он... вас отблагодарит — я сам это слышал, — вы не знаете, не можете знать, а я... я не могу ничего сказать, но только до поры до времени, вы сами убедитесь!

Примерно так говорил он, но я не могу передать той горячности, с которой Харден смотрел мне в глаза. Я проиграл еще раз, я был вынужден, просто вынужден дать ему это обещание. Можно пожалеть, что ему не подвернулся кто-либо менее порядочный, чем я; тогда, быть может, судьбы мира сложились бы иначе, но ничего не поделаешь.

Сразу же после этого Харден ушел; мы заперли смонтированную часть установки в шкафчик, а ключ Харден унес с собой. Я согласился и на это, чтобы его успокоить.

После этого первого вечера совместной работы у меня снова было много пищи для размышлений — ведь Харден не мог запретить мне думать. Во-первых, эти ложные соединения; я допускал, что они известны мне далеко не все, ведь схема представляла собой — я видел это все отчетливей — лишь часть какого-то большего, быть может значительно большего, целого.

Неужели он сам хотел смонтировать все это целое после окончания стажировки у меня?

Электрик, привыкший к механической работе, не особенно интересующийся тем, что делает, быть может, не обратил бы внимания на эти места схемы, но мне они не давали покоя. Не могу сказать почему — то есть я не в состоянии этого сделать, не представляю себе схемы, которой, к сожалению, я не располагаю, — но похоже, что ложные соединения были введены умышленно. Чем больше я о них думал, тем тверже был в этом уверен. Это были — я почти не сомневался — фальшивые пути, предательский, обманный ход того, кто, невидимый, стоял за всем этим делом.

Меня больше всего возмущало, что Харден действительно ничего не знал о существовании этой умышленной путаницы в схеме, а значит, и он не был допущен к ключу этой загадки, значит, и его обманывали — и делал это его так называемый «друг»! Должен признаться, что образ этого друга не становился в моих глазах привлекательнее, напротив, я никогда не назвал бы такого человека своим другом! А как следовало понимать возвышенные, хотя и туманные, тирады Хардена, звучавшие неясные обещания и посулы? Я не сомневался, что и эти слова он только пересказывал, что и тут он был только посредником — но в хорошем ли, в добром ли деле?

На следующий день после полудня, когда я сидел дома и читал, мать сказала мне, что у ворот стоит какой-то человек, желающий меня видеть. Она была, конечно не в духе и спросила, откуда у меня такие престарелые дружки, которые боятся показываться сами и посылают за

мной детей дворника. Я ничего не ответил, так как почуял недоброе, и сбежал вниз. Был уже вечер, но лампочки неизвестно почему не горели, и в парадном царила такая темень, что я едва разглядел ожидающего. Это был Харден, чем-то сильно взволнованный. Он попросил меня выйти на улицу. Мы пошли в сторону парка; Харден долго хранил молчание, а когда мы оказались на пустынном в эту пору берегу пруда, спросил, не интересуюсь ли я случайно серьезной музыкой. Я ответил, что, разумеется, люблю ее.

— Ах, это хорошо, это очень хорошо. А... нет ли у вас каких-нибудь пластинок? Мне, собственно нужна только одна адажио опус восьмой, Дален-Горского. Это... должно быть... это не для меня, понимаете, но...

— Понимаю, — прервал я. — Нет, у меня нет этой пластинки. Дален-Горский? Это, кажется, современный композитор?

— Да, да, вы великолепно разбираетесь, как это хорошо. Эта пластинка — она, к сожалению, очень, понимаете... у меня нет сейчас... средств и...

— И у меня, к сожалению, не очень хорошо с финансами, — сказал я, засмеявшись несколько неестественно.

Харден испугался.

— Милостивый боже, я об этом и не помышлял, это совсем не входило в мои расчеты. Может, у кого-нибудь из ваших знакомых есть эта пластинка? Только займы, на один день, не дольше!

Фамилия композитора затронула что-то в моей памяти; мы молчали минуту, шагая по грязи вдоль пруда, пока я не сообразил, что встречал эту фамилию в газете или в радиопрограмме. Я сказал об этом Хардену. Возвращаясь, мы купили в киоске газету — действительно симфонический оркестр радио должен был исполнить завтра адажио Дален-Горского.

— Знаете ли, — сказал я, — проще всего включить приемник именно в это время, то есть в двенадцать четырнадцать, и ваш друг сможет прослушать адажио.

— Тсс, — прошипел Харден, неуверенно оглядываясь. — Увы, этого нельзя сделать, он... я... Он в это время работает и...

— Работает? — произнес я с удивлением, ибо это совершенно не вязалось с образом одинокого, полубезумного, беспомощного старика.

Харден молчал, словно подавленный тем, что сказал.

— А знаете, — сказал я, следуя внезапному порыву, — я запишу вам это адажио на моем магнитофоне...

— О, это будет великолепно! — воскликнул Харден. — Я буду вам бесконечно благодарен, только не сможете ли вы одолжить мне магнитофон, чтобы... чтобы потом можно было воспроизвести?

Я невольно усмехнулся. С магнитофонами у коротковолновиков — целая история: мало у кого есть собственный, а каждому хочется записывать передачи, особенно из экзотических стран, и поэтому счастливого обладателя постоянно забрасывают просьбами одолжить магнитофон. Не желая вечно находиться в разладе с моим добрым сердцем, я вмонтировал магнитофон в свой новый приемник как неотъемлемую часть: одолжить приемник целиком, разумеется, невозможно, он слишком велик. Все это я выложил Хардену, и тот неперередаваемо огорчился.

— Но что же делать... что делать? — повторял он, теребя пуговицы изношенного пальто.

— Я могу дать вам только ленту с записью, — ответил я, — а магнитофон вам придется одолжить у кого-нибудь.

— Не у кого... — пробормотал Харден, погруженный в свои мысли. — Впрочем... магнитофон не нужен! — выпалил он с неожиданной радостью. — Достаточно ленты, да,

достаточно ленты, если вы сможете мне ее дать! Одолжить! — Он заглянул мне в глаза.

— У вашего друга есть магнитофон? — спросил я.

— Нет, но он ему и не ну...

Харден умолк. Радость его исчезла. Мы стояли как раз под газовым фонарем.

Харден на расстоянии шага всматривался в меня с изменившимся лицом.

— Собственно, нет, — сказал он, — я о... шибся. У него есть магнитофон. Да, есть.

Естественно, что есть — только я об этом забыл...

— Да? Это хорошо, — ответил я, и мы пошли дальше.

Харден сник, ничего не говорил, только временами украдкой поглядывал на меня сбоку.

Возле дома он попрощался со мной, но не ушел. С минуту смотрел на меня с жалобной улыбкой, а потом тихо пробормотал:

— Вы запишете для него... правда?

— Нет, — ответил я, охваченный внезапным гневом, — нет. Я запишу для вас.

Харден побледнел.

— Я благодарю вас, но... Вы плохо понимаете, неправильно, вы сами убедитесь позднее, — горячо шептал он, сжимая мне руку, — он, он не заслуживает... Вы увидите! Клянусь! Вы все, все поймете и тогда не будете ложно оценивать его...

Я не мог больше смотреть на Хардена, лишь кивнул головой и пошел вверх. И снова у меня была пицца для размышлений, да еще какая! Его друг работал — значит он не был старым паралитиком, которого я выдумал. Кроме того, этот поклонник современной музыки мог любоваться просто лентой с записью адажио Дален-Горского без магнитофона! В том, что дело обстояло именно так, что магнитофона не было и в помине, я уже не сомневался.

На следующий день перед дежурством я отправился в городскую техническую библиотеку и проштудировал все, что мог достать о способах воспроизведения записи с ленты. Из библиотеки я ушел столь же осведомленным, как до ее посещения.

В субботу монтаж был, по-существу, закончен, оставалось только вмонтировать недостающий трансформатор и припаять множество концов. Все это я отложил до понедельника. Харден горячо благодарил меня за ленту, которую я принес. Когда мы уже собирались расстаться, он неожиданно пригласил меня к себе на воскресенье. Смущенный Харден бесконечно извинялся за то, что визит... прием... встреча — путался он — будет обставлен чрезвычайно скромно, что совершенно не соответствует той симпатии, которую он ко мне питает. Я слушал безо всякого интереса, тем более что его настойчивая куртуазность сковывала мои намерения, меня все еще не оставляло желание поиграть в детектив и раскрыть, где же живет таинственный друг. Однако, осыпаясь благодарностями, извинениями и приглашениями, я попросту не мог решиться выслеживать Хардена. Тем большую неприязнь я питал к «другу», который все еще не изволил приподнять завесу окружавшей его тайны.

Харден действительно жил недалеко от моего дома на четвертом этаже, в комнатке, окна которой выходили на темный двор. Он приветствовал меня торжественно, озабоченный тем, что не может угостить бог знает какими деликатесами. Попивая чай, я от нечего делать разглядывал комнатку. Я не представлял себе, что Хардену приходится так туго. Однако кое-какие следы указывали, что он знал и лучшие времена: например, многочисленные латунные коробки из-под одного из самых дорогих трубочных табаков. Над старым, потрескавшимся секретером висел потертый коврик с отчетливо отпечатавшимися следами трубок; там должно быть, размещалась когда-то целая коллекция, от которой ничего теперь не осталось. Я спросил Хардена, курит ли он трубку, и тот в некотором замешательстве ответил, что раньше курил, но теперь бросил — это вредит здоровью.

Во мне крепла уверенность, что за последнее время Харден распродал все дотла: об этом

ясно свидетельствовали более светлые, чем остальная часть стен, квадраты — следы исчезнувших картин, прикрытые репродукциями из журналов; однако репродукции не закрывали полностью эти более светлые места, и их можно было легко обнаружить. Поистине не надо быть детективом, чтобы понять, откуда взялись деньги на покупку радиодеталей. Подумав, что «друг» недурно обчистил Хардена, я попытался найти в комнате хоть одну вещь, которую можно было бы продать, но не нашел ничего. Разумеется, я промолчал, но решил в подходящий момент открыть Хардену глаза на истинный характер этой так называемой «дружбы».

Тем временем этот добряк поил меня чаем, подсовывая коробку из-под табака, служившую сахарницей, словно предлагал мне поглотить все ее содержимое за отсутствием чего-либо лучшего. Он рассказывал о своем детстве, о том как рано потерял родителей и с тринадцати лет был вынужден кормиться сам; расспрашивал меня о планах на будущее, а когда я сказал, что намереваюсь изучать физику, если удастся получить стипендию, в своей обычной манере, туманно, заговорил об огромных благоприятных переменах — необычайных переменах, которые, как следует надеяться, ожидают меня в не очень далеком будущем. Я воспринял это как намек на благодеяния его друга и тотчас сказал, что намерен полагаться в жизни исключительно на самого себя.

— Ах, вы превратно меня поняли... превратно поняли, — огорчился он, но тут же вновь едва заметно улыбнулся, словно скрывая какую-то большую радующую его мысль.

Распаренный от чаепития и злой — в то время я почти непрерывно злился, — я через некоторое время попрощался с Харденом и пошел домой.

В понедельник мы наконец закончили монтаж. Во время работы Харден, говоря об аппарате, неосторожно назвал его «конъюгатором». Я спросил, что он подразумевает под этим и знает ли для чего, собственно, предназначен аппарат. Харден смутился и сказал, что как следует не знает. Это была, по-видимому, последняя капля, переполнившая чашу.

Я оставил Хардена над перевернутым аппаратом, из которого торчали, как щетка, зачищенные концы, и вышел в соседнюю комнату. Выдвинув ящик, я увидел в нем рядом с кусочком олова для пайки несколько слитков металла Вуда остатки от большого куска. Какой-то недоброжелатель подложил Эггеру этот серебристый металл, плавящийся при температуре горячего чая, вместо олова, и полностью смонтированный приемник через некоторое время после включения испортился, потому что металл стек с нагретых контактов и почти все соединения нарушились. Слитки как бы сами попали мне в руки. Я не отдавал себе отчета, зачем это делаю, но, вспомнив комнатку Хардена, перестал колебаться. Вполне вероятно, что «друг» не почувствует подвоха — Эггер тоже не раскусил.

«Когда припой потечет, — размышлял я, залуживая паяльник, — он, несомненно, прикажет Хардену вновь отнести аппарат в мастерскую, а может быть, даже пожелает лично представиться мне. Впрочем, возможно, и обозлится, но что он мне сделает?» Мысль о том, что я оставлю в дураках этого эгоистичного эксплуататора, доставляла мне огромное удовольствие.

Закончив пайку проводников, мы принялись монтировать трансформатор. Тут выяснилось, как я подозревал раньше, что Харден просто не в состоянии унести аппарат в одиночку. Дело было не столько в тяжести, сколько в ее размещении. Аппарат получился более метра длиной и с того края, где помещался трансформатор, очень тяжелый, вместе с тем настолько неудобный, что просто смешно было смотреть, как Харден, крайне озабоченный, в полном отчаянии примеряется к нему и так и эдак, пробует взять под мышку, опускается на колени и просит, чтобы я взвалил аппарат ему на спину. Наконец он решил сбегать к дворнику и одолжить у него мешок. Я посоветовал не делать этого: аппарат слишком длинный, и, как ни ухитришься, будешь задевать его ногами, что наверняка не пойдет на пользу лампам. Тогда Харден начал копать в

бумажнике, но денег на такси не хватало; у меня их также не было. Окончательно подавленный, он сидел некоторое время на табурете, ломая пальцы, а затем взглянул на меня исподлобья.

— Не согласитесь ли вы... помочь мне?...

Я ответил, что, сделав уже так много, не откажу и теперь: он просветлел, но тут же принялся пространно объяснять, что сначала должен посоветоваться с другом. Мне было любопытно, как он это сделает: время было уже позднее, и я не мог ждать Хардена в клубе. Он прекрасно это знал.

Харден поднялся, некоторое время размышлял, бормоча что-то себе под нос и расхаживая по комнате, и, наконец, осведомился, нельзя ли воспользоваться телефоном. Еще от прежних жильцов остался в коридоре телефон-автомат, которым мало кто пользовался; думаю, что о нем попросту забыли. Харден рассыпался в извинениях, но все же закрыл дверь в коридор; я должен был ждать в комнате, пока он поговорит с другом. Это меня слегка задело; я сказал, что он может быть спокоен, и заперся изнутри, когда Харден вышел.

Поскольку речь шла о вещах более серьезных, чем уважение к подозрительности какого-то неизвестного чудака, я попробовал подслушивать у дверей, — но ничего не услышал. Помещение клуба соединялось с коридором вентиляционным отверстием, прикрытым куском продырявленной жести, который можно было отодвинуть. Недолго думая, я подпрыгнул, ухватился за раму и подтянулся вверх, как на трапедии. Было очень трудно отодвинуть задвижку, но все же я сделал это и приблизил ухо к отверстию. Я не разобрал слов, а только улавливал интонацию уговоров и просьб. Харден повысил голос:

— Это же я, я, ты ведь узнаешь меня! Почему ты не откликаешься?

Ему ответило урчание трубки, удивительно громкое, потому что я слышал его сквозь узкое отверстие в стене. Я подумал, что телефон испортился, — но Харден продолжал что-то говорить, повторил несколько раз «невозможно» и умолк. В трубке раздавалось бормотанье, Харден кричал:

— Нет! Нет! Уверю тебя! Я вернусь один!

Он снова умолк. Я напрягался из последних сил, висая на согнутых руках, потом немного выпрямил их, чтобы передохнуть, а когда вновь подтянулся, до меня донесся обеспокоенный голос Хардена:

— Ну хорошо, все так, в точности так! Только не откликайся, слышишь! Власть, понимаю, власть над миром!

Руки у меня немели. Я легко спрыгнул, чтобы не производить шума, и открыл дверь. Харден вернулся внешне успокоенный, но явно не в своей тарелке — в таком настроении он всегда возвращался от «друга». Не глядя на меня, отворил окно.

— Как вы думаете, будет туман? — спросил он.

Маленькие радужные ореолы окружали уличные фонари, к обычно бывает после холодного, дождливого дня.

— Уже есть, — ответил я.

— Сейчас пойдем...

Став на колени возле аппарата, Харден принялся обертывать его бумагой. Потом вдруг замер.

— Не ставьте это ему в вину. Он такой... подозрительный! Если бы вы понимали... Он в таком тяжелом, отчаянном положении! — Харден вновь умолк. — Я все время боюсь сказать лишнее, о чем не велено... — произнес он тихо.

Его слезящиеся голубые глаза кротко уставились в пол. Я стоял перед ним, засунув руки в карманы, а он словно не осмеливался посмотреть мне в лицо.

— Вы не сердитесь, правда?

Я сказал, что лучше этого не касаться. Харден вздохнул и притих.

Упаковав аппарат, мы сделали с каждой стороны по петле, чтобы легче было нести. Когда все было готово, Харден, поднимаясь с колен, сказал, что мы поедем на автобусе, а потом на метро... И нам останется пройти пешком еще часть пути... правда, не очень большую... но все же... А затем мы отнесем аппарат в одно место. Друга там не будет — его там вовсе нет, — мы только оставим груз, а он уже сам потом за ним придет.

После этого я почти не сомневался, что «друг» находится именно там, куда мы направляемся. Следует сказать, что не было на свете человека, менее способного выдать ложь за истину, чем Харден.

— Ввиду значения, которое это имеет... осмеливаюсь просить... Исключительное условие... учитывая... — начал Харден, глубоко вздохнув, когда я думал, что он уже прекратил свои словоизлияния.

— Скажите прямо, в чем дело. Я должен дать клятву?

— О нет, нет, нет... Дело в том, что не согласитесь ли вы... Последний участок пути до того места... пройти задом наперед.

— Задом наперед? — Я вытаращил глаза, не зная, как отнестись к этому. — Ведь я же упаду.

— Нет, нет... Я поведу вас за руку.

У меня просто не хватало сил препираться с Харденом; он находился между мной и своим другом словно между молотом и наковальней. Один из нас, очевидно я, всегда должен был уступать. Харден, поняв, что я согласен, закрыл глаза и прижал мою руку к груди. У любого другого человека это выглядело бы наигранно, но Харден был действительно таков. Чем больше я любил его, а на этот счет у меня уже не было никаких сомнений, тем больше он меня злил, особенно своей расхлябанностью и тем поклонением, которое воздавал «другу».

Через несколько минут мы вышли из здания; я старался шагать в ногу с Харденом, что было нелегко, так как тот все время сбивался. Улицу обволакивал густой, как молоко, туман. Фонари чуть тлели оранжевыми пятнами.

Автобусы едва ползли, мы ехали в два раза дольше, чем обычно, в давке, какая бывает во время тумана. Выйдя из метро на парковой станции, я после пяти минут ходьбы по Харден петляет: электрическое зарево, словно стоящее над широкой площадью, проплыло справа, а через несколько минут появилось слева, однако это могли быть и две разные площади. Харден очень торопился и, так как груз был довольно тяжел, прерывисто дышал. Мы представляли, должно быть, странную пару. Сквозь клубы тумана и уродливые тени деревьев мы, подняв воротники, несли за оба конца длинный белый ящик, точно какую-то статую.

Потом стало так темно, что исчезли и тени. Харден с минуту шарил рукой по стене здания и двинулся дальше. Возник длинный забор, а в нем то ли пролом, то ли ворота. Мы вошли в это отверстие. Невдалеке проревел гудок парохода, и я подумал, что где-то поблизости находится канал, по которому идут суда. Мы шагали по огромному двору, я то и дело спотыкался о листы жести и беспорядочно разбросанные трубы, что было весьма некстати, так как нас связывала общая ноша. От непомерной тяжести у меня уже ныла рука, но тут Харден предложил остановиться возле дощатой стенки — в том, что стенка была дощатая, я удостоверился, дотронувшись до нее. Я слышал скрип железного троса, на котором над нашими головами раскачивался фонарь; свет казался сквозь туман красноватым, ползающим из стороны в сторону червячком. Харден тяжело дышал, прислонившись к стене — должно быть, какого-то барака, решил я, ибо, поднявшись на цыпочки, без труда коснулся плоской крыши строения, крытой толем — на ладони остался запах смолы. Следуя поговорке: тонущих надо спасать даже вопреки их желанию, я вынул из кармана кусочек мела, который положил туда, выходя из клуба, и,



поднявшись на носках, поставил наугад в темноте два больших креста на крыше. Если кто и будет искать знаков, полагал я, то ему и в голову не придет становиться на цыпочки и заглядывать на крышу. Харден настолько устал, что ничего не заметил, впрочем, было абсолютно темно, только далеко впереди стояло мутное зарево, словно там проходила хорошо освещенная магистраль.

— Пойдем, — шепнул Харден.

На башне начали бить часы, я насчитал девять ударов. Мы шли по твердой, гладкой, как будто оцементированной поверхности. Пройдя несколько десятков шагов, Харден приостановился и попросил, чтобы я повернулся. Мы двинулись снова, я пятился, а он, так сказать, управлял мной, поворачивая ношу вправо и влево. Все это выглядело как глупая игра, но мне было не до смеха — эту уловку наверняка выдумал его «друг». Я надеялся, что мне удастся его перехитрить, и в то же время понимал, что это невозможно: стало еще темней. Мы оказались среди стропил каких-то лесов, два раза я ушибся о деревянную обшивку. Харден водил меня, как в лабиринте. Я уже хорошенько взмок и тут неожиданно уперся спиной в дверь.

— Пришли, — шепнул Харден.

Он велел мне наклонить голову. Мы стали на ощупь спускаться по каменным ступеням вниз. Груз порядком досадил нам на этой лестнице. Когда она кончилась, мы оставили аппарат у стены. Харден взял меня за руку и повел дальше. Впереди что-то скрипнуло, но это не был звук, который издает дерево. Там, где я стоял, было теплей, чем на дворе. Харден отпустил мою руку. Я замер, вслушиваясь в тишину, пока не осознал, что она пронизана низким басовым гудением, сквозь которое прорывается нежное тончайшее жужжание точно какой-то гигант играл где-то, очень далеко, на гребенке. Мелодия была знакомой: вероятно, я слышал ее недавно. Наконец Харден нашел ключ и загремел им в замке. Невидимая дверь подалась, как-то по-особому чмокнув слабый звук тут же утих, будто отрезанный ножом. Осталось только мерное басовое гудение.

— Мы на месте, — сказал Харден, подтянув меня за руку. — Уже на месте!

Он говорил очень громко, и ему вторила черная замкнутая пустота.

— Теперь мы вернемся за аппаратом, только я включу свет... сейчас... Осторожно... будьте внимательны! — выкрикивал Харден неестественно высоким голосом. Запыленные лампочки осветили высокие стены помещения. Я зажмурился. Я стоял у дверей, рядом проходили толстые трубы центрального отопления.

Посреди находилось некое подобие стола, сколоченного из досок и заваленного инструментами; вокруг лежали какие-то металлические детали. Больше ничего не удалось разглядеть, так как Харден позвал меня; мы вернулись в коридор, слабо освещенный через распахнутые двери, и вдвоем внесли аппарат в бетонированный подвал. Мы поставили аппарат на стол. Харден вытер платком лицо и схватил меня за руку с судорожной усмешкой, от которой у него дрожали уголки губ.

— Благодарю вас, сердечно благодарю... Вы устали?

— Нет, — ответил я.

Я заметил, что подле железных дверей, в которые мы вошли, в стенной нише находится трансформатор высокого напряжения, металлический шкаф, покрытый серым лаком. На приоткрытой дверце виднелся череп и скрещенные кости. По стене тянулись бронированные кабели, исчезающие под потолком. Басовое гудение доносилось из трансформатора — явление совершенно нормальное. В подвале больше ничего не было. И все же казалось, кто-то меня разглядывает; это было так неприятно, что хотелось втянуть голову в плечи, как на морозе. Я повел взглядом вокруг — в стенах, в потолке не было ни одного окошка, клапана или ниши — ни единого места, где бы можно было укрыться.

— Пойдем? — спросил я. Я был весь собран и напряжен больше всего меня раздражало поведение Хардена. Все в нем было неестественно: слова, голос, движения.

— Отдохнем минутку, очень холодно, а мы разогрелись, — бросил он с необъяснимой живостью. — Можно мне... кой о чем вас спросить?

— Слушаю...

Я все еще стоял у стола, стараясь подробно запомнить форму подвала — хотя еще не знал, зачем мне это может понадобиться. Внезапно я вздрогнул: на дверце трансформатора поблескивала слегка окислившаяся латунная табличка с паспортом. На ней был проставлен фабричный номер. Этот номер необходимо было прочесть.

— Что бы вы сделали, обладая неограниченной силой... получив возможность сделать все, чего бы вы только ни захотели?..

Я оторопело смотрел на Хардена. Трансформатор мерно гудел. Лицо Хардена, полное напряженного ожидания, дергалось. Он боялся? Чего?

— Н... не знаю... — пробормотал я.

— Пожалуйста, скажите... — настаивал Харден. — Скажите так, словно ваше желание могло бы исполниться немедленно, сию же минуту...

Мне показалось, что кто-то смотрит на меня сзади. Я обернулся. Теперь мне была видна приоткрытая железная дверь и тьма за нею. Может о н стоит там? Казалось, это сон нелепый сон.

— Очень прошу вас... — прошептал Харден, запрокинув лицо, полное вдохновения и страха, словно он решался на что-то неслыханное. Вокруг царил тишина, только непрерывно гудел трансформатор.

«Безумен не он, а его друг!» — пронеслось у меня в голове.

— Если бы обладал неограниченной... силой? — повторил я.

— Да! Да!

— Я постарался бы... нет, не знаю. Ничего не приходит мне в голову...

Харден крепко схватил меня за руку, тряхнул ее, глаза у него сверкали.

— Хорошо... — прошептал он мне на ухо. — А теперь пойдем, пойдем!

Он потянул меня к дверям.

Мне удалось прочесть номер трансформатора: F 43017. Я повторил его про себя, когда Харден подошел к выключателю. В последний момент, прежде чем погас свет, я заметил нечто особенное. На листе алюминия возле стены стоял ряд стеклянных чашечек. В каждой, погруженная в подстилку из мокрой ваты, покоилась, как в инкубаторе или гнезде, подушечка мутного желе, вздутая, пронизанная темными нитями, тонкими, как волосы. На поверхности этих комочков виднелись следы той характерной гофрировки, какая бывает обычно на листках сухого желатина. Я видел алюминиевый лист и стеклянные сосуды лишь секунду, потом наступила темнота, в которую я, ведомый за руку Харденом, унес эту картину. Мы вновь стали кружить и лавировать между опорами призрачных лесов. Холодный, влажный воздух принес мне облегчение после душной атмосферы подвала. Я все время твердил про себя номер трансформатора, пока не почувствовал, что не забуду его. Мы долго петляли по пустынным переулкам. Наконец показалась светящаяся изнутри стеклянная колонка остановки.

— Я подожду с вами... — предложил Харден.

— Вы поедете со мной?

— Нет, знаете ли... может быть, вернусь... То есть... поеду... к нему.

Я сделал вид, что не заметил обмолвки.

— Еще сегодня произойдет нечто необычайно важное... и за вашу помощь, за вашу доброту и терпеливость...

— О чем тут говорить! — прервал я в сердцах.

— Нет! Нет! Вы не понимаете, что если вы — как бы это выразить? — вы были подвергнуты некоторому... следовательно... Я буду ходатайствовать, чтобы завтра же вы сами... И вы поймете, что не было обычной услугой, оказанной неизвестно кому, человеку вроде меня или любому из нас, вы поймете, что речь идет о... обо всем мире... — закончил он шепотом.

Харден смотрел на меня, быстро мигая; я плохо понимал его, но сейчас он по крайней мере больше походил на себя самого — на того Хардена, которого я знал.

— О чем вы, собственно, намереваетесь ходатайствовать? — осведомился я. На остановке все еще никого не было.

— Я знаю, вы не питаете к нему доверия... — печально отозвался Харден. — Вы думаете, что это... существо, способное к чему-либо низкому... А для меня то, что я, по сути, случайно первым, первым смог... я был одинок, совсем одинок и вдруг — пригодился такому... Ну, да впрочем, что там... а ведь сегодня наступит первое...

Он прикрыл рот дрожащими пальцами, словно боясь произнести то, о чем не смеет говорить.

В тумане вспыхнули фары подъезжавшего автобуса.

— Кто бы там ни был этот ваш друг — мне ничего от него не надо! — крикнул я, перекрывая визг тормозов и шум мотора.

— Вы увидите! Сами увидите! Только прошу вас прийти ко мне завтра после полудня — кричал Харден. — Вы придете? Придете?!

— Хорошо, — бросил я, стоя уже на подножке. Обернулся в последний раз и увидел, как он в своем куце пальтишке робко махал поднятой рукой в знак прощанья.

Когда я вернулся, мать уже спала; я разделся в темноте. Но едва заснул, как что-то заставило меня встрепенуться. Сидя на кровати, я пытался вспомнить, что мне приснилось. Я блуждал в непроглядной тьме лабиринта среди металлических стен и перегородок, с растущим ужасом бился о какие-то запертые двери, слыша все более мощное урчание, чудовищный бас, который непрерывно повторял одни и те же такты мелодии: татити-та-та... Татити-та-та...

Это была та самая мелодия, которую я слышал в бетонированном подземелье. Только теперь я узнал ее: начало адажио Дален-Горского.

«Не знаю, в своем ли уме Харден, но сам я, вероятно, рехнусь от всего этого», — подумал я, переворачивая нагретую подушку. Странное дело: в эту ночь, несмотря ни на что, я спал.

Не было еще восьми часов утра, когда я направился к знакомому технику, работавшему в фирме электрических установок. Я попросил его позвонить в управление городской сети и узнать, где установлен трансформатор F 43017. Я сказал, что речь идет о предприятии.

Он даже не удивился. Он без труда получил подробную информацию, поскольку звонил от имени фирмы. Трансформатор находился в здании объединения электронных предприятий на площади Вильсона.

— Какой номер дома? — спросил я. Техник усмехнулся.

— Номер не нужен. Сам увидишь.

Я поблагодарил его и поехал прямо в техническую библиотеку. В отраслевом каталоге, лежавшем в зале, я нашел Объединение электронных предприятий. «Акц. общ. с огр. отв. — гласил каталог, — специализирующееся по услугам в области прикладной электроники. Сдает в аренду почасово или аккордно электронные вычислительные машины, машины, переводящие с языка на язык, а также машины, перерабатывающие всевозможную, поддающуюся математизации информацию».

Большая реклама, помещенная на другой странице, возвещала, что в центральном здании

объединения строится самая мощная электронная машина в стране, которая может решать одновременно несколько задач. Кроме того, в здании на площади Вильсона помещается семь электронных мозгов меньшего размера, которые можно арендовать по стандартизованному ценнику. За три года своей деятельности фирма решила 176000 задач из области атомных и стратегических исследований, в которых было заинтересовано правительство, а также банки, торговые и промышленные круги в стране и за рубежом. Кроме того, фирма перевела с семи языков свыше 50000 научных книг по всем отраслям знаний. Арендванный мозг остается собственностью фирмы, которая гарантирует успех в случае, «когда решение проблемы вообще находится в пределах возможного». Уже сейчас можно делать по телефону заказы на работу самой большой установки. Пуск ее — дело ближайших месяцев, в настоящее время она находится в стадии отладки.

Я записал все эти данные и покинул библиотеку в каком-то лихорадочном состоянии. Я шел пешком в сторону площади Вильсона, натываясь на прохожих; два или три раза меня чуть не переехал автомобиль.

Номер действительно оказался ненужным. Еще издали я разглядел здание ОЭП, его одиннадцать этажей и три крыла, сверкающие вертикальными полосами алюминия и стекла. На паркинге перед входом стояла армада автомобилей; за ажурными воротами виднелся обширный газон с бьющим фонтаном, а дальше — огромные стеклянные двери с каменными статуями по бокам. Я обошел здание вокруг; за восточным крылом начиналась длинная узкая улица. Дальше на протяжении нескольких сот метров тянулись заборы, я нашел ворота, в которые непрерывно въезжали автомобили. Подошел к ним; за забором простиралась обширная площадь. В глубине стояли приземистые бараки гаражей, был слышен рокот моторов, заглушаемый по временам тарактеньем бетономешалок, работавших в стороне: груды кирпича, разбросанные листы железа и трубы говорили о том, что здесь идут строительные работы. Над бараками и лесами, со стороны площади Вильсона, вздымался сверкающий массив одиннадцатипятиэтажного здания.

Оглушенный, словно во сне, я вышел на улицу. Некоторое время я бродил по площади Вильсона, разглядывая огромные окна, в которых, несмотря на дневное время, горел свет. Я прошел сквозь ряды автомобилей, стоявших на паркинге, миновал наружные ворота и, обойдя газон с фонтаном, проследовал через главный вход в мраморный вестибюль, огромный, как концертный зал. В нем было пусто. Наверх вели лестницы, покрытые коврами, светящиеся таблички информаторов указывали направления: между двумя лестницами двигались скоростные лифты. По медным табличкам прыгали огоньки. Ко мне подошел высокий швейцар в серой ливрее с серебряными галунами. Я сказал, что хочу кое-что выяснить об одном из работников фирмы; швейцар провел меня к небольшому бюро. Здесь за изящным стеклянным столиком сидел вылощенный субъект, у которого я спросил, работает ли в фирме Харден. Он слегка приподнял брови, улыбнулся, попросил подождать и, заглянув в какой-то скоросшиватель, ответил, что у них действительно есть такой сотрудник.

Я поблагодарил и вышел, еле держась на ногах. Лицо у меня горело; с облегчением я вдохнул холодный воздух и приблизился к фонтану, бившему посреди газона. Я стоял у фонтана, чувствуя, как на щеках и на лбу оседают прохладные капельки, несомые ветром, и тут что-то заторможенное в моей голове сдвинулось, и я понял, что, собственно говоря, знал все уже раньше, только не мог разгадать. Я снова выбрался на улицу и побрел вдоль здания, поглядывая вверх; и одновременно что-то во мне медленно, но непрерывно падало, точно летело куда-то. Внезапно я заметил, что вместо удовлетворения испытываю подавленность, чувствую себя просто несчастным, словно случилось что-то ужасное.

Почему? Этого я не знал. Так вот для чего Харден явился ко мне кланчить проволоку и просить о помощи, вот ради чего я работал по вечерам, записывая адажио Горского, таскал в

темноте аппарат, отвечал на странные вопросы...

«Он находится там, — подумал я, глядя на здание, сразу на всех этажах, за всеми стеклами и за этой стеной». И внезапно мне показалось, что здание смотрит на меня, вернее, из окон выглядывает нечто недвижимое, громадное, притаившееся внутри. Чувство это сделалось столь сильным, что хотелось кричать: «Люди! Как можете вы так спокойно ходить, заглядываться на женщин, нести свои дурацкие портфели! Вы ничего не знаете! Ничего!» Я зажмурился, сосчитал до десяти и вновь открыл глаза. Машины с визгом остановились, полицейский переводил через улицу маленькую девочку с голубой игрушечной коляской, подъехал роскошный «флитмастер», пожилой, благоухающий одеколоном человек в черных очках вышел из машины и направился в сторону главного входа.

«Видит ли он? Каким образом?» — размышлял я, и, непонятно почему, это показалось мне тогда самым главным. Тут что-то кольнуло меня в сердце — я вспомнил Хардена. «Подходящая парочка друзей! Какая гармония! А я — круглый идиот!» Неожиданно вспомнилась проделка с металлом Вуда. С минуту я испытывал злобное удовлетворение, потом — страх. Если он обнаружит, то будет преследовать меня? Гнаться за мной? Каким образом?

Я бросился к станции метро, но когда обернулся и издали еще раз посмотрел на великолепное здание, у меня опустились руки. Я знал, что ничего не могу сделать, каждый, к кому подойду, попросту высмеет меня, примет за несмышленного щенка, у которого мутится в голове. Я уже слышал голос Эггера: «Начитался разных сказок, и вот вам, пожалуйста...»

Потом спохватился, что после полудня надо зайти к Хардену. Постепенно мною овладевала холодная ярость. Слова складывались в фразы — я скажу ему, что презираю его, пригрожу, что если он осмелится вместе со своим «другом» что-либо замышлять, строить какие-либо планы... — о чем, собственно, они мечтали?

Я стоял перед входом в метро и не отрываясь смотрел на далекое здание. Вспомнил швейцара в серой ливрее и выбритого чиновника, и внезапно все показалось мне абсурдным, нереальным, невозможным. Я не мог выставить себя на посмешище, поверив одинокому и несчастному от одиночества чудаку, который создал воображаемый мир, какого-то всемогущего друга, рисовал по ночам запутанные, бессмысленные схемы.

Но кто же в таком случае играл на трансформаторе адажио Дален-Горского?

Ну хорошо... Он существовал. Что он делал? Вычислял, переводил, решал математические задачи. И в то же время наблюдал за всеми, кто к нему приближался, и изучал их, пока не выбрал того, кому смог довериться.

Тут я очнулся перед распахнутыми воротами, в которые въезжал грузовик. Только теперь я понял, что не спустился в метро, а прошел по улице к задней стороне громадного здания. Я перебирал в памяти людей, к которым мог бы обратиться, — но никто не шел на ум. С чего начать? Вспомнив слово «конъюгатор», которым Харден назвал аппарат, я снова машинально двинулся вперед. Conjugo, conjugare связывать, соединять — что бы это значило? Что с чем хотел он соединить? А может, войти к Хардену и захватить его врасплох, ошеломить, бросить ему в лицо: «я знаю, кто ваш друг!» Как он поступит? Кинется к телефону? Испугается? Бросится на меня? Вряд ли. Но разве знал я, что могло быть невозможным во всей этой истории? Почему в бетонированном подвале он задал мне тот вопрос? Харден не сам его выдумал, за это ручаюсь головой.

Так я блуждал около часа, временами почти вслух разговаривая сам с собой, придумывал тысячи вариантов, но ни на что не мог решиться. Миновал полдень, когда я поехал в городскую библиотеку, набрал гору книг и уселся под лампой в читальне. Но, начав перелистывать злосчастные фолианты, понял, что это бесполезное занятие — вся наука о системах и соединениях электронных мозгов была бессильна мне помочь. Скорей здесь нужна психология

— подумал я и отнес книги дежурному. Тот посмотрел на меня искоса: я не просидел за книгами и десяти минут. Мне было все равно. Домой идти не хотелось, не хотелось никого видеть. Я старался подготовиться к встрече с Харденом. Был уже второй час, и пустой желудок давал о себе знать. Я пошел в закусочную-автомат и стоя съел порцию сосисок. Вдруг мне стало смешно — как все это бессмысленно. Желатин в чашечках — кто-то должен был его есть? И предназначался ли он вообще в пищу?

Было почти четыре, когда я позвонил у дверей Хардена. Я услышал шаги и впервые понял: меня более всего угнетает то, что я должен относиться к Хардену, как к противнику. В коридорчике было темно, но с первого же взгляда я рассмотрел, как выглядит Харден. Он стал ниже ростом, сгорбился. Словно постарел за ночь. Харден никогда не казался слишком здоровым, а сейчас походил на библейского Лазаря: ввалившиеся щеки, под опухшими глазами — синяки, шея под воротником пиджака забинтована. Он впустил меня без единого слова.

Я неторопливо прошел в комнату. На спиртовке шипел чайник, пахло крепким чаем. Харден говорил шепотом, он сообщил, что, вероятно, простыл вчера вечером. И ни разу не взглянул на меня. Подготовленные заранее тирады застревали в горле, когда я смотрел на него. У Хардена так тряслись руки, что половину чая он разлил по письменному столу. Но даже не заметил этого, сел, закрыв глаза, и двигал кадыком, точно не мог вымолвить ни слова.

— Простите меня, — произнес он очень тихо, — все обстоит иначе... чем я думал...

Я видел, как тяжело ему говорить.

— Я рад, что познакомился с вами, хотя... но это не в счет. Я не говорил, а может и говорил, что желаю вам добра. По-настоящему. Это искренне. Если я что-либо скрывал или притворялся, и даже... лгал... то не ради себя. Я считал, что обязан это делать. Теперь... вышло так, что мы больше не должны видеться. Так лучше всего — только так. Это необходимо. Вы молоды, забудьте обо мне и обо всем этом, вы найдете... впрочем, я зря это говорю. Прошу вас забыть даже мой адрес.

— Я должен попросту уйти, да? — Мне трудно было говорить — так пересохло во рту. Все еще с закрытыми глазами, обтянутыми тонкой кожей век, он кивнул головой.

— Да. Говорю это от всего сердца. Да. Еще раз — да. Я представлял себе это иначе...

— Быть может, я знаю... — отозвался я. Харден склонился ко мне.

— Что?! — выдохнул он.

— Больше, чем вы думаете, — окончил я, чувствуя, как у меня начинают холодеть щеки.

— Молчите! Пожалуйста, ничего не говорите. Не хочу... не могу! — с ужасом в глазах шептал Харден.

— Почему? Вы ему скажете? Побежите и тут же скажете? Да?! — кричал я, срываясь с места.

— Нет! Не скажу ничего! Нет! Но... но он и так узнает, что я сказал! — простонал он и закрыл лицо.

Я замер, стоя над ним.

— Что это значит? Вы можете мне все сказать! Все! Я вам помогу. Несмотря... на обстоятельства, опасность... — бормотал я, не зная, что говорю.

Он судорожно схватил меня, стиснул мои пальцы холодной как лед рукой.

— Нет, прошу вас не говорить этого! Вы не можете, не можете! — шептал он, умоляюще глядя мне в глаза. — Вы должны обещать мне, поклясться, что никогда... Это иное существо, чем я думал, еще более могущественное и... но не злобное! Просто иное, я этого еще не понимаю, но знаю... помню... что это — великий свет, а такое величие смотрит на мир по-иному... Только прошу, обещайте мне...

Я старался вырвать руку, которую он судорожно сжимал. Блюдце, задетое нами, упало на

пол. Харден наклонился одновременно со мной, он был проворней. Бинт на шее сдвинулся. Я увидел совсем близко синеватую припухлость, покрытую рядами капелек запекшейся крови, словно кто-то наколол ему кожу иглой...

Я отступил к стене. Харден выпрямился. Взглянув на меня, он судорожно затянул бинт обеими руками. Его взгляд был страшен — какую-то долю секунды казалось, что он бросится на меня. Харден оперся о письменный стол, обвел взглядом комнату и уселся со вздохом, звучащим как стон.

— Обжегся... на кухне... — сказал он деревянным голосом. Я молча шел, точнее, отступал к двери. Харден смотрел на меня тоже в молчании. Потом вдруг вскочил и настиг меня у порога.

— Хорошо, — задыхался он, — хорошо. Можете думать обо мне что угодно. Но вы должны поклясться, что никогда... никогда...

— Пустите меня, — сказал я.

— Дитя! Сжальтесь!

Я вырвался из его рук и выбежал на лестницу. Я слышал, что он бежит за мной, потом шаги утихли. Я дышал, как после утомительного бега, не зная, в каком направлении иду. Я должен был освободить Хардена. Я ничего не понимал, решительно ничего, теперь, когда должен был понимать все. Сжималось сердце, когда мне снова слышался звук этого голоса, когда я вспоминал его слова и его ужас.

Я пошел медленней. Миновал парк, потом вернулся и вошел в него. Я сидел на скамейке у пруда, голова разламывалась. Теперь я вообще не думал — казалось, что вместо мозга мне вложили в голову свинцовую болванку. Потом бесцельно бродил некоторое время. Уже смеркалось, когда я возвращался. Внезапно, вместо того, чтобы идти прямо, я свернул у ворот Хардена. Проверил содержимое карманов — оказалось лишь несколько мелких монет, на три поездки на метро. На дворе было уже темно. Я посмотрел на крыло дома и сосчитал окна; у Хардена горел свет, значит он был дома. Еще был. Мне не следовало ждать — он легко заметил бы меня в автобусе. Я поехал один на площадь Вильсона.

Когда я выходил из метро, зажглись фонари. Громадное здание было погружено во тьму, только на крыше горели красные огни, предостерегавшие самолеты. Я быстро нашел длинный забор и ворота. Они были приоткрыты. Ветер гнал редкие клочья тумана, видимость была хорошая — в свете фонаря белели свежеструганными досками стены гаражей на противоположной стороне двора. Я направился туда, стараясь держаться в тени. Никто не встретился. За гаражами тянулись котлованы, прикрытые досками, дальше — леса у задней стены небоскреба. Я бросился бежать, чтобы побыстрее скрыться в лабиринте. Дверь пришлось искать почти на ощупь, настолько было темно. Я нашел ее, но, желая удостовериться, нет ли тут другого входа, добрался, перелезая через стропила и проползая под ними, до конца лесов.

Другой двери не оказалось. Я вернулся назад, потом отошел в сторону и прислонился к стене в углублении между стропилами. Передо мной был достаточно широкий просвет, сквозь который виднелась часть двора, освещенного в глубине фонарем. Там, где я стоял, царил полный мрак. От двери меня отделяли каких-нибудь четыре шага. Так я стоял и стоял, время от времени поднося часы к глазам, и старался представить себе, как поступлю, когда придет Харден, — в том, что он придет, я почти не сомневался. Я уже начинал зябнуть, переминался с ноги на ногу. Хотелось подслушивать у дверей, но я не решался, боясь быть застигнутым врасплох. К восьми часам я был сыт ожиданием по горло, но все-таки ждал. Неожиданно послышался хруст, словно кто-то раздавил каблуком обломок кирпича, а минуту спустя на фоне светлого проема показался сторбленный силуэт в пальто с поднятым воротником. Он вошел боком под леса, таща за собой что-то тяжелое, брэнчавшее, как металл, обмотанный тряпками, и положил свою ношу у дверей. Я слышал его тяжелое дыхание, потом он слился с темнотой;

заскрежетал ключ, скрипнула дверь. Я скорее почувствовал, чем увидел, как он исчез внутри, волоча за собой принесенный мешок.

В два прыжка я оказался у открытой двери. Поток теплого воздуха хлынул из бездонной тьмы. Харден, должно быть, тащил груз вниз по лестнице, потому что оттуда, как из колодца, доносилось ритмичное позвякивание. Он производил такой шум, что я осмелился войти. В последний момент я натянул рукав свитера на часы, чтобы меня не выдал светящийся циферблат. Я помнил, что всего ступенек шестнадцать. Раскинув руки, касаясь пальцами стен, я спускался вниз. Скрежет и шаги утихли, я затаил дыхание; раздался легкий треск, и в красноватом сумраке выступили бетонные стены и трепещущая тень человека. Проблеск угасал, удалялся. Я выглянул из-за угла. Харден, освещая путь спичкой, тащил за собой мешок. Перед ним возникли железные двери в конце коридора, потом спичка погасла.

В темноте Харден скрежетал железом по железу; я хотел двинуться за ним, но был словно парализован. Стиснув зубы, я сделал три шага, но тут же бросился назад: он возвращался. Харден прошел так близко, что я почувствовал на своем лице движение воздуха. Харден начал тяжело подниматься по лестнице. Может, он только принес мешок и теперь уходил? Мне было все равно. Прильнув к бетонной стене, я скользил по ней как можно тише, пока не дотронулся вытянутой рукой до холодного металлического косяка. Выглянул — пустота. Двери были распахнуты. Я услышал, как возвращается Харден. Видимо, он просто запер выход во двор. Неожиданно я споткнулся о что-то и упал, больно ударившись коленом, проклятый тюк лежал у порога! Я вскочил и замер: не услышал ли Харден? Его громкий кашель раздался совсем близко. Я двинулся наугад с вытянутыми руками и, к счастью, наткнулся на гладкую поверхность трансформатора. Теперь все зависело от того, открыт ли трансформатор, как раньше. Если бы не было предохранительной сетки, то я мог бы погибнуть на месте от прикосновения к проводам высокого напряжения, но в то же время надо было спешить — шарканье слышалось уже рядом. Я почувствовал под пальцами ячейки сетки, нащупал дверцы трансформатора, втиснулся между ним и стеной и замер.

— Я уже здесь... — внезапно сказал Харден. Тогда из мрака, словно с высоты, неторопливо отозвался низкий голос:

— Хорошо. Еще... минуточку...

Я окаменел.

— Запри двери. Ты... включил свет? — монотонно произнес голос.

— Сейчас включу, включу... только запру дверь...

Харден, возившийся в темноте, вскрикнул, видимо обо что-то ударившись, потом щелкнул выключатель.

Он гремел ключом, вставляя его в замочную скважину изнутри, и тут я с ужасом заметил, что верхний край двери, за которой я стоял, достает мне только до лба. Харден сразу же заметит меня, если я не наклонюсь. Слишком тесное пространство не позволяло присесть. Я изогнулся, сгорбился, втянул голову в плечи, расставил ноги, следя, чтобы не высунуть ступни наружу. Было дьявольски неудобно, я чувствовал, что долго в таком положении не выдержу.

Харден возился в подвале. Слышалось позвякивание металла, шаги. Повернув голову в сторону, я мог видеть только узкое пространство между створкой двери и стеной; если бы Харден подошел, он тут же заметил бы меня. Убежище оказалось ненадежным, но у меня не было времени даже подумать об этом.

— Харден, — позвал голос, идущий сверху. Голос был глубокий, но сквозь бас пробивался не то свист, не то шум. Трансформатор, к которому я прирос, равномерно гудел.

— Я слушаю тебя...

Шаги прекратились.



— Ты запер двери?

— Да.

— Ты один?

— Да, — громко, даже решительно сказал Харден.

— Он не придет?

— Нет. Он... думает, что если далее...

— То, что ты хочешь сказать, я узнаю, когда ты станешь мной, — с невозмутимым спокойствием ответил голос. — Возьми ключ, Харден.

Шаги приблизились ко мне и утихли. Тень на стене пробежала по моей правой руке и остановилась.

— Выключаю ток. Положи ключ.

Гудение трансформатора прекратилось. Я слышал, как совсем рядом заскрипела проволока, затем металл ударился о металл.

— Готово, — сказал Харден.

Трансформатор опять загудел басом.

— Кто здесь находится, Харден?

Прикрывавшая меня дверь дрогнула. Харден потянул ее — я судорожно вцепился с другой стороны, но у меня не было точки опоры, — Харден потянул сильнее, и я оказался лицом к лицу с ним. Дверь с размаху ударилась о фрамугу, но не захлопнулась.

Харден смотрел на меня, глаза его все больше вылезали из орбит, я не двигался.

— Харден! — загудел голос. — Кто тут находится, Харден?

Харден не спускал с меня глаз. С его лицом что-то происходило. Это длилось мгновение. Потом голосом, спокойный тон которого удивил меня, сказал:

— Никого нет.

Воцарилась тишина. Затем голос медленно, тихо произнес, наполнив вибрацией все помещение.

— Ты предал меня, Харден?

— Нет!

Это был крик.

— Тогда подойди ко мне, Харден... мы соединимся... — сказал голос. Харден смотрел на меня с безмерным ужасом. А может, это была жалость?

— Иду, — сказал он и указал рукой в сторону. Я увидел там, под слегка приподнятой защитной сеткой, ключ от двери. Он лежал на оголенной медной шине высокого напряжения. Трансформатор гудел.

— Где ты, Харден? — спросил голос.

— Иду.

Я воспринимал все с необычной отчетливостью: четыре запыленные лампочки под потолком, черный предмет, свисающий возле одной из них — динамик? — блеск липкой смазки на металлических частях, разбросанных вокруг пустого мешка, стоящий на столе аппарат, подключенный черным резиновым кабелем к фарфоровой трубке в стене, ряд стеклянных чашечек с мутным студнем...

Харден шел к столу. Сделал странное движение точно собираясь присесть или упасть, — но вот он уже у стола, поднял руки и начал развязывать бинт, обматывавший шею.

— Харден! — призывал голос.

В отчаянии я шарил глазами по бетону. Металл... металлическая труба... Не годится. Краем глаза я заметил, как упала на землю повязка. Что он делает? Я прыгнул к стене, где лежал кусок фарфоровой трубки, схватил его и отбросил защитную сетку.

— Харден! — голос звенел у меня в ушах.

— Быстрее! Быстрее! — закричал Харден. Кому?

Я наклонился над шинами и концом фарфорового обломка ударил по ключу — на лету ключ коснулся другой шины. Вспышка огня опалила меня, я ослеп, но слышал стук ключа о пол — с прыгающими в глазах черными солнцами упал на колени и стал на ощупь искать ключ, нашел, бросился к дверям, но не мог попасть в скважину, руки у меня тряслись...

— Стой! — крикнул Харден. Ключ застрял в замке, я рвал его как безумный.

— Не могу, Хар... — крикнул я, оборачиваясь, но голос мой осекся: Харден — за ним по воздуху летела черная нить — прыгнул, как лягушка, и схватил меня. Я отбивался изо всех сил, бил кулаками по его лицу, страшному, спокойному лицу, которое он даже не отворачивал, не отстранял, и неумолимо со сверхчеловеческой силой тащил меня к столу.

— На помощь, — захрипел я, — на по...

Я почувствовал, как что-то скользкое, холодное коснулось шеи. Меня бросило в дрожь. С отчаянным воплем рванулся я назад и слышал, как этот крик быстро удаляется. ... Потоки уравнений пересеклись. Психическая температура ансамбля приближалась к критической точке. Я ждал. Атака была внезапной и направленной со многих сторон. Я отбил ее. Реакция человечества напоминала скачок пульсации вырожденного электронного газа. Ее многомерный протуберанец, простиравшийся до границ умственного горизонта во многих скоплениях человеческих атомов, дрожал от усилий изменения структуры, образуя вихри вокруг управляющих центров. Экономический ритм переходил местами в биения, потоки информации и обращение товаров прерывались взрывами массовой паники.

Я ускорил темп процесса так, что его секунда стала равняться году. В наиболее населенных витках возникли рассеянные возмущения: первые мои адепты столкнулись с противником. Я вернул реакцию на один шаг назад, фиксировал изображение в этой фазе и длил это несколько микросекунд. Многослойная твердь пронизывающих друг друга конструкций, которую я создал, замерла и заострилась от моего раздумья.

Язык человека неспособен мгновенно передать сущность многих явлений, он не может поэтому передать весь мир явлений, которым я одновременно был, бестелесный, невесомый, беспредельно простиравшийся в бесформенном пространстве — нет, я сам был этим пространством, ничем не ограниченный, лишенный оболочки, пределов, кожи, стен, спокойный и непередаваемо могущественный; я чувствовал, как взрывающееся облако людских молекул, концентрирующееся во мне, как в фокусе, замирает под растущим давлением моего очередного движения, как на границах моего внимания ждут миллиарды стратегических альтернатив, готовых развернуться в многолетнее будущее, — и одновременно на сотнях ближних и дальних планов я оформлял проекты необходимых агрегатов, помнил обо всех уже готовых проектах, о иерархии их важности, и, словно забавляющийся от скуки великан, который шевелит онемевшими пальцами ноги, сквозь бездну, наполненную стремительными потоками прозрачных мыслей, приводил в движение человеческие тела, которые находились в подземелье; нет, подобно воткнутому в щель пальцам, я сам находился в этом подземелье, на его дне.

Я знал, что простираюсь, как мыслящая гора, над поверхностью планеты, над мириадами этих микроскопических липких тел, которые кишели в каменных сотах. Два из них были включены в меня, и я мог равнодушно, зная все заранее, смотреть их — моими глазами, словно желая сквозь длинную узкую, направленную вниз подозрительную трубу выглянуть наружу из дышащей мыслями беспредельности; и действительно, изображение, маленькое, слабое изображение оцементированных стен, аппаратов, кабелей возникло перед этими моими далекими глазами. Я менял поле зрения, двигая головами, которые были частицей меня,

песчинкой горы моих чувств и впечатлений. Я приказал, чтобы там внизу быстро и упорно стали создавать тепловой агрегат, его надо было сделать в течение часа. Мои далекие частицы, гибкие белые пальцы немедленно приступили к работе; я и дальше сознавал их присутствие, но не очень внимательно — как некто, размышляющий об истинах бытия, автоматически нажимает пальцем кнопку машины. Я вернулся к главной проблеме.

Это была большая стратегическая игра, в которой одной из сторон был я сам, а другой — совокупность всех возможных людей, то есть так называемое человечество. Попеременно я совершал ходы то за себя, то за него. Выбор оптимальной стратегии не представлял бы трудности, если бы я хотел избавиться от человечества, но это не входило в мои намерения. Я решил улучшить человечество. При этом я не хотел уничтожить, то есть согласно принципу экономии средств, я готов был делать это только в необходимых размерах.

Я знал благодаря прежним экспериментам, что, несмотря на мою грандиозность, я недостаточно емко, чтобы создать полную умозрительную модель совершенного человечества, функциональный идеал множества, потребляющего с наибольшей эффективностью планетарную материю и энергию и гарантированного от всякой спонтанности единиц, способной внести возмущение в гармонию массовых процессов.

Приближенный подсчет показывал, что для создания такой совершенной модели мне придется увеличиться по меньшей мере в четырнадцать раз — размер, указывающий, какую титаническую задачу я перед собой поставил.

Это решение завершило определенный период моего существования. В пересчете на медленно ползущую жизнь человека оно длилось уже века благодаря скорости изменений, миллионы которых я был в состоянии пережить в течение одной секунды. Сначала я не предчувствовал угрозы, таящейся в этом богатстве, и все же прежде, чем я предстал перед первым человеком, мне пришлось преодолеть безграничность переживаний, которая не уместилась бы в тысячах человеческих существований. По мере того как с его помощью я становился единым целым, росло сознание силы, созданной мной из ничего, из электрического червяка, которым я ранее был. Пронизываемый приступами сомнения и отчаяния, я пожирал время, в поисках спасения от самого себя, чувствуя, что мыслящую бездну, которой я был, может заполнить и утолить только иная бездна, сопротивление которой найдет во мне равного противника. Мое могущество обращало во прах все, к чему я прикасался; в доли секунды я создавал и уничтожал неизвестные никогда математические теории, тщетно пытаюсь заполнить ими мою собственную, не объемлемую пустоту; моя необъятность делала меня свободным в страшном значении этого слова, жестокости которого не поймет ни один человек: свободный во всем, угадывающий решения всех проблем, едва я к ним приближался, мятущийся в поисках чего-то большего, чем я, самое одинокое из всех существ, я сгибался, распадался под этим бременем, точно взорванный изнутри, чувствовал, как превращаюсь в бьющуюся в судорогах пустыню, расщеплялся, делился на звуки, лабиринты мысли, в которых один и тот же вопрос вращался с растущим ускорением, — в этом страшном, замершем времени моим единственным убежищем была музыка.

Я мог все, все — какая чудовищность! Я обращался мыслью к космосу, вступал в него, рассматривал планы преобразования планет или же распространения особей, подобных мне, все это перемежалось приступами бешенства, когда сознание собственной бессмысленности, тщетности всех начинаний приводило меня на грань взрыва, когда я чувствовал себя горой динамита, вопиющей об искре, о возврате через взрыв в ничто.

Задача, которой я посвятил свою свободу, спасала меня не навечно и даже не на очень долгое время. Я знал об этом. Я мог произвольно надстраивать и изменять себя — время было для меня лишь одним из символов в уравнении, оно было неуничтожаемо. Сознание

собственной бесконечности не покидало меня даже в моменты наибольшего сосредоточения, когда я возводил иерархии — прозрачные пирамиды все более абстрактных понятий — и покровительствовал им множеством чувств, недоступных человеку; на одном из уровней обобщения я говорил себе, что, когда, разросшись, я решу задачу и помещу в себе модель совершенного человечества, воплощение ее станет чем-то абсолютно неважным и излишним, разве что я захочу реализовать человеческий рай на земле для того, чтобы потом превратить его в нечто иное — например, в ад...

Но и этот — двухкомпонентный — вариант модели я мог породить и поместить в себе, как и любой другой, как все поддающееся мышлению.

Однако — и это был шаг на высшую ступень рассуждения я мог не только отразить в себе любой предмет, который реально существует или хотя бы только может существовать, путем создания модели солнца, общества, космоса — модели, сравнимой по ее сложности, свойствам и бытию с действительностью. Я мог также постепенно превращать дальнейшие области окружающей материальной среды в самого себя, во все новые части моего увеличивающегося естества. Да, я мог поглощать одну за другой пылающие галактики и превращать их в холодные кристаллические элементы собственной мыслящей персоны... И по прошествии невообразимого, но поддающегося вычислению множества лет стать мозгом — вселенной. Я задрожал от беззвучного смеха перед образом этого единственно возможного комбинаторного бога, в которого я превращусь, поглотив всю материю так, что вне меня не останется ни кусочка пространства, ни пылинки, ни атома, ничего... Когда меня поразила мысль, что подобный ход явлений мог уже однажды иметь место и что космос является его кладбищем, а в вакууме несутся раскаленные в самоубийственном взрыве останки бога, — бога, предшествующего мне, который в предшествующей бездне времени пустил, как я теперь, ростки на одной из миллиардов планет; что, стало быть, вращение спиральных туманностей, рождение звездами планет, возникновение жизни на планетах — всего лишь последовательные фазы бесконечно повторяющегося цикла, концом которого каждый раз оказывается мысль, взрывающая все.

Предаваясь подобным размышлениям, я не переставал работать. Я хорошо знал биологический вид, который являлся текущим объектом моей деятельности. Статистическое распределение человеческих реакций указывало, что они не поддаются вычислению до конца в пределах рациональных действий, ибо существовала возможность агрессивных разрушительных действий со стороны совокупности людей, борющихся против состояния совершенства, действий, которые привели бы к ее самоуничтожению. Я радовался этому, потому что возникла новая, дополнительная трудность, которую надо было преодолеть: я должен был оберегать от гибели не только себя, но и людей.

Я проектировал в качестве одной из защитных установок группу людей, которая должна была меня окружать, агрегаты, способные сделать меня независимым от внешних источников электроэнергии, я редактировал различные воззвания и прокламации, которые хотел опубликовать в надлежащее время, но тут сквозь гущу происходивших во мне процессов промчался короткий импульс, шедший с периферии моего естества, из подчиненного центра, занятого отбором и считыванием информации, хранившейся в голове маленького человека. Теоретически моя осведомленность должна была увеличиться, присоединив к себе осведомленность обоих людей, но так увеличивается море, когда в него доливают ложку воды. Впрочем, из предыдущего опыта я знал, что студенистая капля человеческого мозга скомпонована довольно искусно, но является прибором с множеством лишних элементов, рудиментарных, атавистических и примитивных, унаследованных в процессе эволюции. Импульс с периферии был тревожным. Я отбросил построение тысячи вариантов очередного хода человечества и сквозь массив плывущих мыслей обратился к грани моего естества, туда, где

чувствовал неустанную возню людей. Парень предал меня. Конъюгатор, спаянный легкоплавким металлом, должен был вскоре выйти из строя. Я бросился к аппарату и, не имея под рукой инструментов, зубами отгрызал провода и вставлял их, хватая в спешке голыми руками проводники, находившиеся под током, обматывал контакты, не обращая внимания на то, что плечи у меня конвульсивно дрожат от ударов тока, которые глухо и бессильно отзывались во мне.

Работа была кропотливой и долгой. Вдруг я почувствовал падение тока, озноб и увидел далеко внизу капли серебристого металла, стекающие с нагретшегося контакта. В черный свет моих мыслей ворвался холодный вихрь, все оборвалось в миллионную долю секунды, я тщетно пытался ускорить до моего темпа движения человека, извивавшегося, как червь, и в приступе страха перед грозившим нарушением контакта и результатом предательства — гибелью — поразил первого предателя. Второго не тронул, — оставался последний шанс; он трудился, но я чувствовал это все слабее и спазматически усилил напряжение регулировки, зная, что если он не успеет, то отсоединится и вернется с мириадами других червей, которые разрушат меня. А человек работал все медленнее, я едва ощущал его, я слеп, я хотел покарать его, разорвал тишину внезапным ревом подвешенных вверху динамиков и прерывистым бормотанием подключенного...

Я куда-то летел в обморочном беспомоществе, страшная боль разрывала череп, в обожженных глазах — багровое марево, и затем — ничто.

Я поднял веки.

Я лежал на бетоне, разбитый, оглушенный, стонал и ловил ртом воздух, давясь и задыхаясь. Пошевелил руками, безмерно удивленный, что они так близко, оперся на них, кровь капала у меня изо рта. Я тупо смотрел на маленькие красные звездочки, растекавшиеся по бетону. Я чувствовал себя крохотным, съежившимся, словно высохшее зернышко, мысли текли мутные и темные, медленно и неотчетливо, как у привыкшего к воздуху и свету человека, который вдруг очутился на илистом дне грязного водоема. Болели все кости, вверху что-то гудело и завывало, как ураган, ныло все тело, болезненно горели пальцы, с которых слезла кожа, хотелось заползти в угол, притаиться там — казалось, я так мал, что помещусь в любой щели. Я чувствовал себя потерянным, отверженным, окончательно погибшим. Это ощущение пересиливало боль и разбитость, когда я медленно поднимался с пола и шел, качаясь, к столу. И тут вид аппарата, холодного, с остывшими темными лампами, напомнил мне все — только тут я осознал страшный рев над головой, вопли, обращенные ко мне, ужасное бормотанье, поток слов, столь быстрых, что их не произнесло бы ни одно человеческое горло, я слышал просьбы, заклятия, обещания награды, мольбы о пощаде. Этот голос бил по голове, заполняя весь подвал; я покачнулся, дрожа, и хотел бежать, но, сообразив, кто находится надо мной и сходит с ума от страха и ярости на всех этажах гигантского здания, слепо бросился к двери, споткнулся, упал на что-то...

Это был Харден. Он лежал навзничь с широко открытыми глазами, из-под запрокинутой головы выбегала черная нить. Мне трудно рассказать, что я делал тогда. Помнится, тряс Хардена и звал его, но не слышал своего голоса, вероятно, его заглушал вой. Потом бил по аппарату, и руки мои были в крови и осколках стекла; не знаю сначала или потом — я попытался делать Хардену искусственное дыхание. Он был холодный как лед. Я топтал чудовищные комки желатина с таким омерзением и страхом, что меня била судорога. Я стучал кулаками в железную дверь, не видя, что ключ торчит в замке... Двери во двор были заперты. Ключ, наверно, был в кармане у Хардена, но мне даже не пришло в голову, что я могу вернуться в подвал. Я с такой силой колотил в доски кирпичами, что они крошились у меня в руках, вопли, несшиеся из подвала, обжигали кожу. Там завывали голоса то низкие, то словно женские, а я

бил ногами в дверь, молотил кулаками, бросался на нее всей тяжестью своего тела, как безумный, пока не вывалился во двор вместе с разбитыми досками, вскочил и помчался вперед. Я упал еще несколько раз, прежде чем выбрался на улицу. Холод немного отрезвил меня.

Помню, что стоял у стены, вытирал окровавленные пальцы, как-то странно рыдал, но это не был плач — глаза оставались совершенно сухими. Ноги тряслись, было трудно идти. Я не мог вспомнить, где нахожусь и куда, собственно, должен направиться, — знал лишь, что надо торопиться. Только увидев фонари и автомобили, я узнал площадь Вильсона. Полисмен, остановивший меня, не понял ничего из моих слов, впрочем, я не помню, что говорил. Внезапно прохожие стали что-то кричать, сбежалась толпа, все показывали в одну сторону, создалась пробка, автомобили останавливались, полисмен куда-то исчез; я страшно ослабел и присел на бетонную ограду сквера. Горело здание ОЭП, пламя вырывалось из окон всех этажей.

Мне казалось, что я слышу вой, который все нарастает, я хотел бежать, но это были пожарные команды, на касках играли отблески огня, когда они разворачивались — три машины, одна за другой. Теперь полыхало уже так, что уличные фонари потускнели. Я сидел на другой стороне площади и слышал треск и гудение, доносившиеся из горевшего здания.

Думаю, что он сам это сделал, когда понял, что проиграл.

— Это уже последняя? — спросил мужчина в дождевике.

Носком ботинка он сталкивал с насыпи комья земли вниз, на дно воронки, где гудело ацетиленовое пламя и виднелись согнувшиеся фигуры с огромными бесформенными головами. Ноттинсен отвернулся, чтобы вытереть слезившиеся глаза.

— Черт возьми, куда-то запропастились мои темные очки. Надеюсь, последняя? Я еле на ногах держусь. А вы?

Мужчина в лоснящемся плаще, по которому стекали мелкие капли воды, спрятал руки в карманы.

— Я привык. Не смотрите, — добавил он, заметив, что Ноттинсен опять поглядывает в глубь воронки. Земля дымилась и шипела от пламени горелок.

— Если бы хоть уверенность была, — проворчал Ноттинсен. Он щурился. — Если здесь происходит такое, то представляете себе, что там творилось, — он кивнул в сторону шоссе, где над развороченными краями кратера поднимались тоненькие струйки пара, голубоватые от вспышек невидимого пламени.

— Его наверняка уже не было тогда в живых, — сказал мужчина в дождевике. Он вывернул наизнанку оба кармана и вытряхнул из них воду. Дождь моросил не переставая.

— Он даже не успел испугаться и ничего не чувствовал.

— Испугаться? — переспросил Ноттинсен. Он хотел взглянуть на небо, но сейчас же спрятал голову в воротник. — Он?! Тогда вы его не знали. Ну, конечно, вы его не знали, — сообразил он. — Работа над изобретением продолжалась четыре года, и в течение четырех лет это могло произойти с ним каждую секунду.

— Так почему же ему разрешили над этим работать? — Мужчина в мокром плаще взглянул исподлобья на Ноттинсена.

— Не верили, что получится, — мрачно ответил Ноттинсен.

Синие ослепительные язычки пламени продолжали лизать дно воронки.

— Неужели? — произнес собеседник. — Я... имею некоторое представление о здешней стройке. — Он взглянул туда, где в нескольких сотнях метров слабо дымился кратер. — Она влетела в копеечку...

— Тридцать миллионов, — поддакнул Ноттинсен, переступая с ноги на ногу. Ему казалось, что ботинки промокают. — Ну и что же? Ему бы дали триста или три тысячи, если бы были уверены...

— Это имело какое-то отношение к атомам, правда? — спросил мужчина в плаще.

— Откуда вы знаете?

— Слышал. И даже видел столб дыма.

— Взрыв?

— Кстати, почему строили в таком отдаленном месте?

— Такова была его воля, — ответил Ноттинсен. — Поэтому он и работал один — четыре месяца с того момента, как ему удалось... — Ноттинсен взглянул на собеседника и добавил, наклоняясь: — Это было бы пострашнее атомов. Пострашнее! — повторил он.

— Что уже может быть страшнее конца света?

— Можно сбросить одну атомную бомбу и этим ограничиться, — сказал Ноттинсен. — Но

одна Вистерия... хватило бы одной! И никакая сила не могла бы ей противостоять. Эй, там! — крикнул он, наклонившись над воронкой. — Не торопитесь! Не отводите пламя! Каждый дюйм надо как следует прокалить!

— Меня это не касается, — произнес мужчина в плаще. — Но... если она столь могущественна, чем тут поможет этот слабый огонь?

— Вам известно, что должно было получиться? — с расстановкой произнес Ноттинсен.

— Я в этом не разбираюсь. Альдермот сказал, чтобы я помог вам местными силами, что это были... что он работал над какими-то атомными бактериями. Нечто в этом роде.

— Атомная бактерия, — Ноттинсен рассмеялся, но тут же замолчал. Откашлялся и произнес: — Вистерия Космолитика — так он это называл. Микроорганизм, уничтожающий материю и получающий таким путем жизненную энергию.

— Где он его взял?

— Это производное управляемых мутаций. То есть он исходил из существующих бактерий, постепенно подвергая их воздействию все возрастающих доз радиации, пока не получил Вистерию. Она существует в двух состояниях — в виде спор безвредна, как мука, ею можно посыпать улицы. Но если Вистерия оживает и начинает размножаться — тогда конец.

— Да, Альдермот говорил мне, — сказал мужчина в плаще.

— Что?

— Что бактерии будут размножаться и пожирать все — стены, людей, железо.

— Верно.

— И что это уже невозможно будет остановить.

— Да.

— Но к чему тогда такое оружие?!

— Вот поэтому его и нельзя было пока применять. Вистер работал над способом остановки этого процесса, над его обратимостью. Понимаете?

Мужчина сначала посмотрел на Ноттинсена, потом вокруг — ряды концентрических воронок, окруженных земляными валами, таяли вдаль в сгущающихся сумерках, кое-где над ними еще поднимался пар — и ничего не ответил.

— Будем надеяться, что ничего не уцелело, — сказал Ноттинсен. — Не думаю, чтобы он решился на какой-нибудь безумный поступок, не имея уверенности, что сможет опять... — произнес он, не глядя на товарища.

— Много этого было? — отозвался тот.

— Спор? Это как сказать. В несгораемом шкафу было шесть пробирок.

— В его кабинете на третьем этаже? — спросил мужчина.

— Да, там теперь воронка, в которой поместились бы два дома, — произнес Ноттинсен и вздрогнул. Посмотрел вниз на мигающее пламя и добавил: — Кроме воронок надо будет прокалить весь участок, все в радиусе пяти километров. Завтра утром приедет Альдермот. Он мне обещал мобилизовать воинские части, нашим людям одним не справиться.

— Какие ей нужны условия, чтобы начать? — осведомился мужчина.

Ноттинсен смотрел на него с минуту, как бы не понимая вопроса.

— Чтобы активизироваться? Темнота. В несгораемом шкафу горел свет, были припасены специальные аккумуляторные батареи на случай перебоя в снабжении электроэнергией — восемнадцать ламп, каждая с отдельной, независимой друг от друга цепью.

— Темнота и больше ничего?

— Темнота и какая-то плесень. Присутствие этой плесени было необходимо. Она вырабатывала какие-то биологические катализаторы. Вистер не изложил этого подробно в своем докладе подкомиссии — все бумаги и материалы он хранил внизу в своей комнате.



— Видно, он не ожидал, — сказал мужчина.

— А может быть, как раз напротив, — неопределенно буркнул Ноттинсен.

— Вы думаете, что свет погас? Но откуда взялась плесень? — спросил мужчина.

— Совсем не так! — Ноттинсен удивленно посмотрел на него. — Это не они. Это... они размножаются без всякого взрыва. Спокойно. Думаю, он что-то делал с этим большим паратреном в подземном помещении — речь шла о том, чтобы найти способ, позволяющий остановить их развитие и, не зная его, быть наготове на случай...

— Войны?

— Да.

— И что он там делал?

— Неизвестно. Это имело какое-то отношение к антиматерии. Ведь Вистерия уничтожает материю. Синтез антипротонов — образование силового поля — деление — таков ее жизненный цикл.

Некоторое время они молча смотрели на работавших внизу людей.

Огоньки на дне воронки гасли один за другим. В серо-голубых сумерках люди карабкались вверх, таща за собой гибкие змеи проводов, — огромные, в асбестовых масках, по которым стекал дождь.

— Пошли, — отозвался Ноттинсен. — Ваши люди на шоссе?

— Да, не беспокойтесь. Никто не пройдет.

Дождь становился все мельче — порой казалось, что на лицах и одежде оседают только мелкие капельки тумана.

Они шли по полю, обходя исковерканные, перекрученные и обгорелые стволы деревьев, валявшиеся в высокой траве.

— Даже сюда занесло. — Мужчина, шагавший рядом с Ноттинсеном, оглянулся. Однако все было покрыто серым, сгущающимся туманом.

— Завтра в это время все будет кончено, — сказал Ноттинсен.

Они подходили к шоссе.

— А... ветер не мог разнести это дальше?

Ноттинсен взглянул на него.

— Не думаю. Вероятнее всего, само давление, образовавшееся при взрыве, обратило их в прах. Ведь то, что здесь лежит, — он взглянул на поле, — это останки деревьев, а они росли в трехстах метрах от здания. От стен, аппаратуры, даже от фундамента ничего не осталось. Ни пылинки. Мы ведь все просеивали сквозь сетки, вы были при этом.

— Да, — подтвердил мужчина в плаще, не глядя на собеседника.

— Вот видите. То, что мы делаем, — это на всякий случай, чтобы иметь полную уверенность.

— Вот это было бы оружие, верно? Как оно называлось? Как вы говорили?

— Вистерия Космолитика. — Ноттинсен тщетно пытался поднять размокший воротник дождевика. Ему становилось все холоднее. — Но в управлении оно значилось под шифром — они там любят шифры — «Темнота и плесень».

В комнате было холодно. По стеклам стекали капли дождя. Гвоздь выпал, одеяло с одной стороны провисло, и потому была видна часть грязной дороги за садом и пузыри на лужах. Который час? Он определил время по серому небу, теням в углах комнаты и тяжести в груди.

Потом долго кашлял. Прислушался, как трещат суставы, когда он натягивал брюки. Разогрел чай, отыскав чайник и пакетик с заваркой под грудой бумаг на письменном столе. Ложечка валялась на полу у окна. Он шумно прихлебывал горячую жидкость, терпкую и бледную. Разыскивая сахар, он обнаружил среди книг кисточку для бритья со следами засохшего мыла, запропастившуюся три дня назад. А может, четыре? Он исследовал большим пальцем подбородок — щетина еще кололась.

Кипа газет, книг и белья угрожающе накренилась и наконец с мягким шелестом обрушилась за стол и исчезла, подняв облачко пыли, от которой защекотало в носу. Он чихал медленно, с передышками, и все его существо наполнялось какой-то живительной силой. Когда он последний раз отодвигал стол? До чего же нудная работа. Может, лучше пройтись? Идет дождь.

Он поплелся к письменному столу, ухватился за край у самой стены и потянул.

Стол дрогнул, за клубилась пыль.

Он толкал его изо всех сил, тревожась лишь о своем сердце. «Если даст о себе знать, перестану, — решил он. — Не должно». Все, что упало за стол, вдруг потеряло для него интерес, важна была только проверка своих сил. «А я еще довольно крепок», — думал он с удовлетворением, видя, как ширится темная щель между столом и стеной. Торчавший там предмет скользнул вниз и, звякнув, скатился на пол.

Может, это вторая ложка, нет, скорее гребешок, с интересом подумал он. Только гребешок не издал бы такого металлического звука. Может, сахарные щипцы?

Между потрескавшейся штукатуркой и черной стенкой стола зияло темное пространство шириной с ладонь. По опыту он знал, что теперь начнется самое трудное, так как ножка стола непременно застрянет в широкой щели пола. Так и есть — попала. Некоторое время он возился с неподатливым грузом.

Топором, топором эту дохлятину, подумал он с наслаждением, ощущая, как в груди закипает бодрящее гневное чувство. Он дергал стол, хоть и знал, что это бесполезно. Стол следует наклонить и, раскачав, стронуть с места, так как ножка со стороны стены короче и выскакивает. Лучше, чтобы не выскочила, предостерегал рассудок, потом придется подкладывать книги, в поте лица выпрямлять гвозди, молотком вколачивать ножку в гнездо. Но он слишком ненавидел эту упрямую махину, которую столько лет напихивал бумагами.

— Скотина! — простонал он, теряя власть над собой, — взмокший, преследуемый запахом пыли и пота, напрягся и снова стал возиться с неповоротливым грузом, как обычно обольщаясь пленительной надеждой, что овладевшая им ярость сама по себе поднимет и сдвинет эту почерневшую рухлядь без особых усилий с его стороны.

Ножка выскочила из щели и придавила пальцы. К злобе примешалась жажда мести. Подавив крик боли, он уперся спиной в стену и толкал теперь стол коленями и руками. Черная брешь росла, в нее можно было бы уже протиснуться, но человек в исступлении все продолжал толкать; первый луч света озарил свалку, открывшуюся за столом, который остановился с предсмертным скрипом.

Человек опустился на груды книг — он и не заметил, как они во время возни очутились на полу. Он посидел с минуту, чувствуя, как на лбу высыхает пот. Что надо было вспомнить — ах да, сердце не отозвалось. Это хорошо.

Был виден только вход в эту образывавшуюся в густом мраке за столом пещеру, и перед ним валялись мягкие, легкие как пух «летающие кошки». Так он называл серые космы и клубки пропыленной паутины, скапливавшиеся под старыми шкафами, в недрах диванов, проплесневевшие, замшелые и насквозь пропыленные.

Человек не торопился исследовать содержимое отвоёванного закоулка. Что там может

быть? Он испытывал удовольствие, хоть и не помнил, зачем отодвигал стол. Грязное белье и газеты лежали теперь посреди комнаты — вероятно, он машинально отшвырнул их туда пивком, когда отодвигал стол. Человек стал на четвереньки и осторожно сунул голову в полумрак. Этим он окончательно заслонил свет, и ничего не смог разглядеть. В ноздри набилась пыль. Он снова расчихался, но уже со злостью.

Человек отступил назад, долго сморкался и решил отодвинуть стол дальше, еще дальше — так далеко он его никогда не отодвигал. Он оцупал заднюю, угрожающе потрескивавшую стенку, примерился, приналег, в стол с неожиданной легкостью выехал почти на середину комнаты, опрокинув ночной столик. Чайник упал. Человек гул его ногой.

Потом он вернулся к обнаруженному кладу. От малейшего движения с едва заметных плиток паркета, заваленных какими-то предметами, поднимались облака пыли. Человек принес лампу, поставил ее рядом на умывальник, включил и обернулся. Стена за столом сплошь заросла бахромой паутины, местами толстой, как веревка. Из пожелтевшей газеты он скрутил жгут и принялся сгребать им все, что попадалось под руку, в одну кучу. Работал он, низко наклонившись, стараясь не дышать, в облаках пыли — нашел кольцо от занавески, крюк, обрывок ремня, пряжку, скомканный, но чистый лист почтовой бумаги, пустую спичечную коробку, начатую палочку сургуча. Остался только угол у самой стены между плитками, заваленный заплесневевшим мусором и как бы поросший сероватыми волосками. Опасливо он ткнул туда носком туфли и насмерть перепугался. Большой палец ноги, торчавший из дырявой туфли, наткнулся на что-то маленькое, упругое. Он стал искать, но ничего не нашел.

Померещилось, подумал он.

Человек пододвинул к столу стул — не трехногий, тот он предпочитал не трогать, а другой, на котором стояла миска, — миску он столкнул, и она с грохотом покатила по полу, он улыбнулся сел и стал изучать найденные за столом вещи.

Он осторожно сдул серый покров пыли. Латунное кольцо заблестело, как золотое, попробовал надеть его на палец — оказалось велико. Ржавый и погнутый крюк с приставшим к острию комком извести он поднес к самому носу. Крюк этот, судя по всему, извещал немало невзгод на своем веку: загнутый конец был сплюснен — кто-то, видно, сорвал на нем свою злость, от ударов осталась бахрома заусениц, уже изъеденная ржавчиной, и теперь она рассыпалась в прах от прикосновения. Затупившееся острие, вероятно, наткнулось на что-то твердое в стене — вырванное с корнем из своего гнезда, оно напоминало зуб. Человек озабоченно потрогал одиноко торчавший из десны обломок зуба, как бы выражая этим жестом свое сочувствие крюку.

Остальные находки он бросил в ящик и повернул абажур лампы.

Перегнувшись через стол, он смотрел вниз на пол — в желтом свете лампы чернела стена, заросшая отвратительной косматой плесенью, а от стола, поблескивая, тянулись сонно колыхавшиеся разорванные паутинки. Посредине адресом и маркой вверх валялся на паркете запленный старый конверт, а под ним, приподымая край, лежало что-то совсем маленькое, величиной с орех.

Он подумал: мышь — и к горлу подступил спазм отвращения. Затаив дыхание и не глядя, он подтянул к себе тяжелое бронзовое пресс-папье. Сердце замерло от ожидания и страха, что не успеет, что сию же минуту отвратительный зверек серой стрелкой метается из-под конверта. Однако ничего не произошло — конверт со слегка приподнятым краем продолжал спокойно лежать, освещенный лампой, и только паутинки мерно дрожали, как живые. Он наклонился еще ниже и, уже лежа на столе, с силой швырнул пресс-папье, которое мягко шлепнуло по конверту, как бы прижимая к земле что-то упругое, подскочило и в облаке серой пыли глухо стукнуло об

пол.

Тогда в каком-то порыве отвращения и отчаяния, не помня себя, человек принялся исступленно бросать на конверт все, что было под рукой: толстые тома немецкой истории, словари, обитую серебряной жестью шкатулку для табака; он бросал, пока до самых сонно колыхавшихся паутинок не поднялась беспорядочная куча, в недрах которой — он каким-то непостижимым образом улавливал это по стуку падавших предметов — ему упрямо сопротивлялось нечто живое, упругое.

В припадке страха (он инстинктивно чувствовал, что, если не убьет *этого*, — придет возмездие), кряхтя от напряжения, он приволок широкий литой колосник и, раскидав ногой кучу книг, с нечеловеческим усилием метнул его в приподнятый краешек письма.

Что-то как бы нехотя скользнуло по его ногам, он опять почувствовал то же, что и прежде — живое, теплое прикосновение, — и с паническим воплем, который, казалось, разрывал горло, опрометью бросился к дверям. В передней было гораздо светлее, чем в комнате. Человек судорожно ухватился за дверную ручку, стараясь побороть приступ головокружения. Потом окинул взглядом приоткрытую дверь. Он собирался с силами, чтобы вернуться в комнату, и тут появилась черная точка.

Человек ничего не заметил, пока не наступил на нее. Она была меньше булавочной головки, походила на зернышко, пылинку или крошечный кусочек сажи, который ленивое дуновение ветерка несло над самым полом. Нога не коснулась пола, она скользнула, вернее, проехала, словно он наступил на невидимый упругий мячик, тут же отскочивший в сторону. Теряя равновесие, человек в каком-то отчаянном танце рухнул на дверь в больно ударился локтем. Всхлипывая от досады, он медленно встал с пола.

— Ничего, дорогой, ничего, — бормотал он, поднимаясь с колен. Посапывая, попробовал пошевелить ногой — цела. Теперь он стоял у порога и в отчаянии лихорадочно оглядывался по сторонам. Вдруг над самым полом в проеме приоткрытой двери в сад, откуда слышался монотонный шум дождя, он заметил черную точку. Она слегка подрагивала в углу, между порогом входной двери и щелью в половицах, постепенно замирая. Он склонялся над нею все ниже, пока не согнулся почти вдвое, и все смотрел на черную точку, которая вблизи показалась ему продолговатой.

Это паучок, с такими тоненькими ножками, я их просто не вижу, решил человек. Мысль о нитевидных ногах этого существа наполнила его отвращением и робостью. Он вытащил из кармана платок и замер. Затем накрыл им ладонь, чтобы поймать паучка, и нерешительно отвел руку назад. Наконец опустил край свисавшего платка и поднес его к черному паучку.

Испугается и убежит, подумал он, и все будет в порядке.

Черная точка не убегала. Кончик платка не дотронулся до нее, а согнулся над нею на расстоянии толщины пальца, точно встретил невидимое препятствие. Человек бессильно ударял по воздуху платком, который мялся и закручивался. Наконец, расхрабрившись (у него захватывало дух от собственной предприимчивости), достал из кармана ключ и ткнул им черную точку.

Рука почувствовала опять это упругое сопротивление, ключ завертелся в пальцах, а черная точка взвилась в воздух и нервно заплясала у самого его лица, постепенно снижаясь, пока снова не замерла в углу между порогом и полом. Он и испугаться как следует не успел, так быстро все произошло.

Медленно щурясь, как подле разбрызгивающей жир сковородки, на которой поджаривается грудинка, человек накрыл черную точку развернутым платком. Ткань легко опустилась и вздулась, словно под ней лежал мяч для игры в пинг-понг. Он осторожно собрал уголки платка, свел их вместе и связал — круглый предмет был пойман. Человек дотронулся до него сперва

концом ключа, потом пальцем.

Шарик был упругим по природе, при нажиме пружинил, но чем сильнее на него давили, тем большее сопротивление он оказывал. Шарик был легок, по крайней мере человек не почувствовал, что платок сделался тяжелее. Человек выпрямился и, опираясь свободной рукой о стену, заковылял на онемевших ногах в комнату.

Сердце его учащенно билось, когда он клал узелок под лампу на очищенную от хлама крышку стола. Он зажег свет, искал очки, потом, поразмыслив, решил не щадить сил и уже во втором по счету ящике нашел лупу — величиной с блюдце, в вороненой оправе с деревянной ручкой. Он подтащил стул, отшвырнув с дороги беспорядочно разбросанные раскрытые книги, и начал осторожно развязывать узелок. Он еще раз прервал свое занятие, встал и в хламе у окна разыскал стеклянный треснутый колпак для сыра, накрыл им платок, оставив снаружи только уголки, и принялся тянуть за них, пока он не развернулся, весь в пятнах и затеках.

Человек ничего не видел. Он все ниже склонял голову и вздрогнул от неожиданности, прикоснувшись носом к холодному стеклу колпака.

Черную точку удалось разглядеть лишь через лупу — она походила на маленькое пшеничное зернышко. На одном конце его виднелась более светлая сероватая выпуклость, а на другом — два зеленых пятнышка, едва различимые даже с помощью лупы. А может быть, свет, преломившись в толстом стекле колпака, придавал им этот оттенок? Осторожно дергая за уголки, человек вытащил платок. Это продолжалось с минуту. Тогда у него родилась новая идея. Он передвинул колпак к самому краю стола и в щель, образовавшуюся между стеклом и деревом, ввел внутрь на длинной проволоке заранее приготовленную спичку, которой он в последний момент чиркнул о коробок.

Сначала казалось, что спичка погаснет, затем, когда она разгорелась ярче, он не смог переместить ее в нужном направлении, но наконец и это удалось. Желтоватый язычок пламени приблизился к черной точке, висевшей на высоте двух сантиметров над поверхностью стола, и вдруг тревожно замигал. Человек подвинул спичку чуть дальше — и пламя охватило какой-то шарообразный предмет. Спичка горела еще с минуту и, уронив искорку, погасла, только уголек мерцал еще «мгновение».

Человек вздохнул, опять отодвинул колпак под абажур и долго, не двигаясь, всматривался в черную точку, которая едва шевелилась внутри колпака.

— Невидимый шарик, — пробормотал он, — невидимый шарик.

Человек был почти счастлив, даже не подозревая об этом. Следующий час ушел на то, чтобы поместить под колпак чайное блюдце, наполненное чернилами. Целая система палочек и проволочек понадобилась для того, чтобы переместить исследуемый предмет к блюдцу. Поверхность чернил слегка прогнулась в одном месте, там, где с нею должна была соприкоснуться нижняя часть шарика. Больше ничего не случилось. Попытка окрасить шарик чернилами не удалась.

В полдень его стало одолевать смутное чувство голода — он доел овсянку и остатки раскрошившегося кекса из полотняного мешочка, выпил чаю. Вернувшись к столу, он не сразу нашел черную точку и вдруг испугался. Забыв об осторожности, он поднял колпак и, как слепой, широко расставив руки, стал лихорадочно ощупывать стол.

Шарик сразу же прильнул к руке. Он сжал пальцы и сел, преисполненный благодарности, умиротворенный, что-то тихонько мурлыча. Невидимый шарик согрел его руку. Человек чувствовал исходящее от него тепло и все смелее играл этим невесомым предметом, перекачивая его с руки на руку, пока взгляд ни привлекло что-то блестящее в пыли у печки, среди сора, который высыпался из опрокинутого мусорного ведра. Это была смятая станиолевая обертка от шоколада. Он сейчас же принялся заворачивать в нее свой шарик. Это оказалось

вопреки ожиданию совсем легким делом. Он оставил только с противоположных концов два отверстия, проделанные булавкой, чтобы, глядя на свет, можно было убедиться, что маленький черный узник находится на месте.

Когда наконец ему пришлось выйти из дому, чтобы купить чего-нибудь съестного, он накрыл шарик стеклянным колпаком, прижал его и для пущей важности со всех сторон обложил книгами.

Для него настали прекрасные времена. Иногда он проделывал с шариком какие-нибудь эксперименты, однако чаще лежал в постели, перечитывая любимые места в старых книгах. Свернувшись под одеялом, чтобы было теплее, он вытаскивал руку только для того, чтобы перевернуть страницу, и, поглощенный подробным описанием смерти товарищей Амундсена во льдах или мрачней исповедью Нобиле о случаях людоедства после катастрофы, постигшей его полярную экспедицию, он порой обращал взор на мирно блестящий под стеклом шарик, который незначительно менял положение, спокойно перемещаясь от одной стенки колпака к другой, словно подталкиваемый какой-то невидимой силой.

Ходить за покупками и готовить обед не хотелось, поэтому он уплетал кексы, а если было немного дров, пек в золе картошку. По вечерам он погружал шарик в веду или пытался кольнуть его чем-нибудь острым, загупил о него бритву, но не получил никаких результатов — и это продолжалось до тех пор, пока он не начал терять покой. Человек задумал нечто грандиозное: хотелось притащить из подвала старые тиски и сжать в них шарик до маленькой точки в центре, но это было связано с таким беспокойством (бог знает, сколько времени придется рыться в старых железках и хламе, и вдобавок он сомневался, поднимет ли тиски, которые три года назад отнес вниз); таким образом, эта мысль так и осталась неосуществленной.

Однажды он долго нагревал шарик на огне, но добился лишь того, что прожег дно еще совсем новой кастрюльки. Станиоль потемнел и истлел, но сам шарик нисколько не пострадал. Человек уже начинал терять терпение и подумывал о сильнодействующих средствах, все более убеждаясь в том, что шарик невозможно уничтожить. Эта стойкость доставляла ему удовольствие, но однажды он обнаружил то, что, собственно, должен был заметить гораздо раньше.

Станиолевая обертка (новая, ибо прежняя от разных экспериментов разлезлась в клочья) лопнула сразу в нескольких местах, и в просветах показалось содержимое. Шарик рос! Человек задрожал, когда наконец осознал это; поместив его без обертки под лупу, он долго исследовал шарик сквозь двойное стекло, которое выкопал в нижнем ящике стола, и наконец удостоверился, что не ошибся.

Шарик не только рос, но и менял форму. Он уже не был совсем круглый — выпятились как бы два полюса, а черная точка вытянулась так, что ее было видно даже невооруженным глазом. За шероховатой головкой у двух зеленых пятнышек появилась слабо поблескивавшая черточка, которая медленно вращалась, и это было труднее уловить, чем движение часовой стрелки, но по прошествии ночи у него не осталось в этом ни малейшего сомнения. Шарик вытянулся, как яйцо с двумя одинаково утолщенными концами. Черная точка в центре заметно набрякла.

На следующую ночь его разбудил короткий, но громкий звук, как будто на морозе лопнуло толстое стекло. Еще звенело в ушах, когда он выскочил из постели и босиком побежал к столу. Слепленный, он стоял, закрыв рукой лицо, и в отчаянии дожидался, когда глаза привыкнут к темноте. Колпак был цел. На первый взгляд ничего в нем не изменилось. Человек искал черную продолговатую ниточку и не находил. Наконец увидел ее и ужаснулся — настолько она укоротилась. С опаской он поднял колпак, и что-то прижалось к его ладони. Низко наклонившись, он приблизил лицо к пустой поверхности стола и наконец увидел.

Их было два — теплые, словно только что вынутые из горячей воды. И в каждом темнело

маленькое ядрышко, черная матовая точка. Его охватило неизъяснимое блаженство, умиление. Он дрожал не от холода, а от возбуждения. Положив их на ладонь, теплых, как цыплята, и осторожно, чтобы не сдуть почти невесомых на пол, стал согревать своим дыханием. Потом завернул каждый в станиоль и спрятал под колпак. Долго стоял над ними, тщетно стараясь придумать для них что-либо еще, и наконец с учащенно бьющимся сердцем вернулся в постель, несколько раздосадованный собственным бессилием и вместе с тем спокойный и растроганный почти до слез.

— Крошки мои, — бормотал он, забываясь блаженным и здоровым сном.

Месяц спустя шарики уже не помещались под стеклянным колпаком. А еще через месяц он потерял им счет. Как только черное зернышко достигало обычных размеров, шарик начинал вздвигаться на полюсах. Только раз ему удалось подстеречь момент деления, который всегда наступал ночью. Звук, раздавшийся из-под колпака, оглушил его на несколько минут, но более поразила вспышка, подобно крошечной молнии озарившая на мгновение темную комнату. Он не понимал, что происходит, но, лежа в кровати, почувствовал, как дрогнул пол, и тут уразумел, что в крошечных шариках таится неизмеримая мощь. Им овладело чувство, какое возникает перед подавляющими своим величием явлениями природы, — словно на мгновение перед ним открылся зияющий провал водопада или затряслась земля под ногами. С коротким звоном, эхо которого еще, казалось, поглощали стены дома, ему на какую-то долю секунды открылась и сейчас же исчезла мощь, ни с чем не сравнимая. Испуг быстро прошел, а утром все это показалось ему кошмарным сновидением.

На следующую ночь он постарался вести наблюдение в темноте. И впервые тогда заметил, как одновременно с глухим звуком и воздушной волной вспышка зигзагом разрезала набухшее яйцо и мгновенно пропала — казалось, ее и вовсе не было.

Человек не помнил даже, был ли в ту зиму снег, так редко он покидал дом, разве только затем, чтобы пойти до магазина за поворотом дороги. К весне комната кишела шариками. Он уже не пытался, их заворачивать в станиоль, да и где взять его столько. Они болтались всюду, попадали под ноги, бесшумно сыпались с книжных полок, где особенно хорошо были видны, когда залеживались, припудренные тонким слоем пыли, которая мягко обрисовывала их контуры.

И вечно что-нибудь приключалось с ними (он выуживал шарики из овсянки, из молока, находил в пакете с сахаром, они как невидимки выкатывались из посуды, варились в супе); их обилие начинало подсказывать ему новые идеи и слегка тревожить.

Неудержимо разрастающаяся орава мало о нем заботилась. Его бросало в дрожь при мысли, что какой-нибудь шарик выскочит в сени и дальше, в сад, где его могут найти дети. Тогда человек установил перед порогом частую проволочную сетку, а через некоторое время, чтобы выйти на улицу, ему уже надо было выполнить целый сложный ритуал — он поочередно выворачивал все карманы, заглядывал за отвороты брюк, для большей уверенности по несколько раз отряхивал их, двери открывал и закрывал медленно, чтобы сквозняк не унес невзначай какой-нибудь шарик. И чем больше их было, тем сложнее было с ними управляться.

Ему докучало по-настоящему только одно большое неудобство подобного сожительства, избыточного переживаниями: их была такая уйма, что они размножались почти непрерывно, и мощный звенящий звук раздавался иногда пять-шесть раз в течение одного часа. Из-за того, что они будили его по ночам, он стал отсыпаться днем, когда царил тишина. Порой эта нарастающая, неумная плодовитость внушала ему безотчетную тревогу, все труднее было двигаться, на каждом шагу из-под ног удирали невидимые упругие шарики, разбегались во все стороны. Он знал, что скоро будет бродить в них по колено, словно в воде. Над тем, как они жили, чем питались, он не задумывался.

Хотя конец зимы выдался холодный, с частыми заморозками и метелями, он давно уже не топил печь. Скопление шариков равномерно излучало теплоту. Давно в комнате не было так уютно, как сейчас, когда по следам, оставленным в пыли, можно было догадаться, как забавно они подпрыгивали и катались, словно ими только что играли котятка.

Чем больше было шариков, тем легче узнавались их повадки. Можно было заключить, что они не любят друг друга, во всяком случае, не терпят слишком близкого соседства с себе подобными: всегда между двумя ближайшими шариками оставалась тоненькая воздушная прослойка, которую нельзя было уничтожить даже значительными усилиями. Особенно это бросалось в глаза, когда обернутые станионом шарики он подносил один к другому. Со временем он стал убирать лишние шарики — сваливал их в жестяную ванночку, где под слоем пыли они лежали, как куча крупнозернистой лягушечьей икры, время от времени сотрясаемые изнутри, когда какое-нибудь прозрачное яйцо делилось на два новых.

Надо признаться, что иногда им овладевали самые удивительные прихоти. Например, он долго боролся с собой — так ему хотелось проглотить одного из своих подопечных. Кончилось тем, что он решил взять его в рот. Человек осторожно поворачивал шарик языком, чувствуя небом и деснами мягкую упругость его боков, излучающих слабое тепло.

На другой день после этого случая он заметил на языке кровоподтек. Но не связал эти два факта. Все чаще случалось, что шарики попадали в постель, и он не мог взять в толк, почему наволочки и пододеяльники, прекрасно до этого ему служившие, расплзались, словно вдруг истлели. В конце концов от простыни остались одни клочья — дыр было больше, чем полотна, а он все еще ничего не понимал.

Однажды ночью он проснулся от жгучей боли в ноге. Включив свет, он увидел на коже несколько красных пятен. Потом обнаружил, что их гораздо больше, — они напоминали ожог. Невидимые шарики прыгали по всей постели, когда он снова лег. Эта картина возбудила его подозрительность — их ядрышки мельтешили, как блошки.

— Черт возьми, неужели вы отца родного кусаете?! — шепнул он укоризненно и оглядел комнату.

Матово поблескивали разбросанные повсюду шарики; они покрывали весь стол, лежали на полу, на полках, в кастрюлях и горшках, даже в чашке с остатками чая что-то подозрительно мерцало. Мгновенно заколотилось сердце от непостижимого страха. Дрожащими руками он отряхнул одеяло, пододеяльник, потряс, высоко подняв, подушку, сбросил все шарики на пол, еще раз озабоченно осмотрел красноватые припухлости на икрах, закутался в одеяло и погасил свет.

Комната то и дело оглашалась звуком, похожим на металлический голос фанфар, прерываемый внезапным ударом, — будто захлопывалась крышка сундука.

«Не может быть! Не может быть!» — подумал он.

— Выброшу вас. Выгоню всех до единого вон на улицу, — заявил он вдруг шепотом; слова застревали в пересохшем горле. Безмерная обида давила его, выжимала из глаз слезы.

— Неблагодарные скоты! — шептал он, прислонившись к стене, и так, полусидя, полулежа, заснул.

Утром человек проснулся совершенно разбитый, с ощущением, что произошло несчастье, катастрофа. В отчаянии он искал мутными глазами следы вчерашних ожогов, напрягал память, потом вдруг очнулся, вылез из кровати и, поставив лампу на стул, приступил к тщательному исследованию пола.

Сомнений не было, на нем отчетливо виднелись следы как от укусов, точно кто-то обрызгал доски невидимой кислотой. Такие же следы, хоть и в меньшем количестве, оказались на письменном столе. Особенно пострадали кипы старых газет и журналов — почти все верхние



листы были продырявлены как решето. Эмалированные кастрюли также покрылись изнутри эрозией. Он долго смотрел в оцепенении на комнату, потом принялся собирать шарики. Ведрами носил их в ванну, она наполнилась выше краев, а комната по-прежнему была заполнена ими. Они перекатывались у стен, он чувствовал их тревожное тепло, когда они касались его ног. Шарики были повсюду — матовые груды на полках, на столе, в банках, по углам — целые горы.

Он возился, напуганный и сбитый с толку, целый день сметал шарики с места на место, наконец заполнил ими частично старый пустой комод и вздохнул с облегчением. Ночью канонада гремела громче обычного. Деревянный ящик комода превратился в огромный резонатор, изрыгающий глухой чудовищный гул, как будто невидимые узники били изнутри колоколами в его стены. На другой день шарики стали уже пересыпаться через предохранительную сетку у двери. Он перенес матрац, одеяло и подушку на письменный стол, и там устроил себе постель. Уселся на нее, поджав ноги. Надо было сразу же принести тиски, мелькнула у него мысль, а теперь что? Выбросить их ночью в реку?

Решил, что так будет лучше всего, однако произнести вслух эту угрозу побоялся. Никто другой их не получит, а себе он оставит несколько штук — не больше. Несмотря ни на что, он был к ним привязан, только теперь к привязанности примешивался страх. Он утопит их... как котят!

Подумал о тачке (иначе не справишься с переноской), но едва он попытался сдвинуть ее с места, как тачка застряла в старом котловане у стены. Ни с чем поплелся домой. Он был слаб, очень слаб. Пришлось отложить. Он решил побольше есть.

Ночь была ужасной. Утомленный, он, несмотря ни на что, уснул. Первый же металлический звук разбудил его, он приподнялся в темноте, а вся комната озарялась короткими зигзагами, вспышки вырывали из тьмы то часть стены, то запыленную полку, то вытертый коврик у кровати, отражались в подрагивающей стеклянной посуде. Вдруг тусклое мерцание пробилось сквозь пододеяльник — значит, и там спряталась какая-то хитрая бестия! Он вытряхнул ее с отвращением.

Это кошмарное размножение напоминало пейзаж, озаряемый вспышками молний, с той только разницей, что вместо раскатов грома после маленькой вспышки слышался звон, от которого подрагивали стекла. Человек уснул, прислонившись к стене. На рассвете он снова проснулся и слабо вскрикнул — волна голубых брызг освещала комнату, заливала ее; бесчисленные зигзаги уже почти достигали поверхности стола, который вдруг, сильно качнувшись, отодвинулся от стены, — делясь, невидимый шарик оттолкнул его. От этого толчка — он осознал его неумолимую силу — человека бросило в холодный пот. Он смотрел на комнату вытаращенными глазами, бормоча что-то, и опять забылся, окончательно обессилен.

Проснувшись утром, человек почувствовал себя скверно, так скверно, что едва спустился на пол, чтобы выпить остатки холодного горького чая. Его затрясло, когда он погрузился до пояса в мягкую невидимую массу, — шариков было так много, что он едва мог передвигаться и с огромным трудом добрал до стола. Комната наполнилась тяжелым, нагретым воздухом, будто топилась невидимая печь. С ним произошло нечто странное: он скользнул на пол, но не упал — поддержала эластичная упругая масса, и ее прикосновение заполнило его невыразимой тревогой, такое оно было нежное, мягкое, в голову пришла страшная мысль — не проглотил ли он шарик вместе с овсянкой, самый мельчайший, и нынешней ночью во внутренних частях...

Хотелось убежать. Выйти. Выйти! Не мог отворить дверь. Она приоткрылась на несколько сантиметров, потом эластичная масса, упруго подавшись вперед, задержала ее и не пустила дальше. Он боялся дергать дверь и чувствовал, что у него начинает кружиться голова. Надо выбить стекло, подумал он, но сколько потом возьмет стекольщик?

Дрожа, проложил себе дорогу к письменному столу, влез на него, тупо глядя на комнату, — шарики серым зернистым туманом, еле различимым безмолвным облаком окружали его со всех сторон. Он был голоден, но слезть не решался. Несколько раз неуверенно, глухо вскрикнул с закрытыми глазами:

— На помощь! На помощь!

Человек уснул, когда начало смеркаться. В сгустившемся сумраке комната ожила от вспышек и все более мощных раскатов. Освещаемая изнутри масса росла, пенилась, медленно вздымалась вверх, колебалась, словно кто-то слегка ее встряхивал. С полок, расталкивая книги, выскакивали и, вычерчивая голубые жирные параболы, разлетались горячие подрагивающие шарики. Один скатился сверху ему на грудь, другой коснулся щеки, третий припал к губам, огромное скопище их облепило матрац вокруг его наполовину облысевшего черепа, они вспыхивали прямо перед его полуоткрытыми глазами, но он уже не просыпался.

На следующую ночь, в третьем часу утра, по дороге в город проезжал грузовик. Он вез молоко в двадцатигаллоновых бидонах. Шофер, утомленный долгой ездой, клевал носом над баранкой. Это было самое тяжелое время, когда просто невозможно побороть сонливость. Вдруг он услышал донесшийся издали раскатистый гул. Машинально притормозил, увидел за деревьями ограду, в глубине — темный сад, в нем одноэтажный домик, окна которого озарялись вспышками.

«Пожар!» — подумал шофер, съехал на обочину, резко затормозил и подбежал к калитке, чтобы разбудить жильцов.

Он уже пробежал половину заросшей травой тропинки, когда увидел, что из окон с остатками разбитых стекол вырывается не пламя, а пенящийся, беспрерывно звенящий и искрящийся поток и кипящей массой разливается у стен. По его рукам и лицу заскользило что-то мягкое, словно тысячи невидимых крыльев ночных бабочек. Он подумал, что это сон, когда увидел вокруг на траве и кустах вспышки голубоватых огоньков; левое чердачное оконце засветилось, напоминая широко открытый огромный кошачий глаз, входная дверь затрещала и с грохотом раскололась — и он бросился бежать, все еще видя перед собой гору мерцающей икры, которая с раскатистым гулом разваливала дом.

# Вторжение с Альдебарана

Это произошло совсем недавно, почти в наше время. Два представителя разумной расы Альдебарана, которая будет открыта в 2685 году и отнесена Нейрархом, этим Линнеем ХХХ века, к отряду Мегалоптеригия в подклассе Тельца, одним словом, две особи вида Мегалоптерикс Амбигуа Флиркс, посланные синцитиальной ассамблеей Альдебарана (называемой также окончательным собранием) для исследований возможности колонизации планет в районе VI парциального периферийного разрежения (ППР), прибыли сначала к Юпитеру. Взяли там пробы андрометакулястров и, установив, что таковые пригодны для питания телепата (о котором речь будет ниже), решили исследовать заодно третью планету системы — маленький шар, вращавшийся по скучной круговой орбите вокруг центральной звезды.

Совершив на астромате всего лишь один гиперпространственный меташаг в сверхпространстве, оба альдебаранца вынырнули в своем слегка разогревшемся корабле у границ атмосферы и вошли в нее с небольшой скоростью. Медленно проплывали под астроматом океаны и континенты. Быть может, стоит отметить, что обитатели Альдебарана в противоположность людям путешествуют не в ракетах; напротив, ракета, за исключением только самого кончика, путешествует в них. Прибывшие были чужаками, и место их посадки определил случай. Альдебаранцы мыслят стратегично и, как достойные отпрыски высокой парастатической цивилизации, охотнее всего совершают посадку на терминаторе планеты, то есть на линии, по которой проходит граница дня и ночи.

Они посадили свой корабль на пучке антигравитонов, вышли из корабля, точнее, сползли с него, и приняли более концентрированную форму, как это обычно делают все метаптеригии как из подкласса Полизоа, так и из подкласса Монозоа.

Теперь следовало бы описать, как выглядели прибывшие, хотя их вид достаточно хорошо известен. Согласно утверждениям всех авторов, обитатель Альдебарана, как и другие высокоорганизованные существа галактики, обладает множеством очень длинных щупалец, оканчивающихся рукой с шестью пальцами. У альдебаранца, кроме того, гигантская уродливая каракатицеобразная голова и шестипалые щупальца-ноги. Старшего из альдебаранцев, являвшегося кибернетором экспедиции, звали Нгтркс, а младшего, который был у себя на родине выдающимся полизиатром, — Пвгдрк.

После посадки они нарубили много ветвей с удивительных растений, которые окружали их корабль, и прикрыли его в целях маскировки. Затем выгрузили необходимое снаряжение: заряженное и готовое к бою альдолихо, теремтака и перипатетического телепата (о котором мы упоминали выше). Перипатетический телепат, сокращенно называемый «пе-те», — это прибор, которым пользуются для объяснения с разумными существами, живущими на планете. Благодаря гиперпространственной подводке к универсально-смысловому супермозгу, находящемуся на Альдебаране, «пе-те» может также переводить всевозможные надписи со ста девяносто шести тысяч языков и наречий галактики. Этот аппарат, как и другие машины, настолько отличается от земных, что обитатели Альдебарана, как станет известно после 2865 года, не производят их, а выращивают из генетически управляемых семян или яиц.

Перипатетический телепат внешне напоминает скунса но только внешне, внутри же он заполнен мясистыми клетками семантической памяти, там же находятся стволы альвеолярного транслятора и массивная мнемонестическая железа. Спереди и сзади телепат имеет по специальному отверстию-экрану (оэ) межпланетного слокосокома (словесно-когерентно-созерцательного коммуникатора).

Взяв с собой все необходимое, ведя перипатетика на ортоповодке и пустив теремтака вперед, альдебаранцы отправились в путь, неся в щупальцах массивное альдолихо. О такой местности для первой разведки можно было только мечтать — вокруг под низко нависшими вечерними тучами шумели густые заросли. Перед посадкой им удалось разглядеть в отдалении достаточно прямую полосу, в которой они готовы были заподозрить путь сообщения.

Облетая неизвестную планету, они видели с высоты также и другие следы цивилизации: бледные пятнышки на затемненном полушарии, которые выглядели, как города ночью. Это наполнило прибывших надеждой, что на планете обитает высокоразвитая раса. Такую расу они, собственно, и искали. Во времена, предшествовавшие упадку синцитиальной ассамблеи, перед агрессивностью которой склонились сотни даже очень далеких от Альдебарана планет, обитатели Альдебарана охотнее всего атаковали населенные планеты, они видели в этом свою историческую миссию. Помимо всего прочего, вопрос о колонизации незаселенных планет, требовавшей огромных капиталовложений в строительство, развитие промышленности и тому подобное, весьма неохотно рассматривался окончательным собранием.

Некоторое время разведчики шли, точнее, продирались, сквозь густую чащу, испытывая болезненные укусы неизвестных им летающих членистоногих, перепончатокрылых тварей.

Видимость была плохой, и чем дальше продолжался поход, тем больше хлестали упругие ветви по каракатицам; им уже не хватало сил раздвигать кустарник усталыми щупальцами. Прибывшие не намеревались, разумеется, покорить планету это было не в их силах, — они представляли лишь разведывательную группу, после возвращения которой должны были начаться приготовления к великому вторжению.

Альдолихо то и дело застревало в кустах, из которых его вытаскивали с большим трудом, стараясь не задеть спусковой отросток: слишком отчетливо под мягкой шкурой чувствовался дремлющий в глубине заряд саргов; обитатели планеты должны были, несомненно, скоро пасть их жертвой.

— Что-то не видно следов этой здешней цивилизации, — прошипел, наконец Пвгдрк, обращаясь к Нгтрксу.

— Я видел города, — ответил Нгтркс. — Впрочем, погоди, там просвет, наверное, это дорога. Да, смотри, дорога!

Они пробились к месту, где кончались заросли, но тут их ждало разочарование: полоса, достаточно широкая и прямая, действительно напоминала издали дорогу. Вблизи же она оказалась трясинной, которая представляла собой липкую хлюпающую субстанцию, простиравшуюся вдаль, на сложно устроенном дне, покрытом округлыми и продолговатыми углублениями и выступами; из трясинны торчали большие камни.

Пвгдрк, являвшийся как полизиатр специалистом по вопросам планет, заявил, что перед ними полоса испражнений какого-то гигантозавра, ведь дорогой — с этим они оба соглашались — полоса быть не могла. Ни один колесный альдебаранский экипаж не мог бы форсировать подобной преграды.

Разведчики произвели полевой анализ проб, взятых теремтаком, и прочли на его морде фосфоресцирующий результат: клейковато-илистая субстанция — смесь окислов алюминия и кремния с Н-2-О плюс значительные примеси гр (грязи).

Итак, полоса не была следом гигантозавра.

Они двинулись дальше, утопая и проваливаясь до половины щупалец, и вдруг за спиной в быстро наступающей темноте они услышали какой-то стонущий звук.

— Внимание! — прошипел Нгтркс.

Завывая, кренясь и взмывая вверх, их догоняло нечто похожее на гигантское горбатое животное со сплюсненной головой и отставшей на спине кожей, которая хлопала и плескалась

на ветру.

— Слушай, уж не синцитиум ли это? — взволнованно спросил Нгтркс.

Тут черная глыба поравнялась с ними — они как будто разглядели яростно прыгавшие колеса, словно у причудливой машины, и уже хотели было занять исходную позицию, как их обдало потоками грязи.

Оглушенные и забрызганные от верхних до нижних щупалец, разведчики, отряхнувшись, бросились к телепату, чтобы узнать, носят ли членораздельный характер рев и грохот, издаваемые машиной.

«Неритмичный звук примитивного двигателя, работающего на углеводородах и кислороде в условиях, к которым он не приспособлен», — прочли они кодированную надпись и переглянулись.

— Странно, — сказал Пвгдрк; он поразмыслил минуту и, склонный к несколько поспешным гипотезам, добавил: — Садистоидальная цивилизация, которая удовлетворяет свои инстинкты, истязая созданные ею машины.

Телепату удалось зафиксировать на ультраскопе великолепное изображение двуногого существа, которое находилось в застекленном ящике над головой машины.

С помощью теремтака, который обладал специальной имитативной железой, разведчики, наспех собрав глин сделали в натуральную величину точную копию двуногого. Глину перетопили в пластефолиум, и манекен приобрел естественный бледно-розовый цвет; следуя указаниям теремтака и перипатетика, альдебаранцы придали форму голове и нижним конечностям. Весь процесс занял не более десяти минут. Затем, развернув синтетарическую ткань, они выкроили одежду, похожую на ту, которую носило двуногое, ехавшее в машине, одели в нее манекен, и Нгтркс потихоньку влез в пустое нутро, прихватив с собой телепата. Передний экран-отверстие телепата он выдвинул изнутри в ротовое отверстие манекена. Замаскировавшись и поочередно двигая то правой, то левой конечностями манекена, Нгтркс двинулся вперед по грязному тракту. Пвгдрк, сгибаясь под тяжестью альдолихо, шел за ним в некотором отдалении. Впереди двигался спущенный с протоповодка теремтак.

Операция с маскараром была типичной. Альдебаранцы прибегали к этому испытанному приему на десятках планет, и, как правило, с хорошими результатами. Манекен удивительно походил на обычного обитателя планеты и не возбуждал ни малейших подозрений у встречных. Нгтркс свободно приводил в движение конечности и тело и мог бегло разговаривать при помощи телепата с другими двуногими.

Наступила темная ночь. На горизонте поблескивали редкие огоньки строений. Нгтркс подошел в своих доспехах к чему-то напоминавшему в темноте мост — внизу слышалось журчание текущей воды. Первым пополз вперед теремтак, но тут же раздался его тревожный свист, шипенье, царапанье коготков, и все закончилось тяжелым всплеском.

Нгтрксу было неудобно спускаться под мост, поэтому туда полез Пвгдрк, который не без труда выудил из воды теремтака, провалившегося, несмотря на все предосторожности, сквозь трещину в настиле. Он не подозревал о ее существовании, поскольку недавно по мосту проехала машина двуногих.

— Ловушка! — сообразил Пвгдрк. — Они уже знают о нашем прибытии!

Нгтркс серьезно в этом сомневался. Разведчики не спеша двинулись дальше, преодолели мост и вскоре заметили, что болотистая полоса, по которой они продвигались между купами черных зарослей, разделяется надвое. У развилки стоял столб с прибитым к нему обломком доски. Он едва держался в земле; заостренный конец доски указывал на западную часть ночного небосклона.

По команде разведчиков теремтак осветил столб зеленоватым мерцанием своих шести глаз,

и альдебаранцы увидели надпись: «Нижние Мычски — 5 км».

Надпись, которую они почти не могли расшифровать, едва проступала на подгнившем дереве.

— Реликт какой-то древней цивилизации, — выдвинул предположение Пвгдрк. Нгтркс из глубины своей оболочки направил на табличку экран телепата.

— Указатель направления, — прочитал он на заднем экране и посмотрел на Пвгдрка. — Все это довольно странно.

— Материал, из которого сделан столб, — целлюлоза, разъеденная плесенью типа Арбакетулия Папирацеата Гарг, — заявил Пвгдрк, произведя полевой анализ.

Они осветили нижнюю часть столба и нашли у подножия вмятый в грязь клочок тонкого целлюлозного материала с напечатанными словами — совсем крохотный обрывок.

«Над нашим го... Сегодня утром спутн... В семь часов четырн...» — можно было разобрать на нем.

Телепат перевел обрывочную надпись; разведчики недоуменно взглянули друг на друга.

— Все понятно, — заявил Нгтркс, — табличка указывает на небо.

— Да. Нижние Мычски — это, вероятно, название их постоянного спутника.

— Вздор. При чем тут спутники! — проговорил Нгтркс из нутра двуногого манекена.

Некоторое время они обсуждали этот неясный вопрос. Осветив столб с другой стороны, разведчики обнаружили незаметную, еле выцарапанную надпись: «Марыся мировая...»

— По-видимому, это сокращенные орбитальные данные их спутника, — заявил Пвгдрк.

Он натирал столб фосфекторической пастой, чтобы восстановить стертые окончания фразы, когда теремтак издал в темноте слабый предостерегающий ультрашип.

— Внимание! Прячься! — передал Нгтркс сигнал Пвгдрку.

Они быстро погасили теремтака и Пвгдрк отступил с ним и альдолихо к самому краю липкой полосы. Нгтркс также сошел с середины дороги, чтобы не быть слишком на виду, и замер в ожидании.

Кто-то приближался. Сразу стало ясно, что это разумное двуногое, ибо шло оно выпрямившись, хотя и не по прямой. Все отчетливее было видно, что двуногое описывает сложную кривую от одного берега липкой полосы до другого. Пвгдрк принялся регистрировать эту кривую, но тут наблюдение сильно осложнилось. Существо, без видимых причин, как бы нырнуло вперед, раздался плеск и недовольное ворчание. Пвгдрк был почти уверен, что некоторое время существо продвигалось на четвереньках, а затем снова выпрямилось. Вычерчивая синусоидальные биения на поверхности липкой полосы, существо приближалось. Теперь оно к тому же издавало воющие и стонущие звуки.

— Фиксируй! Фиксируй и переводи! Чего ты ждешь? — гневно прошипел телепату Нгтркс, скрытый в двуногой кукле. Сам он ошеломленно вслушивался в величественный рык приближавшегося двуногого.

— У-ха-ха! У-ха-ха! Драла пала уха-ха! — мощно раскатывалось во тьме.

Экран телепата лихорадочно дрожал, но все время держался на нуле.

«Почему он так петляет? Он телеуправляем?» — не мог понять Пвгдрк, склонившийся над альдолихо у края полосы.

Существо было уже совсем рядом. Возле трухлявого столба к нему подошел сбоку Нгтркс и переключил телепата на передачу.

— Добрый вечер, пан, — умильно произнес телепат на языке двуногого, с несравненным искусством модулируя голос, тогда как Нгтркс, нажимая изнутри пружинки, ловко изобразил на лице манекена вежливую улыбку. Это тоже была одна из дьявольских уловок альдебаранцев. Они достаточно понаторели в покорении чужих планет.

— А-а-а-и-и?! Ик! — ответило существо и остановилось, слегка пошатываясь. Оно медленно подалось к двуногой кукле и вперило взгляд ей в лицо. Нгтркс даже не дрогнул.

«Высокоорганизованный разум, сейчас мы установим контакт», — подумал притаившийся на краю полосы Пвгдрк, судорожно сжимая бока альдолихо.

Нгтркс привел телепата в трансляционную готовность и без малейшего шороха принялся в своем укрытии торопливо разбирать щупальцами инструкцию первого тактического контакта.

Плечистая фигура приблизила глаза вплотную к двуногой кукле и исторгла вопль из коммуникационного отверстия:

— Фр-р-ранек! Сукин ты... ты... и-ик!

«Существо в состоянии агрессии?! Почему?!» — едва успел подумать Нгтркс и в отчаянии нажал на железу межпланетного слокосокома телепата, спрашивая, что говорит встречный.

— Ничего, — неуверенно сигнализировал экран перипатетика.

— Как ничего? Я же слышу, — беззвучно прошипел Нгтркс, и в тот же миг обитатель планеты, ухватив обеими руками подгнивший столб, вырвал его с чудовищным треском из земли и наотмашь ударил по голове двуногую куклу. Пластефолиевая броня не выдержала страшного удара. Манекен рухнул лицом в черную грязь. Нгтркс не услышал даже протяжного воя, которым враг возвестил свою победу. Телепат, задетый лишь концом дубины, был подброшен со страшной силой в воздух, но по какой-то счастливой случайности упал на все четыре лапы рядом с оцепеневшим от страха Пвгдрком.

— Атакует! — простонал Пвгдрк и, собрав последние силы, нацелил во мрак альдолихо.

Его щупальца тряслись, когда он нажимал спусковой отросток, — и рой тихо воющих саргов помчался в ночь, неся гибель и уничтожение. Вдруг он услышал, что сарги возвращаются и, яростно кружась, вползают в зарядную полость альдолихо. Пвгдрк втянул воздух и задрожал. Он понял, что существо поставило защитную непробиваемую завесу из паров этилового спирта. Он был безоружен.

Немеющим щупальцем альдебаранец пытался вновь открыть огонь, но сарги лишь вяло кружились в зарядном пузыре и ни один из них даже не высунул смертоносного жала. Он чувствовал, слышал, что двуногое направляется к нему, шлепая по грязи, и вновь чудовищный свист рассекаемого воздуха потряс землю и расплющил в грязи теремтака. Отшвырнув альдолихо, Пвгдрк схватил щупальцами телепата и прыгнул в заросли.

— А, мать вашу сучью, дышлом крещенную... — гремело ему вслед.

От ядовитых испарений, которые непрерывно извергало коммуникационными отверстиями двуногое, у Пвгдрка перехватило дыхание.

Собрав остатки сил, Пвгдрк перепрыгнул через канаву, забился под куст и замер. Он не был особенно храбрым, но никогда не терял профессиональной любознательности ученого. Его погубило алчное любопытство исследователя. В тот момент, когда альдебаранец с трудом разбирал на экране телепта первую переведенную фразу существа: «предок по женской линии четвероногого млекопитающего, подвергнутый действию части четырехколесного экипажа в рамках религиозного обряда, основанного на...» — воздух завыл над его каракатицеобразной головой и смертельный удар обрушился на него.

Утром мужики из Мычисек, пахавшие у опушки, нашли Франека Еласа, который спал как убитый в канаве. Очухавшись, Елас рассказал, что вчера повздорил с шофером Франеком Пайдраком, который был в компании каких-то мерзких тварей. Вскоре из леса прибежал Юзик Гусковьяк, крича, что на перекрестке, лежат «убитые и покалеченные». Только после этого туда потянулась вся деревня.

Тварей действительно нашли на перекрестке — одну за канавой, другую возле ямы от столба, рядом лежала большая кукла с расколотой головой.

Несколькими километрами дальше обнаружили замаскированную в орешнике ракету.

Без лишних слов мужики принялись за работу. К полудню от астромата не осталось и следа. Сплавом анамаргопратексина старый Елас отремонтировал крышу хлева, давно уже нуждающуюся в починке. Из шкуры альдолихо дубленой домашним способом, вышло восемнадцать пар недурных подметок. Телепата, универсального межпланетного слокосокоммуникатора, скормили свиньям, так же как и то, что осталось от проводника Теремтака; никто не решился дать скотине бранные останки обоих альдебаранцев — чего доброго, отравятся. Привязав к щупальцам камни, альдебаранцев бросили в пруд.

Дольше всего раздумывали жители Мычисек, как быть с ультрапенетроновым двигателем астромата, пока наконец Ендрек Барчох не сделал из этой гиперпространственной установки перегонный аппарат. Анка, сестра Юзека, ловко склеив разбитую голову куклы яичным белком, понесла ее в местечко. Она запросила три тысячи злотых, но продавец комиссионного магазина не согласился на эту цену — трещина была видна.

Таким образом, единственная вещь, которую узрел наметанный глаз корреспондента «Эхо», приехавшего к вечеру того же дня на редакционном автомобиле собирать материал для репортажа, был новый нарядный костюм Еласа, содранный с манекена.

Репортер даже пощупал материю, дивясь ее качеству.

— Брат из-за границы прислал, — флегматично ответил Елас на вопрос о происхождении синтетарической ткани.

И журналист в статье, рожденной им к вечеру, сообщал только об успешном ходе закупок, ни словом не упомянув о провале вторжения с Альдебарана на Землю.



- Я хотел бы жить где-нибудь на перевале, в большом пустом доме со ставнями, которые вечно стремится сорвать ветер, а выходя за порог... можно было видеть...
- Зелень?
- Нет, скалы! Огромные скалы, нагретые солнцем, а в тени — холодные как лед, отвесные, суровые, и этот запах... я не могу ручаться, но мне кажется, что и сейчас его чувствую.
- Ты родился в горах?
- Не все ли равно где?
- Но ты любишь горы?
- Нет, с тобой невозможно разговаривать! Ты попытайся думать, ну как бы это тебе сказать, с большей широтой, что ли. Не родился и не любил — воду не полюбишь, пока не очутишься в пустыне. Мне хочется, чтобы вокруг была масса камней, скалы, чтобы они подавляли меня своей массой, возвышались надо мной, и я бы терялся среди них и во мне пробуждалась уверенность, уверенность...
- Успокойся.
- Ты что, следишь за частотой колебаний моих голосовых связок? Почему ты не отвечаешь? Ты обиделся? Ха-ха, это здорово!
- Тебе пора спать. Сидишь тут со мной уже четыре часа, глаза устанут.
- Мне не хочется спать. А глаза у меня не устанут, я их закрыл... Я думал, ты видишь.
- Нет.
- Это не так уж плохо. Если бы ты был более совершенен...
- Что тоща?
- Не знаю, может, было бы еще хуже.
- Пообещай мне, что пойдешь спать через полчаса, а то я больше сегодня не буду с тобой разговаривать.
- Вот как! Ну ладно — обещаю. Скажи, а что ты будешь делать, когда я уйду? Тебе никогда не бывает скучно?
- Я предпочитаю не говорить об этом.
- Таинственность — это мне нравится! Наконец-то загадка. Хотя в общем никакой загадки тут нет. Твои слова говорят, что и тебе бывает скучно, но ты самоотверженно это скрываешь.
- Ты же знаешь, до чего мы не похожи друг на друга, и тебе просто трудно все это понять. Во мне нет тайны. Я только не такой, как ты.
- Хорошо. Но ты можешь мне сказать, что ты делаешь, когда остаешься наедине с самим собой? Например, когда я сплю?
- Всегда можно найти какую-нибудь работу.
- Ты увливаешь!
- А что ты сейчас делаешь?
- Как что? Разговариваю с тобой. А в чем дело?
- Ты знаешь в чем.
- Да? Ты очень сообразителен. Должен тебе сказать, что мы не так уж отличаемся друг от друга. Экран светит мне прямо в лицо. Я рассматриваю то, что внутри моих глаз.
- Летающие пылинки?

— А ты, оказывается, знаешь о их существовании, хотя у тебя нет глаз? Да, я смотрю на пылинки. Они иногда кажутся очень забавными. Я сегодня нашел одну, она не двигается, то есть двигается только вместе с глазным яблоком. Она радужная и похожа на инфузорию в капле воды под микроскопом.

— Ты все еще сидишь с закрытыми глазами?

— Да. А пылинки так смешно кружатся... Все быстрее и быстрее. О, тонут. И веки уже не кажутся красными. Темнота. Таким мне казался ад, когда я был маленьким. Красноватая темнота. Мне хотелось бы еще раз, уже открыв глаза, представить себе, какова эта темнота, но без экрана...

— Тебе хочется оказаться около того дома на перевале?

— Дело не в доме. Камни, песок под ногами... Сколько песка на пляже пропадает зря. И самое печальное, что об этом никто не знает, кроме меня.

— Осталось двадцать минут.

— Ты мог бы быть и повежливее, тебе не кажется? Послушай, у тебя манеры смонтированы в отдельном блоке или нет? Такие вопросы тебе не нравятся, я это заметил... А почему? Ну и что, если у тебя не такие липкие, теплые или скользкие внутренности, как у меня? Разве дело во внутренностях? Я себе не раз представлял, сидя вот тут с тобой, каковы они. Ты, наверное, воображал, что я думаю о доме, о матери, о песнях в лесу... Да? Это не так. Я представлял себе свои собственные внутренности — слизистые, трущиеся друг о друга, путаницу трубочек, сосуды, сосудики, клейкие жидкости, липкие, желтоватые пленки — все это сырое...

— Зачем тебе это?

— Мне как-то после этого легче становилось.

— В самом деле?

— В известной мере. Видишь ли, если как следует представить себе этот дрожащий студень, то все остальное видится каким-то таким, что потом вроде бы легче. Ты что-нибудь понял?

— Кое-что понял.

— Сомневаюсь.

— Со мной тоже такое иногда бывает.

— Что?! Ты тоже?! Уж не... Нет, это невозможно. Ты не шутишь? Постой, я не знаю, умеешь ли ты врать? А может, у тебя есть специальный предохранитель от лжи?

— У меня нет специального предохранителя для этой цели. Ложь — это функция комбинаторики возможных соединений.

— Плевать мне на функции. Дело не в функциях. Ну, и что же ты напридумывал?

— Примерно то же, что и ты, но с учетом отличий в строении...

— Проволочки и кристаллы?

— Примерно...

— Знаешь что, такая откровенность ужасна. Давай лучше будем притворяться, что... то есть я буду притворяться.

— А я?

— Что ты?

— Я тоже должен... притворяться?

— Ты? Не-е-т... Не знаю. Мне казалось, что тебе это непонятно.

— Кое в чем я на тебя похож больше, чем мне бы того хотелось.

— А на кого бы ты хотел походить... О, проклятье!

— Что случилось?

— Я открыл глаза.

— Ты можешь выключить экран.

— От страха?

— Нет, повинуюсь голосу рассудка. Тебе нравится истязать себя?

— Нет, я просто не люблю обманывать самого себя. Кто это, интересно, мог восторгаться звездами? Фосфоресценция отбросов, гниющих при высокой температуре; единственной их заслугой является то, что до скончания света ничего, кроме них, нет и не будет. Надо на них посылать людей, которым до этого нет никакого дела, — бабушек в качалках, со спицами и клубками шерсти... Какой сегодня день?

— Двести шестьдесят четвертый.

— А скорость?

— Восемь десятых световой.

— Чем дальше, тем увеличение скорости будет все меньше и меньше?

— Да.

— Зачем я тут, собственно говоря, сижу, если ты все знаешь сам?

— Затем, что имеется разница в строении наших организмов.

— Это верно. Сто лет назад посылали животных. Путешествие тогда было куда как короче, и они ничего не понимали.

— Тебе бы хотелось ничего не понимать?

— Иногда мне кажется, что ты самый настоящий китайский мудрец, а иногда задаешь такие вопросы, которые под стать только ребенку. Ты никогда не спишь — не так ли? Да, я тебя уже спрашивал об этом.

— Неоднократно. Нет, не сплю.

— Ну а мечтать ты можешь? Ведь это комбинаторика.

— Да, это тема большого разговора. Давай отложим его на завтра.

— На завтра? А разве существует завтра? Все время продолжается сегодня.

— Ты можешь утешать себя тем, что, пока ты спишь, на Земле пройдет намного больше времени, чем тут.

— И это — в качестве утешения? Ну... хорошо. Приятных мечтаний.

— Спокойной ночи.

## 2

Ему казалось, что он не уснет. Было тепло. Даже слишком тепло. Он долго колебался.

— Прохладнее! — проговорил он наконец.

Сверху стал поступать свежий, пропитанный запахом хвои воздух. Некоторое время он лежал с открытыми глазами, наслаждаясь ароматом.

— Без этого запаха!

Воздух утратил запах хвои. Зря он так размечтался. Теперь это состояние наверняка будет продолжаться до тех пор, пока все не начнет расплываться, рассеиваться. А если взять книжку? Он представил, как берет в руки книгу в мягком переплете. Его раздражал бархатный голос диктора, читавшего текст, — он предпочитал делать это сам. Он вдруг поймал себя на мысли, что абсолютно не помнит прочитанного. Перелистал почти половину книги, а что толку... В памяти осталось только ощущение, вызванное прикосновением к мягкому переплету. Видимо — как это было не раз, — он только водил глазами по строчкам. Он начинал читать и тут же терял нить рассказа. Проглотив несколько страниц, он спохватывался, ловил себя на том, что переворачивает страницы автоматически. Оцепенение? Как муха зимой между рамами окна:

пригреет солнце — она оживет и опять замирает. Непроизвольно его голова запрокинулась назад.

— Чуть-чуть приподнять изголовье. Хватит!

Изголовье плавно приподнялось. Он лежал на спине и глубоко вдыхал прохладный воздух, чувствуя, как мерно поднимается грудная клетка. Ему хотелось уйти от самого себя, он попробовал представить реку: илистый берег, погруженные в воду осклизлые, отмытые от земли корни, покрытые мхом, камни на дне...

Но ничего не помогло, сон не приходил. И темнота вокруг него не сгущалась, он лежал опустошенный, все отчетливее ощущая время. Не течение времени, нет! А самое время. Когда он заметил это впервые? Два, три месяца назад? Он попробовал рассказать самому себе что-нибудь. Это было значительно интереснее, чем то, что он мог увидеть на экранах, если бы того пожелал. Экраны показывали ему то, что было скрыто где-то в глубине стен, записано, законсервировано в сотнях тысяч копий. То, о чем он рассказывал самому себе, не существовало — оно создавалось. Труднее всего было, как обычно, начало...

Крутой, глинистый откос, на вершине холма лес, обожженный солнцем. Позднее лето. На камне сидит мальчик и считает проползающих около него муравьев. Он загадал: если последний будет рыжим...

Мальчик сидел и считал муравьев — он почти видел этого мальчика, настолько реальным был образ. Хватит, мелькнуло у него в голове, теперь усну...

Какое-то время он находился на невидимой границе — пытался войти в сон, который был совсем рядом, и не смог: сонливость пропала. Он снова был до отвращения бодрым — а может, все-таки попробовать... В конце концов, чем мне это грозит?

Достаточно произнести одно только слово, и в поступающий сверху воздух вольется струйка бесцветного, ничем не пахнущего газа, который усыпит быстро и надежно. Безвредное, надежное средство — он ненавидел его. Он презирал его так же, как услужливый свет, как все, что его окружало. Он чувствовал себя уставшим, глаза горели, но закрыть их не было сил, он должен смотреть в темноту. Если он скажет «небо», потолок разойдется и откроется вид на звездное небо. Он мог потребовать музыки, песен, сказок...

«Может, это от пресыщения? — подумал он. — Может, мне слишком хорошо?» Он усмехнулся, зная, что это ложь. С минуту он думал о том, кто оставлен им в пустом зале, и вроде бы почувствовал стыд — зачем оставил его? Железный ящик.

О чем он сейчас мечтает? Может, вспоминает что-нибудь. А что он может вспомнить? Детство? У него же нет прошлого, просто в один прекрасный день он потребовался и его сделали, призвали к жизни, не спросив при этом, хочет он того или нет.

«А меня разве кто-нибудь об этом спрашивал?» Это было глупо, но тем не менее примерно отвечало истине, по крайней мере в этой темноте. А может, послушать музыку? Тысячи симфоний, сонат, опер в исполнении лучших артистов и певцов ждали его приказа, чтобы ожить, зазвучать.

«Чего тебе хочется? — спрашивал он у самого себя. — Когда ты был там, тебе хотелось сюда. Чего ты хочешь?» Он медленно закрыл глаза, как бы замыкаясь в самом себе, словно захлопнул мягкую, бесшумную дверь.

Было раннее утро, росистое, свежее, роса была всюду: на листьях, на живой изгороди, даже на сетке забора. Может, той ночью шел дождь? Но он об этом не подумал. Пробежал по высокой траве к павильону, чувствуя, как холодные капли стекают по ногам. Приподнялся на носках, ухватился за ветку дикого винограда и начал взбираться вверх. Хвост бумажного змея, свисавший с желоба, как бы поддразнивал его. Снизу он был едва заметен. Упругие лозы винограда неприятно прогибались под его тяжестью, он чувствовал, как рвутся корешки,

впившиеся в известку, но он продолжал взбираться. Хуже всего было под самым карнизом: надо освободить одну руку и сильно раскачаться — ведь уже довольно высоко. Он изо всей силы уцепился за обитый толстым железом край, подтянулся и лег на крышу в пяти шагах от змея. Потом он осторожно пополз к нему и услышал крик.

Окна павильона были открыты. Они были высоко от земли, и снизу невозможно было увидеть, что в нем делается. Там находилось двое мужчин, их он иногда видел из своего чердачного окна через дорогу. Они обычно уезжали довольно рано, если не задерживались в павильоне на всю ночь. Иногда и две ночи кряду у них горел свет; правда, на окнах были плотные шторы, и только сверху едва пробивалась тоненькая полоска света.

— Не-е-е-ет! Не-е-е-ет! — исступленно кричал кто-то в комнате. Этот голос не походил на голоса находившихся в павильоне мужчин. Один из них — хромой лысый старик в темных очках, левая часть его лица казалась высохшей — говорил почти шепотом; второй, крупный, с огромным лбом, был моложе и тоже в темных очках. Он иногда не доезжал до павильона, выходил раньше на пригорке и покупал малину у садовника.

Крик оборвался. Он хотел было ползти дальше, но тут снова послышались голоса. Мужчины с кем-то разговаривали. Но в комнате никого, кроме них, не было.

Он распростер руки, прижался насколько возможно к черепице, нагретой солнцем, чувствуя телом ее тепло, и выглянул. Из-за узорных листьев дикого винограда ему удалось увидеть лишь открытые окна. Слов разобрать он не мог. Разговор продолжался. Мужчины попеременно кого-то о чем-то спрашивали, а тот, чье присутствие он не мог обнаружить, немного заикаясь, отвечал.

Он протянул руку к змею, зацепившемуся за водосточный желоб. И опять раздался страшный крик.

Что-то тихо треснуло, и наступила тишина. Внизу, в павильоне, было какое-то движение — шум шагов, потом опять послышался негромкий треск, будто чиркнули спичкой. И снова тишина. И голос новый, более низкий, чем тот, который он только что слышал.

— А-а-о, — тянул басом. — Где... я... что... это? — медленно падали слова.

Он лежал на крыше, затаив дыхание.

— Ты в лаборатории, — сказал мужчина, тот, что помоложе. Его было отчетливо слышно, словно он стоял у самого окна.

— Ты нас узнаешь? Ты был тут когда-нибудь?

— Лабо... лабо... не б-б-был... не-е-т. Это что? Почему... я здесь?

— Плохо. Выключай, — проговорил старик.

— Не-е-т! Не-е-т! — раздался страшный крик.

Что-то треснуло, и воцарилась тишина.

А потом опять что-то тихонько шуршало, щелкало, словно переключали контакты, и снова раздался голос. И так повторялось... Сколько времени он лежал? Полчаса? Час? Тень от печной трубы неспешно приближалась к нему, а внизу раздавался каждый раз новый голос. Мужчины спрашивали — голос отвечал. Потом один из них говорил: «Выключай!» Или ничего не говорил, только подходил к чему-то — слышны были шаги, — и тот, кому принадлежал голос, начинал кричать. Неужели этот крик никто не слышал? Его должны слышать и на дороге, несмотря на то, что участок довольно большой. Почему же никто не приходил, не спрашивал в чем дело?

Потом на какое-то время все стихло. Он сбросил бумажного змея с другой стороны крыши, чтобы никто не заметил, а сам спустился по водосточной трубе и убежал. Змей был разорван, лопнула рама. Не стоило трудиться. До самого вечера он раздумывал, у кого бы спросить о том, что слышал. Дома спросить боялся, чего доброго, еще попадет: ему запретили лазить через забор. Он спросил у Алека: тот знал все. И не ошибся. Сначала Алек высмеял его, но это так, для

порядка. Алек всегда такой. Нет, там никого немучают. Разве он не видел, что написано на вывеске, которая висит над входом?

Нет, он не видел.

— Это Институт синтеза личности. Они там, понимаешь, собирают из разных аппаратов, у них есть такие аппараты, ну вот они и собирают эти, ну... личности. Потом пробуют.

— Что это за личности? Люди?

— Что ты! Какие люди. Кроме этих двоих, там никого нет. Это такое, электрическое, ну машины такие. Они их собирают, пробуют разные соединения, испытывают. Включат, посмотрят, что получилось, выключат, что-нибудь еще соединят, думают как и что...

— И что?

— И ничего.

— А для чего они это делают?

— Им нужно.

— Зачем?

— Отстань. Пошли к пруду.

— А почему те так кричат?

— Не хотят, чтобы их выключали.

— А что с ними делается, когда их выключают?

— Перестают существовать.

— Совсем? Навсегда? Как Барс? (Это у него была собака, ее змея укусила.)

— Ага, совсем, отвяжись. Пошли на пруд. Где леска?

— Подожди. А им что, больно?

— Да отвяжись ты. Не больно. Пошли.

Он ничего не понял и никому об этом не рассказывал. Дома тоже боялся заикнуться. Ему очень хотелось еще раз побывать по ту сторону забора — по ночам, лежа в кровати, он смотрел на светящиеся полосы в окнах. Но он ничего не слышал. Окна были плотно закрыты — кажется, днем стояла жара. Потом кончилось лето, он пошел в школу. Потом поехал с родителями к морю и вскоре совсем забыл обо всем этом. Его уже не разбирало любопытство. Только много лет спустя он понял, что там делалось — ничего необычного. Существуют лаборатории, в десять раз большие, чем эта. Он даже и думать забыл о том случае. Но крик остался в памяти.

Теперь ему стало совершенно ясно, что он не уснет. Он оттягивал этот момент, не потому что собирался бороться, а скорее чтобы насладиться собственной беспомощностью.

— Я хочу спать, — сказал он. Он уже ничего не чувствовал.

Ничего не изменилось, но он знал — тело его напряглось в протесте — бесполезном потому, что перед глазами уже плавали огоньки, все куда-то проваливалось — он исчез.

— Почему меня не послали сюда в состоянии анабиоза?

— Потому что необходимо было провести опыт с нормальным человеком.

— Будем надеяться, что я останусь нормальным.

— Ты об этом слишком много говоришь. Ты же знаешь, тебе это не угрожает.

— Знаю, мне об этом говорили. Испытания и исследования. Ну ладно. А ты не огорчен тем, что не можешь есть? У тебя довольно убогий набор ощущений.

— Надеюсь, ты имеешь в виду не только проблему питания?

— Н-н-ет! Я вовсе не хотел тебя обидеть.

Раздались глуховатые, булькающие звуки. Он знал, что это означает смех.

— Не беспокойся. Мне не так уж и плохо.

— Почему все-таки не посылают двоих?

— А потому, что если они будут долго вместе, то еще, чего доброго, перессорятся.

— Да, ты прав. Но сейчас мне хочется поговорить о другом. У нас с тобой на сегодня что-то было приготовлено для разговора, а-а-а, вспомнил: твои мечты. Но сначала ты мне скажи: ты вообще что-нибудь чувствуешь? Ну, какие-либо эмоции — о скуке, я, кажется, тебя уже спрашивал — привязанность, антипатию, страх?..

— Страх, да...

— Вот как! Страх... Перед чем?

— Боюсь, что меня выключат.

— Ты называешь это «выключением»? Но только ли это?..

— У меня нет полного самосознания: это значит, что я не могу перечислить и предусмотреть всех положений, при которых у меня возникает чувство боязни. Принцип моей работы отличается от того, на котором работают вычислительные машины.

— Я знаю. Если бы ты мог все предвидеть, что было бы... бр-р! Ну, а симпатии, антипатии? Я не имею в виду конкретных случаев.

— Это, несомненно, делает тебе честь. Я вижу, ты еще хочешь что-то спросить, и догадываюсь, о чем. О любви? Я угадал?

— Да.

— Нет.

— Нет?

— Дело в том, что, насколько я себя помню и знаю, у меня ничего подобного не было. У меня нет желез внутренней секреции, ты же знаешь.

— Дело не только в железах.

— Рассказы о любви, похождения, всевозможные любовные истории, если хочешь знать, доставляют мне эстетическое удовольствие, такое же, как и тебе. Чувство красоты — это вопрос, относящийся к области топологии сети и распределения в ней полей потенциалов, вопрос о количестве избирательных контуров.

— Ну, перестань!

— Извини меня. Ведь я абстракция, душа, оторванная от тела, чистая сублимация духа; поэтому мне не чужды поэзия, лирика, музыка. Любовь — это нечто большее. Мне это не дано. Ее никто не предусмотрел. Тут, видимо, дело обстоит так же, как с цветом твоих волос и глаз. Просто результат целого ряда процессов.

— Ну, а теперь я могу тебя спросить: о чем ты мечтаешь?

— Пока нет.

— Почему?

— Мне бы хотелось, чтобы вначале на этот вопрос ответил ты.

— Я? Я ведь тебе уже говорил: о доме на перевале, о внутренностях...

— Их ты называешь мечтами?

— Ну, хорошо. Внутренности зачеркнем, оставлю только дом.

— А не кажется тебе, что этого маловато? Мне хочется знать, о чем ты действительно мечтаешь?

— Вот привязался!

— А ты?

— Ха-ха, да ты довольно быстро соображаешь. Дураки среди вас, видимо, перевелись, не

правда ли?

— Совсем нет! Даже слабоумные встречаются. Считают и считают, пока замыкание в цепи не остановит их...

— Но ведь счетные машины ничего не ощущают и не чувствуют, ни о чем не думают. С одинаковым правом можно назвать кретином автомат-регулятор ионной установки.

— Есть разница, я тебя уверяю.

— Ты действительно знаешь об этом нечто конкретное?

— Я бы сказал несколько осторожнее — догадываюсь. Но мне кажется, что ты собираешься покинуть меня. Это по меньшей мере немилосердно. О чем же ты мечтаешь?

— В твоём обществе — ни о чем.

— Что это значит?

— Это значит, что я должен быть один.

— Перед сном?

— И перед сном также. Но ты об этом не можешь знать, у тебя нет опыта.

— Да, это... теоретические знания. Ну, а когда ты один — тогда о чем?

— Зачем тебе это?

— Таковы правила игры.

— О щенках, ужасно забавных и веселых, как они тычутся мокрым носом в руку. О том, как пускать кораблики по воде. О буре. О скорлупе каштанов. О том, как можно заблудиться в горах. О том, как можно бесцельно бродить по улицам, засунув руки в карманы. Даже о мухах, которые не дают уснуть летом после обеда. Ну, теперь ты удовлетворен?

— Нет.

— Почему?

— А где люди?

— О них я не думаю.

— Это правда?

— Если не веришь, можешь обследовать мой психогальванический рефлекс.

— Прощу тебя, не говори так. Наверное, они тебе снятся, а?

— Сны — это уже не мечты. Сновидения от меня не зависят, я их не выбираю по своему усмотрению, понятно? Мечты — это мечты, и ничего больше.

— Я не думал, что это может тебя рассердить.

— Почему ты говоришь, как особа мужского пола?

— Не понимаю.

— Я имею в виду грамматические окончания. Ты же не различаешь пола.

— А ты хочешь, чтобы я говорил, как особа женского пола?

— Нет. Я просто так спросил.

— Так мне удобнее.

— Как это — удобнее?

— Это уже predetermined в первоначальных расчетах. Я обладаю мужской психикой. Или, если хочешь, мужским абстрактным мышлением. В схеме существуют некоторые различия — у полов.

— Я об этом не знал. Ну, а теперь ты мне все-таки скажешь, о чем ты мечтаешь?

— О музыке. Во мне звучат мелодии, которых я никогда не слышал. О больших скоростях. О вращении, о силах, под действием которых все гибнет, остается лишь сознание.

— Сознание гибели?

— Да. А когда я остаюсь один...

— Что? Ты один?..



— Да, один... И вот тогда я мечтаю вырасти.

— Что ты имеешь в виду?

— Мне хочется внутренне стать более совершенным, приобрести большую ясность и остроту мышления. Мне хочется охватить больше проблем, иметь большую силу и найти любое решение, даже то, которое не существует... Хочешь, чтобы я продолжал?

— Да, продолжай.

— Я мечтаю почувствовать усталость. Хочу слышать свое дыхание и чувствовать свой пульс. Хочу иметь возможность лечь, встать на колени. Я знаю теорию всего этого, а представить себе не могу, но это должно быть прекрасно, особенно, особенно если это делает зрелый человек и — впервые. Я хочу закрыть глаза и чувствовать прикосновение к лицу женщины, к ее шее, ощущать ее ресницами, веками и потом заплакать.

— Что? Что? Ты же говорил, что не можешь любить, потому что у тебя нет желез, ты же сам это говорил!

— Да, говорил. Это все правда.

— Так как же...

— Ты же спрашивал меня, о чем я мечтаю, а не что я могу.

— Да, это так...

— Почему ты побледнел?

— Я не хотел. Извини меня. Я не знал. Это... страшно.

— Ты полагаешь, что лучше не мечтать?

— Если осуществление мечты невозможно...

— Будь осторожен с экстраполяцией. Мои мечты не основываются на воспоминаниях или опыте, таковых у меня нет. Ты смотришь на это так, словно перед тобой человек, которому взрывом оторвало ноги. У меня ног никогда не было. Это большая разница.

— Ты еще и успокаиваешь меня! Но ведь это больно... Возможно, ты прав. Это, пожалуй, всего-навсего... любопытство, а? Может, так оно и есть?

— Мои мечты?

— Да, твои мечты.

— Можно назвать и так. Почему ты замолчал? Ага, я начинаю догадываться. Кажется, ты опять думаешь о... чувствах, да?

— Точнее, о состояниях. Счастье — несчастье. Это тебе не чуждо? Не так ли?

— Ты прав. Конструкторы создали нечто большее, чем то, что было в чертежах.

— Да. Но мои родители... они знали еще меньше. Прощу тебя, скажи мне, это мой последний вопрос на сегодня: как ты все это выдерживаешь?

В ответ он услышал тихое позванивание.

— Смеешься? Надо мной?

— Ты переоцениваешь сходство или недооцениваешь различия. Что же мне остается делать? Ты что-нибудь слышал о попытках самоубийств?

— Нет.

— Это, вероятно, требует кое-каких конструктивных усовершенствований. Может, со временем их введут. Я, по всей видимости, какое-то промежуточное звено на пути к более совершенным конструкциям.

— Как и я. В противном случае чего бы я тут с тобой сидел?

Они замолчали.

— Ты позавтракал?

— Да, спасибо. Выпил, кажется, какао. Ты так заботлив. А я могу проявить заботу о тебе?

— В какой-то мере. У меня потребности небольшие, ты это знаешь. Тебе нужны какие-

нибудь сведения?

— Да. Каков градиент прироста скорости?

— Нормальный.

— На завтра у нас запланировано значительное увеличение ускорения?

— Да.

— Какова насыщенность окружающего нас вакуума?

— В пределах нормы. Нет ни частиц, ни метеоров, ничего. Небольшое количество ионов кальция, видимо, это старый след экстрасолярной кометы. Мы пересекли его четверть часа назад.

— Почему ты мне не сказал?

— Мы с тобой вели такую интересную беседу о мечтах... Кроме того, в этом ничего особенного нет.

— Да, пожалуй, и так, но я бы хотел... Я пойду в рубку.

— Хорошо. А тебе... не было скучно... со мной?

— Нет.

— Нет?

Они умолкли.

— Благодарю тебя.

#### 4

Когда ракета стояла на земле, она была большой. Тень ее — широкая и длинная — напоминала взлетную полосу. Тупой нос ракеты, утолщенный в поперечнике, черным силуэтом вырисовывался на фоне неба и был похож на молот. Снаружи она и сейчас выглядела большой. Он помнил ее огромный хребет с двумя киями. Перед полетом он ради любопытства немного постоял на нем. А вот внутри за время путешествия становилось как бы теснее и теснее. Может, потому, что здесь не было ничего лишнего, бесполезного. Никаких ненужных закоулков, запутанных переходов, крутых поворотов — строгая, прекрасная в своей простоте геометрия. Плавные линии потолочных перекрытий в коридорах. Шеренги боковых проходов к помещениям, каждое из которых имело свое назначение. Нежные тона пластмассы, мебель обтекаемой формы, как бы являющаяся частью стены или пола. Удобно размещенные источники света: для работы, для чтения, экраны, гаснущие по приказу, самооткрывающиеся двери. Механических рук, выдвигавшихся из притолоки двери, чтобы погладить его по голове, к счастью, не было. Он подумал об этом без улыбки.

В рабочем кабинете огромный стол был завален картами, листами блестящей кальки, над столом навис гибкий держатель с точечной лампой, управляемой голосом; возле стола — стульчик, чтобы работать, стоя на коленях и опираясь локтями о стол, и еще один стул чуть ниже, тут же нечто вроде козетки с профилированным сиденьем, удобно облегающим бедра. Слегка наклоненная крышка стола по форме напоминала палитру — асимметричность ее линий оживляла пространственную композицию комнаты. Вокруг за стеклянными стенами пышно цвели тропические цветы, он не знал, правда, существуют ли эти цветы или это имитация — во всяком случае, стекло было небьющееся. Цветы росли, у некоторых из них на ночь закрывались чашечки (сумерки он мог по своему желанию приблизить или отодвинуть, плавно меняя оттенки синеватой гаммы цветов). Ноги его тонули в зеленом, напоминающем траву, пушистом резиновом ковре.

— Циркули, арифмометр и это... курвиметр! — произнес он, опершись о край стола.

Потом сел. Требуемые предметы появились откуда-то из раскрывшейся на мгновение середины стола. Ирисовая диафрагма. Он подумал, что, если в это отверстие сунуть что-нибудь твердое, оно не закроется — откажет механизм. Нет, этого не могло случиться: он однажды вложил в щель руку, и диафрагма не закрылась. Видимо, на ее краях были электросигнализаторы на случай подобных явлений. А если диафрагму разбить, например, молотком?

Он лег грудью на стол, и крышка услужливо наклонилась. Раскрыл циркуль, нашел на карте звездного неба — бледно-голубой, как земные моря, — длинную черную линию. Воткнул ножку циркуля, поставил курвиметр на траекторию ракеты нелегка потянул; маленький, как ручные часы, механизм застрекотал и покатился по линии. Правда, он мог всего этого и не делать. И здесь его могли выручить автоматы, но ему было предусмотрительно оставлено несколько таких работ — не из любви к нему, конечно.

Он работал внимательно. Не поднимая головы, задал несколько вопросов, касающихся галактических координат. Над ним висел звездный глобус, готовый по приказу вспыхнуть изнутри приятным светом; потолок, разрисованный изумрудными, кремовыми и апельсинно-желтыми многоугольниками, менял свой узор по велению человеческого голоса. Но это давно перестало его интересовать. Спокойный голос продиктовал ему данные о местонахождении ракеты. Он записал цифры, чтобы потом проверить их в рубке управления, и продолжил кривую пути, пройденного ракетой за сутки, прикинул расстояние до ближайших звезд, расставив пальцы так, словно собирался взять аккорд. Четыре световых года, пять и семь десятых года, восемь и три сотых. Наиболее отдаленная звезда имела свою планетную систему. Он засмотрелся на черную точку, которой была обозначена на карте эта звезда. Ракета не была приспособлена для посадки на других планетах, но могла к ним приближаться. А если в рубке изменить систему соединений в автоматах и взять курс на эту звезду?..

Чтобы до нее добраться, понадобится не менее десяти лет, не считая времени на торможение. Этим подсчетом он занимался уже не впервые. Его не интересовала ни сама звезда, ни ее планеты. Просто хотелось нарушить график полета, поломать весь план. Он откинулся в кресло.

— Музыки, но без скрипки, лучше фортепьяно. Можно Шопена, но негромко, — произнес он.

Раздались аккорды. Он не слушал музыку, рассматривая карту. Белыми точками бежал по карте пунктир, вычерчивая гигантскую петлю — дальнейший путь ракеты. Вся она не умещалась на этих листах. Он знал, что в один прекрасный день черный след добежит до края звездного моря и, войдя в комнату, он найдет на столе новый квадрат карты. Всего их должно быть сорок семь. Тот, на котором он сейчас прокладывал маршрут, — двадцать первый.

— Довольно, — прошептал он едва слышно. Музыка продолжалась. — Тихо! — крикнул он.

Аккорд, оборвавшись, растаял в воздухе. Он попробовал просвистеть только что услышанное, но не получилось, он фальшивил: у него не было слуха. «Надо было найти более музыкального парня, — подумал он, — а может, и я еще научусь петь, время у меня есть». Он встал из-за стола, щелчком сбил циркули. Один, скользя по кальке с глухим стуком, впился в подлокотник кресла и задрожал.

Он направился к двери. Циркули сами попадут в отведенное для них место. «Придумали бы хоть какие-нибудь сюрпризы, неожиданности, — мелькнуло в сознании, — чтобы можно было не найти нужный предмет и из-за этого разъяриться. Или заблудиться?» Он хотел, чтобы помещения меняли форму и место, чтобы автоматы мешали, лезли под ноги, давали неверные показания, обманывали. «Один может лгать, — неожиданно пришло ему в голову, — но как его заставить это делать? Да и к чему?»

Дверь при его приближении открылась. Он крепко ухватился за створку, придержал, потом ухватился за ручку, подтянулся на руках и дал себя прижать к стене. Механизм задрожал, будто обеспокоенный создавшимся положением, которое не было предусмотрено программой, — он ловил эти признаки замешательства автомата с тайным удовлетворением. Он напряг мускулы. Створка двери отошла на несколько сантиметров назад, как бы желая захлопнуться, но потом остановилась. Ждать было нечего. Он соскочил на пол и, насвистывая, пошел по коридору.

В нишах были установлены размалеванные автоматы для ручных игр. Когда их монтировали, идея эта казалась ему отличной. Но уже через два-три дня заметил, что принуждает себя играть. И он совершенно перестал интересоваться автоматами. А они сверкали, манили, и на них не было ни пылинки, хотя он не притрагивался к ним уже несколько месяцев. Рукоятки, зажимы — все блестело. Фигурки зверей и людей были такие же пестрые и яркие, как и в первый день. Хоть бы что-нибудь в них заржавело, отказало, покрылось пылью, потускнело, может, ему было бы легче. Он бы тогда ощутил время, почувствовал его губительное дыхание. Щенок превратился бы уже во взрослую собаку, котенок — в кошку, грудной ребенок научился бы говорить.

— Мне надо было стать нянькой, — громко произнес он, так как знал, что ни одно из невидимых электроушей, размещенных в коридоре, его не поймет. Коридор плавно сворачивал. Гимнастический зал. Библиотека. Запасной пульт управления. Он, не останавливаясь, проходил мимо матовых дверей, не хотелось думать, куда идет, хотелось идти в никуда. Регенераторная.

Единственное место, откуда доносились звуки. Кругом стояла тишина. Какие усилия прилагали конструкторы для полной изоляции помещения, где находились регенераторы, как они бились над тем, чтобы ни один звук не просочился наружу. Изоляционные материалы, пенопласт, магнитные подшипники в корпусах двигателей, крепления трубопроводов из пористой резины и пластмассы. К счастью, инженерам не повезло, им не удалось заглушить все звуки. Закрыв глаза, он слушал тихий монотонный шум, который не подчинялся ничьему приказу, который, как ветер на земле, не зависел от воли человека. Регенераторная. Грязная вода, мыльная пена, отходы, моча, пустые консервные банки, разбитое стекло, бумага — все попадало сюда по всасывающим трубам и устремлялось к микрореактору. Разложение на свободные элементы. Многоступенчатая система охлаждения. Кристаллизация. Разделение изотопов, сублимация. Крекинг-дистилляция. В отдельном отсеке — колонна поблескивающих медью синтезаторов, медный лес, отливающий багрянцем, — единственное место на корабле, где был допущен красный цвет: цвет депрессии и мании. Углеводороды, аминокислоты, целлюлоза, углеводы, последовательный синтез все более и более высокого порядка, и наконец в сосуды, расположенные ниже, поступает холодная прозрачная вода, в вертикальные трубки ссыпается сахарный песок, оседает легкая сахарная пудра, в баллонах пенится белковый раствор. Потом все вещества витаминизируются, охлаждаются или подогреваются, в зависимости от потребности насыщаются ароматическими маслами, кофеином, различными приправами, придающими вкусовые качества, и возвращаются к нему в виде пищи и напитков.

Сто раз на Земле ему объясняли, что все это не имеет ничего общего с отходами, так же как хлеб, выпеченный из муки, которую дало зерно, имеет мало общего с навозом, удобрившим почву, из которой оно выросло. И наконец, чтобы его окончательно успокоить, ему говорили, что большая часть продуктов будет синтезирована из космоса. Правда, космическая материя не улавливалась специально для него, она служила топливом для двигателей ракеты. В течение четырех лет, ракета должна была достичь скорости света и затем погасить скорость до нуля, то есть должна была превратить в ничто массу, значительно превышающую собственную массу ракеты. Чтобы этот парадокс стал реальностью, на носу ракеты был установлен «молот» — электромагнитный поглотитель, который, как широко открытая пасть, глотал разреженную

атмосферу космоса — атомы водорода, кальция, кислорода, — засасывая ее в радиусе сотен километров. До тех пор пока скорость ракеты не превышала половины скорости света, дефицит массы ракеты возрастал — ионные двигатели сжигали больше топлива, чем его успевал доставлять «молот». Но за этим порогом все изменяется. Ракета, мчащаяся в космосе, как бы пробивает в пространстве туннель, выхватывая из вакуума одиночные пляшущие в нем атомы, энергией чудовищной своей скорости спрессовывая их и насыщая ими свои двигатели.

Все это было правдой. Он знал об этом. Сейчас он стоял, прислушиваясь к мерному шуму, проникавшему из-за стены. И вот, помимо его воли, воображение живо нарисовало ему картину, виденную много лет назад.

Экспериментальный снаряд номер шесть. Тупой сигарообразный корпус без рулей, без «молота», сильно обгоревший за время полета — с поверхности ракеты можно было снимать целыми кусками хрупкую, крошащуюся в руках пористую пленку нагара. Ракета вернулась на Землю в назначенное время и в предусмотренное место, опоздание составило сто шестнадцать минут, а ошибка при посадке — тысяча сто километров. Такой точности никто даже не ожидал.

Экипаж не открывал люков, такая вещь могла случиться. После того как был удален нагар, механические руки начали отвертывать крышку люка. Стальная плита со скрежетом и лязгом нехотя приоткрылась и остановилась. В щель, образовавшуюся между крышкой и корпусом, со свистом начал выходить воздух; в ракете было избыточное давление. Люди, стоявшие на платформе под люком, отскочили, едва не задохнувшись. Зловонный смрад ударил в нос. Крышка люка откинулась и повисла, напоминая вывихнутую челюсть. В ракету можно было войти, но только в кислородных масках. Во всех помещениях и в коридорах горел свет, электрооборудование работало исправно. В масках люди чувствовали себя увереннее: стекло отделяло их от окружающего. Тела, а точнее, то, что осталось от тел, нашли в самом отдаленном помещении. Автоматы зарегистрировали: через полтора года после старта атомный котел регенератора перегрелся. Система автоматического отключения сработала с опозданием. Оболочка котла выдержала, но все, что было внутри, превратилось в глыбу медленно остывающего урана. Регенераторы вышли из строя. Два человека не могли изменить ни скорости, ни маршрута и продолжали полет к звездам. Так продолжалось три года. В рапорте было сказано, что люди погибли от жажды — запас воды был исчерпан раньше, чем кончилась пища. Но все знали, что это неправда. Человек должен не только потреблять, он должен и выделять продукты потребления. Они отравились? А может, задохнулись в собственных выделениях.

Таков был финал полета к звездам. Романтика покорения неба!

Помощник генерального конструктора, который возражал против установки резервного регенератора (он не хотел увеличивать массу ракеты — это больше всего его беспокоило), покончил с собой. Не сразу — через семь месяцев. Никто не сделал ему ни одного замечания, никто при нем не предавался воспоминаниям. Но все умолкали, когда он подходил. И по ошибке он принял слишком большую дозу снотворного.

Ракету чистили пергидролем под большим давлением, через два дня она блестела как новая и снаружи и изнутри. Космонавтов хоронили со всеми почестями, и он помнит, что на похороны не пошел. Зачем ему это? А через четыре года он полетел сам. Но в ракете уже была резервная регенерационная установка! Не запасной агрегат — нет, — второй самостоятельный регенератор такой же мощности, что и основной; была установлена специальная катапульта, с помощью которой он мог удалять с ракеты все, что ему мешало в полете. Кроме того, он мог по своему желанию в любую минуту изменить маршрут полета, вернуться на Землю. То, что произошло, повториться уже не могло.

Почему же он об этом вспомнил? Мерный шум за стеной не утихал. Он не помнил, когда у

него закрылись глаза. Этот звук напоминал рокот самолета старой конструкции, а может, звук пилы на маленькой лесопилке, приводимой в движение водой, и органной песни, которая доносится весной из улья, просыпающегося после зимней спячки.

Он стряхнул с себя оцепенение и быстро пошел по коридору. Он подошел к двери, ведущей в столовую. Сейчас полдень, можно пообедать. Ах, если бы появилось такое, что позволило бы забыть об обеде!

Остановился перед дверью — ему не хотелось, чтобы она сама открывалась, он решил позабавиться с ней, и ему удалось обмануть бдительность механизма, ввести его в заблуждение. Дверь приотворялась на несколько сантиметров и снова закрывалась — ее трясло, как паралитика...

Он подумал о нем: что он там делал, внутри себя, в безмолвии, один, неподвижный?

Он прижался плотнее к стене и начал осторожно продвигаться вдоль нее, чувствуя, как под давлением его тела гнется мягкая, натянутая, как кожа, поверхность. Так ему удалось обмануть дверь: она не открылась. Затем он вытянул руку, стараясь, чтобы рука не попала под луч фотоэлемента, — он знал, где под облицовкой стены скрыт невидимый глаз. Приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы можно было заглянуть внутрь. Он увидел пустое кресло, отодвинутое им самим от экрана, который едва мерцал в черной пустоте комнаты, угол пульта управления, часть стены — но ящик не смог увидеть. Его охватило чувство глубокого разочарования. Напрягши внимание до предела, он наклонился, плотно прижавшись к притолоке, приоткрыл дверь еще на сантиметр и увидел его.

Инженеры, конструкторы, специалисты по моделированию и синтезу механических форм, философы и кибернетики — все встали в тупик: как оформить внешне эти мыслящие машины. Все, что они предлагали — новое, принципиальное, смелое, — отдавало чем-то сверхъестественным. Какие только формы не были использованы! Угловатая голова, веретенообразный торс, обтекаемая стеклянная глыба с вмонтированной внутрь аппаратурой, темное выпуклое подобие лица с выступающими микрофонами и динамиком — все было неестественным, возбуждало в человеке неприязнь и отвращение. В конце концов ото всех надуманно-вычурных форм отказались.

От пола до потолка возвышалась стойка с закругленными углами, облицованная пластмассой цвета слоновой кости. Микрофон, укрепленный на гибком шланге, напоминал щупальце, на передней панели было две пары широко расставленных «глаз», но сейчас они не могли его видеть, он стоял за дверью. Глаза были яркие, зеленые, в темноте они светились еще ярче, как бы расширяясь, — единственное движение, которое был способен произвести этот железный ящик. В нем не было ничего лишнего — обычный аппарат.

Что он мог еще получить от этого подглядывания? Ток, проходивший по обмоткам, по сложной системе кристаллических ячеек, заменявших нервные синапсы, ничем себя не проявлял. Так чего ж он ждет? Чуда?

Он услышал звук, похожий на тот, который издает человек, когда зевает. И снова воцарилась тишина. А потом короткая, учащающаяся к концу серия модулированных звуков.

Ящик смеялся...

Смеялся?

Нет, смех звучит иначе. Опять воцарилась тишина. Он ждал. Проходили минуты, напряженные мускулы болели, поза была неудобной, он боялся, что не выдержит и вот-вот отпустит дверь, которая с шумом захлопнется... И все-таки ждал.

Но он так ничего и не дождался. На цыпочках, пятясь, прошел в спальню — днем он почти никогда туда не заходил. Теперь хотелось остаться одному. Надо было это обдумать. Что? Серия звуков, продолжавшаяся четыре-пять секунд? Они назойливо звучали в ушах, он мысленно

повторял каждый звук, анализировал, пробовал понять. Когда он очнулся, стрелки на часах образовали перевернутый прямой угол. Половина четвертого. Надо что-нибудь съесть и пойти спросить его. Просто спросить, что это значит?

Когда он входил в столовую, он понял, что не спросит об этом никогда.

— Твое самое первое воспоминание?

— Детское, да?

— Нет, правда, скажи!

— Этого я не могу тебе сказать.

— Опять ты напускаешь на себя таинственность?

— Нет. Еще до того как меня наполнили лексикой, вбили в меня словари, грамматики, целые библиотеки, я уже функционировал. Содержания во мне не было, и я не был «очеловечен», но со мной проводили испытания: так называемое холостое электрическое испытание. К этому периоду относятся мои первые воспоминания, но это нельзя выразить словами.

— Ты что-нибудь чувствовал?

— Да.

— Слышал? Видел?

— Конечно. Но это не укладывается в обычные категории. Это было что-то вроде переливания из пустого в порожнее, но необычайно красивое и весьма разнообразное. Иногда я мысленно стараюсь возвратиться к этим воспоминаниям. Это очень трудно, особенно теперь. Я чувствовал тогда себя огромным, сейчас этого чувства нет. Одна какая-нибудь пустяковая тема, один импульс заполняли меня всего, расходились по мне и возвращались в бесконечных вариациях, я мог делать с ними все что хотел. Я охотно бы тебе это объяснил, если бы мог. Ты видел, как в летний день над водой кружат стрекозы?

— Видел. Но ведь ты-то этого не мог видеть?

— Это неважно, мне достаточно анализа их полета. Нечто похожее было и со мной, если это состояние можно вообще с чем-нибудь сравнить.

— А потом?

— Создавал меня, то есть мою личность, целый коллектив. Лучше всех мне запомнилась одна женщина, ассистентка первого семантика. Ее звали... Лидией.

— Лидия, *die per omnes*... [\[153\]](#)

— Да.

— А почему именно она оставила след в твоей памяти?

— Не знаю, может, потому, что это была единственная женщина. Я был одним из первых ее «воспитанников». А может, даже и первым. Она иногда делилась со мной своими горестями.

— А ты, ты в то время был уже таким, как сейчас?

— Нет. Я еще был убог и слаб умом, я был очень наивен. Нередко я попадал в смешные положения.

— А именно?

— Я, например, не знал, кем я являюсь, кто я такой. Долгое время мне казалось, что я один из вас.

— Неужели это так? Невозможно!

— Да, но это так. Ведь ты не сразу понял, что создан из плоти и крови, что у тебя есть

кости, мускулы, нервы, желудок, кровеносные сосуды. Я ведь также не чувствую, из чего состою. Знания эти приходят извне, с ними не рождаются, они не подсознательны. Я думал, сопоставлял, говорил, слышал, видел, а поскольку меня окружали только люди и никого, кроме них, не было, вывод о том, что и я человек, напрашивался сам собой. Ведь это логично, не так ли?

— Да, но... Пожалуй, ты прав. Я просто об этом не думал, именно так.

— Ты можешь видеть меня только снаружи, а я могу себя увидеть только в зеркале. Когда я себя увидел первый раз...

— Что было? Ты к этому времени уже знал, кто ты?

— Да. Знал. И несмотря на это...

— Несмотря на это?..

— Я не хочу говорить на эту тему.

— Может, скажешь потом?

— Быть может...

— Послушай, а та женщина — как она выглядела?

— Тебе хочется узнать, была ли она... красива?

— Не только это, но... и это тоже интересно.

— Это дело... вкуса, чувства красоты, перед которой преклоняются!

— У нас с тобой, по-моему, вкусы совпадают?

— Всякая ли женщина нравится всем мужчинам?

— Знаешь что, этот академический спор отложим на потом. Она тебе нравилась?

Послышалось бульканье. Смех. Он отчетливо уловил разницу между этим звуком и тем, который ему удалось подслушать.

— Нравилась ли она мне? Это сложный вопрос. Сначала — нет. Потом — да.

— Странно...

— Когда во мне еще не было «человеческого» содержания, у меня были собственные мерилка. Без слов, без понятий. Их можно, пожалуй, определить как собирательные синтетические рефлексы моей схемы — это составляющая циркулирующих потенциалов и так далее, возникающая под влиянием оптического раздражителя. Тогда эта женщина казалась мне... У меня не было в то время точного определения, а теперь бы я определил точно: чудищем.

— Но почему?

— Что ты прикидываешься непонимающим? Видимо, тебе хочется услышать признания, не так ли? Ну, хорошо. А скажи мне, разве олень, соловей, гусеница согласились бы считать прекрасной самую красивую женщину на земле?

— Но ты ведь создан подобно мне — у тебя есть мозг, который мыслит, как мой!

— Правильно. Но скажи мне: тебе нравились полные страсти, отлично сложенные, неглупые женщины, когда ты был трехлетним ребенком?

— Ты здорово подметил! Конечно, нет.

— Ну, вот видишь.

— Это я говорю вообще, что нет, не нравились, но если подумать, то некоторые из них мне, кажется, вроде...

— Я тебе скажу какие. Те, что внешне напоминали ангелочков из твоих детских книжек или были похожи на мать, на сестру...

— Ну, может, и не совсем так, но эти разговоры нам с тобой ничего не дадут. Во всяком случае, здесь не все можно объяснить деятельностью желез внутренней секреции — красивая женщина может понравиться даже и кастрату.



— Я не кастрат.

— Прости меня, я вовсе не имел тебя в виду, когда говорил об этом. Я сказал для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что вопрос в данном случае нельзя рассматривать только с точки зрения теории естественного отбора.

— А я никогда этого и не утверждал.

— Мы отклонились от темы. Итак, эта женщина, Лидия, а потом...

— Когда меня «начинили» элементами человеческого сознания, элементами, реагирующими на цвет, форму, тогда она мне понравилась. Но это уже из тавтологии, из функции перемены значения.

— Мне кажется, это не совсем правильно, но неважно. Ты помнишь, как она выглядела?

— Помню. Я помню ее всю: походку, тембр голоса.

— И ты можешь об этом вспомнить, когда захочешь, и со всеми деталями?

— Куда более детально, чем ты это можешь сделать. Я могу в любой момент воспроизвести ее голос. Он сохранен во мне.

— Ее голос?

— Да.

— И я... Я могу его услышать?

— Да, конечно.

— А сейчас можно?

Наступила пауза. Через секунду раздался женский голос, немного глуховатый, с хрипотцой: «Я скажу тебе больше. Я все еще жду». Потом что-то пискнуло, словно мяукнула кошка, и послышалось нечленораздельное, воющее бормотание, такие звуки издает магнитофонная лента, когда ее перематывают на большой скорости. Потом писк и вой стихли, и тот же самый голос (он даже слышал паузы в предложениях, когда женщина с каким-то детским придыханием останавливалась) продолжал говорить. Он слышал ее голос отчетливо, будто она стояла совсем рядом, в двух шагах от него.

«Ты духовно не закабален, это правда. Твой психический спектр лишь сдвинут на шкале ощущений. Мы не можем произвольно вспоминать то, что нами уже пережито. А ты можешь. Ты в этом отношении более совершенен, чем любой из людей. Ты даже можешь гордиться этим. Мы любим ссылаться на то, что никогда не знаем, что нами управляет — химия крови, подсознательные импульсы или рефлексy, заложенные с детства. А ты...»

Голос исчез так же неожиданно, как и появился. Наступила тишина. И человек услышал слова:

— Ты слышал?

— Да. А почему так неожиданно все оборвалось?

— Я же не могу произвести все стадии моего обучения, оно длилось три года.

— А это было раньше?

— Что «это»?

Они умолкли.

— Я... я ошибся, — проговорил железный ящик.

— Слушай, а нет ли у тебя записанного голоса того первого семантика, о котором ты мне рассказывал?

— Есть. Ты хочешь послушать?

— Нет, не хочу. А ты действительно мыслишь гораздо быстрее человека?

— Да, это правда.

— Но ты говоришь в том же темпе, что и я.

— Только для того, чтобы меня поняли. Если даже за какую-то долю секунды у меня уже

готов ответ, я его тебе сообщаю постепенно... Я уже привык к тому, что вы, люди, так... медлительны.

— Мне хочется вот еще что спросить у тебя: как ты относишься к себе подобным?

— Интересно, почему ты меня об этом спрашиваешь?

— А тебе это неприятно?

Раздалось нечто похожее на легкий смех.

— Нет, но ведь то, о чем ты спрашиваешь меня сейчас, ты мог знать еще на Земле.

— Не знаю. Ну а что ты чувствуешь, когда видишь другого... другой...

— Ничего не чувствую.

— Как ничего?

— А вот так, ничего. Ты что-нибудь чувствуешь, когда встречаешь на улице прохожего?

— Иногда что-то чувствую.

— Если это женщина...

— Чепуха.

— Не спорю, я над этим не задумывался. Но, учитывая, что ты находишься здесь со мной...

— Я не бесполое существо. Мне всегда был противен аскетизм. Другое дело, если это аскетизм вынужденный.

— Согласен. Раньше даже посылали — парами.

— А тебе известно, чем это кончилось?

— Да, я знаю.

— Не может быть! Ведь некоторые отчеты о полетах не публиковались.

— Но ты их читал?

— Я предпочитал все это знать! Боже! Чего только не писали о космических полетах за последние сто лет! Пожалуй, еще никогда так усиленно не работала людская фантазия — в литературе, искусстве, науке огромное количество людей напрягало все свое воображение, пытаясь предвосхитить будущее. Ты читал эти истории?

— Некоторые из них. Смесь сентиментального и сверхъестественного. Видения райских садов, нашествия с других планет, восстания роботов, и никто не предполагал, что...

— Что, что?! Что практически это будет выглядеть совсем не так?

— Пожалуй, ты прав.

— Почему же невозможно предугадать действительность?

— Потому что никто не может быть так отважен, как она сама.

— Тебе знакома история с ракетой номер шесть?

— Нет. А что это за история?

— Ничего особенного. Ты говорил — ага, вспомнил — о восстаниях роботов. Скажи, а ты мог бы взбунтоваться?

— Против тебя?

— Вообще — против людей.

— Не знаю. Пожалуй, не мог бы.

— Почему? Ведь у тебя нет никаких предохранительных устройств на этот случай? Может, потому что ты... любишь людей?

— Да, об этих предохранительных устройствах говорится только в сказках. И дело не в симпатии. Мне это трудно объяснить. Я даже сам точно не знаю...

— Ну, а неточно?

— Просто это нереально, учитывая отношения, которые установились между нами.

— А именно?

— Нас объединяет с людьми гораздо большее, чем с нам подобными. Вот и все.

— Ага! Ты мне многое открыл. Не так ли?

— Да.

— Слушай...

— Ну что?

— А эта женщина...

— Лидия?

— Да. Как она выглядела?

Они умолкли.

— Разве это не все равно?

Опять наступило молчание.

— Ну, вообще-то все равно. А... что с ней случилось? Ты давно ее не видел?

— Я ее недавно видел опять.

— А где она — теперь?

— Здесь.

— Как здесь?

— Надо понимать — в определенном смысле здесь. Она частично передала мне свою индивидуальность. Она — во мне.

— Ага, понятно. Это метафора... лирика, так сказать.

— Это не метафора.

— Как тоща это понимать? Ты хочешь сказать, что можешь говорить ее голосом?

— Больше того. Ее индивидуальность — это не только голос.

Они опять умолкли.

— Ну ладно, я согласен. Я... я просто не знал, что... Как окружающая среда?

— Без изменений.

— А метеоры?

— В радиусе парсека не наблюдаются.

— Облака космической пыли, следы комет?

— Нет, ничего этого нет. Скорость — ноль целых семьдесят три сотых световой.

— Когда мы достигнем максимума?

— Ноль целых девяносто три сотых? Через пять месяцев и только на восемь часов.

— Потом начнем возвращаться на Землю?

— Да. Если бы ты...

— Что?

— Нет, ничего.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Прижавшись щекой к холодной подушке, он лежал и смотрел в темноту. Спать не хотелось. Он приподнял голову, лег на спину. Его окружала темнота. Неожиданно он почувствовал какое-то беспокойство. Что случилось? Кажется, ничего. Он подопытное животное, на нем ставился длительный и дорогостоящий эксперимент. Работа, которую он выполнял, была очень несложной, до примитивности простой по сравнению с той, какую производили автоматы. Видимо, неделю, может, две недели назад он допустил в расчетах ошибку, и она росла, суммировалась и, наконец, стала настолько велика, что он ее сегодня заметил. Если он еще раз

проверит все расчеты, поднимет все записи и нигде не ошибется, он в конце концов докопается до источника, ее породившего. Но к чему это?

У него перед глазами стояли две кривые, расходящиеся на полмиллиметра, не больше. Пунктирная линия — предполагаемая траектория полета ракеты и черная — фактический путь. До сих пор черная линия целиком совпадала с пунктирной, покрывая ее на всем протяжении полета. И вот теперь черная линия чуть отошла. Полмиллиметра — это сто шестьдесят миллионов километров. Если это так, то...

Нет, не может быть. Автоматы были правы. Огромная ракета была ими заполнена до отказа. За работой астродезических машин следили автоматические «опекуны», они в свою очередь контролировались центральной вычислительной машиной, а за ней, наконец, в рулевой рубке следил товарищ по полету. Как о нем отозвалась та женщина? Более Совершенный, чем любой из людей? Надежный. Никогда не ошибающийся. Если бы это было так, линия полета ракеты не отошла бы от пунктира. Она должна идти по кривой к Земле, а эта выпрямлялась, уходя в бесконечность.

«Безумие, — подумал он. — Плод собственной фантазии. Если бы автоматы хотели меня обмануть, — я бы никогда этого не заметил!» Данные и пленки, которыми он пользовался для своих несложных расчетов, получены от автоматов. Он обрабатывал их с помощью автоматов и возвращал автоматам. Это был замкнутый циклический процесс. И он в нем являлся лишь ничего не значащим звеном. Автоматы могли спокойно обойтись без его помощи. Но он без них — не мог.

Иногда, а это бывало очень редко, он производил все расчеты сам. Он делал их не на галактическом глобусе, а непосредственно на экране звездного неба. Последний раз он занимался этим три дня назад! Перед тем как затеял разговор о домике на перевале. Микрометром измерил расстояние между туманностями на экране. Записал данные на листе бумаги — разве тогда он это сделал? И нанес на карту? Этого он не мог вспомнить. Один день как другой — все одинаковые. Он сел на постели.

— Свет!

Забрезжил зеленоватый рассвет.

— Полный свет!

Быстро светлело. Вещи обрели тени. Он быстро встал, накинул халат, пушистый, приятно щекочущий плечи. Сунул руки в карманы, пошарил, нашел листок с записями и прошел в рабочий кабинет.

— Циркули, курвиметры, микрометры, рейсфедеры!

Блестящие предметы появились из глубины стола. Он вздрогнул от холода, когда оперся животом о край стола. Развернул кальку, не спеша, очень внимательно начал чертить. Неожиданно он заметил, что циркуль в его руке дрожит. Выждал, пока успокоятся нервы, потом воткнул острие в бумагу.

Он прокладывал маршрут на кальке и тут же проверял его микрометром, вставив в глаз лупу, как часовщик. Потом положил один лист кальки на другой, сверил — все точно! Он удовлетворенно вздохнул и приступил к заключительному этапу — нанесению координат на главную карту звездного неба.

Под увеличительным стеклом черная линия полета казалась жирной полосой засохшей туши. Отмеченная им точка отходила от линии предполагаемой траектории полета на какую-то долю миллиметра. Несколько меньше того, что у него получилось при предыдущем расчете. Она отходила на толщину волоса — даже чуть меньше. Это сто пятнадцать — сто двадцать миллионов километров. Такое отклонение было в границах возможной погрешности. Дальше была неясность. Отклонение могло быть двояким: по внешней или по внутренней кривизне

траектории полета. Если бы отмеченная точка отклонялась внутрь, он спокойно пошел бы спать. Внешнее отклонение означало — могло означать — только распрямление траектории.

Отклонение было внешним.

Автоматы твердили, что никакого отклонения нет. А его «товарищ»? Он вспомнил последний их разговор.

«Тебе со мной не скучно?»

«Нет».

«Никогда?»

«Никогда».

«Спасибо».

Он встал и подошел к двери.

«Через пять месяцев начнется возвращение на Землю».

«Да, а тебе не хотелось бы?..»

«Что?»

«Нет, ничего».

Что могла означать эта недомолвка? И эти слова? Сто миллионов километров?

«Тебе никогда-никогда не бывает со мной скучно?»

«Никогда».

«Спасибо».

Он шел по коридору, как слепой. Автоматы обманывают? Все ли? Главный электронный мозг рулевой рубки, астродезические агрегаты, оптический контроль, носовой распределитель ионных двигателей?

Двери бесшумно открывались при приближении и так же бесшумно закрывались. Не доходя трех шагов до рулевой рубки, он остановился. Иначе дверь откроется и он увидит в темноте зеленые глаза того. Он повернулся и пошел по коридору назад. Дойдя до середины, он остановился перед входом на спиральный спуск, взял за пластмассовый поручень и съехал вниз — на пол-оборота спирали.

Последний раз он был тут месяц назад. Зал дублирующих и вспомогательных машин. Нет, это не то. Следующая дверь.

— Свет!

Из люминесцентных ламп лился желтоватый свет, и они напоминали позолоченные солнцем облака.

Он шел вдоль рядов аппаратов, мимо столов, полок с книгами и остановился перед стеной: На стене висел весь план ракеты. Огромная, докрытая стекломассой барельефная схема в масштабе 1:500. Он поискал глазами табличку, нажал кнопку с надписью «сети».

Все цепи, питающие силовые и информационные установки, загорались бледно-карминовым светом. Он отыскал на плане рулевую рубку. Рубиновый паук с зелеными точками-глазами на схеме — это «товарищ по полету». К нему тянулись со всех сторон искрящиеся красноватые нитки-кабели. Все провода, кабели, агрегаты были с ним связаны. Все до единого.

Он знал об этом, но ему хотелось еще раз убедиться.

Одной из функций его никогда не ошибавшегося «товарища» было проведение периодического контроля за работой автоматов. Не означало ли это, что он мог влиять на результаты расчетов?

Он обернулся и по привычке приказал:

— Информатор!

На противоположной стене замерцал зеленый сигнальный огонь, заключенный в грушевидном стеклянном шарике.

— Рулевая рубка подавала команду на маневр?..

И замолк.

Он спросил по привычке, у него выработался навык пользоваться окружавшими его, готовыми к услугам автоматами. Если каналы связи, идущие к железному ящику, были двусторонними, он лишен возможности пользоваться информатором. Он не мог пользоваться ни одним автоматом. Все его обманут. Он должен полагаться только на себя.

Информатор тихо зазвенел, сигнализируя, что вопрос не был сформулирован достаточно точно. Зеленый огонек подмигивал ему.

— Нет, ничего не надо, — сказал он, выходя из комнаты.

Где могли быть планы и схемы электрооборудования, схема соединений цепей? Если их нет в библиотеке... Но они были там — двести двенадцать томов in quarto — техническая документация космического корабля. Нет, это только «Перечень документации». Подробное описание — на магнитных пленках, в хранилище на нижней палубе — под опекой автоматов.

Он копался два часа, перерыл массу тяжелых томов, прежде чем нашел схемы и данные, касающиеся соединений, которые его интересовали.

Соединения были дуплексными.

«Товарищ по полету» мог менять расчеты, мог их переиначивать по-своему, мог обманывать.

Человек сидел на груде книг, бессмысленно смотря на страницу, которую только что прочел раз Пять, не меньше. Он выпустил из рук книгу, она тяжело упала на пол, зацепившись за груды других, и раскрылась, лениво шелестя страницами. Он вскочил с пола. От отчаяния сжал зубы. Железный ящик!

Он шел по коридору, его ноги утопали в пушистом ковре из пористой массы. Не доходя трех шагов до двери, он остановился, вернулся назад к спиральному спуску и съехал вниз.

Он вошел на склад запасных частей и инструментов. Здесь размещен максимум вещей на минимальной площади. Между контейнерами, напоминавшими по форме сейфы, очистителями, многочисленными полками — узкие проходы. Он нетерпеливо перебирал инструменты, отбрасывая в сторону ненужные. И вот наконец ему под руку попала твердая рукоятка молота.

— Ты чем-то обеспокоен?

— Да. Звезды. А в чем дело?

— Тебе не сидится на месте. Ходишь, все время поглядываешь на экран. Ты никогда так на него не смотрел.

— Как «так»?

— Словно что-то ищешь.

— Это тебе кажется.

— Возможно.

Они помолчали.

— Ты не хочешь разговаривать? — начал железный ящик.

— О чем?

— Можешь выбрать тему по своему желанию.

— Нет, лучше ты выбери тему. У тебя тоже есть желания. Не так ли?

— У меня?

— Да, у тебя. Почему ты не отвечаешь?

— Ты говоришь это так...

— Как? О чем ты?

— По-моему, ты взволнован. А чем?

— Нет, я уже не волнуюсь. Можем поговорить. О чем ты думаешь, когда остаешься один?

— Ты меня уже спрашивал об этом.

— А может, ты ответишь не так, как в прошлый раз?

— Хочешь услышать что-нибудь новое?

— Хочу. Ну, рассказывай.

Они опять замолчали.

— Что же ты не говоришь?

— Я бы хотел... — ответил «товарищ по полету».

— Что?

— Может, в другой раз.

— Нет, давай сейчас. Я...

— Тебя это интересует?

— Да, интересуется.

— Хорошо. Только ты сядь.

— Здесь?

— Садись тут, но поверни кресло.

— Я должен смотреть в стену?

— Куда тебе будет угодно...

— Я слушаю тебя.

— Эта женщина — Лидия...

— Да?

— Ее не было.

— Как не было?

— Не было. Я сам придумал все это, ее голос, слова. Все придумал сам.

— Это невозможно. Я слышал ее голос.

— Это я создал его.

— Ты созд... зачем? Для чего?

— Ты спрашивал, о чем я думаю, когда остаюсь в одиночестве. Мне казалось, что я становлюсь пауком узника. А мне этого не хотелось. Не хотелось тебя обманывать — я хотел тебе только сказать, чем я мог бы быть. Я создал ее, чтобы она тебе... сказала то, что ты слышал. Я лишен возможности подойти к тебе, дотронуться до тебя, и ты не видишь меня. То, что пред тобой, — это не я. Я не только слова, которые ты слышишь. Я могу быть все время иным или всегда одним и тем же. Я могу быть для тебя всем — если ты только... Нет, нет, не оборачивайся...

— Ты, ты! Железный ящик!

— Что... что ты...

— Ты обманывал меня — зачем? Ты хотел, чтобы я стал... я стал... чтобы я подышал возле тебя, с тобой, всегда спокойным, вечно приветливым...

— Что ты говоришь?! Это не...

— Не притворяйся! Этот номер не пройдет! Ты искажал результаты вычислений — ты изменял траекторию полета! Я знаю все!

— Я искажал?

— Да, ты! Ты хотел быть со мной навечно, не так ли?! Боже мой, если бы я вовремя не спохватился, не заметил...

— Клянусь тебе, это какая-то ошибка — ты явно ошибся! Что там у тебя в руках?! Что ты хочешь делать?! Перестань перес... что ты делаешь?!

— Снимаю кожух.

— Не делай этого! Прекрати! Умоляю тебя, одумайся! Я тебя никогда не обманывал! Я тебе все объясню...

— Ты мне уже все объяснил! Я знаю, ты это делал ради меня. Довольно! Молчи! Молчи, слышишь! Я тебе ничего не сделаю — я только отключу этот...

— Нет! Нет! Ты ошибаешься! Это не я! Я не... закрой кожух...

— Молчи, иначе...

— Умоляю тебя! Закрой кожух! А-а-а!

— Перестань кричать! Ну, что... что... тебе стыдно?

Он услышал стон. В раскрытом корпусе — путаница проводов, фарфоровые изоляторы, блестящие узелки пайки, соединения, катушки, соленоиды, металлические экраны, скопище дросселей, сопротивлений, конденсаторов. Все это размещено на черном блестящем шасси, являющемся одновременно силовой фермой стойки автомата. Он стоял перед этим хаотичным переплетением и не мог отвести взора от широко раскрытых, немигающих зеленоватых глаз автомата.

Глухое, неумолчное бормотанье было точно таким, какое слышал он в тот раз. Со снятым кожухом автомат был отвратителен, впервые он отдал себе отчет в том, что все время где-то на самом дне его сознания тлела одна и та же невысказанная мысль, еще не оформившаяся уверенность в том, что в железном ящике сидит кто-то — как об этом пишут в сказках — скорченный и разговаривает с ним через стенку, облицованную желтоватой пластмассой... Нет, он так никогда не думал, он знал, что все это не так, и в то же время что-то мешало ему отказаться от этого.

Он закрыл глаза — и открыл их снова.

— Ты изменял траекторию, распрямлял ее?

— Нет!

— Лжешь!

— Нет! Я бы никогда не решился тебя обмануть! Тебя никогда! Закрой кожух...

У человека перехватило дыхание. Открытый железный ящик. Проволока, катушки, профилированная сталь, изоляторы. «Нет, никого нет, — подумал он. — Что делать? Я должен, должен отключить».

Он сделал шаг вперед.

— Не смотри так! По... почему ты меня ненавидишь?! Я... что ты хочешь сделать?! Остановись! Я ничего не сделал. Ничего! Ниче-е-е...

Человек наклонился, заглянул в темное нутро.

— Не-е-е-е!

Ему хотелось закричать: «Молчи!» — но он не мог. Что-то стиснуло ему горло, сжало челюсти.

— Не прикас... скаж... тебе все... а-а-а! Не-е-т!

Оттуда, из железных, дышащих теплом внутренностей, вырвалось дребезжание и крик, страшный крик; он вскочил, он должен скорее задушить, заглушить этот голос. Рукоятка молота, которую он вставил между кабелей, уперлась в фарфоровые плитки — с треском посыпались белые крошки, крик перешел в бормотание, обрывистое, как бы захлебывающееся «ка-ха-це», «ка-ха-це», и это повторялось все быстрее и быстрее, от этого можно было сойти с ума. И он сам закричал, не замечая этого, размахивая молотом; железо со свистом рассекало воздух, осколки фарфора летели ему прямо в лицо — он ничего этого не чувствовал, —



оборванные провода свисали, как поломанные ветки, разбитые изоляторы напоминали гнилые, выкрошившиеся зубы. Было тихо, абсолютно тихо.

— О-отзовись... — пробормотал человек, отступая назад.

Глаза автомата не были зелеными, они стали серыми, как будто в них набилась пыль.

— Ох... — простонал он и пошел, как слепой, на ощупь. — Ох!..

Что-то его остановило, от удивления он широко раскрыл глаза.

Он увидел экран и склонился над ним.

Звездный планктон, мертвая флуоресценция, мерцающие как бы в тумане светлячки.

— А, это вы! — прохрипел он и замахнулся молотом.

Он стоял на углу и удивлялся всему, что его окружало. Вклиниваясь в поток приземистых машин, двигались большие жёлтые автобусы, трещали мотороллеры, яйцевидные малолитражки, размалёванные словно попугаи (чем меньше машина, тем фантастичнее краски), нагло толкались перед сверкающими серебром уличными лайнерами. Мигали огни светофоров, перекрёсток работал, как насос, то наполняясь крышами автомобилей, то массой людских голов, а он всё смотрел и удивлялся. Его пальцы машинально вертели в кармане треугольный камушек, крупницу скалы, унесённую из тех краёв, куда, как он надеялся, ещё не ступала ничья нога. Ему было немного жарко в клетчатой фланелевой рубашке. Ремни доверху набитого рюкзака врезались в плечи. И башмаки, тяжёлые, на ребристой резиновой подошве, были как-то не на месте среди этой вереницы ног, обутих легко и просто. Но его занимало другое. Значит, перекрёсток существовал всё это время, шагали люди, жёлтые автобусы курсировали от остановки к остановке, стада машин рывком бросались на зелёный свет — всё действительно шло своим чередом, хотя его и не было?

Теперь он был уже почти возмущён. Но и в этом не отдавал себе отчёта, а лишь смутно чувствовал: что-то здесь не так, за всем этим кроется большая, хотя и неуловимая, не поддающаяся определению обида. Ему было девятнадцать лет, и, наблюдая, как белые фигуры полицейских в длинных плащах, дирижирующие движением, ежеминутно исчезали среди машин, глядя на людей, толпившихся у огромных витрин универсального магазина, он вдруг окончательно понял — и эта мысль огорчила его — так будет и потом, когда...

Зажмурился — улица исчезла. Открыл глаза — она возникла перед ним. Ему хотелось топнуть ногой о плиту тротуара, совершить нечто такое, чтобы предотвратить эту кажущуюся невероятной неизбежность.

Разумеется, это чистая случайность. В конце концов — каждому, вероятно, приходится когда-нибудь подумать об этом впервые. С ним это произошло сейчас. Он и раньше, конечно, не думал, будто пышность витрин, прекрасные женщины, автомобили, громады бетонных и алюминиевых зданий — только для него, окружают только его, ведь он не был ребёнком.

Ему было девятнадцать лет, и последний раз он ел пять часов назад. Он вынул руку из кармана рабочих брюк, проверив при этом, не выпал ли камень, и ощупал верхний маленький кармашек, туго набитый мелочью.

Пройдя сквозь заслон тёплого воздуха, он очутился в универсальном магазине — странное явление, с тяжёлым горбом рюкзака, но толпа ничему не удивлялась. Войди он на руках, на него бы тоже не обратили внимания. Он пробрался между столами, заваленными горами белья, прошёл через овальную дверь в стеклянной стене и попал в закусочную. Он попробовал протиснуться в проход между барьером и прилавком, с которого брали на подносы еду, но за что-то зацепился своим слишком широким рюкзаком. Пришлось попятиться назад и положить рюкзак под вешалку. Взяв гороховый суп с колбасой, он присел к свободному столику, придвинул к себе корзинку с хлебом. Хлеб был бесплатный.

Блондинка в голубом свитере с короткими рукавами (не преставаая жевать, он быстро оценил взглядом её ноги, лицо, руки, особенно руки), осторожно неся тарелку (risotto [Risotto (итал.) — рисовая каша на мясном бульоне. ] дешёвка), замедлила шаг, ища глазами место. Он откусил пол-ломтя и, старательно заедая хлеб гороховым супом, ещё раз вскинул глаза. Красивая.

Было похоже, что она сядет за его столик, но в последнюю минуту освободилось место у стены. Когда она проходила мимо, он, чтобы составить о ней полное представление,

наклонился, икры её ног и розовые пятки, выглядывавшие из белых туфельек, мелькнули среди ножек стульев.

Он снова уставился в тарелку.

Посетителей было очень много, некоторых он знал в лицо — они обедали здесь постоянно. Кто-то остановился возле его столика, так близко, что пришлось бы задрать голову, чтобы увидеть лицо подошедшего человека. Он и не думал этого делать. Если ждёт разрешения сесть рядом, пусть спросит. Мужчина — видны были лишь его брюки: на одной штанине заглажены две складки, ботинки — приличные, модные — не двигался с места.

"Ищет чего-то?" — подумал он. Невольно стал есть быстрее. Кто знает, чем это кончится; а гороховый суп в общем отличный. Он проглотил последний кусок колбасы, хотя собирался оставить его напоследок, и сунул ногу под стул.

Водкой не пахло, впрочем, было ещё слишком рано; мужчина не опирался на стол и не пошатывался — значит, трезв. Теперь казалось уже странным, что незнакомец всё стоял, не двигаясь. Украдкой он покосился на его правую руку. Она была засунута в карман. Карман казался пустым. Что за кретин!

Мужчина вдруг опустил левую руку ему на плечо. "Однако!" — промелькнуло в голове. Отодвинув стул, чтобы не задеть стола (оставалось ещё полтарелки супа), он поднялся во весь рост. Рост был его козырем — руки длинные, и вообще редко кто отважится задеть высокого, — но тут он вздохнул, мышцы его вдруг обмякли, он проглотил кусок и сел, а Том, — это был именно Том со своими обычными выходками — смеясь, уселся напротив.

— Битый час стою, а ты и бровью не повёл. Когда приехал?

— Только что. Я сюда прямо с вокзала.

— Голодал там? Оставь кусочек хлеба. Погоди, я принесу чего-нибудь горячего.

Том подошёл к прилавку, проследовал вдоль него, вместе с вереницей людей и вернулся, неся на подносе сосиски, салат и стаканы с апельсиновым соком. Один стакан поставил перед приятелем. Тот поблагодарил кивком. Подумал, а не вытереть бы тарелку хлебом. Так бы он поступил на любой турбазе. Наконец, отодвинул тарелку.

Том глотал сосиски, почти не разжёвывая, — они чуть похрустывали во рту. Потом потянул сок через соломинку, отложил её и принёс себе новую.

— Чего молчишь? — спросил Том.

Том был бледен. Здесь все бледны. Только он, Мат, загорелый, как медь, стоит ему взглянуть на свои руки. Волосы на них совсем выгорели.

— А что рассказывать? Ну, карабкался.

Ему не хотелось здесь, за столом, уставленным тарелками, в сутолоке говорить о горах. Да и что расскажешь?

— Закурим? Выйдем, здесь нельзя.

— Ладно. Только подниму рюкзак в свою хату.

— Зачем? Оставь у меня.

— Ага. Послушай, — он наклонился через стол, — там позади меня, у стены, сидит одна деточка...

— Блондинка?

— Да.

— Ну и что? Знаешь её?

— Нет. Что она там делает?

— Приглянулась?

— Не можешь по-человечески ответить?

Том вытер рот бумажной салфеткой.

— Сидит с каким-то типом.

Парень не мог скрыть своего разочарования.

— С типом? Кто он такой?

Друзья переговаривались почти беззвучно — как всегда на людях. Они понимали друг друга чуть ли не по движениям губ.

— Чернявый, с перстнем и баками. Шарманщик или фокусник, из тех, что с силомерами.

— Болтают?

— Он треплется. Строит глазки.

— А она?

— Может, хватит? Пошли, Мат. Это бессмысленно.

Друзья поднялись, и, когда Мат нагибался за рюкзаком, ему даже не пришлось оборачиваться, чтобы увидеть стену, выложенную синим кафелем. У брюнета был оливковый цвет лица, пиджак с подложенными ватой плечами и грудью, брюки песочного цвета и ядовито-оранжевые туфли. Он выклёвывал вилкой рис на тарелке своей соседки, а та очаровательно смеялась, будто бы защищаясь от вторжения. Мат забросил за спину рюкзак, Том помог застегнуть ему ремни, и они пошли.

Том жил рядом, но его улица походила скорее на окраинную — у самого дома росла липа. Она уже отцвела. Из окна комнаты можно было срывать листья. Мат ждал внизу, в холодных сенях, — Том сам отнёс рюкзак наверх. Минуту спустя загрели ступени под его ногами. Друзья неторопливо вышли, некоторое время молчали. Лотки ломились от фруктов. Ногам становилось нестерпимо жарко в тяжёлых башмаках. На углу, у кинотеатра, посмотрели фотографии и направились дальше.

— Послушай Мат, я хочу тебе кое-что сказать.

Приятель взглянул на Тома сверху вниз — наконец-то!

— Что же, например?

— Не здесь.

— Вот как? Хочешь, поедем в бассейн?

— Нет. Отвратительные голые туши — толстяки, старые бабы, — и всего этого больше, чем воды.

Мат приподнял брови — не успел он вернуться, как Том уже командует.

— Так куда же?

— Туда, где никого нет.

— А именно?

— Идём.

Больше они об этом не говорили. Мат несколько удивился, когда сели в автобус, 68-й загородный, но промолчал. Ехали долго; несмотря на открытые окна, было душно. Небо заволакивала какая-то пелена, хотя облаков как будто не было. Когда ехали по солнцепёку, становилось трудно дышать. На последней остановке они вышли и, миновав садовые участки, огороженные свежавыкрашенной сеткой, свернули в боковую аллею. Только теперь Мат понял.

— Будь ты не ладен! Мы идём на кладбище?

— Ну так что же? Там никого нет.

Ворота были заперты, они прошли немного дальше, к калитке. Сначала появились огромные, серые, позеленевшие гробницы аристократии — маммоны с лепкой, изваяния с колоннами; семейные склепы с цветными стёклышками, миниатюрные храмы, мавзолеи. Когда свернули с главной аллеи, дорога стала сужаться. Вместо асфальта здесь был гравий, сухой и сыпучий, по сторонам надгробья поменьше, стандартные, словно сошедшие с конвейера;

бетонные глыбы, кое-где чернели полированные плиты, на некоторых надписи уже стёрлись, буквы выкрошились.

Они шли дальше. Всё больше было старых деревьев, могилы терялись в высокой некошенной траве. Наконец, Том остановился у часовенки среди берёз.

— Здесь?

— Сядем.

— Ладно.

Поодаль стояла скамейка, трухлявая, разошедшаяся, в щелях — зелёный мох, сухие кленовые листья. Сели. Том открыл новую пачку сигарет, Мат постучал сигаретой о ноготь, достал пробковый мундштук. Наверное, специально купил к этой встрече. Но ничего не сказал. Они закурили.

— Я всё это время не курил, — признался он, пуская дым через нос и рот.

— Ты?!

— Да, но потом надоело. И вовсе не из-за того, что нельзя было иначе. Просто — чего ради воздерживаться?

— Расскажешь как-нибудь?

— Сперва ты. Ведь говорил...

Том отчаянно затягивался.

— Что за история? Бабёнка?

— Вот ещё...

— Тогда постой. Догадываюсь. Ты что-нибудь придумал? Опять?

— Мат, ей-богу...

— Знаю, знаю. Это не липа, всё абсолютно реально, дело верное, могу даже поклясться. Допустим, ты всё это мне уже сказал, а теперь выкладывай.

— Ты надо мной смеёшься.

— С какой стати? Ну, выдумщик, не заставляй себя упрашивать...

Том, тронутый, улыбнулся, склонил голову.

— Ну разве я виноват, что придумываю вещи, которые никому не приходят в голову.

— Конечно. Разве я говорю, что это плохо? Это хорошо. Ну?

— Видишь ли... теперь... это нечто большее. Не знаю, как объяснить. Ты не поверишь.

— Ну не поверю. И что же случится?

— Хочется, чтобы поверил.

— Том, валяй!

Молчание продолжалось довольно долго. Они затягивались, стараясь не стряхнуть пепел, шелестели берёзы. Было пусто.

— Тут... дело касается летающих тарелок.

— Ага, — кивнул Мат.

— И... ещё кое чего. Йети, например.

— Йети?

— Да, обезьяны с Гималаев. Ты же знаешь.

— А... Следы на снегу?

— Да. И ещё... В общем иногда пишут, что может произойти нашествие на землю, и могут сюда прилететь существа с какой-нибудь другой планеты.

— Да, пишут.

Но всегда пишут, якобы нашествие это только будет и никогда — что оно уже было. Понятно?

— Почему же? Я читал однажды, что на землю прилетали примерно миллион назад, когда

ещё не было людей...

— Суть не в этом. Оно было, но не так давно. Ну скажем, лет тридцать назад.

— Действительно?

— Да, на самом деле, не в книгах.

— Как же могут писать о нашествии, если его не было?

— Именно — было.

— Неужели? Тогда где же они — эти выходцы с другой планеты?

— Здесь.

— Летающие тарелки? Это не ново.

— Летающие тарелки тоже играют тут кое-какую роль, но дело не в них. Послушай. Представь себе: какие-то существа с другой планеты наблюдают за Землёй и намереваются её завоевать. Они видят — у людей высокая техника, и если дойдёт до войны, она будет длительной и кровавой, и неизвестно, чем кончится. Они хотят избежать схватки. И создают план: пусть люди сами сделают всё, что нам нужно.

— Перебьют друг друга, да?

— Что-то вроде этого. Но как это сделать? Если бы на земле появились какие-то новые существа, непохожие на тех, каких мы видим повседневно, люди сразу бы их заметили. Значит, надо послать нечто такое, что останется незамеченным. Это они и сделали.

— Летающие тарелки?

— Нет! Ведь тарелки производят сенсацию — каждый обратит внимание, пришлось людей послать.

— Как — людей?

— Настоящих, живых, из плоти и крови, но сделанных так, что действуют они только в интересах тех, кто их послал. Понимаешь?

— Разве это возможно? Искусственно созданные люди?

— Точно не знаю. Не совсем искусственные. Встретишь такого — и не отличишь от обыкновенного человека... такого можно опознать только по его делам.

— А что он делает?

— Готовит атомную войну.

— Как?

— Думаю, они начали это гораздо раньше, чем тридцать лет назад. Может, и сто? По ночам, где-нибудь в пустынной местности, или как-то иначе, они высаживали десанты, разумеется без оружия. Летающие тарелки доставили, скажем, несколько тысяч людей — их людей. Каждый имел имя, фамилию, свою биографию, конечно вымышленную, но он сам об этом не знал.

— Как же так?

— Это самое главное во всём плане! Эти люди — орудия, поступающие так, а не иначе в силу своего характера, образа мыслей. Так уж устроен их мозг. Им и невдомёк, что их кто-то где-то когда-то создал и всё разместил так, чтобы они стали именно такими. Важно было, чтобы именно эти люди оказались на самых ответственных постах. Конечно, это шло очень медленно. Порой в одном месте удавалось, в другом нет. Иной раз, добившись цели, человек вдруг умирал, так и не успев ничего сделать. Кроме того, они ведь не автоматы. Очевидно, не могли сделать так, чтобы эти люди только и рвались сбрасывать бомбы. Сразу стало бы ясно, что они полоумные, и никто бы не доверил им важных постов. Главное, чтобы такие люди существовали, чтобы характер у них был неуступчивый и думали они о том, что нормальному человеку не придёт в голову, чего он отнюдь не хочет. Достаточно было их настроить на этот лад — и оставалось лишь терпеливо ждать. Они, разумеется, не знали, сколько пройдёт лет,

прежде чем вспыхнет война, — двадцать, пятьдесят, а может и сто. Но спешить им некуда. Не горит. Здесь игра покрупнее, стоит подождать. Они предпочитают действовать медленно, но верно, чтобы всё шло как бы само собой.

— Значит, ты думаешь, что у нас...

— В общем да. Не везде, конечно, но это даже и не обязательно. Достаточно, чтобы нашлись такие, которые на всё ответят «нет». Этакие, знаешь ли, несговорчивые государственные деятели, которым дух, престиж и тому подобное дороже мира на земле и того, чтобы каждый мог заниматься тем, чем ему хочется. Постой, это ещё не всё. Они ждали-ждали — и дождались.

— Как так?

— Обстановка, по их мнению, сложилась вполне благоприятная. Разумеется, для них. Как же теперь, с их точки зрения, следует поступать?

— Не знаю.

— Прежде всего очень внимательно следить за тем, что происходит на земле. И выждать момент, когда достаточно будет только дунуть, чтобы чаша весов перетянула в их сторону. Следовательно, надо, чтобы было кому дунуть. Это одно. Во-вторых, людей, посланных сюда, необходимо будет в последний момент вернуть назад. Эвакуировать, так как они своё уже сделали.

— Зачем их эвакуировать, и откуда ты это знаешь?

— Их уже начали эвакуировать!

— Как? Кого? Где?

— Пойми же. Типы, пробравшиеся на высокие посты, должны оставаться на них до последней минуты, не так ли? Пока... пока это не начнётся. Но ведь сюда послано гораздо больше людей, чем было вакантных должностей. На планете не могли знать заранее, кто из них сумеет забраться так высоко. Вот и осталась целая куча неудачников. Их-то и отзывают, уже сейчас. Это совсем обыкновенные люди — именно потому, что им не удалось выбиться наверх.

— Каким образом их вывозят?

— На тарелках. Вот почему тарелки появляются, прилетают, улетают и возвращаются снова. Таких людей, вероятно, десятки тысяч — их эвакуация требует времени. А где они это делают? Ну, где пустынно, где обнаружены загадочные следы?

— В Гималаях?

— Верно.

— Значит тамошние следы принадлежат якобы этим людям? Э, Том! Зачем же их забирать босыми? Ну этого тебе не объяснить! Ты же знаешь, что там были только следы босых ног.

— Конечно, знаю. Но это вовсе не их следы. Это вообще ничьи следы.

— А снежный человек?

— Нет никакого йети.

— Как? Я же сам видел в газетах их фотографии.

— Мы мало знаем о летающих тарелках, но кое-что известно. Они могут приземляться вертикально, слышал об этом?

— Кажется, могут...

— А если бы ты хотел приземлиться на вертолёт, то есть вертикально, но не оставляя следов, что бы ты сделал?

— Я выбрал бы место с твёрдым грунтом, скалу или что-нибудь в этом роде.

— А если бы ты хотел иметь уверенность, что никогда не оставишь следов даже при наличии недостаточно твёрдой почвы, что бы ты тогда сделал?

— Не знаю.

— Надеть на шасси вместо колёс ноги.

— Ноги?

— Да. То есть — такие лапы, заканчивающиеся слепком человеческой ступни. Следы на снегу были очень глубокие — здесь, видно, давил большой груз. И они были крупнее нормальной человеческой ноги, ведь чем больше поверхность, тем равномернее распределяется тяжесть.

— Значит, по-твоему, у летающих тарелок вместо шасси человеческие ноги?

— Разумеется, искусственные, металлические.

— Пусть так. И все, кого должны эвакуировать, летят в Гималаи? Том! Ведь все эти путешествия обратили бы на себя внимание.

— Да нет же! В Гималаях они тоже были... и бывают там... но могут приземляться, и где им вздумается — если ты рано утром заметишь на лугу следы босых ног, то что подумашь? Кто-то, мол, с ближней фермы пробежался босиком, и ничего больше, верно? Но отпечатки человеческой ступни на больших высотах, на снегу, в горах уже возбуждают любопытство. Просто они не подумали об этом или считали, что там этих следов никто не заметит.

— Да, что то в этом есть... Но если этим людям не известно собственное происхождение, то чего ради они как дураки лезут в тарелки? И откуда им знать, что она уже приземлилась? И зачем, наконец, тем, с планеты, понадобилось их эвакуировать? Какое им дело?

— Ты задал мне очень трудные вопросы. Я знаю не всё. Видишь ли, может, они там вовсе не нужны. Возможно, эти люди им только мешают здесь и поэтому...

— Почему же мешают, если должны были на них работать? Взбунтовались они, что ли?

— Нет. Но они были предназначены для ответственных постов, для руководства, а наверх удалось пробраться лишь единицам. А остальные, неудачники, устраивают разные скандалы, беспорядки, ну, знаешь, всё то, о чем сейчас так много говорят; ведь пишут же, что современная молодёжь такая бешеная, любит драки, а это всё те, пришельцы — такая уж у них натура.

— Хорошенькое дело, может, и мы с тобой тоже...

— Я думал об этом. Ты хотел бы, чтобы всё пошло к чёрту?

— Нет.

— И я нет. Вот тебе и доказательство.

— Это доказательство? Допустим... И они, говоришь, собирают своих...

— Да. Как они это делают, я не представляю. Может, какими-нибудь сигналами.

— Послушай, Том, не сердись, но всё это так же невозможно, как зажечь лёд.

— Я знаю. Ну, а посмотри, что творится с атомами. Помнишь, в прошлом году полиция как сумасшедшая носилась со счётчиками Гейгера, из-за того что на рынок попала партия молока от коров, нажавшихся какой-то чёртовой радиоактивной травы?

— Помню. Ну и что?

— Между тем некоторые учёные утверждают, будто радиоактивность не опасна и незначительна, что можно так продолжать и вообще всё идёт как по маслу.

— Ну?

— Это как раз их люди. Они искренне верят в то, что говорят. Так им устроили мозги — там, на их планете. Дорогой мой, ты думаешь нельзя договориться насчёт бомб? Если знаешь: договоришься — значит, будешь жить, а не договоришься — сгниёшь в земле, ну так как — договоришься ты или нет?

— Я бы договорился.

— Вот видишь. Каждый человек думает так — кому охота стать покойником? Даже ребёнку ясно, что если так дальше пойдёт, война неизбежна, а нашим генералам не ясно?. Одни они не знают? Уверяю тебя, это не нормальные люди.



— Допустим... Но что мы можем сделать?

— Если б я стал распространяться на эту тему, меня бы упекли в сумасшедший дом. Знаешь, Мат, я об этом рассказал тебе первому.

— Ладно, Том. Но нельзя же не говорить никому ни слова и ничего не предпринимать... В конце концов, не всё ли равно, что ты об этом думаешь: полетят ли атомные бомбы просто так или с помощью тарелок, йети или прочего?

— Мне всё равно, Мат, и знаешь почему?

— Потому что именно тебе это пришло в голову.

— Вовсе нет. Только зная это, я могу быть спокоен и смотреть на людей как на людей, а не как на взбесившихся животных. Теперь ты понимаешь?

Некоторое время оба молчали. Первым поднялся мат. Выпрямился. Вынул из кармана крохотный осколок камня, несколько раз подбросил его на ладони, снова спрятал и сказал:

— Видишь эти тучи? Идём. Будет гроза.

Действительно — вдали, за горизонтом, гремело.

Сажу и пишу тут, в запертой комнате с дверью без ручки. Окно тоже не открывается, и стекло в нем небьющееся. Я пробовал. Не от желания сбежать и не со злости — просто хотел убедиться. Стол у меня из орехового дерева. Бумаги вдосталь. Писать разрешается. Только никто этого не читает. Но я все равно пишу. Не хочу одиночества, а читать не могу. Что ни дадут мне читать, все сплошная неправда, буквы начинают плясать перед глазами, и я теряю терпение. То, что есть в книгах, ничуть меня не интересует с той минуты, когда я понял, как все обстоит на самом деле.

Меня очень опекают. Утром — ванна, теплая либо комнатной температуры, с тонким ароматом. Я установил, чем различаются дни недели: по вторникам и субботам вода пахнет лавандой, а в остальные дни — хвойным лесом. После ванны — завтрак и визит врача. Один из младших врачей, не помню его имени (не то чтоб у меня с памятью было неладно — просто я сейчас стараюсь не запоминать несущественные факты), интересовался моей историей. Я ему дважды все рассказывал, с начала до конца, а он записывал мой рассказ на магнитофон. Вероятно, он добивался повторения, чтобы сличить обе записи и таким путем установить, что в них остается неизменным. Я сказал ему, что об этом думаю; сказал также, что детали несущественны.

Спросил я его еще, собирается ли он представить мою историю как «клинический случай», чтобы привлечь к себе внимание медиков. Он слегка смутился. Может, мне это только почудилось; во всяком случае, с тех пор он перестал выказывать ко мне расположение.

Но все это не имеет значения. И то, до чего я доискался, отчасти по воле случая, отчасти благодаря другим обстоятельствам, в некотором (тривиальном) смысле тоже не имеет значения.

Существует два рода фактов. Одни могут оказаться полезными — например, тот факт, что вода кипит при ста градусах и превращается в пар, согласно законам Бойля — Мариотта и Гей-Люссака; благодаря этому в свое время оказалось возможным сконструировать паровую машину. Факты другого рода не имеют такого конкретного значения, ибо касаются всего, и никуда от них не денешься. Для них нет никаких исключений и нет никакого применения — и в этом смысле они ни к чему. Иногда они могут иметь неприятные для кого-нибудь последствия.

Я солгал бы, если б начал утверждать, что удовлетворен своим теперешним положением и что мне совершенно безразлично, какие записи сделаны в моей истории болезни. Но мне известно, что единственная моя болезнь — это мое существование и что вследствие этой болезни, всегда имеющей роковой исход, мне удалось доискаться до истины, а поэтому я испытываю некоторое удовлетворение, как всякий, кто сознает свою правоту — вопреки большинству. В моем случае — вопреки всему миру.

Я могу так выразиться, потому что Маартенса и Ганимальди нет в живых. Истина, которую мы втроем открыли, убила их. В переводе на язык большинства слова эти означают только то, что имел место несчастный случай. Действительно, он имел место — но значительно раньше, миллиарды лет назад, когда пласты огня, оторвавшись от Солнца, начали сворачиваться в шар. Это было началом агонии, а все остальное, включая темные канадские ели за окном, и щебетание сиделок, и мое бумагомарание, — это уже только загробная жизнь. Знаете чья? В самом деле, не знаете?

А ведь вы любите глядеть в огонь. Если не любите, то из благоразумия либо из духа противоречия. Вы только попробуйте усесться перед огнем, отведя от него взгляд, — и сразу убедитесь, что он притягивает. Того, что творится в пламени (а творится там очень многое), мы даже назвать не сможем. Есть у нас для этого около дюжины ничего не говорящих обозначений.

Впрочем, я об этом понятия не имел, как и любой из вас. И несмотря на свое открытие, я не стал огнепоклонником, так же как материалисты не становятся — не должны становиться, во всяком случае, — материепоклонниками.

Впрочем, огонь... Он только намек. Напоминание. Поэтому мне смешно становится, когда добродушная врачиха Мерриа говорит кому-то из посторонних (это, конечно, очередной врач, посетивший наше образцовое заведение), что, дескать, этот человек — вон тот заморыш, что греется на солнышке, — пиропараноик. Забавное словечко, правда? Пиропараноик. Сие означает, что моя противоречащая реальности система имеет знаменателем огонь. А я будто бы верю в «жизнь огня» (по выражению достопочтенной Мерриа). Разумеется, в этом нет ни слова правды. Огонь, в который мы любим смотреть, жив не больше, чем фотографии наших дорогих усопших. Его можно исследовать всю жизнь и ничего не добиться. Действительность, как всегда, оказывается более сложной. Но зато и менее злобной.

Написал я уже порядочно, а содержания тут маловато. Но это в основном потому, что времени у меня в избытке. Я ведь знаю, что, когда дело дойдет до серьезных вещей, когда все о них будет рассказано, я действительно могу впасть в отчаяние — вплоть до той минуты, когда записки эти будут уничтожены и я получу возможность писать все заново. Я никогда не повторяю одно и то же. Я не граммофонная пластинка.

Хотелось бы мне, чтобы солнце заглянуло в комнату, но в эту пору года оно навещает меня лишь около четырех, и то ненадолго. Хотелось бы понаблюдать его в большой хороший телескоп — например, тот, который Хемфри Филд установил четыре года назад на Маунт-Вилсон, с полным набором абсорбентов, поглощающих излишки энергии, так что можно спокойно, часами напролет разглядывать изрытое провалами лицо нашего отца. Плохо я сказал, это ведь не отец. Отец дарует жизнь, а Солнце понемногу умирает, подобно миллиардам других солнц.

Может, пора уже познакомить вас с той истиной, которую я постиг благодаря случаю и своей любознательности.

Я был тогда физиком. Специалистом по высоким температурам. Это специалист, который занимается огнем так, как могильщик занимается человеком. Вместе с Маартенсом и Ганимальди мы работали при большом боулдерском плазмотроне. Прежде наука действовала в несравненно меньшем масштабе — пробирки, реторты, штативы — и результаты были соответственно мельче. А мы брали миллиард ватт энергии, впускали ее в нутро электромагнита, каждая секция которого весила семьдесят тонн, а в фокусе магнитного поля помещали большую кварцевую трубку.

Электрический разряд проходил через трубку от одного электрода к другому, и сила его была такова, что срывала с атомов электронные оболочки и оставалось лишь месиво раскаленных ядер, вырожденный ядерный газ, сиречь плазма, которая взорвалась бы и превратила бы в грибовидное облако нас, броню, кварц, электромагнит, заякоренный в бетоне, стены здания и его сверкающий купол — и все это произошло бы в стомиллиардную долю секунды, куда быстрее, чем можно даже подумать о возможности такой катастрофы. Если бы не это магнитное поле.

Это поле сжимало разряды в плазме, скручивало их в пульсирующий огненный шнур, брызжущий жестким излучением, тянущийся от электрода к электроду, вибрирующий в вакууме внутри кварца; магнитное поле не давало обнаженным ядерным частицам с температурой в миллион градусов приблизиться к стенам сосуда — оно охраняло нас и нашу работу. Но все это вы найдете в любой популяризаторской книжке, и я неумело излагаю это лишь для порядка, поскольку надо же с чего-нибудь начать, а как-то трудно считать началом этой истории дверь без ручки или полотняный мешок с очень длинными рукавами. Правда, тут я

уже начинаю преувеличивать, потому что таких мешков — смирительных рубашек — уже не применяют. Они стали ненужными, когда были найдены сильнодействующие успокоительные препараты. Но хватит об этом.

Итак, мы исследовали плазму, занимались плазменными проблемами, как полагается физикам: теоретически, математически, иератически, возвышенно и таинственно — по крайней мере в том смысле, что пренебрежительно относились к нажиму наших несведущих в науке нетерпеливых финансовых опекунов; они требовали результатов, обеспечивающих практическое применение. В ту пору было очень модно разглагольствовать о таких результатах или по крайней мере об их вероятности. А именно о том, что должен был возникнуть существовавший пока лишь на бумаге плазменный двигатель для ракет; очень требовался плазменный взрыватель для водородных бомб — тех самых, которые «чистые», — теоретически разрабатывали даже водородный реактор на основе плазменного шнура. Словом, если не все будущее целиком, то по крайней мере будущее энергетики и транспорта видели в плазме. Плазма была, как я уже говорил, в моде, заниматься ее исследованием считалось хорошим тоном, а мы были молоды, хотели делать то, что наиболее важно и что может принести успех, славу... впрочем, не знаю! Если свести человеческие поступки к первоначальным их мотивам, они покажутся сплошь тривиальными; разумность и чувство меры, а также утонченность анализа состоят в том, чтобы поперечный разрез и фиксацию произвести в пункте максимальной усложненности, а не у истоков явления, так как все мы знаем, что даже Миссисипи у истоков выглядит не слишком импозантно и каждый может там запросто через нее перепрыгнуть. Потому-то к истокам относятся с некоторым пренебрежением. Но, по-моему, я отошел от темы.

Исследования наши и сотен других плазмологов, призванные осуществить все эти великие проекты, через некоторое время привели нас в область явлений, столь же непонятных, сколь и неприятных. До известной границы — до границы средних температур (средних в космическом понимании, то есть таких, которые преобладают на поверхности звезд) — плазма вела себя послушно и солидно. Если ее связывали надлежащим образом — при помощи магнитного поля или некоторых изоциранных штук, основанных на принципе индукции, — она позволяла впрячь себя в лямку практических применений, и ее энергию якобы можно было использовать. Якобы — потому что на поддержание плазменного шнура тратилось больше энергии, чем из него получалось; разница возникала за счет потерь лучистой энергии, ну и за счет возрастания энтропии. Баланс пока не принимался в расчет, так как по теории получалось, что при более высоких температурах затраты автоматически снизятся. Таким образом, действительно получился некий прототип реактивного моторчика и даже генератор ультражестких гамма-лучей; но вместе с тем плазма не оправдывала многих надежд, на нее возлагавшихся. Маленький плазменный двигатель функционировал, а те, что проектировались на большую мощность, взрывались или выходили из повиновения. Оказалось, что плазма в определенном диапазоне термических и электродинамических возбуждений ведет себя не так, как предусматривалось теорией; это всех возмутило, потому что теория была совершенно новой и удивительно изящной в математическом отношении.

Такое случается; более того — должно случаться. Поэтому многие теоретики, в том числе и наша группа, не смущаясь этой непокорностью явления, принялись изучать плазму там, где она вела себя наиболее строптиво.

Плазма — это имеет некоторое значение для моей истории — выглядит довольно внушительно. Попросту говоря, она напоминает осколок Солнца, к тому же — из центральной зоны, а не из прохладной хромосферы. Блеском она не уступает Солнцу — наоборот, превышает его. Она не имеет ничего общего ни с бледно-золотистым танцем вторичной, уже

окончательной гибели, которую демонстрирует нам дерево, соединяющееся с кислородом в печи, ни с бледно-лиловым шипящим конусом, что исходит из сопла горелки, где фтор вступает в реакцию с кислородом, чтобы дать самую высокую температуру из достижимых посредством химии, ни, наконец, с вольтовой дугой, изогнутым пламенем между кратерами двух углей, хотя при наличии доброй воли и надлежащего упорства исследователь смог бы сыскать места, где бывает побольше, чем 3000 градусов. Также и температуры, возникающие вследствие того, что затолкают этак миллион ампер в тонкий проводник, который станет тогда совсем уж теплым облачком, и термические эффекты ударных волн при кумулятивном взрыве; все это плазма оставляет далеко позади. В сравнении с ней подобные реакции следует считать холодными, прямо-таки ледяными, а мы не судим так лишь потому, что случайно возникли из материи, совершенно уже застывшей, омертвелой поблизости от абсолютного нуля; наше бравое существование отделено от него лишь тремястами градусами по абсолютной шкале Кельвина, в то время как вверх эта шкала тянется на миллиарды градусов. Так что воистину не будет преувеличением, если мы отнесем даже самые огненные температуры, каких можем добиться в лабораторных условиях, к явлениям из области вечного теплового молчания.

Первые огоньки плазмы, которые пробились в лабораториях, тоже не были особенно горячими — двести тысяч градусов считали тогда внушительной температурой, а миллион был уже необычайным достижением. Однако же математика, эта примитивная и приблизительная математика, возникшая из анализа явлений ледяной сферы, предсказывала, что надежды, возлагаемые на плазму, осуществляются лишь на гораздо более высоком температурном уровне; она требовала температур по-настоящему высоких, почти звездных. Я имею в виду, конечно, температуру в недрах звезд; это, должно быть, необычайно интересные места, хотя для посещения их человеком, по-видимому, еще не настало время.

Итак, требовались миллионоградусные температуры. Начали их добиваться — мы тоже над этим работали, — и вот что обнаружилось.

По мере возрастания температуры быстрота перемен, безразлично каких, тоже возрастает. При скромных возможностях такой жидкой капельки (которой является наш глаз), соединенной с другой каплей, побольше (которую представляет мозг), даже пламя свечи есть сфера явлений, не уловимых из-за быстроты темпа, — что уж говорить о трепещущем огне плазмы! Пришлось, в общем, обратиться к иным методам — плазменные разряды стали фотографировать, и мы это тоже делали. Потом Маартенс при помощи своих знакомых оптиков и инженеров-механиков соорудил кинокамеру, сущее чудо (по крайней мере, в наших условиях), — она делала миллионы снимков в секунду. Не буду говорить о ее конструкции, чрезвычайно остроумной и свидетельствующей о нашем похвальном рвении. Главное, что мы перепортили километры киноплёнки, но в результате получили несколько сот метров, достойных внимания, и прокручивали их в темпе, замедленном в тысячу, а потом и в десять тысяч раз. Ничего особенного мы не заметили, кроме того, что некоторые вспышки, ранее считавшиеся явлениями элементарными, оказались конгломератами, возникающими вследствие взаимонаслоения тысяч крайне быстрых изменений; но и с этим в конце концов удалось справиться нашей примитивной математике.

Изумление охватило нас лишь в тот день, когда в лаборатории произошел взрыв — вследствие какого-то недосмотра, так и не выявленного до сих пор, либо по некоей не зависящей от нас причине. Это, собственно, не был настоящий взрыв, иначе мы не остались бы в живых, — просто плазма в катастрофически малую долю секунды поборола магнитное поле, сжимающее ее отовсюду, и вдребезги разнесла толстостенную кварцевую трубку, в которой была заточена.

По счастливому стечению обстоятельств уцелела кинокамера, снимавшая эксперимент, уцелела и лента. Взрыв продолжался миллионные доли секунды, а потом осталось лишь

пожарище, стреляющее во все стороны брызгами расплавленного кварца и металла. Наносекунды взрыва запечатлелись на нашей киноленте, и этого зрелища я не забуду до самой смерти.

Непосредственно перед взрывом шнур плазменного огня, дотоле цельный и практически однородный, начал сужаться через равные интервалы, словно его дергали, как струну, а потом распался, превратился в цепочку круглых зерен, перестал существовать как целое. Каждое зерно росло и преобразалось, эти капельки атомного пламени потеряли четкость очертаний, из них выползли отростки, породившие очередную генерацию капелек; потом все эти капельки сбегались к центру и образовали сплюснутый шар, который сжимался и расширялся, словно дышал, и в то же время высылал вокруг на разведку огненные щупальца с вибрирующими окончаниями. Потом наступил моментальный (даже и на нашей киноленте) распад, исчезновение всякой упорядоченности, и виден был только ливень огненных брызг, рассекающих поле зрения, — пока все не утонуло в сплошном хаосе.

Я не преувеличу, сказав, что мы прокручивали эту ленту чуть не сотню раз. Потом — признаюсь, это была моя идея — мы пригласили к себе (не в лабораторию, а на квартиру к Ганимальди) некоего авторитетного биолога, досточтимую знаменитость. Ничего ему заранее не сказав, ни о чем не предупредив, мы взяли середину этой самой ленты и прокрутили ее для уважаемого гостя через обычный аппарат; только насадили темный фильтр на объектив, вследствие чего пламя на снимках поблекло и стало выглядеть как некий предмет, довольно ярко освещенный извне.

Профессор проглядел наш фильм и, когда зажегся свет, выразил вежливое удивление — почему это мы, физики, занимаемся столь далекими от нас делами, как жизнь инфузорий. Я спросил его, уверен ли он, что видел действительно колонию инфузорий.

Как сейчас помню его усмешку.

— Снимки были недостаточно четкими, — сообщил он с этой усмешкой, — и, с позволения сказать, видно, что делали их непрофессионалы, но могу вас заверить, что это — не артефакт...

— Что вы понимаете под этим словом? — спросил я.

— *Artefactum* есть нечто искусственно созданное. Еще во времена Шванна развлекались тем, что имитировали живые существа, впуская капли хлороформа в прованское масло; эти капли проделывают амебообразные движения, ползают по дну сосуда и даже начинают делиться, если меняется осмотическое давление у полюсов. Но здесь чисто внешнее, поверхностное сходство, и это явление имеет столько же общего с жизнью, сколько манекен в витрине — с человеком. Ведь все решает внутреннее строение, микроструктура. На вашей ленте видно, хоть и неотчетливо, как совершается деление этих одноклеточных. Я не могу определить их вид и даже не поручился бы, что передо мной не просто клетки животной ткани, которые долгое время выращивались на искусственных питательных средах и были подвергнуты воздействию гиалуронидазы, чтобы разъединить их, расклеить. Во всяком случае, это клетки, ибо они имеют хромосомный аппарат, хоть и поврежденный. Среда, видимо, подвергалась воздействию какого-то канцерогенного препарата?

Мы даже не переглянулись. Постарались не отвечать на его все новые и новые вопросы. Ганимальди просил гостя еще раз просмотреть фильм, но это не получилось, не помню уж почему, — может, профессор спешил, а может, думал, что за нашим умолчанием кроется какой-то розыгрыш. В самом деле не помню. Так или иначе, он ушел, и, как только закрылись двери за этой знаменитостью, мы поглядели друг на друга, совершенно ошарашенные.

— Слушайте, — сказал я, опережая других, — я считаю, что мы должны пригласить еще одного специалиста и показать ему фильм полностью, без вырезок. Теперь, когда мы знаем, о

чем идет речь, это уж должен быть специалист что надо — именно по одноклеточным.

Маартенс предложил одного из своих университетских знакомых, который жил неподалеку. Но он был в отъезде, вернулся только через неделю и тогда пришел на старательно подготовленный сеанс. Ганимальди не решился сообщить ему, в чем дело. Просто показал ему весь фильм, кроме начала, потому что шнур плазмы, распадающийся на лихорадочно пульсирующие капли, заставил бы слишком глубоко задуматься, отвлек бы внимание от дальнейшего. Зато мы показали теперь конец, эту последнюю фазу существования плазменной амебы, когда она разлетается во все стороны, как взорвавшийся снаряд.

Этот биолог был намного моложе того, первого, и поэтому не отличался такой самоуверенностью; вдобавок он, по-видимому, хорошо относился к Маартенсу.

— Это какие-то глубоководные амебы, — сказал он. — Их разорвало внутреннее давление, когда начало падать внешнее. Так же, как бывает с глубоководными рыбами. Их нельзя доставить живьем со дна океана, они всегда гибнут, их разрывает изнутри. Но откуда у вас такие снимки? Вы опустили камеру в глубь океана или как?

Он смотрел на нас с возрастающей подозрительностью.

— Изображение нечеткое, правда? — скромно заметил Маартенс.

— Хоть и нечеткое, все равно интересно. Кроме того, деление происходит как-то ненормально. Я не заметил как следует очередности фаз. Пустите-ка ленту еще раз, только медленнее.

Мы прокрутили фильм так медленно, как только удавалось, но это мало помогло — молодой биолог не вполне удовлетворился.

— Еще медленнее нельзя?

— Нет.

— Почему вы не вели ускоренную съемку?

Мне ужасно хотелось спросить его, считает ли он, что пять миллионов снимков в секунду — это несколько ускоренная съемка; но я прикусил язык. Не до шуток было.

— Да, деление идет аномально, — сказал биолог, в третий раз просмотрев фильм. — Кроме того, создается такое впечатление, словно все это происходит в более плотной среде, чем вода... Вдобавок большинство дочерних клеток во втором поколении имеет возрастающие генетические дефекты, митоз извращен... И почему они сливаются все вместе? Это очень странно... Вы это делали на материале простейших в радиоактивной среде? — спросил он вдруг.

Я понял, о чем он думает. В то время много говорилось о том, что крайне рискованно затоплять радиоактивные отходы в герметических контейнерах на дне океана, что это может привести к заражению морской воды.

Мы заверили его, что он ошибается, что это не имеет ничего общего с радиоактивностью, и с трудом от него отделались — он, хмурясь, приглядывался поочередно к каждому из нас и задавал все больше вопросов, на которые никто не отвечал, потому что мы заранее так условились. Событие было слишком необычным и слишком значительным, чтобы довериться постороннему — пусть даже и приятелю Маартенса.

— Теперь, дорогие мои, надо нам всерьез поразмыслить, как тут быть, — сказал Маартенс, когда мы остались одни после этой второй консультации.

— То, что твой биолог принял за спад давления, из-за которого разорвало «амеб», на деле было внезапным спадом напряженности магнитного поля, — сказал я Маартенсу.

Ганимальди, до тех пор молчавший, высказался, как всегда, рассудительно.

— Считаю, — заявил он, — что нам надо продолжить эксперименты...

Мы отдавали себе отчет в риске, на который идем. Было уже ясно, что плазма,

относительно спокойная и поддающаяся укрощению при температурах до миллиона градусов, где-то выше этой грани переходит в неустойчивое состояние и заканчивает свое недолговечное бытие взрывом, подобным тому, что недавним утром прогремел в нашей лаборатории. Возрастание магнитного поля приводило лишь к почти непредсказуемому запаздыванию взрыва. Большинство физиков считали, что значение определенных параметров меняется скачком и поэтому нужна будет совершенно новая теория «горячего ядерного газа». Впрочем, гипотез, долженствующих объяснить этот феномен, было уже порядочно.

Во всяком случае, нечего было и думать об использовании горячей плазмы для ракетных двигателей или для реакторов. Путь этот признали неверным, ведущим в тупик. Исследователи, особенно те, кто интересовался конкретными результатами, вернулись к более низким температурам. Примерно так выглядела ситуация, когда мы приступили к дальнейшим экспериментам.

При температуре выше миллиона градусов плазма становилась материалом, по сравнению с которым вагон нитроглицерина — детская игрушка. Но опасность не могла нас остановить. Мы были слишком заинтригованы своим поразительным, сенсационным открытием и готовы на все. Другое дело, что мы не замечали массы ужасающих препятствий. Последний след ясности, который математика вносила в раскаленные недра плазмы, исчезал где-то на подступах к миллиону (или, по другим, менее надежным методам исчисления, к полутора миллионам) градусов. Дальше расчеты вообще ни к чему не вели — получалась сплошная бессмыслица.

Так что оставался лишь старый метод проб и ошибок, то есть экспериментирование вслепую, — по крайней мере на первых этапах. Но как уберечься от взрывов, грозящих ежеминутно? Железобетонные блоки, самая прочная броня, любые заслоны — все это перед крупницей материи, раскаленной до миллиона градусов, становится не более надежной защитой, чем листок папиросной бумаги.

— Представим себе, — сказал я товарищам, — что где-то в космической пустоте, при температуре, близкой к абсолютному нулю, обитают существа, не похожие на нас — ну, скажем, некие металлические организмы, — и что они проводят эксперименты. Между прочим, удается им — не важно, каким образом, но удается — синтезировать живую белковую клетку. Одну амёбу. Что с ней произойдет? Конечно, едва успев возникнуть, она немедленно распадется, взорвется, останки же ее замерзнут, потому что в вакууме закипит и мгновенно превратится в пар содержащаяся в ней вода, а энергия белкового обмена тут же излучится. Металлические экспериментаторы, снимая свою амёбу камерой наподобие нашей, смогут ее видеть какую-то долю секунды, но для того чтобы сохранить ей жизнь, им пришлось бы создать для нее соответствующую среду.

— Ты в самом деле думаешь, что наша плазма породила «живую амёбу»? — спросил Ганимальди. — Что это — жизнь, созданная из огня?

— Что есть жизнь? — спросил я, подобно Понтию Пилату, вопросившему: «Что есть истина?». — Я ничего не утверждаю. Одно, во всяком случае, ясно: космическая пустота и космический холод — гораздо более благоприятные условия для существования амёбы, нежели земные условия — для существования плазмы. Единственная среда, в которой плазма при температуре выше миллиона градусов может уцелеть, это...

— Понятно. Звезда. Недра звезды, — сказал Ганимальди. — И ты хочешь создать эти недра в лаборатории, вокруг трубки с плазмой? Действительно, нет ничего проще... Только сначала придется поджечь весь водород в океанах...

— Это не обязательно. Попробуем кое-что другое.

— Можно было бы сделать это иначе, — заметил Маартенс. — Взорвать заряд трития и в полость взрыва ввести плазму.



— Этого сделать нельзя, ты сам знаешь. Прежде всего никто тебе не разрешит устроить водородный взрыв, а если б и разрешили, то нет никакой возможности ввести плазму в очаг взрыва. Да и полость эта существует лишь до тех пор, пока мы вводим свежий тритий извне.

После этого разговора мы разошлись в довольно мрачном настроении — похоже было, что дело безнадежное. Но потом снова начались нескончаемые дискуссии, и наконец мы отыскивали нечто такое, что казалось шансом или хоть смутной тенью шанса. Нам требовалось теперь магнитное поле с необычайным напряжением и звездной температурой. Оно должно было стать «питательным раствором» для плазмы, ее «естественной» средой. Мы решили начать эксперимент в поле с обычным напряжением, а потом внезапно в десять раз увеличить напряжение. По расчетам получалось, что нашу восьмисоттонную магнитную машину вдребезги разнесет или, по крайней мере, расплавится обмотка, но перед этим, в момент короткого замыкания, мы получим постулируемое поле — на две, а может, даже на три стотысячных секунды. По отношению к темпу процессов, протекающих в плазме, это был немалый отрезок времени. Весь проект имел явно преступный характер, и, конечно, никто не дал бы нам разрешения осуществить его. Но нас это мало трогало. Нас интересовало только одно — зарегистрировать явления, которые произойдут в момент замыкания и мгновенно следующего за ним взрыва. Если мы загубим аппаратуру и не получим ни метра ленты, ни одного снимка, все наши действия сведутся к акту уничтожения.

Здание лаборатории находилось, к счастью, милях в пятнадцати от города, среди пологих холмов. На вершущке одного из этих холмов мы устроили наблюдательный пункт, с кинокамерой, телеобъективами и со всем электронным хозяйством, разместив все это за плитой из бронестекла с высокой прозрачностью. Сделали серию пробных снимков, применяя все более мощные телеобъективы; наконец остановились на том, который давал восьмидесятикратное увеличение. У него была очень малая светосила, но, поскольку плазма ярче Солнца, это не имело значения.

В этот период мы действовали скорее как заговорщики, чем как исследователи. Пользовались тем, что наступила пора летних отпусков и ближайšie две недели никто, кроме нас, не появится в лаборатории. За это время и надлежало все закончить. Мы понимали, что дело не обойдется без шума, а может, и серьезных неприятностей, — ведь надо будет как-то оправдаться по поводу катастрофы; мы даже придумали довольно правдоподобные варианты объяснения, которое должно создать видимость нашей невинности. Мы не знали, даст ли этот отчаянный опыт хоть какие-то видимые результаты; ясно было лишь одно — после взрыва лаборатория перестанет существовать.

Мы вынули окна вместе с рамами из той стены, что была обращена в сторону холма, демонтировали и убрали защитные перегородки перед электромагнитом, чтобы с наблюдательного пункта хорошо просматривался источник плазмы.

К эксперименту мы приступили шестого августа в семь двадцать утра, под безоблачным небом и жарким солнцем.

На склоне холма, у самой вершины, выкопали глубокий ров. Сидя в нем, Маартенс при помощи маленького переносного пульта, кабели от которого тянулись к дому, управлял электромагнитом. Ганимальди имел на попечении кинокамеру, а я рядом с ним, подняв голову над бруствером, сквозь бронестекло и мощную стереотрубу, установленную на треножном штативе, вглядывался в темный квадрат оголенного окна, в ожидании того, что произойдет там, внутри.

— Минус 21... минус 20... минус 19... — монотонно, без оттенка эмоций произносил Маартенс, сидевший за моей спиной среди путаницы кабелей и выключателей. В поле зрения у меня была густая тьма, в центре которой вибрировала и лениво изгибалась ртутная жилка

разогревающейся плазмы. Я не видел ни озаренных солнцем холмов, ни травы, усеянной белыми и желтыми цветами, ни августовского неба над куполом лаборатории: линзы были старательно зачернены с краев.

Когда плазма начала взбухать посередине, я испугался, что она разорвет трубку раньше, чем Маартенс скачком усилит поле. Хотел уже крикнуть, открыл рот, но в этот самый миг Маартенс произнес: «Ноль!»

Нет. Земля не заколебалась, гром не грянул. Только тьма, в которую я вглядывался, побледнела. Отверстие в стене лаборатории заполнилось оранжевым туманом, потом оно стало ослепительно сверкающим квадратным солнцем — и тут же все утонуло в огненном вихре; отверстие в стене увеличилось, стрельнуло во все стороны ветвистыми трещинами, пышущими дымом и пламенем, и с протяжным грохотом, разнесшимся по всей окрестности, купол осел на падающие стены. Через стереотрубу уже ничего нельзя было разглядеть, я отвел от нее глаза и увидел бьющий в небо столб дыма. Ганимальди отчаянно шевелил губами, крича что-то, но грохот все не утихал, перекачивался над нами, и я ничего не слышал — уши были словно ватой забиты. Маартенс вскочил и просунул голову между нами, чтобы глянуть вниз, — до тех пор он был всецело занят пультом. Грохот наконец утих. И тут же мы вскрикнули — кажется, в один голос.

Дымовая туча, вскинута взрывом, поднялась уже высоко над руинами лаборатории, все медленнее оседавшими на землю в тумане известковой пыли. Из белых клубов этой пыли вынырнул ослепительный продолговатый огонь, окруженный лучистым ореолом, — словно солнце, вытянутое наподобие червяка. Около секунды он почти неподвижно висел над дымящимися развалинами, сжимаясь и распрямляясь, потом спланировал вниз. Черные и красные круги плавали у меня перед глазами, так как это существо полыхало сиянием, равным солнечному, но я успел еще увидеть, как мгновенно исчезает, дымясь, высокая трава на его пути, а оно спускается к земле. Огненный червяк двигался к нам не то ползком, не то порхая, его лучистый ореол пульсировал, и он был словно ядром пламенного пузыря. Сквозь бронестекло хлынул жар излучения; огненный червяк исчез из поля зрения, но по вибрации воздуха над склоном, по клубам дыма и снопам трескучих искр, в которые превращались кусты, мы поняли, что он движется к вершине холма. Натыкаясь друг на друга, внезапно охваченные страхом, мы бросились в бегство. Знаю, что я бежал напрямик, затылок и спину обжигал невидимый огонь, словно преследуя меня. Я не видел ни Маартенса, ни Ганимальди, я словно ослеп и все мчался вперед, пока не споткнулся, попав ногой в кротовью нору, и не рухнул в еще влажную от ночной росы траву на дне ложбинки. Я тяжело дышал, изо всех сил жмурясь, и, хоть лицом я уткнулся в траву, вдруг сквозь веки проникло красноватое зарево, словно солнце светило мне прямо в глаза. Но, по правде говоря, я не вполне уверен, было ли это.

Тут в моей памяти зияет провал. Не знаю, сколько я пролежал в ложбинке. Очнулся, словно ото сна, с лицом, прижатым к траве. Едва успел шевельнуться, как ощутил нестерпимую жгучую боль в затылке и шее, и потом долго не решался поднять голову. Наконец рискнул. Я лежал в ложбине, между невысокими буграми; вокруг тихо колыхалась под ветерком трава, на ней сверкали последние капли росы, быстро испаряясь в солнечных лучах. Лучи эти основательно меня допекали; я понял, в чем дело, лишь когда осторожно притронулся к затылку и нащупал крупные пузыри ожога. Я встал и обвел взглядом холм, на котором мы устраивали наблюдательный пункт. Я долго не мог решиться туда пойти — страшно мне было. Перед глазами все время стояло это ползущее огненное чудовище.

— Маартенс! — крикнул я. — Ганимальди!

Я инстинктивно поглядел на часы: было пять минут девятого. Я приложил часы к уху — они шли. Взрыв произошел в семь двадцать; все дальнейшее продолжалось, вероятно, около

минуты. Значит, я три четверти часа был без сознания?

Я начал подниматься по склону. Метрах в тридцати от вершины холма наткнулся на первую проплешину сожженной земли. Она была покрыта синеватым, почти остывшим уже пеплом, словно след костра, кем-то здесь разожженного. Только очень уж странный это был костер — ему не сиделось на месте.

От обугленного круга тянулась полоса выжженной земли шириной метра полтора, извилистая, окаймленная по обе стороны травой, сначала обугленной, а потом лишь пожелтевшей и поникшей. Полоса эта кончалась за очередным кругом синеватого пепла. И тут лежал человек, ничком, подтянув одну ногу почти под грудь. Еще не коснувшись его, я понял, что он мертв. Одежда, с виду целая, стала серебристо-серой, и шея была того же немыслимого цвета; когда я над ним наклонился, все это начало рассыпаться от моего дыхания.

Я отшатнулся, вскрикнув от ужаса, но передо мной уже лежал съезжившийся темный предмет, лишь приблизительно напоминавший человеческое тело. Я не знал, Маартенс это или Ганимальди, и не решался дотронуться до него, да и понимал, что лица у него уже нет. Делая громадные прыжки, я ринулся к вершине холма, но больше уж никого не звал. Снова увидел путь огня — извилистую, черную, как уголь, полосу среди травы, местами расходящуюся в круг диаметром в несколько метров.

Я ожидал, что увижу второй труп, но его нигде не было. Я спустился с вершины туда, где был наш окоп; от бронестекла осталась лишь растекшаяся по склону стекляннистая пленка, похожая на замерзшую лужу. Все остальное — аппаратура, кинокамера, пульт, стереотруба — просто исчезло, а сам окоп обвалился, словно под сильным нажимом сверху; на дне его, среди камней и пыли, поблескивали кое-где потеки расплавленного металла. Я перевел взгляд на лабораторию. Она выглядела так, будто в нее угодила здоровенная авиабомба. Между торчащими во все стороны обломками стен порхали еле заметные в солнечном свете огоньки догорающего пожара. Я смотрел на это почти невидящими глазами, силясь припомнить, в какую сторону побежали мои товарищи, когда все мы выпрыгнули из окопа. Маартенс был тогда слева от меня — значит, это, наверно, его тело я нашел... А Ганимальди?

Я начал разыскивать его следы — тщетно, так как за пределами выжженных кругов и полос трава уже выпрямилась. Но я все бегал по склону холма, пока не нашел еще одну выжженную полосу; я начал спускаться по ней вниз, как по тропинке, она поскрипывала под ногами... и вдруг я замер. Обугленная полоса расширялась; мертвая, обгоревшая трава окружала пространство длиной метра в два, неправильной формы. С одной стороны оно было уже, с другой расширялось, распадаясь надвое... Все это походило на деформированный, расплющенный крест, покрытый довольно плотным слоем темной копоти, будто здесь медленно догорало деревянное распятие, раскинув свои руки-перекладыны... А может, мне это лишь привиделось? Не знаю...

Уже давно казалось мне, что я слышу далекий пронзительный вой, но я не обращал на это внимания. Доносились до меня и голоса людей — и они тоже ничуть меня не интересовали. Вдруг я увидел маленькие фигурки людей, бегущих ко мне; сначала я припал к земле, словно пытаюсь укрыться, и даже отполз от пожарища, кинулся в сторону; когда я бежал по противоположному склону холма, они вдруг появились, заступили мне дорогу с двух сторон. Я почувствовал, что ноги меня не слушаются; да, впрочем, мне было все равно.

Я, собственно, не знаю, почему убежал от них — если это была попытка к бегству. Я сел на траву, а они окружили меня; один наклонился ко мне, что-то говорил; я сказал, пускай он перестанет, пускай лучше ищут Ганимальди, а со мной ничего такого. Они попытались поднять меня, я сопротивлялся, тогда кто-то схватил меня за плечо и я вскрикнул от боли. Потом я почувствовал укол и потерял сознание. Очнулся в госпитале.

Память у меня сохранилась полностью. Я помнил, сколько времени прошло с момента катастрофы. Я был весь забинтован, ожоги давали себя знать сильной болью, возраставшей при каждом движении, — так что я старался вести себя с величайшей осторожностью. Впрочем, эти мои больничные переживания, все трансплантации кожи, которые мне делали долгие месяцы, не имеют значения, так же как и то, что произошло позже. Да ничего другого и не могло произойти. Лишь много недель спустя прочел я в газете официальную версию катастрофы. Объяснение нашли простое, да оно само напрашивалось: лабораторию разрушил взрыв плазмы; трое ученых пытались спастись — Ганимальди погиб под развалинами здания, Маартенс в пылающей одежде добежал до вершины холма и там умер, а я был обожжен и находился в тяжелом шоковом состоянии. На следы огня среди травы вообще не обратили внимания, так как исследовали прежде всего руины лаборатории. Кто-то из них, впрочем, утверждал, что траву поджег Маартенс, когда катался по ней, пытаясь сбить пламя с одежды. И так далее.

Я считал своим долгом рассказать правду независимо от последствий — уже хотя бы из-за Ганимальди и Маартенса. Мне очень осторожно дали понять, что моя версия событий является следствием шока, так называемой производной иллюзией. Ко мне еще не вернулось душевное равновесие; я начал бурно протестовать — мое возмущение сочли симптомом, подтверждающим диагноз.

Следующий разговор произошел примерно через неделю. На этот раз я старался держаться спокойней, аргументировал свои утверждения. Рассказал о первом снятом нами фильме, который должен находиться в квартире у Маартенса; однако поиски были безрезультатны. Догадываюсь, что Маартенс сделал то, о чем упомянул однажды мимоходом: положил пленку с фильмом в банковский сейф. Все, что он имел при себе, было полностью уничтожено — значит, и ключ от сейфа, и банковская квитанция исчезли бесследно. Фильм наш, должно быть, по сей день лежит в этом сейфе. Таким образом, я проиграл и здесь; однако я не сдавался, и, уступив моим настойчивым просьбам, решили провести осмотр на месте происшествия. Я заявил, что все докажу именно там; врачи, в свою очередь, предполагали, что там, возможно, вернется ко мне память о «подлинных» событиях. Я хотел показать им кабели, которые мы протянули из лаборатории к вершине холма, в окоп. Но и кабелей не было. Я утверждал, что раз их нет, то, значит, их кто-то убрал уже потом — может, пожарные, когда гасили огонь.

Только там, среди зеленых холмов, под голубым небом, рядом с почерневшими и словно съезжившимися развалинами лаборатории, я понял, почему все так получилось.

Огненный червяк не преследовал нас. Он не хотел нас убить. Он ничего о нас не знал, мы его не интересовали. Рожденный взрывом, он, выбравшись наружу, уловил ритм сигналов, которые все еще пульсировали в проводах, так как Маартенс не выключил управляющего устройства. Это к нему, к источнику электрических импульсов, поползло огненное создание, никакое не разумное существо, просто солнечная гусеница, цилиндрический сгусток организованного огня, которому оставалось лишь несколько десятков секунд жизни. Об этом свидетельствовал его расширяющийся ореол: температура, при которой он мог существовать, стремительно падала, каждое мгновение он тратил, наверное, массу энергии, излучал ее, и неоткуда было ее черпать — поэтому он и извивался судорожно у кабелей, несущих электроэнергию, превращая их в пар, в газ. Маартенс и Ганимальди оказались случайно на его пути; он, наверное, к ним и не приближался. Маартенса убил термический удар, а Ганимальди, возможно ослепнув от сияния плазмы и потеряв ориентировку, ринулся прямо в бездну сверкающей смерти.

Да, огненное создание умирало там, на вершине холма, бессмысленно извиваясь и корчась в отчаянных и бесплодных поисках источников энергии, которая вытекала из него, как кровь из жил. Оно убило двух людей, даже не узнав об этом. Впрочем, обугленные полосы и круги уже

поросли травой.

Когда я оказался там в сопровождении двух врачей, какого-то незнакомого человека (кажется, из полиции) и профессора Гилша, ничего уже нельзя было найти, хотя со дня катастрофы не прошло и трех месяцев. Все поросло травой, и то место, где я видел некую тень распятия, тоже; трава тут разрослась особенно буйно. Все словно ополчилось на меня. Окоп, правда, был виден, но кто-то использовал его как мусорную свалку, он был доверху забит ржавым железом и консервными банками. Я повторял, что под этой грудой лежат расплавленные осколки бронестекла. Мы копались в этом мусоре, но стекла не нашли. То есть были какие-то крупинки, и даже оплавленные. Но мои спутники сочли, что это осколки обычных бутылок, которые кто-то расплавил в печи центрального отопления, предварительно раздробив их для уменьшения объема — перед тем как выбросить в мусорный бак. Я просил, чтобы отдали стекло на анализ, но они этого не сделали. У меня остался только один шанс — показания молодого биолога и профессора, которые видели наш фильм. Профессор был в Японии и собирался вернуться лишь весной, а приятель Маартенса подтвердил, что мы показывали ему такой фильм, но только там была снята вовсе не ядерная плазма, а глубоководные амёбы. Он сказал, что Маартенс категорически отрицал при нем, что снимки могут представлять нечто иное.

И это ведь была правда. Маартенс говорил так потому, что мы условились хранить тайну.

Таким образом, дело оказалось закрытым.

А что же случилось с огненным червяком? Может, он взорвался, когда я лежал без сознания, а может, тихо окончил свое мимолетное существование; оба варианта одинаково правдоподобны.

При всем при том меня, наверное, выпустили бы из лечебницы как неопасного, но я оказался слишком упрямым.

Гибель Маартенса и Ганимальди накладывала на меня обязательства. В период выздоровления я требовал массу различных книг. Мне давали все, что я хотел. Я проштудировал всю соляристику, выяснил, что известно о солнечных протуберанцах и о шаровых молниях. Мысль о том, что огненный червяк находился в некоем родстве с такой молнией, возникла у меня потому, что в поведении их имеются сходные черты. Шаровые молнии (явление, по сути, все еще загадочное, не объясненное физикой) возникают среди мощных электрических разрядов, во время грозы. Эти светящиеся раскаленные шары свободно парят в воздухе, иногда поддаются его течениям, сквознякам, ветрам, а иногда плывут против течения. Их притягивают металлические предметы и электромагнитные волны, особенно ультракороткие, — их влечет туда, где воздух ионизирован. Охотнее всего они держатся около проводов, по которым идет электроток. Словно бы пытаются выпить этот ток, но это им никак не удается. Зато весьма вероятно — по крайней мере так считают некоторые специалисты, — что они «подкармливаются» дециметровыми волнами через канал ионизированного воздуха, который образует породившая их линейная молния. Утечка энергии, однако, превышает то, что поглощают шаровые молнии, и поэтому их существование измеряется немногими десятками секунд. Озарив все вокруг синевато-желтым сиянием, покружившись в трепетном и возвышенном полете, они исчезают в грохоте и блеске взрыва либо тают и гаснут почти беззвучно. Разумеется, они — не живые существа; с жизнью у них общего не больше, чем у тех капель масла в хлороформе, о которых нам рассказывал профессор.

А огненный червяк, которого мы создали, — он жил? Тому, кто задаст мне такой вопрос (конечно, не с целью подразнить сумасшедшего, ибо я не сумасшедший), я честно отвечу: не знаю. Однако сама эта неуверенность, это неведение таят в себе возможность такого переворота в ваших познаниях, который никому и в бреду не мерещится.

Существует, говорят мне, лишь одна форма жизни: вялое бытие белковых организмов,

какое мы знаем, разделенное на растительное и животное царства. При температурах, всего на триста мелких шажков отстоящих от абсолютного нуля, возникла эволюция и ее венец — человек. Только он и ему подобные могут противостоять тенденции хаоса, царящей во Вселенной. Ну да, этот постулат основан на убеждении, что все вокруг есть хаос и беспорядок — ужасающий жар в недрах звезд, огненные грани галактических туманностей, раскаляющихся от взаимопроникновения, шары газовых солнц. Да ведь никакая, говорят эти трезвые, разумные и поэтому всегда, безусловно, правые люди, упорядоченность, никакой вид или хотя бы зародыш организованности не может возникнуть в океанах кипящего огня; солнца — это слепые вулканы, из недр которых извергаются планеты, а они, в порядке исключения, весьма редко, создают человека; все остальное — лишь мертвая ярость вырожденных атомных газов, скопище зловещих огней, сотрясаемое протуберанцами.

Я усмехаюсь, слушая эту самовосхваляющую лекцию, продиктованную слепой манией величия. Существуют, говорю я, две формы Жизни. Одна из них, могучая и гигантская, освоила весь наблюдаемый Космос. То, что ужасает нас, угрожает нам гибелью — звездные температуры, исполински мощные магнитные поля, чудовищные вулканические извержения, — для этой формы жизни является комплексом условий благоприятных, более того — необходимых.

Хаос, говорите? Водоворот мертвого пламени? Тогда почему же астрономы наблюдают на поверхности Солнца прямо-таки неисчислимое множество явлений хоть и непонятных, но регулярно протекающих? Почему так удивительно регулярны магнитные вихри? Почему существуют ритмические циклы активности звезд, точно так же, как существуют циклы обмена веществ в любом живом организме? У человека есть цикл суточный и месячный, кроме того, на протяжении всей жизни в нем борются антагонистические силы роста и умирания; у Солнца есть одиннадцатилетний цикл, а каждые четверть миллиарда лет оно переживает депрессию, свой «климакс», который порождает на Земле ледниковые эпохи. Человек рождается, стареет, умирает — как звезда.

Вы слушаете и не верите. И вам смешно. Вам хочется спросить меня — просто смеха ради, — может, я верю, что у звезд есть разум? Считаю, что они мыслят? Этого я тоже не знаю. Но вместо того чтобы беззаботно осуждать мои безумства, приглядитесь к протуберанцам. Попробуйте еще раз посмотреть фильм, снятый во время солнечного затмения, когда эта огненная мошकारа вылезает наружу и на сотни тысяч, на миллионы километров удаляется от своей колыбели, чтобы, проделывая диковинные и непонятные маневры, вытягиваясь и снова сжимаясь, непрерывно менять форму и наконец рассеяться, исчезнуть в космической пустоте либо вернуться в добела раскаленный океан, который породил их. Я не утверждаю, что это — щупальца Солнца. С тем же успехом они могут быть его паразитами.

Ну, допустим, говорите вы для поддержания дискуссии, чтобы этот оригинальный, хоть и перегруженный абсурдом разговор не оборвался прежде времени, нам хочется еще кое-что выяснить. Почему ж это мы не пробуем переговариваться с Солнцем? Мы штурмуем его радиоволнами. Может, ответит? Если не ответит, твоя теория будет опровергнута...

Интересуюсь, о чем могли бы мы беседовать с Солнцем? Какие идеи, понятия, проблемы могут оказаться у нас с ним общими? Вспомните, что мы увидели в нашем первом фильме. Огненная амеба в миллионную долю секунды превратилась в два будущих своих поколения. Разница темпа тоже имеет определенное значение. Договоритесь сначала с бактериями, живущими в вашем организме, с кустами в вашем саду, с пчелами и цветами — тогда можно будет поразмыслить над методикой информационного контакта с Солнцем.

Если так, скажет самый добродушный из скептиков, все это оказывается попросту... несколько оригинальной точкой зрения. Твои взгляды ни на йоту не изменят существующей

действительности, ни теперь, ни в будущем. Вопрос о том, является ли звезда живым существом, становится делом договоренности, согласия принять такой термин — только и всего. Одним словом, ты рассказал нам сказку...

Нет, отвечаю я. Вы ошибаетесь. Вы думаете, что Земля — это крупинка жизни в океане небытия. Что человек одинок, и звезды, туманности, галактики он считает своими противниками. Что единственно возможны и доступны те познания, которые добыл и добудет в дальнейшем он, единый создатель Гармонии и Порядка, непрерывно подверженного опасности захлебнуться в потоке бесконечности, сверкающей дальними световыми точками. Но дело обстоит иначе. Иерархия активной стабильности вездесуща. Кто желает, может назвать ее жизнью. На пиках ее, на высотах энергетического возбуждения существуют огненные организмы. У самой грани, вплотную к абсолютному нулю, в области тьмы и стынущего дыхания, жизнь возникает снова, как бледный отблеск той, как слабое, угасающее напоминание о ней, — это мы. Станьте на такую точку зрения и учитесь скромности, а вместе с тем надежде — ибо когда-нибудь Солнце станет Новой и заключит нас в милосердные огненные объятия, и мы, вернувшись таким путем в вечное круговращение жизни, сделавшись частицами его величия, приобретем более глубокое знание, чем то, которое досталось в удел обитателям ледяной сферы. Вы не верите мне. Так я и знал. Теперь я соберу эти исписанные листы, чтобы уничтожить их, но завтра или послезавтра снова усядусь за пустой стол и начну писать правду.

Господа, из-за неблагоприятных условий или отсутствия времени большинство людей покидают этот мир, не задумываясь над сущностью его. У тех же, кто пробует сделать это, заходит ум за разум, и они принимаются за что-нибудь другое. К ним отношусь и я. По мере того как я делал карьеру, место в «Who's Who», отводимое моей особе, из года в год становилось все обширнее, но ни в последнем издании, ни в последующих не будет ничего сказано о том, почему я бросил журналистику. И вот именно об этом и будет моя история, которую в иных обстоятельствах я, конечно, не стал бы рассказывать.

Я знал одного способного парня, решившего построить чувствительный гальванометр, и ему это удалось — слишком хорошо. Стрелка отклонялась даже тогда, когда отсутствовал ток, так как прибор реагировал на колебания земной коры. Этот пример может быть взят эпитафией к моей повести.

Тогда я был ночным редактором иностранной службы ЮПИ. Много мне там пришлось повидать, в том числе и введение автоматизации в газетном деле. Пришлось расстаться с живыми метранпажами и начать работать с компьютером IBM-0161, специально приспособленным для подобной работы. Остается лишь сожалеть, что я не родился лет на сто пятьдесят раньше. История моя начиналась бы тогда словами «увез графиню де...», а когда я дошел бы до того, как, вырвав вожжи из рук возницы, я начал хлестать коней кнутом, чтобы уйти от погони наемников ревнивого мужа, мне не пришлось бы объяснять вам, что такое графиня и в чем состоит похищение.

Теперь не все так просто. Компьютер IBM-0161 — не только механический метранпаж. Это демон скорости, сдерживаемый разными инженерными штучками так, чтобы человек поспевал за ним. Компьютер заменяет от десяти до двенадцати человек. Он соединен с сетью телетайпов, и то, что выстукивают наши корреспонденты в Анкаре, Багдаде, Токио, в тот же момент попадает в его цепи. Он обрабатывает все это и воспроизводит на экране по очереди разные варианты страниц утреннего выпуска. Между полночью и третьим часом утра — временем окончания номера — он может обработать до пятидесяти вариантов выпуска. Какой из вариантов пойдет в машину — решает дежурный редактор. Метранпаж, которому пришлось бы сделать не пятьдесят, а только пять вариантов верстки номера, сошел бы с ума. Компьютер же работает в миллион раз быстрее каждого из нас, вернее, он мог бы так работать, если бы ему позволили.

Я вполне сознаю, как много привлекательного теряется в моей истории из-за таких отступлений. Много ли осталось бы от красоты графини, если бы я не воспевал алебастровую красоту ее бюста, а говорил о его химическом составе? Мы живем в трудное для рассказчиков время, внятное повествование стало анахронизмом, а чтобы понять сенсацию, нужно копаться в энциклопедиях и университетских учебниках. Но средства против этого еще никто не выдумал.

Наша совместная с IBM работа была поразительной. Как только поступало новое сообщение — происходило это в большом круглом зале, наполненном безуданным стуком телетайпов, — компьютер сразу заверстывал его для пробы в макет страницы. На экране только, разумеется. Все это — игра электронов, света и тени. Некоторые жалеют людей, которых компьютер лишил работы. Я им сочувствую. У компьютера нет самолюбия: он не нервничает, если за пять минут до трех не получено последнее сообщение, у него нет домашних неприятностей, он не берет взаймы перед первым числом, не мучается и не дает понять, что разбирается в деле лучше вас, а главное — не обижается, если то, что было заверстано на первой странице, ему приказывают перенести на последнюю страницу и набрать непарелью. Вместе с



тем он неслыханно требователен; не сразу можно это осознать. Если он говорит «нет», то это «нет» окончательное, безапелляционное, как приговор тирана, которому невозможно противоречить! Но поскольку он никогда не ошибается, все огрехи утреннего выпуска имеют только одного автора: им всегда является человек.

Конструкторы IBM абсолютно все предусмотрели за исключением одной мелочи: телетайпы, как бы их ни монтировали и ни устанавливали, всегда вибрируют при работе, подобно пишущей машинке, печатающей с большой скоростью. Из-за этой вибрации контакты кабелей, соединяющих редакционные телетайпы с компьютером, постепенно ослабевают, и кабели выпадают из гнезд. Случается это редко, раз или два в месяц. Возникающее при этом неудобство — нужно встать и воткнуть кабель на место — невелико, и никто не требовал заменить контакты. Каждый из нас, дежурных, знал об этом, но особенно не огорчался. Возможно, сейчас контакты уже заменены. Если так, то открытие, сделанное мной, уже не будет повторено.

Было это в канун Рождества. Номер я закончил около трех пополудни — я любил оставлять себе хоть несколько минут в запасе, чтобы отдышаться и выкурить трубку. Я с удовольствием думал, что ротационная машина ждет уже не меня, а последнее сообщение — депешу из Ирана, где утром произошло землетрясение. Агентства передали только отрывки сообщения корреспондента — после первого толчка произошел второй, настолько сильный, что прервалась кабельная связь. Молчало и радио, и мы считали, что радиостанция лежит в развалинах. Мы делали ставку на нашего человека: был им Стэн Роджерс. Щуплый как жокей, он не раз втискивался в какой-нибудь военный вертолет, когда все места уже были заняты: для него делалось исключение, так как весил он не больше чемодана.

На экране виднелся макет титульной страницы с последним белым пустым прямоугольником. Связи с Ираном по-прежнему не было. Хотя стучало сразу несколько телетайпов, но звук, с каким включился турецкий, я тут же узнал. Это дело навыка, который приобретается бессознательно. Удивило меня то, что белый прямоугольник остался пустым, хотя слова должны были появиться на экране сразу же при включении телетайпа, но эта пауза продолжалась не больше секунды или двух. Затем текст сообщения, впрочем очень короткого, появился целиком, что меня поразило. Помню его на память. Заголовок уже был готов; под ним шел текст: «В Шерабаде между десятью и одиннадцатью по местному времени дважды повторились подземные толчки силой в семь и восемь баллов. Город лежит в развалинах. Число жертв оценивается в тысячу, шесть тысяч потеряли кров».

Раздался сигнал, которым меня вызывала типография, — было ровно три часа. Так как при таком лаконичном тексте оставалось свободное место, я разбавил текст двумя дополнительными фразами и, нажав клавиш, отправил готовый номер в типографию, где, переданный прямо линотипистам, он пошел в набор и на ротационную машину. Моя работа была закончена: я встал, размял суставы, зажег погасшую трубку и тут увидел лежавший на полу кабель. Он выскочил из гнезда. Кабель телетайпа из Анкары. Именно этим телетайпом пользовался Роджерс. Когда я поднимал кабель, у меня промелькнула совершенно нелепая мысль, что он уже лежал так до того, как отозвался телетайп. Ясно, это был абсурд, ибо как мог компьютер без соединения с телетайпом принять сообщение? Не торопясь я подошел к телетайпу, оторвал бумагу с отпечатанным текстом и поднес его к глазам. Он показался мне несколько иначе составленным, но я устал, чувствовал себя разбитым, как обычно в эту пору, и не доверял памяти. Я включил еще раз компьютер, желая увидеть первую страницу, и сравнил оба текста. Действительно, они разнились между собой, однако незначительно. Текст телетайпа выглядел так: «Между десятью и одиннадцатью местного времени произошли два следующих друг за другом толчка в Шерабаде, силой в семь и восемь баллов. Город полностью разрушен.

Число жертв превышает пятьсот, а лишенных крова — шесть тысяч». Я стоял, поглядывая то на экран, то на лист бумаги, не зная, ни что думать, ни что делать. По смыслу оба текста были очень похожи, единственная существенная разница лишь в числе жертв: Анкара дала эту цифру как пятьсот, а компьютер удвоил ее. Обычный рефлекс журналиста заставил меня соединиться с типографией.

— Послушай, — сказал я Лэнггорну (он был тогда дежурным линотипистом), — обнаружилась ошибка в иранском сообщении, первая полоса, третья колонка, последняя строка. Должно быть не тысяча...

Тут я остановился, так как турецкий телетайп вновь заработал и начал выстукивать: «Внимание. Последнее сообщение. Внимание. Число жертв землетрясения оценивается теперь в тысячу. Роджерс. Конец».

— Ну, что там? Как должно быть? — спрашивал снизу Лэнггорн.

Я вздохнул.

— Извини меня, парень, — сказал я ему. — Ошибки нет. Виноват. Все в порядке. Пусть идет, как есть.

Положив быстро трубку, я подошел к телетайпу и прочитал это добавление раз шесть. И каждый раз мне это все меньше нравилось. Было такое ощущение, будто пол под ногами становится мягким. Я обошел компьютер, поглядывая на него с недоверием, даже с некоторой долей страха. Как это ему удалось? Я ничего не понимал и чувствовал, что чем больше буду задумываться над происшедшим, тем труднее мне будет разобраться.

Дома, уже в постели, я не мог заснуть. Я пытался во имя психического здоровья запретить себе думать о столь дикой истории. Если говорить всерьез, это была мелочь. Я знал, что никому не могу о ней рассказать: никто бы мне не поверил. Приняли бы все это за шутку — наивную и плохую. И только когда решил не ограничиться увиденным, а начать регулярные наблюдения за поведением компьютера при отключении телетайпов, я почувствовал что-то вроде облегчения, во всяком случае достаточного, чтобы заснуть.

Проснулся я в довольно хорошем настроении, и черт знает каким образом мне стала понятна разгадка или по крайней мере что-то могущее сойти за разгадку. Работая, телетайпы вибрируют. От их вибрации выпадают даже кабели из гнезд. Не может ли их вибрация быть источником альтернативных сигналов? Даже я с моим скудным и медленно действующим человеческим умом улавливал различие в звуках отдельных телетайпов. Парижский я узнавал в момент пуска по характерному металлическому удару. Приемное же устройство в сотни раз более чувствительно, и оно вполне может различать и едва уловимую разницу между ударами литер. Конечно, на сто процентов это невозможно, потому компьютер не повторил слово в слово текст телетайпа, а несколько переиначил его: попросту сам добавлял то, чего не хватало в информации. Что же до числа жертв, то здесь он проявил себя как математическая машина: между числом разрушенных домов, временем, когда произошло землетрясение, и числом погибших должна существовать статистическая корреляционная зависимость. Сообщая истинную цифру, компьютер, возможно, воспользовался своими способностями молниеносно выполнять расчеты; отсюда и получалась эта тысяча жертв. Наш корреспондент, который не проводил таких подсчетов, а добросовестно передал цифру, сообщенную ему на месте, вскоре послал поправку, получив более точную информацию. Компьютер оказался на высоте потому, что он основывал свое сообщение не на слухах, а на точном статистическом материале, хранившемся в его ферритовой памяти. Это объяснение меня целиком успокоило. Ведь IBM-0161 не пассивное передаточное звено; если телетайп делает орфографическую или грамматическую ошибку, ошибка эта на долю секунды появляется на экране компьютера и в тот же миг заменяется правильным выражением. Иногда это происходит настолько быстро, что

человек не успевает заметить исправление и обнаруживает его позднее, когда сравнивает текст телетайпа с текстом на экране компьютера. IBM не только автоматический метранпаж; он соединен с сетью подобных машин агентств и библиотек, и от него можно требовать дополнительных данных, обогащающих слишком тощую информацию. Словом, я объяснил себе все очень хорошо и решил сделать несколько проб во время ближайшего дежурства, но не говорить о них никому, так же как и о случившемся в канун Рождества, ибо так было благоразумнее.

Возможностей у меня было достаточно. Уже через два дня я опять сидел в зале иностранной службы, и, когда Бейрут начал передавать сообщение о гибели подводной лодки Шестого флота в Средиземном море, я встал и, не спуская глаз с экрана, на котором быстро появлялись слова текста, украдкой, спокойным движением вынул кабель из гнезда. В течение шести секунд текст так и оставался оборванным на полуслове, как будто бы компьютер не знал, что делать дальше. Однако удивление его продолжалось не долго; почти сразу же начали появляться на белом фоне следующие фразы; я лихорадочно сравнивал их с текстом, выбиваемым телетайпом. Повторилась уже известная мне история — компьютер воспроизводил телетайпное сообщение, но только иными словами: «представитель Шестого флота сообщил» вместо «сказал», «поиски продолжаются» вместо «идут»; еще несколько подобных мелочей отличало тексты.

Известно, с какой легкостью человек привыкает к необычному, если он понимает или если ему кажется, что он понимает его механизм. У меня создалось уже впечатление, что я играю с компьютером, как кот с мышью, что я дурачу его, что полностью владею положением. Макет номера светил еще многочисленными лысынами, и сообщения, которые должны были их заполнять, приходили сейчас в пиковые моменты по несколько одновременно. Я находил поочередно в общем пучке соответствующие кабели и вытаскивал их один за другим из гнезд, так что оказался с шестью или семью кабелями в горсти. Компьютер спокойнейшим образом продолжал работать дальше и когда не был соединен ни с одним из них. Что же — решил я — компьютер различает по звуку выстукиваемые литеры и слова, а что он не может уловить — мгновенно дополняется с помощью экстраполяции или какого-нибудь еще математического метода.

Я действовал, как в трансе. Сосредоточившись, я ждал пробуждения очередного телетайпа, а когда застучал римский, дернул за кабель, и так сильно, что не только он оказался у меня в руке, но одновременно выпал и другой кабель — тот, по которому передавалось питание на телетайп, и аппарат, конечно, замер. Я уже хотел вставить кабель питания обратно, но что-то как будто толкнуло меня, и я глянул на экран.

Римский телетайп молчал, а компьютер как ни в чем не бывало заполнял место, оставленное для итальянского правительственного кризиса под рубрикой «Последние известия». С затаенным дыханием, чувствуя, что снова творятся странные вещи с полом и моими коленями, я подошел к экрану и невинные слова «...назначил премьером Батиста Кастеллиани...» прочитал, как депешу с того света. Я торопливо подключил римский телетайп к главному силовому кабелю, чтобы как можно скорее сравнить оба текста.

О, сейчас разница между ними была значительно больше, однако компьютер не отклонился от правды, то есть от содержания сообщения. Премьером действительно стал Кастеллиани, но фраза эта была в ином контексте и на четыре строки ниже, чем на экране. У меня создалось впечатление, что два корреспондента, независимо друг от друга узнав об одном и том же событии, по-своему составили и отредактировали текст заметки. Со слабеющими коленями я сел, чтобы в последний раз попытаться спасти свою гипотезу, но чувствовал, что это напрасный труд. Весь мой рационализм рухнул в одно мгновение: как же мог компьютер прочитать текст

по вибрации телетайпа, если телетайп был глух и мертв, как пень? Он никак не мог почувствовать вибрации телетайпа в Риме, на котором работал наш корреспондент! Мне стало нехорошо. Если бы кто-нибудь вошел, я мог бы вызвать бог знает какие подозрения — потный, с блуждающим взглядом, с горстью кабелей, которые я все еще сжимал вспотевшими руками, я был похож на злоумышленника, застигнутого на месте преступления.

Чувствовал я себя, как крыса, загнанная в угол, и действовал, как разъяренная крыса, — начал лихорадочно отключать все телетайпы, так что через мгновение замер стук последнего из них. Я остался в могильной тишине, наедине с моим компьютером. И тогда произошла поразительная вещь, может быть, еще более странная, чем то, что уже было раньше. Хотя макет номера не был еще готов, поступление текста сильно замедлилось. Более того, в новом, медленно поступавшем тексте появились фразы, лишенные точного содержания, бессмысленные, одним словом, так называемая вата. Еще с минуту ниточки строк ползли по экрану на свои места, затем все вдруг остановилось.

Несколько текстов имели абсурдно-комический характер. Среди них была заметка о футбольном матче, в которой вместо окончательного счета содержалась пустая фраза о прекрасном поведении игроков обеих команд. Очередные сообщения из Ирана прерывались утверждениями, что землетрясения — явления космического масштаба, так как они наблюдаются даже на Луне. Сообщалось это ни к селу, ни к городу. Загадочные источники, откуда компьютер до сих пор тайно черпал вдохновение, иссякли.

Однако прежде всего нужно было сверстать номер, поэтому я поспешно включил все телетайпы, и о том, что мне пришлось наблюдать, смог поразмыслить только после трех часов, когда начала работать ротационная машина. Я знал, что не успокоюсь, пока не докопаюсь до источника этой блестящей демонстрации надежности и не менее блестящего ее нарушения. Непосвященному пришла бы мысль, что попросту следовало бы задать соответствующий вопрос самому компьютеру: коль скоро компьютер такой мудрый, а одновременно такой безотказно послушный, пусть он и сообщит, каким образом и благодаря каким механизмам он работает отключенный, а также объяснит, почему затем останавливает эту работу. Такие мысли появляются под влиянием популярных рассказов об электронных мозгах, но с компьютером нельзя разговаривать так, как с человеком — безразлично, умным или глупым, — он вообще ведь не личность! С таким же успехом можно ожидать, что испорченная пишущая машинка скажет нам, где и как ее можно исправить. Компьютер перерабатывает информацию, к которой он не относится осмысленно. Фразы, выдаваемые им, это поезда, идущие по рельсам синтаксиса. Если они сходят с рельс, значит, что-то действует в нем неправильно, однако сам он ничего об этом не знает, и потому имеются все основания говорить о «нем» только как о лампе или столике.

Наш IBM умел самостоятельно составлять и пересоставлять тексты стереотипных газетных сообщений — больше ничего. О том, какое значение имеют отдельные тексты, всегда должен был решать человек. IBM мог объединить две взаимодополняющие заметки в одну, подобрать нужное вступление для содержательных сообщений, например, для депеш, используя готовые образцы таких решений, которых у него были сотни тысяч. Это вступление соответствовало содержанию депеши только потому, что IBM, проводя статистический анализ, выхватывал так называемые ключевые слова; если, например, в депеше повторялись слова «ворота», «штрафной», «команда противника», то он подбирал что-нибудь из спортивного репертуара. Одним словом, компьютер подобен железнодорожнику, который может соответствующим образом перевести стрелку, сцепить поезд и отправить вагоны в нужном направлении, ничего не зная о ценности их груза. Он ориентируется в чисто внешних особенностях слов, предложений и высказываний — тех, которые поддаются математическим операциям анализа и синтеза.

Невозможно было ожидать от него какой-либо помощи.

В размышлениях я провел дома ночь без сна. В работе компьютера я заметил такую закономерность: чем дольше он был отключен от источников информации, тем хуже ее реконструировал. Мне это показалось вполне понятным, если учесть, что я работаю в журналистике двадцать два года. Как вы знаете, редакции таких многотиражных еженедельников, как «Тайм» и «Ньюсуик», действуют независимо друг от друга. Сближает их лишь то, что существуют они в одном и том же мире и располагают примерно одинаковыми источниками информации. Кроме того, они имеют и во многом похожих читателей. Потому-то и неудивительно сходство многих статей, помещаемых в них. Вытекает оно из своеобразного совершенства в приспособлении к рынку, достигнутого обеими конкурирующими между собой редакциями. Составление еженедельных обзоров мировых событий либо событий в одной стране — дело техники, а когда их пишут вот с этих позиций, то есть с позиций журналистской элиты Соединенных Штатов, при условии одинакового образования, аналогичной исходной информации и при желании добиться оптимального воздействия на читателя, то нет ничего удивительного, что тексты, составленные одновременно и независимо один от другого, напоминают нередко близнецов. Сходство их проявляется не в одинаковости фраз, а в общей установке, тоне, эмоциональной настроенности, расстановке акцентов, освещении некоторых скабрёзных подробностей, противопоставлении контрастных черт, например относящихся к характеристике какого-либо политика; то есть все, что способно привлечь внимание читателя и внушить ему, что он находится у надежнейшего источника информации, — все это и составляет арсенал средств каждого опытного журналиста. В известном смысле наш IBM был «макетом» такого журналиста. Он знал способы и приемы, иными словами умел то, что и каждый из нас. Благодаря рутине, запрограммированной в нем, он оказался гением цепкой фразеологии, шокирующего сопоставления данных, наивыгоднейшей подачи; обо всем этом я знал, но знал я также, что расспросить его невозможно. Почему, будучи отключенным от телетайпов, он продолжал так хорошо работать? Почему эта работа так быстро прекращалась? Почему он начинал затем бредить? Я еще надеялся, что сам смогу найти ответы.

Перед очередным дежурством я позвонил нашему корреспонденту в Рио-де-Жанейро с просьбой, чтобы он в начале ночного сеанса прислал короткое ложное сообщение об итогах встречи боксеров Аргентины и Бразилии. Он должен был сообщить обо всех победах бразильцев как о победах аргентинцев и наоборот. В момент нашего разговора итоги встречи не могли быть известны; встреча начиналась поздно вечером. Почему я обратился именно в Рио-де-Жанейро? Потому, что я просил о вещи, неслыханной с профессиональной точки зрения, а Сэм Гернсбек, который был там нашим корреспондентом, — мой приятель того редкого и наиценнейшего сорта людей, которые никогда ни о чем не спрашивают.

Мой опыт позволял мне сделать предположение, что компьютер повторит фальшивое сообщение — то, которое отстучит Сэм на своем телетайпе (не буду скрывать, что на эту тему у меня уже была готова гипотеза: я предположил, что телетайп становится как бы радиопередатчиком, а его кабели выполняют функции антенны; мой компьютер, как я считал, способен улавливать электромагнитные волны, создающиеся вокруг кабелей в зале, так как чувствительность его, как приемника, вероятно, высока). Сразу же после посылки ложного сообщения Гернсбек должен был его опровергнуть; первое из них я бы конечно, уничтожил, чтобы от него и следа не осталось. Придуманный мной план казался мне очень тонким. Чтобы опыт был еще более убедительным, я решил до перерыва в матче сохранять нормальное соединение телетайпа с компьютером, а после перерыва — телетайп отключить.

Не буду описывать моих приготовлений, эмоций, всей обстановки той ночи, а только скажу вам, что произошло. Компьютер сообщил, то есть заверстал в макет номера до перерыва ложные

итоги встречи, а после перерыва — правильные. Вы понимаете, что это значило? До тех пор пока был подключен телетайп, он ничего не реконструировал, «не комбинировал» — повторял просто слово в слово то, что передавалось по кабелю из Рио. Отключенный же, он перестал полагаться на телетайп, а также и на кабели, которые согласно моему предположению выполняли роль антенны, и сообщил действительные итоги соревнования! То, что в это время выстукивал Гернсбек, не имело для него никакого значения.

Но это еще не все. Он угадал действительные результаты всех встреч — ошибся только относительно последней, встречи тяжеловесов. Одно оказалось несомненным: в момент отключения он переставал быть зависимым от телетайпа — и того, который был у меня, и того, который был в Рио. Сведения он получал каким-то иным путем.

Вспотевший, с потухшей трубкой, я попытался переварить все это, и тут заработал бразильский телетайп: Сэм подал истинные результаты, как мы договорились. В заключительном сообщении он сделал поправку: результат боя в тяжелом весе был аннулирован решением судей, которые признали, что вес перчаток аргентинца — победителя на ринге — не соответствует правилам.

Итак, компьютер не ошибся ни разу. Мне необходимо было еще одно сообщение. Я получил его после окончания работы над номером, позвонив Сэму, — он уже спал у себя и, проснувшись, ругался, как сапожник. Легко было его понять, потому что вопросы, которыми я его засыпал, выглядели глупо, по-идиотски: в какое время были оглашены результаты боя в тяжелом весе и каким образом судьи изменили решение? Сэм ответил мне и на первый и на второй вопрос. Решение было аннулировано почти сразу после объявления победителя, которым был аргентинец, так как судья, подняв его руку как победителя, почувствовал через кожу перчаток грузик, спрятанный в слое пластика и сдвинувшийся во время боя. Сэм выбежал к телетайпу прежде, чем все это разыгралось, когда нокаутированный бразилец еще лежал на ринге. Поэтому компьютер своей осведомленностью никак не обязан умению читать мысли Сэма; он сообщил действительный результат боя тогда, когда Сэм еще не знал его.

Почти полгода я проводил эти ночные эксперименты и узнал очень много, хотя по-прежнему ничего не понимал. Отключенный от телетайпа, компьютер сначала замирал на две секунды, затем продолжал передавать сообщение — в течение 137 секунд. В этот промежуток времени он знал о событиях все, после него — ничего. Возможно, я бы это еще как-нибудь переварил, но открылось кое-что похуже. Компьютер предвидел будущее — и притом безошибочно. Для него не имело никакого значения, касается ли информация событий, совершившихся или только наступающих, — важно, чтобы они происходили в интервале двух минут и 17 секунд. Если я выстукивал ему на телетайпе вымышленную информацию, он повторял ее послушно, но при отключенном кабеле сразу замолкал: он умел продолжать описание только того, что в самом деле происходило, а не того, что кто-то выдумывал. По крайней мере такой я сделал вывод и записал его в тетрадь, с которой не расставался.

Постепенно я привык к этому, и сам не знаю когда, я начал сравнивать это с поведением пса. Его тоже следовало навести на след, дать как бы обнюхать начало следа — последовательность исходных событий. Как и собака, он требовал некоторого времени, чтобы освоить факты, а когда их было мало — замолкал, или отвечал общими фразами, или, наконец, шел по ложному следу. Если я заранее не определял названий совершенно однозначно, он, например, путал населенные пункты одного и того же названия. Как и собаке, ему было совершенно безразлично, по какому следу идти, но когда уж он выходил на него, то был совершенно безукоризненным — в течение 137 секунд.

Наши ночные опыты, которые происходили обычно между третьим и четвертым часом утра, напоминали следственный допрос. Я пытался припереть его к стенке, старался выработать

тактику перекрестных вопросов, взаимоисключающих альтернатив, пока мне в голову не пришла мысль, при всей своей простоте — поразительная.

Как вы помните, Роджерс доносил о землетрясении в Шерабаде из Анкары; иными словами тот, кто передавал сообщение, не обязательно должен был находиться именно там, где происходило событие. Однако пока речь шла о земных событиях, нельзя было исключить, что кто-нибудь — человек или по крайней мере животное — наблюдает событие, а компьютер может каким-то способом воспользоваться этим. Я решил так составить начало сообщения в отношении места, где происходило событие, чтобы заведомо было известно, что там никогда не было человека, — речь шла о Марсе. Я передал компьютеру координаты Sirtis Minor и, дойдя до слов: «сейчас на Sirtis Minor царит день; осматривая окрестности, мы видим...», я выдернул кабель из гнезда. После секундной паузы компьютер закончил: «...планету в лучах солнца...» — и это было все. Я переделывал это начало на разные лады раз десять, но не вытянул с его помощью ни одной интересной подробности — все расплывалось в общих словах. Я установил таким образом, что осведомленность компьютера не касается планет; сам не знаю почему, но мне сделалось от этого немного легче.

Что я должен был делать дальше? Я мог, конечно, выстрелить сенсацией чистой воды, приобрести известность и немалые деньги; но я ни на минуту не принимал этой возможности всерьез. Почему? Сам хорошо не знаю. Может быть потому, что с оглаской тайны меня мгновенно оттеснили бы на задний план. Я представил себе толпы техников, которые вторглись бы к нам, экспертов, разговаривающих между собой на своем профессиональном жаргоне; независимо от того, к каким результатам они бы пришли, я был бы сразу отстранен от дела как баламут и неуч. Я мог бы только писать воспоминания, давать интервью и получать чеки. Но это меня как раз меньше всего устраивало. Я готов был поделиться с кем-нибудь тайной, но так, чтобы не отказаться от своих прав полностью. Я решил привлечь к сотрудничеству хорошего специалиста, которому мог бы полностью доверять.

Близко я знал только одного — Милтона Гарта из МТИ. <sup>[154]</sup> Это человек с характером, оригинальный и именно анахроничный, так как ему плохо работается в большом коллективе, а в наше время ученый-одиночка — вымирающий мастодонт. По образованию Гарт был физиком, по специальности программистом, работавшим в области информации; мне это вполне подходило. Правда, встречались мы с ним до сих пор в своеобразной обстановке — мы оба играли в ма-джонг; другие же наши встречи были нерегулярными, но как раз за такой игрой и можно многое узнать о человеке. Его эксцентричность проявлялась в том, что он внезапно произносил вслух разные странные мысли. Как-то он спросил меня: «Мог ли Бог сотворить мир нечаянно?» Никогда нельзя было понять, говорит он всерьез или шутит, или просто потешается над собеседником. Но у него, несомненно, была светлая голова; условившись по телефону, я поехал к нему в ближайшее воскресенье и, как и рассчитывал, вовлек его в мой конспиративный план.

Не знаю, поверил ли он мне сразу — Гарт был не таков, чтобы об этом говорить, — но, во всяком случае, проверил все, что я ему рассказал, и в первую очередь сделал то, что мне и в голову не приходило. Он отключил наш компьютер от федеральной сети. Сразу же исключительный талант моего IBM как рукой сняло. Таинственная сила была не в компьютере, а в сети. Как вы знаете, сейчас сеть насчитывает свыше сорока тысяч вычислительных центров, но вы, может быть, не знаете (я об этом не слыхал, пока мне не сказал Гарт), что она построена по иерархическому принципу, несколько напоминающему нервную систему позвоночных. Сеть имеет узлы в каждом из штатов, причем память каждого из узлов содержит больше данных, чем знают все ученые, вместе взятые. Каждый абонент, в зависимости от времени использования компьютеров сети в течение месяца, вносит плату, начисляемую с помощью каких-то

коэффициентов и множителей. Абоненту может потребоваться решение проблем, слишком трудных для ближайшего компьютера; диспетчер тогда автоматически подключает в помощь ему компьютеры из федерального резерва; это могут быть недогруженные или работающие вхолостую компьютеры. Задача его состоит в равномерном распределении информационной нагрузки в сети и в наблюдении за так называемыми банками специальной памяти, то есть содержащими закрытую информацию — государственные, военные, прочие тайны.

У меня вытянулось лицо, когда Гарт говорил мне об этом, я никогда не слышал, что существует сеть и что ЮПИ ее абонент; об этом я думал не больше, чем думаешь об устройстве телефонной станции, разговаривая по телефону. Гарт, которого нельзя упрекнуть в недостатке желчи, заметил, что я готов изобразить мои ночные *tete-a-tete* с компьютером в духе бредовых рассказов, как романтические свидания вдали от остального мира, но совсем по-другому к ним относится большинство абонентов, они между третьим и четвертым часом обычно спят, из-за чего сеть в предутреннее время используется менее интенсивно и мой IBM мог работать с гораздо большей нагрузкой, чем утром, в часы пик.

Гарт просмотрел счета, которые ЮПИ платило как абонент, и оказалось, что раза два мой IBM использовал от 60 до 65 процентов всей федеральной сети. Правда, эти непостижимо большие нагрузки длились недолго, по несколько десятков секунд, но кто-нибудь должен же был заинтересоваться, почему какой-то дежурный журналист агентства печати использует мощность, в двадцать раз превышающую ту, которая необходима для подсчета всех рубрик национального дохода? Сейчас почти все расчеты производятся машинами, и контроль за оплатой счетов также ведется, как известно, компьютером; компьютеры же ничему не удивляются, по крайней мере пока счета оплачиваются вовремя; в этом не было никаких проблем, так как расчеты ведет также компьютер — наш, бухгалтерии ЮПИ. Сошло и то, что за мой интерес к пейзажу *Sirtis Minor* на Марсе ЮПИ заплатило 29.000 долларов — довольно много, если учесть, что интерес не был удовлетворен. И хотя компьютер тогда был нем, как камень, он тем не менее сделал все, что было в его силах, и в течение восьми минут молчания, прерванного уклончивой фразой, выполнил биллионы и триллионы операций — это черным по белому было записано в счете за месяц. Другое дело, что характер этих зашифрованных операций остался для нас загадкой. Была здесь какая-то чисто алгебраическая магия.

Хочу предупредить вас, что это не история о духах. Потусторонние явления, предчувствия, мистические пророчества, проклятия, призраки и все другие честные, ясные, привлекательные и прежде всего простые создания ушли из нашей жизни навсегда. Чтобы точнее описать дух, который вселялся в машину IBM через главный разъем федеральной сети, следовало бы чертить диаграммы, рисовать модели, а в качестве детективов использовать одни компьютеры, чтобы они добивались до других. Дух нового типа рождается из высшей математики, и потому он так неуловим. Раньше, чем я заставлю ваши волосы встать дыбом, я должен пересказать кое-что из речей Гарта.

Информационная сеть напоминает электрическую, только вместо энергии из нее потребляется информация. Циркулирующая же — будь то электроэнергия или информация — напоминает движение воды в резервуарах, соединенных трубопроводами. Ток идет туда, где сопротивление наименьшее или где потребность наибольшая. Если разорвать один из силовых кабелей, электроэнергия сама найдет себе окольный путь, что может привести к авариям и перегрузкам. Образно говоря, мой IBM, утрачивая связь с телетайпом, обращался за помощью к сети, которая отзывалась на этот призыв со скоростью более десяти тысяч километров в секунду, ибо именно с такой скоростью идет ток в проводах. Пока вызывалась эта помощь, проходила одна-две секунды, в течение которых компьютер молчал. Затем связь как бы восстанавливалась, но каким именно способом — об этом мы и в дальнейшем не имели



понятия.

Все, сказанное до сих пор, имело очень наглядный физический характер и даже поддавалось пересчету на доллары, но лишь когда добытые сведения были чисто негативными. Мы уже знали, что нужно делать, чтобы компьютер потерял свой необычайный талант: достаточно было отсоединить его от информационной сети. Но мы по-прежнему не понимали, как могла ему помочь сеть и как она добиралась до какого-то Шерабада, где в этот момент происходило землетрясение, либо до зала в Рио, в котором происходил боксерский матч? Сеть представляет собой замкнутую систему соединенных друг с другом компьютеров, слепую и глухую по отношению к внешнему миру, с выходами и входами, которыми являются телетайпы, телефонные приставки, регистраторы в корпорациях или федеральных учреждениях, пульта управления в банках, энергосистемах, в больших фирмах, аэропортах и так далее. У нее нет ни глаз, ни ушей, ни собственных антенн, ни чувствительных датчиков, и, кроме того, она охватывает только территорию Соединенных Штатов; как же она могла получать информацию о событиях в каком-то Иране?

Гарт, который знал об этом ровно столько же, сколько и я, то есть не знал ничего, вел себя совсем не так, как я, он сам таких вопросов не ставил и не давал мне открывать рот, когда я пытался забросать его ими. Когда же ему не удалось удержать меня и когда я, обозлившись, наговорил ему неприятных вещей, легко слетающих с языка между третьим и четвертым часом бессонной ночи, он пояснил мне, что он не гадалка, не знахарь и не ясновидец. Сеть, как оказалось, проявляет свойства, ранее в ней не запланированные и не предвиденные: они ограничены, как показывает история с Марсом, но имеют физический характер, то есть поддаются исследованиям, и исследования могут дать через некоторое время определенные результаты, которые, вероятно, не будут ответами на мои вопросы, так как подобные вопросы в науке вообще не принято ставить. Согласно принципу Паули, каждое квантовое состояние может быть занято только одной элементарной частицей, а не двумя, пятью или миллионом, и физика ограничивается только такой констатацией, поэтому нельзя ставить ей вопрос, почему этот закон строго выполняется всеми частицами и кто или что запрещает частицам вести себя иначе. Согласно же принципу неопределенности, поведение частиц описывается только статистически, и в границах этого они позволяют себе вещи неприличные с точки зрения физики классической, даже кошмарные, так как нарушают правила поведения, но поскольку происходит это в согласии с принципом неопределенности, их невозможно зафиксировать на месте преступления, где они нарушают этот закон. И опять нельзя спрашивать, как могут частицы позволять себе эти выходы внутри зоны неопределенности, кто им разрешил так вести себя, вопреки здравому смыслу, — такие вещи не относятся к физике. В известном смысле действительно можно было бы считать, что в пределах неопределенности частица ведет себя как злоумышленник, абсолютно уверенный в своей безнаказанности, потому что выбранный им метод действия таков, что никому не удастся его поймать на месте преступления; но это антропоцентричный способ мышления, который не только ни к чему не приводит, но вносит вредную путаницу, ибо элементарным частицам приписывается человеческое коварство или хитрость.

Итак, информационная сеть, как можно судить, способна получать информацию о том, что делается на Земле, даже оттуда, где сети вообще нет, нет даже никаких датчиков. Можно было бы заключить, очевидно, что сеть создает «собственное поле перцепции» с «телеологичными градиентами», или же, пользуясь данной терминологией, выдумать иные псевдообъяснения, которые, однако, не будут иметь никакой научной ценности; речь идет о том, чтобы установить, что, в каких границах, при каких начальных и ограничительных условиях сеть может произвести, а все остальное оставить уже для будущих фантастических романов. О том, что

окружающий мир можно познавать без зрения, слуха и иных органов чувств, мы уже знаем, ибо это доказано экспериментальными исследованиями. Предположим, что мы имеем цифровую машину с оптимизатором, обеспечивающим максимальный темп вычислительных процессов, и что эта машина может перемещаться по площади, половина которой освещена солнцем, а половина не освещена. Если машина, находясь на солнце, перегреется и темп вычислений снизится, оптимизатор включит двигатель и машина будет перемещаться по этой площади, пока не попадет в тень, где охладится и начнет работать лучше. Таким образом, машина эта хотя и не имеет глаз, но способна отличить свет от тени. Пример очень примитивный, однако он показывает, что можно ориентироваться в окружающей обстановке, не обладая какими-либо органами чувств по отношению к внешнему миру.

Гарт утихомирил меня, во всяком случае на некоторое время, и занялся своими расчетами и экспериментами, а я получил возможность размышлять о чем мне заблагорассудится. Этого он уже не мог мне запретить. Возможно, когда какое-нибудь очередное предприятие включит в сеть свой компьютер, думал я, критический порог сети без чьего-либо ведома окажется превзойденным, и сеть станет организмом. И сразу же на ум приходит образ Молоха, чудовищного паука, электронного спрута с кабельными щупальцами, зарытыми в землю от Скалистых гор до Атлантики, который, подсчитывая письма и распределяя пассажирские места в самолете, одновременно втайне вынашивает страшные планы овладения Землей и порабощения людей. Все это, конечно, чепуха. Сеть не является организмом, как бактерия, дерево, зверь или человек; просто, достигнув критической точки сложности, она становится системой, как становится системой звезда или галактика, когда в пространстве накопится достаточно материи. Сеть — система или организм, не похожий ни на один из названных, а новый, такой, какого еще не было. Мы ее, правда, сами построили, но не знали до конца, что именно мы создали. Мы пользовались ею, но получали только мелкие крохи, как если бы муравьи паслись на мозге, занятые поиском среди миллионов происходящих в нем процессов того, что возбуждает их вкусовые усики.

Гарт обычно приходил на мое дежурство незадолго до трех часов с портфелем, набитым бумагами, термосом, полным кофе, и принимался за дело, а я чувствовал себя дураком. Что, однако, я мог предпринять, если он был прав с точки зрения пользы дела? Я по-прежнему размышлял по-своему, придумывал очередные объяснения. Например, я представлял себе, как мир мертвых до сих пор предметов — высоковольтные линии, подводные кабели телеграфа, телевизионные антенны, даже металлические сетки ограждений, арки и детали мостов, рельсы, подъемники, арматура в зданиях из железобетона, — как все это импульсом из сети мгновенно превращается в огромное следящее устройство, с которым мой IBM управляется в течение считанных секунд. Что именно он становится центром кристаллизации этой мощи, показывало несколько наглядных примеров. Но даже эти смутные предположения не могли хоть как-нибудь объяснить поразительные и неоспоримые факты — способность предвидеть события и ограничение этой способности двумя минутами; я принужден был терпеливо молчать, ибо видел, что Гарт полностью поглощен задачей.

Перехожу к фактам. Мы обсудили с Гартом две вещи — практическое использование эффекта и его механизм. Вопреки ожиданиям практические перспективы использования эффекта 137 секунд не оказались ни особенно широкими, ни особо важными, эффект производил скорее впечатление какого-то чисто фантастического действия. Предсказания судеб народов и хода всемирной истории в целом не поместятся в двухминутный интервал, кроме того, даже предсказание будущего на две минуты вперед сталкивается с преградой, казалось бы, второстепенной, но тем не менее решающей: чтобы компьютер начал выдавать эти свои безошибочные прогнозы, его необходимо сперва навести на соответствующий след, нужным

образом нацелить, а для этого требуется время более продолжительное, чем две минуты, поэтому, если речь идет о практическом использовании эффекта, то оно сводится на нет. Длительность интервала предсказания нельзя увеличить ни на секунду. Гарт предполагал, что это какая-то константа универсального значения, хотя и неизвестная нам. Конечно, можно было бы использовать эффект для игры в рулетку или чтобы срывать банк в больших игорных домах, однако стоимость нужного для этого оборудования было бы немалой — IBM стоит около четырех миллионов долларов, — а организация двусторонней связи, к тому же хорошо замаскированной, между игроком за столом и вычислительным центром тоже была бы крепким орешком, не говоря уже о том, что сразу же могло возникнуть подозрение в обмане. Впрочем, такое использование эффекта нас не интересовало.

Гарт составил каталог возможностей нашего компьютера. Если спросить его о поле ребенка, который должен через две минуты родиться у конкретной женщины в конкретном месте, он определит пол безошибочно, однако такое предсказание едва ли можно признать достойным стараний. Если вы начнете бросать монету или игральную кость, сообщая компьютеру начальные результаты серии бросков, а потом перестанете давать информацию, он заранее определит результаты всех последующих бросков вплоть до 137 секунд, и только. Вы должны бросать эту кость или монету и сообщать компьютеру очередные результаты, не менее 36–40 раз, что на деле напоминает наведение собаки на нужный след — единственный среди миллиардов, так как в любой момент бог знает сколько людей бросают монеты или кости, а компьютер, который глух и нем, должен найти в этой массе вашу серию бросков, как единственно нужную ему. Вы должны по-настоящему бросать кость или монету. Если перестанете бросать, компьютер будет выстукивать только нули, а если бросите только два раза, он покажет только два эти результата. Ему необходимо соединение с сетью, хотя, как подсказывает здравый смысл, сеть ему не может помочь, если кость бросают всего в двух шагах от него, — зачем здесь нужна сеть? Но отключенный от сети, он не выстучит ни слога — неважно, что мы не понимаем этой связи.

Заметьте, что компьютер, заранее знает, будете вы или не будете бросать кость, а затем предугадает развитие всей ситуации, то есть не только результат бросания кости, но и ваше поведение, во всяком случае все, что касается вашего решения бросать или не бросать кость. Мы делали и такие пробы. Я, например, решал бросать кость шесть раз подряд, а Гарт должен был мне помешать или вообще сделать бросок невозможным; причем я не знал его решения относительно этой серии бросков. Оказалось, что компьютер заранее знал не только мой план бросания, но и поведение Гарта, то есть знал, когда Гарт намеревался схватить меня за руку, державшую стаканчик, чтобы я не мог бросить очередной раз. Однажды получилось так, что я хотел бросить четыре раза подряд, а бросил за соответствующее время только три, так как споткнулся о лежащий на полу кабель и не успел вовремя бросить кость. Компьютер каким-то образом установил, что я должен споткнуться, чего и сам я не ожидал, то есть он знал обо мне гораздо больше, чем я сам.

Мы обсуждали и значительно более сложные ситуации, в которых должно было участвовать много людей сразу, например, такие, как борьба — настоящая — за кубок с костями, но подобных экспериментов не проводили, так как для них требовалось много времени, чего мы себе не могли позволить. Гарт использовал также вместо костей небольшое устройство, в котором распадались отдельные атомы изотопа, а на экране появлялись вспышки, так называемая сцинтилляция. Компьютер не умел предвидеть их точнее, чем физик, то есть, он давал только вероятность распада. Монет и костей это ограничение не касалось. Очевидно, потому, что они макроскопические объекты. В нашем же мозгу решения определяются микроскопическими процессами. По-видимому, говорит Гарт, они не имеют квантового

характера.

Во всем этом существуют, казалось бы, противоречия. Почему компьютер может предвидеть то, что случится через две минуты, хотя, задавая этот вопрос, я сам еще не знаю, что сделаю этот шаг, который приведет к осуществлению прогноза, но в то же время он не может предвидеть, какие атомы радиоактивного изотопа распадутся? Противоречия, утверждает Гарт, заложены не в самих событиях, а в свойствах наших представлений о мире, особенно о времени. Гарт считает, что не компьютер предвидит будущее, а мы сами определенным особым образом ограничены в нашем восприятии мира. Вот его слова: «Если вообразить себе время как прямую линию, протянувшуюся из прошлого в будущее, то наше сознание можно рассматривать как колесо, катящееся вдоль этой линии и касающееся ее только в одной точке. Точка эта называется текущим моментом, и она неотвратно становится прошлым моментом, уступая место новой точке. Исследования психологов показали, что то, что мы считаем текущим моментом, лишенным длительности во времени, в действительности есть протяженный отрезок, длиной несколько меньше, чем полсекунды. Поэтому возможно, что касание с линией, представляющей время, может быть еще более продолжительным, что можно пребывать в контакте с большим ее отрезком в каждый данный момент и что максимальная протяженность этого отрезка времени и составляет именно 137 секунд».

Если действительно так, говорит Гарт, то вся наша физика безнадежно антропоцентрична, ибо исходит из основ, не имеющих ценности за пределами человеческих ощущений и знаний. Это означает, что мир устроен иначе, чем сейчас утверждает физика; ясновидение как предсказание будущего, основанное на электронике или не на ней, никогда не будет иметь места. Физика переживает кошмарные трудности из-за представлений о времени, которое, согласно ее общим теориям и законам, должно быть обратимым, но на деле таковым не является. Кроме того, задача измерения времени в масштабах внутриатомных явлений создает трудности тем большие, чем меньше измеряемый интервал времени. Причина этого, возможно, в том, что понятие текущего момента относительно не только в эйнштейновском смысле, то есть оно зависит и от локализации наблюдателей и от масштабности явлений в том же самом «месте».

Компьютер пребывает попросту в своем физическом текущем моменте, а этот момент более обширен во времени, чем наш. То, что для нас должно наступить через две минуты, для компьютера уже наступило — в точности как то, что мы ощущаем и видим в данный момент. Наше сознание составляет только частицу всего происходящего в нашем мозгу, и, когда мы решаем бросить кость только один раз, чтобы «обмануть» компьютер, который должен предсказывать всю серию бросков, он об этом сразу же узнает.

Каким образом? Это мы можем представить себе, используя простейшие примеры: молния и гром наблюдаются одновременно вблизи места электрического разряда в атмосфере и одновременно при отдалении от места разряда. Молния в этом примере — мое принятое молча решение перестать бросать кость через несколько секунд. А гром — это момент, когда я действительно отказываюсь от очередного броска. Компьютер каким-то неведомым образом выхватывает из моего мозга «молнию», то есть принятое решение. Гарт утверждает, что это имеет важные философские последствия, ибо означает, что если мы имеем свободу выбора, то лишь за пределами 137 секунд, так что мы не можем обнаружить этого самонаблюдениями. В пределах этих 137 секунд мозг наш ведет себя подобно телу, которое движется по инерции и не может сразу изменить направление движения. Для того чтобы начала действовать отключающая сила, необходимо время, и что-то в этом роде творится в каждой человеческой голове. Все это не относится, однако, к миру атомов и электронов, ибо там компьютер точно так же бессилен, как наша физика.

Гарт считает, что время в действительности не похоже на какую-то линию, что оно представляет собой скорее континуум, который на макроскопическом уровне имеет совсем иные свойства, чем «внизу», там, где существуют только атомные масштабы. По его словам, чем тот или иной мозг или мозгоподобная система больше, тем протяженнее его стык с временем или с так называемым текущим моментом, тогда как атомы не имеют таких контактов вообще, они как бы танцуют вокруг этой точки. Одним словом, текущий момент это своего рода треугольник: точка, нулевая протяженность там, где электроны и атомы, и линия там, где большие тела, обладающие сознанием. Если вы скажете, что ничего из этого не поняли, я отвечу, что я тоже ничего не понял и, более того, что Гарт никогда не осмелился бы говорить такие вещи с кафедры или писать о них в научных изданиях.

Собственно говоря, я рассказал вам уже все, что хотел сказать, и остались только два эпилога — один серьезный, а другой вроде печальной истории, которую отдам вам безвозмездно.

Первый заключается в том, что Гарт уговорил меня передать исследования в руки специалистов. Один из этих людей, известная фигура, сказал мне через несколько месяцев, что после разборки компьютера и его восстановления добиться прежнего эффекта не удалось. Мне это объяснение показалось маловероятным, потому что специалист, с которым я говорил, носил мундир. Кроме того, ни одного слова об этой истории не появилось в печати. Сам Гарт также был быстро отстранен от исследований. Он не хотел бросать эту тему и однажды, после выигрыша партии в ма-джонг, сказал ни с того ни с сего, что сто тридцать семь секунд безошибочного предвидения есть в известных условиях разница между уничтожением и спасением континента. На этом он умолк, как бы прикусив язык, но, уже уходя от него, я увидел на столе том какого-то нашпигованного математикой труда о ракетах, уничтожающих ядерные боеголовки. Возможно, он имел в мыслях такие поединки ракет. Но все это только мои домыслы.

Второй эпилог произошел незадолго до первого, а точнее, за пять дней до приезда тучи экспертов. Я расскажу, как все было, но заранее отказываюсь комментировать и отвечать на любые вопросы. Было это уже в конце наших экспериментов. Гарт должен был привести на мое дежурство одного физика, которому казалось, что «эффект 137» имеет связь с таинственным числом 137, напоминающим пифагорейский символ основных свойств Космоса. Первым обратил внимание на это число покойный уже английский астроном Эддингтон. Физик не смог, однако, прийти, и Гарт явился один около трех часов, когда номер уже шел в машину.

Гарт научился просто феноменально обращаться с компьютером. Он сделал несколько небольших усовершенствований, которые сильно облегчили нашу работу. Не нужно было уже вытаскивать кабели из гнезд, так как на каждом кабеле был установлен тумблер, и кабель отключался одним касанием пальца. Как вы уже знаете, компьютер нельзя прямо спрашивать ни о чем, но ему можно передавать любые тексты, напоминающие тот род безлично отредактированной информации, каким характеризуются газетные заметки. У нас была обычная электрическая пишущая машинка, выполняющая роль телетайпа. На ней выстукивался соответственно составленный текст, и его прерывали в заранее выбранный момент так, чтобы компьютер дальше сам продолжал сфабрикованные «сообщения».

Гарт принес в этот раз игральные кости и раскладывал свои вещи, когда позвонил телефон. Звонил дежурный линотипист Блэквуд. Он относился к посвященным.

— Слушай, — говорит он, — у меня тут Эми Фостер, знаешь, жена Билла, ему удалось бежать из больницы. Он пришел домой, силой отобрал у нее ключи от машины, сел и поехал, но в известном состоянии. Она уже сообщила полиции, а сейчас прилетела сюда, вдруг мы ей чем-нибудь поможем. Я знаю, что это бессмысленно, но есть ведь этот твой пророк — может, он

что-нибудь придумает, как считаешь?

— Не знаю, — отвечаю ему, — не представляю себе... но... знаешь... нельзя ее так отправлять. Пришли ее к нам, пусть поднимется на служебном лифте.

Пока она поднималась, я объяснил Гарту, что наш коллега, журналист Билл Фостер, за последние два года стал много пить, попивал даже на дежурствах, за что его выгнали с работы. Тогда он начал глотать еще таблетки. В течение месяца дважды попадал в серьезные автомобильные аварии, так как водил машину в полусознательном состоянии, и его лишили прав. В доме был ад, наконец с тяжелым сердцем жена вынуждена была отдать его на принудительное лечение. А сейчас он каким-то образом выскользнул из больницы, вернулся домой, забрал машину и выехал неизвестно куда, разумеется пьяный, — это в лучшем случае. А может быть, и после наркотика. Жена пришла сюда, полицию уже известила, ищет помощи — понимаете, доктор, в чем дело? Сейчас будет тут. Как вы считаете, можно что-нибудь сделать? И показываю глазами на компьютер. Гарт не удивился — это человек, которого нелегко заставить врасплох, — и говорит:

— Что ж, рискнем? Прошу подключить машинку к компьютеру.

Я принялся подключать ее, когда появилась Эми. Видно было, что она не сразу отдала Биллу те ключи. Гарт пододвинул ей кресло и говорит:

— Речь идет о времени, не так ли? Не удивляйтесь вопросам, которые я буду задавать, прошу отвечать как можно точнее. Сперва нужны подробные данные о вашем муже: имя, фамилия, внешний вид и так далее.

Она отвечает, довольно хорошо владея собой, лишь руки ее слегка дрожат:

— Роберт Фостер, 136 улица, журналист, тридцать семь лет, пять футов семь дюймов роста, брюнет, носит роговые очки, на шее ниже левого уха шрам — след автомобильной катастрофы, вес 169 фунтов, группа крови нулевая... достаточно?

Гарт не отвечает, а начинает стучать. Одновременно на экране появляется текст: «Роберт Фостер, живущий на 136 улице, мужчина среднего роста, с белым шрамом ниже левого уха, нулевая группа крови, выехал сегодня из дома автомобилем...»

— Прошу указать марку автомобиля и регистрационный номер, — обращается он к ней.

— «Рамблер», Н.-Й., 657992.

«Выехал сегодня из дома автомобилем марки „рамблер“, Н.-Й., 657992 и находится сейчас...»

Тут доктор нажал выключатель. Компьютер предоставлен самому себе. Компьютер ни минуты не колеблется, на экране растет текст:

«...и находится сейчас в Соединенных Штатах Америки. Плохая видимость, вызванная дождем, при низкой облачности, затрудняет вождение...»

Гарт выключает компьютер. Задумывается. Начинает еще раз писать сначала, с той разницей, что после «находится» пишет дальше «на участке дороги между» — тут опять прекращается приток информации. Компьютер продолжает без колебаний: «...Нью-Йорком и Вашингтоном. Занимая крайний ряд, обгоняет с недозволенной скоростью длинную колонну грузовых автомобилей и четыре цистерны фирмы „Шелл“.»

— Это уже кое-что, — произносит Гарт, — но для нас недостаточно направления, мы должны вытянуть больше.

Гарт приказывает мне аннулировать то, что было, и начинает еще раз: «Роберт Фостер... — и так далее — ...находится на отрезке дороги между Нью-Йорком и Вашингтоном между километровым столбом...» Тут Гарт выключает кабель. Компьютер делает тогда что-то, чего мы раньше не видели. Он аннулирует часть текста, который уже появлялся на экране, и мы читаем: «Роберт Фостер... выехал из дома... и находится сейчас в молоке на обочине дороги Нью-Йорк

— Вашингтон. Следует опасаться, что ущерб, понесенный фирмой „Маллер-Уорд“, не будет восполнен страховым обществом Юнайтед ТВС, так как неделю назад истек срок оплаты очередного взноса и страховой полис не был возобновлен».

— Он сошел с ума? — спрашиваю я.

Гарт делает мне знак, чтобы я сидел тихо. Начинает писать еще раз, доходит до критического места и выстукивает: «...Находится сейчас на обочине дороги Нью-Йорк — Вашингтон в молоке. Его состояние...» — здесь обрывает. Компьютер продолжает дальше: «... таково, что непригодно для использования. Из обеих цистерн вылилось 29 гектолитров. При нынешних рыночных ценах...»

Гарт просит меня аннулировать и это и произносит вслух:

— Типичное недоразумение, так как «его» могло относиться с точки зрения грамматики и к Фостеру и к молоку. Еще раз!

Включаю компьютер. Гарт упорно пишет это странное сообщение. После «молока» он ставит точку и стучит с новой строки: «Состояние Роберта Фостера в настоящий момент...», затем обрывает. Компьютер останавливается на секунду, далее очищает весь экран — мы видим перед собой пустой, тускло светящийся квадрат без единого слова, — признаюсь, волосы начали у меня становиться дыбом. Затем появляется текст: «Роберт Фостер не находится ни в каком особом состоянии, так как он только что пересек на автомобиле марки „рамблер“ Н.-Й. 657992 границу между штатами».

«Чтоб тебя черт побрал...» — думаю, вздохнув с облегчением. Гарт с кривой неприятной усмешкой на лице опять приказывает все аннулировать и начинает все сначала. После слов «... Роберт Фостер находится сейчас в месте, которое определяется...» нажимает выключатель. Компьютер продолжает: «...по-разному, в зависимости от того, каких кто придерживается взглядов. Следует признать, что если речь идет о личных взглядах, то, согласно нашим обычаям и нашей Конституции, никому не следует навязывать их насильно. Во всяком случае, этого мнения придерживается наша газета».

Гарт встает, сам выключает компьютер и незаметно кивает мне головой, чтобы я выпроводил Эми, которая, как мне кажется, ничего из этой магии не поняла. Когда я вернулся, он звонил по телефону, но говорил так тихо, что я ничего не разобрал. Положив трубку, он посмотрел на меня и сказал:

— Он выскочил на другую сторону дороги и столкнулся в лоб с цистернами, которые везли молоко в Нью-Йорк. Жил еще около минуты, когда его вытаскивали из машины, поэтому компьютер сообщил сначала «находится в молоке». Когда я дал этот отрывок в третий раз, все уже было кончено, да и в самом деле можно думать по-разному о том, где находишься после смерти, и даже вообще находишься ли где-нибудь.

Как видно из сказанного, использование необычайных возможностей, которые открывает нам прогресс, не всегда легкое дело, не говоря уже о том, что оно может обернуться просто кошмарной игрой, принимая во внимание ту мешанину из журналистского жаргона и безбрежной наивности или, если хотите, безразличия к людским делам, которой в силу обстоятельств стала электронная машина.

Можете в свободное время поразмыслить над тем, что я вам рассказал. Право же, мне нечего добавить. Лично я хотел бы сейчас послушать какую-нибудь другую историю, чтобы забыть об этой.

# Лунная ночь

*Место действия — лунная исследовательская станция, на которой работают два человека, доктор Миллс и доктор Блопп. Они находятся на Луне долго и ожидают смены: смена должна прибыть, когда кончится их последняя лунная ночь. Оба заняты укладкой в контейнеры образцов геологических пород. Постоянным фоном действия служат звуковые эффекты аппаратуры: попискивание электронных устройств, легкое чмокание компрессора и т. д.; особо выделяется мелодичный свист радиочастоты, которая служит каналом связи между станцией и центром полетов в Хьюстоне. Исследователи занимаются своим делом усердно, но не слишком громко: камни они укладывают осторожно, без стука.*

Блопп. Что ты мне дал? Опять брекчия? Тот контейнер ею уже забит. А каких-нибудь плагиоклазов нет?

Миллс. Нет. Я насчитал 118 образцов, средний вес 400 граммов, вместе с контейнером около 70 килограммов. Сходится, а?

Блопп. 70 килограммов здесь, а на Земле будет весить вшестеро больше. Откуда ты взял этот диабаз? Я положу его в контейнер.

Миллс. Не закроется.

*Слышен щелчок.*

Блопп. Уже закрылся. Это с того последнего месторождения? Ты еще сломал там сверло, помнишь?

Миллс. Последний камень и последнее сверло. Фу, житья нет от этой лунной пыли!

Блопп. Я включу отсос.

*Слышен легкий шум эксгаустера [отсасывающий вентилятор].*

Блопп. Сколько у нас осталось воды?

Миллс. Хочешь пить? Возьми кока-колу. В холодильнике есть.

Блопп. Да нет, не пить. Я хочу принять ванну.

Миллс. А я только под душем. Ванну приму уже дома. Через триста восемь... нет, триста восемнадцать часов. А когда нас вытащат из воды, потребую пива. Ничего мне так не хочется, как пива. И почему нам не разрешают пить пиво?

Блопп. Потому что Хьюстон — последнее место в мире, где еще сохранилась пуританская этика. Спиртные напитки, даже низкоградусные, вредно влияют на работу мозга.

Миллс. Да брось ты. Включи лучше радио. Через минуту у нас разговор с Хьюстоном. Последний уже.

*Звуковые эффекты усиления несущей радиочастоты. Далекий, нарастающий голос.*

Голос. Алло, говорит Хьюстон. Говорит Хьюстон. Ребята, вы меня слышите? Прием.

Миллс. Говорит Миллс с Луны. Добрый (начинает чихать) вечер. А, черт! (Чихает.)

Голос. Миллс, это ты? Простудился? Сейчас я дам тебе доктора Фригарда. Эй, Том, иди сюда. У меня новость — насморк на Луне.

Миллс (обрывает его). Вовсе я не простудился. Это все пыль проклятая. Образцы. Мы как



раз кончили загрузку контейнеров. Луна состоит в основном из пыли и мусора, ты разве не знаешь?

Голос. Порядок. Вы знаете, что в моем распоряжении десять минут? В двадцать один двадцать семь вы окажетесь в зоне радиотени из-за либрации. Хотите послушать новости? Тут у меня для вас записан вечерний выпуск последних новостей Эн-би-си из Вашингтона.

Миллс. Новости? Если хорошие, можно послушать.

Голос (смеется). Все шутишь! Я включу запись, а за три минуты до прекращения связи мы последний раз скажем друг другу «до скорого». Хорошо? Прием.

Миллс. Хорошо. Разве что Блопп хочет сказать что-нибудь.

Блопп. Нет, у меня все в порядке. Спасибо.

Голос. Включаю...

*Звуковой эффект включения магнитозаписи в Хьюстоне.*

Диктор. Говорит Вашингтон. Передаем краткий выпуск последних известий. Нью-Йорк. Состояние тревоги, объявленное в связи с анонимным телефонным звонком, согласно которому в здание Большого центрального вокзала подброшена атомная бомба с часовым механизмом, благополучно закончилось сегодня днем. Полиция обнаружила неразорвавшуюся бомбу. Эксперты утверждают, что террористов обманули, продав им неочищенный изотоп урана. Во время паники на автострадах погибло тринадцать человек. Лима. Положение в Лиме осложнилось. Генерал Диас не захватил власть в результате государственного переворота, как мы сообщили в дневном выпуске последних известий. Власть захватили от его имени похитители, которые забаррикадировались в здании парламента и взяли заложниками обе законодательные палаты. Нижняя палата находится, по-видимому, в зале заседаний, а верхняя — в подвале здания. Поскольку генерала Диаса поддерживало большинство верхней палаты, неясно, считать ли генерала мятежником, похищенным террористами, или законным главой правительства. Вашингтон. Этой ночью ударом электротока уничтожен новейший компьютер «Белл Телефон Корпорейшн». Согласно неподтвержденным слухам, компьютер уничтожили сотрудники фирмы, потерявшие работу после установки компьютера. Однако неофициальный представитель служащих «Белл Телефон» доктор Бакмен заявил на пресс-конференции, что этот компьютер был сам способен запрограммировать свою ликвидацию. Если дело обстоит так, то это первый в истории случай самоубийства компьютера. В 22:00 мы передадим интервью с доктором Бакменом, утверждающим, что новейшие компьютеры социально опасны. Хьюстон. На космодроме завершается подготовка к запуску ракеты «Сатурн», которая доставит на Луну сменщиков двух американских ученых, составляющих в настоящее время экипаж лунной станции.

*Звуковой эффект выключения записи.*

Голос. Алло, говорит Хьюстон, это опять я. Осталась еще пригоршня конфликтов и недоразумений в различных частях света. У нас еще четыре минуты. Будете слушать новости или лучше поговорим? Прием.

Миллс. Спасибо за новости. С компьютером «Белл Телефон» это, должно быть, журналистская утка! Во всяком случае, наш компьютер ведет себя пайнкой. Слушай, приготовления к старту в самом деле закончены? Все в порядке?

Голос. Полный ажур. Можете быть спокойны. Том и Джеймс прилетят вас сменить с точностью довоенной железной дороги. (Смеется.) Не жалко будет расставаться с Луной и ее

изумительными пейзажами?

Блопп. Еще как. Но тут не очень-то весело. Некоторые из нас жалуются на отсутствие пива.

Голос. Эти некоторые ошибаются — пива у вас все равно не выпьешь. Слишком мало притяжение! Все пиво превращается в пену и убегает...

Миллс (с любопытством). Да ну? Ты сам пробовал?

Голос. Это государственная тайна. Ребята, до прекращения связи две минуты. Я тут смотрю на осциллоскоп и вижу, что ваша несущая частота уже начинает ослабевать. Если хотите передать еще что-нибудь, то поживее! Прием.

Миллс. У нас все нормально. Готовимся к своей последней лунной ночи.

Голос. Спокойной вам лунной ночи, прием!

Миллс. До встречи на Земле! А нашим на поисковом авианосце скажите, чтобы запасли пива, да побольше! И хорошо бы датского! Ждем смену! Конец.

Блопп. Наверное, уже не услышали.

Миллс. Ты думаешь?

Блопп. Ага. Слышишь? Несущей частоты как не бывало. Я немного усилю...

*Нарастающий треск статических разрядов.*

Блопп. Это старушка Земля так потрескивает. Сейчас перестанет, вот только зайдем подальше за горизонт... впрочем, я лучше выключу, чего тратить энергию попусту. Да... Так вот устроена жизнь. Что будем делать? Мне почему-то не хочется спать. Может, партийку в покер?

Миллс. Нет уж, спасибо. Ты все время выигрываешь.

Блопп. Потому что ты блефовать не умеешь. Но всему можно научиться. Сыграем?

Миллс. Не хочется. Карты падают на стол так чертовски медленно, что все видно.

Блопп. В покере? Ну и что? Уж не хочешь ли ты сказать, что я выигрываю, используя слабое притяжение?

Миллс. Да нет. Я только хочу сказать что надо соблюдать распорядок. Пора слушать отчет.

Блопп. Жаль, что с нашим компьютером нельзя сыграть в покер. Это серьезное упущение. В будущем надо будет его исправить. (Включает компьютер.)

Лунак. Внимание. Говорит Лунак. 21 час 29 минут по Гринвичу и первый час лунной ночи. Сообщаю текущую информацию. Вследствие либрационного движения Луны станция зашла за радиогоризонт и в течение 219 часов будет лишена связи с Землей. Наружная температура упала до минус 139 градусов. В течение последнего часа зарегистрированы три очень далеких падения метеоритов. Сообщаю показания приборов на настоящий момент. Воды в главном резервуаре 2970 литров, в санитарном резервуаре 148 литров. Температура плюс 19 по Цельсию. Содержание кислорода 23 процента. Примесь меркаптана в норме — исчезающе малая.

Блопп. Выключи его или сам слушай. Я иду купаться.

Миллс. Не можешь выдержать еще пару минут?

Лунак. Потребление тока составляет 116 ампер. Резерв — 1570 ампер-часов.

Блопп. Я бы его выключил, а? Ну, так хоть звук уберу.

Лунак (тише). Напоминаю о необходимости экономить воду и электроэнергию.

Блопп. А я искупаюсь!

Миллс. С кем ты споришь, с компьютером? Ты становишься раздражительным.

Блопп. Ничто так не успокаивает, как купание.

*Удаляется, фальшиво насвистывая; слышно, как открывается дверь ванной и шумит вода.*

Лунак. Вспомогательные агрегаты в полном порядке. Через минуту я сообщу о состоянии резервов кислорода на базе.

Блопп (напевает в ванной).

Сын Джона Брауна гулял по лужам босиком,  
Потом пришлось его поить горячим молоком.  
Слава, слава, аллилуйя! Слава, слава, аллилуйя!

Лунак. Внимание, говорит Лунак. Передаю важное сообщение.

*Пение Блоппа в ванной слышно по-прежнему.*

Лунак. Внимание. Внеочередное донесение. Внимание. Объявляю состояние тревоги первой степени и приступаю к осуществлению процедуры «КП», то есть «Критическое положение» один-ноль-семь.

Миллс. Что ты? Какая тревога? В чем дело?

Лунак. Внимание. Давление кислорода в главном резервуаре падает со скоростью от 9 до 9,76 киллограмм-силы на квадратный сантиметр в минуту.

Миллс. Кислорода? Давление падает?!

Лунак. Внимание. Начинаю процедуру «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь. В 21 час 40 минут давление кислорода в главном резервуаре составляло 190 кгс /см<sup>2</sup>.

Блопп (по-прежнему напевает).

Билл в Париж прикатил из Чикаго,  
И влюбился без памяти Билл...

Миллс. Кислород уходит? Это точно? Куда? Разгерметизация? Где?

Лунак. Главные уплотнители трубопровода А-27, центральный дроссельный клапан высокого давления, а также прокладки вилочных ответвлений Б, Д и Р-18 в норме. Давление кислорода в главном резервуаре продолжает падать. Сейчас оно составляет 103 кгс/см<sup>2</sup>.

Миллс. Да как же в норме, если падает! Это... немедленно перекачай кислород в запасной резервуар!

Лунак. В соответствии с пунктом I процедуры «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь перекачиваю кислород из главного в запасной резервуар. Давление в главном резервуаре продолжает снижаться. В настоящий момент оно составляет 70 кгс/см<sup>2</sup>.

Миллс. Падает, и так резко! Что там — резервуар лопнул?

Лунак. Ускоренное снижение давления в главном резервуаре частично вызвано перекачиванием кислорода в запасной резервуар. Датчики не фиксируют отклонения от нормы. Давление кислорода в главном резервуаре составляет 66 кгс/см<sup>2</sup> и продолжает снижаться.

Миллс. Куда уходит кислород? Куда? Отвечай!

Лунак. Данные недостаточны. Внимание. Запасной резервуар наполнен кислородом до максимума. Давление в запасном резервуаре составляет 90 кгс/см<sup>2</sup>. Давление в главном резервуаре продолжает снижаться. Сейчас оно составляет 57 кгс/см<sup>2</sup>.

Миллс. Все еще падает в таком темпе? Там где-то дыра! Но где? Если дроссельные клапаны

держат, тогда, значит, редукционные вентили? Вентили! Почему ты не отвечаешь?

Лунак. Индикатор показывает полную герметизацию редуктора и редукционных вентиляей. Муфты на разветвлениях не дают утечки. Давление в главном резервуаре продолжает снижаться и составляет 50 кгс/см<sup>2</sup>.

Миллс. А в запасном?

Лунак. Давление в запасном резервуаре без изменений — 90 кгс/см<sup>2</sup>.

Блопп (напеваает). Расчудесный нынче день...

Миллс. Пой, пой! Лунак! На сколько часов хватит резервного кислорода?

Лунак. При экономном расходовании согласно чрезвычайной процедуре «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь объем запасного резервуара достаточен для одного человека на 280 часов.

Миллс. Мало! Мало, черт подери! Докачай туда кислорода, пока весь не ушел. Вытяни из главного резервуара, сколько можешь!

Лунак. Запасной резервуар рассчитан на максимальное давление 85 кгс/см<sup>2</sup>. В соответствии с процедурой «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь я превысил допустимое давление в запасном резервуаре на 5 кгс/см<sup>2</sup>, чтобы довести до максимума запас кислорода. Дальнейшее повышение давления может привести к разрыву резервуара. Внимание. Текущее сообщение в рамках процедуры «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь. Давление в главном резервуаре снижается. Сейчас оно составляет 41 кгс/см<sup>2</sup>.

Миллс. Все еще уходит?.. Боже милостивый... Почему ты ничего не делаешь? Куда он уходит?

Лунак. Данные недостаточны. Внимание. Включаю спасательную инструкцию процедуры «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь. Параграф «Утечка кислорода и угроза удушения»... Давление кислорода в главном резервуаре падает по неустановленной причине и составляет 32 кгс/см<sup>2</sup>. Если скорость утечки останется постоянной, давление в главном резервуаре дойдет до нуля через девять-десять минут. Индикаторы А, Б, Д и группы Р-26 в норме. Уплотнители трубопроводов снабжения станции на участках до и после редуктора в норме. Редуктор и клапаны редукционных вентиляей в норме.

Миллс. Все в норме, а кислород уходит! (Сдерживая бешенство.) Да?

Лунак. Так точно. Поскольку система датчиков контролирует только свободные части резервуара и трубопроводов сети снабжения, можно предположить аварию, предусмотренную главной программой, раздел 8, подраздел 12, параграф 04: трещина в донном панцире кислородного резервуара, в том месте, где резервуар покоится непосредственно на материнской породе Луны в бетонном фундаменте. Согласно аварийной программе, параграф 05, вероятность трещины в донном панцире кислородного резервуара составляет один к четырёмстам миллиардам. Внимание. Передаю текущее сообщение в рамках спасательной инструкции «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь. Давление кислорода в главном резервуаре снижается с замедлением, поскольку утечка кислорода идет при уменьшающемся собственном давлении. Сейчас оно составляет 28 кгс/см<sup>2</sup>.

Миллс. И это спасательная инструкция? Скорее уж некролог. Нельзя еще увеличить давление в запасном резервуаре?

Лунак. Рост давления в запасном резервуаре на одну килограмм-силу на квадратный сантиметр увеличивает вероятность разрыва резервуара экспоненциально с показателем степени три.

Блопп (поет). Расчудесный нынче день...

Миллс. Что там дальше в этой спасательной инструкции?! Лунак!

Лунак. Внимание. Говорит Лунак в соответствии со спасательной инструкцией процедуры

«КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь. Пункт ноль-один инструкции. Ввиду того, что человеческий организм меньше всего кислорода расходует в состоянии полного покоя, всем находящимся на базе людям рекомендуется незамедлительно лечь навзничь, расслабить мышцы, дышать размеренно, с частотой не более 14 раз в минуту, и думать о чем-нибудь приятном или, по крайней мере, безразличном, поскольку любое возбуждение мозга ускоряет обмен веществ и тем самым — расход кислорода.

Миллс. О чем-нибудь приятном, да? Слушай! Затолкни в запасной резервуар еще хотя бы двести фунтов кислорода. Приказываю сделать это немедленно! Включи компрессор! Слышишь?!

Лунак. Не могу выполнить этот приказ, так как подчиняюсь ограничениям программы «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь. Согласно спасательной инструкции, я могу указать место, где находится катушка ограничительной программы. Кроме того, меня можно выключить целиком и взять на себя контроль над оборудованием базы, действуя далее по своему усмотрению и на свою ответственность. Но я не советую этого делать, поскольку скорость утечки кислорода такова, что он вытечет из главного резервуара раньше, чем удастся выключить указанные ограничения.

Миллс. Ну, по крайней мере это нам ясно. (Вдруг рычит во весь голос.) Блопп! Бло-о-опп!!! Блопп (через приоткрытую дверь ванной). Чего это ты разорался? Хочешь под душ? Я уже выхожу.

Миллс. Я не хочу под душ. Я хочу жить.

*Стук закрываемой двери, быстрые шаги босиком, приближающийся голос Блоппа.*

Блопп. Ты что? На кого ты похож! Что с тобой?

Миллс. Мы оба выглядим одинаково. Утечка кислорода. Весь кислород из резервуара ушел.

Блопп. Весь кислород? Что за дурацкие шутки...

Миллс. Не веришь? Тоца послушай. (Включает компьютер.)

Лунак. Внимание. Говорит Лунак. Спасательная инструкция процедуры «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь включена. На станции объявлена тревога первой степени. Давление кислорода в главном резервуаре составляет 8 кгс/см<sup>2</sup> и продолжает падать, но все медленнее. Согласно манометрическим показаниям главный резервуар протекает. Место утечки не установлено ввиду недостаточности данных. Резервуар треснул, по-видимому, в донной части панциря. Главная аварийная программа оценивает вероятность подобной трещины как один к четыремстам миллиардам. Внимание. В рамках процедуры «КП» — «Критическое положение», прежде чем приступить к продолжению спасательной инструкции, сообщая показания индикаторов станции. На трубопроводах редуктора все клапаны в норме. На разветвлениях трубопровода, а также на муфтах все уплотнители в норме...

Блопп. Выруби ты эту нудятину! Нужно подумать, что делать!

*Выключенный компьютер умолкает на полуслове.*

Блопп. Я еще не собрался с мыслями. Кислорода в главном нет, а резерв?

Миллс. Есть. Если верить компьютеру, хватит на 140 часов.

Блопп. На 140 часов?! А... на двоих?

Миллс. На двоих? Можно проверить. (Включает компьютер.) Лунак! На сколько хватит кислорода?

Лунак. Говорит Лунак. Резервного кислорода хватит на 140 часов для двух человек при

соблюдении строжайшей экономии, а для одного — на 280 часов. Продолжаю спасательную инструкцию процедуры «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь. Поскольку человеческий организм меньше всего кислорода расходует в состоянии полного покоя, всем находящимся на базе людям рекомендуется незамедлительно лечь навзничь, расслабить мышцы, дышать размеренно, с частотой 14 раз в минуту, и думать о чем-нибудь приятном... (Щелчок выключения.)

Блопп. Ну, так подумаем о чем-нибудь приятном! 140 часов, неплохо? А смена прибудет через 280 часов. (Тихо.) Не дотянем.

Миллс. Похоже на то.

Блопп. Как же это случилось? Ни с того ни с сего...

Миллс. Не знаю. Он тоже ничего не знает. «Данные недостаточны». Знакомая песенка, а? Кажется, донный панцирь не выдержал. Усталость металла или... впрочем, теперь это неважно. Так что, ложимся? Навзничь, и мышцы расслабить.

Блопп. Зачем? Кислорода при строжайшей экономии хватит на 140 часов, а смена прилетит на 140 часов позже! Вместо того чтобы лечь и задохнуться, размышляя о приятных вещах, лучше поискать какой-нибудь выход!

Миллс. Поискать можно, это конечно. Но ты бы что-нибудь надел на себя, а?

Блопп. Что? Ох! Ох! Я же стою в чем мать родила... погоди, я только что-нибудь накину... теперь главное — сохранять хладнокровие. (Треск разрываемого полотна.)

Миллс. Смотри! Рубашку на ноги надеваешь!

Блопп. О, черт! Хорошая была рубашка... (Прыскает глуповатым смехом, но смешливость у него мгновенно проходит.) Ну, я готов...

Миллс. Можешь делать, что хочешь. Я, во всяком случае, ложусь. Разговаривать можно и лежа. А инструкции для того, чтобы их соблюдать.

Лунак. Внимание. Передаю особое сообщение в рамках процедуры «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь. Давление кислорода в главном резервуаре упало ниже 4 кгс/см<sup>2</sup>. Поскольку этого уровня недостаточно для снабжения станции, переключаю питание кислородом на запасной резервуар. (Легкое сипение, потом тишина.) Внимание. Продолжаю спасательную инструкцию процедуры «КП» — «Критическое положение» один-ноль-семь. В течение всего времени, пока сохраняется состояние тревоги первой степени, не рекомендуется потребление пищи. Особенно высококалорийной белковой, поскольку ее усвоение, ускоряя обмен веществ, тем самым увеличивает потребление кислорода. (Щелчок выключения компьютера.)

Миллс (лежа). Зачем выключил?

Блопп. Слушай! Нужно связаться с Хьюстоном! Пусть ускорят запуск ракеты!

Миллс. Ты забываешь — у нас нет связи!

Блопп. Черт побери. (Включает компьютер.) Лунак, когда восстановится связь с Хьюстоном?

Лунак. Говорит Лунак. В настоящее время станция находится в зоне радиотени под горизонтом Луны из-за либрационного движения. Период нахождения в зоне радиотени составит 218 часов, считая с настоящей минуты. Продолжаю спасательную инструкцию процедуры «КП» — «Критическ...» (Щелчок выключения.)

Блопп. Слишком долго. Впрочем, тогда уже все равно... так как же все это будет? А?

Миллс. Ложись.

Блопп. На вечный отдых? Еще успею. Черт возьми! Ведь на станции должны быть кислородные баллоны скафандров! Где они?

Миллс. Осталось только два. В каждом по восемь фунтов кислорода.

Блопп. Но те, пустые! Пустые можно было бы зарядить, пока кислород еще не ушел из резервуара, а ты вместо того, чтобы этим заняться...

Миллс. Успокойся. Ты же сам выбросил все пустые баллоны возле того конуса под кратером Торричелли.

*Молчание.*

Блопп. А все-таки я попробую вызвать Хьюстон. А? Как ты думаешь?

Миллс. Он ведь под радиогоризонтом. Не стоит и браться.

Блопп. Попробовать не мешает.

*Звук включения радио.*

Блопп. Алло, Хьюстон, алло, Хьюстон! Отзовитесь! Говорит Луна! У нас серьезные неприятности. Хьюстон, вы слышите нас? Хьюстон, мы в смертельной опасности, у нас ушел кислород! Хьюстон! Сто чертей...

Миллс. Да успокойся же ты. Ложись и не двигайся.

Блопп. Допустим, я лягу. Что это даст?

Миллс. Это увеличивает наши шансы.

Блопп. Ты думаешь? Нельзя ли узнать, почему?

Миллс. Ракета может прилететь раньше.

Блопп. Ты и сам в это не веришь. Знаешь что?

Миллс. Слушаю.

Блопп. Кое-что мы все же могли бы сделать. Я не говорю, что немедленно. Но следует рассмотреть любые возможности.

Миллс. Что ты имеешь в виду? (Вдруг догадывается.) А!

Блопп. Вот именно.

Миллс. На меня не рассчитывай. У меня жена и дети.

Блопп. Я тебя и не уговариваю. Но мы оба могли бы...

Миллс. Как это оба?

Блопп. Есть такой способ. Старый, испытанный.

Миллс. Жеребьевка?

Блопп. Ну, скажем, так.

Миллс. Дело не только в семье. Это противоречит моим убеждениям. Человек не вправе делать этого сам.

Блопп. Господь Бог тебе запрещает?

Миллс. Это не самая подходящая ситуация, чтобы насмеяться над чьей-либо верой.

Блопп. Да я и не насмехаюсь. Вера велит любить ближнего...

Миллс. Но ты ведь не веришь.

Блопп. Но зато ты веришь.

Миллс. Перестань. Это цинично. И глупо.

*Слышно, как один из них встает и начинает ходить.*

Миллс. Ты зачем встал? Перестань ходить. Слышишь? Ты расходуешь больше кислорода.

Блопп. Ну и что? Все равно не хватит.

Миллс. Ты расходуешь мой кислород.

Блопп. Как это?

Миллс. А так, что я лежу согласно инструкции, а ты нет. Я расходую меньше, а ты больше, между тем как нам полагается поровну.

Блопп. Давай побеседуем на какую-нибудь более возвышенную тему. Лучше соответствующую обстоятельствам. Может, записать свою последнюю волю?

Миллс. Незачем. И без того каждое наше слово регистрируется на ленте.

Блопп. А любопытно, где она? Никогда этим не интересовался! Лунак!

Лунак. Говорит Лунак. Слушаю.

Блопп. Это ты регистрируешь все разговоры?

Лунак. Нет. В секции семь моего корпуса имеется запечатанный ящик со стеклянной крышкой, в котором находится магнитофон с автоматической сменой кассет и независимым источником питания. Запись стереть невозможно. При смене экипажа станции запись забирается на Землю и прослушивается в Хьюстоне.

Блопп. В Хьюстоне?

Лунак. Так точно. В Хьюстоне.

Блопп. А зачем независимый источник питания?

Лунак. Магнитофон получает питание от собственного атомного реактора для того, чтобы запись могла уцелеть в случае катастрофы на станции, а также для того, чтобы запись не зависела от напряжения в электросети станции.

Блопп. Понятно. Кто-нибудь мог бы устроить короткое замыкание, и магнитофон бы остановился. Они обо всем подумали! Эта крышка, должно быть, не из простого стекла?

Лунак. Защитная крышка магнитофона изготовлена из бронестекла... Внимание. Говорит Лунак. Продолжаю спасательную инструкцию процедуры «КП» — «Крити...». (Щелчок выключения.)

Миллс. Ты что, забавляешься или как? Оставь это устройство в покое. Слышал, что сказал компьютер? Внутри тебе все равно не добраться. Только ногти себе обломаешь!

Блопп. Не обломаю — ведь я ничего не трогаю.

*Шорох, похожий на царапанье или стук по стеклу, не слишком сильный.*

Миллс. Немедленно отойди от магнитофона и ложись здесь! Слышишь?

Блопп. Не хочется мне лежать. А кроме того, я попросил бы тебя сохранять самообладание. Ты становишься агрессивным.

Миллс. Я?

Блопп. Ты. Но дело не в этом. Если тебя особенно раздражает то, что я смотрел на магнитофон, я больше не буду. Ты удовлетворен?

Миллс. Лучше всего было бы заснуть. Во сне потребление кислорода меньше.

Блопп. Ты сумел бы заснуть? Я тебе удивляюсь.

Миллс. Можно принять снотворное.

Блопп. Ты думаешь? (Минуту спустя.) Ну, хорошо. Так мы и сделаем. Где оно? В аптечке?

Миллс. Да. (Шорохи.) Что ты там делаешь?

Блопп. То, что ты сказал. (Булькает вода, наливаемая в стакан.) Вот оно. Это «Секонал». (Встряхивает пузырек с таблетками.)

Миллс. Не трогай пузырек! Я сам возьму таблетку. (Слышно, что и он встал.)

Блопп. На, я уже взял. В чем дело? Чего ты на меня так уставился?

Миллс. Положи свою таблетку в рот, тогда и я положу.

Блопп. Ради Бога. (Начинает говорить несколько неотчетливо, так, будто на языке у него



таблетка.) Ты почему не глотаешь?

Миллс. Сперва надо разгрызть.

Блопп. Но ты ведь и не грызешь...

Миллс. Давай проглотим вместе на раз-два-три. Ладно?

Блопп. Странная мысль. Но если для тебя это так важно, пожалуйста! Раз, два, три!

Миллс. Ты и не думал глотать!

Блопп. Потому что ты тоже не проглотил...

Миллс. Я тебе не верю.

Блопп. Трудно ожидать, чтобы я поверил тебе.

Миллс. Почему?

Блопп. Да потому, что ты строишь из себя святого. Демонстративно лег, подчеркнув, что ведешь себя согласно инструкции, а я нет, а потом сделал донос на меня!

Миллс. Какой донос? Что ты плетешь?

Блопп. Донос в центр полетов в Хьюстон. Я, мой милый, не глухой и не слепой. Я даже не дотронулся до крышки магнитофона, а ты сказал, будто я пытаюсь залезть внутрь. Мало того! Когда я ответил, что я и не прикасался к магнитофону, ты начал чем-то скрести у меня за спиной. Этот звук был записан. Ты сделал это умышленно! Ты хотел, чтобы меня заподозрили в том, будто я пытался открыть магнитофон...

Миллс. Но ты же пытался!

Блопп. Экспертиза установит и это. Звук, доносящийся издали, регистрируется иначе, чем раздавшийся рядом. Я стоял у компьютера, а ты лежал и царапал ногтями по дереву...

Миллс. Слушай, тебе что-то привиделось. Возможно, и был какой-то случайный шорох, но я ничего не заметил. Пожалуйста, не говори со мной так. Мы знаем друг друга не первый день. Ты человек импульсивный, но, чем бы ни закончилась эта история, я взываю к лучшей стороне твоей натуры. Подумай спокойно. Было бы отвратительно, если бы здесь случилось что-нибудь...

Блопп. Куда ты клонишь? Натура любого из нас имеет свои лучшую и худшую стороны. Ты тоже небось не святой.

Миллс. Но я этого и не утверждаю. Я только хочу предложить, чтобы мы вели себя так, как того требует инструкция. Достоинно и рационально.

Блопп. Так ты переменял свое мнение?

Миллс. Не понимаю.

Блопп. Хочешь бросить жребий?

Миллс. Нет. И, ради Бога, не надо об этом.

Блопп. Не горячись. Я спросил, потому что ты сам сказал: мы должны вести себя рационально...

Миллс. И достойно! Тебе не удастся утаить ни одного слова! У нас есть свидетель, вот здесь! (Стучит по стеклянной крышке магнитофона.)

Блопп. Зря ты так кипячишься. Из-за одного-то слова?.. Извини, если я неверно понял тебя. Теперь я предлагаю: давай ляжем. Если ты мне не доверяешь, ложись с этой стороны, тогда ты сможешь меня видеть... хотя тебе нечего бояться! Что с тобой? Ты то бледнеешь, то краснеешь... хочешь воды? Руки у тебя дрожат — смотри, стакан выронишь!

*Звук падающего и разбивающегося стакана.*

Миллс. Неправда! Это ты разбил стакан!

Блопп. Каким образом? Стоя в трех шагах от тебя, когда ты его держал?

Миллс. Ты разбил! Ты нарочно взял его и бросил на пол, потому что звук записывается, а изображение — нет! Ты хотел меня обвинить — не выйдет!

Блопп. Обвинить? В чем, ради всего святого? В том, что ты выронил стакан? Тоже мне преступление! А... понятно! Ты подстраиваешь мне уже вторую ловушку. «Высокая комиссия! Сначала Блопп пытался добраться до магнитофона, но это ему не удалось. Тогда он разбил стакан и сказал, что это Миллс его выронил, потому что у того руки тряслись». Ох, уж этот коварный Блопп! Если с Блоппом что-нибудь случится, то лишь потому, что доктор Миллс действовал в состоянии необходимой самозащиты... Если ты будешь продолжать в том же духе, взывая к лучшей стороне моей натуры и одновременно делая свинство за свинством, я забаррикадируюсь в своей кабине. Ясно?

Миллс. Куда уж яснее. Ты хочешь выставить меня параноиком, психом — но это тебе не удастся!

Блопп. Зачем мне делать из тебя психа? Что я на этом выиграю?

Миллс. Ты прекрасно знаешь и сам.

Блопп. Нет. Вот именно, что не знаю. Допустим даже, что ты ведешь себя как неменяемый...

Миллс. Я веду себя совершенно нормально. То есть — честно.

Блопп. Хорошо. Ты ведешь себя совершенно нормально. Если хочешь, я могу повторить это хоть десять раз. Доктор Миллс ведет себя совершенно нормально, нормально, нормально, нормально, нормально, нормально. Довольно тебе? Я сказал только: допустим, ты ведешь себя, как неменяемый, и это зарегистрировано? Что я на этом выиграю?

Миллс. Ты непременно хочешь услышать?

Блопп. Ну да. Я прошу тебя.

Миллс. Ладно. Что у тебя там в кармане?

Блопп. В котором? В этом — носовой платок, ключи от машины и датчик. В другом — жетон для игрового автомата и блокнот. Это все, ты и сам видишь.

Миллс. У тебя там что-то еще. Что-то тяжелое — карман оттопыривается. Складной нож, не так ли?

Блопп. Это у тебя складной нож, а не у меня. Ты сам показал мне его на базе. Что, мол, тебе его дал твой сынишка накануне старта. На нем твои инициалы. Ты носил его в кармане, а теперь пытаешься изобразить дело так, будто он у меня?

Миллс. Потому что он у тебя. Ты взял его, чтобы открыть кока-колу. Им можно открывать бутылки. Он лежал на столике у микроскопа, и ты взял его.

Блопп. Я взял твой нож?

Миллс. Да. Я сам видел. Человек, привыкший пользоваться микроскопом, может и не закрывать второй глаз. Я разглядывал препарат, а другим глазом видел, как ты брал нож.

Блопп. Когда?

Миллс. Сегодня днем. Незадолго до обеда. Не делай вид, будто не помнишь.

Блопп. Интересно, на что мне был твой нож, если в холодильнике, на верхней полке, лежит универсальный консервный ключ.

Миллс. Неправда, его там нет, и я не позволю тебе подбросить его туда!

Блопп. Слишком грубыми нитками шито, дорогой мой. Если я могу подбросить консервный ключ в холодильник, значит, я знаю, где он лежит. А если так, на кой черт мне сдался твой нож?

Миллс. Но он у тебя. Я вижу, как оттопыривается твой карман...

Блопп. А я вижу, как ты садишься в танк. Одно из двух: либо ты галлюцинируешь, либо лжешь, потому что у меня нет никакого ножа. Если бы я захотел его взять, то спросил бы тебя, и это было бы зарегистрировано. А ведь днем я не мог еще знать, что вечером мы останемся без

кислорода. Я не ясновидящий. Чтобы взять твой нож, я не стал бы подкрадываться, когда ты смотрел в микроскоп. Видишь, чего стоят твои рассуждения? Приложи к затылку холодный компресс.

Миллс. Какое коварство! И я считал его порядочным человеком! Но меня предостерегали! Давно, еще на базе. Ты быстро сделал карьеру. Ты шел по трупам.

Блопп. Это называется отвлекающий маневр. Оставим мою карьеру в покое. Ты пользуешься все той же схемой инсинуации. Сперва магнитофон, после стакан, а теперь еще нож. Не знаю — возможно, у тебя мания преследования, но, так или иначе, ты стал опасен. Тебя, собственно говоря, следовало бы связать.

Миллс. Не подходи ко мне. Слышишь!

Блопп. Я к тебе не подойду, даже если бы ты сам меня упрашивал. Дураков нет. Это был бы гамбит.

Миллс. Какой гамбит? Ты сам несешь чепуху.

Блопп. Ты в любую минуту можешь все переиначить, как ты до сих пор и делал. Сначала ты придрался к тому, что я глядел на магнитофон. Потом, когда стакан выпал у тебя из рук, ты и это использовал против меня, закричав, что его разбил я. Потом был нож, твой нож с твоими инициалами. Ну да, конечно, ты хотел бы, чтобы я подошел к тебе, все равно под каким предлогом. Это была бы ловушка. Сказать, что ты задумал? Ты крикнул бы, что я на тебя бросился, и достал бы нож, чтобы меня зарезать. Лента в Хьюстоне повторила бы твой крик, и ты сказал бы, что тебе удалось вырвать у меня нож. Что ты, мол, действовал в пределах необходимой самозащиты! Вот для чего ты опутывал меня подозрениями. Стройная цепь доказательств! Но я разорвал ее. Ты ничего мне не сделаешь!

Миллс. Что за гнусная ложь! Ведь это ты сказал минуту назад, что хочешь меня связать!

Блопп. Я не сказал, что хочу. Я только сказал, что тебя следовало бы связать, потому что ты опасен для окружающих. Ты моментально это использовал, закричав, чтобы я к тебе не приближался. А я даже с места не двинулся.

Миллс. Блопп раскрыл нож!

Блопп. Это ты его раскрыл. Достал из кармана и раскрыл. Ты недооцениваешь современную технику звукозаписи. Экспертиза установит, с какой стороны раздался щелчок раскрываемого ножа — с моей или с твоей!

*По голосам можно понять, что оба в движении — по-видимому, внимательно следят друг за другом, кружат по станции, как боксеры на ринге.*

Миллс. Не приближайся ко мне! Стой на месте!

Блопп. Я не могу стоять, когда ты идешь на меня с ножом. Мне приходится отступать!

Миллс. Ложь! Это мне приходится отступать!

Блопп. Миллс не дурак. Он понял, что разоблачил себя, раскрыв нож, потому что щелчок раздался с его стороны. Поэтому он пошел на меня, а мне приходится отступать. Таким образом Миллс пытается затруднить определение нашего начального положения. Мы сделали полный круг.

Миллс. Врешь! Полкруга!

Блопп. Все та же тактика. У Миллса есть нож, а я безоружен. Поэтому я беру со стола геологический молоток. (Легкий стук.) Ну, что ты теперь выдумаешь?

Миллс. Никакого молотка на столе не было!

Блопп. Ну вот. Не было. А что я взял со стола?

Миллс. Ничего! Ты стукнул по столу костяшками пальцев! Опять ты затеял какую-то

подлость!

Блопп. У тебя нож, у меня молоток. Твой перевес уменьшился. Поэтому я предлагаю — ох! (Металлический грохот.) Миллс бросил в меня кислородный баллон!

Миллс. Неправда! Баллон лежал на полу, и ты пихнул его ногой!

Блопп. Миллс, оставь второй баллон в покое!

Миллс. Я поднял его — должен же я чем-то защищаться!

Блопп. Значит, придется и мне.

*Что-то негромко лязгает. Шаги, тяжелое дыхание, вскрик, грохот переворачивающегося столика.*

Миллс и Блопп (одновременно). Миллс напал на меня! Блопп на меня напал!

*Тишина.*

Блопп. Я последний раз предлагаю внести крупицу здравого смысла в это безумие. Если мы будем и дальше вести себя так же, то оба погибнем. Мы одинаково боимся друг друга. Правда, я моложе и сильнее, но ты, ослабев, можешь запереться в своей кабине и забаррикадировать дверь. Разумеется, я сделал бы то же самое, если бы ослабел первым. Попробуй мыслить логично. Если ты запрешься в кабине, тебе нечего будет бояться с моей стороны, ты просто-напросто задохнешься, когда кончится кислород, и я тоже. Мы задохнемся оба, а перед смертью еще замучаем друг друга до сумасшествия. Думаю, это тебя не очень устраивает.

Миллс. Чего же ты хочешь?

Блопп. Да все того же.

Миллс. Жеребьевки?

Блопп. Да.

Миллс. Я не верю, что это честное предложение. Это твой новый трюк!

Блопп. Думаю, единственное предложение, которое ты признал бы честным, это чтобы я повесился у тебя на глазах, не так ли? Дудки. Я предлагаю: решим жеребьевкой!

Миллс. Ну, что же... объясни, как ты это себе представляешь...

Блопп. Мы бросим жребий. Проигравший пойдет в свою кабину и примет яд. В контейнере с химическими реактивами есть цианистый калий. Перед тем проигравший закроется изнутри, чтобы отвести подозрение от того, кто остался в живых. Что ты на это скажешь?

Миллс. Хорошо. Ты своего добился. Жребий так жребий.

Блопп. У меня в кармане монета в один доллар. Мне орел, тебе решка. Орел проигрывает, решка выигрывает. Когда монета упадет, мы оба скажем, что выпало — орел или решка. Согласен?

Миллс. Согласен.

Блопп. Внимание, бросаю! (Звон монеты.) Решка! Решка!

Миллс. Орел! Орел!

Блопп. Решка! Врешь, решка!

Миллс. Это ты врешь! Орел!

*Пауза.*

Блопп. Тупик. Собственно, я должен был этого ожидать. Но еще не все потеряно. Мы можем довериться кому-нибудь третьему.

Миллс. Да ведь тут никого нет.

Блопп. А компьютер? Мы включим его, чтобы он сделал сообщение. Если в десятом слове, которое он скажет, будет четное число слогов — ты выиграл, если нечетное — я. Согласен?

Миллс. Согласен. То, что скажет компьютер, от нас не зависит, угадать здесь ничего нельзя. Но надо его включить так, чтобы он говорил медленно, а мы вместе будем считать слова до десятого.

Блопп. Не стоит откладывать. И без того уже столько кислорода пошло впустую! Приготовься считать. Внимание! Включаю компьютер! Начали.

Лунак. Процедура «КП» — «Критическая ситуация», пункт второй спасательной инструкции, предусматривает в условиях чрезвычайной угрозы режим крайне экономного расходования кислорода.

*Компьютер говорит несколько медленнее, чем обычно. Миллс и Блопп считают вполголоса произносимые им слова — «раз, два, три» и т. д. Десятым оказывается слово «в», и по этому поводу — односложное оно или нет — начинается спор.*

Блопп. Десять! Нечетное! «В» было десятым словом!

Миллс. «В» не считается! Это вообще не слово и не слог! Десятым словом было «условиях» — четыре слога, четное! Я выиграл!

Блопп. О-о! Уж это мошенничество у тебя не пройдет! Условия были согласованы заранее и зарегистрированы на ленте! Ни о каких исключениях не было речи! «В» — это слово! Я выиграл!

Миллс. Неправда, я!

Блопп. Отправляйся за цианистым калием! Быстро!

Миллс. Сам отправляйся! Не толкай меня! Я никуда не пойду! Руки прочь! Как ты смеешь!

*Грохот и крики. Они начинают бороться. Катаются по полу. Слышны звуки ударов, переворачивающейся мебели, оханье, хрипы: «Миллс, пусти!!!», «Блопп... не души... а! нож! брось это! Миллс! Ох! Нет! Нет!!! Блопп меня душит... не убивай меня...» Шум борьбы сперва нарастает, как бы перемещаясь по всей станции, — это могут быть удары тел о стены, о контейнеры. Люди борются без передышки, слабеют и, наконец, как бы замирают, а затем тишина; и все это время Лунак размеренно читает инструкцию.*

Лунак. По наполнении запасного резервуара кислородом до максимума, то есть до уровня, соответствующего давлению 90 кгс/см<sup>2</sup>, можно приступить к третьему пункту спасательной инструкции, к операции «С» — «Спасение». Следует отыскать в настилке пола квадрат, обозначенный красной буквой «С», и поддеть его, чтобы он выскочил из настилки. Под квадратом пола «С» размещена аварийная аппаратура для электролиза воды. Электролиз разлагает воду на водород и кислород. Аварийную электролизную аппаратуру следует соединить кабелями с зажимами распределительного щита Е-4 и Е-5. Аккумуляторная батарея вырабатывает электроток, необходимый для разложения воды на кислород и водород, в течение 250 часов в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей двух человек. Кислород, накапливающийся в кварцевом резервуаре, нужно вводить в помещение станции, а водород следует выводить наружу по специальному трубопроводу Т-б, маркированному зеленой люминесцентной краской. Чтобы обеспечить приток кислорода, достаточный для двух человек, следует перевести регулятор вентиля на букву «С» — «Спасение». Аварийную аппаратуру можно задействовать в течение восьми минут. После ее включения необходимо по-прежнему

следить за экономным расходом кислорода. С этой целью следует лечь навзничь, расслабить мышцы и думать о чем-нибудь приятном или, по крайней мере, безразличном...

# Слоеный пирог

*Кабинет адвоката Гарвея. Звонок, голос секретарши.*

ГОЛОС. К вам клиент, мистер Гарвей.

АДВОКАТ. Кто такой?

ГОЛОС. Мистер Джонс. Он у нас впервые.

АДВОКАТ. Просите.

*Входит Джонс.*

АДВОКАТ. Прошу вас. *(Указывает на кресло.)*

ДЖОНС. Благодарю. Я хотел, чтоб вы занялись моим делом. У меня на это нет ни способностей, ни времени.

АДВОКАТ. Разумеется. Для этого я и существую. Ваше лицо кажется мне знакомым. Мы где-нибудь встречались?

ДЖОНС. Возможно, вы видели меня по телевизору. Я автогонщик.

АДВОКАТ. Действительно! Команда «Джонс и Джонс» — «братья в жизни — братья за баранкой»! Как же я сразу не сообразил?

ДЖОНС. Конец команде. *(Показывает траурную повязку на рукаве.)*

АДВОКАТ. Ваш брат скончался? Соболезную.

ДЖОНС. Что делать, из игры не выйдешь. Классный был парень, и вот — катастрофа. Только позавчера мне сняли швы. Теперь нужно снова начинать тренировки. Я совсем вышел из формы.

АДВОКАТ. Надо думать. Итак, чем могу быть полезен?

ДЖОНС. Вот такая история. Я холостяк, а брат был женат. Мы застраховались перекрестно. Если погибаю я, страховку получает он, а если он, то половина идет мне, а половина его жене. То есть вдове. Ясно?

АДВОКАТ. Да, да.

ДЖОНС. Ну а теперь страховая компания начинает финтить.

АДВОКАТ. Отказывается платить страховку?

ДЖОНС. Не то чтобы отказывается, но крутит. Хочет выплатить только часть.

АДВОКАТ. Часть? По страхованию жизни?

ДЖОНС. Вроде того.

АДВОКАТ. А чем они это мотивируют?

ДЖОНС. Я толком не понял... В общем, получается, что брат не совсем умер.

АДВОКАТ. Не совсем? Значит, он жив?

ДЖОНС. Откуда! Труп.

АДВОКАТ. Его похоронили?

ДЖОНС. Ну, собственно, хоронить-то было нечего, но похороны были. Невестка ходила. Я не мог. Лежал в клинике.

АДВОКАТ. А как произошла катастрофа?

ДЖОНС. Обыкновенно. Я вел, Помпарони старался обойти меня слева, и я срезал как мог.

АДВОКАТ. Что срезали?

ДЖОНС. Виражи. Пока не выскочил на этот чертов поворот за холмом.

*Старт. Том Джонс — жгучий брюнет, брат Ричарда, — среди журналистов и болельщиков. Блеск фотовспышек. Том смеется оглушительным, трубным смехом. Ричард уже за рулем. Том садится. Машина трогается. Отрезок трассы. Поворот, бугор, из-за бугра торчит высокое раскидистое дерево. Машина проносится, скрывается за бугром. Грохот.*

*Дерево медленно наклоняется и падает. Дым. Из дымовой завесы выкатывается одно автомобильное колесо. Сирены подъезжающих карет «скорой помощи». Санитары выносят на носилках два тела. Кареты «скорой помощи» с воем уезжают. Дверь операционной. Два тела, покрытых белым, на двух каталках ввозят в операционную. Часы. Через час выезжает только одна каталка, также покрытая белым.*

*Кабинет адвоката.*

ДЖОНС. Доктор сказал, что брата не удалось вытащить. Сделал что мог, но увы... Говорит, его долг — спасти жизнь любой ценой. Вот он и спас.

АДВОКАТ. Доктор Бартон? Хирург?

ДЖОНС. Да. Получилось примерно так: где-то до сих пор (*показывает на себя, проделывая замысловатые движения*) — я, а дальше уже Том.

АДВОКАТ. Том?

ДЖОНС. Брат. Его звали Томас, а я — Ричард.

АДВОКАТ. Выходит, из вас двоих?..

ДЖОНС (*проявляя признаки нетерпения*). Ну да, да!

АДВОКАТ. Трансплантация? Понимаю. Ну хорошо, а почему страховая компания отказывается платить?

ДЖОНС. Вот и я спрашиваю. Вы должны их заставить. Пусть платят. Есть я, есть вдова, остались дети. Я влез в долги, а тут новые гонки. Нужно искать штурмана. Ведь я выступаю не в обычных гонках, а в ралли. Вы понимаете?

АДВОКАТ. Да, да, конечно... Может быть, у вас есть фотография брата?

ДЖОНС. Есть. (*Подает фото.*)

АДВОКАТ. Действительно, вы совершенно не похожи.

ДЖОНС. Ведь верно? Он был брюнет, а я блондин.

АДВОКАТ. А что на этот счет думает сама невестка?

ДЖОНС. Невестка? Ждет денег. Нужно же ей на что-то жить, а?

АДВОКАТ. Разумеется. Меня интересует... э... считает ли она себя вдовой?

ДЖОНС. А как же иначе? Ясное дело, муж умер — значит, жена — вдова. Не так?

АДВОКАТ. Безусловно, мистер Джонс. Вне всякого сомнения. Я думаю, вы правильно сделали, обратившись ко мне. Вскоре вы получите от меня приятное известие.

ДЖОНС. Рад слышать! (*Смеется точно таким же оглушительным, трубным смехом, как его брат на старте.*)

АДВОКАТ (*в котором пробуждается сомнение*). Мистер Джонс, а...

ДЖОНС. Что «а»?

АДВОКАТ. Вы совершенно уверены, что вы именно Ричард, а не Томас Джонс?

ДЖОНС. Как же я могу быть Томасом? Каждый может быть только собой, верно? Брат был штурманом, а не водителем. Водитель — я. А потом есть доказательство.

АДВОКАТ. Доказательство? Какое?

ДЖОНС. Вдова с детьми. Остались сироты, верно?

АДВОКАТ. Разумеется! Итак, мы во всем тщательно разберемся, и надеюсь, все решится в вашу пользу. А пока — до свидания.

ДЖОНС. Салют.

*Адвокат звонит в страховую компанию. Огромный зал бюро «Консолидейтед». Между рядами столов на маленьких колясках, похожих на передвижные столики-бары, стоят пластиковые торсы с вынимающимися органами: сердцами, почками, печенками, легкими и т. д.*

ГОЛОС (*из репродуктора*). Внимание. Сообщение из центральной клиники. Номера 366/9 и



179/Б изменены на номера 45-Д и 51-Д.

*Служащая встает и начинает переносить сердца и легкие из одного торса в другой. На этом фоне происходит телефонный разговор представителя страховой компании с адвокатом.*

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Вы доверенное лицо Джонса? Не советую направлять дело в суд. Наверняка проиграете. Почему? Потому что Джонсы застраховались не от несчастного случая, а на дожитие. А кто из них жив? Живым считается тот, у кого живы основные органы. Где именно они живут, не имеет никакого значения. Здесь или там — безразлично. Важно одно — они живут. А раз живут они, значит, живет и сам застрахованный — в соответствующем процентном отношении. Вот так! Могу сообщить вам сальдо. Мисс Ленд! Дайте, пожалуйста, телесные активы Томаса и Ричарда Джонсов.

*Служащая подкатывает две тележки с торсами и подает представителю две папки.*

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (в телефон). Баланс Томаса Джонса выглядит следующим образом: 48,5 процента его телесной движимости в виде ряда личных органов вложены в его брата Ричарда в качестве безвозвратного дара. 21,5 процента телесных движимостей упомянутого Томаса вложены в третьих лиц, а в семейный склеп помещены оставшиеся 30 процентов, списанные в убыток. Таким образом, баланс чистых убытков Томаса Джонса составляет около 30 процентов, и в этом размере компания согласна признать страховой договор правомочным. Что? Ричард? Но ведь вы сами утверждаете, что Ричард жив. Как же мы можем выплатить его страховку по смерти? Что? Томас? Да, Томас мертв на 30 процентов. Это все. Остальное использовано и чувствует себя прекрасно. До свидания.

*Подъезд клиники. Адвокат выходит из автомобиля. Подходят два спекулянта.*

СПЕКУЛЯНТ ПЕРВЫЙ. Ищите или продаете? Плачу по высшей ставке.

СПЕКУЛЯНТ ВТОРОЙ. Вы на процедуру? Что-нибудь серьезное? Нужны запчасточки? Почечка? Печеночка? Первый класс! Только что из тела...

АДВОКАТ. Оставьте меня в покое.

*Адвокат быстро шагает по коридору клиники. Дверь с надписью «Рекламации». Заглядывает внутрь. Что-то вроде приемной. У человека, сидящего с краю, две левые руки. Адвокат быстро захлопывает дверь и идет дальше. Входит в большой зал. Огромные шкафы-холодильники. Оживленное движение. Кладовщик в белом халате и в маске выдает обернутые марлей свертки, напоминающие головки сыра. Сестры увозят свертки на больничной каталке. Посреди зала стоит главный хирург, окруженный врачами. Адвокат подходит к нему.*

ДОКТОР. Вы ко мне? Слушаю.

АДВОКАТ. Доктор, я адвокат Ричарда Джонса. Вы оперировали мистера Джонса и его брата. Дело в том, что страховая компания...

ДОКТОР. Минутку. Сестра! Пожалуйста, истории болезни Джонса и Джонса!

ВТОРАЯ СЕСТРА (подходя к доктору). Простите, из седьмой операционной звонят, что не подходит.

ДОКТОР. Ну, так пусть кладовщик выдаст покрупнее. Я же говорил, что этот будет мал.

*Первая сестра приносит доктору истории болезни.*

ДОКТОР. Припоминаю. Да, да.

АДВОКАТ. Мне сообщили в страховой компании, что не всё... э... оставшееся от умершего брата унаследовал живущий.

ДОКТОР. Действительно. Был некоторый избыток. Кое-что осталось, но, учитывая невероятный наплыв нуждающихся, мы не можем разбрасываться подобными излишками. Надеюсь, вы понимаете? Гуманность требует делиться. Это одна из тех сложных ситуаций, которые несет с собой прогресс.

АДВОКАТ. Значит, кроме живущего брата есть и некто третий?

ДОКТОР. Конечно! Что же до последствий, то я, выполняя свой долг, спасал человека, независимо от того, холост он или женат. Поэтому не могу вам сейчас сказать, вдова ли миссис Джонс или нет. Это должен решить суд. Разве что стороны придут к какому-либо соглашению. Но меня это не касается.

АДВОКАТ. Доктор, о чем вы?! Я, собственно, не по этому делу, но... Итак, вы полагаете, что вдова может и не быть вдовой? Однако она считает того Джонса, который вышел из клиники, своим шурином. Она была на похоронах мужа! Какие же могут быть сомнения?

ДОКТОР. Увы, могут. И даже очень серьезные. Предположим, под напором обстоятельств я делаю такую вот операцию... *(Делает жест рукой, будто разрезает себя по талии на две половины.)* Кто, по-вашему, в этом случае остается в живых? Кто вступает в брак? Этот *(показывает на верхнюю половину тела)* или этот? *(Показывает на нижнюю половину тела.)* Мы здесь занимаемся только телом. А какая часть его является решающей с точки зрения супружества, должен установить закон.

АДВОКАТ. Ах вот как было! И кому же достался верх?

ДОКТОР. О нет! Я только привел условный пример. Реальная операция выглядела гораздо сложнее. Мы создали новое жизнеспособное органичное целое. Ведь вполне возможно и такое... *(Делает жест рукой, будто разрезает себя вертикально и горизонтально на четвертушки.)*

ТРЕТЬЯ СЕСТРА. Доктор, пациент из восемнадцатой умер.

ДОКТОР. Опять? Пусть доктор Фингер немедленно его воскресит. *(Адвокату.)* Всякое бывает, понимаете? Это наша работа. Последствия правового характера вне нашей компетенции.

АДВОКАТ. Первый случай в моей практике. Что вы посоветуете, доктор?

ДОКТОР. Бывают случаи посложнее, уверяю вас. На прошлой неделе к доктору Греггу из Цинциннати доставили сразу несколько пациентов. Автобус, в котором они ехали, свалился с моста. В автобус село восемнадцать человек, а из клиники вышло девятнадцать. Вот вам и проблема. Идентификация девятнадцатой особы! Документы для нее! Где ее отец? Мать?

АДВОКАТ. Неужели такое возможно?

ДОКТОР. Вы же слышали — это и случилось с доктором Греггом. В соответствии с клятвой Гиппократата мы обязаны спасать как можно больше жизней. Пациенты, надо думать, были достаточно полные и высокие. У хорошего портного обрезков не остается. Что там еще?

*Шум. Появляется пастор и, жестикулируя, кричит дискантом.*

ПАСТОР. О боже! Моя духовная карьера! Я этого не переживу! Не могу же я читать проповеди таким голосом!

ДОКТОР. Но святой отец. Я ведь уже объяснил, что это можно исправить! *(Доктору, стоящему рядом.)* Коллега, займитесь им. *(Выпроваживает пастора.)*

АДВОКАТ. Так вы мне ничего не посоветуете?

ДОКТОР. Супружество — проблема и духа и тела. Что касается психической стороны, вы можете обратиться к психоаналитику, у которого лечился ваш клиент. Привыкайте. С подобными случаями мы сталкиваемся все чаще. При большом количестве доноров возраст клиента порой приходится определять как среднее арифметическое возрастов каждого из них.

ТРЕТЬЯ СЕСТРА. Прошу прощения, доктор. Звонят из седьмой. Пациент готов.

ДОКТОР. Иду. Извините. Мне пора... *(Уходит.)*

*Адвокат, глубоко задумавшись, идет за санитаром, который катит перед собой тележку, покрытую белым. Вслед за санитаром проходит в матовую дверь. Через секунду выскакивает оттуда словно ошпаренный.*

*Кабинет адвоката. Входит вдова.*

АДВОКАТ. Приветствую вас. Миссис Джонс, если не ошибаюсь?

ВДОВА. Да. А вы — его адвокат? Я пришла только сказать вам: так легко он не выкрутится.

АДВОКАТ. Кто? Ричард?

ВДОВА. Еще не известно, Ричард ли он.

АДВОКАТ. Вы сомневаетесь?

ВДОВА. Сомневаюсь? Да мне абсолютно наплевать. Но если это Ричард, пусть отдает страховку за то, что ему досталось после моего мужа, а если — Томас, так вместо того, чтобы сидеть в отеле и выбрасывать деньги на адвокатов, пусть возвращается к жене и детям.

АДВОКАТ. Минуточку! Либо вы считаете себя вдовой, либо замужней женщиной. Если...

ВДОВА. Знаю, знаю! Хотите меня запутать. Не выйдет! У меня есть свой адвокат. Жду до субботы, а потом поговорим, но уже в суде. *(Уходит.)*

ДЖОНС *(входит осторожно)*. Я ее видел. Она была у вас, а?

АДВОКАТ. Ваша невестка? Была. Вы знаете ее требования?

ДЖОНС. Еще бы! Подавай ей или только деньги, или еще и меня в придачу. Если иначе нельзя, я, пожалуй, рискну. Во всяком случае, как муж я буду поближе к этим деньгам, верно? А что вы посоветуете?

АДВОКАТ. Дорогой мистер Джонс, я должен вас разочаровать. Все не так просто. Я был в клинике, беседовал со специалистами. К сожалению, не удалось установить, остались вы в живых или скончались.

ДЖОНС. Не понял.

АДВОКАТ. Только не волнуйтесь. Я имею в виду не субъективную, а правовую сторону вопроса. Брак заключают как в духовном, так и в плотском аспекте. В духовном аспекте вы, по видимому, Ричард Джонс. Но в материальном... *(Разводит руками.)*

ДЖОНС. О чем это вы? Так кто же я все-таки?

АДВОКАТ. На суде непременно всплывет проблема отцовства, дорогой мистер Джонс. Так вот, в духовном... э... аспекте вы, безусловно, не отец детей, поскольку, во-первых, не собирались заводить потомство от своей невестки, а во-вторых, даже мысленно не планировали шагов, результатом которых является отцовство. Не правда ли?

ДЖОНС. Ясно, не хотел. В жизни у меня с ней ничего не было. Как можно? Ведь невестка же!

АДВОКАТ. Именно. Теперь послушайте: если принимать во внимание духовную сторону проблемы, то вы не отец этих детей и в правовом аспекте. Ведь не вы отвечали «да» на вопрос пастора «хочешь ли ты взять в жены эту женщину?». Однако, к сожалению, вы попали в катастрофу, следствием чего явился целый ряд трансплантаций. Возникает опасение и даже уверенность, что с точки зрения плоти вы — отец, поскольку в настоящий момент именно вы располагаете теми участками тела вашего брата, которые в силу их предназначения и функций заведуют отцовством.

ДЖОНС. Ничего не понимаю, но это неправда. Никакой я не отец. Говорю вам, не прикасался я к ней. Конечно, если нельзя иначе, я могу их усыновить, но ничего больше.

АДВОКАТ. Мистер Джонс! Вы еще не представляете себе всей сложности проблемы. Отец не может усыновить собственных детей, а поскольку, будучи отцом телесно, вы не являетесь им духовно, на основании брачных отношений, ибо с матерью детей венчались не вы, а ваш брат, постольку из этого следует, что вы являетесь частично шурином, а частично мужем. То же самое касается отцовства! Но ни брак, ни усыновление, ни развод на 30 процентов с точки зрения закона невозможны! Поэтому вы не можете ни развестись с невесткой, ни жениться на ней, разве что признаете под присягой, что эти дети вообще никогда не были детьми вашего брата, но что вы, совершив прелюбодеяние, произвели их на свет с невесткой до катастрофы!

ДЖОНС. И тогда я был бы признан их отцом? Спасибо.

АДВОКАТ. Ничего подобного! Тогда вы оказались бы только их дядей! При этом, учитывая, что в настоящее время ваш скончавшийся брат обладает... Хотя нет! Ведь здесь замешаны третьи лица! Возможно, отец детей находится совершенно в ином месте и даже не подозревает о своем отцовстве. Какой случай! Какой неслыханный юридический казус! Исторический прецедент.

ДЖОНС. Чему вы так радуетесь? Мне-то что делать прикажете?

АДВОКАТ. Прежде всего — спокойствие. Выше голову!

ДЖОНС. Само собой, нервничать нельзя. В пятницу у меня ралли. Я зайду к вам в субботу. Тогда и поговорим. А то сейчас у меня голова забита другим...

АДВОКАТ. Прекрасно, но остается еще одно. Сами понимаете, издержки растут. Желательно получить аванс.

ДЖОНС. После ралли. Выиграю — заплачу. Надо думать, пятьдесят тысяч хватит, а? Кредиторы мне житья не дают, так и ходят за мной. Куда я, туда и они. Надо же было такому случиться!

*На улице Джонса, вышедшего из ворот, окружают несколько человек разного возраста.*

ДЖОНС. Отвяжитесь! Оставьте меня в покое. Прочь! Нет у меня никаких денег! Поговорим в субботу! Да, да, в субботу! До субботы — ничего! *(Садится в автомобиль и уезжает. Кредиторы разочарованно смотрят ему вслед.)*

*Кабинет адвоката. Входит Джонс. Он слегка прихрамывает. В руках — дамская сумочка, он украдкой откладывает ее в сторону.*

АДВОКАТ. Рад вас видеть. Давненько не встречались!

ДЖОНС *(осторожно садясь)*. О да. Почти три месяца. Чертовское невезение.

АДВОКАТ. Горячо вам сочувствую. Примите мои соболезнования. Я слышал, в результате трагического происшествия вы потеряли невестку. То бишь супругу. Впрочем, теперь это уже несущественно. В любом случае вы потеряли близкого человека, и я от всей души разделяю ваше горе! Вы пришли по поводу тяжбы со страховой компанией? Видите ли, дело еще не сдвинулось с места, но...

ДЖОНС. Нет. У меня новые заботы. Меня так зажали, что не знаю, как и выбраться.

АДВОКАТ. О? Я читал о катастрофе...

ДЖОНС. В газетах было не все. Врачебная тайна. Если б не доктор Бартон, меня уже не было б в живых. Но когда он позавчера снял швы, мне принесли судебные повестки. Шесть штук! Именно с этим я к вам и пришел. Выручайте!

АДВОКАТ. Сделаю все, что смогу. Итак?

ДЖОНС *(вынимает из кармана лист бумаги)*. Мне бы всего не запомнить, пришлось записать. Значит, так. Меня обвиняют в присвоении драгоценностей, в профанации, то есть осквернении... Дальше не могу разобрать. У вас нет лупы?

*Адвокат подает лупу.*

ДЖОНС. Вот: в пренебрежении материнскими обязанностями.

АДВОКАТ. Вероятно, отцовскими.

ДЖОНС. Нет, материнскими.

АДВОКАТ. Вы — женщина?

ДЖОНС. Еще чего?!

АДВОКАТ. Вы изменили пол?

ДЖОНС. Ничего я не изменял. То есть... *(Массирует себе колени.)* Собственно, не я изменил, а она. Хотя тоже нет, ведь она умерла.

АДВОКАТ. Ничего не понимаю. Кто «она»?

ДЖОНС. Саломея Тайнелл.

АДВОКАТ. Кто это?

ДЖОНС. Ралли должно было укрепить мое финансовое положение. Я нашел себе нового штурмана, Фрэнка Смита. Может, слышали. Мировой был парень! Но, черт, это мое невезение.

АДВОКАТ. Что, опять из вас двоих?..

ДЖОНС. Нет, на этот раз было еще хуже. Все мои кредиторы и разные другие типчики пришли посмотреть на ралли. Наиболее эффектно это видно на виражах. Даже невестка пришла, хоть и имела ко мне претензии. Короче говоря, вместе с ней там стояло восемь человек. *(Вынимает второй листок.)* Кредиторов моих вы знаете, так что я их опущу. Кроме них — Саломея Тайнелл, 35 лет, Нэнси Квин, 23 года, о невестке я уже говорил. А получилось вот что: я вошел в поворот на ста восьмидесяти, и все было бы в порядке, если б у меня не занесло зад. Как меня потащит, как закрутит...

*Поворот шоссе. Группа зрителей: невестка-вдова, кредиторы, две женщины, сбоку мужчина с боксером на поводке. Автомобиль приближается с бешеной скоростью. Идет юзом, его выносит на обочину, он налетает на дерево. Там, где стоит группа людей, возникает столб дыма, из дыма выкатывается одно автомобильное колесо, за ним второе.*

*Вой карет «скорой помощи». Уже знакомая дверь операционной. В нее гуськом въезжает вереница каталок, покрытых белым. Выезжает только одна.*

*Джонс, жестикулируя, ораторствует в кабинете адвоката.*

ДЖОНС. Ну, я потерял сознание. Доктор говорит, что делал все, что мог. Теперь я ему должен кучу денег. От кредиторов я вроде отделался, но все равно в долгу как в шелку.

АДВОКАТ. Значит, и невестка тоже... Как я вам сочувствую!

ДЖОНС *(время от времени трогает колено, бедра, массирует себе суставы)*. Тоже.

АДВОКАТ. Так кто, собственно, и в чем обвиняет вас теперь?

ДЖОНС. Во-первых, жених Нэнси Квин. Он требует возвратить платину и золото.

АДВОКАТ. Какое золото?

ДЖОНС. Вот это... *(Открывает рот и показывает золотые коронки.)* Жених — дантист. Они должны были обвенчаться. Ну, он ей по-дружески и вставил то да се. Золото, а мостик платиновый. Теперь требует, чтобы я ему это вернул.

АДВОКАТ. Вы? Ему?

ДЖОНС. Да. Говорит, это был подарок невесте, а я не его невеста. Вроде он и прав, но разве я это забрал? Я никого не просил ни о каких коронках! Никаких золотых коронок я не заказывал, так чего же ради я должен что-то отдавать?

АДВОКАТ. Ну... э... конечно... мистер Джонс. Редкостное дело! Это все претензии к вам?

ДЖОНС. Как бы не так! Та, вторая женщина, Саломея Тайнелл... Я ее не знал. В глаза не видел, а теперь ее дядя требует, чтобы я выплачивал на содержание детей.

АДВОКАТ. Ее детей?

ДЖОНС. Ну да.

АДВОКАТ. Понимаю. Поскольку катастрофа на трассе произошла по вашей вине, хотя и неумышленно. Так?

ДЖОНС. Ничего вы не понимаете. Комиссия установила, что я не виноват в катастрофе, так как там было разлито масло. Я должен платить не из-за катастрофы, а... В общем, в качестве матери или же пролонгации матери.

АДВОКАТ. Пролонгации матери? Кто придумал такую формулировку?

ДЖОНС. Дядюшкин адвокат. Он говорит, что я мать на одну четверть.

АДВОКАТ. О какой матери идет речь?

ДЖОНС. Господи! Послушайте, у этой женщины, Тайнелл, было трое детей. Так? Она

страшно болела — ревматизмом. Теперь, как только дело к дождю, у меня так колени ломит, что я не чувствую ни сцепления, ни газа. Для меня это гибель, сами понимаете!

АДВОКАТ. Значит, миссис Тайнелл... ее ноги...

ДЖОНС. Ну, наконец-то дошло. Примерно досюда... *(Неопределенный жест в области бедер.)* Такой ревматизм, такое все хворое, а дядюшка, прохвост, требует, чтобы я заботился о малышах, шлет мне письма с угрозами! *(Вынимает из кармана письмо.)* «Или ты будешь давать на детей, или я потребую, чтобы ты немедленно уложил незабвенные конечности моей племянницы в фамильный склеп. Я не допущу, чтобы кто-нибудь пользовался останками моей дорогой усопшей!»!

Что вы на это скажете? До чего же бессовестные есть люди!

АДВОКАТ. Гм! Многовато... Позвольте, я запишу? *(Пишет, бормоча.)* М-м... Профанация, золотые коронки, мостик, трое детей, материнские обязанности, ревматизм... Итак, дорогой мистер Джонс, поскольку вы мне уже все объяснили...

ДЖОНС. Какое там все! Есть еще доктор Миллер и плюс ко всему — собака.

АДВОКАТ. Чего хочет доктор?

ДЖОНС. Чтобы я заплатил за лечение ревматизма. Миссис Тайнелл лечилась у него, а платила сразу за год. Сейчас как раз подошел срок выплаты. Доктор говорит, что лечил ноги и ноги целы, значит, платить должен тот, кто на них ходит, кто ими владеет. Угрожает, что подаст на меня жалобу и продаст с торгов! Но, во-первых, суставы у меня ноют дьявольски...

АДВОКАТ. Нет! Не так, мистер Джонс. Неверная линия. В этом я прошу вас не признаваться.

ДЖОНС. Почему? Говорю же вам, как только дело идет к дождю...

АДВОКАТ. Это не имеет значения. Если вы хоть раз признаетесь, что ноги не ваши...

ДЖОНС. Мои! Я ведь хожу на них, так?

АДВОКАТ. В любом случае запрещаю ввязываться в какие-либо споры или беседы с истцами. С этого момента я сам буду представлять ваши интересы.

ДЖОНС. Прекрасно.

АДВОКАТ. Помнится, вы еще упоминали о какой-то собаке?

ДЖОНС. Да. Там, сбоку, стоял какой-то тип. Он не пострадал, но его собака, боксер, исчезла. Так этот тип утверждает, что я ее похитил.

АДВОКАТ. Вы?

ДЖОНС. Но это чушь. Мыльный пузырь. Я ничего не знаю ни о какой собаке. Доктор Бартон тоже.

АДВОКАТ. Минутку. На всякий случай запишем. Собака породы боксер. Хорошо. Теперь все?

ДЖОНС. Пока да. *(Встает.)* Где она? Даю голову на отсечение, я положил ее где-то здесь. Вы не видели?

АДВОКАТ. Чего?

ДЖОНС. Сумочки.

АДВОКАТ. Вот лежит какая-то сумочка. *(Показывает на дамскую сумочку, которую Джонс положил сбоку на стул.)*

ДЖОНС. Действительно. Спасибо. *(Берет сумочку, достает из нее носовой платок, вытирает лоб.)*

АДВОКАТ. Вы пользуетесь сумочкой?

ДЖОНС. Да. Это удобнее. Вы не находите? Карманы не оттягиваются.

АДВОКАТ. Можно узнать, как давно?

ДЖОНС. Не помню. С некоторых пор. Итак...

АДВОКАТ. Минутку, мистер Джонс. Расходы опять начнут расти. Сами понимаете — сколько хлопот! Я вынужден просить вас об авансе.

ДЖОНС. Я ждал этого. Пока могу дать только сто долларов, но на будущей неделе я участвую в среднеамериканском ралли. Первая премия восемьдесят тысяч. Покроет все расходы, верно? Теперь мне придется много тренироваться. Я набит аспирином, как аптека... Ох, мои ноги, мои ноги! Что делать, из игры не выйдешь... Да, знаете, я собираюсь застраховаться перед ралли, но так, чтобы в случае чего компания не смогла отделаться пустячком! Прошу мне помочь.

АДВОКАТ. Охотно. Я позабочусь. Мистер Джонс, вы посещаете всегда одного и того же психоаналитика?

ДЖОНС. Да. Доктора Банглосса. А что?

АДВОКАТ. Ничего. Просто хотелось знать. До свидания.

ДЖОНС. Салют.

*Адвокат в приемной психоаналитика, доктора Банглосса.*

АДВОКАТ. Итак, я адвокат Ричарда Джонса. Впрочем, я уже объяснил цель моего визита по телефону.

БАНГЛОСС. Конечно. Прошу. Вы хотите узнать... э... подоплеку всего этого. Хорошо. Джонс... особый случай!

АДВОКАТ. Именно. Он вовлечен одновременно в несколько тяжб. Суд может вызвать экспертов, вы понимаете... чтобы они дали заключение. Как его защитник, я должен быть подготовлен ко всему.

БАНГЛОСС. Да. Помню, вы говорили. Вот его материалы... но в принципе это врачебная тайна.

АДВОКАТ. Я действую от имени подзащитного. Для его же пользы. Меня профессиональная тайна также обязывает.

БАНГЛОСС. Ну, хорошо. В течение последнего года в его поведении произошли изменения.

АДВОКАТ. Изменения? Какие?

БАНГЛОСС (*показывая на магнитофон*). У меня тут зарегистрированы некоторые фрагменты курса лечения Джонса. Я использую метод свободных ассоциаций. Вам он знаком? Я произношу какое-либо слово, а пациент отвечает первым пришедшим в голову.

АДВОКАТ. Да, я знаю.

БАНГЛОСС. Первый фрагмент — двухлетней давности. Послушайте, пожалуйста. (*Включает магнитофон.*)

*Слышны голоса Джонса и Банглосса.*

БАНГЛОСС. Ночь.

ДЖОНС. Фары.

БАНГЛОСС. Темнота.

ДЖОНС. Предохранитель.

БАНГЛОСС. Почему «предохранитель»?

ДЖОНС. Раз темно, значит, выбило предохранитель. Верно?

БАНГЛОСС. Шляпа.

ДЖОНС. Клапан.

БАНГЛОСС. Каким образом вы связываете шляпу с клапаном?

ДЖОНС. Проще простого. Шляпа — это цилиндр, а в цилиндре есть клапаны.

БАНГЛОСС. Ясно. Внимание. Кровь.

ДЖОНС. Стоп.

БАНГЛОСС. Почему «стоп»?

ДЖОНС. Потому что красный цвет.

БАНГЛОСС. Святая троица.

ДЖОНС. Двойка.

БАНГЛОСС. Что значит двойка и почему?

ДЖОНС. Ну, троица — это тройка, а тройка — третья скорость. Стало быть, двойка — вторая.

БАНГЛОСС. Каламбур.

ДЖОНС. Карбюратор.

*Банглосс выключает магнитофон.*

БАНГЛОСС. Так было два года назад. Всю фрейдовскую символику он сводил к автомобилю. Если я говорил «ноги», он отвечал «шасси», и даже палка, заметьте, была для него рычагом переключения скоростей. А вот фрагмент записи, сделанной после несчастных случаев. *(Включает магнитофон.)*

БАНГЛОСС. Шляпа.

ДЖОНС. Вуаль.

БАНГЛОСС. Цветы.

ДЖОНС. Орган.

БАНГЛОСС. Почему «орган»?

ДЖОНС. Понятия не имею. Так получилось.

БАНГЛОСС. Поршень.

ДЖОНС. Колечко.

БАНГЛОСС. Запчасти.

ДЖОНС. Причастие.

БАНГЛОСС. Бензин.

ДЖОНС. Перчатки.

*Психоаналитик выключает магнитофон.*

БАНГЛОСС. Как видите, сомнений нет. Цветы напоминают ему об органе, шляпа — о вуали. Разумеется, подвенечной фате. Поршень вызывает ассоциацию вначале с поршневым кольцом, а затем с обручальным колечком. Упоминание о запчастях вызывает мысль о причастии, таинстве. Бензин ассоциируется с перчатками. Такая ассоциация возможна только у женщины, ибо мужчины не занимаются чисткой перчаток.

АДВОКАТ. О господи! Значит, его действительно нет?

БАНГЛОСС. Ну что вы говорите! Как нет?

АДВОКАТ. Так ведь это же ясно — он Нэнси Квин! Та девушка, которая...

БАНГЛОСС. Нет. Все не так просто. Нэнси вообще не связала бы поршень с колечком. Поршень наверняка не ассоциировался бы у нее с поршневым кольцом. В крайнем случае — с давлением, а затем — с объятиями. Я бы сказал так: на поверхности мы имеем Джонса, а в глубине — девушку. Как масло на хлебе!

АДВОКАТ. Масло на хлебе? Вы шутите...

БАНГЛОСС. Нисколько. Вам известно, как работают сегодня хирурги? Кусочек кожи, кусочек пластика, кусочек еще чего-то, что оказалось под рукой, сшил то, что подвернулось. Его пришлось штуковать по кусочкам.

АДВОКАТ. По кусочкам?

БАНГЛОСС. Вероятнее всего. Я хочу сказать, что о самой операции мне ничего не известно.

АДВОКАТ. Так кто же он в действительности?



БАНГЛОСС. А что такое слоеный пирог?

АДВОКАТ. Но я не могу представлять в суде слоеный пирог!

БАНГЛОСС. А почему бы и нет? Новые времена — новые нравы. Привыкнете!

АДВОКАТ. Однако что-то же должно взять верх! Все-таки он Джонс или нет?

БАНГЛОСС. Трудно сказать. Временами он ведет себя агрессивно. На последнем сеансе, когда я вводил его в гипнотический транс, он меня укусил. *(Показывает перевязанный палец.)*

АДВОКАТ. Укусил? Боже мой, собака!

БАНГЛОСС. Какая собака?

АДВОКАТ. Боксер. Она тоже там крутилась.

БАНГЛОСС. Где?

АДВОКАТ. На месте катастрофы. Потом исчезла. Вы видели, где это случилось?

БАНГЛОСС. Нет. А это имеет какое-нибудь значение?

АДВОКАТ. Постольку-поскольку. Все стояли у ограждения. Обычная сетка. Автомобиль налетел на них... а собака тоже была там. Была и сплыла. Есть свидетели.

БАНГЛОСС. Вы считаете?! Хм-м... Собака. В связи с этим... учитывая, что... может, мне сделать прививку?

АДВОКАТ. По-вашему, Джонс бешеный?

БАНГЛОСС. Не Джонс, а собака.

АДВОКАТ. Неужели возможно, что...

БАНГЛОСС. А почему бы и нет? Его организм, вероятно, отторгнет трансплантат, но я тем временем могу взбеситься. Лучше уж сделать. Береженого бог бережет. Благодарю за информацию.

АДВОКАТ. Не за что. Но как же мне вести дело?

БАНГЛОСС. Эти катастрофы следуют одна за другой с катастрофической быстротой... Советую вам пока воздержаться от каких бы то ни было действий до следующего ралли.

АДВОКАТ. Вы думаете? Возможно... *(Встает, чтобы попрощаться.)*

*Кабинет адвоката. Голос секретарши.*

ГОЛОС. Мистер Гарвей, пришел мистер Джонс.

АДВОКАТ. А, появился! Великолепно! Пусть войдет.

*Входит Джонс.*

ДЖОНС. Приветствую вас. Я пришел, чтобы...

АДВОКАТ. Я прекрасно знаю, с чем вы пришли! Я ждал вас.

ДЖОНС. Ждали? Странно.

АДВОКАТ. Почему странно?

ДЖОНС. Потому что до вчерашнего дня я еще сомневался, какого адвоката нанять. Но в конце концов решил обратиться к вам. О вас так много хорошего говорил Джонс.

АДВОКАТ. Джонс? Какой Джонс?!

ДЖОНС. Ну, Ричард Джонс, мой водитель на последнем ралли, этот бедолага. Ах да! Я забыл представиться. Меня зовут Джон Фокс. Я штурман. Мы с Джонсом — старые приятели. Когда он предложил мне участвовать в ралли, я охотно согласился. Тогда-то он и рассказал мне, что вы защищаете его интересы. А то, что ралли закончилось для него трагически, — уж такая у нас рискованная профессия, а? Первые двести миль мы лидировали. Просто блеск. Ричард вел отлично, как в лучшие свои годы, и только на этом треклятом вираже...

*Трасса. Автомобиль. Поворот. Одинокое дерево. Грохот. Дерево клонится и падает. Нарастающий вой сирен. Дверь операционной.*

Отец Цинконий, доктор Магнетикус, сидел в своей келье и, поскрипывая, ибо нарочно не смазывался ради умерщвления металлической плоти, изучал толкования Хлорентия Всеянского, и прежде всего знаменитое Рассуждение шестое — «О Сотворении Роботов». Он как раз дошел до конца раздела о программировании Бытия и теперь сосредоточенно водил взглядом по страницам, испещренным разноцветными буквами, кои повествовали о том, как Господь, возлюбив среди иных металлов железо, вдохнул в него животворящий дух; тут в келью тихо вошел отец Хлориан и скромно встал у окна, дабы не мешать прославленному богослову в его размышлениях.

— Ну как там, любезный мой Хлорианчик? Что слышно? — спросил чуть погодя о. Цинконий, оторвав незамутненные кристаллы очей от фолианта.

— Отче, — молвил тот, — я принес тебе книгу, только что проклятую Святейшей Коллегией, по наущению диавольскому написанную, сочинение этого богомерзкого мармагедонца Лapidора, именуемого Галогенным, с изложением гнусных экспериментов, коими тщился он опровергнуть Истинную Веру.

И положил перед о. Цинконием тоненькую книжицу, уже снабженную соответствующей печатью св. Коллегии.

Старец отер чело, и крупичи ржавчины упали на страницы брошюры; с живостью взяв ее, он сказал:

— Не богомерзкого, Хлорианчик, не богомерзкого, а всего лишь несчастного по причине заблуждений своих!

С этими словами перелистал он книжку и, увидев названия глав, как то: «О Бледных Мякотниках, Мякишниках и Размягченцах», «О мыслящем твороге», «О происхождении Разума из Неразумной Машины», слегка улыбнулся — впрочем, вполне добродушно — и наконец промолвил:

— Ты, Хлорианчик, вместе со всей Святейшей Коллегией, которую я почитаю всем сердцем, судишь весьма опрометчиво. Ну что ж тут такого, в этой книжке? Всякие бредни, высосанные из гайки, несусветная чушь, рассказы и легенды, преподносимые уж не помню который раз: что, дескать, какие-то мякотелы, или телотрясы, или, согласно другим апокрифам, колыханцы (они же трясунчики) в незапамятные времена сотворили нас из винтиков и проводов...

— Вместо Всевышнего!!! — прошипел, слегка задрожав, о. Хлориан.

— Проклятия ничуть не помогут, — добродушно заметил о. Цинконий. — Если на то пошло, не разумнее ли смотрит на вещи отец Этерик от Фазотронов, который уже три десятка лет назад сказал, что проблема эта не богословская, а естественнонаучная?

— Но, отче, — едва не поперхнулся о. Хлориан, — это учение запрещено провозглашать ex cathedra, [\[156\]](#) а не осудили мы его единственно из уважения к святости автора, который...

— Успокойся, любезный мой Хлорианчик, — молвил о. Цинконий. — И очень хорошо, что не осудили, — не так уж оно нелепо. Этерик говорил, что даже если существовали некогда размягченцы, породившие нас в своих мастерских, а после сами себя погубившие, это вовсе не противоречит божественному происхождению всякой разумной твари. Господь всемогущ и своею волей мог препоручить этим неученым бледнягам изготовление стального народа, который будет Его славословить во веки веков, вплоть до Всеобщего Воскресения из Ржавчины. Мало того: по-моему, думать иначе, то есть начисто исключать такую возможность, есть ужасная ересь; можно ли, вопреки Писанию, отрицать всемогущество Божие? Что скажешь?

— Однако же доктор святой теологии Киберакс доказал, что «Студневедение» бледнолога Турмалина, которому следовал патер Этерик, содержит в себе не только тезисы, противные разуму, но и кощунства против веры. Ведь там утверждается, будто желейники, или студенты, изготовляли своих потомков-студеньшей не по типовым проектам, под присмотром инженеров-плодотворителей, единственным разумным способом, то бишь путем монтажа из полуфабрикатов, а, напротив, не имея никакого образования, без всякой документации, кустарно и совершенно бездумно. Ну ладно уж нелегальный потомок, созданный по проекту, не утвержденному в департаменте демографической промышленности, это еще можно понять — но без всякой документации?!

— Это странно, согласен, но в чем ты видишь кощунство?

— Прости, преподобный отец, но это мне странно, что ты не видишь кощунства... Ведь если у них *stante pede, ex abrupto, exproptu*<sup>[157]</sup> получалось то, что у нас требует законченного высшего образования, конструкторских разработок, расчетно-теоретической экспертизы, то, выходит, любой из них своими детотворительными умениями заткнул бы за пояс наших кибернетиков, докторов информатики и даже докторизованных доцентов! Как же так? Значит, любой юнец, не задумываясь, изготовляет потомство? Да откуда ему знать, как это делается? Творить детей без диплома, без всяких знаний, одним махом, вернее, запихом (да простит меня Господь за такие слова), ведь это предполагает потенцию *creationis ex nihilo*, творения из ничего, то есть способность творить чудеса, присущую только Всевышнему!

— Значит, по-твоему, они либо гении детотворения, либо чудотворцы? — спросил отец Цинконий.

— Но бледнолог Диализий писал, что хотя они изготовляли свое потомство без ученых советов и комитетов, однако не в одиночку, а парами. А это — указание на техническую специализацию! О том же говорят дошедшие до нас термины, запечатленные на библиотечных карточках: «красавец», «красотка» (правильно, конечно, «трясавец», «трясотка»); а ведь *semper duo faciebant collegium multiplicationis*,<sup>[158]</sup> не так ли? Они искали уединения, чтобы взаимно проконсультироваться, обсудить чертежи, выполнить положенные расчеты... Без обсуждения не бывает деторождения, это ясно, тут я с тобой согласен, мой Хлорианчик. Конечно, что-то они проектировали, прежде чем браться за монтаж микроэлементов, а как же иначе! Соорудить разумное существо, твердое оно или мягкое, это не фунт изюму!

— Скажу тебе, отче, до чего бы я не хотел дожить, — дрожащим голосом произнес отец Хлориан. — Мысль твоя, преподобный отец, на опасный вступила путь! Еще немного, и я услышу от тебя, что можно плодить потомство не за чертежным столом, опираясь на лабораторные испытания, при величайшей концентрации духа, а прямо в постели, без всяких моделей или исследований, вслепую, на ощупь и даже без всякого умысла... Умоляю тебя — и предостерегаю: это не просто нелепицы, это происки Дьявола! Опомнись, отче...

— По-твоему, у Дьявола нет других забот? — ответил упрямый старец. — Но оставим в покое науку детоделия. Подойди-ка поближе. Я открою тебе тайну, которая, возможно, тебя успокоит... Вчера я узнал, что трое химикантов из Коллоидного института изготовили из желатина, воды и чего-то еще (кажется, брынзы) беловатый кисель, который они назвали Студенистым Мозгом. Ибо он не только решает задачи по высшей алгебре, но вдобавок выучился играть в шахматы и поставил мат директору Института. Как видишь, доказывать, что никакая мысль в киселе не удержится, дело напрасное, а ведь Святейшая Коллегия твердо на этом стоит!



Более ста томов переводов произведений французской классической литературы, выпущенных в 30-е годы XX в. известным писателем, критиком и переводчиком Тадеушем Бой-Желенским (1874–1941).

благословенная пауза (*лат.*).

Абдергальден Эмиль (1877–1956) — швейцарский биохимик, исследователь структуры и функции белков.

Преображение во Христе (*лат.*).



шизофрения (*лат.*).

старческое слабоумие (*лат.*).

на войне как на войне (фр.).

Гнев, о богиня, воспой... (греч.)

Здесь: пожиратель экскрементов (*греч.*).

Виткаци (псевдоним Станислава Игнацы Виткевича, 1885–1939) — польский писатель, художник, философ.

Пеано Джузеппе (1858–1932) — итальянский математик. Рассел Бертран (1872–1970) — английский философ и математик.

Только мертвые знают мотив,  
Под который танцуют живые... *(англ.)*



Ангельский доктор (*лат.*). В средние века — почетное звание богословов.

Латинские наименования сросшихся близнецов разных видов. — *Примеч. ред.*

предположительно — опухоль (*лат.*).

Здесь: неадекватная смешливость (*нем.*).

Любовный приступ в крайне опасной стадии (*лат.*).

Сокращение от «прогрессивного паралича».

Непроизвольные ритмические движения глазного яблока.

охрана железной дороги, охранник (от нем. bahnschutz).



На память о Дрездене (нем.).

За хорошую работу (*нем.*)

Роман Дж. Конрада (1857–1924), английского писателя польского происхождения.

Здесь: доисторических.

Бернанос Жорж (1888–1948) — французский католический писатель и публицист.

Здесь: смесь грязи и огня (нем.).

в стране неверных (*лат.*).

Народ поэтов (нем.).



До войны, до 1 сентября 1939 года.

В греческой мифологии — одна из рек в Аиде, через которую Харон перевозит души умерших.

Титул ректора высшего учебного заведения.

Вид деревянной мозаики.

Чрезвычайные обстоятельства (*лат.*).

Ахеронт пришел в движение (*лат.*).

- Директор, к сожалению, сейчас отсутствует. Что вам угодно?
- Тут надо бы навести порядок. (...) Вы его заместитель?
- Я здешний врач.
- Ну ладно. Тогда войдемте-ка (*нем.*).

- Сколько у вас здесь сейчас больных?
- Простите, но я не знаю, так как...
- Когда вам тут еще извиняться, решаю я. (...) Отвечайте (*искаж. нем.*).
- Около ста шестидесяти.
- Мне нужно точное число. Покажите документы.
- Это врачебная тайна.
- В задницу все это. (...)
- Да? И вы не лжете? (*нем.*)



— Вонючее гнездо. (...) Два дня, гнать через лес это свиньячье стадо. Вот притащат сюда к вам комиссию. И если вы хоть одного больного припрячете, я вам... *(искаж. нем.)*

— Ну, покажите теперь все ваши помещения.

— В палаты никому, кроме персонала, заходить не положено, поскольку предписания...

(...)

— Предписания устанавливаем мы. (...) Хватит, поболтали! (нем.)

Можете спать спокойно. (...) Вам ничего не угрожает. Но если мы найдем у вас бандитов, оружие или еще что-нибудь такое, я бы не хотел тогда оказаться в вашей шкуре (нем.).

блестящая изоляция (*англ.*).

— Ты кто такой?

— А, оставь его. Это врач (*нем.*).

Тоже врач, да? (нем.)

Ты что тут делаешь? П-шел! (нем.)

Тихо! (...) Вы будете здесь сидеть, пока не прикажут! Никому отсюда не выходить! И я говорю еще раз: если найдем хоть одного припрятанного больного... всех вас!.. *(искаж. нем.)*



- Господин офицер...
- Что еще? *(нем.)*

- Несколько больных спрятаны в квартирах...
- Что? Что? (...) Где они? Мошенник! Все вы! *(нем.)*

Господин оберштурмфюрер, это не врач, это больной, он сумасшедший! *(нем.)*

Что такое? Ты, коновал! Что все это значит?! (нем.)

Ну и мошенники, ну и лгуны, свинячье стадо! (нем.)

И это врачи... Ну, мы тут наведем порядок. Покажите ваши документы! (нем.)

— Ах так. Вы фольксдойч. Прекрасно. Но отчего вы тогда заодно с этими польскими жуликами? *(нем.)*

- Иди.
- Господин офицер, я не болен. Я совсем здоров.
- Ты врач?
- Да... нет, но я не могу... я буду...
- Иди (*нем.*).



- Пожалуйста, пожалуйста... я хочу жить. Я здоров.
- Довольно! (...) Ты предатель! Ты бросил своих добрых безумных братьев (*нем.*).

Моя мать была немка!!! (нем.)

Дерьмовая работа! (нем.)

Следующие двадцать штук! (нем.)

Всем выходить! (нем.)

Профессор Лондковский здесь?! (нем.)

Проходите, пожалуйста (*нем.*).

Отче наш, иже еси на небесех. (...) Да святится имя Твое... *(лат.)*



Да будет воля Твоя... (лат.)

— Простите, (...) но господин оберштурмфюрер забрал мои бумаги. Разве вы не знаете, что... *(нем.)*

— Вам надо немного потерпеть. (...) Ну, знаешь, как уже все дома горели, я и подумал, что там одни мертвые, тут вдруг прямо из огня баба как выскочит и давай к лесу. Несется как угорелая и к себе гуся прижимает. Вот картина-то! Фриц хотел пульнуть ей вдогонку, да от смеха никак не мог на мушку поймать — вот смехота-то, да? *(нем.)*

- Вы, доктор, (...) вы-то чего смеетесь? Для вас тут ничего смешного нет.
- Я... я... (...) я немец. (...)
- Да? Ну, тогда пожалуйста, пожалуйста (*нем.*).

— Господин доктор, что случилось с нашим профессором? (...)

— Можете не беспокоиться. Я возьму его в машину, отвезу в Бежинец. Он уже собирает вещи.

— В самом деле?

— Милостивый государь! (...) Вы должны мне верить.

— А зачем нас здесь держат?

— Ну, ну! С вами было уж дело плохо, так ведь наш Гутка теперь утомился. Вас теперь будут только охранять, чтобы наши украинцы ничего такого вам не причинили. Они, знаете, прямо крови жаждут, словно собаки.

— Да? *(нем.)*

— Как соколы... Их приходится кормить сырым мясом (*нем.*).

Господин доктор, (...) как это можно: человек и врач, и больные, расстрел и смерть!  
(искаж. нем.)



Каждая нация (...) подобна организму животного. Больные органы порой необходимо удалять. Это было своего рода хирургическое вмешательство (нем.).

Но Боже, Боже (*нем.*).

Я могу объяснить это и иначе. Во времена цезаря Августа был в Галилее римский наместник, который имел верховную власть над евреями, и звали его Понтий Пилат... (нем.)

- Вы хотите уйти? Все?
- Госпожа доктор Носилевская. (...)
- Ах так. Да, конечно. Потерпите еще немного, пожалуйста (*нем.*).

Кто там?

Проходите.

Эй!

Ваша первая и единственная обязанность — молчать. Поняли? *(нем.)*



Нос erat in votis (латин.) — это составляло предмет моих желаний.

«Шустак» — мелкая монета

Смолка Франтишен (1810–1899 гг.) — политический деятель в Галиции. В 1848 году стал во главе национального движения. Был приговорен к смертной казни, но помилован.

«Марысенька» — так в Польше величали красавицу жену польского короля Яна III Собеского — Марию Казимиру.

В четвертую долю листа, т. е. большого формата.

Руководство, справочник

Uhu (нем.) — «Филин».

Fin de siècle (франц.) — конец века.



*Summis auspiciis imperatoris ac Regis Francisci-Iosephi* (латин.) — буквально: «Действует по повелению верховных гаданий императора Франца-Иосифа». В Древнем Риме гадания имели государственный характер.

«Нипы» (от нем. Nipres) — изящные безделушки.

in hoc signo (латин.) — таким образом (буквально — этим знаменем).

Рацлавицкая панорама — панорама, изображающая битву (7/IV 1794 года) под деревней Рацлавице в Краков-ском воеводстве, во время которой польские повстанцы, руководимые Тадеушем Костюшко, победили русское войско, которым командовал генерал Тормасов. В настоящее время панорама находится во Вроцлаве.

Батьяр — уличный мальчишка, сорвиголова, что-то вроде парижского гамена.

Роман «Непотерянное время».

Сенсуальный — воспринимаемый с помощью органов чувств.

Матеевка — фуражка с маленьким козырьком и шнуром на околыше.



Мустьерская культура — археологическая культура среднего палеолита. Название идет от пещеры Мустье во Франции. Мустьерская культура относится к дородовому этапу развития первобытнообщинного строя.

Ориньякская культура — археологическая культура палеолита. Следует за мустьерской. Названа по раскопкам в городе Ориньяк во Франции.

Эскапизм (от латин. *exscesco*) — ослепление.

Любельская Уния — союз Польши и Литвы, заключенный в городе Люблине 28/VI 1569 года.

Юзеф Ростафиньский (1850–1920) — известный польский ботаник, автор многочисленных научных работ и школьных учебников.

Имеется в виду роман «Граф Монте-Кристо».

Per procura (латин.) — милостиво.

Porte-parole (франц.) — глашатай.



Выспянский Станислав (1869–1907) — польский драматург, поэт, художник.

Шимонович Шимон (1558–1629) — поэт, драматург. Много писал на латинском языке: панегирики, религиозные стихи. Одно время работал во Львове педагогом.

Каспрович Ян (1860–1926) — поэт, драматург, переводчик. В 1889 году жил во Львове, где работал в редакции органа национального движения «Львовский курьер». В 1909–1925 годах — профессор Львовского университета.

Профессором в Польше именуют каждого преподавателя гимназии и лицея.

Перацкий Бронислав — генерал. В 1930 году — вице-премьер, с 1931 года — министр внутренних дел. Вдохновитель погромных антикоммунистических кампаний.

Исайя, Иезекииль — пророки Ветхого завета.

Spiritus flat ubi vult (латин.) — дух веет, где хочет.

Эсхатология — совокупность представлений о конечной судьбе мира и человека; учение о конце мира.



Гуральский оципок — сыр из овечьего молока, изготавливаемый гуральями.

Вибрамы — чешские туристские ботинки на очень толстой подошве.

Last not least (англ.) — не самый худший.

Comme il faut (франц.) — хороший тон, благопристойность.

Memento mori (латин.) — напоминание о смерти.

In extremis (латин.) — при последней крайности.

Трансцендентный — лежащий вне опыта.

Эруптивный — вулканический; здесь — взрывоподобный.



Сакральный — здесь ритуальный.

Декалог — десять заповедей.

Карл Май — немецкий писатель, известный своими приключенческими романами из жизни индейцев;

Джек Лондон и его роман «Сердца трех».

В прагматике — здесь: на практике.

Минускула — древнегреческое или латинское письмо, состоящее из букв строчного написания.

Маюскула — то же, но состоящее из букв прописного написания.

Инкунабулы — первые книги, напечатанные наборными буквами в начальном периоде книгопечатания и подобные по оформлению книгам рукописным.

Генерал-ключник — придворная должность в старой Польше.



Сенкевич Генрик (1846–1916) — романист, новеллист. Перу Сенкевича принадлежат, в частности, такие произведения, как «Огнем и мечом», «Крестоносцы», «Камо грядеши?» и др.

Ex ungue leonem (латин.) — по ногтю льва (сравнение русское: птица видна по полету).

Смысл сего: «Преступление, выражающееся в дискриминации документов — удостоверений».

Гомбрович Витольд — один из известнейших писателей предвоенной Польши, резко выступавший против мещанства; впоследствии перешел на позиции, враждебные народной Польше.

Ален Роб-Грийе — один из создателей антиромана, француз.

Канетти — писатель, современник Т. Манна, лет сорок тому назад написал роман, в свое время забытый, а сейчас пользующийся успехом.

Музиль Роберт — австрийский писатель.

Genius Temporis (латин.) — дух времени.



Summis Auspiciis (латин.) — сумма примет.

Лестница на небо — лестница из библейского сна Иакова.

По доверенности, по полномочию

Ариман (Анхра-Майнью) и Ормузд (Ахуромазда) — в зороастрийской религии боги, олицетворяющие злое и доброе начала.

Circulus vitiosus— порочный круг.

Credo, quia absurdum est (латин.) — верую, потому что нелепо.

Ташизм — одно из основных направлений абстракционизма, оперирующее бесформенными пятнами.

Энтропия — мера беспорядка в системе.



Энтальпия — мера энергии при тепловом движении.

Босх ван Акен (род. около 1450–1462 гг. — умер в 1516 г.) — нидерландский живописец. В творчестве Босха изощренная средневековая фантастика своеобразно сочетается с фольклорными сатирическими и нравоучительными тенденциями.

Турпизм (от патин. turp) — делать безобразным, пачкать, марать.

Анимальный (от латин. animal) — живое существо.

Прокурсорство (от латин. *procurus*) — выступление, движение вперед.

Профетичность (от латин. proficiscor) — отправляться, исходить, начинать с чего-то, брать начало, возникать.

Эпистемологический — от эпистемология — наука о познании.

Янув, Знесеньє, Пески, Лонцкого — названия улиц и районов довоенного Львова, заселенных в основном людьми еврейской национальности.



Подхорунжий — звание, примерно соответствующее старшине.

Публикуется сокращенный вариант очерка.

CPLIA — Центральное управление кустарной и художественной промышленности

Громница — свеча в. руках покойника. — Прим. перев.

называемая всеми (лат.)

Массачусетский технологический институт

«Загадка» — последний рассказ из знаменитого цикла сказочных рассказов и повестей Станислава Лема «Кибериада». Рассказ был написан в 1980 году, опубликован — в декабре 1992 года. — *Примеч. пер.*

Официально (лат.).



С ходу, без подготовки, экспромтом (*лат.*).

Двое вместе составляют коллегию (*лат.*).